

Альберт
ЛИХАНОВ

1

Альберт ЛИХАНОВ

Собрание
сочинений
в четырех
томах

Альберт ЛИХАНОВ

Собрание
сочинений
Том
первый

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1986

84P7
Л 65

Л $\frac{4702010200-089}{078(02)-86}$ Свод. пл. подписных изд. 1986 г.

МУЖЕСТВО ПРАВДЫ

Дети и война... Кажется, эти слова несовместимы, не могут, не должны стоять рядом. Однако целое юное поколение мы называем детьми войны. У этого поколения военное лихолетье пытаюсь отобрать детство, вырвать из рук книги, тетради, учебники... Наша страна и в то суровое время по-матерински заботилась о своих юных гражданах. Она делала все возможное и невозможное для того, чтобы на их долю выпадало поменьше тягот, испытаний, невзгод. Но тяжкие невзгоды, испытания все же были... Их познал, вынес и будущий писатель Альберт Лиханов, родившийся 13 сентября 1935 года в городе Кирове.

В предисловии к своей книге «Обещание» А. Лиханов писал: «Врачи говорят, что дети, пережившие войну, ниже ростом по сравнению с теми, кто родился раньше или позже, и это неудивительно. Мы забыли, каким бывает масло, а кусок сахара считался лакомством. Я помню, как мама принесла мне кусочек белого хлеба и как я ел его, положив на черный хлеб... Но война обладает странным свойством — не только отнимать, не только убивать и ранить. Война заставляет сильнее ненавидеть, крепче любить, лучше знать цену товариществу. Мы, дети военного времени, очень хотели помочь своим отцам и своей стране скорее победить врага.

Обещание... Простое слово, совсем простое. Но оно оказалось вовсе не простым для нас, ребят военной поры. Ведь обещали мы белым треугольникам — отцовским письмам. Ведь обещали мы тем, кто навеки остался улыбочным и молодым на пожелтевших от времени фотографиях. Мы обещали живым и мертвым. Родине и себе. И слово наше означало верность.»

...Лев Толстой утверждал, что в раннюю пору жизни человек вбирает в свой разум и свое сердце столько впечатлений, столько нравственно важных истин, сколько не вбирает, быть может, за все остальные годы. Как же важна эта изначальная пора бытия человеческого, к которой обращает свой голос детская и юношеская литература!

Мы часто вспоминаем и слова Д. Менделеева: «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян». И подчеркиваем при этом, что и «вся гордость» писателя, сеющего «разумное, доброе, вечное», в росте посеянных им семян. В этом счастье, гордость и А. Лиханова.

Произведения А. Лиханова — писателя талантливого, глубокого — щедро дарят уроки порядочности, бескорыстия и бесстрашия. Дети в лихановских повестях о войне не только страдалцы (хотя горести их не минуют!), но и активные «действующие лица», патристическими сердцами своими, а порой и поступками участвующие в героической битве народа. Верными друзьями приходят к ним на помощь родители, бабушки, учителя. Они пробуждают рыцарство, духовность, способность преодолевать тяготы и страдания.

В значительных произведениях, обращенных к молодым, мир младших и мир старших, как и в реальной действительности, поистине нерасторжимы. Они неразрывны и в книгах А. Лиханова. Подросткам не терпится скорее стать взрослыми. Но, конечно, не о морщинах и сединах грезят они, а мечтают вложить свои силы в те самые настоящие дела, которые, как они уверены, чаще всего свершаются за рубежом юного возраста. И А. Лиханов смело включает своих героев школьного возраста в сложные события, которыми живут их матери и отцы.

Пусть это не прозвучит слишком возвышенно, но капитанами кораблей юности являемся мы, взрослые люди. Значит, и от нас зависит, сядет ли иной из этих кораблей на мель или отправятся все они в большое плавание — по курсу доброты и сердечности, мужества и великодушия, готовности к подвигам и борьбе за свои убеждения, к защите того, кто в этой защите нуждается... А. Лиханов — очень опытный, заботливый капитан таких кораблей.

Альберт Лиханов пишет и для детей (вспомним его книгу «Мой генерал», жанр которой определен как «роман для детей младшего возраста»), и для подростков, и для юношества (тут я мог бы назвать десятки произведений). Стало быть, все творчество писателя страстно служит весенней поре человеческой жизни, которая отличается от весны обыкновенной тем, что никогда уж больше не возвращается. Ей и незачем возвращаться: она остается в человеке до конца дней, ибо закладывает фундамент мировоззрения, характера, жизненных устремлений.

Но то, что создает Лиханов в литературе, это всегда и для взрослых, которые в ответе перед завтрашним днем за воспитание подрастающей смены.

Что объединяет произведения Альберта Лиханова, позволяя им стоять рядом, как бы плечом к плечу? То, что произведения эти, отнюдь не повторяющие друг друга по сюжетным коллизиям, в общем-то, посвящены одним и тем же проблемам — чрезвычайно серьезным, масштабным. Проблемам детей и подростков, возникающим, как я уже говорил, не только в их общении друг с другом, но и в общении со всей окружающей их жизнью. Конфликты, радости и разочарования, надежды и открытия, которые рождаются в процессе этих взаимоотношений, писатель изображает не только зримо и ярко, а (что особенно важно!) с бесстрашным реалистическим проникновением в их глубину, в их психологическую, нравственную, социальную суть.

Писательское и педагогическое мужество покорило меня в Альберте Лиханове сразу, как только я встретился с первыми его повестями. Было это уже давно — на IV Всесоюзном совещании молодых писателей, где я вместе с моим старшим и незабвенным другом Львом Кассилем руководил семинаром по детской и юношеской литературе, а начинающий писатель, редактор кировской молодежной газеты «Комсомольское племя» Альберт Лиханов вдохновенно говорил о проблемах воспитания. Уже тогда это был хоть и молодой, но зрелый человек, прошедший добротную газетную школу. Закончив отделение журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького, А. Лиханов вернулся в родной город, работал в редакции «Кировской правды». Первый его рассказ был, помню, напечатан журналом «Юность» в 1961 году, и это озорное по форме, но и весьма серьезное сочинение размером не более десятка страниц очень понравилось главному редактору журнала Борису Полево-му. Теперь среди литературных наград Альберта Лиханова есть и премия имени Бориса Полевого, присужденная ему за повесть «Последние холода»...

Так газетная работа (А. Лиханов был и собственным корреспондентом «Комсомольской правды» по Западной Сибири) соединялась с литературой и все теснее с литературой детской и юношеской.

Одна за другой выходят книги — в Сибири, потом в Москве. Все определенной, звучней голос писателя. Он обрел литературную зрелость быстро. Причиной тому, я думаю, жизненный опыт и очень серьезное отношение к избранному делу.

Настоящая детская и юношеская литература всегда готовила и готовит своих читателей к тому, чтобы они были способны поддержать все честное, передовое и одновременно готовы были вступить в беспощадную схватку с тем, что от-

жило свой век, что калечит души и путается у нас под ногами.

Уверен: мужество, отвага, душевная закаленность могут в полной мере проявить себя только в борьбе, непримиримом сражении со всем, что не имеет права существовать в жизни и душах людей. Беспощадно обличая одно, Альберт Лиханов воспекает другое — то, что должно составлять ясную и благородную суть нашего бытия.

Сталь человеческих характеров закаляется в преодолении трудностей... Потому-то роман Н. Островского, полный драматичных событий, — творение глубоко оптимистическое. Судьба Овода или героев «Молодой гвардии» — разве это поражение? Физическая смерть героев трагична, но это «оптимистическая трагедия», ибо олицетворяет бессмертие их духа и дела. Сердцевиной талантливого, волнующего произведения почти всегда является борьба. А борются герои, естественно, с кем-то и с чем-то... Не показав, с кем и с чем они сражаются, невозможно нарисовать картину сражения. Битва идет и против того, что несет на себе тлетворные приметы идеологии наших недругов: с жестокостью, равнодушием, цинизмом, обывательской гнилью.

С этим борется и доброе, смелое перо Альберта Лиханова. Говорю «доброе» не только потому, что писатель отстаивает законы подлинной гуманности (вспомним хотя бы «Солнечное затмение»), но и потому, что крушить зло — тоже значит творить добро.

Воспитывает юного человека вся сумма слагаемых нашей жизни — школа, комсомол, пионерская организация, книги, спорт... Но большую часть времени молодой, растущий человек проводит в семье. Отношения, возникающие там, во многом определяют его настроение, взгляды, будущую судьбу. Хорошо, когда в семье царят взаимное уважение, лад, искренняя заинтересованность друг в друге детей и взрослых. А вот в причины противоречий и драм вникнуть порой так нелегко!

Семейные обстоятельства... Каковы они в книгах Альберта Лиханова?

Отец Михаськи, боевой разведчик, вернулся с войны невредимым. Но, храбрый на фронте, он утратил трудностей послевоенной жизни, стал ловчить, приспособливаться, терять себя, утратил уважение сына («Чистые камушки»)... Бабушка Толика, человек крайне деспотичного нрава, создала в семье сложную, напряженную обстановку. Освобождаясь от «бабкиной тирании», отец, увы, переложил всю ее невыносимость на жену — мать своего сына («Лабиринт»)...

режа рос без отца, мечтал стать летчиком, как отец. Ему дарованы были три идиллических летних дня велосипедного похода с матерью и отчимом... Но вот умирает мать, а отчим покидает, предает мальчика («Обман»).

Обстоятельства, прямо скажем, непростые. Но для нас важны не только обстоятельства — главное, как ведут себя люди в сложившихся ситуациях. Нелишнее еще раз напомнить и о юном возрасте тех, которые во многих повестях писателя полной мерой принимают груз «обстоятельств» на свои плечи. Этих героев отличает стремление к решениям самостоятельным. «Как можно познать самого себя?» — спрашивал Гёте. И отвечал: «Только путем действия, но никогда — путем созерцания. Попытайся выполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть. Но что такое долг? Требование дня». Лихановские мальчишки и девчонки часто ошибаются, но не перекладывают свою вину на других. Они хотят точно выбрать, определить путь в грядущее. И начать его уже юной порою...

Среда, в которой развиваются события повестей А. Лиханова, — это реальность, в которой есть место и мужественной доброте, и холодной жестокости, где противостоят друг другу честность и ханжество, где люди живут, умирают, испытывают радости и страдания, но чаще всего остаются людьми. Это мир многоцветный, не упрощенный, не облегченный специально для детского восприятия... Отец Михаськи («Чистые камушки») никому не желал зла, он только хотел, чтобы его семья — он сам, Михаськина мать, Михаська — жила хорошо и счастливо. Но мальчику не нужно это сытое довольство. Ему стыдно, невыносимо так жить, когда рядом голодают сверстники. И он сражается храбро, быть может, наивно, но вполне осознанно... Вспомним, к примеру, как мать Сережи («Обман») скрыла от сына правду об отце. Она не сказала ему, что заурядный обыватель, живший в том же городе, гулявший иногда по тем же улицам, его отец: ей хотелось, чтобы Сережа гордился отцом, и она придумала легенду, в которой отец Сережи был летчиком-испытателем и погиб. Такова была ложь «во благо сына». Но вот обман раскрылся... Сережа, оставшийся без матери, торопится освободиться от ненавистного денежного долга отчиму, который принес их семье столько горя, и идет на кражу... Но круг, к счастью, не замыкается. Долгие, одинокие годы, отданные сыну матерью, сердечность, которой делятся с Сережей «чужие» люди, — это подлинное деятельное добро убеждает и в мальчике.

«Дети должны уважать старших!» — безусловная, часто

провозглашаемая истина. Надо только добавить (и это утверждают лихановские повести): они должны уважать тех взрослых, которые достойны уважения. Но и взрослые должны уважать юных. Признавать их право на самостоятельные решения и поступки. «А ты знаешь, Свиридов, у тебя ответ не сошелся, — говорит математик из «Чистых камушков». — Но ты все-таки молодец! Ты решил задачку по-своему. Я тебе пятерку поставил. Даже с плюсом... Да! Трижды да!»

Нравственное воздействие таких взрослых или старших друзей огромно. Оно-то и формирует лучшие качества личности подростка.

Не буду пересказывать многочисленные острейшие сюжетные и психологические ситуации произведений А. Лиханова, в том числе и таких, по достоинству высоко оцененных критикой и читателями повестей последних лет, как «Благие намерения», «Голгофа», «Последние холода». Обращу лишь внимание на то, что потрясают, задевают за живое эти конфликты и ситуации не только сами по себе, но прежде всего тем, какие философские обобщения, мысли писателя из них встают.

Одна из них — мысль о бесценной ценности времени. О том, что человек, даже самый юный, не смеет думать: «Успею... Торопиться некуда: времени бездна!»

Позволять себе инертность, душевную бездеятельность, вялость не смеет никто. Время бесконечно ни для нас, ни для тех, кому сегодня двенадцать или четырнадцать. Беречь его нужно всегда: оно невосвратимо! И если, будучи школьником, человек не задумывается всерьез, кем и каким ему стать, он, может случиться, всю жизнь отдаст делу случайному и постылому... Об этом с отеческой тревогой предупреждают книги А. Лиханова. Писатель хочет, чтобы время всегда и в высшей степени благородно «работало» на изначальную пору человеческой жизни, а стало быть, не только на нынешний, но и на завтрашний день.

Думая о тех писателях, которые по-гайдаровски служат поколению молодых и к которым, бесспорно, принадлежит Альберт Лиханов, я часто обращаюсь к образу Аркадия Гайдара. Вот уж у кого слово никогда с делом не расходилось!.. Потому-то легендарными в равной степени стали и его книги, и его жизнь. Он безупречно следовал тем нравственным законам, которые утверждал в своих произведениях.

Скажу с уверенностью: и в этом смысле А. Лиханов верен гайдаровским традициям. Его гражданская, общественная активность многогранна. В течение многих лет он яв-

ляется главным редактором журнала «Смена», у него множество общественных обязанностей — их можно долго перечислять, но плодотворнее, думаю, обобщить: писатель не только своими книгами, пьесами и фильмами, не только своей публицистикой и такими исследованиями, как «Драматическая педагогика», но и собственной жизнью борется за воспитание юных достойными гражданами Страны Советов.

Он неустанно заботится о своих младших друзьях, о своих читателях. Здесь также его творческий и жизненный пути неразрывны: повесть «Благие намерения», к примеру, проложила дорогу сердечнейшему вниманию к воспитанникам детских домов в той же мере, что и энергичные инициативы писателя, осуществленные в самой жизни.

...Каждый год 1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. Праздник ли это? Нет, не праздник, ибо в имени первого летнего дня есть тревожное слово «защита». Детей, к несчастью, есть от чего защищать... От столь жестоких и, увы, еще живучих в разных местах земли врагов юного поколения, как голод, бездомность, неграмотность. И от так называемых «малых» войн, разжигаемых империалистами, которые приводят к отнюдь не малым кошмарам и жертвам. Да, юных надо защищать от империалистических маньяков, грозящих всему человечеству (а значит, и его молодой поросли) и глобальным ядерно-нейтронным уничтожением.

Сделать так, чтобы первый день лета стал Международным праздником счастливого, солнечного детства, — долг всех честных, прогрессивных людей на планете. Альберт Лиханов — президент Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и юношества Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, и он многое делает для осуществления этого высочайшего человеческого долга.

Литература не существует сама по себе. Она создается для читателей, во имя читателей. Как же откликаются взрослые и юные друзья книги на произведения Альберта Лиханова? Приведу строки лишь из двух писем, обращенных к писателю, хотя таких писем очень много. Надежда Тимофеевна Коржунова пишет: «Как мать, как учительница хочу сказать большое Вам спасибо.. Когда придет время и моему сыну читать серьезные книги, я дам ему Ваши книги...» А вот слова из письма членов сводного пионерского отряда города Обнинска: «Мы все очень любим Ваши книги, в значительной степени учимся по ним жить. Вы будите в людях чувство собственного достоинства, жажду справедливости,

учите уважать людей, помогаете развенчивать ложные кумиры. Этим Ваши книги так безмерно дороги и безмерно нужны».

Дороги и нужны... Вот почему Альберт Анатольевич Лиханов удостоен званний лауреата Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Ленинского комсомола, Международной премии социалистических стран имени М. Горького.

В. Г. Белинский утверждал, что книги, обращенные к молодым, «пишутся для воспитания», а что «воспитание — великое дело: им решается участь человека».

Столь прекрасную миссию и выполняют произведения Альберта Лиханова — одного из тех писателей, которым наша литература для детей и молодежи обязана своими главными художественными завоеваниями, признанием читателей и международным авторитетом.

Анатолий АЛЕКСИН

Звезды в сентябре

«А у тебя будут совсем особенные звезды... У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!»

Антуан де Сент-Экзюпери

1

У мальчика было странное имя — Лека. Он всей душой ненавидел его, потому что оно казалось ему девчачьим — вроде Лельки. И еще он ненавидел свои брезентовые сапоги, которые были на три размера больше. Мать купила их в городе на какой-то «толкучке», — что это, Лека не знал. Никакой другой обуви для второклассника Леки она не могла найти во всем городе и вот купила эти зеленые сапоги, которые складывались в гармошку и походили на две зеленые гусеницы. Лекины тонкие ноги хлябали в голенищах, как пест в ступе, портянки сбивались вниз, и Лека вечно ходил со стертыми ногами. А что такое ноги для мальчишки — кто не знает?

Вот и сегодня. Так и не догнал он Сашку Рыжего. Рыжий — это кличка такая, а вообще-то фамилия у него Соловьев.

Все это приключилось после второго урока, на перемене. Сашка был ответственным за флажки и сам всегда передвигал их. Где флажок — там наши. Мария Андреевна сказала Сашке, что сегодня флажок надо передвинуть чуть правее. Она сказала это, закуталась в свою пуховую шаль и ушла из класса.

Ребята притихли, и в тишине Сашка передвинул флажок в сторону голубой жилки на географической карте. Это была Волга. Мария Андреевна говорила, что Волга — великая русская река и мы не отдадим ее немцам. А сегодня сама же сказала, что флажок надо передвинуть туда, прямо к голубой ниточке. Это значит, немцы сильнее наших.

Жирная черная муха билась в стекло и жужжала, как самолет. Лека помнил, как жужжат самолеты, а

потом что-то свистит, и, когда свистит, надо обязательно падать, где ты стоишь, и закрывать голову руками. Мама всегда говорила, что надо падать, и они, заслышав жужжание, все выпрыгивали из вагона и, пробежав несколько шагов, обязательно слышали свист. И тогда они падали, и Лека падал вместе со всеми и закрывал голову руками, а потом ему будто кто-то затыкал уши и что-то гремело сзади, или спереди, или сбоку и кто-то страшно кричал. Лека все хотел посмотреть, кто это так кричит, но мама хватала его на руки и прижимала лицо к своей телогрейке, к своей грязной телогрейке, потому что они лежали на земле или даже в грязи. А потом мама бежала к вагону, прятала Леку в угол и не давала ему смотреть по сторонам, закрывая собой дверь и улицу, где кто-то кричал все так же страшно, а потом все-таки успокаивался.

Жирная муха крутила крыльями, как пропеллером, а Сашка Рыжий переставлял флажок к синей Волге, куда показала Мария Андреевна.

— Эх, — сказал вдруг Сашка, — был бы я генерал!

— Ну? — спросила его Нюска из Лекиной деревни. — Ну, был бы ты генерал?

— Да я бы как дал! Тр-р-р! — Сашка показал, как бы стал он стрелять из автомата. — И все бы немцы — брысь! Обратно к Гитлеру!

— «Обратно»! — передразнила Нюска. — Тож мне, генерал выискался!

— А что! — закричал Рыжий Сашка, и веснушки со всего его носа вдруг собрались на самый кончик. — А что! — повторил он. — У меня имя такое!

— Какое? — спросил Лека и покраснел. Он сразу заругал сам себя, что не промолчал и спросил. Пусть бы кто другой спрашивал. Та же Нюска.

— А вот какое! — шумел Сашка. — Александр! Александр Суворов — слышал? Александр Невский — слышал? Кино еще есть, видал?

— Эх ты, — сказал Лека, — так-то я тоже!

— Что — тоже?

— Да то. У меня имя полностью Валерий. А про Чкалова ты слышал?

Санька начал идиотски хохотать и кричать, что Чкалов хоть и законный, конечно, но только один летчик, а Суворов и Невский — полководцы и что полководцы —

это сила, а один летчик ничего не сделает. В общем, Лека ему сказал прямо:

Рыжий пес яичко снес,
Старой бабушке отнес!

У глазастого Саньки глаза еще больше стали. И веснушки еще больше порыжели. Не успел Лека опомниться, как Санька дал ему в нос и тут же побежал за дверь. Лека кинулся, да сапоги помешали. Захлопали голенища на тонких ногах, будто петух крыльями замаяхал. И в дверях воткнулся Лека головой в живот Марии Андреевны. Опять записала в тетрадке замечание. Тетрадка у Леки была из газеты сшитая; так выбрала Мария Андреевна, написала на белых полях, чтоб виднее было, чтоб мать не пропустила.

Шурш, шурш... Шуршит Лека брезентовыми сапогами по осенним листьям. Нарочно ноги волочит, чтобы легче идти было. А еще, чтоб листьев побольше перевернуть. Бредет неторопко, домой не к спеху. Бредет не по дороге, как все люди ходят, а по придорожной сухой траве — там листьев больше.

Шуршит Лека по листьям, смотрит под ноги, а в глазах рябит. Вспомнил Лека, как отец купил ему игрушку — трубочку такую. Крутишь трубочку, смотришь на свет в глазок, а в трубочке цветы. И каких только красок там нет: и красные, и голубые, и желтые, и зеленые, и рябиновые!.. Вот и тут, в канаве, как в той игрушке. Шевельнешь ногой, и листья — красные, желтые, коричневые, даже черные есть.

Идет Лека, а в руке у него сам собой берется откуда-то букет. Чудной, из листьев. И солнце в нем играет, шуршит, будто лучами листья перебирает. Нюска увидит, скажет свое — баско! А мама прижмет опять Леку к своей телогрейке и ничего не скажет. Промолчит. Листья в банку поставит.

2

Дрын стоял рядом, прислоненный к воротам, и Лека удивился: значит, есть кто-то дома. Он повернул ржавое кольцо, тихо звякнула железная планка, и Лека пошел в ограду по деревянной доске, обсиженной курами.

У печи, давно не беленой и обшарпанной, на ши-

рокой лавке сидел дед Антон и задумчиво глядел на иконы.

Лека удивился: ни разу, пока они жили у деда, тот не зажигал лампадку под иконами да никогда, почитай, и не глядел на них, а тут уставился как неживой. Лека притих, думая, что дед станет молиться, но тот молчал, не шевелился и по-прежнему смотрел в угол на мертвые лики, почерневшие от старости и пыли.

Дед Антон говорил иногда, в свободную минутку, что, как померла его старуха, так с тех пор никто и не дотрагивался до этих икон, потому что сам он, Антон, ни в бога, ни в черта не верил. Тут обыкновенно дед вставлял крепкое словцо, и Лека смотрел в сторону, сам в душе улыбаясь, а мать сердито взглядывала на деда и возмущалась:

— Антон Макарович!

Дед Антон махал своей корявой, пальцастой рукой, коричневой на цвет, и жмурился в бороду:

— Извиняй, Машута! Опять не утормозил!

Дед был добрым. Это Лека знал точно. Это он понял еще тогда, когда телега, запряженная в заморенную кобылу, привезла к сельсовету Леку с матерью да других женщин с ребятами и девчонками.

Дело было вечером, и Леку сильно клонило ко сну, и хотелось есть, даже в голове чего-то свиристело. У дома, где остановилась телега, сразу появились какие-то теткы в одинаковых серых платках, и Леке показалось тогда, что это все старухи.

Потом вперед старух вышел дед с широкой бородой, и Лека ему сразу улыбнулся — уж больно хорошая борода была у деда, как елочная. Бе-елая, только кой-где серый волос пробивает.

— Беженцы, — сказал кто-то из старух.

Дед быстро повернулся и сердито поправил:

— Не беженцы, а экаиранные.

— Что в морду, что по морде, — ответил тот же злой старушечий голос.

На приступку вышла тетка, в таком же, как у всех, сером платке и тоже похожая на старуху, и сказала негромко:

— Ну вот, бабы. Теперь у нас гости. Принимайте.

Подошла к телеге, взяла на руки чью-то малышку и пошла по грязи, оскальзываясь, в сторону. А за ней послушно пошла женщина, которая ехала вместе с Ле-

кой и его матью на одной телеге и чью малышку взяла тетка.

Лека смотрел по сторонам и боялся, что их не возьмут или что-нибудь скажут нехорошее. Старухи стояли вокруг, глядя под ноги, и лишь одна та тетка, что увела беженку с ребенком, уходила вдоль улицы, прямо по лужам, не оборачиваясь назад.

Моросил мелкий, колючий дождик, и Лека весь промок в своем сером пальтишке с короткими рукавами, а меховой черный воротник блестел и топорщился, как будто налакированный или как шерсть у кошки, если ее окунуть в таз. Дождик стеклянно колючил воду в лужах, и Лека, посмотрев на лужу, увидел ноги, обутые в лапти. Он даже не сразу понял, что это лапти; он никогда не видел их раньше, только на картинках в книжках, которые приносил отец. Лапти были в коричневой грязи, надетые на грязные портянки и опутанные бечевой. Лека смотрел на лапти и все удивлялся, потому что он думал, что лапти никто уже не носит, только в сказках.

Он поднял голову и увидел, что это тот старик с бородой. А борода намокла, и с нее каплет, как с мочалки, по белой прозрачной капельке: кап-кап, кап-кап...

Дед протянул к нему сучковатые крепкие пальцы, и Лека прижался к матери. Он подумал, что старик хочет схватить его, но тот сказал, улыбнувшись: «Ну, иди, иди, внучек» — и взял Леку на руки.

Так они стали жить у деда Антона, и Лека звал его дедом. Было в дедовой избе просторно, потому что жил он один, старуха померла еще весной, и дед почему-то радовался, что она померла весной. Лека удивлялся, чему это радуется старик, и долго думал об этом, но никак не мог понять, чему тут радоваться. Сын у деда воевал, и Лека по слогам читал треугольные письма, которые приходили из действующей армии.

Дед Антон без конца заставлял Леку перечитывать эти треугольники, а сам молчал, дымил самосадом, пуская длинную и тонкую струю до самого потолка.

Потом Лека потел, краснел и огромными буквами выводил дедов ответ на обрывке газеты, который вырывал из своей тетради. Письма у деда получались всегда одинаковые и короткие. Лека даже наизусть знал, что будет диктовать дед:

«Здравствуй, дорогой сыночек Иван Антонович!

Письмо твое получил. Я, слава богу, жив-здоров, чего и тебе желаю. Квартиранты мои тоже ничего...»

Тут дед говорил «фатеранты» и «тож», но Лека сам исправлял дедовы выражения: ведь нельзя же было писать неграмотно в действующую армию.

«...Усадьба тоже ничего. В колхозе дела такие...»

Дальше дед перечислял, какие дела в колхозе, а кончалось письмо такими словами:

«Воюй, сыночек Иван Антонович, спокойно, не волнуйся, у нас тут как-нибудь. Через тебя передаю привет всей Красной Армии».

И дальше, после таких правильных слов, вдруг дед заканчивал:

«Жду ответа, как соловей лета».

Сколько Лека ни уговаривал его не писать этих слов, дед настаивал. А примерно раз в месяц он собирал в мешочек самосад и зашивал его суровыми нитками. Вечером, когда приходила Лекина мать, он просил ее написать химическим карандашом на белом мешочке из-под муки номер полевой почты своего сына. Этого он даже Леке не доверял. И Леке приходилось лишь лизать палец и мочить то место на мешочке, где мать должна была писать букву.

По вечерам дед плел лапти. Вся деревня ходила в дедовых лаптях. Антон ворчал, что, мол пропадут без него, без его лаптей бабы, потому как он один мужик на всю деревню, и бабы, надеясь на своих мужей, не научились даже лаптей плести, а вот теперь, когда ушли на войну мужики, остались бабы без лаптей.

Когда Антон плел лапти, он всегда ворчал, и всегда про лапти, потому что знал — житье худое и лапти опять в моде: мужнины сапоги попрятали в сундуки и, хоть у кого поубивали мужей, все равно сапоги не носят, берегут, а ходят в лаптях.

Но лапти дед плел по ночам, по вечерам. Днем он работал в колхозе, и Лека всегда домовничал один, вернувшись из школы. Сегодня дед сидел дома и глядел на иконы. И даже лампадку зажег. И смотрел на фитилек, не мигая.

3

Лека ступил на скрипучую половицу, дед вздрогнул и повернулся.

— А-а, — сказал он, — это ты, Валерушка.

Лека опять удивился: первый раз дед Антон назвал его так. Вон, значит, еще какое имя у него есть. Валерий, Валерка, Лерка, Лека. И вот теперь еще Валерушка. Настроение у Леки опять испортилось. Это уж совсем по-девчачьи — Валерушка. Что он, маленький, что ли!

Дед Антон встал с лавки, пошел к печи, снял с таганка чайник и уселся за стол. Чайник когда-то был совсем белый, алюминиевый и вскипал легко, без большого огня. Теперь он закоптился черными дорожками, означавшими, что по этому месту лизал бочок огонь. Мать к праздникам чистила чайник, и он блестел как новый. Дед любил его, свой чайник, и сиживал перед ним по часу и более.

— Ну-ка дай мой корапъ, — сказал старик, и Лека полез в маленькую приступку на печи.

Приступок было несколько: таких мест в печной стенке, где нет кирпичей, пустое место, вроде полочек. Леке кажется, что печка походит на старуху, которая смотрит своим белым многоглазым лицом на него, на деда Антона, на мать, на всю их домашнюю жизнь. Старуха была добрая, она варила щи в своем черном брюхе, жарила картошку и даже однажды испекла блины из остатков ржаной муки, которую мать натрясла из пустых мешков. А дед клал в старухины глаза разные свои ценные вещи: свой «корапъ», самосад, кресало — два камешка и льняной фитиль.

Лека сунул руку в печной глаз и вытащил дедов корабль, который тот называл по-своему: «корапъ», — большую эмалированную кружку. Лека любит пить козье молоко из этой кружки. Сначала, когда она полная, ничего в ней не видно. А когда допьешь до половины, из молочного моря поднимается чудный остров — эмаль обилась и на стенке черный остров. Лека один раз крутился в школьном коридоре у карты, на которой были нарисованы два больших разноцветных круга, и увидел в синем море такой же, как в кружке, остров, только побольше. Он прочитал название, еле разобрал, потому что буквы были очень мелкие да еще и остров был на карте нарисован высоко, выше Лекиной головы. Назывался остров странно и непонятно — Мадагаскар. Никогда раньше Лека не слышал такого удивительного, буйного слова. И поэтому сразу запомнил его, а свой остров из кружки тоже прозвал Мадагаскаром.

Только молока он давно не пил. Летом козлуха, у

которой было кошацье нмя Мурка, заболела, вымя у нее раздулось, а молоко пошло с кровью.

Дед Антон повздыхал, покрутил Мурке рога и крепко привязал ее к столбику в ограде. Потом он ушел в сенцы и долго брэнчал там в старом ларе, от которого еще пахло мучицей и салом и где теперь лежал дедов инструмент — молоток, ржавые погнутые гвозди, которые он при надобности выпрямлял, стамеска и рубанок. Старик долго скрипел там чем-то железным, а Мурка стояла у столба, стояла спокойно, только бляла коротко и беспокойно, будто чувствовала что-то. Пока дед скрипел у своего ларя, Лека гладил Мурку по голове, и она смотрела на него черными глубокими глазами, смотрела жалостливо, будто плакала. Мурка была последней большой животиной в дедовом хозяйстве: остались только куры да одинокий ошипанный гусь, от которого все равно не было никакого проку, потому что он был последним гусем не только у деда, но и во всей деревне.

Дед вышел из сеней с ножом, и Лека понял, что коза Мурка сейчас умрет. Он оторопел от этой мысли и даже не отошел в сторону, даже не отвернулся. Дед Антон погладил козлуху и сразу же размахнулся, и нож вошел в Мурку по самую рукоятку. Коза молча завалилась на бок, и черные ее глаза потухли, покрылись белой пленкой.

Лека смотрел на свою руку, по которой ползла капля козлиной крови, и молчал. Только сердце билось неровно, как тогда, когда они с матерью возвращались в вагон и она не давала ему смотреть по сторонам и прижимала его лицо к своей грязной телогрейке.

На крыльцо вышла мать и, увидев медный таз, куда стекала козлиная кровь, сказала деду:

— Зачем же вы, Антон Макарович, при Леке?

Дед стоял, сгорбившись, смотрел, как тонкой струйкой стекает кровь в медный таз, ответил хрипловато:

— А нешто он крови не видел?

В щель над оградой ломилось солнце, лучи его падали в медный таз и высвечивали яркие кровавые ому-ты.

Потом Лека вместе со всеми молча жевал твердое Муркино мясо, а рога ее спрятал в углу, на сеновале. Сначала он хотел похоронить рога, потому что они только и остались от козлухи, но потом решил спрятать их, чтобы лучше вспоминать Мурку.

Молока он с тех пор не пил. И пятнышко на кружке не казалось уж теперь таинственным островом Мадагаскар в белом, густом море...

— Ну-кась, — сказал дед Антон, — тащи мои зубы.

Лека опять полез в печное окно и, стряхнув тараканов, протянул деду вставные зубы. Старик обтер их рукавом рубахи и вставил в рот, щелкнув, будто щелколдой, при этом. Он хлебал пустой чай, без сахара, сахар давно уже кончился, а последние дедовы сапоги, которые ушли за малый мешочек кускового сахара, донашивал где-то новый хозяин. Но даже когда дед хлебал пустой чай, зубы свои вставлял все равно. Такой уж он был человек.

Обычно дед Антон нагревал свой любимый чайник до невозможности и чаевничал громко, дул в кружку, с шумом втягивал воду, как он говорил — шлыцкал. Сегодня он пил чай тихо и был какой-то смирный, будто в чем провинился.

В сенцах кто-то затопал, гулко гукнула деревянная дверь, и в избу вошла почтальонка тетка Христя.

Было у нее удивительное, нездешнее имя Христина, но все звали ее ласково Христей. Лека вспомнил, как Нюська говорила ему, будто Христя поет и у нее красивый голос. Лека не верил и смеялся над Нюской. Никогда он не слышал, чтобы почтальонка Христя пела, да и сама она никак не походила на такую, которая умела бы красиво петь. Была тетка Христя большая, больше всех в деревне, и угловатая. Плечи у нее торчали прямо от шеи, как будто там не плечи и не руки, а крылья, а лицо у нее было некрасивое — тоже большое и скуластое, будто кто его топором из сосны срубил.

Но хоть была она велика, мать говорила Леке, что Христя больная и все в деревне ее жалеют и потому не смеются, что она большая, а работает она почтальоном — носит письма.

Христя вошла в избу, поглядела внимательно на Леку и, не глядя на деда, спросила:

— Не приходила?

Дед Антон мотнул головой.

Христя топталась у порога, без своей почтальонской холщовой мешковины, и растерянно смотрела то на деда, то на Леку.

— Ты, Лека, иди-ка на клеверище, побери чего, — сказал старик.

Лека послушно стал собираться, шастать по углам, искать корзинку. На клеверище уже почти ничего не было — это он знал точно, с ребятами был там не раз, и все они выбрали. А собирали они клеверные цветы — кашку, как называл он их раньше, когда жили в городе. Кашку клали на железные черные противни и сушили в печи. Потом мать толкла ее в ступе, и получалась коричневая мучица. Ее сыпали в мешок и, добавив немного муки, пекли шаньги с картошкой или оладьи.

Леке эта стряпня из клеверной муки понравилась сразу, и он удивлялся, чего это мать, глядя, как жует он черные оладьи, вдруг пригорюнивалась или, того хуже, начинала плакать.

Ему нравилось собирать кашку и приносить домой целую корзину цветов, пахнувших медом, но сейчас-то там уж почти ничего не осталось. Сентябрь все-таки.

Лека нашел корзинку и еще раз поглядел на тетку Христю, которая села на лавку рядом с дедом, и на старика. Дед Антон дул в «корап» и глядел на дно кружки. Лека вышел в ограду и огородам пошел к клеверищу.

Из головы не выходил тихий дед Антон.

«Антошка на одной ножке», — вспомнил Лека детскую загадку.

4

Как Лека думал, так и вышло. Он шел домой, а кашка чуть покрывала дно ивовой корзинки. С клеверища он заглянул в перелесок. Было совсем тихо, спину припекало солнышко, а последние листья на осинках дрожали и трепетали, как маленькие пропеллеры, чувствуя даже самые незаметные ветры. Как по красно-желтому насту шел Лека по листьям, нематым и чистым, словно свежий снег. Серая кора осинки, нагретых с солнечной стороны, с теневой была прохладна. Деревья бросали глубокие тени, синие, будто настоящие.

Лека увидел два гриба среди листопадного вороха, подивился, что они лежат как-то странно: один — шляпкой вниз, а другой, поменьше, — боком, протянул руку и вздрогнул. Он укололся, и капелька крови выступила на пальце, будто красная бисеринка. Лека улыбнулся — под листьями прятался еж, а грибы, наколотые на его иголки, лежали на спине.

Ежик растопырил иголки, и большой гриб упал, а второй, маленький, поднялся вместе с иглами. Зверек сунул нос к животу, и лежал, наивный и неприступный.

Лека, улыбаясь, поставил ивовую корзинку боком к ежику, забрал рукав своего пиджака и легонько двинул зверька. Тот, как шарик, перекатился в корзинку, и Лека, взяв упавший гриб, кинул его ежу, который лежал на лиловом матрасе из кашки, и сверху присыпал опавшими листьями.

Теперь Лека вприпрыжку, напевая, мчался к деревне. Ежик шебаршил листьями, и мальчишке не терпелось показать его всем. Поэтому он пошел не огородами, хотя так было прямее и быстрее, а деревней.

На улице, заросшей травой, никого не было, только бродили куры. У своего дома на лавочке сидела Нюська и во все глаза глядела на Леку. Он подбежал к ней, откинул ворох листьев и показал ежа. Нюська должна была удивиться, но она не удивилась, а только по-прежнему во все глаза глядела на Леку.

— Ты что? — спросил он. — Онемела?

Нюська ничего не сказала, только поправила свой серый платок, из-под которого выбились белые, совсем льняные волосы.

Ах эти волосы! Длинные и пушистые, белые с золотинкой. За эти белые волосы в деревне звали Нюську «светлячком».

Нюська обижалась, когда ее так звали, но Леке казалось, что она совсем зря обижается: ведь «светлячок» — это хорошее имя.

Нюська покраснела от Лекиных слов, хотела что-то сказать, даже рот приоткрыла, но раздумала, моргнула своими длинными ресницами и промолчала.

Лека помчался к дому. Навстречу, по улице, ехала телега, на которой сидела Антонида, председательша сельсовета, та самая тетка, которая встречала эвакуированных.

Издаleка еще она уставилась на Леку. Смотрела Антонида так, будто первый раз увидела его. Лека побаивался Антониды. Она казалась ему мрачной и злой, никогда не говорила с ребятами. Он съежился от ее пристального взгляда, и ноги у него словно остыли, стали деревянными. Лека замедлил шаг под Антониным взглядом, а когда разминулся с телегой, дал стрекача. Потом он оглянулся: Антонида, обернувшись, все смотрела на него — жалостливо и печально.

Лека побежал к дому. Дед Антон всегда запира́л дверь на щеколду, а тут она была распахнута, и еще с улицы Лека увидел, что в ограде стоят какие-то люди.

Он вошел и узнал всех этих женщин: это были соседки, были тут и женщины с дальних концов деревни. Лека не помнил, чтобы они когда-нибудь заходили к ним, и удивился, и застеснялся чужих одновременно. В сенцах тоже толпились бабы, и, пока Лека проходил, его несколько раз погладили по голове чьи-то чужие, шершавые руки.

Он вошел в избу и увидел, что она почти пуста. На лавке сидел дед Антон, у печки, прислонясь, стояла Христя-почтальонка, и две беженки, с которыми ехали они от самого города, тоже стояли, но у стены.

Рядом с дедом сидела мать.

Лека хотел было сразу кинуться к ней, чтобы показать свою корзинку, но на миг остановился, застеснявшись чужих, и только теперь внимательно посмотрел на мать.

Она сидела на лавке за деревянным столом, который скоблила ножом каждые две недели и который всегда был словно свежеструганный, и смотрела повыше Леки остановившимся, отчаянным, сухим взглядом.

Лека подошел поближе и встал перед столом, думая, что мать увидит его. Но она по-прежнему смотрела через него.

Лицо у нее было серое, и вдруг Лека понял, что мать, всегда казавшаяся ему такой молодой и такой красивой, сегодня совсем старуха.

Он опустил корзину на пол, и в тишине было слышно, как ежик шуршит листьями.

Сбоку прошла какая-то тень. Это большая Христя села рядом с матерью и погладила ее по голове. Как маленькую.

— Поплачь, Маша, поплачь.

Мать по-прежнему сидела, глядя в угол мертвым взглядом.

Христя обняла ее за плечи, и Лека вздрогнул. Христя запела. Сначала Леке показалось, что она плачет, но потом он услышал слова:

Калинушка со малинушкой в саде расцвела,
Ой, в саде расцвела, ой, да на ту пору...

Христя вздохнула, переждала секунду, набирая дыхание, и слезинка прокатилась по ее щеке.

Да на ту пору, на то время
Мать дочь родила.

Голос у нее был глубокий, задушевный, и пела Христя будто не горлом, а сердцем, таким же большим, как и сама она.

Мать дочь родила,
Да, ой, не собравшись с умом да разумом,
Замуж отдала-а...

После этих слов Лека неожиданно понял, что случилось какое-то несчастье.

...Замуж отдала за такого детинушку,
Ой, что за горьку пьяницу
Да за разбойничка...

Песня была протяжная, печальная, и как-то очень уж горько пела ее Христя, обнимая мать.

Мать вдруг вздрогнула — и телом и лицом — и уронила голову на стол, страшно, тихо завывала. Лека испугался, и слезы покатились из его глаз сами собой. Он обернулся, глядя на баб, а они, тревожно смотревшие на мать, вдруг вздохнули, лица их размягчились, будто свалилась с плеч какая-то гора, и запели тоже вместе с Христей:

Рассержусь я на мамоньку, на родимую,
Не приеду в гости к мамоньке
Ровно три года.
На четвертый год
Пташкой прилечу,
Ой, пташечкой, да сизой пташечкою
Да во зеленый сад.

В ушах у Леки стоял какой-то стеклянный звон, и он слушал песню будто в полусне. Чья-то рука взяла его за плечо, и Лека оказался у деда Антона. Тот прижал его голову к себе и сказал:

— Батьку твою убили на войне.

Лека закричал диким, пронзительным голосом, но бабы не замолчали, только посмотрели на него жалостливо и пели дальше:

Сяду в садик да на яблоньку
Да на кудрявую
И спою я песню жалобиую,
И спою я песню жалобну
Да жалобнехоньку-у...

На другой день мать поднялась рано, когда еще спал даже дед Антон, и долго бессмысленно бродила по избе, выходила в сени, обошла ограду, а потом принялась чистить закоптелый дедов чайник. Она терла его мокрой тряпичей с песком, тихо, чтобы не разбудить деда и Леку, всхлипывала и подолгу терла одно и то же место. Песок поскрипывал, и Лека проснулся от этого тихого скрипа. Он спустился с полатей вниз, подошел к матери босой, в одной нательной рубаше и латаных кальсонах и прижался к материнной груди.

Она гладила его нестриженую, лохматую голову, захлебываясь в слезах, и сдерживалась, чтобы не перейти на громкий, безудержный плач.

Лека рано пришел в школу. Его встретила уборщица тетя Катя с засученными рукавами и мокрой тряпкой в руках. Увидев мальчишку, она было всполошилась и зашумела, но потом вдруг замолчала, разглядев его, и пустила в класс.

Лека сел за свою парту. Спрятал холщовую сумку с книгами. Сумка за два года, пока он учился, пообносилась, нижний угол ее был залит чернилами, потому что однажды они после уроков махались на улице сумками и Лека разбил свою непроливашку.

Он опустил крышку парты и облокотился, глядя на карту, на которой флажки подошли совсем близко к синей жилке.

Лека вспомнил, что у отца на руке, чуть повыше ладони, тоже была такая голубая жилка. Когда отец колот дрова или чертил свои чертежи, жилка вздувалась и становилась синее.

Лека все никак не мог вспомнить отца целиком, всего, полностью. Он явственно видел отцовскую жилку на руке, родинку на шее, помнил, что отец, когда он был совсем маленьким, пел ему грустную песню, где были такие слова:

Черные силы мятутся,
Ветер нам дует в лицо.

Потом отец уходил на войну, и за спиной у него висел тощий зеленый мешок. Он не взял ничего лишнего.

Лека вспомнил еще, как он с мамой, когда отец уже воевал, вернулся домой из детского сада. Сыпал тихий

снег, а в почтовом ящике краснела обложка «Мурзилки».

Мать достала журнал и сказала:

— Вот, Лека, твоя последняя «Мурзилка». Больше не будет.

А потом был эшелон, свист бомб, телега с усталой лошадей, которая привезла их в деревню с веселым именем Суднишонки.

Нет, Лека никак не мог вспомнить отца. Он и раньше это пытался делать, но не получалось и тогда, хотя он ясно видел широкие отцовские брови и серые глаза. Мать не раз говорила, что Лека весь в отца, а значит, будет несчастливый, потому что мальчики должны походить на матерей, а девочки — на отцов, иначе им не повезет в жизни.

Отец в его памяти состоял из частей, которые он хорошо представлял, — руки, брови, глаза, зеленый мешок и гимнастерка, а вот сложить эти части воедино он никак не мог. Раньше, когда отец был жив, это еще прощалось, но сейчас то, что он не может вспомнить отца, казалось Леке кошмарным.

Скрипнула дверь, и в класс вошла Нюська. Светлячок. Она подошла к Леке и села рядом с ним, положив на парту зависть всех мальчишек — противогазную сумку, в которой Нюська носила книги.

Лека отвернулся и стал смотреть в окно. Он слышал, как в класс приходили ребята, потом прозвенел звонок, и пришла Мария Андреевна, зябко кутаясь в свою шаль.

Он все глядел за окно. У него болела голова, он ничего не слышал, что говорили в классе. Ему все было безразлично, раз нет теперь отца и раз такое серое лицо у матери. Он пытался вспомнить, что пела вчера тетка Христя, но никак не мог припомнить слов. Такую песню он никогда не слышал. И другие песни, которые бабы пели потом, он тоже не знает.

К нему подошел Санька Рыжий и сказал:

— Ну, ты, слабак. Догони меня, Лелечка!

Лека не повернулся. Он слышал только, как кто-то хлопнул Рыжего по башке книгой и тот обиженно зашипел. «Наверное, Нюська», — вяло подумал Лека.

На второй перемене к Леке подошла Мария Андреевна. Он оторвался от окна и посмотрел на нее. Из-за учительницы выглядывала Нюська.

— Ты отдохни, Валерий, — сказала Мария Андреевна. — Тебе, видно, нездоровится.

Она помолчала, потом посмотрела на Ньюську, обернувшись, и добавила:

— И тебя, Анята, я тоже отпускаю. Идите вместе.

Лека машинально удивился. Анята. Какое, оказывается, красивое имя у Ньюски! Анятины глазки. Цветы такие бывают. А в деревне тетки зовут ее Ньюска Колихина.

Они шли по старой, вдоль и поперек исхоженной дороге. Только сегодня Лека шел по колее, а Ньюска по канаве, где лежали осенние клады — золотые листья.

— Ньюска, — спросил Лека, — а почему бабы тебя кличут Ньюска Колихина?

— Это, значит, отец у меня Коля был. Николай. Вот и кличут...

— Почему ты говоришь — был. Где он?

Ньюска помолчала минуту и сказала тихо:

— Убили на войне. Как и твоего.

Лека остановился, пораженный. Он, конечно, хорошо знал, что много деревенских мужчин уже погибло на фронте, но вчерашнее горе затмило это, выбило из головы, заслонило все. Ему казалось, что только у него, у мамы, у деда Антона такая беда, и он совсем забыл, что не у одного у него в деревне убили отца. А что у Ньюски-Светлячка отца убили, он и не знал вовсе.

Лека переспросил растерянно:

— Убили?

— Еще в том годе, — сказала Ньюска.

— Году, — поправил он машинально, все еще пораженный.

— Еще в том году, — сказала Ньюска.

6

Теперь уж Саньке Рыжему была отрада. Как только Лека с Ньюской появлялись в классе, он орал во всю мочь:

— Жених и невеста! Жених и невеста!

И ребята смеялись. Они, наверное, тоже думали, что Лека и Ньюска — жених и невеста, потому что они в школу и из школы в свои Суднишонки всегда теперь ходили вместе. К тому же Лека звал Ньюську не Ньюской, а Анятой. Он-то делал это назло Саньке и осталь-

ным, но они говорили, что он Нюську полюбил, потому так и зовет. Дураки!

Лека попробовал было врезать Саньке Рыжему, да опять не догнал его в своих сапожищах — будь они прокляты!

Странно: ребячьи обзывательства на Леку не действовали. Он каждый день ходил с Нюской, и даже в голову ему не приходило куда-нибудь спрятаться от нее — пусть идет одна. Больше того, когда не было Нюски, он ходил как потерянный. Будто чего-то не хватало.

Анюта жила в дальнем конце деревни, поэтому Лека, выходя из избы, всегда поджидал, пока она подойдет. За околицей лежали три километра кочковатой, неразъезженной дороги.

Шуршали под ногами листья, пожухлые, посеревшие уже, а долгая теплая осень не хотела уходить. В небе клубились быстрые, низкие облака, иногда проливался дождь, но потом снова выходило солнце, и дорога медленно просыхала, оставляя неглубокие, хрустальные лужи.

Нюська рассказала Леке, что, оказывается, Мария Андреевна совсем еще молодая, только кажется такой старой, и замуж вышла совсем недавно, в субботу перед войной, а в воскресенье муж ее, тоже учитель, ушел на войну, и с тех пор не получила она от него ни одного письма. И похоронной тоже не получила. Это говорила школьная уборщица тетя Катя, когда приходила к Нюскиной матери; они с ней еще с детства дружат.

Лека выслушал Нюскин рассказ без удивления; он теперь этому не удивлялся. Только боялся, что придет похоронная деду Антону на его сына Ивана. Он очень боялся этой похоронной, боялся и ждал ее. Ему почему-то казалось, что тогда дед Антон не вытерпит такого горя, умрет, а без деда он не представлял, как они будут жить дальше.

Вот отца убили, нет его больше, и это горе для него, Леки, но если не будет деда Антона, это будет еще большее горе.

Лека представил себе деда Антона в гробу и испугался сам себя, испугался, что такие мысли лезут ему в голову.

Потом они прочитали «Тимур и его команда», прочитали по очереди, аккуратно перелистывая лохматые, обтрепанные страницы, и решили, что надо, как в книж-

ке, нарисовать звездочки на домах. Только на тех, где кто-нибудь убит на войне.

Вечером, когда стемнело, они, взяв с собой мелок, украденный из школы, пошли по деревне. Когда прошли одну сторону, на каждой избе рисуя звездочку, Ньюска остановилась и сказала:

— Пошли назад.

— Почему? — спросил Лека.

— На всех избах звездочки рисовать надо. Только у Христи никого на войне нет. Никого у нее нет.

Леку потрясли эти слова. Оказалось, в Суднишонках, хоть, правда, деревенька и небольшая, нет избы, где бы кто-нибудь не погиб на войне — или муж, или брат, или сын, или зять...

Они шли обратно, к Лекиному дому, обходя лужицы.

— А почему Христя плачет и поет? — спросил Лека, и Ньюска поняла, о чем он.

— Жалеет, значит. Жалостливая она.

Жалостливая...

Дома в ограде дед Антон колол дрова. Когда Лека вошел в избу, мать сидела за столом и ничего не делала, просто сидела и глядела, задумавшись. После того дня все у нее валилось из рук, и она часто сидела вот так, как сейчас.

Увидев Леку, мать поднялась и поставила миску со щами. Поставила и снова села, думая о своем.

Мать здорово изменилась за последнее время. Когда приехали в Суднишонки, она была еще совсем молодой и выделялась среди деревенских баб, похожих на старух.

Потом она положила свое городское пальтишко в дедов сундук, а сама надела стеганку умершей дедовой бабки, серый платок и по одежде стала такой же, как остальные бабы, — похожей на старуху.

Но это только казалось, что она старая, из-за одежды. А глаза у матери были красивые, черные, и глядели они молодо из-под старушечьего платка. Мать похудела, кожа ее пожелтела, а глаза по-прежнему смотрели по-молодому.

Когда Христя принесла похоронную и мать просидела несколько часов кряду, глядя черными своими, глубокими глазами в угол, не проронив слезинки и не сказав ни слова, а потом плакала под печальную Христину песню, глаза ее будто угасли. Лека хлебал несо-

ленные щи и глядел на мать, совсем старуху. Желтая кожа на лице, и тусклые, бесцветные глаза.

Он хотел было сказать ей, что она забыла посолить щи, но потом раздумал и сам полез в печной глаз за солонкой из зеленого и толстого пузырчатого стекла. Мать так ничего и не заметила. Она глотала бессолье, а сама все смотрела и смотрела в стенку.

Вошел дед Антон с охапкой смолянистых поленьев и затопил печку.

Из печной полки вылез, разогревшись, отолок — черный, толстый таракан — и пополз по белой стене.

Дед взял его за бок, поглядел, как тот барахтает в воздухе лапами, и сказал:

— Ишшо говорят, тараканы шастье несут.

Мать оторвалась от стенки и протянула:

— Да-а.

И неизвестно, чему она это сказала — дедовым ли словам или своим мыслям.

Говорили в избе с того дня мало. Молчал дед, а мать и подавно. Лека тоже не лез к ним со своими разговорами; он обо всем говорил с Нюской, а дома больше молчал.

Одна мысль не давала ему покоя. И когда он с Нюской разговаривал, и когда был наедине с самим собой. Вот и сейчас, когда дед сказал про таракана, эта смутная, неясная мысль стала четкой и понятной.

Раньше Лека не понимал, почему дед радовался, что старуха умерла весной, в сорок первом. Теперь, когда старик держал в руке таракана и глядел на него так, будто этот черный огарок принесет счастье, Лека вдруг понял, что дед Антон радовался не смерти своей старухи, а тому, что она умерла до войны, не дождавшись ее и так и не узнав о ней.

Лека подумал, что он ни от Нюски, ни от матери, ни от деда, ни от кого не слышал, чтобы теперь, в войну, кто-то умер своей смертью — от старости. Сейчас люди умирали только от войны, только от нее.

Даже Христина тетка, старуха Макоевна, которая померла прошлой зимой, кончилась не просто так, а от какой-то болезни, о которой раньше, до войны, и не слышали.

Во всем была виновата война.

Дед постоял у печи, сунул таракана в печной паз и вздохнул, сказав неожиданно:

— Эх, счастья бы.

— Счастья бы... — как эхо отозвалась мать.

«Ну да, — подумал Лека. — Счастья бы!» Вот о чем он думал столько времени. Счастья бы!

7

На другой день по дороге в школу Лека спросил Ньюску. Даже не спросил, а сказал просто, но сказал как-то вопросительно, будто Ньюска должна была ответить ему и помочь. Сказал серьезно, подражая деду и матери, как говорили это они вчера.

— Вот счастья бы! — сказал он.

Потом они долго шли молча, каждый думал о своем.

Листья больше не шуршали под ногами, они лежали мокрые и прелые от частых дождей и уже не казались дорогими кладами, а были просто горкой черных и липких остатков осени.

Лека думал о том, что хорошо бы совершить какое-нибудь дело, от которого сразу всем стало бы хорошо и счастливо, и чтобы поганые немцы полетели вверх тормашками и припустили обратно.

Ньюска думала тоже о чем-нибудь таком, что приносит счастье.

— Вот, — сказала она, — мать говорит, если черная лошадь дорогу перейдет, значит, счастье, а белая — к беде.

— Это ерунда, — ответил Лека. — Так бы каждый на дорогу встал и ждал, когда черные лошади пойдут.

— Тараканы вот... — начала Ньюска, но Лека только махнул рукой и вздохнул:

— Во всех избах тараканы...

Он вспомнил вечернюю деревню, когда они с Ньюской ходили рисовать звездочки, ходили считать горе. Ему снова сделалось жутко от мысли, что он, Лека, ничего не может поделать.

— ...или сверчок! — сказала Ньюска.

Сверчка у деда Антона в избе не было. И у Ньюски не было тоже. Сверчков не было во всей деревне — это они знали точно.

Лека с Ньюской остановились. Они глядели друг на друга и улыбались. Конечно, сверчок! Вот кто принесет счастье Суднишонкам. Да только как его найти? Он

живет в избах, в щелях или за обоями, и Лека его никогда не видел, даже на картинках.

— Я знаю, где его взять, — сказала Нюська. — У Саньки Рыжего. Он говорил, что у них в избе даже два сверчка есть. Пилят и пилят, говорил, уроки учить не дают.

«Точно, говорил», — Лека тоже это вспомнил. Было это, когда Санька Рыжий получил в один день три двойки, и Мария Андреевна спросила его, почему он не учит уроки. Тогда Санька и сказал, что ему сверчки мешают.

— Удивительно, — сказала тогда Мария Андреевна, почему-то улыбаясь. — Другим людям сверчки счастье приносят, а тебе двойки.

— Не даст он, — сказал Лека. — Жадюга Санька! Даром что рыжий. Рыжие, говорят, добрые.

— Даст, — ответила Нюська.

— Не, — сказал Лека, — бесполезно.

— Даст... — упрямилась Нюська. — Я ему свою сумку отдам.

Лека посмотрел на ее противогазную сумку. Жалко отдавать сумку этому Рыжему Саньке. А Нюська молодец, ничего не жалеет.

— Ну, на сумку, пожалуй, — сказал он.

С Санькой они решили поговорить сразу же, не откладывая дела в долгий ящик. Но, как назло, Рыжего в классе не оказалось. Они, волнуясь, прождали его до самого звонка, но Санька так и не появился.

На перемене Лека и Нюська договорились, если Санька не придет, после уроков пойти к нему домой. Он жил в Матанцах, деревне недалней, всего в километре от школы. Так и так к Саньке надо было идти: сверчок-то жил у него дома.

Все уроки Лека с Нюской просидели как на иголках, вертелись и шептались. Только однажды они утихли, когда Мария Андреевна оторвалась от чистописания и стала рассказывать про звезды.

Лека сразу представил себе звездное небо. Здесь, в Суднишонках, звезды, казалось, висели ниже, ближе к земле, чем в городе, и сверкали ярче. Бывало, в конце лета звезды почему-то падали.

Лека поднял руку, Мария Андреевна кивнула ему.

— А бывает, — сказал он, — звезды падают. Я видел.

— Бывает, — ответила Мария Андреевна. Она почему-то задумалась и посмотрела в окно.

Леке показалось, что она чем-то походит на мать. Потом понял — платок. Платок, по-старушечьи надвинутый на лоб.

Хоть он у Марии Андреевны и пуховый, мягкий, не то что у матери, но все равно под ним учительница походит на старуху, хоть она и совсем молодая, как говорила Нюська.

— Бывает, — повторила Мария Андреевна, по-прежнему глядя в окно, на пасмурное, низкое небо. — Есть даже такая примета: загадай желание, пока звезда падает, и оно обязательно сбудется.

Лека ухмыльнулся и посмотрел на Нюську: скоро ли уж уроки кончатся.

Дорога до Матанцев — всего один километр, в три раза ближе, чем до Суднишонок, но Леке с Нюской она показалась страшно длинной.

Они шли за сверчком и были уверены, что добудут, непременно добудут его у Саньки: не зверь же лютый он, в конце концов.

Лека придумывал всякие слова, которые надо было сказать Саньке, чтобы получить сверчка и в то же время не уронить свое достоинство.

Например, можно было начать так:

«Мы пришли к тебе, Саша Соловьев, как к человеку...»

Нет, это не то. Санька может обидеться, сказать:

«А что, я не человек, что ли?»

Можно, конечно, было бы сказать так:

«Сашка, будь другом...»

Но это уж слишком. Даже если Санька и даст сверчка, так другом он никогда не будет, не такой он человек, чтобы предлагать ему дружбу.

Наконец Лека придумал. Такое начало ему самому понравилось:

«Саша, выручи ты нас и всю нашу деревню Суднишонки».

Впрочем, слово «Суднишонки» можно не говорить, потому что, во-первых, Сашка и так знает, как называется их деревня, а во-вторых, раньше он смеялся над этим названием и говорил, что Матанцы лучше.

Избу Соловьевых они нашли быстро. Потом вежливо постучали и открыли дверь.

Лека сразу все понял. Как тогда у них дома, на лавке сидела почтальонка Христя и пела ту печаль-

ную, знакомую песню, одной рукой обнимая женщину, видно, Сашкину мать.

Сашка лежал рядом, на желтой лавке, как и во всех избах. Другая тетка, приподняв его голову, поила его. Сашкины зубы стучали о кружку, и слезы падали прямо в воду круглыми, стеклянными горошинами.

Увидев Леку и Нюську, Санька сел и сказал громко:
— Братана убили фашисты!

И заревел громко, навзрыд, не вытирая слез, глядя на ребят широко открытыми глазами.

Лека переминался с ноги на ногу, вспоминая, что совсем недавно та же самая большая и жалостливая Христя обнимала его мать и пела те же слова:

Сяду в садик да на яблоньку
Да на кудрявую
И спою я песню жалобную.
И спою я песню жалобну
Да жалобнехоньку-у...

Он чуть не заревел вместе с Санькой, но сдержался, толкнул в бок Нюську. Она уже вытирала глаза рукавом своего взрослого жакета.

На столе перед матерью лежала фотокарточка. На снимке был молодой парень с чубом из-под фуражки и с гармошкой в руках.

«Это и есть Сашкин брат, — подумал он. — Эх, Санька Рыжий!»

Нюська что-то шепнула Леке на ухо.

Он не разобрал.

— Открой свою сумку, — повторила она.

Лека удивленно послушался. Но в другую же минуту понял, что придумала Нюська. Она вытащила книжки и тетрадки из своей противогазной сумки и сунула их в холщовый Лекин портфель. Потом положила свою сумку рядом с Санькой, и они пошли к дверям.

На пороге что-то скрипнуло. Лека подумал, что это скрипит дверь, но скрип был длинный, веселый, совсем некстати и не прерывался. Лека понял, что это сверчок.

Тут же запиликало еще, и Нюська толкнула его: второй!

Они послушали мгновение, как пият где-то за обоями знаменитые Сашкины сверчки, и вышли в сенцы.

Всю ночь Леке снились сверчки. Были они зеленые, как кузнечики, и рогатые, как жуки. Сверчки сидели на бревнышке, сложив лапки на животе, и говорили человеческими голосами. Лека прислушивался — хотел узнать, о чем это они говорят, но так ничего и не расслышал.

Лека проснулся, удивляясь: в голове плыли еще только что увиденные сверчки, похожие и на кузнечиков и на жуков сразу, и слышался гомон их голосов.

В окнах было еще темно. Видно, глубокая ночь. Лека свесил голову вниз. На лавке, задумавшись, сидел дед Антон. Он облокотился, и растрепанная борода его торчала вперед. Между коричневыми, кургузыми пальцами дед зажал сигарку, но, видно, забыл про нее, и она дымилась, прожигая газету, сжигая самосад, осыпалась серым пеплом.

Глаза у деда остекленели; он о чем-то думал, думал так, будто вовсе ушел из избы, ушел отсюда совсем далеко куда-то... Может, к сыну, Ивану Антоновичу, в действующую армию. Писем от сына не было давно, с месяц, а то и побольше, но Лека под дедову диктовку продолжал писать короткие письма, которые кончались все так же: «Жду ответа, как соловей лета». Только теперь эти слова почему-то не казались Леке смешными, а наоборот — грустными, печальными, будто зовущими...

Утром, едва только Лека натянул порты и, заспанный, еще не умытый, стоял, потягиваясь и ежась, дверь распахнулась, и явилась Нюська. Перешагнув порог, она сразу же замахала руками, что-то зашептала.

Лекина мать увидела Нюську, не удивилась, сказала:

— Обожди, порты-то пусть наденет.

Дед Антон уже топтался у дверей, поджидая мать. Сегодня они вместе со всеми шли на картошку. Лека знал: дед пойдет за лошадьё с плугом, аккуратно выворачивая картофельные рядки, а мать с ведром будет топтаться где-то сзади, отдирая от земли большие, крахмалистые картофелины.

Картошку должны были всю оставить в деревне, потому что нынче намолотили хороший урожай хлеба и сдали и за картошку хлебом. Бабы радовались, что в погребях будет полно картошки, хватит сытно пе-

резимовать. Но дед Антон сказал Антониде, что и картошку надо, сколько положено, сдать государству. Дед просто сказал, и Антониде просто передала дедовы слова всем бабам, и никто не сказал ни слова, все согласно кивали головами, и вот сегодня все выходили на картошку.

Мать кивнула Леке, прихватила с печной приступки старые варежки, которые носила еще дедова бабка, и вышла вслед за стариком во двор.

Лека, уже умытый, устоялся на Нюську, а она, перебивая сама себя, запинаясь, волнуясь, сказала, что надо «поймать звезду».

Лека ничего не понял, только фыркнул:

— Какую звезду?

Тут Нюська все выложила снова, уже спокойнее и понятнее. Как и Лека, все думала она о том самом и вдруг вспомнила вчерашний школьный разговор, когда Мария Андреевна сказала, что, если падает звезда и что-нибудь загадаешь на нее, все сбудется.

Лека задумчиво подошел к печи, налил в дедов «коряп» жидкого чаю и начал пить, дуя и с шумом прихлебывая, совсем как дед, когда он «шлыцкал».

Да, Нюскина идея ему нравилась. Только выйдет ли что? Ну хорошо, загадаем, чтоб счастье было, а дальше что? Сидеть и ждать, пока оно наступит? Нет, сидеть и ждать Леку не устраивало. Что-то сделать надо, а так — сидеть и ждать — всякий дурак может.

Нюська сопела рядом, придерживая на коленках книжки, перевязанные обыкновенной бельевой веревкой, толстой и лохматой, и ждала Лекиного суда.

— Нет, — сказал он.

Ждать ему не нравилось. Вот кабы...

— Слушай! — вдруг вспыхнул Лека. — Слушай!

Он даже покраснел от своей прекрасной мысли.

— Нюська! Надо вот как!..

В школу они не пошли. Чтобы сохранить силы. Мало ли, сколько придется идти. Да ночью. По кочкам. А может, по лесу. И приготовиться в дорогу надо.

Они привязали Нюскину бельевую веревку к Лекиной холщовой сумке, чтобы можно было нести, как мешок, через плечо. Нюська сбегала домой и принесла несколько холодных вареных картофелин и горбуху хлеба, а Лека сложил в сумку три ватрушки из клеверной муки, большую репу и даже морковь — на всякий случай, хоть он ее и не любил.

Потом они забрались на полати — подождать, пока стемнеет, и отдохнуть немного. Они уговорились рассказывать сказки, кто какие знает. Оказалось, что Лека знает больше Нюськи, и, когда у той кончился весь ее запас, он говорил уже один, вспоминая, какие сказки говорил ему отец там, в большом, красивом городе, где жили они до войны.

Потом Лека увидел, что Нюська заснула под его сказки, и хотел было обидеться, толкнуть ее в бок, да раздумал: подумал, что впереди ночь, которую надо пройти пешком, и сам привалился к Нюське, к чистым ее золотым косичкам, выглянувшим из-под платка, и заснул тоже.

Проснулся он неожиданно. Нюська спала так сладко, что даже слюнка выбежала на воротник. Лека толкнул ее в бок, и она вскочила, непонимающе глядя по сторонам, потирая рукой красную щеку, которую отлежала.

Наступили сумерки, но было еще светло. Они выскочили на улицу.

Небо золотилось у края земли, потом постепенно голубело и, наконец, синело, у другого края становясь сиреневым.

Торопясь, Лека и Нюська забрались на крышу и по деревянным досочкам, прибитым к крутой ее спине, влезли на конек.

— Подождем, — сказал Лека.

Они уселись рядом, как два воробья, и стали глядеть в небо.

Там, где небо было сиреневым, чуть заметно мерцали звезды.

Ночь приходила тихо, неслышно.

Золотая полоска на горизонте все бронзовела, потом превратилась в красную медь, такую же, из какой отлита ступа, где толчет сушеные клеверные цветы мать на муку. Лека смотрел, словно замороженный, со своего шестка на чудную игру света за лесом и не мог оторвать глаз, смотрел, как слепой, не мигая и ни о чем не думая.

В кустах шелкали синицы, обклеывая последние ягоды, прозрачный ветерок лизал затылок, шебаршила сухая трава.

Лека чувствовал себя легко и просторно, будто он стал частичкой всего этого — и медного, как ступа,

заката, и ключевого воздуха, и чуть слышных шорохов земли.

Он не чувствовал ни своих рук, ни ног, ни биения сердца, он забыл, что Нюська сидит рядом. Оказавшись между землей и небом, на коньке крыши, он будто растаял во всем, что его окружало.

Неожиданно Лека понял, ощутил всем своим существом, что он скоро будет очень счастливым и что это счастье уже началось. И все, кто живет рядом с ним, будут чувствовать себя так же, как он сейчас, — свободно, легко, радостно, одним словом, счастливо. И дед Антон — «Антошка на одной ножке», — добрый бородач с коричневыми от земли руками, и мать, которая снова выпрямится, распрямит спину, и глаза снова зажгутся у нее необыкновенным светом, и Нюська-Светлячок, и тетка Христя, и учительница, похожая на старуху, и даже Сашька Рыжий, по фамилии Соловьев.

Нюська толкнула Леку в бок, и он вздрогнул.

— Смотри, — шепнула Нюська, и Лека оторвался от красного зарева и посмотрел наверх.

Небо смотрело на них тысячами блестящих глаз. Одни из них подмигивали, другие смотрели цепко, не моргая.

— Ну, посмотрим! — сказал Лека. — Тебе эта половина неба, мне эта...

Они зашевелились на коньке, повернулись спиной друг к другу и задрали головы.

Звезды висели низко, зачаровывая и маня. Безмолвное небо, странное, черное небо с белыми крапинками смотрело на них, как волшебник, обещавший подарить счастье.

— Не пропусти! — прошептал Лека.

— Не бойсь! — как эхо, вздохнула Нюська.

Звезды висели на своих местах и не собирались ладать, прочно, видно, приколотенные к небу. Как загипнотизированные, Лека и Нюська смотрели, не мигая, на них, ожидая, прося, моля, требуя чуда.

Ведь чудеса есть, бывают, об этом знают все в деревне. Вон и дед Антон говорил, что в лето, когда война началась, в лесу грибов много было, а есть такая примета, когда урожай на грибы — быть войне. Дед Антон шутить не будет: и ведь правда война началась. Да что говорить, сколько в деревне разных чудес, и все они есть, и правильные, — Лека сам не раз в этом убеждался. Если вороны кричат, быть дождю. Пусть

на улице солнышко, ни одной тучки на небе, а если у деда Антона спину ломит, тоже жди дождя — это уж точно. Ну, а если собаки воют, жди покойника. Когда старуха Маковеевна, Христина тетка, помирала, собаки всю ночь выли, даже мороз по коже подирал.

Да, чудеса есть. И Лека ждал, когда упадет звезда — веселая звезда, приносящая счастье.

И чудо совершилось.

Прямо перед Лекой с черного полотнища сорвалась звездочка и, прочертив золотую дорожку, упала в лес.

— Упала! — крикнул Лека, не отрывая глаз от того места, куда она упала.

— Где? — обернулась Нюська.

— Вон там, за той елкой, видишь?

Они заметили елку, по которой нужно было ровнять путь, и быстро скатились с крыши. Вдалеке гремели ведра. С картофельного поля возвращались люди. Котомки с едой лежали на лавке.

9

Идти было страшно. Пока шли по полю, еще ничего — видно все хорошо, луна всюю помогала, хотя она и тонкая еще была, серпиком. А в лесу стало совсем плохо.

Лека шел впереди и все время натыкался на кусты или елки. Он вздрагивал от прикосновения холодных, как чьи-то ладошки, листьев, кололся о хвойные иглы, но шел, стараясь не сбиться с дороги. А дороги не было. Лека просто шел прямо. Если перед ним вырастала огромная сосна, он обходил ее и продолжал дорогу прямо за ней, по ровной линии. Нюська шла сзади, а поэтому Лека чувствовал, что за спиной есть защита, если чуть что.

Было тихо-тихо. Над головой по-прежнему блистали звезды, и Лека рисовал себе картину, как они с Нюской выходят на поляну, а поляна вся горит в темноте, как хрустальный дворец. На поляне, на траве, еще зеленой, лежит осколок звезды — это он освещает поляну. Звезда горит, но не горячим пламенем, как уголья в печи, а просто светится голубым цветом, и ее можно взять в руки и не обжечься. И как только они с Нюской подходят к звезде и берут ее в руки, сразу наступает счастье.

Лека не знает, какое оно, счастье, и как все это произойдет, что он, и Нюська, и все вокруг станут счастливыми, если они найдут звезду. Но ему казалось, что счастье будет таким: все будут чувствовать себя так, как он чувствовал на крыше, и так же всем будет легко и свободно, и чего бы люди ни пожелали, все станет так, как им надо. И будет в доме настоящая мука, о которой часто говорит мать, и дед Антон закурит не самосад, а тонкую папироску, какую он курил до войны, покупая в сельпо, и найдется муж Марии Андреевны, и придет письмо от Ивана Антоновича.

Лека остановился, и у него оборвалось сердце, и нехороший комок подкатил к самому языку — в темноте гулко что-то захлюпало, затрепетало. Лека остолбенело, до боли в глазах вглядывался в темноту, и только красные искры мельтешили перед ним.

— Не бойсь, — сказала Нюська, взяв Леку за руку. — Это, поди-ка, тетерка. Аль глухарь...

Лека, сам того не замечая, крепко сжал Нюскину ладошку и долго не отпускал, все еще не в силах отойти от перепугу.

Потом они шли рядом, держась за руки, шли, переступая через сухие ветки, проваливаясь в неожиданные ямки, спотыкаясь о кочки, перелезая через упавшие деревья.

Лес то расступался, открывая поляну или большое поле, потом они вновь входили в чащу, шагая прямо, прямо и только прямо. На какой-то поляне, где было чуть посветлей, чем в лесу, они сели на кочки и достали еду. Ватрушки съели сразу же, и холодные картошкины с Нюскиной горбушкой съели тоже. Осталась репа и морковка.

— Лека, — спросила Нюська, — а вдруг не найдем?

— Найдем! — сказал Лека. — Как же — не найдем... Да ты не бойся.

Потом они шли снова, и молчали, и говорили о пустяках и о школе, и снова молчали.

Страх перед лесом постепенно пропал, притулился. Может, потому, что они устали. Ноги у Леки болели, стертые этими проклятыми сапогами, — хотел лапти обуть, да забыл, когда торопились с крыши. Но он молчал и не жаловался, потому что жаловаться было нельзя.

Наконец они снова вошли в лес. Ели шевелили верхушками; там, над головой, шумел ветер. Лека вдруг

остановился: вверху ничего не было видно — звезды исчезли.

— Смотри-ка, — сказал он Нюське.

— Тучи, — ответила она.

Они пошли скорее. Начался дождь. Лека с Нюской постояли под елью, дожидаясь, когда он перейдет, но дождь не утихал, и скоро с веток на них закапало. Нюскин жакет набух и стал скользкий, как жаба. С подола Лекиного пальто тоже капало.

— Ну, пойдем, — сказал он, — все равно измокли.

Они почти побежали, натываясь на деревья, спотыкаясь, но все-таки стараясь бежать прямо, туда, где упала звезда. Брезентовые Лекины сапоги сразу промокли, и он шел будто босой, а в сапогах громко жулькала вода. Нюска дрожала, продрогшая насквозь.

Потом силы кончились, и они брели, еле передвигая ноги. Лес шумел, свистел, как разбойник, хлопал ветками, будто рукавицами. Ноги заплетались. Хотелось сесть куда попало и остаться тут, никуда больше не ходить.

Лека подумал о том, что найти звезду будет трудно, а может, и совсем невозможно. Лес ведь вон какой, вдруг они пройдут, а звезда останется в стороне. Или вдруг все это неправда, даже если и найдут они звезду: не принесет она никакого счастья, как Санькины сверчки...

От этих мыслей сразу стало невозможно идти, и Лека остановился. Но тут он подумал про отца, про красноармейцев. Ведь им бывает труднее; вон Мария Андреевна рассказывала, как и зимой, в стужу, и в самую распутицу весной и осенью бойцы сражаются с немцами. Их ранят, они истекают кровью, а все равно не сдаются и все равно побеждают.

— Не могу, — сказала Нюска и повалилась на землю.

Лека упал рядом, и они минуту лежали не шевелясь. Перед Лекой сразу поплыли круги и снова зеленые сверчки с рогами, как у жуков. Он вскочил, собрав остатки сил, и схватил за руку Нюску. Она не поднималась. Лека наклонился поближе к ней и понял, что она спит. Лека стал трясти ее, толкать во все стороны, и Нюска что-то невнятно пробормотала. Наконец ему удалось растолкать ее. Он растегнул сумку и достал репу — последнее съедобное, что оставалось у них. Морковку Лека не считал.

Нюська куснула репу и тут же снова задремала, но Лека легонько стукнул ее в бок. Нюська откусила еще. Съев репу, она будто ожила. Лека поставил ее на ноги, и они пошли дальше.

— Только не садиться! — повторял Лека. Он слышал это от кого-то из взрослых, что, если идешь и устал, никак нельзя садиться, невозможно, и поэтому повторял Нюське громко: — Только не садиться.

Он чувствовал, что теряет силы, и повторял эту фразу все громче и громче, чтобы слышала не только Нюська, которая спотыкалась рядом, а и сам он, сам.

Перед глазами все стояло лицо отца, и Леке казалось, что отец смотрит на него, смотрит и улыбается, будто подбадривает, чтобы Лека шел вперед, шел, не останавливался и вел за собой Нюську. Леку шатало, он уже ничего не боялся, все было безразлично, и только лицо отца да белая линия, прочертившая черное небо к высокой ели, оставались в голове.

Лека будто проваливался в темноту, а когда выплывал из нее, быстро всматривался в темноту, лихорадочно оглядываясь вокруг. Ведь должна же, должна найтись эта звезда, о которой говорила даже Мария Андреевна, должна во что бы то ни стало. Есть же на свете чудеса, так почему же не быть и этому?

Они шли еще неизвестно сколько, и вдруг Лека остановился. Усталость будто упала, как камень, который тащил на загривке. Лека пихнул кулаком Нюську, и она уставилась туда же, куда смотрел он.

Впереди, за частоколом деревьев, светился яркий голубой огонь. Лека и Нюська ничего не сказали друг другу. Они схватились за руки и помчались вперед, прямо к звезде, упавшей впереди, на поляне. Они бежали и уже не чувствовали, что по рукам и по лицам их больно хлещут ветки, они проваливались в ямки и оступались на каждом шагу, потому что смотрели только вперед — на долгожданный огонь, к которому они шли так долго и так далеко.

Лека с размаху вылетел на полянку и остановился как вкопанный. За спиной тяжело дышала Нюська.

На полянке, окруженной черными елями, горел костер. Дети, будто замороженные, подошли к огню. Вокруг никого не было. Лес, ночь, полянка и костер, разожженный неизвестно кем.

— Ну, — сказал им кто-то, — а вы откуда?

Они обернулись. Сзади стоял человек в брезентовом плаще. Вместо одной ноги у него торчала палка. Ньюська боязливо прижалась к Леке.

— Что ж вы одни ночью-то, а? — спросил человек и подошел к костру, сел, протянув к огню свою липовую ногу.

Лека и Ньюська молчали.

— Наверное, ищите что-то? — опять спросил человек и улыбнулся. — Да я вижу, вы неразговорчивые.

Лека зашевелился. Действительно, молчать было неудобно. Ведь не съест же их он; по лесу столько шли, а человека испугались. Лека вдруг решился.

— Дядя, — спросил он, — а тут звезда не падала, вы не видели?

— Звезда? — переспросил человек и на минуту задумался. — А-а, звезду видел.

Он достал из кармана кисет, завернул сигарку и задымил. Лека успел уже хорошенько его разглядеть. Лицо у человека было круглое, обыкновенное, ничем не приметное. Только вот морщинок много — и на лбу, и у носа, и у губ. В темноте, недалеко от костра, лежал мешок. Обыкновенный мешок, дорожный, зеленый; с таким же мешком отец на войну ушел.

Человек оторвался от сигарки, посмотрел на Леку с Ньюской и спросил:

— Видел, видел вашу звезду. С неба упала. Да. А она зачем вам?

Лека, раскрыв рот, глядел на человека, который видел, где упала звезда.

— Так зачем? — переспросил человек.

Ньюська толкнула Леку локтем: ну, говори скорей! Лека замялся. Как бы это попонятнее объяснить?

— Вот когда звезда падает, — сказал он, — можно загадать чего-то. И желание это сбудется...

— Ну, ну, — подбодрил человек.

— А сидеть и ждать, когда оно сбудется, мы не можем никак, — добавила Ньюська.

— Правильно, — сказал человек.

— Ну вот мы и пошли искать эту звезду, которая упала. Заметили, куда упала, и пошли, — сказал Лека.

— Вон что, — неизвестно кому сказал человек и опять задымил своей сигаркой.

Он дымил долго и глядел на огонь, будто и забыл,

что рядом сидят Лека с Нюской. Потом он все-таки посмотрел на них, улыбнулся и спросил:

— А что же вы загадали?

— Счастье, — тихонько сказала Нюська.

— Счастье, — выдохнул Лека.

Человек покивал головой и опять задумался. Леке показалось, что тот не поверил, и он добавил:

— У нас в каждой избе убитый на войне есть...

— А сверчки не помогают, — неизвестно к чему прибавила Нюська, и Лека, вместо того чтоб толкнуть ее в бок, согласно кивнул головой.

— Дядя, — спросил он, — а куда она упала?

Человек посмотрел на него и сказал, кивнув в сторону:

— Да вот сюда.

Лека вскочил и побежал к тому месту, куда показал человек. Нюська бросилась вслед за ним. Они упали на коленки и стали ползать по сырой земле, вороша руками листья и траву.

— Не ищите! — крикнул человек. — Я ведь подобрал. Идите сюда.

Он с трудом поднялся, глубоко в мягкую землю втыкая свою деревянную ногу, и подошел к мешку. Лека даже чуть зажмурился, ожидая, что яркий, жгучий свет звезды ослепит его сейчас, когда незнакомец достанет ее из мешка. Но человек вытащил коричневый камень не больше кулака и протянул его ребятам.

— А почему она не светится? — спросил Лека.

— Погасла, — ответил мужчина. — Пока вы сюда шли, погасла, а я ее в мешок.

Лека разглядывал звезду со всех сторон, и Нюська вырывала ее из его рук. И он отдавал ей, а потом снова забирал эту маленькую звезду. Странно, она совсем не была похожа на то, что представляли они. Обыкновенный камешек — вот и все.

...Небо вызвездило. Сжав в кулаке упавшую звезду, Лека уснул, привалившись к Нюське.

Проснулись они от лошадиного ржания. Открыв глаза, Лека увидел мать. Вчера вечером, когда они, заслышав бреление ведер, уходили к лесу, Лека подумал, что им за все это хорошо достанется, а мать, вместо того чтобы плакать или ругать его, смотрела и улыбалась. И в глазах у нее горели огоньки, которых он не видел с того дня, когда пела Христя в их избе. Мать улыбалась, ерошила его волосы, а рядом при-

читала Нюскина мать, прижимая Нюську к животу, а та тоже ревела, как белуга.

В сторонке, возле телеги, стоял дед Антон и говорил с человеком, у которого одна нога была деревянная.

Матери усадили Леку и Нюську на телегу, подошли к человеку в брезентовом плаще и чинно пожали ему руку. Дед Антон на прощание закрутил сигарку и отсыпал самосаду в широкий карман незнакомца. Потом развернул лошадь, и они поехали по мягкой дороге.

Человек в плаще смотрел им вслед, широко улыбался и махал рукой. Ноги он расставил широко, только ведь вместо одной ноги была деревянная палка. Видно, когда живы были обе ноги, любил он широко ступать и широко стоять на земле.

Телега тряслась мелкой дрожью на кочках, и Лека все ждал, когда мать, и Нюскина мать, и дед Антон начнут ругать их или, хуже того, спрашивать, куда да зачем они убрали из дому. Но, странно, все молчали и даже вроде не собирались их допытывать.

— Да-а, — сказал дед Антон, — знать, будет у нас город после войны. Возле такого завода непременно город должен быть, не менее.

— Вот ведь как бывает, — сказала мать. — Кто бы мог подумать, что ходим по такому богатству.

— Ну-кась, — обернулся дед к Леке, — покажь звезду.

Лека протянул звезду деду, и тот, цепко ухватив ее коричневым пальцем, долго смотрел, внимательно оглядывая со всех сторон.

— Звезда! — сказал он. — Настоящая звезда! Берегите ее, пацанята. Показывать потом всем будете как редкую ценность.

Лека с Нюской переглянулись. Ну, значит, беда миновала, все в порядке.

Лошадь изредка поцокивала копытами по камням.

— Слышь-ка, Маш, — сказала вдруг Нюскина мама. — Катя, подружка моя, прибежала. Уборщицей в школе работает. Нашелся муж-то у Марьи Андреевны!

Мать всплеснула руками. Дед Антон обернулся к Нюскиной матери, намотав на кулак вожжи. Лека и Нюська подались вперед.

— Да-да, и не говори. В окружение попал, парти-

занил. Орден получил. Письмо пришло ей, Марье-то Андреевне. Ну хоть оживет девка-то!

Лека с Нюськой прыснули. Нюськина мать спохватилась, что назвала учительницу девкой, потом махнула рукой и прикрикнула:

— Цыц вы, огольцы!

И тут же рассмеялась весело и свободно. И Лекина мать засмеялась тоже, и все они. А дед Антон повернулся к лошади, подставил ветру свою белую бороду и озорно, по-молодому, дурачась, крикнул:

— А ну, залет-тняя-а!

Теплый дождь

Ах, война, что ты, подлая, сделала...

Б. Окуджава

ДОЖДЬ

1

Они стояли все втроем под отцовской плащ-палаткой, а дождь, будто живой, плясал возле них, шлепал свои тяжкие капли на желтый булыжник, пузырился в лужах.

Вокруг, гроыхая пудовыми сапогами, пробегали солдаты, быстро проходили женщины — все почему-то в сером, — изредка раздавались команды. Перрон жил суетой и спешкой, как и всегда все перроны, но сейчас было в нем еще что-то особое. Что-то тревожное висело над всем этим — небольшим серым зданием станции, над булыжной площадью возле путей, над вагонами, узкими дачными вагонами, приспособленными уже под воинский эшелон и покрытыми для маскировки зелеными и серыми пятнами, — и тревога эта рождала сосредоточенность и тишину, в которой не слышалось привычного шума отъезжающих людей, а лишь топот сапог и редкие команды.

А дождь, теплый летний дождь все плескался, ходил по крышам вагонов, по площади, по плащ-палатке, под которой стояли они все втроем, по лужам и пузырился в них. Отец кивнул на лужу, в которой плавали пузыри, и сказал почему-то:

— К осени.

Словно нечего ему было больше сказать.

2

Сначала Алеше показалось, что это поют какую-то странную песню. Ее затянули где-то у паровоза, в голове эшелона, и подхватывали у каждого вагона, но

когда она приблизилась, Алеша понял, что это никакая не песня.

— По ваго-о-она-а-а-ам! — кричали командиры.

— По ваго-о-она-а-а-ам!

Алеша вздрогнул, капля упала ему за ворот: отец убрал плащ-палатку, поправил пилотку.

К ним подбежал пожилой солдат с обветренным, морщинистым лицом, в длиннополой шинели, с гремящим у пояса котелком.

— Товарищ капитан! — сказал он волнуясь. — Дано отправление!

Отец, не оборачиваясь, кивнул и сказал Алеше:

— Ну, сын!

И поднял его, хотя Алеша был большой и тяжелый.

Их лица сровнялись, они глядели друг другу в глаза — Алеша-большой и Алеша-маленький: оба синеглазые, оба русые, у обоих веснушки на носу. Мама, да и не только она одна, все в их доме говорили, что они удивительно похожи друг на друга, просто даже поразительно: отец и сын, а словно два близнеца, только один взрослый, а другой мальчишка...

Алеша смотрел и смотрел в глаза отцу, на лицо его, запоминая до самых малых подробностей. Отец улыбался, хотя надо было бы, наверное, хмуриться, улыбался во весь рот.

Потом отец приподнял Алешу, прижал его к себе и крепко поцеловал.

Потом он посмотрел на мать и обнял ее. Они стояли, обнявшись, долго-долго, никого не замечая вокруг, будто они одни на всем свете.

Солдат, потоптавшись за спиной у отца, побежал к вагону.

Паровоз гукнул, и по всему составу прокатился глухой удар, вагоны, дернувшись, двинулись, а отец все стоял, обняв мать.

Солдат, прыгнувший на подножку, тревожно глядел на отца. Отец, будто поняв его тревогу, вдруг отодвинулся от мамы, посмотрел ей в глаза, ничего не сказав, потом повернулся и побежал за поездом. Солдат в длинной шинели протянул ему руку, и отец вскочил на подножку. Он сразу же обернулся к ним, к Алеше и матери, и не крикнул, не махнул рукой, только глядел на них.

И вдруг вышло солнце. А дождь все не переставал.

С неба тянулись белые нити. Над серыми облаками, над вагонами уходящего поезда, над дальним лесом у горизонта встала крутая радуга.

К ней уезжал отец, стоя на подножке, глядя на них, будто стараясь навсегда запомнить.

3

Когда поезд скрылся, мама заплакала.

Крепилась-крепилась и заплакала.

Все смотрели на них, и Алеше вдруг стало неловко за маму: что же теперь плакать, ведь все едут на фронт. Все надели военную форму и едут, а отцу — что же, дома сидеть?

Алеша гордился отцом. Во всем их большом доме только у него был такой отец — военный, красный командир.

Когда вечером он приезжал со службы на «эмке» и шел по двору — стройный, подтянутый, в блестящих сапогах — все, кто бы ни был во дворе, всегда бросали свои дела и смотрели на отца, на то, как он шел, и все всегда улыбались, потому что шел он замечательно, по-военному.

Даже доминошники, какие-то расхлябанные дядьки в майках и в расстегнутых рубашках, — те, что каждый вечер колотили по дощатому столу и ничего не замечали вокруг, и те, когда приезжал отец, оборачивались на него, и кто-нибудь из них говорил довольно:

— Строевик!

Словно завидовал тому, какой отец подтянутый и четкий.

Алеша иногда думал, что весь их дом, когда люди видят отца, становится будто спокойнее оттого, что здесь живет красный командир.

Когда началась война, в то воскресенье, за отцом пришла машина, и он исчез и не появлялся три дня, а потом, когда вернулся, измученный, усталый, к ним в квартиру сразу набилось полно людей — соседи со всего двора, были среди них и доминошники, теперь застегнутые на все пуговицы. Они настойчиво расспрашивали отца что и как. Некоторые показывали повестки.

Отец один был спокоен среди этих людей, весело, как до войны, улыбался и говорил:

— Все будет, как надо, как надо... Думаю, разобьем их быстро.

И люди уходили, немного успокоенные.

А потом Алеша видел соседей — и dominoшников, и других — в солдатских шинелях, с мешками, они уходили каждый день со двора, окруженные женщинами и детьми.

Так что ж, его отец, кадровый военный, да еще командир, хуже их, что ли? Пришла и его очередь. Как же без таких, как отец, dominoшники воевать будут?

Так что нечего тут и плакать.

Но мама все плакала и плакала, будто осталась одна на всем свете.

4

Дома было пусто и неуютно. Алеша ходил по гулкой комнате, прислушивался к радио, передававшему марши, поглядывал в окно. Во дворе, как ни в чем не бывало, носились мальчишки; прямо от дома спускался крутой косогор, у его подножия синела река, а по ней шел буксир с баржей. Все было, как всегда, как обычно, будто и не было никакой войны.

Мама, с лицом, опухшим от слез, молча сидела у стола. Там, в деревянной рамке, была фотография отца. Иногда мама покачивалась, щеки ее сразу становились мокрыми; она всхлипывала, и Алеше больно и горько было от этих слез. Он подошел к маме, прижался к ней, она обняла его, положила голову ему на плечо, словно взрослому, словно отцу, но не успокоилась, а только еще сильнее заплакала.

— Ну что же, — сказал Алеша, — что же плакать теперь... Папа скоро вернется. Вот увидишь, к первому сентябрю уже вернется, что ты в самом деле.

Мама хотела улыбнуться ему сквозь слезы, но улыбка не получилась, и она снова заплакала. Алеше стало досадно: что же она понять не может таких простых вещей.

Он прикрыл тихо дверь и спустился на улицу.

Алеша осуждал мать; он думал про себя, что жена красного командира, так же как и он, сын командира, не может быть слабой и не может позорить отца слезами. У военных даже в семье не может быть слез.

Во дворе блистали на солнце лужи, мальчишки гоняли на велосипеде сразу по трое: один в седле, второй на раме, третий на багажнике.

Алеша удивился. Велосипед был во дворе всего один, у Гошкиного, из сорок третьей квартиры, отца. Он ездил на нем всегда сам, и Гошка вечно просил у него покататься. Но дальше нытья дело не шло, Гошкин отец не доверял велосипед даже собственному сыну, потому что, дело понятное, ценная это была машина.

Алеша присмотрелся. Да, велосипед был Гошкиного отца. И ехал на нем Гошка, катя двух «пассажиров».

— Ты что? — спросил его Алеша, когда Гошка проезжал мимо.

— Отец на фронт ушел! — крикнул ему весело Гошка.

ТРЕВОГА

1

Гошка был весь какой-то кругленький. К тому же он ходил в тубетейке, и это еще больше закругляло его. Нос у него был пуговкой, маленький, уши торчали двумя розовыми кругляшами, и оттого Гошкина голова походила на маленький чайничек с отбитым носиком. Когда они шли вместе — Гошка и его мама, длинная и нескладная Вера Ивановна, — все всегда очень удивлялись, узнав, что они — сын и мать. Так они были непохожи. Гошка не смущался, говорил: «Я весь в отца», и за это он нравился Алеше — оба они были «в отцов».

Гошка был самым маленьким во дворе и самым добрым. Он довез мальчишек до угла, развернулся и подъехал к Алеше, лихо тормознув, — даже колеса скрипнули.

— Валяй, попробуй, — сказал он Алеше.

Алеша попробовал, но тут же упал, и тогда Гошка стал помогать ему и советовать, как надо ехать. На велосипеде кататься Алеша в тот же вечер научился, и с тех пор они с Гошкой все время почти вместе были. Есть такая поговорка про нитку с иголкой. Только тут неизвестно, кто был ниткой, а кто иголкой, потому что Гошка и Алеша были настоящими товарищами, и никто никем не командовал, как это бывает у некоторых.

А иголкой, наверное, был велосипед, потому что они целый день на нем катались или, если не катались, шли рядом с ним, вели его за руль по очереди, словно коня буланого под уздцы.

В тот день объехали почти полгорода, а когда устали, отвели своего коня на берег возле дома, уложили его на траву, а сами прислонились к столбу и стали слушать радио.

Наверху, на столбе, висел черный рупор, похожий на граммофонную трубу. По радио играли тревожную музыку, а потом музыку прерывали и говорили, что случилось на фронте. И от того, что говорили, становилось тоскливо.

За рекой синели леса и далекие поля. Воздух будто застыл над землей; все вокруг было таким спокойным. Только радио гулко говорило над косогором.

— Мы получили письмо от отца, — сказал Алеша. — Отец написал, что уже ходил в первый бой и его пуля царапнула.

Гошка сразу нахмурился и посмотрел на велосипед. Его отец уехал на день раньше Алешкиного, но писем от него еще не было.

— Вот бы на фронт рвануть, — сказал вдруг Гошка, и брови у него встали домиком.

— Хм, ерунда, — сказал Алеша.

Да, ерунда. Ведь он был сыном командира и знал, что говорил. Дороги на фронт закрыты, там стоит охрана и никого не пропускает.

— Да и чего бы ты стал там делать? — спросил он у Гошки.

2

Все правильно он сказал Гошке. И что бежать на фронт ерунда, и что без них там обойдутся... Да и какие из них бойцы? Ведь даже он, Алеша, ни разу в жизни не стрелял, кроме как из рогатки, а ведь у него отец командир. Только раз отец дал ему поддержать свой пистолет, ощутить его тяжесть, да и то тут же отобрал. А когда уходил куда-нибудь из дому, переодевшись в обычный костюм, прятал пистолет в стол и ключ забирал с собой. Он очень берег свое оружие.

Так что кому они нужны на фронте, неумехи?

Вот если бы научиться чему-нибудь военному, это да! Цены бы не было мальчишкам, которые и стрелять умеют, и быстро бегать, и далеко ходить. Ведь, скажем, связных лучше мальчишек и не найдешь, сразу ясно! Взрослый поползет, его немцы тут же заметят. А мальчишка шмыгнет, как уж, и был таков. Сколько бы взрослых в живых осталось!

А кашевары? Смешно даже: какой-нибудь здоровый солдат — ему бы немцев бить — кашу варит! Неужели на это дело мальчишек поставить нельзя? Обед им доверить боятся! Ха, да еще бы такие обеды варили, пальчики оближешь!

Смешно просто — собак, овчарок, и тех на фронт берут — и санитарями, и связными, — Алеша про это в журнале читал, — а мальчишек нет. Будто они хуже собак! Равноправие называется!

Гошка строго смотрел на Алешу, загибал пальцы на руке и шевелил губами.

— Ты что? — удивился Алеша.

— Значит, варить обед — раз, быстро бегать — два, далеко ходить — три, ползать — четыре, стрелять — пять...

Он нахмурился.

— Вот стрелять — как? — спросил он и тут же так стукнул сам себя по голове, что в ней что-то даже зазвенело.

— Дурак! — крикнул Гошка. — Есть из чего стрелять!

3

Гошка побежал за ружьем, а Алеша пошел к себе, посмотреть, из чего бы сделать мишень.

Он вспомнил, что весной видел Гошкиного отца, когда тот возвращался с охоты. У пояса его болтались две утки, за спиной висело ружье; все во дворе хвалили Гошкиного отца, но он мотал головой и говорил, что охота не удалась. Гошка тогда еще всем хвастался, что вкуснее дикой утки нет ничего на свете и что он когда ел ее, чуть не проглотил свинцовую дробинку, которая была в утке, и всем показывал тусклый маленький шарик.

Мишень он увидел сразу же, как вошел. В прихо-

жей висел плакат, на котором был нарисован значок и написано: «Полни ряды Осоавиахима!» Плакат этот Алеша очень берег, потому что такой же значок, как на плакате, был у отца, и для другого случая Алеша эту ценность никогда бы не взял. Но сегодня — другое дело. На белой стороне листа он нарисовал тушью черное яблочко и круги возле него.

Гошка вышел без ружья, с каким-то свертком, завернутым в газету.

— Ну? — спросил Алеша.

— Готово, — Гошка постучал по газете. Под ней было что-то твердое.

Они спустились вниз, к реке, и Гошка развернул сверток. Ружье было разобрано и лоснилось от масла. Они пыхтели, наверное, час, пока собрали его, лопухами стерли смазку, потом повесили на куст мишень.

Гошка целился первым. Он долго пыхтел, шмыгал носом, ружье качалось в его руках, вроде даже перевешивало.

Алеша стоял рядом, глядел, как жмурится Гошка, советовал, чтобы он целил прямо под яблочко, и вдруг увидел, как Гошка закрыл глаза.

Тут же Алеша перестал слышать, в ушах звенело, а ружье лежало на земле, у Гошкиных ног, из дула вилась белая дымная змейка. Они подошли к мишени. Она была целехонька — ни одной дырочки, зато правая рука у Гошки не двигалась. Алеша помог ему стащить рубашку. На плече расплывался фиолетовый синяк.

Гошка морщился, кривился, но не сдавался и сказал, что будет стрелять еще.

Алеша поднял ружье. Из ствола тянуло чем-то кисловатым. Мишень плясала перед мушкой, никак не хотела останавливаться, ружье было тяжелое, клонилось вниз. Гулко стучало сердце. «Неужели и у меня не получится, мазану, как Гошка?», — подумал Алеша. И тут же решил, что промахнуться не может, не имеет права, потому что ведь он сын командира. Военный человек.

Алеша набрал побольше воздуха в легкие, перестал дышать, расставил пошире ноги, вжал в плечо приклад и подтянул мушку под мишень.

Ствол подлетел вверх, он ощутил удар в плечо и неожиданно увидел лицо Гошки.

Гошка смотрел вверх, на обрывистый берег, у подножия которого они стреляли.

Алеша поглядел туда, и все в нем похолодело. На берегу стояла большая толпа, а по косогору, придерживая одной рукой кобуру, к ним спускался милиционер.

...Пробегаая мимо мишени, Алеша увидел, что она вся усеяна мелкими дырочками.

4

От милиционера они удрали, косогор помог, но добрая Вера Ивановна откуда-то узнала, что они стреляли из ружья, страшно рассердилась и крепко побила Гошку.

Их квартира была на первом этаже, и Алеша, стоявший под окнами, слышал, как ходил по Гошке ремень. Но Гошка все вынес мужественно, не издал ни звука, только когда все это кончилось, он выскочил на улицу и у него были красные глаза.

Они ушли на берег и легли на траву возле столба с репродуктором.

Радио по-прежнему, удивительно спокойно, рассказывало, что наши отступают.

Наши отступают, а они лежат тут на траве.

Говорить ни о чем не хотелось. Алеша смотрел за реку, в далекую даль, где было так спокойно и так тихо и где шла война.

За спиной что-то закрипело, грубый голос крикнул: «Но-о!»

Алеша обернулся. Возле столба с черным репродуктором, похожим на граммофонную трубу, стояла лошадь. На телеге сидел бородатый старик и прилаживал к сапогам какие-то железные крючки.

Прутья не прилаживались, старик кряхтел и чертыхался. Потом встал на землю и, осторожно переставляя прутья, подошел к столбу.

— Кошки, — сказал Алеша, — монтер.

— А что он тут? — спросил Гошка.

Старик обхватил столб руками и быстро, как молодой, полез вверх. Смешно было смотреть, как старик с бородой лезет вдруг на столб, да еще так быстро. Возле рупора он остановился, привязал себя к столбу

железной цепью, вынул кусачки и ловко перерезал провода. Радио умолкло.

— Зачем вы! — крикнул Алеша, но монтер даже не повернулся к ним. Он что-то ковырялся там, наверху, что-то возился, и вдруг рупор с треском упал на землю.

Старик спустился вниз, отвязал железные когти и словно тут увидел мальчишек.

— Зачем, зачем! — сказал он. — Значит, надо.

Он положил черный рупор на телегу, чмокнул и крикнул грубым голосом: «Но-о-о!»

Лошадь вздрогнула всем телом, телега скрипнула, и он уехал вдоль по улице.

— Вот тебе и раз, — сказал Гошка.

— Теперь радио только дома, — вздохнул Алеша.

5

После того случая, когда Вера Ивановна побила Гошку, с огнестрельным оружием им дела иметь не пришлось. Правда, Алеша попробовал сделать самопал, долго вырезал деревянную ручку, как у пистолета, приматывал к ней проволокой медную трубку и начинял ее серой от спичек...

Испытать самопал, чтобы не привлекать внимания, они уехали на пляж, на самую дальнюю косу, где не было народа, и Алеша, отвернувшись на всякий случай, выстрелил. Самопал жажнул, мальчишек окутал серный противный дым, и, подумав, они постановили единодушно, что самопал — это ерунда, не оружие никакое. Один дымище.

— В конце концов, — сказал Алеша, — стрелять это еще не главное. Надо закалять себя, вот что.

И Гошка одобрительно кивнул головой.

С тех пор они плавали каждый день, потому что самое трудное на войне — форсировать реку под неприятельским огнем. А ведь форсировать надо вплавь.

Они лежали на пляже, рядом с велосипедом, и млели от жары, когда невдалеке зафыркал грузовик. Грузовики возле пляжа не ездили, их вообще-то в городе осталось — раз-два и обчелся. Мальчишки подняли головы. Это была закрытая «санитарка» с красным крестом на борту. Она, буксуя, медленно ехала прямо по пляжу. Потом машина остановилась, открылась задняя

дверца, и две медсестры вытащили носилки, на которых лежала укрытая простыней девочка. Вслед за носилками из кузова стали вылезать малыши. Они не смеялись, не прыгали сверху в песок, а молча и осторожно, будто маленькие старички, сползали по железной лесенке и сразу ложились, отойдя несколько шагов.

Алеша толкнул в бок Гошку, они вскочили и побежали к машине. Тех, кого привезли, уже окружило плотное кольцо ребят. По кольцу пробежало новое слово: «дистрофики».

Сестры помогали малышам снять одежду, и те распластывались на песке, совсем белые. Белые, как бумага. Среди малышей выделялся один мальчишка, вроде Алеши ростом. Он помогал медсестрам раздевать маленьких, потом скинул рубашку и улегся сам, раскинув руки на жарком песке.

Алеша с Гошкой подсели к нему.

— Ох, хорошо тут у вас, — сказал, блаженно улыбаясь, парень.

Алеша молчал. Он рассматривал парнишку, и ему становилось холодно на горячем пляже. Ребра выступали у мальчишки сквозь прозрачную кожу, и в этой коже, словно в желтом осеннем листе, если повернешь его к солнцу, переплетались синие жилки.

На руке, тонкой, как палочка, было выколото имя: Толик.

— Мы из окружения, — сказал Толик, — всего и осталось-то, а был целый детдом.

Алеша, пораженный, молчал. А Толик сказал:

— Эх, нынче за все лето первый раз искупнусь!

Слова его обожгли Алешу. Всего ведь одно лето прошло, как война началась! Всего лето. А сколько уже случилось разной беды. От целого детдома вот машина малышей осталась... И Толик этот. Кожа да кости, а улыбается...

Гоша спросил Толика:

— К первому сентября война кончится?

Тот помотал головой:

— Говорят, немцы Новый год в Москве хотят справить.

— Ох гады! — закричал Гошка. — Ох гады! Ну мы им!

— Что мы им? — вяло возразил Толик. — Я сам

видел: у них только самолетов, знаешь, сколько — туча, а у нас — одни винтовочки... Вот если бы придумать такое оружие, чтоб враз всех фашистов, это да...

— Ерунда! — сказал Алеша. — Если хочешь знать, это все военная хитрость.

— Какая хитрость? — удивился Толик. — Какая тут может быть хитрость?

— А ты с ним не спорь, — неуверенно возразил Гошка. — У него отец командир, может, теперь уже генерал. Он знает.

— Конечно, хитрость! — кивнул Алеша. — Мы немцев подальше заманиваем, а потом как ударим! Про Наполеона знаешь?

— Ну, ну, — сказал Толик, — вот мы месяц из окружения выбирались, померли наполовину, это тоже из хитрости?

Алеше стало стыдно перед мальчишкой. Совестно даже глядеть на него — такого тощего. Что ему скажешь — он сам все видел и все знает, разве поверит он Алеше.

Эх, был бы батя! Приехал бы хоть на денек! Уж он-то сказал бы этому Толику. Всем бы сказал точно, точнее не бывает, какого числа кончится война. Ну, если не к первому сентября — это ведь только для школьников большой день, — так к Октябрьским-то праздникам уж обязательно! Не может же быть, чтоб к такому празднику мы не победили!

Толик поднялся с песка и пошел к реке. Алеша и Гошка обогнали его и бултыхнулись с обрывчика. Когда Алеша вынырнул, он увидел, что Толик стоит на коленках на самой мелкоте, брызжет на себя воду и смеется, как маленький.

— Ты что? — спросил его Алеша.

— Да не уплыть, — весело ответил Толик, — слаб больно.

Алешу вновь пронзило какое-то смутное, неясное ощущение беды. Ему опять стало очень жаль Толика, захотелось хоть чем-нибудь помочь мальчишке с просвечивающейся кожей. И когда они выходили из воды, он сказал Толику, чтоб тот поверил, обязательно поверил и обрадовался:

— К Октябрьским кончится. Вот увидишь, кончится.

И соврал:

— Это мне отец написал.

А отец написал совсем другое.

«Родные мои Ляля и Алеша!

Пишу вам в землянке, рядом, совсем рядом враги. Сейчас уезжает в тыл раненый товарищ, пишу эти строчки, чтобы передать письмо с ним.

Милые мои, дорогие!

То, что происходит сейчас, — надолго. Думаю, даже не на один год, хотя поверить в это страшно.

Как вы там живете, дорогие? Жизнь, наверное, вздвинула. Продай мое барахло, Ляля, мои костюмы, они теперь ни к чему, а война кончится, справим новые.

Ляля! Придется, видно, по-солдатски подтянуть ремень, ты меня понимаешь? Советую тебе устроиться на работу, аттестата моего, видно, не хватит. Прости, но такое уж время.

Алеша, сын! Ты мне всегда говорил, что гордишься тем, что ты сын командира, даже считаешь себя военным. Я смеялся тогда над тобой. И только сейчас, здесь, понял, как ты был прав.

Будь сильным, Алеша, чувствуй себя всегда военным человеком и сделай все, что ты можешь, чтобы мы скорее победили.

Товарищ мой уже в машине. Обнимаю вас. Целую. Ваш Алексей».

ГОРЕ

1

Настала зима, и улицы потонули в снегу. Дворники тоже ушли на фронт, и теперь некому было убирать сугробы.

А зима куражилась, мела выюгами, трещала морозами. Исчезли деревянные заборы с улиц — их поломали на дрова. В доме лопнула труба парового отопления, и Алеша с мамой ложились спать прямо в пальто и в валенках, пока мама не купила на рынке печку «буржуйку». «Буржуйку» поставили на кухне. Утюгом Алеша сломал стекло в форточке, заколотил ее фанеркой с дырой и в дыру просунул голенастую трубу от печки.

«Буржуйка» горела бойко, раскалялась аж добела и пока топилась, дома было тепло, а как только угасала, холод снова пробирался в комнату и заползал даже под самое теплое одеяло, так что Алеша опять спал в одежде — не в пальто и в валенках, правда, — но в теплом свитере и в шерстяных носках.

Плакать мама перестала, но все ходила, ходила по комнатам, останавливалась у зеркала, стояла возле него как завороченная и снова ходила.

Как-то вечером, когда они уже собирались спать и Алеша лежал в своей кровати, мама подошла к зеркалу и стала расчесываться. Волосы у нее были светлые, мягкие, длинные, серебрились от электрического света, и мама долго гладила их, потом сплела в толстую косу и перекинула ее на грудь.

Она была наедине с собой, смотрела на себя, чему-то тихонько улыбалась, укладывала косу калачом, и Алеша тоже улыбался, думая, какая она красивая. Вот интересно: волосы у мамы светлые, а глаза карие, глубокие-глубокие, как колодец. И пальцы — длинные, тонкие, не то что у Алеши — коротышки. Да и вообще Алеша совсем на нее не похож. Она — красавица, а он — вылитый отец.

Раньше, до войны, мама не работала. Сначала она училась в институте, но это было давно, еще до Алеши, а потом он родился, и она учиться больше не стала и не работала нигде.

Папа говорил не раз при Алеше:

— Нужды нет, жене командира можно и не работать. Воспитывай сына. — И мама не возражала.

Днем она готовила обед, ходила на базар, в магазины, когда Алеша начал учиться, делала с ним уроки. В первом классе они долго бились над письмом. У Алеши ничего не получалось, особенно эти волосяные линии, и клеточки он путал, но мама оказалась настойчивой и добилась, чтобы он писал только на «отлы».

Но потом Алеша вырос и делал уроки сам.

По вечерам, когда папа возвращался из части, они шли навстречу ему — отец ездил всегда одной дорогой, и Алеша вглядывался, не идет ли черная «эмка».

Улочки в городе были узкие, машины быстро не ездили, и папа всегда сам замечал их — Алешу и маму. Они даже перестали махать руками, выбегать на дорогу. «Эмка» тормозила, медленно подкатывала к ним,

и они садились на заднее сиденье и всегда все смеялись: молодец папа, настоящий военный, зоркий — все замечает.

Машина катила по опавшим листьям, мягко урчал мотор, они ехали на берег реки, к большому новому дому, в котором жили.

Теперь ждать было некого, но мама все равно часто сидела у окна, глядела во двор, будто ждала, что вот подъедет «эмка», и отец выйдет из нее и пойдет по двору. И все, как раньше, будут оглядываться на него.

Она все вздыхала, ходила из угла в угол, иногда садилась к столу, сжав виски ладонями.

А потом вдруг оделась однажды и ушла. А вернувшись, сказала, что устроилась на работу.

Алеша хотел, чтобы она пошла в госпиталь, да и Вера Ивановна, Гошкина мать, звала ее туда, но мама сказала, что не вынесет, не сможет работать в госпитале и каждый день видеть мучения людей, что и так тяжело, и устроилась в офицерскую столовую официанткой.

Алеша загоревал, ему было стыдно, что мама, жена командира, работает официанткой, и он даже сказал ей об этом. Мать ничего не ответила, но на другой же день велела Алеше прийти к ней на работу.

В столовую нельзя было пройти без пропуска, у дверей стоял часовой, но мама провела Алешу, и он увидел шумный зал. За столиками сидели военные, и это понравилось ему: ведь мама как бы работает на фронте. Ну, не на фронте, так среди военных.

Мама накормила его вкусным обедом, и на первое был любимый гороховый суп. Алеша ел так, что за ушами трещало. Мама смотрела на него горестно, а потом, когда он уже уходил, сказала как бы между прочим, что все, кто работает в этой столовой, — жены командиров.

Алеша кивнул головой, пропустив эти слова мимо, и только на улице понял все. Ему стало нестерпимо стыдно, он даже покраснел, кажется. Еще вчера он упрекал маму за то, что она, жена командира, работает какой-то официанткой, а сегодня, сейчас, лопал хоть бы что гороховый суп и ни разу не подумал про себя: что ж ты, сын командира, ешь бесплатный суп? Небось нравится? А ведь ешь-то ты его только потому, что мать у тебя здесь работает официанткой.

Алеша пошел тише, словно стыд мешал ему идти, потом повернулся и побежал назад. Но часовой его в столовую не пустил, хоть он и говорил, что лишь на минуту, что идет к маме, что она работает официанткой.

— Здесь таких много ходит, — сказал часовой. — Все к маме, а сами попрошайничают у офицеров.

И Алеше стало совсем стыдно, потому что как-то враз он понял то, чего не понимал еще вчера и что было, в самом-то деле, так понятно и так просто. Он понял, что мама пошла в столовую для него, для Алешки, чтобы был он всегда сытым и не прорывался от голоду в столовую, как те мальчишки...

2

А писем от отца больше не было.

Гошке хорошо, Гошка ходил, бодро выставив свой кнопочный нос, закапанный чернилами. Гошкин отец долго молчал, долго не было от него ни строки, и все думали, что он погиб, а он отыскался. Оказалось, был в окружении, потом вышел к своим.

Может, и мой попал в окружение, думал Алеша, или воюет в партизанском отряде и никак нельзя передать письмо. Когда Алеша думал об этом, он доставал из ящика стола, куда отец прятал когда-то пистолет, его последнее письмо треугольником и перечитывал снова. Сердце Алешино тревожно вздрагивало, и он с ужасом думал: а что, если отца уже нет? Совсем нет?

Тут же он отогнал от себя эту мысль, говорил сам себе, что это невозможно, и сам же себя спрашивал: а почему — нет? Ведь это война...

Нет, и все-таки этого не может быть, думал он. Наверное, просто у него важное задание, ведь он кадровый командир.

Мама, вернувшись с работы, садилась, — часто даже не раздевшись, — на стул, и сидела так часами, глядя в одну точку и не говоря ни слова. Лицо у нее стало каким-то серым, землистым.

Тогда Алеша сам подметал пол и мыл его, готовил на «буржуйке» ужин, потому что он уже знал: мать не дозовешься. Если даже и встанет со стула и сделает что-нибудь, снова потом сядет и забудет про суп, который перекинул на керосинке, про ведро с тряпкой и наполовину вымытый пол.

Алеша все чаще и чаще думал про отца. Он долго смотрел на его фотографию в деревянной рамке, стоявшую на столе, и отец виделся ему совсем живым. Папа снялся незадолго перед войной, когда он получил очередное звание. Карточку делали не в фотографии: снимал кто-то из отцовских товарищей.

Может быть, они отдыхали после учения или просто так сидели в траве и отцовский товарищ, тоже, конечно, военный, сфотографировал отца.

Он сидел среди ромашек, и воротник у гимнастерки был расстегнут, и отец улыбался, жмурясь от солнца...

3

Таким и увидел его Алеша во сне.

Дул теплый ветер, ромашки качали бело-желтыми головками, отец в расстегнутой гимнастерке жмурился от солнца и улыбался. А ветер трепал его светлые волосы.

Отец брал Алешу за руки — Алеша видел себя почему-то маленьким — и крутил его возле себя, так что ветер в ушах свистел, а ромашковое поле вертелось перед глазами, как волчок.

Вдруг земля закружилась еще быстрее, будто карусель, и ромашки превратились в белые полосы с желтой серединой. Отец отпустил Алешу из рук, и он полетел, полетел вверх.

Отец внизу становился все меньше и меньше. Алеша посмотрел, что это его так тащит, и увидел над собой парашют, похожий на облако, но парашют летел почему-то не сверху вниз, а наоборот, от земли к небу.

Алеша протянул руки к исчезающему отцу и закричал:

— Папа-а-а!

4

Он вздрогнул и проснулся. Мама сидела на краю кровати и смотрела на Алешу.

— Тебе приснился папа? — спросила она. Алеша кивнул. Мама встала и подошла к столу, где была отцовская фотография. Она взяла ее в руки и долго глядела не отрываясь, не мигая, потом вдруг ласково по-

гладила фотографию, как будто погладила живого отца.

— Собирайся! — сказала она и весело посмотрела на Алешу. — Собирайся скорей! Вера Ивановна сказала, что в госпитале лежит солдат, который был вместе с папой, и он хочет увидеть нас.

Алеша прямо взлетел с кровати.

Они неслись по заснеженным улицам как угорелые. Было тихо, закуржавелые деревья, словно огромные причудливые цветы, склонились над сугробами. На дерево села ворона, стряхнув с ветвей иней, и он, медленно кружась, рассыпаясь на сверкающие серебряные слюдинки, падал на землю.

В госпитале пришлось долго ждать, пока вызовут Веру Ивановну.

Она вышла — длинная, худая, как вешалка, и на одной руке у нее, правда, как на вешалке, было два халата.

Алеше халат был длинен, и ему пришлось подвернуть рукава, а полы засунуть за пояс.

Потом они шли по длинному коридору и несколько раз останавливались, потому что медсестры медленно провозили раненых на высоких белых тележках. Один из них громко стонал, а сестра, которая везла его, пожилая такая тетенька, говорила:

— Потерпи, потерпи, милый...

Раненый, который знал отца, лежал в большой комнате, в самом углу, и Алеша с мамой и Верой Ивановной долго пробирались к нему сквозь узкие проходы между кроватями. В палате резко пахло лекарствами, было душно и темновато. Койки стояли впритык одна к одной, и лежало там, наверное, человек сорок. Кто-то говорил, кто-то кашлял, кто-то постанывал, и от всех этих звуков в комнате стоял негромкий гул.

Увидев раненого, Алеша его сразу узнал. Это был тот самый солдат, в длиннополой шинели, с гремящим котелком у пояса, который тогда, на вокзале, подходил к отцу и говорил, что дано отправление, а потом уже, когда поезд медленно тронулся, стоял на ступеньке вагона и молчал, ничего не говорил, ждал терпеливо, пока отец простится с Алешей и с мамой, и потом, когда отец догнал вагон, протянул ему руку...

Странно, за все это время Алеша ни разу не вспомнил про этого солдата, мог бы забыть его, но нет, вот увидел и узнал, сразу же, с первого взгляда.

Узнав раненого, Алеша отметил еще про себя, что солдат какой-то очень бледный.

Они подошли к нему, поздоровались; Вера Ивановна сказала, что вот это жена и сын его командира, Журавлевы, мама достала из авоськи сверточек и положила его раненому, а солдат все бледнел и бледнел.

Алеша внимательно разглядывал его лицо, изборожденное мелкими морщинками. Вид у солдата был очень уставший, прямо-таки изможденный. Будто он много ночей не спал.

А раненый все бледнел и бледнел, и одна рука, та, что не была забинтована, мелко вздрагивала.

— Да, да, — сказал он хриловатым голосом, — вот и свиделись... Вот и свиделись...

Он растерянно смотрел то на Веру Ивановну, то на маму, то на Алешу и все повторял это «вот и свиделись».

— Столько смерти кругом... — сказал раненый и отвел глаза, уставился в пол. — Столько смерти... Погиб он геройски, Алексей-то Петрович... Бросился под танк...

Еще ничего не поняв, еще не поняв, что это говорят про отца, Алеша увидел, как медленно поднимается со стула мама.

Раненый рванулся с подушки, чтобы привстать, и застонал от боли.

— Как? — крикнул он. — А похоронная не пришла?

А мама все поднималась, медленно-медленно, как в замедленном кино, и Алеша увидел, как закружились вокруг него стены, и все стихло, только медленно поднималась мама. Раненый упал на подушку и закрыл голову руками. А мама все поднималась и поднималась и не могла встать со стула, а Вера Ивановна держала ее за плечи...

ПАМЯТЬ

1

Прошла зима, прошло лето, отстучали по крыше дожди, и снова настала зима с длинными и короткими синими сумерками.

Алеша любил этот тихий час, когда все за окном

начинало густеть, тушеваться синей краской. Люди, идущие по улице, деревья, дома теряли четкость своих очертаний, потом все вокруг окуналось в сиреневую краску, будто кто-то, спохватившись, добавлял черноты.

Улица постепенно пропадала: сначала исчезали дальние дома, образуя лишь темную полосу, потом мостовая, прохожие, и наконец тьма сменяла сумерки.

Алеша сидел у окна, глядя на улицу. Он всегда в этот час вспоминал отца. Подумать только, год, почти год, целый год прошел с тех пор, как они узнали о его смерти. Алеша все не верил этому, все ждал похоронную, а похоронной не было, и он радовался, и говорил все время маме, что отец жив, а она гладила его, как маленького, по голове и велела ему успокоиться.

Успокоиться... Как можно тут успокоиться?

Нет, отец был жив, Алеша знал это наверняка, а солдат ошибся, его самого в том бою сильно ранило...

Алеша вспомнил, как забилося у него тогда сердце, как побежал он домой, прыгая через две ступеньки, за ключом от почтового ящика.

Этот синий почтовый ящик! Сколько бы раз в день ни проходил мимо него Алеша — хоть сто раз, — он останавливался и заглядывал в черные дырочки, в темные его глаза. А ящик смотрел на Алешу своими дырками, всегда пустыми...

Но Алеша не отступал. Шел ли он в школу и даже опаздывал при этом, или мчался куда-нибудь с Гошкой, или бежал за хлебом в магазин, — он непременно останавливался у своего почтового ящика и заглядывал в него. Про себя он даже говорил шепотом, будто ворожил: «Ну, Синий! Давай, Синий!» Но синий ящик молчал. А в тот вечер в глазах у ящика что-то светилось. Письмо!

Алеша побежал за ключом, прыгая через две ступеньки, а когда дрожащими руками открыл ящик, оттуда выпал четырехугольный листок — нет, не письмо от отца, а повестка из военкомата. Маме.

Военкомат оказался длинным коридором с множеством белых фанерных дверей. В коридоре стояли какие-то парни, курили, возбужденно переговаривались. У тумбочки с телефоном сидел лейтенант, такой же молодой и румяный, как парни, толпившиеся в коридоре, но очень серьезный, с нахмуренными бровями и с красной повязкой на рукаве.

Лейтенант вежливо козыриул маме, внимательно рассмотрел повестку, исчез на мгновение, но тут же вернулся и сказал, что военком их ждет.

Мама велела Алеше подождать тут, в коридоре, но лейтенант улыбнулся и сказал, что к военкому им можно идти вдвоем, даже лучше, если вдвоем.

Из-за стола поднялся черноволосый майор и, хро-мая, пошел навстречу маме и Алеше, держа в руках какую-то красную коробочку. Он подошел к ним и ска-зал негромко:

— По поручению правительства передаю вам на вечное хранение орден Отечественной войны, которым за свой подвиг награжден посмертно ваш муж и отец майор Журавлев Алексей Петрович...

Это было еще тогда, почти год назад, и лейтенант с майором усаживали в мягкое кресло маму и поили ее водой. А Алеша стоял в углу, сжимая красную ко-робочку, которую, когда стало плохо маме, сунул ему впопыхах майор, и слезы сами собой катились у него по щекам.

2

С того дня, проходя мимо почтового ящика, Алеша никогда не убавлял шагов и даже отворачивался от не-го, словно железный лупоглазый ящик был в чем-то виноват.

Отца не было, не было совсем, он остался где-то под Москвой, как сказал им сначала тот солдат, а по-том военком, и никто, никакими силами не мог воз-вратить его, и никаких писем не могло прийти от него теперь.

Это так часто бывает в жизни, особенно на войне — был человек, и нет человека.

Это так все просто и так все понятно — война есть война и жизнь — это жизнь.

Но как поймешь, как примешь это сердцем, если ты знаешь, как улыбался человек, которого нет, как он курил, как он ходил, как сердился? Если ты по-мнишь его лицо, его голос, и, кажется, закрой глаза, протяни руки и ты дотронешься до него и сможешь погладить его волосы, потрогать небритую его щеку или коснуться жестких и холодных звездочек на по-гонах.

Алеша часто думал об этом удивительном несоответствии, когда человека нет, но он есть, он погиб, но он живет — вот в нем, в Алеше, в его памяти, в его мыслях об отце.

Он думал об этом, и иногда ему приходила мысль, от которой становилось жарко: а что, если он забудет отца? Прошел целый год, и даже сам Алеша замечал, что если он идет по улице, или сидит в школе, или с Гошкой гоняет на велосипеде, или катается на лыжах, — что, если он занимается чем-то и вдруг вспоминает отца, он видится ему как-то смутно, как бы издалека.

Неужели он начинает его забывать?

В этом было страшно признаться даже самому себе, и часто, вернувшись домой, Алеша, не раздеваясь, подходил к столу и долго смотрел на довоенный снимок: ромашковое поле, расстегнутая гимнастерка, ветер лохматит волосы...

И все-таки отец уходил от него. Медленно, потихоньку, но уходил, и только фотография да зимние сумерки соединяли их вновь...

И утихала боль. Отступало куда-то вдаль горе. И, может, ушло бы совсем, если бы война, которая гремела где-то там, за тридевять земель, не напоминала о себе каждый день каждому человеку.

Они шли из школы, не спеша шли — кто не знает, как это приятно идти не спеша из школы, да еще после шести уроков! Шагаешь себе, валенки скрипят по свежему снегу, и дышится легко, свежо. О чем-то там они говорили меж собой пустяковым, и вдруг кто-то хлопнул Алешу по плечу и пробежал вперед. Обернулся и крикнул:

— Немцы! Немцы там!

— Гляди-ка, — сказал Гошка, — да это Толик. Помнишь, тот, на пляже.

Толика они догнали в один миг, хотели в сугробе выкупать, но он сказал:

— Взаправду! Там немцы!

У старого овощехранилища они увидели толпу — детей и женщин. Толпа, будто улей, громко гудела.

Толик кинулся вперед, они растолкали теток и обомлели.

Рядом со старым овощехранилищем, по краям неглубокой ямы, стояли три женщины в полушубках, с

винтовками наперевес, а в середине были... немцы. Настоящие, живые немцы!

Алеша даже опешил. Чего-чего, а увидеть немцев здесь, в их городе, — об этом он и подумать никогда не мог! Кайлами и лопатами фрицы долбили мерзлую землю; одеты они были все по-разному — кто в серо-зеленые шинели, а кто уже успел раздобыть телогрейки. На голове у каждого была пилотка с опущенными краями, и лица — красные от мороза — выглядывали из-под этих пилоток, будто орехи из скорлупы.

Женщины с винтовками ходили вокруг немцев, толпа все росла, все прибывала, и охранницы покрикивали время от времени:

— Граждане, потеснитесь! Потеснитесь, граждане!

Алеша усмехнулся. Как же, потесниться! Ведь немцев, фашистов этих, в первый раз люди живьем, а не на картинках видят. И у каждой тетки, и у каждого пацана, который тут торчит, глаза на немцев пялит, там, на фронте, кто-нибудь есть. И вот такие фрицы по ним целят, норовят убить, так какой же человек мимо пройдет, не посмотрит своими глазами, что это за народ такой, который всех убить, все сжечь, все раздавить хочет.

Но хотя Алеша и думал так, странное дело, вот именно к этим немцам он не испытывал никакой ненависти, никакой злобы. Да, это были враги, пусть пленные, но враги, и умом он знал и понимал это. Но Алеша, вглядываясь в пленных, с удивлением замечал, что у одного непомерно длинный нос, а у другого синие глаза и белесые брови, почти как у Гошки, видел, что немцам холодно в своих серо-зеленых шинелях, и они стараются работать поскорей, чтоб согреться, — он видел все это и с удивлением думал, что сними с этих фрицев пилотки и шинели, одень их, как всех, они, может, ничем не будут отличаться от других людей.

Прежде фашисты представлялись ему какими-то звероподобными существами, извергами, такими, как рисовали их на карикатурах. Разглядывая эти картинки, он понимал, что это лишь картинки, а на самом деле фашисты — люди, такие же, как все, с головой, с руками и с ногами, и руки у них не покрыты густой псиной шерстью, как на картинках. Вот только внутри у них не как у людей.

Но внутри — этого он не видел, как заглянешь туда, — а видел людей, одетых во все немецкое, кай-

лами и лопатами рубивших мерзлую землю и старающихся согреться...

А немцы молотили землю, врываясь в нее, и вдруг Алеше показалось, что это они нарочно влезают в землю, хотят спрятаться от толпы, от женщин и ребят, которые смотрят на них.

Неожиданно длинноносый немец, которого Алеша приметил среди немцев, бросил лопату, снял с лысеющей головы пилотку, поднял ее края, лихо надел снова и крикнул, обращаясь к толпе, коверкая русские слова:

— Всьем... вам... будьет кап-пут, русский свинья!

Толпа вначале притихла, разбирая его слова, не понимая, что этот длинноносый немец говорит такое им, женщинам и ребятишкам, и вдруг загудела.

Охранницы, растерявшись, не зная, что делать, стараясь защитить доверенных им пленных, повернулись к толпе, направив штыки на людей.

Алеша увидел, как какая-то старуха, не разобрав, видно, слов немца, увидев только повернутые штыки да услышав шум толпы, побежала вдоль по улице. Но все остальные стояли, кричали.

Алеша все смотрел на лицо длинноносого немца. Он стоял, надменно глядя на толпу, чуть ухмыляясь, наглый и уверенный в себе. К нему подбежал другой немец, что-то залопотал ему по-своему, но длинноносый оттолкнул его, продолжая разглядывать толпу так, будто перед ним действительно было какое-то стадо. Потом немец открыл рот, и Алеша подумал сначала, что он зевает. Но немец засмеялся. Он хохотал, показывая длинные желтые зубы, зажмурив глаза, он хохотал, а остальные фрицы жались друг к другу, испуганно глядя на длинноносого.

И вдруг ком мерзлой земли сшиб с длинноносого пилотку. Алеша обернулся.

Позади толпы бледный Толик выковыривал дрожащими руками комья земли и быстро, не целясь, швырял их в немца. Лицо у Толика застыло в судорожной гримасе, он, казалось, ничего не видел вокруг, кроме немца, и Алеша подумал, что, глядя на немца, потерявшего пилотку, Толик видит не его, вернее, не только этого фашиста, а что-то еще, чего не видит он, Алеша.

Алеша тоже наклонился, схватил ком земли и кинул его в немца, но не попал, потому что рука дрог-

нула в последнюю секунду. Она дрогнула не оттого, что Алеша пожалел немца. Она дрогнула оттого, что, еще замахиваясь, Алеша не думал об этом, но в последний миг эта мысль пронзила его — и рука дрогнула.

Он не попал в немца потому, что, когда ком должен был уже полететь, он подумал: «а вдруг...» И не попал.

«А вдруг, — он подумал опять, — этот фашист убил моего отца? Этот и никакой другой?»

И он снова схватил ком мерзлой земли. Теперь этот немец уже не был для него просто человеком, который — переодень — ничем не будет отличаться от других людей. Этот немец отличался теперь всем. Он был врагом, смертельным врагом, который убил отца.

Мельком Алеша увидел, как рядом швыряли снег и землю Гошка и еще какие-то мальчишки. Потом камни полетели в пленных со всех сторон. Вся толпа с ненавистью и каким-то отчаянием швыряла в длинноносого, и он перестал смеяться, и он закрыл свой поганный рот, и он согнулся, закрывшись руками.

А мальчишки вокруг, и девчонки, и самые маленькие малолетки, и женщины, и даже какой-то старик с палкой кидали и кидали комья в немца.

Все целили в одного длинноносого, но камни летели мимо, в других пленных, и они тоже стояли согнувшись, закрывая лица руками. А тетки с винтовками топтались на месте и кричали:

— Перестаньте!

— Перестаньте!

Но толпа только сильнее свирепела.

Наконец, длинноносый прыгнул в яму, которую откопали пленные.

— Ура! — крикнул Гошка, и все мальчишки, которые были тут, поддержали его.

Только Алеша не кричал «ура!». И еще Толик. Алеша взглянул на Толика и увидел, как тот шевелит губами, будто стараясь сбросить с себя свою судорожную гримасу...

Женщины опомнились.

Они перестали бросать комья и, вытирая руки, стали расходиться.

Пленные начали подниматься, поправлять пилотки, стряхивать с шинелей землю. Только длинноносый все еще сидел в яме, закрывшись руками.

— Пошли, — сказал Алеша. Руки у него дрожали.

— Эсэсовец, — уверенно сказал Гошка. — Или офицер.

— Все равно гады, — сказал Алеша и подумал, что вот он и заглянул внутрь этого фашиста.

Толик молча шел впереди, так и не сказав ни слова, и лицо его тоже нельзя было разглядеть.

«Человек, а настоящий зверь, — подумал Алеша о немце. — Зверь сидит в человеке. Вот почему они фашисты».

На углу Толик остановился и обернулся к ним. Лицо его все еще было бледным.

— Нас ведь двести семнадцать человек было, — сказал он, будто оправдываясь. — И пять воспитателей. Целый детдом!..

И пошел, прямой и тощий, такой тощий, что даже сквозь пальто заметно было.

3

Толик скрылся за углом, а они пошли домой учить уроки, и дело у Алеши все не клеилось, потому что всякий раз, вспоминая того длинноносого фрица, он представлял себе, как этот фашист строчит из автомата в отца. Это было страшно представить. Руки у Алеши дрожали, сердце неровно колотилось, и к горлу подкатывал комок. Он глядел на отцовскую фотографию, и все в нем вздрагивало при мысли, что отца больше нет, нет, нет...

Он успокоился только вечером, когда они с Гошкой пошли на каток и долго гоняли там наперегонки. Когда они возвращались, на улице похолодало, а от них валил пар.

Мальчишки раскапывали сугробы, доставали из глубины чистый снег и глотали его. Эх, если бы еще сахарку, настоящее получилось бы мороженое!

Спешить было некуда, они шли медленно, и их обогнал какой-то военный. Алеша взглянул на него мельком, что-то сказал Гошке, и вдруг его словно стукнуло по голове.

Он остановился, глядя вслед военному, а потом вдруг побежал.

— Куда ты? — крикнул Гошка, но Алеша бежал, догоняя военного и ничего не слыша.

Да, да, чем ближе он подбегал к военному, тем все больше и больше узнавал его. Да, это был отец! Он ша-

гал своей спокойной, уверенной походкой. Будь бы здесь те довоенные доминошники, они бы обязательно обернулись и сказали с удовольствием: «Строевик!» Да, такую походку можно было узнать за сто верст, и фигура у военного была как у отца, и руками он размахивал так же.

Алеша догнал военного и кинулся ему на спину! «Папа! — шептал Алеша. — Папа!» — говорил и целовал отца куда-то в шапку, в висок, в погон.

Военный повернулся к Алеше, и Алеша закрыл глаза, готовый умереть.

Это был не отец.

Алеша все стоял и стоял, а его тормозил за рукав Гошка, и военный все спрашивал: «Что ты, мальчик? Что ты?..»

Алеша открыл глаза и снова увидел незнакомое пожилое лицо военного.

— Простите, — прошептал Алеша, — простите меня, — и обошел военного, уводимый Гошкой.

— Вот дурачок, — приговаривал Гошка, схватив Алешу за рукав. — Вот дурачок...

Они прошли несколько шагов, и Алеша обернулся, все еще не веря себе.

Военный стоял под фонарем и смотрел на Алешу. Тусклая лампочка бросала на его лицо густые тени, военный — только что такой бодрый, четко печатавший шаг, — стоял, опустив плечи, понурившись, словно горько о чем-то думал.

Мальчишки уходили, военный становился все меньше и меньше, пока не скрылся за поворотом, будто вкопанный стоя под фонарем.

4

— Вот дурачок... — все повторял Гошка, ведя Алешу за рукав. — Вот дурачок!

Алеша послушно шел за ним; руки, и ноги, и все в нем будто налилось железом, тянуло куда-то вниз. Вдруг ему страшно захотелось спать, он зевнул раз, другой и так зевал до самых дверей, а Гошка испуганно глядел на него и спрашивал:

— Ты чо?.. Ты чо?..

Дома Гошка стащил с Алеша пальто и посадил его на кровать. Голова кружилась, стены плыли перед ним, и потолок падал, все время падал сверху.

Гошка что-то сказал и исчез. Алеша сидел на кровати, его покачивало. Захотелось пить. Он встал, добрался до стола и опять увидел отца.

Сначала отец смотрел из деревянной рамки, потом он вдруг вырос, стена и стол исчезли куда-то, и отец сидел на ромашковой лужайке, смотрел, жмурясь, на Алешу и улыбался.

Всю тяжесть будто смахнуло рукой, Алеша шагнул навстречу отцу, но ударился обо что-то и сказал тихо:
— Папа!

Отец улыбался, смотрел на Алешу, но будто не видел его.

— Папа! — позвал Алеша погромче.

— Я слышу! — ответил отец и кивнул Алеше.

Алеша вздохнул. Да, все было наяву, взаправду. И отец был, и ромашковое поле — протяни руку и сорвешь цветок.

— Как же теперь, папа? — спросил, волнуясь, Алеша.

— Ну, ну, выше нос! Ты ведь сын командира! — ответил отец.

— Неужели ты не вернешься?

— Рано или поздно люди умирают, и ничего тут не сделаешь.

— Но ты — очень рано. Ведь ты совсем молодой.

— И молодые умирают, — сказал отец. — А я ведь солдат.

— Ты хочешь, чтобы и я был солдатом? — спросил Алеша.

— Решай сам, — сказал отец. — Может быть, ты и не захочешь стать военным. Но если война...

— Я понимаю, — сказал Алеша.

Он подумал, что они говорят как равные, как если бы говорили двое взрослых. Если бы тут была мама, она бы удивилась, наверное. А может, нет. Просто сидела и слушала бы их.

— Но кем бы ты ни стал, — сказал отец, — будь всегда сыном командира.

— Ты знаешь, тебя наградили орденом Отечественной войны...

Отец улыбнулся.

— Носи его ты. Этот орден передается наследникам. Значит, тебе. И еще запомни... Я крепко любил маму... Я думал о тебе и о ней, когда умирал. Береги ее.

Отец улыбнулся, махнул рукой, словно прощаясь, и что-то сказал, но что — Алеша не расслышал.

Он шагнул к отцу, стараясь догнать его, но опять больно стукнулся обо что-то.

Отец исчез.

Перед Алешей был стол, на столе стояла фотография, а в дверях встревоженно улыбался Гошка.

— Ты куда? — спросил он Алешу. — Тебе чего?

Все в Алеше снова налилось какой-то странной тяжестью, и все стало опять безразлично ему.

Гоша отвел его на кровать, раздел и плотно укутал одеялом. Алешу знобило. Прямо колотило его.

Гошка укрывал его старыми шубами, а Алешу все трясло и трясло.

— Хочешь, — спросил Гошка, и глаза его заблестели. — Хочешь, я тебе почитаю письма моего отца?

Он вытащил из кармана стопку аккуратных треугольников.

— Ты лежи, — сказал Гошка, — и думай, что это тебе твой отец пишет.

Алеша кивнул, проваливаясь куда-то, и услышал лишь первые Гошкины слова: «Здравствуйте, милые мои Вера и Го... и Алеша! Гвардейский вам от меня фронтовой привет...»

«Мама, — подумал, проваливаясь в темноту, Алеша, — где же мама? Почему так долго ее нет?..»

5

Алеша будто плыл по странному морю.

Он то проваливался в глубину, и тогда не было ничего, кроме темноты и тонкого звона в ушах, то всплывал из этой глубины, и тогда ему виделась все одна, многократно повторяющаяся картина...

Вокруг взлетала земля. Взлетала справа, слева, впереди, ухало за спиной. А Алеша все полз и полз куда-то и никак не мог доползти.

Он полз, а сзади шуршал Гошка. Они ползли, и Алеша мучительно вспоминал и не мог вспомнить, куда они ползут и зачем.

Они ползли и ползли бесконечно, ободрав в кровь локти, и неожиданно все стихло. А впереди показались танки. Он посмотрел направо и налево, он обернулся

назад, — отовсюду серые, мышиного цвета танки с белыми крестами на башнях, громяхая железом, урча моторами, двигались на них, медленно и неумолимо.

Алеша старался вжаться в землю, сровняться с ней. Он вжался в нее и сровнялся с ней. Перед ним, высокая, как тополь, качалась ромашка. И прямо на нее лез танк.

И вдруг Алеша услышал, как за спиной вскочил Гошка и побежал вперед. Алеша удивился: Гошка был большой, прямо взрослый, и одет в военную форму. Он бежал прямо на танк, и в одной руке у него была связка гранат. Подбегая к танку, Гошка обернулся, и Алеша увидел, что это никакой не Гошка, а отец.

— Постой, папа! — крикнул Алеша. — Постой!

Отец улыбнулся ему, и движения его стали плавными и медленными. Он плавно размахнулся, и связка гранат медленно полетела в надвигающийся танк...

Яркий свет слепил глаза, и Алеша опять провалился в глубину, а когда выныривал, он снова полз, и снова лезли танки со всех сторон, и опять вместо Гошки оказывался отец, бросающий гранаты. А потом разрыв гранаты опять бросал его в темноту...

Эта странная качка продолжалась бесконечно долго, темнота, сменяющаяся видением, выматывала, как если бы его посадили в бочку и, закрыв, начали ее крутить... Было тяжело, до тошноты тяжело, и Алеша звал отца, просил, чтобы он остановился, но папа бросался под танк, и опять наступала темнота. Понимая, что отца больше нет, проваливаясь в небытие, Алеша звал маму. Но ее не было. Ее упорно не было, будто не было вообще. Алеша знал, что она где-то тут, и, собирая последние силы, звал ее, но мамы не было.

Наконец яркий свет взорвавшейся гранаты приобрел какую-то желтую окраску и словно остановился. Алеша внимательно разглядывал светлые блики перед собой, пока, наконец, не понял, что это солнце. Был уже закат, и на потолке двигались последние лучи.

Алеша оглянулся и увидел рядом с собой множество кроватей и в белом халате Веру Ивановну.

— Ну вот, — сказала она, садясь на краешек кровати. — Ну вот и все. Теперь дело пойдет! — и засмеялась.

Алеша все еще озибался вокруг себя. На кроватях лежали взрослые.

— Не вертись, — сказала Вера Ивановна, — ты в госпитале.

— Где мама? — хрипло спросил Алеша.

— У нас карантин, ее не пускают. Но ты не волнуйся. Я буду к тебе часто приходить.

Вера Ивановна говорила еще что-то, но Алеше вдруг страшно захотелось спать, и он закрыл глаза, не в силах ее слушать.

Он подумал, что снова, наверное, провалится в темноту, но нет, качка кончилась; кончилось это тяжкое море, и сон у Алеши был светлый, похожий на потолок, расцвеченный солнечными пятнами.

Утром Алеша проснулся рано, за окнами еще стояла густая синь. Он полежал, пытаясь припомнить, что с ним было за это время, кроме качки и танков, но вспомнить ничего не мог. В углу кто-то громко застонал, и неожиданная мысль пришла в голову. Ведь он же был в том госпитале, где работала Вера Ивановна. Значит, где-то тут лежит тот раненый солдат, который знал отца!

Алеша тихонько вытащил из-под соседней кровати огромные шлепанцы. Длинные полосатые штаны соседа пришлось закатать так же, как рукава пижамы. Похожий на чучело, Алеша вышел в коридор. Тускло горели синие лампочки. Дорогу в большую палату он нашел безошибочно и быстро стал пробираться между кроватей.

Знакомая кровать была пуста. Алеша подумал было сначала, что тот раненый просто вышел, мало ли выходят люди среди ночи, но тут же в мрачном свете синей лампочки увидел, что кровать аккуратно заправлена.

— Мальчик, — сказал кто-то в полумраке, и Алеша вздрогнул от неожиданности. — Ты кого ищешь? — Алеша повернулся и увидел раненого с высоко поднятой, загипсованной ногой.

— Ты кого ищешь? — повторил раненый, и Алеша разглядел, что он совсем еще молодой, как те парни, которые толпились тогда в военкомате, или как тот лейтенант, который провожал их к военкому.

— Да тут лежал один раненый. Он с моим отцом восвал.

— Твоя фамилия как? — спросил раненый.

— Журавлев, — ответил Алеша, собираясь уходить.

— А-а... Он рассказывал, — прошептал парень, и Алеша повернулся к нему.

— Он рассказывал про твоего отца. Говорит, героем погиб.

Алеша хотел было идти обратно.

— Постой-ка, — сказал парень, — на вот тебе, — и протянул Алеше яблоко.

— А у меня отец тоже погиб, — сказал парень. — Мы с ним вместе воевали, в одной части. Вот он погиб, а я живой.

В палате было тихо, только синий свет разливался по белым кроватям.

— Вот лежу и думаю, — прошептал парень, — как матери об этом написать.

Алеша внимательно посмотрел на парня и увидел синее лицо, совсем молодое, синие губы и синюю ногу, поднятую кверху. Там, где должна быть вторая нога, одеяло плотно прилегало к кровати.

ОБИДА

1

Мама долго тискала и целовала Алешу и все мешала ему переодеться, а рядом стояли Гошка и Вера Ивановна и тихо улыбались.

— Теперь тебе, — сказал Гошка, — красную нашивку на рубаху можно пришить. Тяжелораненый.

Все засмеялись, и мама тоже засмеялась. Алеша глядел на нее и не мог нарадоваться; как она изменилась, какая она веселая! Ах, мама! Красивая, хорошая мама. Алеша вспомнил, как звал ее, когда лежал без памяти, как очнулся потом, а мамы все не было, потому что на госпиталь наложили карантин. Как хотел он обнять маму, поговорить с ней тогда, в тот вечер, а ее все не было. Но вот сейчас она тут!

Был вечер, мороз высветил небо, и оно будто опустилось поближе к земле, чтобы люди могли лучше разглядеть звезды. А звезды мерцали, словно вглядывались в города и деревни, зима гулко ухала в стенах деревянных домов, люди шли быстро, подняв воротники.

От крепкого морозного воздуха Алешу покачивало из стороны в сторону, это его смешило, и мама осторож-

но вела его под руку и приговаривала: «Не смейся, не смейся на улице».

Дома, еще в прихожей, Алеша ощутил какой-то приятный запах. Пахло чем-то очень знакомым, приятным, но вот чем, он никак не мог вспомнить. Алеша вошел в комнату и замер: в углу стояла елка. Он совсем, ну вот совсем забыл, что завтра Новый год...

— Это Гоша тебе привез, — сказала мама. — Сам ходил на лыжах в лес, притащил ее сюда и велел: не трогайте, мы вместе с Алешей ее наряжать будем...

— Мама, — спросил он, — мама, а ты скучала без меня?

Мама стояла перед ним в тонком халатике, в больших отцовских тапочках, перекинув косу на грудь, и от этого казалась такой родной, такой близкой.

Она подошла к Алеше и обняла его:

— Ты еще спрашиваешь... — сказала мама.

На Алешу нахлынула какая-то теплая волна, ему захотелось сделать для мамы что-нибудь хорошее.

— Знаешь, — смеясь сказал он, — а я тебя звал... Там, в госпитале...

— Да, да, — ответила мама, ласково глядя на Алешу, — я знаю...

Утром небо полыхало торжественной синевой, солнце гранило своими лучами ледяные торосы на реке.

Алеша открыл форточку и хлебнул глоток мороза.

На улице было так тихо, что слышалось, как лают собаки в Макарье, заречном селе. Красногрудые снегири усыпали прибрежные тополя, и было похоже, будто розовые яблоки перекатываются с ветки на ветку.

После уроков прибежал Гошка, и из нижнего ящика стола Алеша осторожно достал картонную коробку.

— Эх, красотища! — застонал Гошка, когда Алеша открыл ее. В коробке были елочные игрушки. — Они теперь как золото — нигде не купишь, разве только на рынке, игрушечка — за кусок хлеба. Эх, красотища! — повторил Гошка, развешивая золотые шары, маленьких стеклянных дедов-морозов, серебряные длинные бусы.

Но когда все игрушки развесили, елка оказалась почти пустой. Алеша пошел в чулан, вытащил какие-то старые книжки, остатки цветной бумаги, достал клей и начал делать бумажных солдатиков. Сперва они получались какими-то неуклюжими, но потом Алеша вспо-

мнил книжку про Суворова, вытащил ее и стал делать солдатиков, похожих на суворовских. Пушистые перья на шлемах у офицеров, высокие барабаны, острые шпаги...

Гошка взялся помогать ему, но у него ничего не выходило, и он топтался просто так, без дела.

— Лёх, — спросил он вдруг. — А тебе твоя мама ничего не говорила?

— Чего ничего? — спросил Алеша.

— Ну... Это... Будто у тебя новый отец будет...

— Как это? — спросил, вставая, Алеша, и словно что-то хлестнуло его по лицу.

Гошка смотрел на Алешу испуганно и виновато.

— Как это? — переспросил Алеша и тут же засмеялся. «Ну и ну, — подумал он, — ну и Гошка...»

Гошка тоже засмеялся. Правда, вышло это у него как-то странно. Будто вовсе и не смешно ему было.

Потом Гошка заторопился.

— Надо ведь еще переодеться, — сказал он.

Будто переодеваться надо полдня.

Пришли мама и Вера Ивановна и сразу стали стряпать — подумать только! — пельмени. Мама достала немного муки в столовой, и хотя пельмени стряпались с картошкой и капустой внутри, все равно, само даже слово — пельмени! — вызывало сладкие слюнки.

Несколько раз мама вбегала в комнату — покрасневшая, веселая, выпачканная мукой, спрашивала Алешу: «Ну как елка? Как елка?» — и снова убегала на кухню. Алеша смотрел на нее, любовался ею и думал: как хорошо, что она сегодня такая, как раньше, как до войны. Прежде, когда они были все вдвоем и готовились к Октябрьским, или к Новому году, или ко Дню Красной Армии — они всегда отмечали этот папин, а значит, и их праздник, — мама носилась по квартире такая же веселая и покрасневшая, и от этой ее беготни Алеше с отцом было хорошо, они подшучивали над мамой, а сами радовались, какая она красивая и веселая...

Снова в комнату вбежала мама, чмокнула Алешу в щеку, опять спросила: «Как елка?»

Алеша вспомнил Гошку с его глупым вопросом, и ему стало смешно.

— Ты что? — удивилась мама, и Алеша подумал, а что если взять и спросить ее сейчас: «Говорят, тыходишь замуж?» Вот смеху-то будет.

«Это здорово», — подумал он и решил, что спросит, обязательно спросит, но не сейчас, а когда все сядут за стол, чтобы все и посмеялись — и Вера Ивановна, и Гошка, и мама, ведь сегодня Новый год.

2

Потом прибежал нарядный Гошка и стал развешивать Алешкиных солдатиков.

Потом убежала переодеваться Вера Ивановна.

Потом кто-то постучал, и Алеша пошел открывать. Он открыл, думая, что это вернулась Вера Ивановна, взглянул, как она нарядилась, и замер.

В дверях стоял высокий капитан.

Алеша подумал, что военный ошибся, и спросил его: — А вам какую квартиру?

— Вашу, — ответил капитан и козырнул Алеше.

Алешу будто осенило, и он засмеялся. Как же он не мог догадаться столько, а еще спрашивал, спрашивал. Это, конечно, от отца!

Сердце гулко застучало, Алеша распахнул дверь до отказа и спросил:

— Вы от папы?

Капитан растерялся, бусинки пота заблестели у него на лбу, но Алеша не замечал ничего и снова спросил:

— Вы от папы? Где он?

— Алеша! — услышался голос мамы, и он обернулся. В дверях кухни стояла раздумывавшаяся мама и вытирала передником руки. Она смотрела то на Алешу, то на капитана, и руки у нее заметно дрожали.

— Это не от папы, — сказала она наконец, и капитан шагнул мимо Алеши, на ходу скидывая шинель и доставая из кармана бутылку шампанского.

Мама снова забегала по квартире, захлопотала, а капитан пригладил волосы и повернулся к Алеше. На гимнастерке у него тихо позвякивали награды. Как в полусне, Алеша отметил про себя, что капитан, видно, храбрый, раз у него два ордена боевого Красного Знамени, и две медали, и еще гвардейский знак.

— Это тебе, — сказал капитан и что-то протянул Алеше.

Он механически взял, это был шоколад, целая плитка шоколада. Из комнаты пришел Гошка и вопросительно посмотрел на Алешу, будто спрашивал: я же гово-

рил тебе? А капитан уже по-хозяйски расхаживал по комнате, куря папиросу и оставляя за собой колечки дыма и терпкий запах одеколона.

Потом снова в дверь постучали. Это была Вера Ивановна.

Потом в ванную спряталась мама и вышла оттуда в синем шерстяном платье, как до войны. На ней были туфли с каблуками, и, когда она ходила, каблуки громко стучали.

Потом они сели за стол, военный хлопнул пробкой о потолок и стал разливать вино. Мама и Вера Ивановна говорили, что мальчишкам еще рано, но капитан не послушался и налил им тоже.

— За счастье, — сказал капитан и стал чокаяться со всеми. Алеша внимательно следил, настороженный, за каждым его словом, за каждым движением. Когда капитан чокнулся с мамой и взглянул на нее как-то особенно, Алеша вдруг понял, что капитан этот тут неспроста, что что-то случится в их доме, не счастье, а несчастье случится.

Но капитан снова повторил:

— За счастье! — и высоко поднял кружку с вином.

— Нет, — сказала Вера Ивановна, почему-то строго посмотрев на Гошку, — за победу! Какое же счастье без победы?..

Все молча выпили, и Алеша тоже выпил шипящее вино. Елка серебрилась стеклянными шарами, бумажные солдатики качались среди них. Шапки с перьями у офицеров, высокие барабаны, острые шпаги...

Алеша вздрогнул: капитан включил на полную громкость радио. Где-то там, далеко в Москве, играли вальс, он доносился до их маленькой комнаты. Капитан пригласил маму. Стол отодвинули, и они закружились. И каждый раз, когда приближались к елке, капитан задевал ее, и бумажные солдатики, шары, бусы — все качалось, норовя оборваться.

Алеша смотрел на маму, на капитана, и сердце набатом стучало в нем.

Вот так же, точно так же мама танцевала с отцом. Здесь же, в этой комнатке, только вот когда — Алеша мучительно вспоминал и не мог вспомнить, когда это было? Но это было, было, он сидел тогда, еще маленький, в кресле у стола, и смеялся, смеялся, а они танцевали, и когда музыка кончилась, папа сказал: «Надо купить патефон!» И мама сказала: «Надо, обязательно

надо!» Алеша запомнил, что мама и отец хотят купить патефон, и где-то там, в уголке памяти, спряталось это: мама и отец танцуют, — а сейчас забытое с болью и горечью вышло из этого уголка.

Патефон они так и не купили, а мама снова танцевала под радио. И улыбалась, как тогда, и глаза ее блестели, как тогда, и вся она была — как тогда...

А отцовская фотография стояла на столе, и отец был в ромашковом поле, и ветер лохматил его волосы, и он улыбался, щурясь от солнца.

А мама кружилась и не видела отца.

Как в полусне, Алеша тихо встал из-за стола и вышел в прихожую. Никто не обратил на него внимания, даже Гошка. Все смотрели на маму и капитана.

Алеша медленно натянул пальто, нахлобучил шапку и вышел на лестницу.

3

На улицах было пусто, будто во всем городе жил только он, Алеша. Не ходили машины, не ходили люди, даже постовых не было видно.

Звезды скрылись, шел снег: большие, пушистые хлопья, медленно кружась, покрывали мохнатыми шапками ветви деревьев.

Алеша вышел на берег. Ни реки, ни заречного леса, ни даже откоса под ногами не было видно — только чернота кругом, глухая пустота, как невидимая стена. Но пустота жила своей жизнью: где-то там, тихо шелестя, падал снег, незримая стена ощущалась тугим, плотным падением тяжелых хлопьев. Над откосом кто-то громко говорил. Разговор этот показался Алеше странным, он подошел поближе к обрыву. Говорили где-то вверху. Он поднял голову и засмеялся от неожиданности. На старом столбе, под которым они летом всегда сидели с Гошкой, снова висел черный рупор.

Алеша прислонился к столбу. Столб тихо звенел, гудел, волновался, будто радовался, что вот, наконец, он ожил и снова заговорил вместе со своим рупором.

Радио на минуту замолчало, потом заиграла музыка. «Почему же, — подумал он, — почему же сначала убрали радио, а сейчас повесили снова?..» Алеша задумался и очнулся, лишь когда твердый голос Левитана сказал с расстановкой, так сказал, будто ему не гово-

рить, а крикнуть хотелось: «...двадцатью артиллерийскими залпами».

«Так вот почему, — обрадовался он, — потому что наши стали побеждать! Конечно, вот это: «двадцатью артиллерийскими залпами» — должны все слышать! И ночью и днем. И даже если некому слушать, как сейчас, пусть слышит это темнота, снег и замерзшая река...»

Алеша шлепнул рукой старый столб и пошел по снежной улице.

«Еще освободили какой-то город, — подумал Алеша, — снова победа, и все люди радуются сейчас... А может, этот город и не освободили бы сегодня, если бы не отец, если бы не бросился он под танк... А мама... Эх, мама!»

Отца нет, и его не вернешь. Только фотография на столе — ромашковое поле и ветер лохматит волосы, да письмо, да орден в красной коробочке. Да еще память.

Фотография — что, бумажка. Ее можно порвать, можно выбросить. Она может выцвести от времени и от солнца.

А память? Она тоже выцветет? Неужели и в памяти люди стираются? Исчезают, уходят? Что же, значит, человек живет, работает, ходит, любит, и его любят тоже — любят по-настоящему, искренне, а потом он исчезает и его больше нет? И он больше никому не нужен?

И памяти о нем нет?

Просто нет, просто ничего нет.

«Да, это, наверно, так и есть, так и бывает», — подумал Алеша и со стыдом вспомнил, как он забывал отца, как отец уходил, отдалялся от него, когда он был в школе, или бегал с Гошкой на улице, или занимался чем-нибудь своим. Но ведь всегда отец возвращался к нему. Всегда.

А мама... Он снова, уже в который раз, с горькой болью подумал про маму, про сегодняшней праздник, про этого капитана. Говорят, как встретил ты Новый год, так будешь жить целый год. Что же, значит, теперь целый год — так. А может, и всегда — так? «Новый отец», — сказал Гошка. Новый отец! Да разве может быть новый отец; отец всего один, и он у Алеши есть, Алеша-старший, и всегда будет.

«Люди не повторяются на земле, — подумал Алеша. — Нет двух людей, точно повторяющих друг друга.

Даже самые-самые похожие друг на друга, даже близнецы. Но он, Алеша, повторит своего отца, своего Алешу-старшего. А мама... Мама пусть выбирает».

Он любил ее, маму. Ее любил и отец, очень любил, и это Алеша знал. Но теперь...

Теперь он не мог простить ей отца... Забыла? Неужели забыла?..

«Нет, — лихорадочно подумал Алеша, — нет, нет, так не должно быть, так не может быть! Нельзя ничего забывать! Нельзя забывать, как отец проходил по двору, подтянутый и строгий, как ходили они встречать его с работы и как стояли тогда, на вокзале, все втроем под плащ-палаткой, и капли гулко стучали по ней, и дождь пузырился в лужах.

Нет, нельзя этого забыть!

Фотография — это да, это как отражение в зеркале, а память — не отражение. Память живет с человеком, ее нельзя порвать, она не может стереться или выцвести.

И мама не может забыть отца. Нет, Алеша поговорит, поговорит с ней сегодня же. Как взрослый. Как если бы он сам был отцом.

А отец... Отец всегда будет с ним...»

4

Он и не заметил, как пришел на станцию.

В городе был Новый год, и тишина стояла на улицах, и медленно падал снег, а здесь отрывисто гукали паровозы, громко стучали буфера вагонов, соединяемых в состав.

Вагоны были открытые, груженные лесом, и Алеша подумал, что их, пожалуй, отправят на запад, туда, откуда прогнали немцев. Ведь там все сожжено, все разрушено.

Алеша поднялся на пешеходный мост над путями. Отсюда было хорошо видно полуосвещенную станцию, синие фонари возле стрелок, зеленый глаз семафора.

Он стоял, навалившись на перила, снег падал ему на плечи, образуя белые погоны. Иногда проходивший поезд обдавал его дымом, но Алеша по-прежнему стоял не шевелясь.

Впереди, на подходе к станции, вдруг протяжно загудел паровоз, тяжело застучали колеса на стрелках и

прямо из темноты выполз длинный состав, который тащили сразу два паровоза.

Надрывно пыхтя, они проволокли сначала несколько обыкновенных вагонов, а потом пошли открытые платформы, и Алешино сердце заколотилось.

На платформах виднелись силуэты каких-то странных машин, затянутых в брезент, и рядом с ними сразу по два часовых в белых овчинных тулупах.

Алеша нередко бывал на станции и знал, что на платформах всегда бывает по одному часовому. Кроме того, орудия, пусть и зачехленные, всегда можно было узнать по очертаниям.

Сегодня же везли что-то совсем другое, ни на что не похожее, и эти два часовых на каждой платформе, и эти автоматы вместо винтовок у часовых...

«Наверное, «катюши», — подумал он, глядя ваясь пристальней.

Алеша слышал про новое оружие, которое сметало все на своем пути. «Неужели «катюши»?» — подумал он снова и представил, как поливают они фашистов огнем, эти удивительные орудия, как бегут немцы, как горят их танки и штопором закручиваются стволы их пушек.

«Эх, если бы на фронт! Да еще бы с «катюшами!»»

А платформы все двигались и двигались, гулко стучали колеса на стыках, и черные зачехленные громады плыли одна за другой, и этот мерный стук, и это плавное движение платформ, и часовые с автоматами принесли какую-то легкость и уверенность, что все будет хорошо.

Алеша вздохнул и только теперь почувствовал, как замерзли у него ноги и весь он.

Алеша свесился с перил, еще раз глядя ваясь в бегущие мимо платформы, и вдруг кто-то дернул его назад.

Испугавшись от неожиданности, он обернулся и увидел Гошку.

Шапка у Гошки съехала на затылок, из-за ворота валил пар — наверное, Гошка бежал.

— Ты чо? — спросил он Алешу. — С ума сошел? Кидаться вздумал?

И тихонько стукнул Алешу в грудь.

Алеша помолчал мгновение, потом, поняв, засмеялся.

— А мы с ног сбились, — сказал Гошка. — И я, и мама, и твоя мама. А капитан ушел.

— Ты знаешь, — неожиданно сказал Алеша, — я буду военным.

— Ты и так военный, — кивнул Гошка и стряхнул с Алеши снежные погоны.

Алеша вспомнил своих бумажных солдатиков. Бумажные барабаны, бумажные шпаги, бумажные ружья. Как и эти снежные погоны — ненастоящие, невзаправду.

Вот те, что проехали сейчас на длинном своем поезде, настоящие солдаты. В валенках, в тулупах, возле своих «катюш»...

НАСЛЕДСТВО

1

Дома было пусто. Ветер врывался в открытую форточку и метался по комнате, выстуживая ее. На столе стояли бутылка из-под шампанского, грязные тарелки, утыканные окурками, блюдо с капустными пельменями, почти не тронутыми.

Мама сидела на кухне, одетая в пальто, и глядела перед собой прозрачными глазами. Так она сидела, вся сжавшись и не шелохнувшись, пока Алеша раздевался, будто ждала она его слов, его суда, будто ждала, что что-то случится сейчас.

Алеша стоял посреди комнаты, думая, как сказать маме все, какие найти слова, чтобы она поняла, все поняла. И вдруг усталость, как какой-то огромный груз, навалилась на него. «Что говорить? — подумал он. — Ну что тут скажешь, ведь она и сама все знает».

Он разделся, лег в кровать и закрыл глаза. Бумажные солдатки, золотые шары, бутылка из-под шампанского, поезд с «катюшами», танцующая мама — все, что было перед ним в этот вечер, закружилось, сначала медленно, потом все быстрее, и Алеша уснул.

Он очнулся среди ночи, неожиданно и беспричинно. Было тихо, за окном, в свете фонаря все падал и падал крупными хлопьями снег.

С кухни, из-за приоткрытой двери слышались голоса. Алеша прислушался. Говорила Вера Ивановна.

— Для сына, — повторяла она настойчиво, — для сына! Это разве не важно?

— Ах, Вера, Вера, — вздохнула мама, — если бы все так просто было...

— А ты не усложняй, — сказала Вера Ивановна.

— Да вот попробовала. Видишь, что получилось, — усмехнулась мама. — Я ведь и сама все знаю, Вера... Знаю, что Алеша — все, что мне осталось... А как подумаю — дальше что, хочется за соломинку ухватиться...

Мама помолчала, помолчала и Вера Ивановна.

— Ты вот врач, — продолжала мама, — у тебя работа, а я кто? Официантка. Вот война кончится. Алеша вырастет, женится, уедет, а я? Одна?.. Супы разносить? Разве это жизнь...

— Ты еще молодая, — сказала грустно Вера Ивановна, — красивая, подожди, Алеша вырастет, поймет. А сейчас — поставь-ка себя на его место. Отец у него вот где!

Мама заплакала, соседка принялась ее утешать, и Алеше стало жаль маму. Но новогодняя ночь — и капитан, и веселая мама — вновь пронеслась перед ним, и он закрылся с головой одеялом, чтобы ничего не слышать и ничего не знать, кроме того, что он решил сегодня: отец всегда будет с ним, и нет ничего, что могло бы простить измену ему.

На другой день, когда Алеша с Гошкой собирались побегать после школы на улице, пришла Вера Ивановна. Узнав, что мамы нет, она очень удивилась, будто в первый раз слышала, что мама днем на работе, вытерла о половик сухие туфли и вошла в комнату.

Гошка подозрительно закрутился, замельтешил и вдруг сказал:

— Дак я за хлебом!

А Вера Ивановна стала рассказывать ему, как трудно работать в госпитале, и как много каждый день там умирает тяжелораненых бойцов, и как все-таки хорошо, что мама не пошла работать в госпиталь, и какая она молодец, что устроилась в столовую, потому что живется сейчас трудно, а это, как ни говори, помогает.

Вера Ивановна говорила как-то несвязно, вздрагивала, когда на лестнице слышались чьи-нибудь шаги,

внимательно разглядывала Алешу и вообще вела себя очень странно.

Алеша молчал. Вера Ивановна взъерошила короткую свою прическу, что-то промывчала и заходила по комнате. Короткие волосы очень не шли ей; казалось, она только что вышла из тифозной больницы. Когда Вера Ивановна ходила по комнате, короткие волосы ее топорщились, открывая худую белую шею. Вся она такая длинная, такая нескладная, а сейчас еще почему-то смешно хлопала все время глазами, будто ей в глаза что-то попало.

— Так! — Вера Ивановна решительно прошлась по комнате. — Так! Так! — повторила она, но опять ничего не сказала, а все ходила, топталась, будто хотела разбежаться и взлететь.

Потом она резко остановилась и сказала:

— Алеша! Я хочу с тобой поговорить!

— Пожалуйста, Вера Ивановна, — ответил Алеша.

— Как с мужчиной! — воскликнула Вера Ивановна и подняла кверху палец.

Алеша пожал плечами.

— Так вот, Алеша, — начала Вера Ивановна, продолжая ходить по комнате. — Твой папа погиб. Это ужасно! Это горько! И это непоправимо! — Она остановилась перед Алешей. — Да, это так! — воскликнула она. — И ничего тут не сделаешь.

Алеша повернулся к отцовской фотографии, и слова эти — «Ничего тут не сделаешь» — прозвучали как откровение, как сказанное и понятое только сейчас, как железная точка, которую вот взяла и поставила на папиной жизни эта длинноногая Вера Ивановна. Алеша отвернулся, и Вера Ивановна взяла его за плечи и сказала совсем другим голосом:

— Прости, Алеша. Прости...

Она прижала Алешу к себе осторожно, как мама.

— Но понимаешь, жизнь не остановилась. И ты живешь и учишься. И твоя мама живет. Ничего не поделаешь, так все устроено — одни умирают, другие остаются.

— Ну и что? — буркнул Алеша.

Вера Ивановна кашлянула. Что-то запершило у нее в горле, и она сходила на кухню попить.

— Алешенька, — сказала она, вернувшись. — Твоя мама еще молодая, и ей нужно строить свою и твою жизнь дальше. И ей трудно.

— Ну и что? — спросил Алеша, начиная злиться. — А вам не трудно? А вы — старая?

— Алеша! — улыбаясь, ответила Вера Ивановна. — Ты уже большой и скоро окончишь школу, каких-нибудь года три, и уедешь учиться дальше, а мама? Она должна остаться одна?

— Ну и что? — крикнул Алеша. — Ну и что вы от меня хотите?

Вера Ивановна побледнела, губы у нее затряслись.

— Ничего, ничего! Только чтобы ты все понял — больше ничего.

— Я все понимаю, — сказал Алеша с тоской. — Я все понимаю. Но только вы меня не уговаривайте.

Вера Ивановна зашмыгала носом, часто-часто заморгала, подошла к Алеше и вдруг наклонилась к нему и поцеловала куда-то в затылок.

2

Они молчали теперь дома. Стена встала между ними, прочная каменная стена, и трудно было ее разрушить. Иногда мама пыталась просто постучаться в эту стенку, решительно подходила к Алеше, брала его за руку, говорила:

— Алеша!..

Но Алеша вырывал руку и говорил ей:

— Всю жизнь Алеша! — и отворачивался. Или шел в прихожую, надевал пальто и уходил к Гошке. У Гошки они о чем-то говорили; они вырезали солдатиков из бумаги или читали, но Алеша говорил, и вырезал, и читал, думая совсем о другом. Он часто встречал удивленные Гошкины глаза и замечал, что, оказывается, ответил что-то невпопад, или сказал совсем не то, или начал читать не на той странице.

Он сидел у Гошки, или шел куда-нибудь, или говорил с кем-нибудь и понимал, что живет он какой-то двойной жизнью. И эта — когда он был у Гошки, или ходил, или читал, — эта жизнь внешняя. Он механически делал все это, а думал совсем о другом.

Иногда ему так хотелось плюнуть на все, побежать домой, к маме, прижаться к ней и крикнуть: «Ну, скажи, скажи, скажи, что все это не так, что все по-другому!» Но он только глубже прятался сам в себя, как какая-нибудь черепаха.

Но как все призрачно на белом свете!

Сначала Алеша тяготился от ощущения, что он живет, как черепаха, спрятавшись сам в себя, спрятав от Гошки, от Веры Ивановны, спрятав от мамы, от всех вокруг все, что в нем болело. Потом он привык к этому, и ему даже стало нравиться, что он — сам в себе, и никого туда не впускает, что он живет как бы один среди людей.

Он стал замкнутым и скрытным, он редко улыбался и никогда уже не хохотал, как раньше, и даже Гошка, лучший и единственный друг Гошка, стал надоедать ему, и Алеша нередко, когда они читали или делали уроки, вдруг вставал и уходил.

Он шел просто так, куда глаза глядят, — по дальним незнакомым улицам, по тихим окраинам. В город опять нагрянула весна.

На тополях суетились грачи, поправляли свои мохнатые гнезда, потом как-то враз приутихли, и тополя, словно красавицы какие, поразвесили на ветках красные сережки. Сережки стали зелеными коробочками, а когда раскрылись, над городом снова пошел снег.

Июньский тополиный снег крутился в воздухе, покрывая улицы пушистой пеленой, ступать было мягко; кругом пахло терпким запахом нагретой солнцем листвы, землей, выпускавшей острые стебельки трав...

Алеша шел по улице и чувствовал, как незаметно, само собой он как бы отогревается, вдыхая весну, глядя на тополиный снег, слушая грачинный гомон. Что-то просыпалось в нем, как просыпается замороженная земля от зимнего неподвижья, как просыпаются соки в деревьях, начиная весенний коловорот.

Он шел, качаясь на гнучих досках тротуаров, и в нем пела какая-то внутренняя музыка, было удивительно легко на сердце, хотелось даже взлететь, забраться туда, к грачам, и оттуда, с высоты, посмотреть вниз, так, чтобы захлестнуло сердце и стало страшно и радостно от такой высоты.

Он шел и шел по незнакомой какой-то улице, усыпанной летним снегом, и вдруг будто рядом, над ухом, грохнул гром, и он даже оглох на мгновение.

Впереди него, взяв под руку того самого капитана, шла мама. Они говорили о чем-то, и мама смеялась.

Алеша остановился. Все в нем металось, все горело и страдало в нем.

А мама уходила по деревянным, гнущимся тротуарам со своим капитаном и все смеялась, смеялась.

Ненависть и отчаяние, ревность и гнев — все смешалось в нем. «Что бы сделать, — думал Алеша, — что бы сделать сейчас такое, чтобы все это кончилось — сразу и навсегда. Чем бы отомстить за отца, отомстить так, чтобы они запомнили?»

Он чувствовал, как туманятся мысли в голове, как стучит в висках кровь.

«Что бы сделал сейчас отец? — подумал Алеша, ожесточаясь. — Что бы он сделал?»

Эта мысль как бы остудила его. Если бы был отец, мать бы не шла под руку с капитаном, ни за что бы не шла...

«Ну и что же, — подумал он, снова ожесточаясь, — раз отца нет, значит, можно ходить под руку с каким-то капитаном?»

Кровь прихлынула вновь, и стало темно вокруг. Алеша сунул в рот два пальца и сильно, долго, зло свистнул. Получилось хоть и громко, но недолго, и тогда он набрал полную грудь воздуха и засвистел протяжно и долго вслед матери и вслед этому капитану.

Они обернулись, мама увидела Алешу, и даже отсюда, издалека, стало заметно, как она побледнела. Люди на улице оглядывались, смотрели на Алешу, потом смотрели на тех, кому он свистел так протяжно и зло. Многие не понимали, в чем дело, но некоторые догадывались или просто предполагали, отчего это мальчишка свистит двум взрослым — женщине и капитану, и переговаривались между собой — кто весело, кто горько, — став невольными участниками Алешкиной беды.

А Алеша свистел и свистел, проклиная и ненавидя предательство.

Потом он повернулся и побежал.

Как все призрачно на белом свете!

Вчера еще — да какой там вчера, час назад — ему было хорошо и уютно прятаться в себе. Он думал, что не так уж плохо устроены черепахи: зачем всем знать, что у них внутри, они прячутся сами в себя, и никому до них нет дела.

И все это рухнуло в один миг. Нет, теперь он понял другое.

Он понял, что, спрятавшись в себя, молча, ничем не помешает предательству.

Нет, надо, чтобы все знали, что происходит.

Надо, чтоб все знали, что предательство не прощают.

4

Алеша как заведенный ходил по комнате, когда пришел Гошка. Алеша все метался, не зная, что сделать, что придумать, куда пойти.

«Что сделать, — думал он, — что сделать, чтобы изменить все это. Чтобы мама снова была такой, как раньше. Пусть она плачет, пусть ходит бледная, с синими дугами под глазами, пусть он, Алеша, будет мыть пол и готовить обед, а мама — пусть она думает об отце, только думает, пусть думает вечно, всегда, — только не это!»

Он метался по комнате, а Гошка испуганно смотрел на него.

«А что, если и правда?» — подумал Алеша и засмеялся. Он подошел к Гошке.

— Как ты сказал тогда? — прошептал он. — Второй отец?

Он снова засмеялся. Да, нужно придумать что-то. Придумать такое, чтобы потрясти мать. Чтобы она все поняла. Он подошел к столу и посмотрел на отца.

Отец безмятежно улыбался в своем ромашковом поле. «Правильно, улыбайся, — подумал Алеша, — и не знай того, что происходит». И вдруг Алеша вспомнил, как зимой он говорил с отцом. Это он бредил тогда. Но вот уже прошло столько времени, и столько еще он болел тогда, а все помнит, весь разговор, слово в слово. «Этот орден передается наследникам — сказал тогда отец. — Носи его ты...»

Да, да, орден, он должен надеть отцовский орден. Он будет носить его всегда, особенно — дома, чтобы мама видела и знала: у отца есть наследник, он, Алеша. И чтобы она всегда помнила об отце.

Алеша открыл стол, нашел красную коробочку с орденом и побежал на кухню за ножницами, чтобы проткнуть пиджак. Материя оказалась плотной, трещала под ножницами, наконец дырка получилась, и Алеша прицепил орден.

— Пошли, — сказал он Гошке, — пошли на улицу!

Вот сейчас они пойдут туда снова, где мама и капитан, и Алеша встретит их, и у него на куртке будет отцовский орден. Пусть мама видит его! Пусть знает! Пусть будет ей больно и стыдно!

Они слетели по лестнице, и Гошка все пробовал удержать Алешу. Но Алеша знал, куда шел и зачем, он зло посмотрел на Гошку, и тот отступился, пошел рядом.

На улице, где полчаса назад Алеша встретил мать с капитаном, никого не было. Тихо падал тополиный снег, редкие прохожие шли по своим делам, и ничто не напоминало о том, что произошло здесь совсем недавно.

Алеша побежал вдоль по улице, Гошка не отставал от него. Потом они вернулись обратно и побежали по какой-то другой улице. Но нигде мамы и капитана не было видно, словно они исчезли, провалились сквозь землю.

Наконец, устав, запыхавшись, Алеша пошел медленнее, Гошка еле плелся за ним, но не отставал. «Молодец, — с благодарностью подумал о нем Алеша, — настоящий товарищ».

— Слушай, Лёх, — сказал ему Гошка, — я за тобой как адъютант бегаю и даже не знаю зачем.

— погоди, — ответил Алеша, закипая, представляя, как все это будет, — скоро узнаешь.

Они снова заматались по улицам, прочесывая их одна за другой. Наконец, обессилив, Алеша сдался Гошке, и они пошли домой. В запыленной куртке, понурый, Алеша еле волочил ноги.

Дома, едва открыв дверь, он пошел в ванную и сунул голову под кран. Прохладная вода успокоила и освежила. Гошка, так ничего и не поняв, сидел на подоконнике. Алеша ходил по комнате, не зная, за что взяться. Мамы все не было. Он метался из угла в угол, потом наконец полез на шкаф. Там где-то лежали папиросы. Еще отцовские.

— Дурак, что ты делаешь! — сказал ему Гошка и попробовал было отнять папиросы. Но Алеша не уступил, закурил неумело, закашлялся, но виду не подал и на глазах у Гошки выкурил подряд, одну за другой, три папиросы.

Голова закружилась. Сначала медленно, потом все быстрее. Стало хорошо, будто все Алешкины несчастья прошли, исчезли, будто их и не было никогда.

Потом Алешу замутило, он побежал в ванную, и его стошнило.

Когда он вышел в прихожую, перед ним стояла мама. Алеша не узнал ее. Под глазами у нее синели круги, вся она была как тогда, когда уехал отец. Руки у нее висели, она горбилась и смотрела куда-то мимо Алеши.

Ему захотелось обидеть ее, сделать больно — за все, за все, и он сказал:

— Ну что, явилась, капитанская дочка?..

Что-то обожгло его щеку, и в то же мгновение будто вылили на него ведро холодной воды. Нет, это не мама ударила его. Блестящими глазами смотрел на него лучший друг Гошка.

ДОРОГА

I

Их свело только лето.

До самых каникул ходили они в школу разными дорогами. И казалось, дел-то: подойди один к другому — Алеша к Гошке или, наоборот, Гошка к Алеше, скажи какой-нибудь пустяк, и все станет на свои места. Но ведь подойти надо, надо сказать...

Нет, не так все просто это, очень даже сложно.

Очень это сложно — жить на белом свете и решать самому — что правда, а что ошибка. Вот уж, кажется, во всем ты прав, а приглядишься позорче да пораздумаешь — и все по-иному обертывается. Сложная штука это — размышлять и все понимать как надо...

Так и ходили бы они, наверное, друг мимо друга во дворе, в школе, на улице, не узнавали бы, словно чужие люди идут, если бы не лето.

Это Вера Ивановна расстаралась — достала путевки в лагерь, да еще подряд на две смены. Там они, в лагере, на какой-то лесной тропинке, обросшей лиловыми цветами ивана-да-марьи, встретились и первый раз за многие дни посмотрели друг другу в глаза, и отворачиваться вновь стало глупым и ненужным.

Гошка только сказал:

— Если еще такое матери скажешь — снова ударю. И странно, Алеша кивнул. И уж вовсе странно, что

кивнул не потому, что побоялся снова поссориться с Гошкой, а потому, что согласился с ним.

Что-то сдвинулось в нем с того дня, когда сказал он маме гадость и Гошка ударил его. Что-то такое произошло необъяснимое. Будто он смотрел сам на себя, со стороны, сбоку откуда-то, смотрел и думал. И хотя придумать ничего не мог, не мог сказать сам себе: так-то и так-то надо, сам себя он не принимал уже безоговорочно, не казалось ему, как раньше, что он всюду прав и только он все понимает. Не думал он теперь, что тогда, в тот день, должен был он улюлюкать вслед маме, а потом, с отцовским орденом на груди, метаться по городу, чтобы маме было больно. Размышляя об этом, мучаясь и горя, он всегда спрашивал себя: а как бы поступил отец? Это ясно, будь он жив, никогда бы не случилось всего этого, и все-таки... И все-таки — он, Алеша, был слишком недобр тогда. Отец был добрее...

Алеша вспомнил тот старый свой сон, когда он, как с живым, говорил с отцом. Отец сказал: «Я крепко любил маму... Я думал о тебе и о ней, когда умирал. Береги ее...»

Береги ее... Это сказал он. Берег ли Алеша маму? Нет, он ее не берег, он караулил! КАРАУЛИЛ! Как какой-нибудь пес. И между этим, между караулить и беречь, — ведь между этим не было ничего общего!

Он осуждал себя, но тут же спрашивал: а мама? Почему она забыла отца? И разве можно простить ей это?

Сомнения эти и горести нарастали день ото дня — Алеша решил, что он все-таки должен поговорить с мамой. Не таясь, по-взрослому, чтобы она, не боясь, сказала ему все как есть и как она думает.

Но каждый раз, как она приезжала, Алеша не решался начать разговор первым. Они сидели на травке, два человека, не чужих человека — мать и сын, и молчали. Говорить им словно не о чем. Разве же это слова: «Как живешь?», «Ничего», «Как кормят?», «Хорошо», «Весело вам тут?», «Весело».

А что скажешь? Что спросишь? Люди сами виноваты, что им не о чем говорить.

Когда мама уезжала, Алеша долго стоял на пыльной дороге, смотрел вслед машине, и ему казалось, что он и мама — как два путника: шли, шли вдвоем, а потом дошли до перепутья, и один в одну сторону пошел,

другой — в другую. Разошлись они в разные стороны, обернутся, посмотрят друг другу вслед и каждый увидит: тот, другой, стал маленьким, совсем крошечным. Глядишь — и исчезнет совсем...

Исчезнет совсем...

Как странно устроена жизнь! Мама, красивая, хорошая мама, которой он всегда любовался и налюбоваться не мог, которую так любил отец, мама, которая была всегда рядом, когда Алеша рос, и вот мама — должна исчезнуть.

Ах, если бы кто-нибудь помог!.. Ведь бывает же в школе: стоишь у доски и не знаешь, что отвечать, а тебе кто-нибудь, Гошка, например, добрая душа, подскажет. И ты повторишь.

Если бы кто-нибудь подсказал, как — сейчас? Как быть? Как все понять и как сделать дальше?

Да, он любил отца, любил всегда и будет помнить его вечно. А мама? Разве он меньше любит ее? Какая все ерундовина кругом, какая ерундовина. И маму он не забудет никогда, и отца тоже. И разорваться он не может тоже.

Алеша сидел на берегу, над маленькой мелкой речкой. Сзади что-то зашелестело, он обернулся.

— Опять сидишь, — сказал Гошка. — Ты какой-то стал, как вобла... Как вобла, — засмеялся Гошка, понравилось ему это. — Все сидишь и сидишь... Давай искупаемся!

«И правда, — подумал Алеша, — как вобла. Сижу и сижу». Он медленно разделся, бухнулся в воду, а вынырнув, улыбнулся. Стало сразу легче и проще. Будто все, что он думал, на дне осталось. Утонуло.

Он засмеялся, поплыл быстрыми, сильными саженками и словно споткнулся.

Значит, так... Значит, раз ему легко, так и все хорошо на свете? Главное, значит, чтоб тебе хорошо, а остальное — ерунда?

«Нет, нет, — подумал он и поплыл к берегу. — Пусть лучше будет он мучиться, пока не случится что-нибудь и пока не станет все на свое место...»

2

В лагере жилось сытно, но скучно, и поэтому, когда однажды была объявлена военная игра, Алеша с Гошкой, увлеченные всеобщей заварухой, засуетились тоже,

строгая из сучьев автоматы. Ночь накануне они плохо спали, боясь прозевать боевую побудку, позже других одеться и вообще, не дай бог, отстать. Но никакой побудки не было, потому что с утра моросил редкий дождик и старшая вожатая, пухлая тетенька с запудренными веснушками на носу, игру отменила.

В мальчишечьих палатах начался бунт. Алеша и Гошка стояли на кроватях и, размахивая подушками, призывали к манифестации, когда дверь распахнулась и пухленькая вожатая поманила их маленьким пальчиком. Разговор был визгливый и бестолковый, после чего, выйдя на улицу, Гошка сказал:

— А ну ее на фиг, Леха!

И добавил, вздохнув:

— Несерьезная женщина...

Несостоявшаяся игра взбудоражила их, воспалила воображение. Все это время, в самые горестные часы, — и чем тяжелее ему было, тем чаще он думал об этом, — Алеша повторял сам себе те слова, сказанные Гошке на мосту, возле станции, над морозными синими рельсами. Он повторял себе: «Я буду военным...» — и в слова эти вкладывал смысл, гораздо больший, чем выражали только эти три слова. Говоря это, повторяя себе снова и снова эту клятву, данную самому себе, он верил, он точно знал, что станет военным и, став им, повторит отца. И будет на свете снова командир Журавлев.

Вместе с решением этим, с этим убеждением росла в Алеше, внутри его, какая-то необъяснимая сила. Нет, не та, когда один человек другому в доказательство своей силы так руку, здороваясь, сожмет, что тот бледнеет и охает; в этой силе Алеша многим бы уступил, пожалуй. Его же сила была совсем другой, и вовсе он ее не проявлял никогда, но вот, так уж бывает, многие эту силу видели, будто на лице она написана была, и за то уважали Алешу. Случись, скажем, сейчас драка или что-нибудь подобное, Алеша, может, и вышел бы из нее побитым, да только — нет, не сдавшимся.

Однако Алеша считал, что этого одного мало, что в человеке, который решил стать военным, должны быть две силы — одна такая, а другая физическая, полностью соответствующая. Он хотел бы в драках, если придется, выходить не только не сдавшимся, но победившим.

И все-таки, что ни говори, а кое-чему военному научились они с Гошкой за это время. Да хотя бы пла-

вать как рыбы. А плавать для бойца, для разведчика, скажем, первейшее дело. Переплыл реку бесшумно, разведаль все, обратно вернулся с ценными донесениями. Ну, а что стрелять они так и не научились, что же делать, если ни ружья, ни пистолета нет, не станешь же из рогатки пулять, хотя, конечно, и из рогатки меткости научиться можно, только мальчишеской, а не военной. Известно, меткость меткости рознь.

Так они шли под редким-редким дождичком, размышляя о неудавшейся игре, как с крыльца закричала вожатая, чтобы они немедленно вернулись, и Гошка тяжело вздохнул, а Алеша предложил даже для себя неожиданно:

— А давай совершим марш-бросок. По-настоящему. И Гошка хохотнул обрадованно.

И они побежали под крылечко, под волю старшей пионервожатой с напудренным носиком и строгим характером.

3

Алеша помнил, как рассказывал отец об учениях и о том, что на всяком учении бывают марш-броски с полной боевой выкладкой. Это значит — скатанная шинель, винтовка за спиной, противогаз, сумка с патронами, да и еще какой-нибудь груз. Рация, например, у радистов. Пулеметы — у пулеметчиков. А артиллеристы, если надо, даже легкие пушки сами тащат.

Пушек у них, конечно, не было, и пулеметов тоже, и тогда в рюкзаки, тощие от их малого лагерного имущества, Алеша натолкал камней. Скатки сделали из пальто. Они прямо взмокли от этой работы, потому что пальто никак не скручивались, мешали воротники, и скатки получались похожими на удавов, проглотивших по зайцу — посредине толстые, а по краям как сосульки.

Они поднялись ранней ранью, когда вся палата крепко похрапывала, надели через плечо скатки, перекинули за спину рюкзаки с камнями — тяжеленные, Гошка даже присел под своим мешком, — в руки взяли деревянные автоматы, выстроганные для игры, и, не брякнув, открыли щеколду на лагерных дверях.

За рекой, вдали, виднелась светлая колокольня бывшей церкви. Это было село Макарье, оно стояло на полпути до города, и считалось, что по прямой до него ки-

лометра три, не больше. Зато по тракту до Макарья было пять километров, а мальчишкам именно пять километров и нужно было.

Они вышли на тракт, и вдруг Гошка вытащил из-за пазухи будильник.

— Откуда это? — спросил Алеша, останавливаясь.

— Да верну, верну, не бойся, — сказал Гошка. — По почте, например, pošлю с благодарностью.

— Где ты взял? — удивился Алеша.

— У «пудреницы» нашей. Пусть хоть разок поспит спокойно.

Алеша смеялся, представив, как вожатая встает позже всех, потом они установили, когда должен зазвонить будильник, и пошли. Вначале на дороге было пустынно, потом их все чаще и чаще стали обгонять подводы и газогенераторки.

Машины быстро проносились мимо, а телеги обгоняли постепенно, и люди, сидевшие на них, — все больше женщины, — долго глядели на мальчишек, глядели удивленно, не понимая, куда это идут ребята, одетые совсем по-военному.

Очень скоро стало жарко, хотя утро было прохладное, и их колонна стала растягиваться. Это все Гошка. Алеша шел быстро, а Гошка никак за ним не поспевал. Вначале маленький Гошка делал пробежки, шел недолго шаг в шаг за Алешей, но снова отставал. Тогда Алеша решил перестроиться: он пошел рядом с Гошкой, взяв его за руку. Но идти стало только труднее и Гошка вырывался и ныл, и они снова пошли гуськом.

Когда Алеша взял Гошку за руку, тот сунул будильник за пазуху, и они забыли про время. То ли Алеша устал тоже и пошел тише, то ли Гошка поднатужился, шагали они теперь ровно, нога в ногу, и им казалось, быстро.

Показались макарьевские дома, и бывшая церковь стала совсем большой. Оставался какой-нибудь километр, не больше, и тут началось. Скатки прямо душили, не давали дышать, плечи онемели под тяжестью рюкзаков. Потом отяжелели ноги, и ступать приходилось через силу.

— Давай отдохнем! — крикнул Гошка, но Алеша мотнул головой и зашагал быстрее. Теперь они шли вразнобой, растянувшись по обочине дороги. Когда до церкви оставалось едва-едва, Алеша вздрогнул от глухого, дребезжащего звука за спиной. Он обернулся и

увидел, что Гошка стоит посреди дороги, растерянно улыбается и достает из-за пазухи будильник.

В общем, они не уложились на десять минут, если считать по замыкающему, потому что, когда оставалось совсем недалеко, Гошка вдруг сел и стал вытряхивать камешек из сандалии, а поэтому отстал еще больше.

4

На околице Макарья они перемахнули через какой-то голубой заборчик и растянулись, наслаждаясь, в тени. Но наслаждение это длилось какую-нибудь минуту, пока Гошка не повернул голову и не вскочил как ужаленный.

— Гляди, Леха! — сказал он сдавленным каким-то голосом.

Невдалеке от забора, заросшие высокой травой, лопухами и кустарником, почти исчезающие в них, виднелись древние покосившиеся кресты, а дальше, между берез, белоствольных, как бы сливающихся в одну стену с зеленой крышей, было кладбище со свежоокрашенными фанерными памятниками.

Там, среди берез, стояли люди, небольшая группа маленьких людей. Алеше вначале показалось, что они маленькие только издали, кажутся такими с расстояния, но когда мальчишки подошли поближе, таща в руках свои рюкзаки и скатки, оказалось, что у свежей могилы стоят ребята, совсем малыши, и только один, стоявший спиной к ним, был постарше остальных. Лопатой он утрамбовывал надмогильный холмик, помогая двум женщинам.

Алеша с Гошкой остановились невдалеке. Было тихо, так тихо, что доносилось сюда стрекотанье сороки, сидевшей где-то на краю кладбищенской рощи. Малыши стояли опустив головы, глядя сосредоточенно на могилу, будто стараясь разглядеть того, кто лежал там, под толщей земли.

Женщины положили лопаты на траву, а мальчик все уминал и уминал землю, чтоб не осталось ни одной щелочки.

Потом и он выпрямился, бросил лопату, повернулся, и Алеша и Гошка узнали Толика.

Толик увидел их, не кивнул, не удивился, будто так оно и должно быть, будто Алеша и Гошка должны бы-

ли прийти и это было известно заранее. Он подошел к ним, а малыши расползлись вдоль могил рвать желтые цветы одуванчика.

Толик смотрел на могилу, а женщины вывели из-за деревьев лошадь, запряженную в телегу, и покидали на нее лопаты.

— Вот и похоронили Лидуху, — сказал Толик. — Вы ее видели тогда на пляже, на носилках она была.

Алеша вспомнил, как разворачивалась тогда «санитарка» и две медсестры вытащили из кузова сначала носилки с девочкой, укрытой простыней, а потом уж вылезали малыши, сразу же ложась в песок.

— Померла Лидуха, — проговорил Толик, — все думала, найдет ее кто из родственников, да не дождалась. — Он потер глаза грязным рукавом и пошел обратно к могиле раскладывать невзрачные цветы, принесенные малышами.

Потом они все уселись на телегу, и Толик позвал Алешу и Гошку:

— Садитесь, — кивнул он, — все равно по дороге.

Вид скатанных пальтишек, деревянных автоматов и тяжелых мешков не удивил его, не привлек внимания, зато одна тетка, та, что не правила лошадей, а сидела с краю, свешивая набок всю телегу, все выпытывала у Алеши, кто они, и куда идут, и зачем у них пальто, как у военных, скрученное.

— Ученье, — хмуро буркнул Алеша, и всю остальную дорогу тетка причитала, и жалела их, и говорила, что неужто и малым ребятам воевать придется.

Детдомовские малыши вместе с Толиком сидели всю дорогу тихо, как мышата, жались только друг к другу, а Толик возвышался над всеми ними, все такой же бледный, как и тогда, на пляже, и смотрел вперед, вдаль, в синюю дымку, из-за которой выступали зеленые городские крыши.

В городе у первого перекрестка Алеша и Гошка спрыгнули с телеги, оставив малышам свои автоматы, и Толик не попрощался с ними, ничего не сказал, только моргнул глазами. Видно, привык он встречаться и расставаться с людьми — разными, взрослыми и малышами, привык встречаться и расставаться горько, как, например, сегодня, в той березовой роще с Лидухой, которая не дождалась своих родственников, так что все остальное, все другие мелочи значения уже не имели, отступали перед тем, горьким.

Мальчишки постояли еще на дороге, глядя вслед молчаливой телеге, и помахали ей вслед, не получив ответа. И, подняв руку, словно провожая удаляющегося Толика и его малышей, Алеша всем своим существом ощутил горе, великое горе, которое теперь повсюду. И еще он понял, что его беда — лишь капля, и каплю эту он должен, обязан одолеть по примеру Толика, который просвечивает, как лист, но не сдается. Не сдается, как настоящий солдат.

Он вспомнил безногого парня в госпитале Веры Ивановны, синее лицо его, синие руки, и теперь парень этот, молодой еще парнишка, у которого на глазах убили его отца и самого изранили и который в горе своем нашел и для Алеши доброе слово, и яблоко ему дал, — теперь этот парень казался Алеше не слабым, не жалким, не изувеченным, а сильным. Тоже сильным, как Толик.

И он, Алеша, должен все это не только видеть, не только понимать.

Он должен, как Толик, как тот солдат, — сильным быть, чтоб выдюжить, чтоб выдержать все, что есть. Сильным.

А поняв все это, Алеша подумал, что он как будто вырос враз. Не ростом, нет, зато где-то там, внутри... И с роста своего нового посмотрел вокруг и многое по-другому увидел.

И стало ему вроде спокойней, легче. И показалось ему, что вся его жизнь и все окружающее, о чем он тогда, в лагере, думал и чего очень хотел, — вся его жизнь и все окружающее становятся на свое место.

Взрослее и мудрее становятся, говорят, с годами. А он враз, за один день таким стал.

5

А потом было первое сентября.

Алеша всегда, всю жизнь будет помнить это число — первое сентября. Оно и так-то выдающееся, а тут еще такое...

Он встал утром, и, как всегда в этот день, и руки, и ноги, и голова — все было новехоньким, к школе готовым. Они учились во вторую нынче, и мама ушла уже на работу, а Алеша шлепал босиком по комнатам, жуя кусок хлеба с маргарином, и слушал радио, которое

распевало песни, а то, другое, на столбе, повторяло в открытую форточку эти песни на мгновение позже.

И вдруг дверь распахнулась и влетел Гошка. И сказал такое, что у Алеши голова закружилась от счастья.

Да, до последнего мгновения он помнит все, что произошло в тот день. И как он не поверил Гошке, потому что ведь и он тоже слушал радио, но Гошка кричал, что это передавали раньше, и в доказательство потащил его в военкомат. Он запомнил каждую ступеньку военкоматовской лестницы и что, поднимаясь по ней, он снова вспоминал, как он приходил сюда с мамой тогда, как вежливо говорил с ними молоденький лейтенант и как потом военком, хромо́й майор, вышел из-за стола и торопливо сунул Алеше красную коробочку с отцовским орденом, потому что маме стало плохо.

Молоденького лейтенанта теперь не было, у тумбочки с телефоном сидел теперь какой-то неприступный старшина, который крепко дымил и громко кашлял.

Старшина им ничего сказать не мог и в военкомат не пускал, и еле удалось им пробиться за ту дверь, обитую черной клеенкой, чтобы узнать у майора все, как есть на самом деле.

Майор стоял у окна, и смотрел на осеннюю улицу, и, когда они вошли и спросили его о своем деле, сказал им:

— Да, есть суворовские училища. Нынче первый набор. Но берут туда детей погибших фронтовиков.

И, сказав это, майор пристально посмотрел на Алешу, словно старался вспомнить, где видел его, и, поглядывая на него, разъяснил все подробности, а когда мальчишки стали выходить, сказал, показывая на Алешу:

— А тебя могут принять. Я тебя помню, Журавлев. И отца твоего помню. Если решишь, походатайствуем перед училищем от военкомата.

Они скатились по лестнице, а на улице Алеша взвалил опешившего Гошку на спину и потащил его домой.

— Молодец, Гошка! — кричал Алеша. — Слушай, Гошка, всегда радио!

— Ладно, — проговорил, вырываясь, Гошка. — Радуйся! Меня-то не возьмут!..

Алеша обнял Гошку. Да, Гошку не возьмут. Не возьмут, потому что у него жив отец, воюет, счастливый, и его ни разу не ранило даже, хотя все время на передовой и даже был в окружении.

— Чудак ты, — сказал, задумавшись, Алеша. — Радоваться должен, что не берут, что отец у тебя живой. Он вздохнул, вспоминая отца, ромашковое поле; растегнутая гимнастерка, волосы лохматит ветер...

— А военным можно и так стать! — улыбнулся Алеша и потрепал Гошкины волосы, как взрослый маленькому.

6

У него заныло сердце. Мама! Что скажет мама!

После школы он тотчас примчался домой и ходил по комнате, ждал маминого прихода — впервые за многие месяцы он ждал ее, — и волновался. Но вечером, когда она вошла, усталая, с синими кругами под глазами, и, сгорбившись, как старуха, пошла на кухню готовить обед, он растерялся.

Он припомнил Новый год, запыхавшуюся, раскрасневшуюся, веселую маму, и красивое синее ее платье, и туфли, блестящие, словно стеклянные. Ей бы быть такой всегда — веселой, красивой, счастливой, ей бы всегда улыбаться, а она носит подносы с чьей-то едой, а потом идет домой, и снова наступает такой же день, и она снова носит подносы, и снова идет домой и озябшими пальцами снимает худенькое пальто и, сгорбившись, как старуха, идет на кухню...

Все-все перекорежила, исковеркала, сломала эта проклятая война. И землю, и людей. А время, оно будто остановилось. Вот учится он, Алеша, в школе, вот мама ходит на работу каждый день, все делают что-то, все работают, никто без дела не сидит, и все словно чего-то ждут. Будто замерзло все вокруг, и люди лишь оживают, когда радио слушают, когда узнают, что новый город освободили. Ведь это пусть не окончательная, но победа. А потом и настоящая победа придет. Когда войны уже не будет. Совсем не будет. И снова тронутся часы, которые остановились. И снова все растает. И опять люди будут смеяться, носить красивые платья, и никто не станет стыдиться этого, как сейчас.

Какая она будет, победа?

Наверное, все вокруг затихнет, все остановится, — и машины, и поезда, и даже военные заводы, — все замрет на минуту, и настанет такая тишина, что в ушах зазвенит, а Левитан скажет: «Победа, товарищи!», и повторит по слогам, чтобы все поняли: «По-бе-да!!!»

И все орудия на всех фронтах и в тылу, и все винтовки, автоматы, пистолеты и ракетницы дадут залп. Такой, что вся земля вздрогнет и фрицы, которые еще по ней ходят или в нее даже закопаны, содрогнутся.

Люди будут радоваться и смеяться, и Алеша, и мама тоже. А потом все будут ждать, когда вернутся с войны отцы и мужья, и только им некого будет ждать.

Алеша подумал об этом, и ему стало жутко. Нет, этого ничем не исправишь. Все будет так, как есть, и вернется отец к Гошке, и к Вере Ивановне вернется ее муж, а к Алеше и к маме никто не вернется с войны.

Он подумал про маму как-то со стороны, как подумал бы, наверное, взрослый. Он вспомнил, как молчала мама, когда проводили отца, как долго она не могла прийти в себя и смириться с тем, что осталась одна с Алешей. Как плакала она, и ему было даже стыдно, что мама, жена командира, и плачет. Он вспомнил ее опустошенной какой-то, больной. Так, наверное, бывает с птицами, если они отстают от стаи. Алеша читал когда-то: есть птицы, которые одни не могут. Они должны быть с другими птицами.

А теперь она должна остаться одна... одна... совсем одна... И без отца, и без Алеши. Ему стало жаль маму, смертельно жаль. Он подошел к столу.

Отец смотрел на него с фотографии, улыбался, готовый все простить и все понять. Каким-то новым неожиданно показался ему отец. Будто глубоко в него заглянул Алеша.

А заглянув, опять подумал так же, как тогда, когда скрывалась в сумерках телега с Толиком и другими детдомовцами. Вспомнил он и лагерь, и показалось ему, что мама уходит от него, удаляется, еще немного и исчезнет совсем.

ИСЧЕЗНЕТ?

Если бы думать сейчас так же, как думал он обо всем в лагере, она, может, и исчезла. Но сейчас он был иным. Совсем иным. И мама не скрывалась от него.

Она приблизилась к нему, как никогда. И он разглядел в ней все ее самые малые морщинки, которых не было еще совсем недавно и которые вот появились теперь.

Он смотрел на нее, сам в себя, вплотную, лицо в лицо, глаза в глаза, и сердце его будто становилось все

больше и готово было уже принять в себя все-все горе и все печали.

И все объяснить, и все понять, и все простить.

Одно для него осталось незыблемым и твердым, как раньше, как всегда, — это...

И он подошел к маме, и взял ее за руку, как взрослый. Она, поняв, сжалась вся, а Алеша, глядя ей в глаза, сказал:

— Мама... Ты поймешь... Я должен уехать... Я буду как отец... Военным.

Мама испуганно посмотрела на Алешу. Она смотрела на него, она ничего не говорила, и глаза ее наполнялись слезами.

— Я должен, — повторил Алеша. — Понимаешь, я должен.

Мама молча, едва заметно кивнула головой, а слезы все плыли у нее из глаз, белыми горошинами катились по щекам.

И вдруг она встала на колени. Алеша отшатнулся и тут же бросился поднимать ее.

— Мама! — шептал он. — Ну что ты, мама!

7

Потом они сели, и мама, как маленькая, прижалась к Алеше и положила ему голову на плечо.

Алеша погладил ее по голове, будто успокаивал обиженную девчонку.

Волосы у мамы были мягкие, и пушистые, и очень светлые, будто льняная пряжа.

Он вспомнил, что вот так же мама клала голову на плечо отцу, и он ее тоже гладил, а потом целовал в светлые, льняные волосы.

— Мама, — сказал Алеша, и словно услышал сам себя со стороны. Голос у него был и твердый, и добрый. Как у отца.

— Мама, — повторил он, — ты не плачь, мама... Ведь ты не одна...

Он посмотрел за окно, на реку, позолоченную заходящим солнцем, на густое, синее небо над лесом и повторил:

— Ты не одна... смотри, сколько людей вокруг. И ты есть у меня. И у нас есть папа...

И поцеловал маму в пушистые, мягкие волосы.

Они стояли все втроем — мама, Алеша и Гошка — под маминым зонтом, а дождь, будто живой, плясал возле них, шлепал свои тяжелые капли на желтый булыжник, пузырился в лужах.

Вокруг, гроыхая ботинками, пробегали какие-то люди, шли военные с цветными полосками на гимнастерках, видно раненые, выписанные из госпиталя, проходили женщины, — все в сером, только изредка промелькнет пестрый, веселый платочек.

Перрон жил суетой и спешкой, как и всегда все перроны, но сейчас было в нем еще что-то особое. То ли в оживленном разговоре толпы, то ли в этих редких цветастых косынках на женщинах, то ли в улыбках солдат и в улыбках, которыми люди наделяли их, солдат, едущих из госпиталя в действующую часть, которая где-то там, далеко на западе, рвется к нашей собственной границе. А может быть, ничего такого и не было, просто все знали, что мы идем вперед, каждый думал о дне, когда придет победа, и оттого над небольшим серым зданием станции, над булыжной площадью возле путей, над вагонами, обычными пассажирскими вагонами, носилось какое-то приподнятое оживление. Все будто ждали чего-то. Но это ожидаемое чуть задерживалось, и все понимали это и не роптали, но с нетерпением, каждый в себе, ждали этого и знали, что оно придет, случится, будет.

А дождь, теплый летний дождь все плескался, ходил по крышам вагонов, по площади, по зонтику, под которым стояли они все втроем, по лужам.

Алеша кивнул на лужу и сказал почему-то, будто нечего ему было больше сказать:

— К осени!

Гулко звякнул станционный колокол, и все затолпились, заторопились к вагонам.

Алеша вздрогнул: капля упала ему за ворот. Мама убрала зонтик и обняла его.

Паровоз залихватски гукнул, стуканул на месте прокрутившимися колесами, и по составу прокатился drobный перестук буферов. Вагоны дрогнули.

Алеша прижался к маме, и она все не отпускала его, целуя как маленького.

Дождь все шел и шел, барабанил по булыжникам и по лужам.

Алеша отодвинулся от мамы, посмотрел ей в глаза, ничего не сказав, кивнул, потом махнул еще раз Гошке, повернулся и побежал за поездом.

Какой-то солдат протянул ему руку, и Алеша вскочил на подножку. Он сразу же обернулся к ним, к маме и Гошке.

Алеша уезжал, не крикнув, не махнув рукой, только глядел на них, не отрываясь глядел.

3

И вдруг вышло солнце. А дождь все не переставал. С неба тянулись белые нити.

Над серыми облаками, над вагонами уходящего поезда, над дальним лесом у горизонта вставала крутая радуга.

К ней уезжал Алеша, вслед за отцом и вслед за тяжелым составом, на котором солдаты в белых тулупах тогда, зимой, везли зачехленные «катюши».

Крутые горы

Я не понял, что началась война.

Мы сидели на стеганом одеяле под вишнями, чтобы не просквозила земляная сырость, а отец ушел за пивом. Его что-то долго не было, хотя пивом торговали на углу — пять минут ходу, а потом он вошел в сад — громко хлопнула калитка, и я увидел, что он идет быстро, будто опаздывая, и лицо его напряжено, и вообще что-то с ним такое случилось, потому что пиво не приносят с таким лицом, и немножко удивился, а отец подошел торопливым шагом и остановился у одеяла.

— Война началась! — сказал он, и все ему улыбнулись, не понимая, а потом вдруг вскочили с одеяла, и я отвернулся, уже забыв про отцовские слова, и увидел, как опять дунул легкий ветер и на траву просыпались вишневые белые лепестки, будто в самую жару выпал снег.

Я не понял, что началась война, и позже, когда собралось много родственников и отцовских друзей, все выпивали, как на празднике, а потом отец встал — в черном пиджаке со значком ГТО на серебряной цепочке, надел на крутой лоб крапчатую модную кепку с длинным козырьком и закинул за плечи брезентовый походный мешок.

Все вышли во двор — знойный от жары, зеленый от травы и светлый от солнца и, потоптавшись, помолчав, словно не зная, что прибавить, вдруг стали рассаживаться где попало. Бабушка уселась на бревно, старый такой кряж, который все никак не собрались распилить, мама с отцом на лавочку, а гости прямо на траву — сочную и густую.

Взрослые сидели молча, усадив и меня, а мне все хотелось вскочить и побежать куда-нибудь по прохладной траве. Но меня не пускали. Чья-то тяжелая рука лежала на моем плече, будто груз, и я не мог вскочить, не мог побежать по манящей траве и удивленно разглядывал хмурые лица, краешки опущенных губ и морщины.

Потом все встали, и отец подошел ко мне. Я почувствовал, как он подхватил меня, подбросил вверх, к солнцу, и я счастливо рассмеялся. Я взлетал и взлетал прямо к небу и видел, как разглаживаются хмурые лица внизу, как улыбается бабушка, как смотрят на меня гости, приятели отца. Приветливо и открыто.

Я смеялся, не понимая, что началась война, ничего еще толком не зная, и махал приветливо рукой вслед отцу, радуясь, что напоследок он все-таки догадался, все-таки подарил мне значок ГТО на серебряной цепочке.

Отец шел по пыльной жаркой улице, а справа и слева от него и мамы шли гости; они шагали, взявшись под руки, словно собрались на прогулку, и заняли всю булыжную мостовую. Они еще пели про Катюшу — замечательная такая песня, — отец оборачивался иногда, а я стоял возле бабушки и все улыбался, потому что у меня было хорошее настроение.

* * *

Что такое война, я узнавал постепенно.

Сначала это были письма. Отец посылал открытки с войны, и на открытках была нарисована женщина. В одной руке она держала листок с клятвой, а второй указывала вверх. Вверху же было что-то написано, я разбирал по слогам: «Ро-ди-на-м-ать зо-вет!» — и всякий раз подпирал кулаком подбородок. Кого это зовет Родина-мать? Получалось, она звала всех, а значит, и меня, но я все не мог придумать, куда идти мне. Пригорюнясь, я вспоминал светлую летнюю улицу, по которой уходил отец с гостями, пытался припомнить его лицо, но оно исчезало, стиралось из памяти, и я пугался этого. Тогда я смотрел на карточку, которая висела над комодом. Отец был там каким-то ужасно молодым, но все-таки очень похожим на себя, и я успокаивался. Но куда же звала меня Родина-мать, я не понимал, как ни внимательно разглядывал открытку. Отец писал какие-то веселые слова — мама всегда читала вслух его открытки, плакала при этом, а мне страшно хотелось понюхать отцовскую открытку, потому что она была желтой, будто пропитанной маслом.

Оставшись один, я нюхал ее тщательно, долго, будто пес, но она ничем, кроме бумаги, не пахла.

Потом мама принесла разноцветные листки. Лист-

ки состояли из клеточек с цифрами, и мама сказала, что теперь вся еда будет продаваться только по этим талончикам. И полезла в ларь, посмотреть, сколько осталось у нее довоенной пшенки и гречи. Мама вздыхала, качала головой, говорила, что остались крохи, а я радовался, что теперь меня не будут заставлять есть эти ненавистные каши.

Впрочем, скоро я переменял свою точку зрения, и пшенка в горшочке, с поджаристой румяной корочкой являлась мне во сне как укор и как наказание, потому что мама освоила новое блюдо — завариху.

Завариха была удивительной едой. Я много раз видел, как ее готовила бабушка или мама, и до сих пор помню, как это делается. В горячую воду сыпят муку, добавляют чуть соли, варят — и все в порядке — берись за ложку и проверяй свою жизнь. Если ложка в заварихе стоит торчком — еще ничего, жить можно, мука, значит, есть, а если ложка падает, дело худо, мука на исходе, и значит, за едой мама опять станет вздыхать, а потом подойдет к гардеробу и будет перебирать плечики с одеждой.

Мама сердито двигает плечики, они стучат железными крючками, стучат с каждым разом все громче, потому что все больше в шкафу пустых плечиков.

Один лишь отцовский костюм висел в стороне, укутанный простыней, будто ему холодно и он может замерзнуть. Мама никогда не прикасалась к нему — она двигала свои платья, и каждый раз, как жижэ становилась завариха, одно куда-то уносила.

Мамины платья исчезали, а завариха не исчезала никуда, и тогда по ночам мне стали сниться эти маленькие глиняные горшочки с распаренной крупитчатой кашей, покрытой румяной корочкой. Такие горшочки бабушка доставала из печи по утрам в воскресенье, и я начинал понимать, что те воскресенья и те утра были раньше.

Были до войны.

* * *

Во вторую военную осень я пошел в школу.

Парты в нашем классе стояли в четыре ряда, оставляя узкие проходы, такие узкие, что учительница ходила по ним боком. К концу каждого урока становилось жарко и душно, на перемене дежурные строго-настро-

го всех выгоняли, открывали настежь все форточки. Школа была старая, маленькая, неприспособленная для такого множества учеников, и поэтому коридор в перемену был так забит стриженными наголо головами, что не только разбежаться было невозможно, но даже продираться сквозь эту толпу приходилось, лишь усиленно работая локтями.

Мне эта толкотня и теснота не казались удивительными, потому что в другой — просторной — школе я не учился, не знал, что может быть как-нибудь по-иному, и я продирался на переменках сквозь ребячью толпу, двигая локтями в бока, сам наезжая на чужие локти и радуясь этой веселой неразберихе.

Школа работала в три смены, первышам, конечно, уступали первую, и подниматься приходилось рано, потому что уроки начинались в восемь.

Зимой мы с мамой выходили из дому, когда была еще настоящая ночь, над головой висели россыпи крупных звезд, хрупал под валенками жесткий снег, на улице горели редкие фонари, похожие на одуванчики оттого, что их свет в морозном воздухе расходился ровным кругом.

Я шагал, еще не совсем проснувшийся, слушал скрип своих шагов, мама вела меня за руку, и иногда я закрывал глаза. В такие минуты я ходил на старую клячу, которая может и не глядеть, что делается перед ней, а только послушно поворачивать, когда дергают вожжи. Мама молчала тоже, неудобное утро не располагало к разговору, и если хотела, чтобы я шагал быстрее, тихонько встряхивала мою руку. Не открывая глаз, я прибавлял пару, я чувствовал, что начинается подъем, значит, до школы уже недалеко, и с трудом разлеплял слипшиеся от инея ресницы.

Сколько раз ходил я в школу, столько раз ждал этого торжественного мгновения. Без четверти восемь в морозной тишине вдруг раздавался протяжный сиплый звук, похожий на вой доисторического чудовища. Тотчас ему подтягивал еще один, еще и еще, и вот уже стадо странных зверей выло в один голос. Люди на улицах оживлялись, шли быстрее, некоторые даже бежали, и мама отпускала мою руку, приговаривая:

— Иди скорей! Я побежала!

Она сворачивала к своему госпиталю, прибавляла шаг, а доисторические животные все ревели в один голос, предупреждая тех, кто работает, чтобы они не

опаздывали. Они ревели, сипели, наверное, с минуту, а то и больше и утихали так же неожиданно, как и начинали. Это ревели заводские гудки, и я всегда с ужасом думал о них. В первый день, как мы пришли учиться, нам объяснили, что если заводы загудят вот так же, как утром, среди бела дня и будут гудеть долго, это начинается воздушная тревога. И тогда надо бежать в бомбоубежище, надо прятаться в щели, открытые во дворах.

Эти слова пугали меня, и, сидя на уроке, я неожиданно сжимался: мне казалось, что вот-вот загудят все заводы. Но время шло, воздушных тревог не объявляли, только однажды вечером над городом вдруг взвились три голубых прожекторных столба, перекрестились мгновенно. Я был на улице, кажется, мы с мамой ходили отовариваться в магазин, и я подумал, что это ищут немецкий самолет: в небе что-то гудело. Мама, наверное, подумала то же, она прижала меня к себе, но не двинулась с места; мы стояли посреди улицы, как загипнотизированные, и глядели вверх. Прожекторные лучи разбежались в стороны, и тут один из них ухватил своей лапой маленький самолетик. Другие лучи тотчас опять сомкнулись вместе, и в перекрестии белых столбов, располозовавших небо, я разглядел на крыле самолета звездочку. Летчик покругил неторопливо над городом — видно, это были учения прожектористов, да и заводы не гудели, — но мы с мамой все никак не могли наглядеться на это зрелище, пока прожекторы один за одним не погасли.

Когда мы пошли дальше, я почувствовал, что мама крепче сжимает мою руку.

Тревоги так и не было, в щелях, открытых во дворах, играли мальчишки, однако стрелки на домах, указывающие, где ближайшее бомбоубежище, время от времени подновляли. Но страх к утренним гудкам у меня не проходил. Шагая за мамой, все никак не в силах проститься со сном, я тревожно думал всякий раз, что сейчас я открою глаза и раздастся этот сиплый вой.

* * *

Но настоящую войну мне показал Вовка Крошкин. Мы сидели с Вовкой на одной парте, и он вполне соответствовал своей фамилии. Вовка Крошкин был очень маленький, но очень головастый. Головастый во

всех смыслах. Он хорошо соображал, особенно по арифметике, а кроме того, его голова была очень большая, круглая и крепкая. Иногда — не злоупотребляя, впрочем, этим — Вовка применял ее как таран, готовый снести на своем пути любую преграду. Во всяком случае — почти любую.

Спорить с этим никто в нашей начальной школе не решался, потому что это свое достоинство Вовка Крошкин продемонстрировал публично, при всех, с ледяным хладнокровием и твердой уверенностью. Однажды на переменке мы с Вовкой продирались, используя локти, к уборной, боясь опоздать, потому что переменка была маленькая, а очередь в уборной, как и обычно, большая. Продираясь первым, Вовка не то наступил на ногу, не то сильнее нормы толкнул в бок какого-то ушастого третьеклассника. Тот остановил Вовку за воротник — при этом у Вовки отскочила от ворота пуговица — и больно щелкнул его по голове. Вообще-то Вовкина голова от такого щелчка совершенно не пострадала, она бы выдержала и не такое, но третьеклассник при этом оскорбительно заржал, а поскольку школа была смешанная, засмеялись и девчонки, стоявшие рядом.

Вовка повернулся к ушастому третьекласснику и посмотрел на него мгновение. Я заметил, как в Вовкиных глазах мелькнуло мимолетное сожаление к этому большому, но глупому ушастику, он раскинул руки, как бы собираясь взлететь, уперся ими в толпу, шевелящуюся за спиной, откинул назад круглую, как крепкий капустный кочан, голову и, сделав стремительный шаг вперед, неожиданно воткнулся ею в живот третьеклассника. Тот все еще хохотал, все еще веселился, и вот так, веселясь, с открытым ртом, вдруг сложился вдвое и рухнул на пол.

Вовка Крошкин повернулся и стал как ни в чем не бывало прорубать себе просеку дальше к уборной.

Возвращаясь, я думал, что третьеклассники станут приставать к нам, но то ли ушастый не пользовался поддержкой в своем классе, то ли Вовкина голова действительно произвела сильное впечатление, никто нам не сказал ни слова, даже наоборот, Вовке теперь не требовалось пыхтеть, потому что все перед ним раступались.

Когда начался урок, я почтительно оглядел Вов-

кину круглую голову. Владелец крутил ею как ни в чем не бывало.

— Больно? — спросил я с сочувствием Вовку.

— Не-а! — ответил он жизнерадостно. — Живот-то мягкий!

И хотя Вовкин ответ был абсолютно логичным, я решил про себя, что такой головой можно сокрушить кое-что и подтверже.

* * *

Однажды Вовка опоздал на уроки.

Отгромыхал медный звонок, которым помахивала нянечка в коридоре, вошла в темный класс учительница Анна Николаевна, как всегда кутаясь в мягкий платок и держа в одной руке керосиновую лампу.

Наши тени таинственно задвигались по стенам, наползая друг на друга, учительница поставила лампу на стол, щелкнула спичкой, зажгла свечку у кого-то на первой парте и двинулась с нею по узкому проходу между рядами.

Эта každоутренняя церемония ужасно нравилась мне. Анна Николаевна шла по рядам и зажигала на партах, словно на елке, свечи от своего огонька. Класс постепенно выплывал из черноты, озарялся колеблющимся сиянием, только высокий лепной потолок старинного дома оставался в полумраке.

Эти пять или десять минут, пока учительница освещала класс сиянием свеч, которые мы носили в портфелях вместе с чернильницами-непроливайками и тетрадками, сшитыми из довоенных газет, вообще-то можно было бы не считать еще уроком, хотя звонок уже и отгремел, да так оно и было в других классах.

Но Анна Николаевна говорила, что это безрассудство, что учиться можно и в некотором мраке — ничего страшного, — и начинала спрашивать, едва ставила на учительский стол керосиновую лампу.

Она шла по узким рядам, зажигала наши свечи, а кто-нибудь, названный ею, уже бойко тарабанил ответ или, напротив, мялся и мемекал, пытаясь использовать полумрак в своих целях. Но учительница все видела, все понимала, и до полного освещения можно было вполне схлопотать пару за подсказку, потому что больше всего не любила Анна Николаевна обмана.

Словом, Вовка Крошкин — учись он в другом клас-

се, мог бы считать себя совсем не опоздавшим, потому что свечи горели еще не на всех партах, когда он возник на пороге, отдуваясь и поблескивая белками.

Но Нинка Правдина заканчивала ответ, как всегда замахиваясь на пятерку, Анна Николаевна, довольная ею, кивала головой, зажигая последние свечи, и вообще, казалось, не замечала Вовку.

Это был такой прием, такой способ проявления строгости, потому что если Анна Николаевна не замечала опоздавшего, значит, она очень сердилась, очень негодовала на его недисциплинированность, и только крайне уважительная причина могла спасти виноватого.

Нинка Правдина уселась, взмахнув от восторга косячками, заработала аккуратную пятерочку в журнале, а Анна Николаевна все не замечала Вовку, хотя зажгла уже свечи и теперь двигалась к столу.

В грозном молчании, в трепете колышущихся язычков пламени она уселась за стол и оглядела класс, похожий на таинственную пещеру.

— Ну, — сказала она сухо, не глядя на Вовку, — где был?

— Это... я... — бойко ответил Вовка, — бегал к реке...

Только исключительный случай мог бы спасти Вовку, а он молот какую-то несусветную чушь, какую-то городил ерундовину, и учительница, вскинув брови, вглядывалась в безответственного Крошкина.

Вовка топтался на пороге, мял в руке мохнатую шапку, которая, когда он ее надевал, делала его голову похожей на небольшой воздушный шар.

— На реку! — воскликнула Анна Николаевна.

— Ага! — бодро согласился Вовка. — Там, в тупике, санитарный поезд...

Эти слова поразили меня. Только что, сию минуту, я насмеялся над Вовкой Крошкиным, удивляясь, какую он несет ерундовину, удивляясь его несообразительности — не мог будто бы соврать что-нибудь, ведь уж не такой великий грех опоздать на десяток минут, когда еще и урок-то толком не начался. И вдруг мне стало стыдно. Смертельно стыдно.

Я плетусь по утрам за мамочкой, как теленок, закрыв глаза и ничего не соображая оттого, что хочется спать, иду, уцепившись за мамину руку, будто не могу пройти сам, и ничего меня больше не интересует, словно я последний какой-нибудь детсадовец, а вот Вов-

ка... Вовка — человек. Вовка пронюхал откуда-то про санитарный поезд и уже сбегал туда, к реке, где есть железнодорожный тупик, и все разузнал.

Круглоголовый коротышка Вовка рос в моих глазах с каждой секундой, его опоздание было уже не виной, а благородством. Мельчайшие детали выплывали из моей памяти — и Вовкина решительность, когда он врзался головой в живот противника, — настоящий таран! — и его смелость — не побоялся один пойти этим темным утром к тупику! — и даже то, что Вовка в школу ходил один, никто никогда его не провожал, не тянул на веревочке, как меня, — все это озарилось новым светом, и я уже был готов вскочить, потрясая язычки пламени наших свечей, чтобы защитить Вовку от гнева учительницы, когда Анна Николаевна вдруг кивнула головой и сказала тихо:

— Садись!

Вовка стремительно разделся, повесил пальто и шапку на свободный крючок, вбитый в стенку класса, потому что все мы раздевались там же, где и учились, и, еще тяжело дыша, уселся рядом со мной.

Все глядели на Вовку с удивлением и интересом, пока не раздался негромкий стук.

Я повернулся. Это стучала Анна Николаевна указкой по столу, обращая на себя внимание.

Я взглянул на учительницу, и мне стало не по себе. Ее лицо вытянулось и напряглось.

— Они приходят часто, — сказала она вдруг и повторила бесцветным голосом, будто это был диктант, — санитарные поезда приходят часто.

— А я не знал! — сказал Вовка, и Анна Николаевна вздрогнула.

И я не знал тоже. И никто никогда не говорил мне, что к нам в город приходят санитарные поезда, даже мама, хотя она работала в госпитале. «Вот дурак! — обругал я себя. — Ведь раз мама работает в госпитале, значит, раненых привозят! Это же понятно всякому!»

Да, это было понятно всякому, а мне было непонятно, не мог я сам догадаться, что раненых привозят, и спросить у мамы, как их привозят, простофиля раз-этаким.

— Часто! — повторила глухим голосом Анна Николаевна, хоть и глядя на нас, но никого не видя. Потом она встрепенулась, будто сбросила с себя это

странное оцепенение — никогда еще я не видел ее такой, — и встала из-за стола.

— Вы знаете, почему такие узкие проходы между рядами в нашем классе? — спросила Анна Николаевна настойчиво и ответила сама себе: — Потому что идет война и школы в нашем городе, большие и удобные, отданы раненым, там госпитали... Вы знаете, почему вы пишете на старых газетах, а не на тетрадах? Потому что идет война и фабрики, где делали тетради, — разрушены... Вы знаете, почему вместо ярких лампочек у нас горит керосинка, а на партах свечи? Потому что энергии не хватает заводам, потому что заводы работают на всю мощь, чтобы сделать побольше снарядов!

— Знаем! — крикнул яростно Вовка, и я снова с восхищением, как бы новыми глазами оглядел его.

— Мало знать! — ответила ему Анна Николаевна, отходя к окну и всматриваясь в медленно расступающуюся темноту. — Надо понимать...

Она долго смотрела за окно и, повернувшись, повторила:

— Надо понимать...

Учительница снова оглядела класс посвежевшими, как бы умытыми глазами и вдруг сказала негромко:

— Давайте сходим после уроков... Вова Крошкин будет провожатым.

И хотя она не сказала, куда сходим, хотя никто не произнес ни звука, все поняли, куда предлагает сходить Анна Николаевна. Все поняли, что она зовет сходить к санитарному поезду, и все, наверное, благодарно удивились ее словам.

В этот день Анна Николаевна так больше никого и не спросила, кроме Нинки Правдиной, а только рассказывала про то, как генералиссимус Кутузов заманил Наполеона в Москву, и там, в горящей Москве, этот наглый завоеватель вдруг понял, что он проиграл войну, хотя выигрывал все сражения и даже выиграл сражение под деревней Бородино, и бежал в свою Францию, бросив с позором войско. Еще Анна Николаевна читала нам стихи про это Бородино и еще басню Крылова про волка, который забрался на псарню, потому что в этой басне намекалось на Кутузова и Наполеона.

Анна Николаевна говорила, а в классе было так тихо, что даже свечечные огоньки не трепетали, а слов-

но застыли, словно они неживые были или сделаны из стекла.

Я слушал, как рассказывала Анна Николаевна, взглядывал изредка на Вовку, и он отзывался понимающе, и отчего-то мне щипало в глазах, в горле возникал непонятный комок, и мне хотелось заплакать или сделать что-нибудь замечательное.

После уроков, быстро одевшись, мы шли четкими парами к реке, к железнодорожному тупику, соблюдая строй и самостоятельно подравнявшись. Анна Николаевна торопилась за нами, оборачиваясь, я ловил ее улыбку, тыкал Вовку Крошкина в бок и приговаривал:

— Постой-ка, брат мусью!

Вовка меня понимал, прекрасно понимал, удивительный головастый человек, и отвечал в том же тоне:

— С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой!

Мы негромко смеялись, довольно поглядывая друг на друга, шагали в ногу, печатая старыми валенками хрустящий шаг, и серьезнели, вспомнив, куда идем.

* * *

Берег круто срывался вниз. Под горой в железнодорожном тупике, подле самой воды, стоял поезд с белой от снега крышей и красными крестами по бокам.

Там шла суетня.

Подходили грузовые газогенераторки, орали на лошадей возчики, женщины в белых косынках поверх платков таскали носилки.

На носилках, укрытые серыми одеялами, лежали люди. Раненые!

Все, что делалось под горой, казалось мне развороченным муравейником — маленькие черные фигурки беспорядочно торопились на белом снегу, — но не эшелон поразил меня.

Рядом с нами на крутом берегу стояли женщины.

Они стояли по двое, редко по трое, а больше всего поодиночке — большие и маленькие, старые и молодые, но все на одно лицо, — кутали в рукава ладони и молча, скорбно глядели вниз, на эшелон.

Над головами глухо стучали друг о друга, будто крылья недобрых птиц, голые ветки мерзлых тополей, и я пронзительно понял вдруг, что случилась какая-то беда. Беда эта ужасная, непоправимая, и ничего нель-

зя было с ней поделаться, и эти ветки, похожие на птиц, они — правда, птицы, от которых нельзя укрыться.

Я подошел к краю обрыва и обернулся, чтобы увидеть их лица. Некоторые женщины беззвучно плакали. А другие — нет, не плакали, и лица их были угрюмы. Одна женщина поразила меня особенно.

Она стояла одна; она была еще совсем молодая, но платок, низко надвинутый на лоб, делал ее старухой. Я посмотрел на эту женщину, и мне сделалось страшно. Ее глаза были прозрачны, как бы пусты, и мне неожиданно показалось, что эта женщина сейчас сделает шаг вперед. Сделает шаг вперед и бросится вниз с обрыва.

Я подбежал к ней, чтобы остановить, но она даже не заметила моего приближения. Она стояла, по-прежнему глядя вниз остекленевшими глазами, и мне показалось, что женщина слепая.

Кто-то тронул меня за плечо. Это был Вовка.

— Пойдем вниз, к эшелону, — шепнул он, но я никак не мог отойти от женщины: а вдруг она правда бросится вниз.

Вовка потащил меня за рукав к учительнице и стал проситься, чтобы она отпустила нас двоих к эшелону.

— Ну, сходите, — сказала Анна Николаевна и тронула меня за плечо: я все еще смотрел на ту женщину с пустыми глазами.

— Ей не поможешь, — сказала Анна Николаевна, вздыхая. — Им не поможешь...

Я вздрогнул. «Неужели? — подумал я. — Неужели?..» И враз, в минуту мне стало понятно, почему они тут стоят, эти женщины.

Почему они стоят здесь, а не идут вниз, к эшелону...

* * *

Внизу эшелон снова показался мне муравейником.

Торопливо сигналили машины, буксуя на обледенелом подъеме, возчики, которые вблизи оказались возчиками, безжалостно лупили лошадей, ругаясь грубыми мужскими голосами, и кони, высекая копытами грязный лед, выволакивали, напрягаясь, сани, в которых лежали раненые.

Вовка тащил меня, умело разбираясь в этом хаосе, проскакивая между подводами и машинами, между тревожными женщинами в белых косынках поверх

платков, и как-то незаметно мы очутились возле самого поезда. Но Вовка не успокоился. Он шагал вдоль вагонов и наконец остановился около одного, протянув руку:

— Гляди! — проговорил он, и я увидел, что окна в вагоне без стекол — только в углах торчат острые, похожие на ножи осколки, а обшивка вагона в разных местах пробита рваными дырками.

— Бомбили! — сказал Вовка, и я со страхом представил себе, как вот в этот вагон, возле которого я стою и до которого могу свободно дотронуться рукой, ударили бомбовые осколки, как разом вылетели окна, хотя они, наверное, и были заклеены крест-накрест бумагой, чтобы выдержать эту волну. Но взрыв был близко, полоски бумаги не спасли, и, может быть, раненые, лежавшие на второй полке, упали на пол.

Я поежился и оглянулся. Сзади фыркнула и испуганно заржала лошадь. Тетка-возчица подгоняла ее к вагону, к самой подножке, но лошадь норовила повернуть в сторону или пройти вперед. Тетка яростно ругалась, хлопала вожжами, осаживала сани, конь всхрапывал и косил глазом.

В проходе раненого вагона показалась сутулая женская спина, она двигалась к выходу, ноги в ботах ошупывали каждый маленький шаг. Наконец женщина в белой косынке встала на первую ступеньку, потом еще на одну. Возчица подскочила к ней, стала помогать, но носилки были очень тяжелые, и мы с Вовкой, перегоняя друг друга, кинулись помогать вытаскивать раненого бойца, но возчица крикнула нам грубо:

— Отойдите! Отойдите! — И выругалась.

Та, вторая, повернула к нам лицо, и я тихонечко взвизгнул от радости: вот здорово, это была мама! «Ну, теперь-то она скажет этой вознице, чтоб не ругалась, даже обрадуется!» — подумал я и снова кинулся помогать, но мамино лицо сделалось белым, и она крикнула грубым, как у возницы, голосом:

— Отойди! Отойди!

Я еще никогда не слышал, чтобы таким голосом кричала мама, и, отступив, обиделся, но тут же забыл про все.

Мама и тетка, помогавшая ей, вытащили, высоко поднимая над головой, носилки — с другой стороны их держал усатый санитар в летной пилотке, и мы увидели жуткое.

Тот, кто лежал на носилках, был укрыт с лицом, но серое одеяло оказалось коротким, и из-под него виднелись желтые, словно восковые, ноги. Санитар и мама с теткой положили носилки в сани, санитар полез обратно в вагон, а мама подбежала к нам, схватила меня и Вовку за плечи и потащила в сторону, подальше от вагона и храпящей лошади. Мама тяжело дышала, бусинки пота покрывали ее лицо.

— Вы откуда?! — торопливо, не слушая наших ответов, восклицала она. — Вы как тут?! Уходите, сейчас же уходите!

Ее окликнули. Я хотел было повернуться на голос усатого санитара, но мама больно стукнула меня по щеке.

— Не смотри! — прикрикнула она. — Не смотрите!

Я не обиделся, я понял и послушался ее, и Вовка послушался тоже.

Не оборачиваясь, мы побежали вперед, долго, до пота, до стука в висках взбирались по узкой, обледевшей тропе наверх, на обрывистый берег, где нас ждала Анна Николаевна и весь класс.

Наверху все было как прежде. Тополиные ветки глухо хлопали над головами, стояли женщины, скорбно сжав губы, вглядываясь в эшелон. Анна Николаевна была среди девчонок с посиневшими носами, куталась в платок и внимательно глядела на нас.

Вовка, покачивая головой, маленьким воздушным шаром, подошел к учительнице первым.

— Там убитые! — сказал он громко.

Меня трясло, я старался сдержаться, но чувствовал, как помимо моей воли губы разъезжаются в стороны, а учительница и ребята расплываются, как будто я вижу их сквозь затуманенное стекло.

Я вдруг вспомнил отца и тот беспечный для меня летний день.

Отец шел, сцепившись под руку с друзьями, они перегородили всю мостовую и пели про Катюшу.

А я смеялся ему вслед и радостно махал рукой, дурачок!..

* * *

Я не знаю, почему я подумал об отце.

Может быть, все-таки есть волны, которые передаются от человека к человеку? Может быть, предчувствие это не суеверие, не предрассудок, а что-то другое?

Я вздрогнул там, на берегу, подумав про отца.

И снова вздрогнул ночью. Меня будто кто-то толкнул, и я проснулся, подумав вдруг, что с отцом случилось несчастье.

В ночной тишине мерно тикали ходыки, натопленная, белеющая в темноте печка дышала теплом, а мне было тревожно и неудобно, и никак не шел сон.

Вечером мама наказывала мне, чтобы я больше не ходил на берег, к тупику, чтобы не слушал Зовку Крошкина, если он станет звать меня снова. Мама сердилась, говорила, что Анне Николаевне она скажет сама про такую странную экскурсию, и я не обижался на маму за эти слова.

Она, конечно, рассчитывала, что я ее не пойму, а я прекрасно понимал. Отлично понимал, почему она сердится на Анну Николаевну, на меня, на Вовку, понимал теперь, почему она ни разу не сказала про санитарные эшелоны, про то, что она таскает на носилках раненых, и вот — даже погибших. Теперь мне все было понятно, все до последней капельки.

Мама старалась скрыть от меня войну.

Мама старалась, чтобы я про нее знал поменьше. Ел бы себе завариху, ну, слушал радио, тут никуда не денешься, не заткнешь же мне уши, и бегал бы в школу, учился себе на здоровье!

Смешно просто думала мама... Взрослая, а рассуждала как ребенок... Да разве же скроешь ее, войну, разве упрячешь ее куда-нибудь подальше?

Вот она, вся на виду, правильно говорила Анна Николаевна, — и свечки в классе, и тетрадки из старых газет, а сегодня — это страшное, куда его денешь? Я вспомнил желтые, словно восковые, ноги, изрешеченный осколками вагон, и мне стало горько.

— Гады, — прошептал я, — гады! — И сжал кулаки, вспомнив открытки, полученные от отца, женщину, нарисованную на этих открытках, и слова «Родина-мать зовет!».

Я думал не раз про эти слова, женщина с платком на плечах обращалась ко всем, значит, и ко мне, значит, и меня звала защитить Родину-мать, но я не знал, что мне делать.

Теперь я знал, что делать мне, обыкновенному первоклашке.

Убегать на войну было глупым, смешным, несерьезным — я это понимал. Это все равно что путаться

под ногами у взрослых, только отвлекать их и мешать им. Значит, Родине нужно было помогать здесь. Например, шить кисеты, в третьем классе девочки шили кисеты и вышивали цветными нитками: «Храбромому бойцу». Конечно, шить — девчачье дело, но сейчас шла война, и предрассудкам было не место. Шить так шить. Пусть курят бойцы махорочку.

Я ворочался с боку на бок, представлял сшитые мною кисеты, набитые табаком. Много-много кисетов, и на каждом вышито красными нитками — нет, не «Храбромому бойцу», это пусть вышивают девочки из третьего класса, а мои, мной придуманные слова: «Бей врага!» Впрочем, эти слова тоже показались мне слабыми, можно было вышить — «Смерть фашизму!» или «Смерть фашисту!». Так было понятнее, и я, прикрыв глаза, попробовал представить себе фашиста.

Фашист походил на такого, каких рисовали на плакатах, — в рогатой каске, с вытаращенными глазами. Рукава у фашиста были закатаны, в волосатых, как у обезьяны, руках он держал дымящийся автомат.

Фашист был ужасен, отвратителен. Я вздрогнул и сказал громко, отчаянно:

— Гад, гад! — Ведь этот фашист убил бойца, которого несла мама.

На маминой кровати зашелестела простыня.

— Ты что? — спросила она тревожно.

— Гады эти фашисты! — сказал я громко. — Убили того бойца.

Мама помолчала.

— Если бы одного! — сказала она вдруг и, словно спохватившись, добавила: — Ты спи, спи!

— Спи, — обозлился я, вспоминая открытку. — Родина-мать зовет, а я спи!

Мама молчала. Я думал, она станет ругаться, а она молчала.

— Родина-мать зовет взрослых, — сказала мама, стараясь быть спокойной, но голос у нее зазвенел отчего-то. — А ты должен учиться. Ты должен учиться хорошо, гулять и спать, тебя Родина к этому зовет.

Странный человек! Она говорила со мной, как с маленьким. Учиться, гулять, спать!

— Учиться, гулять, спать! — повторил я вслух эти слова и прибавил, снова вспомнив про отца, ведь это его могли нести сегодня в носилках: — Да я их ненавижу! Ненавижу!

Мама мне говорила что-то, требовала, чтобы я спал, а я, сжав зубы, решил, что у меня будет два дела теперь. Я буду шить кисеты. И я буду ненавидеть немцев, этих проклятых гадов.

Ненависть — это не занятие, ненавидеть нельзя специально, как, например, шить кисеты. И кроме того, я ведь не видел живых фашистов.

Но я видел две желтые голые ступни убитого немца бойца.

Я видел страшное, и ненависть была для меня делом, на которое звала меня, первыша, Родина-мать.

* * *

Утром мы вышли пораньше, потому что мама хотела увидеть Анну Николаевну. Я не сопротивлялся, не возражал, ну, пусть поговорит, если хочет, ведь Анна Николаевна ни в чем не виновата. Все равно мы пошли бы к санитарному эшелону, все равно бы Вовка показал мне изрешеченный осколками вагон, в котором выбиты стекла, и Анна Николаевна тут ни при чем.

Было темно и морозно, как каждое утро, скрипел под ногами снег, как всегда. Одно было не как всегда. Я шел с открытыми глазами, шел рядом с мамой, не отставая от нее и не давая ей свою руку.

Мама удивленно поглядывала на меня сверху, но ничего не говорила, и я был благодарен ей, что она меня понимает.

Мы уже подошли к школе, как вдруг я увидел Вовку Крошкина. Небольшой воздушный шар на тонкой подставке летел нам навстречу от школы. Увидев нас, Вовка будто споткнулся и выпалил:

— Уроков не будет! Учительнице похоронка пришла!

— Какая похоронка? — спросил я впустую, зная, догадываясь, понимая, что за похоронку принесла Анне Николаевне почтальонша, и почувствовал, как крепко сжала меня за плечо мама.

— Пойдем! — сказала она глухо. — Пойдем! — И, резко повернувшись, повела меня назад, к дому.

Вовкины шаги слышались за спиной, я знал, что ему некуда идти, все у него на работе, и неуверенно спросил маму:

— Можно, Крошкин к нам пойдет?

Мама кивнула, но тут же остановилась.

— К нам? — спросила она сама у себя, и я понял ее: у нас ведь тоже дома было пусто, бабушка уехала в деревню менять на муку мамины вещи.

— Ну, ладно, — сказала мама, — дома холодно и никого нет. Пойдемте ко мне.

Я не поверил своим ушам. «Ко мне» — значило на работу к маме. В госпиталь. В ее лабораторию. Никогда еще мама не брала меня с собой на работу, а сегодня предложила сама, да еще со мной будет Вовка.

— Только слушаться! — сказала мама. — И никуда не бегать, у нас строгий начальник...

Мамин госпиталь был в бывшем театре, и, подходя к нему, я подумал, что раненные лежат, наверное, в зрительном зале и на сцене. Но ни на сцену, ни в зрительный зал мама нас непустила, она натянула на нас длинные халаты, загнула рукава, а полы засунула за пояс и повела нас с Вовкой, похожих на разведчиков в масках, по темному и узкому коридорчику, в котором стоял запах щей из кислой капусты.

Нам попался всего один раненый, да и то на раненого он не походил — шел себе дядька в халате. Ноги у него были в белых кальсонах, подвязанных тесемками. Он быстро прошаркал мимо мамы и нас, наверное стесняясь своего вида.

Потом мы пришли в маленькую комнату, где сидели две тетеньки в белых халатах. Увидев нас, они захохотали, запричитали, но мама быстро усадила нас за шкаф и велела сидеть тихо.

— Учительнице похоронная пришла, — объяснила она женщинам, и они разом вздохнули, ничего не ответив, и склонились над какими-то приборами, у которых внизу блестело зеркальце.

Мы с Вовкой сидели на одном стуле, тесно прижавшись друг к другу, и я думал про Анну Николаевну. Вчера мы с Вовкой видели убитого бойца, а сегодня узнали, что кто-то погиб у Анны Николаевны. У нашей учительницы. Может быть, муж. Или брат. Или даже сын. Анна Николаевна никогда не говорила нам, кто у нее есть. Она приходила в школу всегда строгая, подтянутая, и мне всегда казалось, что учительница не обращает на войну внимания. Будто нет никакой войны.

Она строго спрашивала по арифметике, по русскому, по чтению, она требовала, чтобы мы старались делать тонкие волосковые линии в буквах на уроках чистописания и никогда не говорила про войну.

До вчерашнего дня. До того, как опоздал на урок Вовка Крошкин, узнавший про санитарный поезд.

А сегодня учительнице принесли похоронку.

Я вспомнил, что говорила мне вчера мама. Как ворчала она, думая, что войну можно спрятать. Анна Николаевна тоже не говорила нам про войну. Но она все-таки раньше мамы сказала нам про электричество, про тетрадки, про генералиссимуса Кутузова, а потом повела нас на берег. Она поняла, что от войны никуда не денешься. И не делась сама.

Вовка наклонился ко мне и шепнул:

— А чего это они делают?

Я не знал, что делала мама, заглядывая в свой прибор.

— Мама! — спросил я. — А нам можно посмотреть?

Мама повернула ко мне воспаленные, словно заплаканные глаза и посмотрела на нас внимательно, будто жалела о чем-то.

— Ну, посмотрите, — сказала она.

Мы с Вовкой вылезли из-за шкафа, разминая затекшие ноги, и я первый заглянул в железную трубку со стеклянным глазком.

Передо мной было розовое поле с голубеющими краями. В поле лежали точки и палочки.

— Что это? — спросил я, отрываясь от прибора.

— Микроскоп, — ответила мама.

— Нет, что там? — я постучал по трубке.

Мама замаялась.

— Кровь, — сказала одна из женщин. — Это кровь, деточка.

Оттеснив меня, в микроскоп заглядывал Вовка, а я все не мог поверить тому, что сказала женщина. Ведь кровь бывает густая и красная, а там были какие-то точки и палочки.

— Человечья? — спросил Вовка, отодвинув свой шар от прибора.

— Человечья, — грустно подтвердила мама, — людская.

* * *

Уже темнело, когда мы возвращались домой, проводив Вовку. Мама была хмурой и неразговорчивой, но, увидев открытую дверь, повеселела:

— Вот и бабушка приехала! — сказала она, а я с

тоской подумал про пшенку с поджаристой корочкой или гречневую кашу с молоком.

Мы вошли в комнату, и мама окликнула бабушку, но никто не отзывался. Мама подошла к столу и вдруг страшно вскрикнула. Я подбежал к ней и увидел, что шкаф, где висела одежда, настежь открыт, и в нем больше ничего нет. Ни маминых платьев, ни отцовского костюма, который висел тут, завернутый в простыню. Только смятая простыня валялась на полу.

Я обернулся. Верхний ящик комода, где мама держала деньги и карточки, был наполовину выдвинут. Мама перехватила мой взгляд и подбежала к комоду. Она заглянула в ящик, сунула руку, пошелестела бумажками.

— Карточки! — воскликнула она и заплакала, обессиленно опустившись на стул.

Плакала мама недолго. Велев мне сидеть и ждать, она побежала в милицию, а я все не мог взять в толк, что нас ограбили. Мне все казалось, что это шутка, ну, бывает же, соседи, например, решили разыграть нас — ха-ха? — сейчас кто-нибудь постучит и внесет отцовский костюм на строганных деревянных плечиках.

Но никто не стучал, и я подошел к двери. Замок был испорчен, планка, сдерживающая щеколду, была выворочена и порвана, будто это не железо, а какая-нибудь там фанера. Воры разворотили замок начисто, и, разглядев это, я испугался: они ничего не боялись. Я представил, как воры — двое или трое, с коротким ломиком в руках, ломают наш замок, трещит железо, а они зло матерятся, не стесняясь никого, потому что, считай, все на работе, и даже обрадовался, что сегодня нам с Вовкой так повезло, да и бабушке тоже, ведь дома никого не было, а то этим бандитам и убить недолго ради трипок.

Я ненавидел бандитов, я представлял себя среди них не просто так — с портфельчиком в руке, а, скажем, с гранатой, я представлял, как они доламывают замок, нагло матерятся, а я стою за косяком с поднятой рукой и сжимаю гранату. Они хряпают дверью и рвут ее, наконец, открывают, а я возникаю в проеме и велю им ложиться, и они падают и трясутся, сволочи, а я веду их во двор, но не затем, чтобы отвести в милицию, нет, у меня не осталось к ним никакой жалости, никакого милосердия, потому что ограбить людей, когда идет вой-

на, — это настоящий фашизм, а к фашистам нет у меня пощады, — я веду их во двор, велю шагать вперед, и когда они отходят подальше, швыряю гранату.

Меня всего колотило, меня трясло — кража только сейчас доходила до моего сознания: исчезнувший костюм и украденные карточки не произвели на меня впечатления — их не было и все, но я увидел вывороченный замок, и теперь меня колотило. Я видел следы жестокой и беспощадной силы и мечтал, горячо мечтал так же беспощадно свести счеты, нет, я не повел бы их в милицию, этих бандюг, я вывел бы их во двор и метнул в них гранату. Надо только, чтобы побольше собралось народу. Надо, чтобы я не просто взорвал их, а казнил. При всех людях.

В сенцах стукнуло, и я сжался: мне показалось, бандиты вернулись. Но вместо бандитов в дверях появилась мама.

Она привела милиционера с собакой, но уже стемнело, пес молчаливо побегал по двору, глухо поворчал, раззадоривая себя, ничего у него не получилось, и пес бессильно, как человек, признающий свою беспомощность, поглядел на милиционера.

Милиционер не удивился, посмотрел равнодушно на пса и устало сказал маме:

— Пишите заявление — что украли, какие вещи... И подробнее... Будем искать.

— Найдете? — спросила мама с надеждой.

— Будем искать, — равнодушно повторил милиционер.

— Костюм! Костюм мужской особенно, — попросила мама умоляющим голосом. — Мужа костюм... Понимаете?..

— Понимаю, — ответил милиционер, — вы напишите, я-то уйду на фронт, поэтому отдадите куда приходили...

Вечером мама сидела, уставившись в одну точку, время от времени принималась плакать, и тогда я вторил ей, подвывая. На сердце скребли кошки. Вчера я думал про отца, поняв, что такое война. А сегодня нас ограбили, и хотя без карточек жить нельзя, как нельзя жить без крошки хлеба, меня пугало не это. Меня пугало, что украли отцовский костюм, который так берегла мама.

Это была нехорошая примета.

Спасти нас могла только бабушка, но ее все не было, и последние два дня мы ложились спать, попив лишь горячего кипятку. Сперва я безумно хотел есть, и жалкие куски, которые приносила откуда-то мама, только разжигали к еде ненависть — все равно ее не было; куски не насыщали, а раздражали. Потом, как-то совсем неожиданно, голод исчез. Редкие куски не вызывали никакого интереса, и я удивлялся, зачем мама силком заставляет меня есть: она могла бы поесть и сама, я знал, что она вообще ничего не ела, а я не хотел, — объяснить это было невозможно, — не хотел, и все тут, но мама плакала, держала передо мной черный ломтик, и этот ломтик плясал у нее на ладошке. Я удивлялся — чего она плачет? — вяло жевал и чувствовал себя прекрасно — какая-то легкость была во мне, необыкновенная легкость. Правда, порой в ушах возникал шум и негромкий звон.

Но потом звон стал нарастать, и я незаметно свалился со стула. Впрочем, что свалился, я понял уже потом, когда очутился на полу, а возле меня причитала мама, держа передо мной кружку кипятка. Я удивился, как это вдруг очутился на полу, хлебнул воду и удивился еще больше — она была сладкая.

Наутро мама не пустила меня в школу, и я блаженствовал в теплой постели, пока не рассвело. Странно, мама тоже была дома. Я удивился, но не очень, как-то издали словно бы удивился, стал одеваться, и мама мне помогала, как маленькому. Я делал все словно во сне, где-то глубоко в голове звенели далекие колокольчики, это было неплохо, главное, чтобы они не зазвонили громче, а то опять свалишься со стула, надо держать себя в руках, — я делал все как бы во сне, так же, почти во сне, прислушиваясь к колокольчикам, потом пошел вслед за мамой куда-то по улице.

Не знаю, долго ли мы брели, наверное, все-таки долго, потому что останавливались несколько раз, и мама меня спрашивала: «Ну, как?» — и я кивал головой ей в ответ, — ведь говорить мне было лень.

Потом мы зашли в какой-то дом, мама размотала мне шарф, разделась сама, сложив на скамейке, рядом со мной, свое пальто, и велела его караулить.

— Ты не засыпай! — говорила почему-то мама. —

Не засыпай! — Хотя я выспался только что и засыпать совсем не собирался.

Но мамы не было очень долго, и я в самом деле стал кемарить. Правда, сквозь сон я цепко держался за мамино пальто — не дай бог украдут и его, как мы тогда станем жить, просто немыслимо. Я дремал, время от времени вздрагивая и озираясь, а мама не шла, и бороться со сном становилось все труднее.

Наконец хлопнула дверь.

Наверное, от этого хлопка я испуганно вздрогнул, сон отпустил меня, и я с особенной ясностью увидел маму. Она стояла, прислонившись к двери, и ее лицо показалось мне страшным.

Черные полукружья прорезались у нее под глазами уже давно, и не это удивило меня. Сейчас мамино лицо было зеленым. Один рукав платья был у нее загнут, и выше локтя мама прижимала к руке кусок ваты.

Она шагнула к скамейке, села рядом со мной и уронила голову.

Я бросился, испугавшись, к ней, но она слабо улыбалась, отмахиваясь от моих тревожных слов, и я немножко успокоился.

Мы посидели, мама отняла от руки вату, и я увидел кусочек запекшейся крови.

— Что это? — испуганно сказал я, но мама опять улыбнулась.

— Ничего, ничего, — сказала она, — так надо, идем! — И стала натягивать пальто.

Обратно мы шли еще медленнее, колокольчики опять звенели у меня в голове, и я уже не обращал внимания на маму — мы просто шагали, держась друг за друга, тихо передвигая ноги, и мне было все равно, куда мы идем.

Пришел я в себя на каком-то низком подоконнике. Снизу веяло приятной прохладой и, скосив глаз, я увидел, что подоконник кафельный. Белые плитки походили на белый шоколад, мне до смерти захотелось лизнуть подоконник, и я едва удержался от этого.

— Ну вот, — услышал я тяжелый голос мамы. — Ну вот, теперь ешь!

Я поднял голову. Мама держала в руках какие-то кульки, она раскладывала их на подоконнике рядом со мной, и я увидел, как из одного высовывается кусочек масла. Не того, не похожего на отцовскую открыт-

ку, а настоящего, желтого, как яичный желток, топленого масла.

Мама перехватила мой взгляд и раскрыла кулек, протянула мне светло-желтый кусочек. Я, будто птенец, открыл рот и услышал, как тает во рту, как течет по горлу расплавившееся масло.

— Откуда? — спросил я слабо.

— Ешь, — ответила мама и дала мне еще кусочек.

Я сосал масло, будто леденец, оно плавилось, исчезало во мне, и вместе с кусочками масла затихали колокольчики в глубине головы.

— Откуда? — снова спросил я маму.

— Это такой паек, — сказала она, чтобы отвязаться, но я уже отошел, и мысли мои приходили в порядок. Магазины были мне незнакомы, народу в нем почти не было, не то, что в нашем, к которому мы прикреплены, да и никогда мы не получали таких пайков, которые лежали в маленьких кулках — из одного даже высовывались конфеты. Я приходил в себя от желтенького масла, которое таяло во рту, и все большее понимал, что тут что-то не так. Не бывает таких магазинов.

— Откуда? — спросил я снова маму, и, увидев мою настойчивость, она, наконец, ответила:

— Ну, это такой паек... донорский.

Донорский! Это слово я знал, потому что на всех углах в городе висели плакаты. На плакатах были нарисованы розовощекие тетеньки и красные кресты с красными полумесяцами. Донорами назывались женщины, которые сдавали свою кровь, только эти женщины должны быть румяными, а у мамы было зеленое лицо.

— Ты сдала кровь! — крикнул я, понимая уже, что крик этот пустой, понимая, отчего в том доме мама прижимала к руке вату с запекшейся кровью.

Мама молча кивнула, улыбаясь отчего-то, глядя на меня приветливо, и я вдруг вспомнил, как мы с Вовкой глядели в микроскоп. Розовые точки и палочки плавали перед глазами — это была кровь. «Человечья?» — спросил тогда Вовка. «Человечья, — ответила ему мама, — людская».

Людская! Я знал это слово — донор, но никогда не думал, что людскую кровь можно продать, можно обменять, будто какое-нибудь тряпичное пальто или платье, на еду.

Я посмотрел на кулечки, которые лежали передо мной, взгляделся в мамино зеленое лицо и заплакал оттого, что оказался таким подлецом.

Ведь я ел как бы мамину кровь, и это было ужасно...

* * *

Неизвестно, чем бы все это кончилось, но приехала наша спасительница. Приехала бабушка.

Узнав, что нас обокрали, она поплакала, но воли себе не дала и, испуганно поглядывая на маму, стала готовить завариху.

В углу шепеляво сипел примус, выбрасывая синие язычки огня, вкусно пахло едой, и я подумал о заварихе с вожделением. Какие уж там поджаристые пшенки или греча с молоком! Это было все неправдой, это было забытым и ненастоящим! В углу клочкотала завариха, и я видел, как разглаживались морщинки на лбу у мамы.

— Наживете! — приговаривала бабушка, возясь у примуса. — Главное бы живой остался, а костюм наживете, да еще не один, велика беда, а эти бандюги, чтоб им подавиться, бог их накажет, он ведь видит все!

Я с удивлением поглядывал на бабушку, думая, что это она вдруг заговорила про бога, никогда не верила, а теперь такие божественные слова, — но голод брал свое, я нетерпеливо поглядывал на примус, и бабушкины слова тут же забыл.

Однако бабушка их скоро напонила.

Завариху мы ели целую неделю, потом мука стала кончаться. Однажды, когда я вернулся из школы, бабушка стала собираться.

— Пойду, — сказала она мне, — займу денег.

Я кивнул, бабушка вышла, я стал раскладывать тетрадки, и тут дверь снова хлопнула. Я подумал, что это кто-нибудь из соседей, но это была бабушка. «Забыла чего?» — подумал я про нее, но бабушка стояла в странной позе. Одну руку она держала над собой. Я пригляделся.

Бабушка держала розовую тридцатку.

Не раздеваясь, она подошла к столу и села, не выпуская бумажку.

Лицо ее было бледным.

— Вот! — сказала бабушка. — Вышла, иду и думаю, куда идти! У всех занимали, все без денег сидят.

Бог ты мой, думаю, хоть бы ты помог, что ли? А ветер на воле-то... Поземка... Вдруг — гляжу — шуршит бумажка, наклонилась, глядь — тридцатка!

Бабушка смотрела на меня круглыми глазами, будто я и есть бог, у которого она просила помощи.

— Значит, правда! — прошептала она. — Значит он все-таки есть! Видит все...

Бабушка размотала шаль, скинула пальто и вдруг принялась молиться в угол.

Икон там никогда не было — я знал, что молятся на иконы, — но бабушка молилась в угол. И часто-часто кланялась.

— Господи! — шептала бабушка. — Заступись за нашего кормильца, упаси его от смерти.

Я понял, о чем молилась бабушка, и тоже с надеждой посмотрел в угол.

Сердце опять захолонуло у меня. «Господи! — подумал я. — Пусть я буду голодать всю жизнь, пусть только ничего не случится с отцом!».

И снова израненный вагон, и тот, на носилках, предстал передо мной.

Мне сделалось жутко.

— Бабушка! — попросил я. — Бабушка, хватит!

Бабушка послушалась меня, повесила шаль и пальто на место, но ее слова все-таки дошли до бога.

Вечером дверь хлопнула, и в комнату ворвалась мама. На ней не было лица.

— Вася! — плакала она. — Вася!

— Похоронка? — крикнула бабушка, хватая ее за руку. — Говори скорей!

— Нет, — кричала мама и плакала. — Нет, раненый. В госпитале! У нас!

— Сильно? — крикнула бабушка. — Говори!

— Нет, — плакала мама. — В руку, ранение тяжелое считается, но не страшно.

Бабушка оттолкнула ее и закричала:

— Так чего ты реवेशь, дура! — И вдруг заплакала сама, прижавшись к маминому плечу.

В госпиталь мы бежали — я впереди, мама с бабушкой — немного отстав. Время от времени я останавливался, нетерпеливо ждал, когда расстояние между нами сократится, и с недоумением думал о боге.

«Значит, он есть? Значит, он все видит и в самом деле, если дал бабушке денег и спас отца».

«Зачем же тогда вся эта война?» — думал я и раз-

глядывал облака, плывущие над головой: а вдруг облака разойдутся, и я увижу его?

* * *

В душном темном коридоре, где пахло щами из кислой капусты, наобнимавшись, нацеловавшись, наговорившись с отцом, я рассказал отцу про бога.

Я думал, он засмеется, но отец сказал:

— У нас был один солдат, он носил крест и перед боем молился. Но его убили. — Он помолчал и добавил, грустно усмехнувшись: — На бога надейся, а сам не плошай.

Я вглядывался в отца, слушал, что он говорил, любовался им и думал, был уверен — уж отец-то не плошал. Ведь не зря же он не какой-нибудь, а старший сержант, хотя уходил на войну простым солдатом, и не зря же он только ранен, а немец, который стрелял в него, убит.

Отец рассказывал, как он швырнул гранату, и в это время его ранило — пуля задела кость. Его отправляли в Сибирь, но он уговорил начальника санитарного поезда, зная, что они будут ехать мимо нашего города, взял у него направление в мамин госпиталь и пришел туда, с белой забинтованной рукой наперевес.

Мама смотрела в микроскоп, он вошел к ним в лабораторию, получив сначала халат и койку. Маме сделалось плохо — те две женщины дали ей понюхать нашатырного спирта. От мертвых, от крови мама не падала в обморок, а тут упала.

Но теперь все было позади, так мне, по крайней мере, казалось, отец должен был долго лежать в госпитале, а потом еще отдохнуть несколько дней дома, и я ждал этих нескольких дней, как самого счастливого времени.

Этими днями была освещена вся моя жизнь, и, сидя на уроках, я часто представлял лицо отца — выбритое и молодое, совсем как на той карточке, что была на комод.

Кража, санитарный поезд, мертвый солдат, похоронная Анны Николаевны — все отодвинулось куда-то назад, и часто я приходил в себя только тогда, когда Вовка Крошкин больно пихал меня в бок.

Я вздрагивал, ловил на себе вопросительный взгляд Анны Николаевны, поднимался, не зная, что она спросила, хлопал глазами и не всегда блистал в ответах,

но — странное дело — строгая учительница всегда ставила мне не меньше четверки.

Отдуваясь, я садился на место, думая с радостью, что мне безумно везет, но Вовка отрезвил меня.

— Это она тебя жалеет, — сказал он мне однажды на перемене. — Я сказал, что у тебя отец в госпитале, она тебя и жалеет. Что бы ты сказал ему, если бы пару схватил?

Я вздрогнул. В самом деле — что бы я сказал отцу про двойку, а ведь он каждый раз спрашивал меня об отметках. Врать было бы позорно, а сказать правду...

После перемены я разглядывал Анну Николаевну так, словно впервые увидел ее. Вот, значит, она какая. У самой горе, получила похоронную, — она сказала нам потом — убили ее сына, а сама еще жалеет меня, еще думает о том, что у меня отец в госпитале и что мне нельзя получать двоек.

Анна Николаевна рассказывала уроки ровным, спокойным голосом, только иногда он отчего-то звенел, и тогда учительница умолкала на минуту, но потом продолжала снова тем же спокойным и ровным голосом, а я вглядывался в нее, и теплая благодарность к ней расплывалась во мне.

Я вспомнил, как сказала тогда про войну Анна Николаевна. «Мало знать, — говорила она. — Надо понимать, что идет война», — и я теперь знал, что идет война, и понимал тоже. Мне становилось стыдно: значит, все-таки мало понимал, раз жалела меня учительница. Мало! Ведь и кисет я сшил всего один, да и тот было стыдно дарить, потому что он весь скукожился и нитки кое-где торчали петлями. Только вот вышел я хорошо красными нитками: «Смерть фашисту!».

Правильно говорила Анна Николаевна, и, вернувшись домой, я принялся старательно делать уроки, а покончив с ними, начал кроить кисеты из старых лоскутков, которые выделила мне бабушка. Я вышивал красными нитками огненные слова, а Вовка Крошкин, который вступил со мной в пай, сшивал кисеты черными нитками.

Это у него здорово выходило.

* * *

Отец поправлялся, мы с Вовкой шили кисеты, а устав, катались на лыжах.

Наш дом стоял на берегу озера, и с первого дня,

как выпадал прочный снег, его уклоны до блеска укатывались ребячьими лыжами.

С лыжами была проблема, потому что, говорили, лыжи теперь делали для фронта, в магазине их не продавали, да и самого магазина, где раньше продавали лыжи, тоже не было. В городе работал лишь один промтоварный магазин, где давали по ордерам валенки, калоши и изредка выбрасывали пальто. Нам с Вовкой тоже перепало по ордеру, и мы ходили в каких-то леопардовых — желтых с черными пятнами — шубах. Говорят, шубы были американские, нам это было как-то все равно: тигровая одежда Вовке и мне нравилась.

Особенно приятно было кататься в них на лыжах. Правда, если часто падать, шубы промокали, но мы на этот недостаток не обращали внимания, главное, мчась с горы, можно было представить себя леопардом и даже зарычать. Вот мы с Вовкой и рычали, носясь друг за другом, ловя друг друга, играя в пятнашки, и при этом катясь с горки на горку, тормозя, взрыхляя снег и не забывая беречь лыжи, этот страшный дефицит. Вовкины, например, были обиты жестянкой, потому что треснули, мои же пришлось спасать серьезнее. Одна лыжина была у меня сломана, и я отпилил весь хвост до самого валенка. Но раз отпилил одну лыжину, пришлось подравнять и другую. Сперва я огорчился, но потом привык и даже радовался, потому что на этих лыжах, напоминавших скорее коныки, можно было стремительно и круто поворачивать, юлить и всяко елозить по горе, так что почти всегда леопард Вовка Крошкин не мог меня догнать. Вовка злился, громко рычал, но я мог вдруг на полном ходу остановиться, а он не мог. Тогда Вовка придумал новую игру. Мы стали прыгать с нырка. Разгонялись с крутой горы, заезжали на маленький трамплинчик, который назывался нырком, и потом мерили, кто улетел дальше.

Странное дело, и лыжи были у меня короче, и сам я был легче Вовки — наверное, за счет головы, — а он все-таки меня перепрыгивал. Вовка летел, плавно крутя руками, и мне порой казалось, что голова и правда у него — воздушный шар и что он может улететь куда угодно. Куда угодно Вовка не улетал, но перепрыгивал меня чуть не в два раза, и я, пораженный, придумал себе новое дело.

Я стал ездить с самых высоких гор.

Вовка свои дранки, дребезжащие, когда он прыгал с нырка, жалел, мне жалеть свои коротышки не приходилось, и я, забравшись на самые крутые и обрывистые склоны, мчался вниз, поднимая столбы снежной пыли. Вовка снова потерпел поражение, а за мной укрепилось звание самого отчаянного лыжениста, как меня звал Вовка, нашего оврага.

Некоторые ребята мне завидовали, потому что я жил на краю оврага, мне не надо было далеко ходить: вышел из дому, нацепил свои «коньки», и шуруй вниз. Словом, дело дошло до того, что я ездил задом наперед, естественно, переодев лыжи носками назад.

Но все-таки в овраге была гора, с которой я не мог съехать. С нее никто не мог съехать.

Однажды в овраге появился большой парень на красивых лыжах, да еще с бамбуковыми палками. Он солидно прокатился пару раз, посмотрел на мои фортеля и вдруг полез на ту гору.

Она начиналась у забора, который упирался в овраг, и была почти отвесная. Мы замерли, выстроившись в неровный ряд, а большой парень забрался наверх и вдруг поехал.

Что было дальше, трудно описать. Поднялся столб снежного крошева, раздался треск, а когда все утихло, мы увидели, как из сугроба, с заляпанным снегом лицом, выбирается взбешенный парень. Редкий случай — сразу обе лыжины были сломаны, он матюкался, как извозчик, и, отыскав меня глазами в толпе мальчишек, велел:

— А ну, ты!

Я не очень испугался, можно сказать, не испугался вообще, хотя никакого желания ехать с этой горы у меня не было. Но овражные мальчишки подбадривали меня, толкнул в бок и Вовка Крошкин, и я стал карабкаться к забору.

Сверху гора была еще отвесней, чем казалась снизу, у меня запищало что-то в животе, но отступить было стыдно, к тому же и большой парень мог надавать, и я шагнул вперед.

Снежные сугробы кинулись мне в лицо, все завертелось перед глазами, и на секунду я даже, кажется, потерял сознание. Когда я очнулся, все ребята, кроме Вовки, смеялись, а большой парень, разглядев меня, сказал удовлетворенно:

— То-то же! — И стал собирать остатки своих лыж.

В общем, гора эта была для меня неприступной, и, катаясь с Вовкой, я старался ее не замечать, старался на нее не смотреть, старался о ней не думать.

Мы гонялись друг за другом в своих леопардовых шкурах, чувствуя себя сильными и ловкими, как эти заморские звери, прыгали с нырков — больших и маленьких, а накатавшись, шли домой, чтобы заняться нашим главным делом.

Чтобы шить кисеты.

* * *

Производство кисетов процветало, честно признаться, не столько благодаря нашему шитьейному умению, сколько нашему энтузиазму. Видя, как мы корпели, согнув спины над лоскутками, пытаюсь с помощью иголки и ниток соединить их в подобие мешочков, бабушка не выдерживала, снимала со швейной машинки «Зингер» деревянный футляр и, нацепив очки, отчего становилась необычайно строгой, строчила своей машинкой, как автоматом, ровные стежки, быстро и аккуратно делала заготовки для нашей фронтовой продукции. Вернувшись с работы, к нам присоединялась и мама — она вышивала легко и красиво, не чета нам, слова «Смерть фашисту!». Помогали нам заочно завербованная Вовкой его мать и сестренка, так что дела наши шли бойко, горка кисетов росла, мы с Вовкой, оставив иглу и нитку, теперь лишь вдевали в обшитый рант кисетов тесемочки, чтобы можно было заматывать табак по всем правилам курительного дела.

Наконец настал торжественный день.

Накануне, предупредив своих, Вовка остался ночевать у нас. Теснясь в моей узкой кровати, мы долго не могли уснуть, шептались и шушукались о предстоящем, таращили в темноте глаза, стараясь разглядеть стоявшую на столе просторную, как древняя ладья, большую бельевую корзину. Корзина доверху была набита пустыми кисетами и аккуратно укрыта холщовой тряпицей. Наутро нам с Вовкой предстояло открыться: притащить корзину в школу и отдать ее Анне Николаевне.

Нельзя сказать, чтобы мы недооценивали содеянное нами. Нельзя сказать, чтобы наше честолюбие не ожидало барабанов славы. Еще бы, ведь в корзине помещался кисетный запас на целый полк, ну если не на

полк, так на роту, хотя, признаться, разницу между ними ни я, ни Вовка не очень-то улавливали. Словом, не случайно поутру, когда мы, сопровождаемые почетным эскортом из мамы и бабушки, тащили нашу корзину, в моей голове разливалась щекочущая сердце медь духового оркестра и дробь барабанных палочек. Мне казалось — утренняя темнота сегодня не так густа, иначе нас не разглядят встречные прохожие, что у школы наверняка стоит ликующая народная толпа, среди которых непременно есть Нинка Правдина и уж, конечно, девчонки из третьего класса, которых мы с Вовкой — безусловно, с маминной и бабушкиной помощью — перещеголяли в шитье кисетов. Теперь мне не казалось предосудительным, что мы занимались таким девчачьим делом — шили и вышивали: героический результат покрыл все прозаические издержки.

Корзина, плотно груженная невесомыми кисетами, тянула нас к земле, постепенно звон литавр в моей голове сменился тяжелым перестуком крови. Я прерывисто дышал, капельки пота выползали из-под шапки. Вовка выглядел не лучше.

Бабушка и мама пытались отнять у нас наш груз, однако мы не поддавались их напористой агитации. Можно было упасть, надорвавшись, можно было вконец запариться, но донести корзину до стола Анны Николаевны мы просто обязаны, потому что, в конце концов, честолюбие было лишь как бы наваром в хорошей ухе. Главным же было не оно. Главным был наш долг, мой долг, к которому призывала та женщина в платке, скинутом с головы, на отцовской открытке.

Недалеко от школы, согласно уговору, мама и бабушка остановились.

— Ну, с богом! — сказала бабушка, и мне показалось, что она волнуется. Я подумал, что мы были несправедливы. Ведь мама и бабушка имели не меньше нас прав нести эту торжественную корзину. Ведь это был не только наш, но и их долг. Раскаяние часто приходит слишком поздно. Мы были возле школы, а уговор всегда дороже денег. Мама и бабушка сказали нам еще какие-то напутственные слова, мы с Вовкой кивнули и, ухватившись за корзинную ручку, откинувшись от нее по бокам в последнем усилии, потащили ее в школу.

И вот пробил долгожданный час.

Окруженные толпой ребят, нутужась в последний раз, мы воздвигали корзину на учительский стол, Анна Николаевна сняла холщовую тряпицу, и я услышал вдруг коллективный вздох. Кто-то хлопнул меня по плечу, кто-то ткнул в бок, я видел, как получал свое и Вовка, но это были не обидные тумаки, наоборот, в этом выражалось всеобщее признание.

— Ну! — сказала Анна Николаевна. — Не ожидала! Я взглянул на нее. Глаза у учительницы влажно поблескивали.

Она смотрела на нас с Вовкой ласково и удивленно сразу.

— Что же, — спросила Анна Николаевна, — это вы вдвоем?

— Вдвоем! — гордо сказал Вовка.

Гром оркестра снова зазвучал во мне. Звенели медные тарелки, гудела толстая кожа барабанов. И вдруг я вспомнил бабушку — как волновалась она. Мама, наверное, волновалась тоже, хотя она и виду не подала. А Вовкиной мамы и его сестренки с нами не было вовсе, и они не волновались, но ведь это и они помогали нам.

Гром оркестра мгновенно утих. Я с сожалением посмотрел на гордого Вовку. Я его понимал, конечно же, я его понимал! «Вдвоем!» — сказал Вовка и в общем-то он был прав. Но лишь — в общем. Оставались еще подробности, про которые можно было бы не говорить. Но бабушка волновалась.

И потом, мы выполняли долг.

А когда выполняют долг, надо быть честным.

— Вдвоем! — подтвердил я Вовкины слова. — Но нам помогали.

— Кто? — спросила с интересом Анна Николаевна.

— Мама, бабушка, мама Крошкина и его сестра, — быстро перечислил я и вздохнул с облегчением, как бы скинув с себя ношу. Я думал, Вовка осудит меня, но — удивительно — он подмигнул мне одобряюще. Однако самым удивительным было не это. Самым удивительным было то, что, услышав перечисленных мною помощников, Анна Николаевна ничуть не огорчилась. Наоборот, она воскликнула:

— Молодцы! Вдвойне молодцы!

Признаться, сперва я не очень понял, почему мы

молодцы вдвойне, но учительница сказала, обращаясь ко всем:

— Мало сделать самому хорошее. Надо увлечь им других!

Никто не слышал, как прозвенел звонок, пока Анна Николаевна не спохватилась сама. Она рассадил нас за парты, открыла журнал, чтобы спросить кого-нибудь, но вдруг подняла голову:

— Вова и Коля, — сказала она, — сделали замечательный подарок фронту. Я думаю, что их поддержит весь класс.

Ребята зашумели, загалдели, хвастаясь, что если взяться всем вместе, можно сделать десять таких корзин, но Анна Николаевна предложила:

— Давайте попробуем собрать табак... Я знаю, что табак сейчас большая редкость, но попробовать можно. Скажите об этом дома, попросите помочь взрослых, а потом... — она задумалась. — А потом мы подарим кисеты бойцам.

— Как? — спросил Вовка.

— Прямо бойцам, — ответила Анна Николаевна. — Время от времени из города уходят эшелоны на фронт. Вот мы и подарим кисеты тем, кто уезжает воевать.

Она обвела класс внимательными глазами. Я посмотрел на учительницу и вдруг заметил, что ее лоб прорезала глубокая морщина. Никогда раньше я не замечал этой морщины.

— А передать кисеты, — сказала она, — я предлагаю поручить Коле и Вове.

Ребята согласно закивали головами, и в моих ушах снова послышался звук оркестра. Я почувствовал, как уши у меня становятся горячими, будто кто-то натер их снегом.

Я посмотрел на Вовку. Он заливался густой краской, отчего его голова походила на огромный помидор.

Вовка смотрел в парту, боясь оглянуться.

* * *

Когда человек чего-нибудь долго ждет, он привыкает к ожиданию. И тем неожиданней становится развязка.

В тот же день, когда прогремел гром литавр и нас с Вовкой выбрали делегатами для вручения кисетов бойцам, я вернулся домой возбужденным и слегка

хмельным от такого успеха. Однако ни возбужденность, ни счастливое головокружение не заслонили необычайно сильного и вкусного запаха, который ударил мне в нос, едва я переступил наш порог. Раздувая ноздри, я шагнул в комнату, увидев огромное блюдо жареной картошки, в которой дымились куски мяса, поперхнулся собственной слюной и вдруг... ослеп. Да, это было столь неожиданно и бесшумно, что мне показалось, будто я ослеп. В глазах сперва стало темно, а уже потом я уловил прикосновение чьих-то незнакомых рук. Я безуспешно трепыхнулся, но меня держали крепко, я понял, что это шутка, и принял ее. Надо было отгадать, кто закрыл мне глаза, но руки, заслонившие свет, ни на мамыны, ни на бабушкины не походили. Я еще раз потрогал эти руки, нащупал рукава с металлическими пуговками, и в это время до меня донесся тонкий табачный запах.

Неожиданная догадка пронзила меня, я подпрыгнул независимо от самого себя, видно, какой-то радостный импульс прошёл меня, вырвался из крепких рук, повернулся и повис на шее отца.

Он прижимал меня, колол щетиной, смеялся, хлопывал ниже спины, что-то приговаривал, а я молчал, сжимая зубы, чтобы не расплакаться.

Я ждал отца, знал, что он придет домой, выписавшись из госпиталя, и все время думал о дне, когда это случится. И вот этот день пришел, я обнимал отца и не верил, все никак не мог поверить, что буду теперь с ним эти несколько дней. Буду с ним говорить, обсуждать разные вещи, смеяться, наверное, расскажу, как в прошлом году нюхал его открытку, думая, что она пахнет маслом, — и вообще, буду жить с отцом, с отцом, понимаете, с отцом!

Наконец отец отпустил меня, мы уселись за стол, вокруг блюда с картошкой и мясом, но — странное дело! — великолепная еда неожиданно утратила для меня свое прекрасное значение. Я ел картошку с маслом, думал о том, что мама, выходит, снова сдавала кровь, а сам смотрел на отца, разглядывал его, волновался и горько вздыхал, лишь частицей сознания отмечая вкус небывалой пищи.

Мама и бабушка восхищенно разглядывали отца, прямо не сводили с него глаз, а он посмеивался, шутил, говорил про какие-то пустяки и совсем не хотел рассказывать про войну. Я просил его об этом, но он от-

махивался, пел в шутку: «Пушки, пулеметы, летчики-пилоты!», и говорил, чтобы лучше мы рассказали, как тут живем, как работаем и как учимся. Мама ему убедительно отвечала, что, как работает она, он видел сам, когда лежал в госпитале, что бабушка хлопочет, чтобы нас накормить, и что я учусь нормально пока что, правда, выполняю большую общественную работу, вот вместе с товарищем сшил целую корзину кисетов для фронта.

Сказав это, мама одобрительно похлопала меня по плечу, а отец вдруг стал серьезным, не вставая протянул мне ладонь, и я положил в нее свою руку. Отец крепко сжал мою кисть, задумчиво вглядываясь в меня, потом тряхнул головой.

— Вот это по-нашему, — сказал он. — Вот это повоенному!

У меня по спине побежали мурашки, запершило в горле от такой похвалы отца, и я, вполне возможно, расплакался, если бы не выручила бабушка. Она вдруг горько вздохнула, виновато поглядела на отца и тронула его за рукав.

— Вася, Вася! — сказала она, горестно покачивая седой головой со смешным узелком на затылке. — Беда-то какая, ты не знаешь, ведь нас обокрали, и костюм твой унесли, как ты теперь, когда вернешься-то?

Отец улыбнулся и прямо повторил бабушкины слова, которые она сама говорила когда-то:

— Вернуться бы, — сказал он беспечным голосом. — Вернуться бы, а там уж как-нибудь, справим новый.

Он помолчал, и вдруг заплакала мама.

Мама заплакала и, словно поняв ее, словно поняв, отчего она заплакала, бабушка тревожно спросила:

— Когда?

— Через трое суток, — ответил отец, поглаживая маму по плечу — не успокаивая, не говоря никаких слов, только поглаживая, — и повторил: — Под Сталинград, полагаю, идем.

В нашем классе на подоконнике стоял старый глобус, и, бывало, я крутил его, забавляясь, как мельтешат перед глазами океаны и страны. На другой день я отыскал на глобусе Сталинград. Это была малюсень-

кая точка возле голубой ниточки — Волги. И точка и река были ничтожно малы по сравнению со всем глобусом, а если его крутануть — исчезали совсем, сливаясь с другими такими же точками и ниточками. Я крутил глобус, глядел за окно на пронзительно белые сугробы и думал о том, что ведь есть же где-то жаркие страны и в этих странах, пока у нас зима, люди ходят в одних трусах и не едят завариху, как мы, и солдаты в этих странах не лежат, коченея от мороза, в снегу.

Вернувшись домой, я сказал про жаркие страны отцу. Он задумался, но не согласился со мной.

— Везде сейчас плохо, — сказал он, — раз такая война. И в жарких странах тоже плохо. Вон, немцы даже в Африку забрались.

Меня это потрясло. Я никогда не слышал об этом, никто мне не говорил. Африку я знал хорошо, Африка мне представлялась смешной, потому что еще до школы я выучил забавные стихи, где была смешная строчка: «Не ходите, дети, в Африку гулять!». Это были стихи, а теперь была правда, немцы, оказывается, добрались и до Африки.

Я представлял себе Лимпопо, у которой фырчат фашистские танки, и мне стало ужасно тоскливо, будто Африка мне дороже Сталинграда, хотя Африку я видел только на картинке в детской книжке, а под Сталинград уезжал отец.

Заметив, что я скис, отец велел мне одеться.

— На лыжах-то ты катаешься? — спросил он и, не дожидаясь моего ответа, предложил: — Ну, так давай покатаемся.

Я засуетился, вытащил свои «коньки», волнуясь, думая о том, как бы не ударить перед отцом лицом в грязь, как бы не осрамиться, хоть я и лучший «лыженист» оврага, но ведь бывает всякое, особенно в такой ответственный момент.

Мы вышли, — я в леопардовой американской шубе, отец в шинели с красными лычками петлиц. Я нацепил лыжи и для начала прыгнул с нырка — однако не просто прыгнул, а удивительно далеко и, тормозя, развернулся вокруг себя на полный круг.

— Ого! — сказал отец, когда я к нему подъехал, и эта сценка вскружила мою голову. Я забрался на длинную и пологую горку и, вихляя, подпрыгивая, делая всея и разные повороты, выкрутил на снегу целые кружева.

Отец засмеялся, помотал головой, восхищаясь, и показал мне на горку, на ту самую злосчастную гору, которая начиналась от забора и которую я — единственную во всем овраге — не мог одолеть.

— А с той можешь? — спросил он, явно задираясь.

— Не! — признался я честно, но отец не поверил.

— Это же простая горка! — сказал он. — Только крутая, и все! Не бойшьяся и проедешь шутя.

«Шутя, — проворчал я про себя. — Поглядел бы, как тот парень схряпал сразу обе лыжи».

— Ну! — подзавопил меня отец. — А так хорошо катаешься!

Я мотнул головой и нехотя стал взбираться на гору.

С высоты, от забора, отец показался совсем маленьким, и сердце у меня заколотилось часто-часто. И все-таки я надеялся. Мне казалось, что кто-то неизвестный поможет мне одолеть высоту, одолеть, чтобы отец снова, как вчера, похвалил меня. Я глубоко вздохнул, пытаюсь успокоить себя и освободиться от страха и от волнения. Как будто помогло. Я взглянул в последний раз на маленькую фигурку отца и шагнул вниз.

Сначала я ехал хорошо — пригнувшись, как всегда, согнув колени и выставив для устойчивости одну ногу вперед. Примерно на середине горы — лишь на мгновение — я возликовал, что все в порядке, что я съехал-таки с этой горы, и тут же струя снега ворвалась мне за шиворот.

Отплевываясь, проклиная себя за преждевременную уверенность, я медленно подъезжал к отцу. Он притопывал сапогами, незло смеялся и, когда я подъехал к нему, неожиданно сказал:

— А ну-ка, дай я!

Улыбаясь, я снял лыжи, представляя, как неуклюжий отец на моих обпиленных лыжах поднимет гору снежной пыли, воткнувшись в сугроб, попытается сказать об этом отцу, но он лишь улыбнулся, прицепил «коньки» к сапогам и уверенно полез на гору.

К этой высоте и подбирался, переступая лесенкой, — гора была крутая, а отец поднимался елочкой, и лишь последние метры, там, где было совсем круто, почти отвесно, шел лесенкой, врубая лыжи в плотный снег.

У забора, обернувшись ко мне, он снял шапку.

Звездочка сверкнула на солнце, и неожиданно — вот так, с шапкой, зажатой в раненой руке, — отец полетел вниз. Руку с шапкой он отставил в сторону, как бы оберегая ее на всякий случай.

Это видение всегда со мной, я на всю жизнь запомнил, как мчался отец вниз — эти две или три секунды. Его тело согнулось, полы шинели раздвинулись на ветру, освобождая острые колени, он стал похож на натянутую тетиву лука. Все эти секунды, пока отец мчался вниз с отвесной высоты, его ноги ни разу не вздрогнули, не пошатнулись — словно он только тем и занимался каждый день, что ездил с этой горы. Он промчался, словно стремительно пущенная стрела, вздымая за собой снежный вихрь, потом тетива распрямилась, и отец, высокий и прямой, сделав едва уловимое движение, тормознул возле меня. Отпиленные лыжи выглядели смехотворно на его тяжелых сапогах, ему — высокому, длинноногому, было втрое труднее ехать на таких «коньках», но он проехал, пронесся, как вихрь, с первого раза одолев обрывистую горку.

Высота была все такой же, только теперь прибавилась еще зависть к отцу — вот он сумел, хотя и воевал, и не катался с горок, а я не умею. Но мне не хотелось признать, что отец катается лучше меня, и вместо покорности и послушания ученика мною овладел азарт игрока.

Колени у меня дрогнули, и я снова очутился в снегу.

— Еще раз! — приказал мне отец, но я уже лез на горку сам. Видно, от возбуждения, в третий раз я упал, едва лишь шагнув с обрыва, и меня несло по всей горе, ломая и перекручивая.

— Ничего, ничего! — ободрил меня отец, едва я разлепил глаза. — Ты, главное, спокойней!

После четвертой или пятой неудачи отцовские слова стали доходить до меня. Азарт улетучился, и теперь появилось терпение. Каждый раз, взбираясь на гору, я шептал себе: «Сейчас, сейчас!» — но ничего не выходило и сейчас, я снова рыл носом сугробы и снова иступленно лез на эту гору, готовый в любую минуту зареветь от отчаяния, оттого, что я оказался перед отцом таким слабым и беспомощным.

Наконец отец остановил меня.

— Ты не волнуйся, — сказал он, положив мне на плечо широкую ладонь. — Я тоже, как ты, не мог с нее съехать, когда был мальчишкой. Потом одолел. Надо только выбросить из себя бессилие, понял? Отдохни, наберись сил и полезай снова.

Я чувствовал, как гудят у меня от усталости ноги — даже руки и те устали от этих непрерывных подъемов и спусков, но кивнул и полез снова. И снова свалился.

Стало уже темно, а я все мотался на гору и с горы, пока отец не сказал твердо:

— Ну все! Хватит. Идем домой.

Я снял лыжи, и мы пошли, проваливаясь в снег. По моему мокрому от падений лицу ползли слезы, но я отворачивался, проклиная себя за слабость. «Все! — думал я. — Ведь завтра отец уедет и не увидит, что я могу съехать с этой горы!».

Отец словно услышал меня.

— Ты съедешь! — сказал он серьезно. — Я уверен, съедешь. Тогда напиши мне письмо, слышишь!

Я кивнул головой. Конечно, напишу.

Ясное дело, напишу, какой вопрос, как съеду, так и напишу.

* * *

На уроках Анна Николаевна объявила нам, что сегодня мы вручаем кисеты бойцам. Сердце прямо оборвалось во мне. Анна Николаевна сказала, чтобы мы приходили в школу вечером, а ведь вечером уезжал отец. Что же теперь? Я, конечно, должен вручать кисеты, раз меня выбрали делегатом, да и кисеты эти были моим долгом, но не мог же я не проводить отца.

Я разрывался на части — долг и любовь тянули меня в разные стороны, и ни от того, ни от другого я не вправе был отказаться. Терзаемый, я пришел из школы домой. Увидев мое постное лицо, бабушка тут же выяснила причину, пригорюнилась, поняв, но в это время с улицы вернулся отец, ходивший за какими-то документами.

— Не беда! — сказал он. — Мы с тобой простимся дома, какая разница, на вокзале или дома, а вручить кисеты ты должен сам.

И хотя это было полурешением, скорее даже жертвой со стороны отца, со стороны личного в пользу общественного, я как-то ободрился, и бабушка принялась гладить мне белую рубашку, потому что Анна Николаевна велела нам на всякий случай одеться понаряднее, так как где будет происходить торжественное вручение кисетов, пока неизвестно.

Время клонилось к вечеру, солнце торопливо уходило за тополя, вернулась, отпросившись пораньше с работы, мама, и настал печальный час.

Отец снял с гимнастерки звездчатый ремень, натянул шинель и подпоясал ее этим ремнем. Потом аккуратно застегнул верхние пуговицы, надел шапку.

Я тревожно смотрел на отца и думал, что уже где-то видел это. Конечно, это было уже, когда началась война, я даже не понял тогда толком, что началась война. Просто не очень понимал, что это такое.

Тогда отец был в длинном черном пиджаке и в модной крапчатой кепке с длинным козырьком. На пиджаке у него висел значок ГТО на серебряной цепочке, а за спиной зеленый мешок. Значок отец подарил мне тогда, а зеленый мешок был с ним и сейчас. Он повесил его на одно плечо, и мы присели.

Я видел, как иногда вздрагивало мамино лицо — она хотела плакать, но не давала себе воли, сдерживалась — только вздрагивало лицо, я видел, как комкала платок бабушка и подозрительно сухо смотрела на меня. Один отец был спокоен и невозмутим. Он сидел, задумавшись, потом встрепенулся и встал.

— С богом! — сказала бабушка, и отец наклонился ко мне.

— Главное, одолеть бессилие — всегда и во всем, — сказал он шепотом, чтобы не услышали мама и бабушка. — Главное, почувствовать себя сильным!

Я кивнул ему понимающе, и мы вышли на улицу.

На углу наши дороги расходились. Отцу, маме и бабушке надо было к вокзалу, мне — в школу.

До угла мы с отцом шли вместе, тесно прижавшись друг к другу, он держал меня за плечо. Прощаясь, я обнял отца за шею и снова почувствовал его запах — табак и еще что-то неуловимое, мужское и сильное.

— Ну, сын! — сказал отец и прижал меня в последний раз к колючей шинели. Потом он отстранил меня, повернул к школе и слегка подтолкнул.

Я сделал несколько шагов и обернулся.

Все это было уже один раз. Я стоял с бабушкой возле ворот, бездумно махал рукой вслед отцу, не очень понимая, что началась война.

Сейчас было то же — отец снова уходил на фронт. Но теперь я уже знал, что такое война. Я видел израненный санитарный вагон, желтые пятки убитого бойца, я видел кровь под микроскопом и ел еду, заработанную маминой кровью, я шил кисеты и ел завариху, лишь во сне вспоминая пшенку, я боялся за отца и встретил его, раненого, а теперь провожал снова, второй раз. Провожал — НА ВОЙНУ!

Я обернулся и бросился к отцу. Я тискал его, я обнимал, я жадно вдыхал отцовские запахи, стараясь запомнить их, и едва сдерживался, чтобы не зареветь.

— Ну, ну! — сказал отец. — Смелее! Шагай! — и снова повернул меня к школе, подтолкнул вперед.

Я пошел, часто оборачиваясь и размахивая рукой, пока, наконец, не ответив мне в последний раз, отец с мамой и бабушкой не скрылись за углом.

Я вздохнул.

Теперь мне предстояло выполнить долг.

* * *

Еще издали я увидел у школы черную «эмку». Никогда возле нашей школы не стояли «эмки», и, почувствовав, что это связано с нами, я припустил бегом. Вовка Крошкин встретил меня на пороге. Из-под нежаркого леопардового пальто выставлялась, как и у меня, белая рубаха. Вовка был возбужден, суется, отчего крутил во все стороны своей большой головой.

— Ну, где ты? — воскликнул он, увидев меня, словно уже не чаял со мной встретиться, и тут же, без передыха, продолжал: — За нами машина пришла!

— Видел, — ответил я невозмутимо, будто так оно и должно быть, и пошел в класс, не обращая внимания на суесящегося, взволнованного Вовку.

— А! — сказала, увидев меня, Анна Николаевна. — Вот и наш Коля!

Рядом с учительницей стоял худой, очкастый человек, похожий на какого-нибудь завуча или директора школы, не будь на нем военной формы.

— Давай пять! — сказал военный, протягивая мне руку. — Давай, давай, не стесняйся! Вот тебе наше солдатское спасибо! Тебе и товарищу твоему!

Он кивнул на Вовку, который стоял у меня за спиной. Вовка выдвинулся вперед и сам протянул руку.

— Вот, вот! — сказал офицер, пожимая Вовкину ладошку. — И тебе спасибо! Потому как для солдата первое дело — махорочка!

Анна Николаевна стала стягивать со стола корзину, но офицер не дал ей, подхватил корзину сам, и мы двинулись вслед за ним к «эмке». В коридоре стояла нянечка, держала в руке медный колокольчик, и, когда мы выходили, она махнула нам рукой, отчего колокольчик — громко, на всю школу — звякнул.

За рулем тоже сидел военный, в «эмке» было хорошо — приятно пахло кожей, легко покачивало, и мы не заметили, как машина остановилась.

— Приехали! — сказал военный и добавил вдруг, став строгим: — Приготовьтесь!

Анна Николаевна заволновалась, торопливо скинула с корзины холщовую тряпицу. Кисеты лежали как обычно, только сверху было несколько мешочков, полных табака. Наш класс бурно взялся за дело, ребята откуда-то нанесли табаку, папиросной бумаги и даже просто папирос — наверное, оставшихся с довоенного времени. Правда, всего этого оказалось не так много — на десяток кисетов, не больше. Но все же эти кисеты были не пустые, а с табаком, и ведь дарить такие кисеты приятнее, чем пустые. Шофер помог Анне Николаевне вытащить корзину; вслед за корзиной из «эмки» выскочили и мы, и я почувствовал, как у меня холодеют кончики пальцев.

Я думал, нас привезут к какому-нибудь дому, мы разденемся и в белых рубашках станем дарить бойцам наши кисеты; наверное, и Анна Николаевна думала так, раз велела нам одеться получше, но то, что мы увидели, было совсем по-другому. Совсем.

Слева коричневой стеной был поезд, обыкновенный поезд — одна к одной стояли теплушки. А справа, выстроившись в черные квадраты, стояли бойцы. Правда, у них не было оружия, но во всем остальном это были настоящие бойцы — зеленые шинели, черные сапоги, серые ушанки со звездочками. Звездочки мерцали в свете вечерних фонарей, и казалось, что это сверкают маленькие кристаллики. Перед каждым квад-

ратом бойцов стояли командиры, туго перетянутые ремнями. На командирах были белые полушубки.

Наш очкастый офицер, похожий на завуча или директора школы, подбежал к кучке военных в белых полушубках. Это были тоже командиры, но они стояли не в строю, а отдельно. Наш очкастый держал руку у шапки, что-то говорил, мы не слышали — что, и когда кончил, военный в полушубке, которому он докладывал, пошел к нам.

Приблизившись, он козырнул Анне Николаевне, а потом нам — каждому в отдельности.

— Полковник Николаев! — сказал он и протянул руку Вовке.

— Крошкин! — ответил Вовка и добавил: — Ученик первого класса.

Полковник не рассмеялся, не улыбнулся даже, козырнул и мне, а потом спросил Анну Николаевну:

— Разрешите начинать?

Будто Анна Николаевна была генералом, а мы с Вовкой хоть, может, и не генералами, но важными командирами.

Анна Николаевна кивнула, а полковник Николаев шагнул вперед и крикнул раскатистым голосом:

— Товар-рищи бойцы! К нам приехали представители одной из школ города, где сформирована наша часть. Они вручат вам кисеты, которые сшили ребята этой школы. Скажем же им спасибо!

Настала недолгая пауза, я ждал, что скажет еще полковник Николаев, но он молчал. И вдруг... Вдруг... Я никогда не забуду этого, сколько бы времени ни прошло с тех пор, потому что забыть этого нельзя.

Мгновенье была тишина, и вдруг раздался рокот. Сперва я не понял ничего. А когда понял, заревел. Не выдержали нервы. Над площадкой, где стояли бойцы, неслось раскатистое, громовое, мощное:

— У-у-р-р-а-а-а!

Ура! Бойцы кричали «ура»!

Они кричали это нам. Анне Николаевне и нам с Вовкой, каким-то там первоклашкам.

Я пробовал успокоиться, кусал губы, но слезы лились из меня сами.

Наконец все стихло, и полковник Николаев приказал негромко:

— Действуйте!

Я схватил несколько наполненных табаком кисетов

и бросился к солдатскому строю, на ходу размазывая слезы. Мне было стыдно этих слез, таких неподходящих в торжественную минуту, и я совал кисеты, не глядя на бойцов. Меня похлопывали по плечам, какой-то боец даже поцеловал, а я все шел с опущенной головой, боясь, что солдаты разглядят мои мокрые щеки.

Неожиданно кто-то крепко взял меня за плечо. Я протянул кисет, шагнул было дальше, но крепкая рука не отпускала меня.

Я поднял голову. Отец! Это был отец!

Я снова скорчил гримасу — что-то много сегодня обрушилось на меня событий, — но отец присел на корточки, поближе ко мне, и повторил:

— Ну, ну, сын! Помни, что я сказал!

Я вспомнил. Он говорил про бессилие. Про бессилие и силу, которая лишь одна может одолеть бессилие. Я кивнул, вздохнул облегченно и обернулся. Вовка раздавал уже пустые кисеты, ему помогали Анна Николаевна и тот очкастый офицер.

— Иди — сказал мне отец, как бы снова подталкивая. — Иди, у тебя дело!

Но я не мог шагнуть.

— Иди! — приказал отец.

— Хорошо, — ответил я ему и позвал: — Папа!

— Что? — спросил отец, улыбаясь.

— Покажи, где он?

Отец понял и сунул руку в карман. Он вытащил кисет, и я разглядел на нем свои слова: «Смерть фашисту!».

— Возвращайся! — шепнул я, и отец кивнул.

— Хорошо! — сказал он. — А ты напиши. Напиши, когда не упадешь.

Я кивнул и махнул отцу, отступая. Мне надо было раздать еще целую стопку пустых кисетов.

Я шел вдоль строя, раздавая наши кисеты, и смотрел теперь в лица бойцов. Они кивали, они улыбались, они говорили — «Учись, сынок!», говорили, прочитав мою надпись, — «Не сомневайся, будем бить фашиста!», а я шел и шел, раздавая кисеты, как раздают награды, пока не послышалась протяжная команда:

— По ваго-онам!

Четко, не теряя порядка, солдаты побежали к вагонам, а я стоял с нерозданными кисетами.

Все произошло в считанные минуты — бойцы были уже в теплушках, только командиры в белых полу-

шубках еще стояли возле вагонов. Я, словно замороженный, разглядывал молчаливый эшелон с людьми, готовыми воевать, и очнулся, лишь когда впереди сипло гуднул паровоз.

Командиры взобрались в теплушки, поезд медленно покатился, и я кинулся к нему:

— Дяденьки! — крикнул я, поравнявшись с вагоном. — Кисеты возьмите, дяденьки!

Кто-то наклонился ко мне сверху, подхватил мою пачку и исчез во мраке.

— Все в порядке? — крикнул я, волнуясь.

— Не волнуйся, сынок, — сказал мне солдат из медленно плывущего поезда. — Все в порядке...

Я остановился.

Поезд завернулся дугой, и на последнем вагоне замаячил красный огонек.

Поезд уходил на войну.

Война продолжалась...

И много было впереди всего.

У меня — крутых гор. У отца — трудных дней.

Музыка

У всякого человека есть в жизни история, которая как зарубка на дереве: потемнеет от времени, сровняется, смолой ее затянет, но приглядишься посильней — вот она, тут, осталась, присмотришься еще — и время обратно пойдет, закрутится часовая стрелка против солнца все скорей и скорей...

Вот и у меня есть такая история, и я всегда вспоминаю ее, когда слушаю музыку. Вспоминаю, как учился я играть, да так и не выучился, зато выучился другому, может быть, поважней музыки, выучился... да, выучился драться. Не просто кулаками махать, а отстаивать справедливое дело.

* * *

Началось все это как-то случайно, и никак я не мог подумать, что в этот обыкновенный, простой самый день начинается какая-то там история.

Итак, это было где-то вскоре после войны. Когда я, пернувшись из школы, ел жидкий супчик с перловыми крупичками на дне, позвякивая ложкой, а бабушка и мама сидели по краям стола и участливо глядели на мою макушку, жалея меня за выпирающие из спины лопатки, бабушка неожиданно сказала:

— Ой, Лиза, у Правдиных Ниночка идет в музыкальную школу. Давай и Колю запишем!

Я пошевелил ушами, не придавая этому большого значения и не отрывая взгляда от крупинки перловки на дне. Это меня и погубило.

Я не удосужился посмотреть, как заблестели бабушкины глаза, и был наказан.

А бабушка и мама оживленно говорили надо мной, обсуждая новую проблему, и бабушка, особо склонная к искусству, рисовала живые картины. Я и эти картины пропускал и оторвался от тарелки только раз, когда бабушка вдруг зажужжала.

Я вопросительно поднял голову и увидел, как бабушка, закрыв глаза и отведя в сторону левую руку,

держит в другой руке вилку и жужжит — то громче, то тише. Лицо ее выражало высшее блаженство, и только тут я понял, что она подражает скрипачу и звуку, видимо, скрипки.

Мама сидела напротив бабушки, облокотившись о стол, глядя куда-то вдаль, и лицо ее было задумчиво.

Я смотрел на них, и незаметно ложка упала у меня из рук, произведя чужеродный обстановке звук, сопровождаемый жидким фонтанчиком.

Бабушкина скрипка умолкла, она поглядела на меня и засмеялась. Засмеялась и мама, и они долго хохотали, вытирая слезы и глядя меня по макушке.

Разговоры о музыке поутихли, хотя, как мне казалось, бабушка чаще прислушивалась теперь, когда по радио что-нибудь играли и, бывало, даже останавливалась посреди комнаты с суповой кастрюлей, а на лице ее было отсутствующее выражение.

Я по-прежнему жил своей мелкой частной жизнью заурядного четвероклассника и все еще не мог осознать назревающей угрозы.

Примерно через неделю, когда я, как и в прошлый раз, глотал суп, мечтая о белой булке и раздумывая, почему она называется французской, над моей головой произошел еще один разговор на музыкальную тему.

— Ты знаешь, — сказала бабушка маме, — я была у Правдиных. Они скрипку не рекомендуют. Очень действует на нервную систему.

— А как же? — растерянно спросила мама. — Можно было бы мою шубу обменять. На рынке скрипки есть.

— Да, — сказала бабушка, — но большой размер, взрослые. Для детей нужно поменьше. А купишь маленькую — вырастет, новую надо. Не наберешься...

Они вздохнули.

— А фортепьяно, — сказала бабушка, — легче. Можно с кем-нибудь договориться, к кому-нибудь ходить на игру. И на нервы меньше действует... А то тут эти, как их, пиццикато. Одной рукой все дрожать надо...

Теперь засмеялся я. Я представил себя в черном фраке и с галстучком, как у франта или у офицера в кино. А в руках у меня скрипка, желтая, как сли-

вочное масло. Лизни — вкусное. А я не лижу, стою на сцене и смычком по струнам вожу и такую выскрипывую музыку! А в зале, прямо напротив меня, сидит враг мой первейший — Юрка-рыжий и губы от зависти облизывает.

Ох, этот Юрка!

Трудно, в общем, невозможно установить, почему сложились у нас тогда такие отношения, но Юрка преследовал меня буквально по пятам.

В первом классе мы учились вместе, и по переменкам от нечего делать, а может быть, от холода, который стоял в классе, мы становились возле стенки и толкались. Кто кого отошлет от стенки. Юрка был по-сильней, во всяком случае, мне это так казалось, и всегда всех отшивал от стенки, а меня проще других. Отшивая, он нахально смеялся, и это действовало на меня особенно. Впрочем, всякая очень уж сильная уверенность человека в самом себе, самоуверенность, словом, до сих пор приводит меня в некое смятение и вызывает ответную неуверенность. Не по себе мне как-то становится...

Так вот, Юрка отпихивал всех от стены, мы орали, но уступали ему — и морально и физически. Потом Юрка перешел почему-то в другую школу и на некоторое время исчез с горизонта. Но только на время.

* * *

Между тем музыкальные события развивались, и в один прекрасный вечер, совершив необычайный поступок в своей практике — велел отложить уроки «на потом», — бабушка взяла меня за руку и повела в музыкальную школу.

Идти с ней за руку мне было стыдно, но такая уж существовала у бабушки традиция — водить меня по улице, как детсадовца, — и я шел, озираясь по сторонам, чтобы в решающую минуту, когда из-за угла появится какая-нибудь знакомая личность, вдруг зачихать и полезть в карман за платком или просто напяречь силы и по-сильней рвануть руку, дабы доказать свою хотя и относительную, но все-таки независимость.

А тут произошло все как-то неувовимо. То ли я зазевался, то ли он просто вылез из-под земли, но в тот

самый миг, когда я мирно тащился на бабушкином буксире, передо мной появился Юрка-рыжий...

Я мгновенно освободился от контактов с бабушкой, но это было ни к чему, потому что Юрка уже видел, как меня в четвертом классе водят за руку. Наверное, у меня здорово покраснели уши. Юрка-рыжий уловил мое состояние и, как бандит на безоружного человека, напал на меня.

— Ну, ты! — сказал он и пошел за мной следом. — Ну, ты! — повторил он, нахально улыбаясь, и чуть стукнул по одной моей ноге так, что я зацепился ею за вторую ногу и едва не упал.

Видно, тут-то и была моя главная ошибка. Наберись я тогда храбрости, остановись на мгновение и ткни хотя бы легонько этого Юрку куда-нибудь в грудь, он бы, наверное, отвязался от меня, и весь конфликт был бы исчерпан. Но я не остановился, не ткнул Юрку, даже ничего не сказал ему, а прибавил шагу, даже чуть побежал, догнал бабушку и — о слабость! — сам взял ее за руку, как бы страхуясь от Юркиного нападения.

Юрка-рыжий сухо хохотнул, увеличил дистанцию и пошел за нами, время от времени покрикивая:

— Ну, ты!..

* * *

Музыкальная школа размещалась, где-то в глубинах драматического театра, под самой крышей, и пока мы добирались до нее, я подумал, что театр походит на огромного слона, а мы идем внутри у него, по бесконечным и узким, словно кишки, коридорам. Впечатление это подтвердилось, когда мы нашли все-таки эту музыкальную школу. Она оказалась обыкновенным коридором, перегороженным крашеной фанерой. В этом аппендиксе было полно народу, главным образом взрослые, хотя школа называлась детской. Приглядевшись, я увидел, что взрослые не одни, а все с ребятами или девочками, и все ведут себя так, будто чего-то ждут.

Бабушка нашла местечко, мы устроились, я начал разглядывать коридор повнимательнее и вдруг почувствовал, как снова, второй уже раз сегодня, краснеют мои уши.

В другом углу, положив ладошки на колени, с белым бантом, который был больше ее головы, сидела наша классная тихоня Нинка Правдина, сидела выпрямившись, словно на уроке, серьезная до невозможности, и смотрела на меня, преисполненная чувства собственного достоинства. Даже кнопочный нос с редкими веснушками у нее кверху задирался.

В краску меня бросило сразу от многих обстоятельств. Во-первых, потому, что вся эта история с музыкой казалась мне ненужной и даже постыдной в глазах серьезных людей, и в мои планы вовсе не входило, чтобы кто-то видел меня тут.

Во-вторых, потому, что Нинка Правдина в ту пору казалась мне непревзойденной красавицей, чему не мешали даже ее веснушки. Кроме того, она держалась в школе особняком, даже с девочками не водилась, а потому казалась мне какой-то необыкновенной... Во всяком случае, к ее ответам на уроках, за которые ей всегда ставили пятерки, я внимательно прислушивался, а ее неофициальных высказываний на переменках, равно как и взглядов, пронизывающих до пяток, просто-напросто остерегался.

Ну, а в-третьих, от чего меня бросило в жар, была ее мамаша, которую я как-то видел в школе и которая теперь улыбалась мне и кивала так, будто мы с ней какие-нибудь родственники, и смотрела на меня так поощрительно, будто я уже не просто Колька, а какой-нибудь заслуженный артист республики.

Меня этот взгляд добил окончательно, но в эту минуту рядом кашлянула бабушка, кокетливо поправила гребенку в седых волосах, и, поднявшись, пошла к Нинкиной маме.

Нинкина мама поднялась навстречу бабушке, они заворковали сразу о чем-то, наверное, о своих пиццакатах, присели, а Нинка прямо бабочкой вокруг них кружилась, так и вертелась вся. Бабушка, улыбаясь, поглядывала на нее, гладила ее по волосам, потом посмотрела на меня и сказала Нинке что-то, наверное, сказала, чтобы она пошла ко мне. Я подумал про себя, что уж это дудки, что уж Нинка ко мне не пойдет, очень ей надо, но, странное дело, она, ни чуточки не стесняясь, — а ведь народу в коридоре было порядочно — подошла ко мне, и хоть бы хны!.. Уселась рядышком. Словно мы с ней давнишние дружки.

От Нинки несло каким-то благоуханием, бант у

нее прямо светился белым сиянием, щеки горели, как фонарики, черные глаза блеснули. Нинка чувствовала себя как рыба в воде, будто она тут всю жизнь, в этом коридоре, пасется. Она поглядывала на меня дружелюбно, а я не знал, куда от стыда деться: народ в коридоре скучал, и все прямо таращились на нас, особенно мальчишки. «Во, — скажут, — девчатник нашелся! Девчатник музыкальный!»

Нинка же ничего не замечала вокруг — надо же, я ее такой простой, такой ненадменной первый раз видел! — и говорила со мной о всяких пустяках там, о том, какой в сорок девятом примере по арифметике ответ у меня, и всякое такое.

Она заглядывала мне в глаза, слушала мое бурканье с большим вниманием, все время кивала головой с невиданным бантом, и мне казалось, что и правда это не бант, а огромная белая бабочка.

— А ты не боишься? — спросила меня Нинка и посмотрела с участием.

— Чего? — буркнул я.

— Экзамена.

А я даже и не знал, что какой-то там экзамен будет. Я и не готовился.

— Ну, не бойся! — сказала Нинка. — Это ерунда! Простецкое упражнение. Нужно повторить, что тебе там выстучат. Слух проверяют.

Слух проверяют... Я даже и не думал, что слух еще как-то проверяют. Я же не глухой, чего тут проверять? Но тем не менее что-то мне такое предстояло. Я заволновался еще больше, заерзал на стуле, видно, уши у меня покраснели пуще прежнего, и Нинка, заметив мое волнение, совсем прямо обалдела — взяла меня за руку, пожала ее и сказала:

— Не бойся!

* * *

Мне казалось, — да что казалось, это было точно, — пока Нинка сидела со мной и крутила своим бантиком, все часы остановились. И люди вокруг ничего не делали — только таращились на нас.

И вдруг хлопнула дверь, все повернули головы: из-за двери вышел какой-то мальчишка, а вместо него туда впорхнул белый бант. Я даже не заметил, как Нинка проскочила мимо меня.

Я вздохнул, кровь отлила от моих ушей, и жизнь пошла дальше. Никто в коридоре не пялил на меня глаза, на душе стало очень хорошо, покойно, ко мне пришла бабушка и сказала с укором, будто я в этом виноват:

— А Ниночка уже давно играет!

Я хотел было спросить, на чем это она играет, но раздумал: хватит мне на сегодня этой Ниночки!

За дверью раздалась какая-то барабанная дробь. Через мгновение она повторилась, потом забренчал рояль, дверь распахнулась, и на пороге появилась Нинка, еще более румяная, и бант ее будто светился еще ярче.

Она бросилась к своей маме, они зашушукались там, в своем углу, потом поднялись и подошли к нам.

— Ну вот, — сказала Нинкина мама. — Ниночке прямо там, в комиссии, сказали, что она зачислена.

Бабушка снова стала гладить Нинку по голове, заулыбалась ей, захвалила, а ее мама, радуясь, сказала:

— Но мы не уйдем. Подождем, как у Коляши!

«Ничего себе, — подумал я. — Коляша! Во придумали! Не дай бог, Нинка в классе скажет, изведут! Коляша!..»

Но расстроиться как следует я не успел: бабушка подтолкнула меня в бок и кивнула на дверь. Настала моя очередь проверять слух.

* * *

Я думал — там врачи. Ухо-горло-носы. Ведь слух проверяют! Но врачей никаких не было. Были две женщины средних лет, сильно накрашенные, и возле рояля сидел сутулый старик с курчавыми волосками, торчащими из ушей. Это я, как вошел, сразу заметил, это меня очень заинтересовало, я даже хихикнул про себя. «Вот тебе и ухо-горло-нос», — подумал я. Но старик на меня никакого внимания не обратил, даже не обернулся, не поглядел на миг: может, сразу понял, кто вошел...

Накрашенные женщины, глядя сквозь меня, спросили мою фамилию и спросили, не играю ли я на каком-нибудь инструменте, на что я мотнул головой, хотя в душе опять захихикал и подумал, что надо бы ска-

зять: «Да, играю — на нервах». Ходила тогда у нас такая шуточка. Но ничего я, конечно, не сказал, а крашенные женщины велели, чтобы я повторил то, что мне сейчас простучат.

— Пал Саныч! — воскликнула одна из них, и старик с волосатыми ушами, все так же не оборачиваясь, не проявляя ко мне никакого совершенно интереса, протянул вперед длинную, прямо двухметровую руку со стиснутым кулаком и громко постучал по роялю. В рояле что-то тоненько звякнуло, пружина, наверное, и я понял, что старик стучит не просто так, а со смыслом, с какими-то едва уловимыми перерывами. Будто азбуку Морзе выстукивает.

Я провел кулаком под носом, была у меня такая привычка, вздохнул, подошел к столу и простучал что-то совсем не то. Даже мне это стало ясно. Крашенные тетki нахмурились, но старик, все так же не поворачиваясь, опять протянул руку вперед. И как-то так он ее протянул, что мне показалось, будто он протягивает мне руку помощи, как утопающему.

Я вцепился взглядом в эту длинную, жилистую руку и напряг все свои слуховые возможности. Старик постучал быстро, но как-то вятно, и я тут же, без остановки, повторил то, что он простучал. Точно, без помарок.

Крашенные тетki уже не глазели на меня, но вдруг повернулся старик. Он глядел на меня, щурясь слезящимися белесыми глазами, и словно хотел что-то сказать.

Но он ничего не сказал, а одна из крашенных теток велела мне идти, и я вышел, с красными от слуховой работы ушами, растерянный, не зная, что и подумать.

* * *

В коридоре на меня набросились так, будто я неделю в тайге проплутал, а бабушка, и Нинка, и ее мама не чаяли меня и увидеть. Они смотрели на меня, как на страдальца какого или как на генерала — юного, но седого и израненного всего. Опять я зарделся, как морковь, но они ничего не замечали, — что им полный коридор людей, если я оттуда, от этой комиссии, живым вышел!

Еле они уgomонились, еле отошли: бабушка узнала,

что окончательные результаты всем скажут завтра, и мы пошли домой вместе — Нинка со своей мамой, бабушка и я.

О-хо-хо, этот несчастный день! Мало того, что мы пошли вместе и дошли до самого нашего дома, потому что, видите ли, Нинкина мама решила, что нас с бабушкой надо проводить после такого дела, одни не дойдем, — мало этого, так бабушка еще велела идти мне вместе с Нинкой впереди. Бабушка с Нинкиной мамой шли позади и все говорили о жизни замечательных музыкантов, а я плелся с Нинкой, вогнав голову в плечи, готовый даже за руку с бабушкой идти, только не так, только не с Нинкой.

Я плелся, и все в моей душе переворачивалось от тяжелых предчувствий.

Сейчас, много лет спустя, когда заговорили, наконец, о существовании телепатии, странных, невидимых никому излучений, которые передают на расстояние не только мысли, но и страх и могут, говорят, формировать всяческие предчувствия, я думаю, что вот те два длинных квартала, пока я шел с Нинкой Правдиной, были крупнейшим в моей жизни сеансом телепатии. Странные, невидимые мне, но рыжие, наверное, Юркины волны вызывали во мне совершенно ясное чувство предстоящих неприятностей.

И точно. Есть она, черная магия! Как только мы подошли к углу, где сегодня днем я встретил Юрку, он снова появился как из-под земли.

Глаза у него были круглые. А рыжих ресниц и бровей, тоже рыжих, почти не было заметно.

Он стоял молча, пока мы с Нинкой, а потом бабушка с Нинкиной мамой не прошли мимо него. Потом он так же молча забежал вперед и снова посмотрел, как мы пройдем перед ним. Потом он забежал вперед еще раз и снова пристально посмотрел на нас. И когда я в четвертый раз, окончательно добитый, в паре с Нинкой прошел под его светящимся, радостным и одновременно недоумевающим взглядом, он, остановившись, отпустив нас на некоторое расстояние, крикнул адресованное мне, страшное:

— Хахаль! Эй, хахаль!

Уже потом, дома, шаг за шагом разматывая клубок минувшего дня, я припомнил Нинку в эту минуту.

До сих пор она все пыталась говорить со мной.

Но когда Юрка крикнул это, она сразу замолчала. Не обернулась на рыжего, нет. Она просто замолчала и выпрямилась, и высоко подняла голову. И так посмотрела на меня, словно ничего не было. Ни музыкальной школы, ни экзамена. И будто не трещала она, заговаривая со мной целый вечер.

Нинка посмотрела на меня, будто насквозь прожгла. И тошно мне стало так!

* * *

На другой день, вернувшись из школы, я застал бабушку очень раздурманенной. Она хлопотала у печки, в комнате вкусно пахло ржаным пирогом с картошкой.

Бабушка моя была мастерица по части всякой выпечки, в хорошие годы, когда водилась мука, всех она удивляла неиссякаемым умением стряпать какие-то вкуснейшие коржики, пышки, пончики и пирожки.

Гремя противнями, сложив морщинки на переносице от важности производимого дела, взмахивая куриным крылышком, окунутым в маслице, бабушка напоминала сталевара, выдающего плавку, где с горячим металлом не шути — обожжет или переварится. В такие минуты она была сердита, сосредоточенна, и тут уж лучше к ней не подступаться!

Из всех своих произведений больше всего любила бабушка печь пирог — какой хошь, на усмотрение и на требование — хоть с морковкой, с картошкой, хоть с нежнейшей рыбой или мясным фаршем, заправленным как следует лучком, с совершенно особой, тающей во рту поджаренной верхней корочкой.

Пирог был для бабушки высшей точкой ее душевного вдохновения, как, скажем, контрапункт для композитора. Перед праздником, либо перед другим каким торжественным событием бабушка сначала начинала охать и волноваться, и когда волнение достигало накала, она упрекала себя: «Что же это я?» — и начинала хлопотать у печки.

В то время, о котором идет речь, пирогов с тающей верхней корочкой бабушке печь не приходилось, но она не унывала, доставала в обмен на довоенные жакеты или стоптанные туфли ржаной муки, но себе не изменяла. Ведь не может же композитор перестать сочинять музыку. Даже в самое трудное время...

Когда я вошел, бабушка стряпать уже заканчивала, строгость сошла с ее лица: она улыбнулась мне и заторопила, чтобы я собирался в музыкальную школу за результатом.

В коридоре, перегороженном крашеной фалерой, было пусто, на стенке висели листки с фамилиями принятых учиться музыке. Бабушка велела мне быстренько найти себя в этих списках, я посмотрел, но не нашел, посмотрел еще раз и снова не нашел. Бабушка рассердилась, — экая я бестолковщина! — вытащила футляр, обмотанный тонкой резинкой, нацепила очки и сама стала читать списки, поводя головой слева направо, потом быстро налево и снова направо...

Бабушка читала не торопясь, основательно, боясь упустить строчку, — ведь каждая строчка была целой фамилией! Листки кончились, бабушка долго смотрела на стенку рядом с последней строкой, и что было в душе у нее в этот миг, одному богу известно!

Она постояла так недолго, потом, решившись на что-то, взяла меня крепко за рукав и, подтолкнув вперед, вошла в комнату, где я вчера так неудачно стучал по столу.

В комнате, будто никуда и не уходила со вчерашнего дня, сидела одна из крашенных теток. Едва она подняла голову, как бабушка стала быстро-быстро говорить. Я никогда не видел, чтобы она так быстро говорила — как Синявский по радио. А бабушка тараторила, и так это у нее здорово получалось, я диву давался.

Конечно, она сказала, что никак невозможно, чтобы я не учился музыке, что музыка — наша семейная страсть, что бабушка, она сама из простых, из пролетариата, но всю жизнь мечтала, чтобы внук умел играть при нашей Советской власти на музыкальном инструменте.

— Видите ли, уважаемая...

— Пелагея Васильевна, — торопливо, будто угодить хотела, сказала бабушка.

— Видите ли, уважаемая Пелагея Васильевна, мы бы зачислили вашего ребенка, взяли бы, как говорится, сверх нормы, но увы... У него нет слуха!

Только что бабушка угодливо подсказывала этой крашеной тетке свое имя-отчество, а тут ее словно перевернуло. Она выпрямилась, разгладила морщинки на

переносице, поджала губу, голову набок наклонила и спросила с вызовом, будто ее только что оскорбили:

— То есть как это слуха нет?

И покрутила головой, будто сказать хотела: ну и ну, дескать, мухлюете тут немилосердно! Тетка была хоть и накрашенная, но в душе хорошая. Она принялась объяснять, говорить, что слух — это очень важно, хотя и его можно выработать, беды большой нет, тренировка в музыке тоже очень важна, и посоветовала прийти, когда будет конкурс в группу народных инструментов.

— Это на балалайке-то? — возмутилась бабушка и потянула меня к выходу. — Ну уж увольте, милочка!

На пороге бабушка остановилась на минуту, обернулась, задохнулась от возмущения и, покраснев, сказала тихо, будто эта тетка в чем-то виновата:

— Мы же войну вынесли... А вы — балалайку...

О, эта музыка! Из-за нее и я, поддавшись настроению бабушки и мамы, пришел в уныние, будто завалил невесть какой экзамен, будто я и в самом деле виноват, что нет у меня слуха.

Вернувшись домой, мы жевали без всякого вкуса поджаристый бабушкин пирог, испеченный к несостоявшемуся событию, захлебывали его крепким чаем и молчали опять, потому что говорить было нечего. Что тут скажешь?

Где-то в душе я, потихоньку остывая, успокаивался, думал, что в общем-то ничего страшного не случилось, какой в самом деле из меня музыкант, вот Юрке бы как следует надавать за «хахаля» — это дело, а с музыкой — ну что, переживем, пусть Нинка Правдина играет, это вполне для нее подойдет...

И только я подумал про Нинку, ну вот только-только, как в дверь постучали, и вошли сначала Нинка, а за ней ее мама.

Лица у них были встревоженные. Оказалось, они все уже знали, потому что были вслед за нами в музыкальной школе. Сразу же, с порога еще, Нинкина мама стала утешать нас, говоря, что все это ерунда, что просто большой конкурс в музыкальную школу, а слух — ведь это не беда, его можно развить упражнениями.

— Да, да, — сказала бабушка невесело, — мне ведь и заведующая это же говорила, да что толку... Как же этот слух развивать, если Колю не приняли...

Все задумались ненадолго, а я посмотрел на Нинку. Она разглядывала нашу комнату, потом увидела фотографию на стене, где я маленький, голышом, да еще с бантом на голове, как девчонка, поняла, что это я, ухмыльнулась, взглянула на меня искоса. Я покраснел слегка, а Нинкина мама сказала:

— Вы знаете, можно же частно договориться. С каким-нибудь музыкантом. У вас есть знакомые музыканты?

Бабушка глянула на нас с интересом, а мама даже в ладоши хлопнула.

— Зинаида Ивановна! — воскликнула мама.

Бабушка надменно повела плечами, покачала головой.

— Зинаида Ивановна! — горько усмехнулась она. — Зинаида Ивановна в кинотеатре играет. Тоже мне музыкантша!

— Не страшно! — обрадовалась Нинкина мама. — Вовсе не страшно! Главное, музицирует, а раз музицирует — научит!

* * *

Зинаида Ивановна была дальней нашей родственницей, такой дальней-предальной, что о ее существовании вспоминали, только встретив на улице или же придя в кино, где она играла перед началом вечерних сеансов.

Меня, понятное дело, на вечерние сеансы не пускали, поэтому я Зинаиду Ивановну представлял себе смутно, очень даже плохо представлял.

В кино на переговоры с дальней родственницей мама и бабушка собирались тщательно, волнуясь, потому что, по их представлениям, это был последний шанс сделать из меня великого — ну, не великого, так по крайней мере крупного — музыканта.

Зинаида Ивановна работала в «Иллюзионе», самом шикарном кинотеатре. Двери в фойе там были стеклянные, и сквозь них можно было бесплатно послушать музыку, которую исполнял оркестр.

Мы пришли пораньше, прослушали сквозь стекло всю программу, а когда зрителей пустили в зал и оркестранты стали собирать на сцене свои трубы, бабушка попросилась у контролерши пройти в фойе.

— В оркестр, — сказала бабушка, — к Зинаиде Ивановне.

Мы прошли в фойе все втроем, и бабушка с мамой отправились на сцену, куда-то за кулисы. Я стоял, как будто какой-нибудь безбилетник, и каждый киношный работник, проходивший по фойе, мог меня турнуть.

Наконец появилась Зинаида Ивановна. Она шла, будто русалка, в чешуйчатом платье до пола, круглолицая, и в чуть выпяченных губах у нее ловко сидела папироска. Росту Зинаида Ивановна была весьма маленького, гораздо ниже мамы и бабушки, но неотразимое ее платье все-таки заслоняло их, делало сразу невидными какими-то и тусклыми.

Маленькими, неторопливыми шажками, глядя прямо в глаза, Зинаида Ивановна подошла ко мне и вдруг потрепала по щеке.

— Уй-тютюлечки! — сказала она. — Какой большой мальчик! И учится, наверное, хорошо?

— Хорошо, хорошо, — торопливо подтвердила бабушка, и в голосе ее ни чуточки не было от того пренебрежения, с каким говорила она вчера о Зинаиде Ивановне.

— Ах, музыка! — воскликнула в это время Зинаида Ивановна, закатывая к потолку маленькие глазки и всплескивая ручками. — Ах, музыка! Я вас понимаю!.. Ну что же, что же... Приходите! Я ваша!..

— Когда же? — спросила мама, как девочка, стоявшая все время в тени.

— Хоть завтра! — сказала Зинаида Ивановна, но тут же спохватилась. — Нет, завтра я не могу... Послезавтра... Впрочем, давайте на той неделе, в понедельник...

* * *

— Ишь ты, стрекоза, — ерепенилась бабушка, когда мы шли домой. — Завтра, послезавтра, в понедельник. — И тяжело вздыхала: — Будет ли какой от нее толк?

А мне почему-то вспоминалось серебряное, в чешуйку, платье Зинаиды Ивановны, и казалось, что толк будет...

На первый урок мы пошли вместе с бабушкой, и Зинаида Ивановна, уже без чешуйчатого платья, поила нас чаем, а потом долго музицировала.

Она играла польки и вальсы, и бабушка, смягчаясь, молча, понимающе кивала головой, когда Зинаида Ивановна брала высокие аккорды. Бабушке первый урок очень понравился, она в корне пересмотрела свое отношение к дальней родственнице и полностью доверила меня ей.

Теперь я ходил на музыку уже один и чаем Зинаида Ивановна меня не поила, поглубже запахивалась при моем появлении в засаленный стеганный халат и садилась рядом со мной к инструменту.

Она учила меня для начала, как надо держать руки, как нажимать клавиши и в то же время жать на педали.

Жать не педали мне особенно нравилось, это напоминало автомобиль — сцепления и тормоза, — и, увлекаясь этим, представляя, что я шофер, а вовсе никакой не музыкант, я забывал об остальном.

Зинаида Ивановна обреченно откидывалась на высокую спинку стула, стирала пот со лба, тяжело дышала, по лицу ее ползли красные пятна, а я сидел, опустив голову, сознавая собственное ничтожество, и боялся взглянуть на учительницу.

Наконец Зинаида Ивановна отходила, лишь в голосе ее слышалась какая-то тугость, будто трудно ей было мне все наново объяснять, и мы начинали опять.

Отметок, ясное дело, Зинаида Ивановна не ставила; бабушка, пристроив меня к музыке, успокоилась, решив, что теперь, видно, надо ждать; мама с утра до позднего вечера была на работе, так что о моих музыкальных успехах знали лишь мы — я и моя учительница. А дома на вопрос: «Ну как там музыка?» — я непринужденно отвечал: «Все в порядке».

Не помню точно, какое упражнение мы разучивали с Зинаидой Ивановной первым. По-моему, это было упражнение № 24, какая-то очень простенькая музыкальная фраза. Нужно было ударить несколько раз разными пальцами по клавишам в определенной последовательности. Выходило упражнение № 24.

Видно, комиссия в музыкальной школе кое-что понимала все-таки: запомнить на слух упражнение это я никак не мог, поэтому после нескольких сеансов мучений я попробовал запомнить, какими пальцами куда надо было жать.

Но запомнить это тоже оказалось непросто, что-то я там такое путал, и Зинаида Ивановна, видно, отчаяв-

шись, велела мне поучиться писать музыкальные ключи.

— Вот посмотри, — сказала она и ткнула пальцем в ноты. — Ты, конечно, знаешь, что такое музыкальный ключ?

Я кивнул.

— Вот и напиши целую страницу ключей.

Придя домой, я быстро написал по памяти страницу ключей в тетради, чтобы поскорее выбросить из головы эту музыку и заняться своими делами.

На другой день по дороге к Зинаиде Ивановне мне попался Юрка-рыжий. Я шел с нотной папкой на веревочке, с довоенной еще папкой, которую невеста где раскопала бабушка, а Юрка стоял на тротуаре, пристально, как удав, глядя на меня.

Я сжался весь, готовый к схватке, но Юрка пропустил меня мимо, не тронув пальцем.

— Ну, музыкант! — крикнул он вслед то ли с удивлением, то ли с угрозой. — Ну, музыкант!

Трепеща, я пришел к Зинаиде Ивановне. В ее комнате гремела музыка, соревнуясь с отчаянным мужским голосом. Я остановился в нерешительности, взявшись за дверную ручку, не зная, входить или лучше не надо. А рояль гремел так, что, казалось, у него вот-вот струны лопнут:

Мой совет до обручень-я
Не цалуй я-го!
Не цалуй я-го! —

орал мужской голос.

Аха-ха-ха-ха!
Ха-ха-ха-ха!

Я даже вздрогнул от этого хохота, приоткрыл дверь и увидел Зинаиду Ивановну в том же стеганом халате, но не так, как обычно, глубоко запахнутом. У рояля, облокотившись, стоял мужчина с галстуком-бабочкой. Я сразу подумал, что ему бы больше подошло грузить на пристани кули с картошкой или молотобойцем работать с такой пунцовой физиономией, но Зинаида Ивановна не дала мне разглядывать своего певца, прервала музыку, вышла в коридорчик и, радостно улыбаясь, будто первый раз меня видела, спросила:

— Ну что ключи?

Я достал из папки тетрадку. Странно всхлипнув, Зинаида Ивановна побежала в комнату, и я услышал, как она кричала там, за дверью, смеясь:

— Ты смотри, какие ключи!

Урока у нас не было, я ушел переписывать ключи, потому что они были у меня, целая страница, животиками направо, совсем в другую сторону.

Возвращаясь домой, я снова увидел Юрку. Он стоял на том же месте, будто никуда и не уходил.

— Эй, ты, — сказал он мне, когда я поравнялся, — эй, ты, музыкант, сыграй что-нибудь.

Домой я пришел с синяком и с отвратительным настроением, потому что противопоставить синяку ничего не смог.

* * *

С этих пор начались мои настоящие муки. Каждый раз, когда я шел на музыку, меня встречал Юрка. Я пробовал изменить маршрут, ходить другой улицей, но Юрка ждал меня и там, будто у него было сто глаз.

Он пинал меня — не сильно, нет, легонечко, этак подпинывал, едва-едва, или просто шел сзади, и это было еще хуже. Содрогаясь всей душой, униженный, запрятав куда-то глубоко в себя собственное достоинство, я шел, всей спиной ощущая Юрку, каждую минуту ожидая, что он ударит сзади. Но Юрка не ударял, он шел за мной с полквартала, потом отставал, и этот момент, когда он останавливался наконец, я ощущал почти физически.

Вздохнув, не оглядываясь, я прибавлял шаг, и до самых ворот Зинаиды Ивановны мне было тошно... Каким униженным я чувствовал себя! Все кипело во мне, кулаки сжимались сами собой, скулы ходили желваками — так ненавидел я Юрку и презирал себя. Героические картины сменялись одна за другой в моем воображении: то мне казалось, что я знаменитый боксер, и вот мы, уже взрослые, встречаемся на улице, и я бью его, легонько так бью одной левой прямо в подбородок, а он катится кубарем от моего хука; то мне виделась война — я остаюсь подпольщиком в нашем городе, а Юрка, ясное дело, становится предателем, и я мщу ему — не только за себя мщу, но, конечно, и за себя, — хватаю его темной ночью на улице и веду на партизанский суд...

Но между видениями я снова оказывался на улице, шагая к Зинаиде Ивановне с этой проклятой музыкальной папкой, и прохожие толкали меня и возвращали к действительности, к Юрке, которого я встречу не когда-то там, а который сейчас стоит посреди дороги на пути домой.

Я стучался в дверь к Зинаиде Ивановне, и новые мучения наваливались на меня.

Музыкальные ключи кое-как нарисовать мне удалось, но занятие, пропущенное из-за этого «ха-ха-ха-ха», из-за этого сатаны с бабочкой-галстуком, немедленно сказалось: я снова забыл, куда каким пальцем жать в 24-м упражнении.

Зинаида же Ивановна, решив, видно, что она достаточно помаялась со мной и уж что-что, а 24-е упражнение я должен знать назубок, заупрямилась, требуя от меня упражнение, и не желала показывать, куда когда надо нажимать.

Это занятие было переломным в моей музыкальной биографии.

Я пыхтел, обливаясь потом, краснел с макушки до пяток, нажимал клзвиши, лихорадочно пытаюсь вспомнить, как это делается, но рояль издавал какие-то чужеродные звуки, вовсе не напоминавшие музыку.

В тяжелые минуты всегда приходят какие-то странные, ненужные мысли. Отчаявшись, опустив руки, я вспомнил вдруг давнее свое видение. На сцене, перед толпой народа стою я в черном фраке с галстучком, как у того «ха-ха-ха-ха», который приходил к Зинаиде Ивановне.

Я глянул вперед, перед собой. В блестящей стенке рояля отражался жалкий шпингалет со встрепанными волосами, в залатанной на локтях курточке, и курносый вдобавок...

Мне стало горестно, так горестно, что захотелось не то что зареветь, завывать волком — протяжно и глухо, от отчаяния, оттого, что я такая беспутная, ни с чем не сравнимая бездарь!

Я сидел перед очами суровой Зинаиды Ивановны, отражаясь жалким, всклокоченным существом в зеркальной стенке рояля, чувствуя все свое ничтожество, готовый вдарить кулаком по этим проклятым, забывающимся клавишам, как вдруг Зинаида Ивановна, моя дальняя родственница, сделала такое, чего я никогда, никогда в жизни не забуду.

Краснея лицом, светлея глазами, запахивая потуже халат, она встала и прошептала, отворачиваясь, искренне возмущаясь:

— Какая бесталанность!

Гнев душил Зинаиду Ивановну. Еще бы, потрачено столько сил, столько энергии, в конце концов столько родственных чувств — и никакой отдачи. Полная пустота. Полная неспособность. Не сдержав себя в минуту гнева, она прошептала этот свой страшный приговор, и я услышал его, услышал!

Все вскипело во мне. Сначала, отчаявшись, я опустил голову, готовый вскочить и убежать отсюда, уйти навсегда, чтобы не видеть этого белозубого оскала проклятых клавиш. Но уйти — означало сдаться.

Нас было трое в комнате: Зинаида Ивановна, я и рояль. Сумерки вползли в окна, было безумно тихо, и вдруг — вдруг я почувствовал себя легким и свободным, будто я, как лягушка-царевна, сбросил свою лягушечью шкуру и стал другим, совсем другим человеком.

Мне стало просто и ясно, и как-то особо, со всеми деталями я увидел все, что было вокруг. Зинаиду Ивановну, и каждое пятно на ее туго запахнутом халате, и ее красное лицо, и рояль, смеющийся во весь рот надо мной, и оконный переплет — черный крест на фоне синющего неба, и коричневый — именно коричневый! — горшок на подоконнике с причудливо прогнутым стволиком герани. Мне почудилось, что я даже слышу терпкий запах гераниевых листьев.

Я выпрямился, посмотрев на себя в стенку рояля, посмотрев себе в глаза, и смело положил руки на клавиши. Они прошлись по белым зубам рояля быстро и непринужденно! Это было упражнение номер 24!

Я сыграл еще раз, глядя на клавиши, и еще раз — уже не глядя на них.

Торопливые шаги прозвучали у меня за спиной и умолкли. Шаги говорили. Я понял, что они не удивлены, нет, они поражены.

А я играл и играл упражнение номер 24.

Молча, ничего не говоря, Зинаида Ивановна взяла меня за руки, отвела их в сторону и сыграла какую-то новую фразу. Я тотчас повторил ее. Тогда она сыграла третью, и я опять поразил ее. Я сыграл все три фразы подряд, сначала упражнение 24, а потом два новых.

Зинаида Ивановна вздохнула, погладила меня по голове и сказала:

— Вот видишь...

Будто я неслух, который долго упрямылся, а вот теперь сдался, уступил. Будто все, что случилось сегодня, давно уже быть могло. Ничего она не поняла, Зинаида Ивановна.

А я сидел, свесив руки, как знаменитый пианист после долгой игры, и мне казалось, что меня кто-то потряхнул. Что внутри у меня пусто.

Я медленно оделся, взял в руки свою нотную папку и вышел на улицу. Зинаида Ивановна удивленно глядела мне вслед.

Впереди, где-то по дороге домой, меня ждал Юрка. А двух побед подряд не бывает. Не осталось у меня на Юрку сил...

Он ткнул меня куда-то в грудь, и хотя было совсем не больно, слезы застлали улицу, ставшую расплывчатым, мутным пятном.

* * *

Но настает в череде тяжких дней, сплошных неудач и неприятностей минута, когда вы вдруг улавливаете еле слышные шаги приближающихся перемен. Все вокруг по-прежнему — одни неприятности. Но вы ощущаете, вы наверняка знаете, что скоро, скоро — не сегодня, так завтра, не завтра, так на той неделе — вдруг случится что-то невероятное. И вам уже легче. И неприятности, которые по-прежнему не дают житья — не такие уж неприятности. Вы воспринимаете их как временные осложнения, как грипп, например, от которого никуда не денешься, но скоро — вы это знаете наверняка, — скоро он пройдет...

Так было и со мной на другой день. После школы опять предстояла дорога к Зинаиде Ивановне, и Юрка посреди этой дороги, урок музыки, обратная дорога и вторая встреча с Юркой.

Но в школе, вспоминая время от времени о предстоящем, я не сжимал кулаки в лютой ненависти к Юрке, не вздрагивал, стыдясь сам себя. Что-то должно было случиться скоро. Это неизвестное что-то вселяло в меня столько уверенности и покоя, что даже когда Нинка, ощутив мой взгляд, опять посмотрела на меня блестящими своими глазами, я не отвернулся, как

обычно, а принял этот взгляд. Мне стало тепло отчего-то там, внутри, и чувство ожидания выросло, окрепло. Нинка посмотрела на меня как-то особенно, и я понял это.

С того дня, когда мы вдвоем попались на глаза Юрке и он обозвал меня хахалем, Нинка как бы отодвинулась от меня. Нет, в общем-то ничего не случилось, просто она вела себя так же, как до встречи в музыкальной школе, где она проявила к моей особе ошеломившее меня внимание.

Да, ничего не случилось, а все-таки случилось.

Не зря же, забыв об уроке, я смотрел часто на Нинку, на ее бант. Нинка чувствовала мой взгляд, но не вертелась, зная, что я обращаю на нее внимание, а лишь изредка оборачивалась и взглядывала на меня, нет, не на меня, а в меня своими черными смородиновыми глазами.

Я вздрагивал, отворачивался и ждал, тщетно ждал, когда Нинка, как тогда, перед музыкальным экзаменом, подойдет ко мне.

Но она не подходила. И я понимал, что музыка, которой я усердно внимал на уроках Зинаиды Ивановны, — это единственная тропинка, по которой может подойти ко мне Нинка...

А сегодня... сегодня она посмотрела на меня удивительно!

Правда, больше она не взглянула ни разу в мою сторону за весь день, но это было неважно! Зато все перемены Нинка смеялась и бегала с девочками. Это было так не похоже на нее, неприступную классную королеву, которой и девочки-то стеснялись. А на большой перемене случилось вообще невероятное.

У нас в классе стояло пианино, старенькое и обшарпанное. На уроках пения мы пели бодрые песни, а пианино, дребезжа, вторило нам под руками учителя. Иногда кто-нибудь из ребят на перемене откидывал с шумом крышку и стучал по клавишам или ездил по ним кулаком. Но это случалось редко, дежурные тотчас хватали «музыканта» и выдворяли его за дверь.

Когда в большую перемену Нинка села к пианино и открыла крышку, по привычке кто-то из дежурных завопил, но она даже не повернула головы в его сторону, а девочки, с которыми она бегала сегодня, окружили пианино плотным кольцом. Дежурные отступились, а Нинка заиграла.

Я помнил, бабушка говорила когда-то, дескать, Нинка играет, но я подумать не мог, что она умеет так играть! Нет, не чирика-пырика, не пресловутое упражнение номер 24 играла Нинка. Старенькое, обшарпанное пианино стонало всеми струнами, рождая удивительные звуки. Я не знал, что играет Нинка, но это походило на море. Волны то накатывались на меня, сверкая брызгами, то отступали, успокаиваясь, и все это было в музыке.

Девчонки, окружившие Нинку, стояли открыв рот, замерли привередливые дежурные, и даже самые шептуньи мальчишки не лезли и не орали. Все слушали музыку, и всем, всем, ничего не понимавшим в ней, она нравилась.

Нинка играла, а волны все катились, и вот море уже бушевало. Меня будто мороз по коже продрал — стало холодно и торжественно. Я видел только Нинкин венчик, сделанный из косички, ее корону, и Нинка, конечно, не смотрела на меня, но я знал, я чувствовал, что эта удивительная и неожиданная музыка имеет отношение ко мне.

Волна благодарности к Нинке захлестнула меня, закружила голову. Мне захотелось сейчас, сию минуту сделать что-нибудь удивительное, достойное, рыцарское, чтобы и Нинка поняла мое к ней отношение, и, как только она встала, перестав играть, я, краснея, подошел к пианино и одним духом выпалил все, что знал: упражнение номер 24 и два других новых упражнения. Я сыграл их на одном дыхании, без остановки, и, ясное дело, вышла какая-то мешанина.

Кто-то из мальчишек хлопнул меня по плечу, крикнул в ухо модную в классе присказку: «И ты, брутто, сказало нетто, завернулось в тару и упало!»

Смешная поговорка, которой я не придавал раньше ровно никакого значения и вместе со всеми потешался этой забавной нескладухе, вдруг приобрела для меня особый смысл.

Я зарделся.

Нинка играла хорошую музыку, а у меня вышло так, будто я ее передразнил своей ерундой. После нее мои упражнения прозвучали резко и странно и совсем нестати.

Я готов был сгореть со стыда, но все-таки набрался сил и взглянул на Нинку. Она стояла совсем рядом со мной, а смотрела в сторону. Туда и смотреть-то нечего

было — пустой угол, а она смотрела. Просто отворачивалась.

Мне стало опять горько.

Протарахтел в коридоре звонок, начался урок, а я все не мог прийти в себя. Было так хорошо, и вот...

Ах, как клял я себя, как проклинал, какими последними ругал словами! «И ты, брутто, сказало нетто, завернулось в тару и упало!» — дурацкая эта прибаутка вертелась в голове, и я представлял сам себе то брутто, то нетто, которое заворачивается в какую-то тару и падает с позором. Было тошно. Мне казалось, что все смотрят на меня, и я сидел, уткнувшись в тетрадь. Наконец мне стало неважно, и я поднял голову, чтобы попроситься выйти, спрятаться в уборной, сунуть там голову под холодный кран. Я поднял голову, и глаза мои сами собой посмотрели на Нинку. Я думал, что увижу опять ее бант, но нет, я встретился с ее смородинами.

Она смотрела на меня и улыбалась, ничуть не сердясь.

Я повел плечами: тяжелый груз свалился с меня. Я понял, что мне опять хорошо и что радостное предчувствие доброго возвращается снова.

Я засмеялся тихонько и вдруг с неожиданной остротой, с легкостью и удивлением, что так долго не мог догадаться о таком простом, подумал, что ведь я ни в чем, совсем ни в чем не виноват перед Нинкой. Просто она музыкант, а я нет и никогда им не стану.

Да, да, да! Сегодня были две музыки. Нинкина и моя. Какие там две — одна, Нинкина. То, что бренчал я, — никакая не музыка, и музыкой никогда не станет. Дело все в том, что музыка — не для меня, и это яснее ясного.

Я припомнил свои муки у Зинаиды Ивановны, тот день преодоления, когда я сыграл проклятое упражнение номер 24 и еще два. Казалось бы, мне не хватало логики. Решиться на это, когда вроде бы телега сдвинулась с места.

Нет, я не буду учиться музыке. Я не нужен ей. Нинка доказала сегодня, что музыка — это то, что выбирает человека само. Не человек выбирает музыку.

Диким напряжением, оскорбленным достоинством я преодолел музыку у Зинаиды Ивановны. Я собрался, чтобы сыграть, и сыграл. Но я не сделал ничего, кроме

того, что собрался и соединил все, что я уже умел, уже должен был уметь делать.

Это был первый шаг. Важный, но первый.

Решает все последний шаг. Я сделал второй.

Я улыбался смородиновым Нинкиным глазам и точно знал, что это она, а не я, будет играть на сцене.

И будет шуметь море. То приливать бешеными волнами, то отступать, успокаиваясь...

* * *

Вместо музыки в тот день я хотел пойти в кино. В «Иллюзионе» крутили «Железную маску», и хотя я смотрел ее уже два раза, замирая от страха, ну что ж, придется смотреть еще раз. Все решено!

Великое дело, если человек решил что-нибудь для себя! Решил — и ни в какую, хоть лопни, не переменит своего решения. А если переменит — грош ему цена.

Но «Железную маску» посмотреть еще мне не удалось. Бабушка сказала, что она идет по каким-то своим делам и как раз в мою сторону, так что мы пойдем вместе. Делать было нечего, я взял папку, и мы поплелись.

Стояла весна, сугробы походили на губку, из которой текли грязные ручейки. Солнце серебрило окна старинных деревянных домов, на печных трубах и коньках крыш сидели, мурлыча, разномастные кошки.

Мы шли рядом, и сколько бабушка ни пыталась взять меня за руку, я никак не давался.

Ах, бабушка! Она никак не хотела увидеть, что четвертый класс — это не первый, что время идет и люди растут, все люди без исключения! А кроме того... Кроме того, это она, она, моя дорогая бабушка, была виновата в том, что в тот день, когда мы шли на экзамен в музыкальную школу, Юрка увидел меня на постыдном «прицепе» — бабушка вела меня за руку.

Не будь этого, думал я, может, и ничего, обошлось бы, и Юрка не лез бы ко мне... Одно на другое, и вон что накрутилось...

Мы шли в сторону, где жила Зинаида Ивановна, и по дороге нам, конечно, попался Юрка. Он не задел меня, не рискнул, потому что я шел не один, только посмотрел на меня презрительно и скривился...

Бабушка зашла со мной к Зинаиде Ивановне, и та похвалила ей меня за успехи; они поболтали, бабушка

ушла, а Зинаида Ивановна обернулась ко мне, запахивая халат и говоря:

— Ну-с... Ну-с...

Я все стоял, не раздеваясь, с папкой в руке. Сердце мое колотилось. Я должен был сказать все Зинаиде Ивановне. Сесть к роялю и снова стучать эти упражнения было бы против совести, против моего решения, против второго шага. «Все решает последний шаг, — думал я, — надо, надо, надо сделать его».

Я набрался духу и сказал, глядя в глаза Зинаиде Ивановне:

— Вы знаете, я не буду ходить к вам больше... Ведь из меня же не выйдет музыканта...

— Что ты, что ты! — закричала Зинаида Ивановна.

— Ну не выйдет! — твердо сказал я. — Вы же сами знаете...

Зинаида Ивановна замахала руками, запричитала что-то, но вдруг успокоилась.

— Попей тогда чаю, — сказала она и пошла на кухню.

В пальто и с папкой в одной руке я попил чаю. Зинаида Ивановна грустно смотрела на меня и молчала, думая о чем-то своем. Когда я встал, она вдруг подошла ко мне, погладила по голове и сказала дрогнувшим голосом:

— Я не знала, что ты такой... А я, вот видишь, играю в кино...

Она засморкалась, я внимательно посмотрел на нее. Тогда, в кинотеатре, когда я увидел ее в первый раз, Зинаида Ивановна походила на русалку в своем блестящем, чешуйчатом платье. С тех пор я много раз смотрел на Зинаиду Ивановну. Никакая она была не русалка. И лицо у нее было нездоровое, дряблое. И на щеках у нее было много старых, больших веснушек...

Мне стало жалко ее, я торопливо сказал, что буду заходить просто так... пить чай. Зинаида Ивановна качнула неопределенно головой: мол, хорошо, но не верю.

Я торопливо выскочил на улицу и в гулкой весенней тишине снова услышал, как где-то совсем близко слышатся шаги перемен...

Я посмотрел вверх на небо и провалился взглядом в бесконечную синеву. У неба не было дна, как не было конца у жизни и у всего, что будет, что придет скоро...

Сердце стучало, голова кружилась, грудь расширяло счастье. Я шел нараспашку, красный галстук трепы-

хался на плече, как огонек, я шагал, ни на секунду не вспомнив о Юрке, как вдруг кто-то взял меня за рукав.

Я обернулся. Я обернулся и засмеялся.

Это была Нинка. В руке она держала авоську с хлебом. И еще она улыбалась.

— Ты с музыки? — спросила она, и я кивнул.

— А ты за хлебом ходила? — спросил я, не подумав, что как-то уж слишком далеко она ушла за хлебом, и теперь кивнула Нинка.

Мы пошли рядом, не зная, что сказать.

Мокрый снег кашицей разъезжался под ногами, текли синие ручьи, на крышах сидели кошки.

Мы шли, и я ждал, когда что-нибудь скажет Нинка, но она молчала, а я не знал, что говорить. Но даже вот так, молча, было хорошо идти рядом с ней, жмурясь от зайчиков.

Когда на экзамене в музыкальной школе она подошла ко мне в первый раз и говорила, говорила что-то, мне было ужасно неудобно. Казалось, весь коридор смотрит на нас, и я замечал эти взгляды. А сейчас мне было все равно, кто на нас смотрит.

Мы шли, иногда нечаянно касаясь друг друга, и все молчали. Нинка была в ботинках с новыми калошами, калоши сверкали на солнце, пускали зайчики, и мне казалось, что от этих зайчиков вокруг делается светлее... Я шел, улыбаясь, глядясь в лужи, и совсем-совсем забыл о Юрке. А он стоял, он ждал, он охотился за мной.

Я поднял голову и увидел, как смеются Юркины синие, с рыжими крапинками, глаза. Он смотрел на меня и на Нинку и очень радовался. Раньше он унижал только меня, и мы знали об этом вдвоем — он и я. Теперь он унижит меня втрое: перед собой, передо мной и перед Нинкой!

Юрка подходил ко мне не спеша, сунув руки в карманы пальто, нагло улыбаясь, а я не трепетал, как раньше, нет.

Мысли, одолевавшие меня, мучившие меня, терзавшие меня столько времени, вдруг соединились в последовательную цепь, взялись как бы за руки, обрели стройность и четкость. В одно мгновение из мальчишки, который не знал, чего хотел, боялся Юрки, стеснялся Нинки, разучивал нелюбимые музыкальные упражнения

я вообще жил беспорядочно и неопределенно, я стал человеком, который знал, что хотел, и знал, что ему делать.

Еще вчера я был рабом музыки. Я мучился, я бился головой в дверь, не зная, что она никогда не откроется для меня. Сегодня в школе я понял, что есть вещи важнее музыки. Например, когда человек говорит сам себе правду. Пусть эта правда не такая легкая. Но это важнее музыки. Это заставляет человека быть самим собой. И если человек сказал сам себе правду один раз, если он сумел сделать это, он скажет ее себе снова.

И я сказал. Я понял, что, отказавшись от музыки, найдя в себе силу сделать это, сказав самому себе правду один раз, я скажу ее снова. Я был рабом музыки. Я перестал быть им. Я был рабом Юрки. Теперь я ничей не раб.

А Юрка все шел и шел на меня и все ухмылялся нагло, ожидая легкой, как всегда, победы. Он достал из кармана кулак и отвел его чуть назад.

Мне захотелось закрыть глаза и спрятаться куда-нибудь.

Но я не закрыл глаза и не спрятался.

Я был свободный человек. А рядом со мной была Нинка.

Еще до того, как Юрка отвел для размаха свой кулак, с ненавистью, ослепившей меня, я подскочил к нему и изо всех сил врубил ему куда-то по верхней губе, в самое чувствительное место.

Я думал, он упадет, но Юрка не упал, только сильно качнулся и отступил.

— Ну-ну, — сказал он только, — ну-ну...

И непонятно было, с угрозой или удивлением сказал он это...

Я думал, Юрка будет ругаться матом, и тогда я скажу Нинке, чтобы она бежала, а сам буду драться с Юркой, сражаться до последнего и за матерщину, которая оскорбит Нинку и за все унижения, которые мне достались от него.

Но он сказал только: «Ну-ну, ну-ну...» — и уступил дорогу.

Меня трясло всего, колотило мелкой дрожью, и Нинка успокаивала меня. Дойдя до угла, мы обернулись. Юрка все еще стоял на том же месте, растерянно глядя нам вслед.

И тут только я спохватился. Во время драки я бросил нотную папку.

Она была ни к чему мне теперь, совсем ни к чему. Это упражнение номер 24, и тетрадка с ключами животиком в другую сторону. Да, она была ни к чему мне, нотная папка, которую невесть где достала бабушка, но я вернулся.

Нинка хотела было остановить меня, но я посмотрел на нее внимательно и сказал дрожащими губами: — Пусти!

Она отпустила меня, и я вернулся к Юрке. Я не спеша наклонился и не спеша взял папку. Потом я повернулся и не спеша пошел к Нинке.

Юрка не двинулся, не сказал ни слова.

* * *

Когда дома я открыл папку, нотные знаки и ключи — и неправильные, брюшком в другую сторону, и правильные, с хорошим брюшком — расплылись и потекли.

Я подошел к окну и посмотрел на улицу, в самый ее конец, куда ушла Нинка с авоськой.

Бабушки еще не было.

Бабушка еще должна была прийти.

Деревянные кони

Война кончилась, а отец не возвращался. И письма от него приходили редко. Бабушка, мама и я по многу раз на день заглядывали в почтовый ящик, но там было пусто.

Иногда я ходил встречать поезда. На перрон бесплатно не пускали, надо было покупать билеты — странно, за встречи и прощания брали деньги, — и я пробирался вдоль путей, мимо цистерн и товарных вагонов, устраивался где-нибудь в уголке вокзального перрона, чтобы не попадаться на глаза злым теткам в красных фуражках. Поезда приходили и уходили, у ворот, выходявших на вокзальную площадь, образовывались пробки: военные, возвращаясь домой, очень торопились, и я их понимал, улыбался, вглядываясь в их лица, искал отца, надеясь на удачу — мало ли чего не случается, а вдруг он обгонит свое письмо, в котором напишет о возвращении.

Но отца не было. Не так-то просто кончаются войны.

* * *

Однажды я шел с вокзала, стегая прутиком по лопухам, и думал об отце. Возле дома, во дворе, поросшем густой травой, было тихо, только скрипели тротуарные доски под моими ногами. Вначале я не обратил на тишину внимания: я шел задумавшись, опустив голову. Но потом тишина испугала меня. Тихо не должно быть, сейчас должно быть шумно, должен слышаться веселый лай. Я испугался за Тобика: если он порвал цепочку, его могут поймать собачники.

Я поднял голову и остановился. Тобик был жив и здоров, и цепочка его поблескивала, но он не обращал на меня никакого внимания, хотя не слышать моих шагов не мог. Это даже по ушам было видно, как он их ко мне, назад, оттягивал.

Перед Тобиком, прислонясь к косяку, стоял незнакомый парень. Одной ногой он упирался в собачью

будку, а мой верный пес предательски шевелил кончиком хвоста, одобряя такую наглость, давая этому парню вести себя тут по-хозяйски.

Странные чувства смешались во мне: и обида на Тобика, и ревность к парню, на чью сторону Тобик так быстро перекинулся, и удивление — не удивляться новому парню было невозможно.

Прежде всего потому, что он был в сапогах. В сапогах с отогнутыми голенищами. Сапоги в городе, да еще в такую жару, носили только солдаты, а вот чтобы кто-нибудь так загибал голенища, я вообще не видел. Из сапог двумя широкими фонарями топорщились черные в полосочку штаны. Дальше шла рубаша — светло-зеленая, с короткими рукавами, а у ворота трепыхался красный пионерский галстук.

Как видите, кроме сапог, ничего особенного. И только из-за них, пусть даже с отогнутыми голенищами, я бы останавливаться как вкопанный не стал.

Дело было не в этом.

Дело было в том, что широкоплечий пионер, поставив нагло один сапог на собачью будку... курил...

Вообще-то в том, что пионер может курить, тоже нет ничего удивительного. Даже сейчас. А тогда тем более. Я много раз видел, как пионеры, забравшись за поленницу в нашем дворе, курили папиросы, предварительно сняв галстуки и сунув их в карман. Старшие ребята курили и в школьной уборной, как-то по-хитрому пуская дым в собственные рукава, на случай, если войдет учитель. И ничего особенного в этом не было, потому что те пионеры курили таясь.

А этот курил открыто! Вот в чем дело!

Галстук развевался у него на груди, ветер полоскал его светлые волосы, и голубой дым рвался из ноздрей.

Стукнула дверь, и на крыльцо вышла моя мама. Она приветливо посмотрела на широкоплечего пионера и улыбнулась ему. Вот так штука! Я стоял ошарашенный.

Увидев маму, парень тоже улыбнулся и даже не зажал папироску в кулаке, а, наоборот, еще глубже затянулся и пустил изо рта дымный шлейф. Дверь снова стукнула, на улицу вышла бабушка, а за ней тетя Симма, которой бабушка сдавала комнату, и еще какая-то женщина, русая и круглолицая, с двумя корзинами в руке.

— Василей, — сказала строго незнакомая женщина, обращаясь к курящему пионеру, — дак я пошла. Смотри тут, не больно дымокурь-то. Тетю Симу слушай. И голос-то приглушай!

И тут я услышал голос странного парня.

— Аха! — сказал он хриплым мужицким басом.

Только это «аха» и произнес. Всего-навсего одно слово.

Во мне будто что-то сломалось. Только что я глядел на курящего пионера, приоткрыв рот, и удивлялся. Теперь я уже не удивлялся. Я его уважал. Ведь раз он курил при взрослых, не снимая галстука, значит, он имел такое право!

* * *

Курящий пионер остался во дворе, а я вслед за мамой вошел в дом.

Она кивнула на стол, чтоб я садился, подняла с полу большую кастрюлю и сняла крышку. Я охнул. Никогда я еще не видел сразу столько молока. Кастрюля была полнехонька. До краев.

— Откуда это? — удивился я.

Но мама только буркнула:

— Ешь, ешь!

Я навалился на молоко, уписывал его с хлебом, аж за ушами запищало.

Вошла бабушка, вздохнула у меня за спиной — я ее по одному вздоху в темноте могу за много шагов узнать.

— Ну вот! — сказала бабушка и снова вздохнула.

Мама укоризненно посмотрела на нее, будто осуждала за что-то. Опять, наверное, за комнату. Они часто про это говорили. Больше, правда, шепотом, потому что стенка была дощатая, не капитальная, и все было слышно, что там делается, у квартирантки тети Симы. И что у нас делается, ей тоже слышно было.

Мама все бабушку ругала, зачем мы ту комнату квартирантам сдаем. История эта довольно длинная, но я ее уже наизусть выучил. До войны никакой той комнаты не было. Была одна большая, и в ней мы все вчетвером жили — папа, мама, бабушка и я. А когда война началась и жить стало трудно, бабушка большую комнату надвое разгородила. Теперь война уже

кончилась, но бабушка квартирантов все пускала, может, потому, что денег все еще не хватало, а может, по привычке.

Мама шептала бабушке, что вот скоро вернется из армии отец, — что же, нам тут так и тесниться? Бабушка кивала головой, соглашалась и говорила, будто тетю Симу она предупредила и, как только приедет отец, она сразу съедет и стенку отец разберет.

— Прямо в первый же день! — клялась бабушка, и мама уступала, потому что действительно жилось еще трудно.

— Ну вот! — повторила, опять вздыхая, бабушка и, словно оправдываясь, произнесла: — Хоть теперь с молоком будем.

— Мама! — воскликнула мама шепотом — это она к бабушке, сами понимаете, обращалась — и возмущенно на нее поглядела.

— А что «мама»! — прошептала ей в ответ бабушка. — Ведь не на небе живем!

Бабушка помолчала, словно в нерешительности, и добавила:

— Ну и потом помочь надо: видишь, какие обстоятельства — некуда пареньку деться!

— Значит, будет у нас жить? — спросил я. Курящий пионер в сапогах с отогнутыми голенищами не выходил у меня из головы.

Они не ответили. Мама внимательно разглядывала меня, будто хотела что-то сказать, да забыла.

— Коля, — сказала она наконец, — вот этот мальчик... Вася... — Мама мялась, не решалась что-то такое сказать. — Так ты это... как бы тебе объяснить... Так ты с ним не очень-то... понимаешь... дружи.

— А что? — спросил я, округляя глаза. — Почему?

— Ну, он... понимаешь, — стала опять заикаться мама, — он старше тебя и потом... ну... это... курит.

«Ага! — улыбнулся я, уминая хлеб с молоком. — Проговорилась! А сама улыбалась, на него глядя, как он дым из носу пускал, будто древний ихтиозавр».

— Ну, а ты скажи, чтоб не курил, — ответил я. — Пионер ведь!

— Неудобно... — вздохнула мама. — Он уже совсем взрослый. Ему курить его собственная мать разрешает, а чего же мы?

— Он ведь учиться-то не в школу приехал, — сказала из-за спины бабушка, — а на счетовода. Деньги будет получать, самостоятельный человек.

— Он в колхозе работает, — подхватила мама. — Пашет, сеет, хлеб убирает. Молодец какой, видишь?

Ну и взрослые! Их, как корабль в бурю, то в одну сторону качнет, то в другую. То не водись с ним, то — вот он какой хороший.

— Так чего же мне с ним не дружить? — спросил я.

Мама и бабушка молчали.

— Но он же курит! — сказала наконец бабушка. — Еще научит тебя!

Я поднял брови домиком, выражая удивление, и воскликнул возмущенно:

— Ну! За кого вы меня принимаете? — и встал из-за стола. — Это мы еще посмотрим, кто кого чему научит! — добавил я в запальчивости и шагнул к двери.

* * *

Пионер в сапожищах смолил, наверное, уже десятую папиросу. Тобик неотрывно следил за его движениями. «Уж не гипнотизер ли он вдобавок?» — подумал я, начиная робеть. Это там, дома, перед мамой и бабушкой, я мог хорохориться. Тут же все было по-другому. Юный колхозник строго поглядывал на меня белесыми глазами и словно замораживал. Я понимал, что бояться его мне нечего, что ничего плохого он мне не сделает, раз будет жить у нас, и все-таки не мог побороть себя: мне почему-то казалось, что это я, а не он пришел на чужой двор.

Немного потоптавшись под пытливым взглядом тети Симиного племянника, я решил удалиться. Прогуляться, например, по улице. Но курящий пионер неожиданно изменил свою великолепную позу. Он снял сапог с Тобиковой будки, шагнул ко мне, так что от него табачным духом подуло, и сказал басом:

— Здорóво! — И представился, протягивая руку: — Василий Иванович!

— Чапаев? — спросил я с тонкой иронией, стараясь восстановить свои права на этот двор.

Но Василий Иванович иронию отверг, белозубо улыбнувшись и тряхнув светлыми волосами.

— Не-а! — ответил он. — Васильев.

Василий Иванович добродушно улыбался, решительно протягивал руку, желал мне всяческого добра, и сердце у меня зашло от волнения. Все-таки колхозник, не шутка — и пахать и сеять умеет. Я нерешительно протянул свою ладонь, сложенную лодочкой, и Василий Иванович пожал ее всю, все пять пальцев.

Рука у него оказалась большой и шершавой, будто из толстой сосновой коры. Даже, кажется, он мою руку слегка поцарапал — она почему-то тихонечко ныла.

— А я... этот... — сказал я, мучительно соображая, что бы такое придумать, что бы такое сказать убедительное и веское. Встать вровень с сапогами, у которых загнуты голенища, с папироской во рту и всей трудовой биографией тети Симиного племянника было не так-то легко.

Он засмеялся:

— Чо, как зовут, позабыл?

— Колька, — сказал я, краснея, и выпалил вдруг первое, что на ум пришло: — А ты боксаться умеешь?

— Не-а! — сказал племянник, удивляясь.

— А я боксом занимаюсь!

— Но! — удивился Василий Иванович.

Он сразу клюнул на этот дурацкий крючок. Пахать-то он, конечно, пахал, и сеял, и курил тоже, а вот боксом уж определенно не занимался. Какой там в деревне бокс, его и в городе-то не найдешь. Боксеры с войны, наверное, еще не пришли.

— Ишь ты! — удивлялся племянник тети Симы, покачивая головой. — По мордам бьют! — И, бросив папироску, будто решившись на что-то, спросил: — Научишь?

Я понял, что, кажется, перегнул, что про бокс — это уже слишком, а Василий Иванович развязал заскорузлыми пальцами галстук, сунул его в карман, прижал к груди кулаки и добавил:

— Нам пригодится!

— Н-не, нет! — ответил я, слегка бледнея. — Не теперь! Завтра! Мне сейчас некогда.

— Лады! Завтра так завтра. — Он вынул из кармана большой кусок сахара, хрустнул зубами и кинул кусочек Тобику.

Тобик подхватил сахарок на лету, захрупал, чавкая, пуская тягучую слюнку, и преданно поглядел на племянника тети Симы.

* * *

Только к вечеру дошло до меня, что я наделал!

Сначала слова эти мои про бокс показались мне просто словами, мало ли кто и что сказал. Теперь же, к вечеру, когда мысли последневной суеты стали раскладываться по полочкам, я понял, что нет, что все это не так просто, как кажется, что мы с этим курящим Василием Ивановичем теперь самые близкие соседи и никуда мне от него не деться.

«Вот дурак! — ругал я себя. — Только познакомился с человеком и сразу наврал ему с три короба. Ничего он не скажет, конечно, когда узнает, что я его обманул, дразниться не станет, не маленький, а все-таки...»

Улегшись на свой твердый диван, я долго скрипел пружинами, а утром проснулся со счастливой мыслью и, еле дождавшись срока, пошел в библиотеку. Должна же там быть книжка по боксу!

Библиотекарша подозрительно поглядела на меня, долго копалась в дальнем шкафу, потом вытащила тоненькую книжицу, всю серую от пыли: никто почему-то боксом не интересовался.

Я шел обратно, то и дело спотыкаясь, потому что читал на ходу.

Дома я разделся до трусов, встал перед зеркалом и начал повторять упражнения, которые были нарисованы на картинках: как кулаками нос прикрывать, как прыгать, когда наступаешь. Половицы под мной тряслись, зеркало дрожало, норовя кокнуться, бабушка махала на меня полотенцем, пытаясь остановить.

— Ты чего! — шумела она. — Ишь распрыгался!

— Чш-ш! — шипел я на бабушку, боясь, что Васяка через тонкую стенку поймет, чем я тут занимаюсь. Но, в общем, я был доволен собой. Теперь-то мы уж с этим Васькой на равных. Надо только не спешить. Надо как следует подготовиться.

А сосед мой жил шумно.

У себя в деревне он, видно, не привык говорить

нормальным человеческим голосом, да это ведь и понятно — как там, в полях и на пашнях, говорить спокойно, там кричать надо: «Эге-гей! Но-о! Пошла, ленивая! Растуды твой в кор-рены!»

Это выражение «растуды твой» Василий Иванович особенно как-то уважал и часто повторял за тонкой дощатой стенкой хриплым голосом. Мама и бабушка вжимали в плечи головы и молча переглядывались. Тетя Сима на Василия Ивановича за стенкой шикала, шептала ему, видно, чтобы он потише тут выражался, не на сеновале, но, даже приглушив голос, Васька хрипел громко и внятно.

Я посмеивался над мамой и бабушкой, смотрел, как коробит их от Васькиных выражений, хотя ничего такого он не говорил. Но они жутко переживали. Они считали, что новый квартирант меня непременно испортит. Этими уличными выражениями. И куреньем.

Но бабушкины и мамины переживания меня не трогали. Меня волновало совсем другое.

Я усердно махал кулаками перед зеркалом, чуть не влетал в него в азарте атаки и наконец в один прекрасный день, как говорится в художественной литературе, постучав в перегородку, предложил Василию Ивановичу выйти во двор.

Сосед появился передо мной, не улыбаясь, засунув руки в карманы, и ждал довольно сумрачно, что я скажу.

— Ты боксу научить просил, — сказал я, предчувствуя легкую победу над этим широкоплечим увальнем. — Не передумал?

— Аха! — сразу повеселел Васька. — Айда! — И пошел вслед за мной в прохладу сиреневых кустов, которые росли за домом.

Стоял сентябрь, мы оба уже учились: я — в школе, Васька — на своих таинственных курсах счетоводов, а на улице было тепло, настоящее бабье лето, и по хмари в Васькиных глазах я понял, что ему совсем так же, как и мне, заниматься в такую погоду ужасно неохота.

Я снял рубаху, Васька разделся тоже, я стал боксом, как требовала боксерская книжка, спрятал подбородок за плечо, выставил кулаки.

— Вот так! — велел я Ваське, подпрыгнул и тихонько стукнул противника в грудь. — Подбородок

кулаком прикрывай, — объяснял я ему, подобрался еще раз и ударил снова.

Кулак словно стукнулся о каменную стенку, рука заныла, и в ту же минуту кусты сирени стали расти как-то боком, размахивая ветвями, хотя никакого ветра не было.

Охнув, я опустился на коленки.

— Ты чо! Ты чо! — слышался издалека, будто из-за толстой стены, голос тети Симиного племянника, потом он исчез, и вдруг я вздрогнул — на лицо текло что-то холодное и приятное.

Я открыл глаза. Василий Иванович испуганно улыбался мне и лил из эмалированной кружки воду.

— Я не нарочно, я не хотел, — говорил он смущенно. — На-козь вот, — и приложил к моему носу холодный лист подорожника.

Я поглядел на землю. Прямо передо мной, в песке, выбив неглубокие ямки, чернели капли крови.

«За что?» — думал я, наливаясь слезами.

Ведь у меня и в голове не было, чтобы драться. И книжку о боксе я не для того доставал. Я собирался всего-навсего научить Ваську. Всего-навсего доказать, что и я не лыком шит, не один он в сапогах с загнутыми голенищами. А он... он...

Я старался разозлиться на Ваську — ни за что ведь ударил по носу, — но почему-то ничего у меня не выходило. Вся злость куда-то подевалась, даже, наоборот, я чувствовал, кажется, себя легче, свободней, будто с меня свалилась тяжесть.

— Я ведь не хотел, — повторял Васька, боясь, что я зареву, — ведь не нарочно.

«В самом деле, — подумал я. — Он бы мог меня одной левой. Сам виноват, трепло несчастное. Боксер называется!»

Я попробовал было подняться, но Васька велел мне лежать, чтоб скорее прошло. Я послушался, а он виновато говорил:

— Это фигня все — боксы разные. Руками только машут. Хошь, драться по-мужицки научу? — Я мужественно кивал головой. — Сперва знаешь куда бей? По уху!

Я лежал, кося глаза на зеленый подорожник, прикрывающий мой нос, — подорожник занимал полне-

ба и походил на зеленую землю, — слушал Васькино бормотание, и мне казалось, что мы с Васькой старые-старые приятели, с самого, может, первого класса знакомы или еще даже раньше.

Я вспомнил, что дома, на столе, лежит раскрытая книжка по боксу, вспомнил, как соображал, чем бы Ваську удивить, и засмеялся. Все это было теперь смешным и ненужным...

* * *

Вот так странно мы с Васькой подружились и теперь, как только сходились — я из школы, Васька со своих курсов, — сразу же перекликались через стенку.

— Вась! — кричал я, хотя вполне можно было говорить спокойно и он все равно бы услышал. — Что делаешь?

— Пишу, — отвечал он, не укрощая свой голос, и я сквозь стенку слышал, как скрипит и царапает бумагу соседово перо.

Писание у него выходило плохо — его за это на курсах счетоводов ругали, но Васька убеждал меня, что это не главное.

— Главное, — говорил он, — считать! Счетоводу главное в арифметике не ошибиться. Сложить, вычесть, помножить, разделить.

Васька в арифметике никогда не ошибался. Он даже семилетки не кончил, а на курсы счетоводов только с семилеткой принимали. Но его взяли. Потому что Васька считает как сумасшедший. Прямо без передыху. Спросишь его, он губами чуть пошевелит и сразу отвечает.

— Двести сорок девять помножить на четыреста двадцать шесть! — кричал я.

И не прошло полминуты, Васька басил:

— Сто шесть тысяч семьдесят четыре.

Сперва я Ваську проверял, считал на бумаге столбиком, но потом надоело — он никогда не ошибался.

— Тысяча семьсот восемьдесят четыре умножить на девять тысяч шестьсот семьдесят пять! — орал я в неопишемом удовольствии.

— Семнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч двести, — будто машина, отвечал Васька, и, пока

он молчал, я даже сквозь стенку явственно ощущал, как шевелит он толстыми губами.

Мама и бабушка, когда мы занимались устным счетом, одобрительно поглядывали на меня, видя, верно, в этом занятии хорошую сторону Васькиного на меня влияния, советовали Ваське, чтобы теперь он мне задал какую-нибудь задачку. Васька послушно спрашивал что-нибудь — сорок восемь, например, на восемьдесят шесть, — и у меня получалась белиберда, приходилось доставать бумагу и черкать быстро карандашом. Нет, что ни говори, такие таланты даются не каждому, такому не выучишься, это от рождения или от бога, как говорила бабушка.

К Васькиной чести надо сказать, что он своим удивительным талантом совсем не гордился и даже, напротив, жаловался мне, что в деревне к нему все приставали — главный бухгалтер приходил с какими-то большими листами и вечера напролет его мучил. А уж про ребят, если у кого не выходили задачи, и говорить нечего. Из-за этой его непонятной даже ему самому способности Ваську и отправил председатель в город на курсы, хотя стремление в жизни у него было совсем другое.

Васька мечтал стать конюхом.

Иногда мы с ним уходили погулять, шлялись по мокрым осенним тротуарам под шелест мелкого дождя, и Васька, не понижая голоса и не стесняясь прохожих, толковал мне, какая лошадь бывает каурая; это я у него требовал объяснить, как понимать надо «Сивка-бурка, вещая каурка». Говорил про лошадиные хитрости. Оказывается, и лошадь хитрить умеет: брюхо надуть, когда ей седло надевают, а потом его на полном скаку сбросить. Говорил, что поить коня после долгого бега нельзя, что, когда лошадь куют и забивают ей в копыта железные гвозди, чтоб подковы держались, ей не больно, и всякое такое.

Васька говорил кратко, одними восклицательными предложениями, но как-то очень азартно. И после нескольких таких прогулок мне ничего на свете не хотелось больше, чем покататься верхом на лошади.

— Скачешь! — громыхал он на всю улицу. — Скачешь! А она! Крупом — брык! И летишь через голову! А сама! Отойдет в сторону и травку хрупает!

И глазом на тебя — зырк, зырк! Вроде подмаргивает.

Васькино круглое лицо в такие минуты сияло, белки глаз страшно блестели, и весь он был какой-то отчаянный.

— А ты пахал на лошади-то? — спрашивал я с интересом.

— Но! — кричал он с удовольствием.

— И запрягать умеешь?

Васька гулко хохотал, удивляясь моей безграмотности:

— Да я же у конюха помощником работал, дурелом ты этакий! Все делал, что надо. И корму задавал, и поил, и драил, и навоз убирал.

Однажды вечером мы шли с Васькой по полутемной улице, и вдруг по булыжнику навстречу нам зацокали копыта. Это ехали золотари. Пять или шесть лошадей тащили бочки, копыта выбивали о булыжник искры, черпаки длинными ручками волочились по мостовой, колеса дребезжали и грохали.

Я зажал нос — мы всегда так делали, когда встречали золотарей, — а Васька стоял не шевелясь.

Обоз проехал, понурые лошади скрылись в глубине квартала, а Васька все не шевелился.

— Айда! — сказал я, трогая его за рукав и все еще зажав нос: аромат стойко держался в тихом воздухе.

Но Васька будто не слышал меня. Он глядел в темноту, туда, где исчезла грохочущая колонна.

— Растуды твой! — сказал он вдруг печально. — Городская-то лошадка, а! Уж и забыла, подика, какая травка! Как поваляться-то можно... Провоняла вся... Охо-хо-хо! — вздохнул он по-стариковски. — Да нежели так можно?

Я удивился Васькиным словам.

— Ну, да у вас-то в деревне, — спросил я удивленно, — разве не так?

— Не так, не так, — ответил Васька. — В том году околела у меня одна кобыла, Машкой звали, прямо в меже околела, а не так.

— Отчего околела? — спросил я.

— От натуги да от старости, — сказал он, — потаскай-ка плуг-то или борону.

— Ну, видишь, — сказал я. — Здесь легче.

— «Легче»! — усмехнулся он криво. — Легче, да ведь лошадь-то животное, как и ты.

Я обиделся за такое сравнение, и мы замолчали.

Я вспомнил, что Васька рассказывал, как он убирал навоз.

— И ты ведь навоз отгребал, — сказал я растерянно.

— Сравнил! — незлобиво удивился Васька. — То навоз! От него хлебушко растет.

Так мы ни до чего и не договорились. Но больше по вечерам не гуляли. Может, Васька узнал, что золотари днем не ездят. А может, потому, что появились у него трудности в арифметике.

В уме Васька считал отлично, но ведь он учился на счетовода. Слово такое: сче-то-вод. Значит на счетах надо считать учиться, так у них на курсах было положено.

Как-то раз Васька явился с занятий, неся под мышкой большие канцелярские счеты. За стенкой теперь вечно громыхали костяшки.

— Двадцать два миллиона триста восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей семнадцать копеек, — кричал я Ваське, — плюс семнадцать миллионов сто одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей девяносто копеек! — Почему-то у них на курсах любили задачи, где надо считать деньги.

Васька стучал костяшками, бормотал себе что-то под нос, а потом растерянно отвечал:

— Счетов не хватает! Да и откуда такие деньги?

* * *

А отец все не ехал, и мама с бабушкой жутко переживали, словно война еще не кончилась.

Я пытался их успокоить, говорил, что ничего случиться не может, надо только набраться терпения: ведь войны не кончаются сразу — отстрелялись и пошли по домам, — и раз отец не едет, значит, он нужен там, в этой Германии.

— Но написать-то он должен, — говорила, волнуясь, мама, и тут мне нечего было сказать.

Я ждал от отца письма так же нетерпеливо, как мама и бабушка.

Часто по вечерам мы усаживались все втроем на ди-

ван, слушали тихую музыку, которую передавали по радио вместо тревожных сводок, и мечтали, как заживем, когда вернется отец.

— Костюм сразу ему справим, — говорила мама и вздыхала, вспоминая, как нас обокрали.

— Комнату разгородим, — говорила бабушка.

«Комнату разгородим»! Эти слова меня неприятно кололи, и я чувствовал вину.

Я вспоминал, как раз в неделю, по воскресеньям, приезжала из деревни Васькина мать, тетя Нюра, и привозила молоко.

Тетя Нюра кружила бутыл, чтобы молоко скорее вытекло, я глотал слюнки, глядя, как в опустошающейся бутылки медленно ползут по стенкам густые остатки молока, и корил себя за слабование. Ведь это молоко было платой за Васькино у нас житье, значит, и за Васькину дружбу. Тетя Нюра уходила, я набрасывался на молоко, заедая его черным хлебом и урча от удовольствия, и мысль о том, что это молоко — плата за Ваську, сама собой исчезала, будто растворялась в выпитом молоке.

Однажды я вернулся из школы поздно вечером — нас посылали в овощехранилище перебирать картошку и свеклу. В хранилище было не холодно, но руки у меня совсем ооченели и покрылись тонким, но прочным слоем земли.

Я ввалился домой, бросил в изнеможении сумку с учебниками и прислонился к косяку.

Мама и бабушка смотрели на меня с жалостью — они всегда жалели меня, если наш класс ходил копать картошку, перебирать овощи или еще на какую-нибудь работу, словно я один уставал, — но в их глазах на этот раз было еще что-то, кроме жалости. Какое-то лукавство, что ли.

— Мой руки, — сказала мама, поднимая мой портфель, — там, на столе, тебе кое-что есть.

Я подумал, они оставили мне чего-нибудь вкусненького, но есть не хотелось, в горле пересохло, я еще не мог отойти от долгой работы внаклонку и вяло кивнул головой, откручивая кран.

Вода стекала с моих локтей грязными ручьями, хотелось спать, и я представлял, как рухну сейчас на свой скрипящий диван.

Лениво утершись, я подошел к столу и увидел яркую картинку: на еловой лапе вперемежку с цветными шара-

ми раскачивались гномики. Я перевернул картинку и узнал знакомый почерк: открытка была от отца.

Я засмеялся, усталость исчезла, я подпрыгнул, как маленький. Ничего особенного отец не писал, он просто поздравлял нас с наступающим Новым годом и обещал, что уж в новом-то году он непременно приедет домой.

— Ну видите! — крикнул я, обращаясь к маме и бабушке. — Я же говорил! Все в порядке! — И заорал: — Васька! Иди к нам!

Мама с бабушкой стали собираться в магазин, ушли, а Васьки все не было.

Я крикнул ему:

— Ну чего ты, иди!

Васька пришел какой-то понурый, тихий, грустный. Но я не заметил этого. Я вертел в руках лакированную открытку с гномиками и вслух читал отцовское письмо.

Васька кивал, криво улыбался, потом взял у меня открытку, посмотрел на гномиков и сказал неожиданно зло:

— У, фашисты!

— Кто? — не понял я.

— Вот эти, карлики.

— Ну сказанул! — возмутился я.

Гномики в разноцветных колпачках мне очень нравились. Да что там, они были просто замечательные, ведь их же прислал мне отец.

— Ясное дело, фашисты, — сказал Васька, всматриваясь в меня. — Да такие картиночки фашисты друг другу посылали!

Я ничего не понимал. Никогда я не видел Ваську таким злым и ожесточенным. Он был всегда добродушным, приветливым, а тут вдруг обозлился на какую-то открытку, на каких-то гномиков.

— Вась! — окликнул я его. — Ты чего?

— Да ничего, — поморщился он, — просто я все фашистское ненавижу. — Он помолчал и прибавил: — Они у меня отца убили.

Я сидел на диване и чувствовал, как краснею, как заливаюсь жаром. Мне было противно, гадко.

Вот уже сколько дружу я с Васькой, сколько исходили мы кварталов по нашему городу, а я ни разу — вот стыд-то! — ни разу не спросил Ваську про его отца.

— Васька, — сказал я, потрясенный его словами, — Васька, а где?

— Под Москвой, — ответил он и тяжело вздохнул.

Отец у Васьки погиб под Москвой — он воевал в лыжных войсках. Васька и тетя Нюра узнали об этом уже под конец войны, потому что вся та лыжная часть погибла, уцелело лишь несколько человек и среди них один дядька из райцентра. Уходил воевать этот дядька вместе с Васькиным отцом, уцелел под Москвой, но чуть не погиб под Берлином и вернулся в сорок пятом полным инвалидом.

Мы с Васькой сидели одни в натопленной тихой комнате, такой тихой, что было слышно, как за стенкой у тети Симы тикают ходики, и Васька рассказывал мне, как они с матерью узнали, что в райцентр вернулся тот инвалид, и сразу собрались, не взяли даже хлеба с собой, и пятнадцать верст до этого райцентра все время почти бежали. Инвалид работал сапожником в артели «Верный путь». Васька и тетя Нюра вошли в маленькую каморку, где он стучал молотком, и тетя Нюра заплакала.

— Она не об отце заплакала, — сказал мне Васька, — а об этом инвалиде. У него жена, пока он воевал, умерла.

Инвалид сидел на табурете, привязанный к нему широким брезентовым ремнем, чтобы не упасть. Ног у него не было. Только подшитые выше колен стеганные зеленые штаны.

Обратно они шли молча, по разным сторонам проселка, не замечая голода, хотя маковой росинки с утра во рту у них не было. Инвалид сказал, что всех лыжников переменяли танки. У Васькиного отца, как и у других, была только винтовка со штыком и ни одной противотанковой гранаты. Гранаты им еще не успели выдать — прямо с поезда бросили в атаку. И танков никто не ожидал. Они появились откуда-то со стороны.

— Кончу курсы, — сказал Васька глухо, — денег подзаколочу и поеду в Москву отца искать.

— Как же ты его найдешь? — удивился я.

— Найду! — уверенно ответил Васька. — Инвалид говорил, на сто первом километре все было.

Мне снова стало стыдно перед Васькой. Я был счастливее его. Вот и отец у меня живой, всю войну прошел,

ранило его, а живой. А у Васьки отца нет. И больше никогда не будет.

Васька встал, прошелся по комнате в залатанных валенках с загнутыми голенищами, подросший и худой — пиджак болтался на нем, словно на палке. Он чиркнул спичкой и закурил.

Я вспомнил, как увидел его в первый раз: курящим и с галстуком. И, глядя на Ваську новым, повзрослевшим взглядом, я подумал, что удивлялся тогда, летом, потому что не знал Ваську.

А теперь вот знаю. И считаю, что курить он имеет полное право.

Я потихоньку спрятал отцовскую открытку с гномиками под скатерть.

* * *

С того вечера мы с Васькой часто про отцов говорили. Он про своего, я про своего.

Я показал Ваське значок ГТО на цепочке, рассказал, как отец его мне, совсем маленькому, уходя на войну, подарил. Как потом он в госпитале лежал, как учил меня с высокой горы на лыжах кататься. Как я кисеты шил, а потом своему же отцу подарил.

Васька фронту тоже помогал. Он пуховых кроликов, пока в школе учился, разводил, сам пух из них дергал, а бабка его, отцова мать, вязала из этого пуха подшлемники и варежки с двумя пальцами — для снайперов. Чтобы им не холодно было в снегу лежать и удобно фашистов выцеливать.

— Знаешь, — сказал Васька, — кем бы я стал, если бы на войну меня взяли? Снайпером. Танкисты там или артиллеристы, конечно, тоже этих гадов здорово крошат, но снайпер прямо в лоб фашисту целится. Прямо в лицо!

Васька сжимал кулаки, бледнел, и мне казалось, что вот будь сейчас перед нами немец, Васька бы его руками от лютой ненависти задушил. Не побоялся бы на здоровенного фрица броситься.

Однажды я вытащил альбом с карточками, и мы уселись разглядывать их. Отец был на многих фотографиях — в санатории, под пальмой; в шляпе и с галстуком, облокотясь на какую-то вазу; с мамой и бабушкой и снова один. Васька внимательно вглядывался в моего отца, улыбался вместе со мной, смеялся над фотогра-

фией, где отец снят со мной — я сижу у него на плече, совсем маленький, сморщился, вот-вот зареву от страха, что отец посадил меня так высоко.

Мы досмотрели карточки, Васька задумался.

— Твой-то поездил, видать, много, — сказал он. — По санаториям, по чужим местам, а мой дальше города не бывал.

Васька достал папиросы, закурил, глубоко затянувшись, потом встрепенулся.

— Отец, когда из города приезжал, гостинцы мне привозил. Пряники в серебряной бумажке. И знаешь, что он мне нахваливал, как из города вернется? Театр! Красота, говорил, замечательная.

— А ты театра не видел? — спросил я, посмеиваясь.

— Не-а! — ответил Васька. — В жисть не бывал.

— Так давай сходим!

— Аха! — засмеялся Васька. — В получку.

Получкой он называл деньги, которые ему платили на счетоводных курсах в конце каждого месяца. Эту подробность я помню особенно хорошо, потому что именно из-за этого все так и получилось.

* * *

Дело было под самый Новый год. Вернувшись с курсов, Васька прогромыхал мне через стенку, что он взял два билета в театр — на себя и на меня. Представление шло днем, показывали пьесу «Финист — Ясный сокол», сказку.

Ваську театр поразил. Не артисты в нарядных сказочных костюмах, не Финист — Ясный сокол, кудрявый, в серебряных, блестящих от света фонарей доспехах, не декорации, а сам театр. Я видел, как во время спектакля Васька таращился по сторонам, оглядывая бесконечные ряды кресел, глазел вверх на огромную люстру, мерцающую в полумраке бронзовыми обручами и хрустальными висюльками. Но больше всего понравился Ваське занавес — огромный малиновый занавес из бархата. Когда наступил перерыв и все хлопали, вызывая артистов, и занавес тихо, но мощно расступался, собираясь в плотные, густые складки, Васька не хлопал и не смотрел на артистов, а глядел вверх, пытаясь понять, как это оттягивается такой огромный и, видно, тяжелый кусок материи.

— Здорово! — сказал он с восхищением. — Целое поле, почитай, мануфактуры! — И вдруг спросил меня: — Дорогая ведь, поди?

В фойе кругами колобродила очередь. Мы подошли поближе. Оказалось, продают мороженое. Распаренные, вспотевшие счастливчики выбирались из толпы у синей будочки, где шевелилась тетка в накрахмаленном чепчике, и, хмурясь от счастья, лизали тонкие кругляшки, окаймленные клетчатыми вафлями.

— Что это? — спросил Васька.

Я только хмыкнул.

И вдруг Васькина робость исчезла. Он двинулся вперед, шевеля локтями, и скоро я увидел его вихры у самой будки. Там зашумели, очередь подналегла, и немного погодя из толкучки выбрался взлохмаченный счетовод с двумя кругляшами мороженого.

— На! — сказал он хрипло и откусил свою порцию, как кусают хлеб.

— Во дает! — засмеялся я. — Лизать надо! А то так тебе ненадолго хватит!

— Ништяк! — восторженно пробасил Васька, куснул еще раз, еще и засунул в рот остатки мороженого, хрустящая вафлями. Облизавшись, он помолчал, задумчиво глядя на мое мороженое — как я тщательно обвожу его языком, хмыкнул и сказал: — А ничо! Скусно!

Мы погуляли по мраморным лестницам и коврам, сходили в туалет, где Васька покурил, а я долизал мороженое, и пошли вслед за всеми в зал: зазвонил звонок.

Огни стали медленно гаснуть, и билетерши запахивали с железным грохотом занавески, прикрывающие выход, как вдруг Васька схватил меня за руку и потащил обратно.

— А ну ее, эту сказку! — сказал он, когда мы снова оказались в фойе. — Ты чо, маленький, что ли?

Я было надулся — после третьего звонка в зал не пускали, но Васька мотнул головой в угол:

— Вон я чо придумал!

Возле будки мороженщицы никого теперь не было, все ушли смотреть представление, и тетка в накрахмаленном чепчике, мусявя пальцы, считала горку разноцветных денег. Мое огорчение тотчас исчезло, Финист — Ясный сокол с его мечом утратил все свои доблести, и

мы с Васькой бегом побежали через паркетный блистающий зал к синей будке.

Я все лизал мороженое, по старой своей привычке, и никак не поспевал за Васькой, а он подзуживал меня, чтобы я брал пример с него и жевал, а не валандался.

После каждой порции Васька ухарски вытаскивал из кармана деньги, клал их продавщице, хрупал вафлями, опять ждал меня — и я сдался. И тоже начал кусать, а не лизать.

Дело шло быстро, мы молчали, только причмокивали, и я чувствовал, как леденело у меня горло. Остановились мы как будто на десятой порции и то не потому, что объелись, а потому, что у Васьки кончились деньги.

— Всю зарплату? — спросил я деревянным голосом, ужасаясь Васькиной удалы.

— Еще на одну осталось! — прохрипел он, разглаживая мятые бумажки, и добавил великодушно: — Хошь?

— Не! — ответил я совершенно искренне.

Но Васька уже протягивал рубли мороженщице. Она поглядывала на нас удивленно, но ничего не говорила.

Потом мы пошли в туалет, Васька снова покурил, предлагая мне папироску.

— Ты зыбни, зыбни! — уговаривал меня Васька. — Сразу отойдешь!

Но я так и не зыбнул. И наверное, зря.

* * *

Назавтра был последний перед каникулами день, а я не мог шевельнуться. Голова горела, как головешка, мучительно и жарко, горло распухло, и я дышал с хрипом, тяжело потел. Мама заохала, вызвала врача и не пустила меня в школу. К обеду пришел доктор, потрогал мой лоб и даже не стал градусник ставить.

— Где это ты так? — спрашивала меня бабушка. — Сознавайся, опять снегу поел?

Ей почему-то всегда казалось, что я зимой ем снег, а весной лижу сосульки. А между прочим, никогда я снег не ел. Ну, может, раза два попробовал, так и то давно. Снег мне не понравился — он был какой-то сухой и бессолой, и я его больше в рот не брал, а вот бабушке всегда мерещилось, будто я снегоед какой-то.

«Дурак ты, дурак! — ругал я себя. — Надо было не слушать Ваську. Что он в мороженом понимает — первый раз увидел. Жадность одолела. Боялся, что Васька переест, дурачина ты, простофиля». Но бабушке в ответ мотал головой.

— Кхакхой снех, — хрипел я. — И так хонодхно!

Обедать я не стал, не было аппетита, и бабушка прямо извелась, уговаривая меня, протягивая ложку с супом. Да и о какой еде могла идти речь!

Солнце уходило за крыши, сугробы синели. Новый год подступал тихими шагами, а я хрипел и кашлял и не мог пойти на базар за елкой.

Так мы вчера уговорились с Васькой. Я прихожу из школы и бегу за елкой, а он, вернувшись с занятий позже, помогает мне ее украсить. Васька все не возвращался, а бабушка, когда я сказал ей про елку, даже возмутилась:

— Не брошу же я тебя!

Васька пришел уже под вечер. Он остановился у порога, разглядывая меня, а я только виновато развел руками — мол, видишь?

Васька шагнул в комнату, улыбнулся и сказал:

— Ништяк, и так проживем.

А я чуть не заплакал. Я-то надеялся на него. Я-то думал, может, Васька чего-нибудь придумает. Он увидел, как я скис, тряхнул головой и сказал:

— Ну так ладно. Не боись. Я на базар сбегаяю, — и исчез, оставив от валенок мокрые следы.

Как-то сразу стало полегче. И горло, кажется, отпустило. И будто бы даже жар спал. Я проглотил несколько ложек супа. Бабушка улыбнулась. Я улыбнулся тоже: Васька не мог подвести, такой уж он человек.

Но Васька пришел без елки.

— Пусто на рынке, — сказал он виновато.

«Ну все! Попраздновали называется». Я отвернулся к стене, закусив дрожащие губы.

— Сами виноваты, — укорила мама, — не могли вчера позаботиться или еще раньше?

— Вчера в театр ходили, — ответил я сдавленным голосом, готовый зареветь.

— Ну, ну! — сказала мама. — Постыдись Васи.

Но никого я стыдиться не собирался и начал уже хлюпать носом, как Васька вдруг сказал:

— Тетя Лиза, дайте топор.

— Зачем это? — всполошилась бабушка, заведовавшая всем нашим хозяйством.

— В лес пойду.

Я приподнял голову. В лес! Во дает Васька! Друг так друг, ничего не скажешь!

— Ни в коем случае! — заговорила, волнуясь, мама. — Сейчас стемнеет, а до лесу километров пять, заблудишься. Нет, нет!

— Не пропаду, — сказал он, посмеиваясь, — не бойтесь, я ведь деревенский!

— Нет, это безумие, — говорила мама, расхаживая по комнате. — Он просто не успеет. А если заблудится? — Она нервно шагала, поглядывала строго на меня и отворачивалась, будто Васька уже погиб в снежных сугробах.

Васька вернулся ровно через пять минут, весело смеясь. За ним вошла тетя Нюра. В вытянутой руке Васька держал за комель аккуратную маленькую елочку, такую ровную, такую зеленую и пушистую, что от одного ее вида хотелось смеяться.

— Где ты взял? — вскричал я и вскочил с дивана как был — в трусах и майке, совсем не стесняясь тети Нюры.

— Мамка принесла! — ответил Васька, вытаскивая топор из-за веревки. — До ворот дошел, гляжу — встречь она! Да и с ней! — он кивнул на елку.

— Ага! — ответила тетя Нюра. — Еду на подводе и думаю: а ну как у них там елки-то нету? Возницу подговорила, залезла в сугроб и взяла вот эконьку.

Тетя Нюра доставала из мешка белые, похожие на хлебцы кругляши. Это было мороженое молоко.

— Ой, Нюра, золотко! — запричитала бабушка и вдруг всплакнула. — Ты для нас как Дед-Мороз.

— Не Дед-Мороз, а Баба-Морозиха, — сказал я, и все засмеялись.

— А у нас вот Коля приболел.

Бабушка суежилась, усаживала тетю Нюру поближе к печке, стучала в стенку, чтобы тетя Сима не больно-то расфуфыривалась, а шла прямо так, карнавала не будет, наливала Бабе-Морозихе горячего чаю, клала в кастрюльку кругляш мороженого молока и все говорила, говорила, и я ее понимал, потому что в самом деле все получилось как будто в волшебной сказке.

— Ты извини нас, Нюра, — сказала бабушка, вдруг останавливаясь перед ней.

— За что это? — удивилась тетя Нюра и оторвалась от большой кружки с чаем.

— Да вот, — кивнула бабушка на плитку, — за молоко.

— Ну что ты, Васильевна! — тихо сказала тетя Нюра. — Ведь у вас Вася живет, мы вам благодарные, а про молочко-то, так где оно еще-то есть, как не в деревне?

— Ну, мам! Чо там, дома-то? — весело крикнул Васька. Он, торопясь, нарядил елку.

— Все ладно, — ответила тетя Нюра негромко. — Председатель нос отморозил. За соломой ездили в район.

Васька захохотал, я тоже улыбнулся, представив себе толстого дядьку с опухшим красным носом, улыбнулась и мама с бабушкой, но тетя Нюра не улыбалась — она все смотрела в свою кружку с чаем, никак не могла оторваться.

— Еще чо? — спросил Васька.

— Да так, — нехотя ответила тетя Нюра, — ничего. — И, помолчав, негромко добавила: — Вот Маньку заколола.

Васька шагнул от елки, и игрушки заколыхались и забренчали. «Вот увалень! — подумал я недовольно. — Где такие шары или звездочки теперь достанешь, если кокнутся? Они довоенные!» Но Васька ничего не замечал. Он стоял посреди комнаты и смотрел на свою мать испуганными глазами. А тетя Нюра все ниже опускала голову.

— Хухры-мухры! — выдохнул испуганно Васька, а я все никак не мог понять, чего это он испугался.

— А кто эта Манька? — спросил я не к месту, и мне никто не ответил.

— Что поделаешь, — сказала тетя Нюра Ваське, виновато улыбаясь, — ни соломинки во дворе...

Васька, будто подрубленный, сел на стул. Стул всхлипнул.

Мама подошла к тете Нюре и положила ей руку на плечо. Тетя Нюра вскинула голову.

— Да нет, нет, — заговорила она быстро, испуганно поглядывая то на маму, то на бабушку. — Вы не беспокойтесь, молочко-то я вам все одно приносить ста-

ну. Займу или вот мясо продам, так деньгами, если хотите.

— Нюра, Нюра! — сказала мама, глядя ее по плечу. — Что вы, Нюра, как вы можете! И не думайте! Вася пусть живет, выбросьте это из головы!

Так вот что случилось! Тетя Нюра заколола корову. Корову звали Манька, и это ее молоко пил я всегда с наслаждением.

Горло у меня сжалось. Я хотел что-нибудь крикнуть такое тете Нюре. Да что она, с ума сошла, что ли? Что она думает, мы не люди? Да что такое молоко? Я свободненько, например, могу обойтись без него. И бабушка наша совсем не жадная, это просто время такое, она и поддалась, да и то — я знаю! — из-за меня. Пусть считается, что молоко это мы у тети Нюры займы взяли. Вот придет из армии отец, станет работать, и мы отдадим. Обязательно отдадим.

— Тетя Нюра! — прохрипел я, приподнявшись на диване, и все — мама, и бабушка, и тетя Нюра, и Вася — вдруг повернулись ко мне. Может, вспомнили, что я больной, а может, я сказал это каким-то странным голосом. — Тетя Нюра! — повторил я. — Вы не думайте! Мы не такие! Мы будто у вас в долг взяли, ладно?

Тетя Нюра прикрыла глаза.

— Ладно, ладно, — прошептала она.

Возле плитки, где была бабушка, раздался какой-то плеск. Я посмотрел туда. Бабушка перелила горячее молоко из кастрюли в миску и, обхватив ее края, двинулась к двери.

— Ты куда, Васильевна? — неожиданно строго спросила тетя Нюра.

Бабушка вздрогнула, остановилась, едва не расплескав молоко, и ответила растерянным голосом:

— На мороз...

Тетя Нюра вдруг вскочила со стула и кинулась к бабушке:

— И не выдумывай! Молока нет, зато мясо теперь есть, не пропадем, а весна будет, телку возьму!

Тетя Нюра налила горячее молоко в эмалированную кружку, принесла его мне.

— Эх, медку бы! — сказала она веселым голосом и засмеялась, оглядываясь на маму и бабушку. — Ничего, бабоньки! И медок будет, и молочко, и хлебушко!

Все будет, дайте только срок! — Она посмотрела внимательно на меня. — Дайте только срок! — тихо повторила она.

* * *

Пришло лето.

Васька уехал, а отец все не возвращался.

Я лежал в траве, обрывал созревшие одуванчики и нехотя сдувал пушистые шары. Белые парашютики улетали, подхваченные мягким ветром, поднимались в небо и исчезали из глаз.

«Куда-то они упадут? — думал я. — Вырастут ли из них новые одуванчики? — И без перехода горевал о Ваське. — Как он там счетоводит?»

Я проводил Ваську в мае. Мы шли вместе по жарким тихим улицам до перевоза и там долго ждали, когда маленький катер, тяжело пыхтящий черным дымом, пригонит с того берега паром.

Река разлилась, раздвинув свои края, вода мутно бурлила за бортом дебаркадера, расходилась кругами — стремительными и страшными.

Васька скинул с плеча тощий мешок — белую холстяную котомку, обвязанную у горловины грубой веревкой, — положил его на оградку дебаркадера, облокотился, щурясь на всплескивающие серебряные волны.

— Ну вот! — сказал он, не оборачиваясь ко мне. — Ну вот и половодье!

— «Половодье»! — передразнил его я. Нет чтоб сказать чего-нибудь такое. Пиши, например, и так далее. Но Васька ничего не чувствовал.

— Ох, работенки щас! — сказал он с видимым удовольствием, косясь на меня. — Невпроворот! — И снова отвернулся, будто решив, что я его не пойму. А я и не понимал. И злился еще.

Сам не знаю, почему злился. Может, оттого, что чувствовал: мы с Васькой словно два путника на дороге. Ходко шагают оба, но один все-таки быстрее идет, размашистей. А второй, как ни старается, настигнуть его не может. И тот, кто отстает, не виноват, и тот, кто уходит вперед, — тоже не виноват, хотя оба уговорились вместе идти. Вместе-то вместе, да не выходит. Вот я и злился.

Катер, пыхтя, словно уставший старик, подвел паром

к дебаркадеру, перевозчицы метнули канаты, надсадно заскрипели деревянные борта, и с парома стали съезжать подводы, газогенераторки, сходить пассажиры, на место которых потянулись другие подводы, другие газогенераторки, чадающие синим дымом, и другие пассажиры.

— Ну, давай пять, — сказал Васька, улыбаясь мне, будто настала самая радостная в его жизни минута, и вскинул мешок на плечо.

— Держи, — стараясь не расхлюпаться, ответил я в тон ему и протянул руку.

Я думал, что он что-нибудь скажет все-таки в последнюю минуту, но он взял мою ладонь, внимательно посмотрел на меня своими прозрачными глазами, тряхнул руку три раза и натянул поглубже на лоб фуражку.

— Пока, — сказал Васька и больше ничего не прибавил, а повернулся и пошел скорым шагом по хлипким мосткам.

Паромщицы перекинули канат назад, катер гуднул прерывисто и устало, потянулся изо всех сил вперед, вытащил из воды стальной трос, который, расправляясь, задрожал, как струна, если ее сильно дернуть, — и паром отодвинулся от дебаркадера.

Я увидел, как Васька снял фуражку и помахал мне.

— Буду в городе — зайду! — крикнул он хрипловатым своим баском и опять надел фуражку, сложил руки на барьере и уже не махал, не кричал — просто смотрел на меня, и все, пока река не разделила нас...

И вот теперь я лежал в траве, сдувал одуванчики, и как-то нехорошо было у меня на душе. Плохо мы простились с Васькой. И не объяснишь, почему плохо, а плохо. Мне все казалось, будто я что-то забыл.

Где-то что-то забыл.

* * *

Тобик крутился в траве, клацал зубами, гоняясь за своим хвостом, потом прижимал уши к затылку, замирал и срывался в кусты за бабочкой или толстой мухой, безмятежно тямкая и веселясь.

И когда он затыкал дольше и громче — так он обычно лаял на чужих, — я даже не обратил внимания. Подумал, что, может, бабочка ему какая-нибудь особенная попалась. Или схватил стрекозу, шелестящую

крыльями, а она изогнулась да и цапнула его своей страшной челюстью в мокрый нос.

Шаги я услышал неожиданно и, когда обернулся, рассмеялся: это была тетя Нюра.

— Тетя Нюра пришла! — закричал я, вскочив, и во двор выбежала бабушка.

— Ой, Нюра пришла! — причитала она. — Нюрушка-голубушка, кормилица наша!

— Полноте, Васильевна! — смеясь, сказала тетя Нюра, разматывая косынку. Лицо ее загорело до черноты. — Не вырвалась бы! Жатва! Да председатель погнал торговать. Целу машину, Васильевна, веришь ли, черпаком продала.

Бабушка заохала, запричитала, повела тетю Нюру домой, в холодок. Мама и тетя Сима были на работе. Бабушка поставила чайник, чтоб напоить гостью до поту.

— Знаешь что, Васильевна? — сказала тетя Нюра. — Симы нет, дак я у тебя.

— Как, как? — не поняла бабушка.

Но тетя Нюра рассмеялась и велела мне отвернуться.

Я послушно отошел, услышал, как прошелестели босые тети Нюрины шаги к дивану, что-то зашуршало, потом цокнуло об пол, и тетя Нюра засмеялась:

— Ой, пуговица оторвалась! Не выдержала выручки!

И бабушка засмеялась тоже, но как-то сухоовато, сдержанно.

— Поворачивайся, Кольча! — весело проговорила тетя Нюра.

Я обернулся и увидел на диване и рядом, на полу, кучу скомканных, мятых денег.

— Нюра, Нюра, — испуганно сказала бабушка, — откуда ты столько?

Но тетя Нюра заливисто хохотала.

— Да говорю же, Васильевна, машину молока продала! Полна машина с бидонами была!

Бабушка замолчала, испуганно глядя на кучу денег, а мне тетя Нюра велела весело:

— Помогай, Кольча! Красненькие — сюда, синенькие — сюда, зелененькие — вот сюда.

Я принялся разглаживать мятые деньги, складывать их по стопкам, а тетя Нюра все смеялась, все говорила — радовалась, что много наторговала.

— Теперь, — говорила она, — молочка у нас хоть залейся. Хлебушко, слава богу, вырос, но пока не мололи, без него сидим, это верно, а молочка хоть отбавляй. Ну ничего, вот и картошка приспееет, а там и хлебушек по плану сдадим, глядишь, справимся помаленьку.

Она тараторила, никогда я такой ее не видел, а бабушка все стояла как застылая, подперла кулачком подбородок и никак от денег оторваться не могла.

— Ой, Нюра, Нюра! — проговорила она. — В жизнь столько денег не видывала, разве что в революцию, так тогда на миллионы торговали.

— Я и сама не видывала! — смеялась тетя Нюра. — Как налью, деньги-то за лифчик сую и все думаю: ой, кабы не вывалились, казенные же!

— А считанное? — спросила бабушка, вглядываясь в тетю Нюру.

— Что? — не поняла она.

— А считанное молоко-то?

Тетя Нюра пронзительно взглянула на бабушку, и та сразу пошла к своим кастрюлькам.

— Считанное, не считанное, — ответила она хмуро, помолчав, — а денежки эти не наши, колхозные.

— Да я не об этом, — заговорила бабушка, возвращаясь от кастрюлек. — Я и не об этом совсем, как ты могла подумать! Я спросить хотела, как отчитываться-то будешь? И опять же, сколько тебе за труды положено? Целый день, поди-ка, на жаре проторчала.

— К жаре-то нам не привыкать, — сказала тетя Нюра. — Вон люди на уборке костоломят, а я тут, как кассир, деньги муслякаю.

— Вот Ваське-то работы, а, тетя Нюр? — спросил я, заглядывая ей в глаза.

— Нет, это не ему, — ответила она. — Это главному бухгалтеру сдавать буду. Васька счетовод. Счет ведет, сколько чего, каких гектаров сделано. Он до денег не допущен, потому как несовершеннолетний.

— Да и слава богу! — обрадовалась бабушка, будто боялась, что с деньгами Васька напутает.

— Ох, деньги, деньги! — вздохнула тетя Нюра, помолчав. — И вроде бумажка простая, а есть все же в ней сила!

— Охо-хо! — вздохнула бабушка. — Какая еще сила-то!

Но тетя Нюра будто и не услышала ее вздоха.

— Вот эти вот денежки-то, — сказала она, кивнув на диван, — на трактор копим, Васильевна. Ноне все на кобылах землю горбим. Было до войны три трактора, дак рассохлися. — Она засмеялась и добавила, становясь серьезной: — А теперь новый купим.

Я поглядел внимательно на тетю Нюру и вспомнил базар — бывал я там и с бабушкой, и с мамой, и один, — вспомнил ряды молочниц в белых фартуках, в белых нарукавниках, бойко орудующих железными черпаками с длинными ручками. Глядя на этих торговок, я всегда завидовал им, завидовал, что любая из них может взять и вот так, запросто, целый черпак молока выпить. А если захочет, и еще один: бидон-то у нее вон какой, два мужика еле с машины снимают. Торговки казались мне жмотинами и богачками — молоко стоило не дешево, и однажды я видел, как один старик покупал полчерпака. Молочница долго отплескивала из своего черпака, отлила, наконец, ругаясь, деду в бутылку, и он ушел, шаркая ногами. С тех пор я этих торговок особенно не любил.

И вот тетя Нюра. Она ведь тоже торговка. А торговала на трактор.

Я с интересом разглядывал Васькину мать. Рядом с ней лежали деньги, разложенные в стопки.

— Есть на трактор? — спросил я тетю Нюру, довольный, что и я к этому трактору имею отношение.

— На одну гусеницу! — ответила она, рассмеявшись. — Или на полмотора.

Я тоже засмеялся, представив, как по полю ползет не целый трактор, а одна только гусеница.

* * *

Оставив деньги на диване, тетя Нюра сбегала в магазин, принесла соли и спичек. Потом пришла мама, и мы уселись пить чай.

— Вы меня извиняйте, бабоньки, — сказала тетя Нюра, прихлебывая чай, — что молочка-то Николке я не привезла. На машине казенное было, а признаться у соседок не успела, погнался окаянный председатель прямо из конторы.

Мама и бабушка смутились, стали говорить: «Что ты, Нюра, да зачем, не такое теперь голодное время, все же лето», — но она, не слушая их, посмотрела на меня и сказала:

— Ну-ка, а может, Коле к нам податься? — И засмеялась: — Конечно! Живет парень в городе, глотает пыль, а у нас чистота! Раздолье!

Я сначала даже опешил. А потом вскочил, словно ошпаренный.

— Мама! — крикнул я. — Бабушка! Отпустите!

Видно, глаза мои сверкали, как угли, и голос звенел. Мама и бабушка нерешительно переглядывались.

— Он вам обузой будет, Нюра, — сказала наконец мама. — Ты на работе, Вася тоже. Не хватало еще тебе лишних хлопот.

— Ну и хлопот! — удивилась тетя Нюра. — Дитя малое, что ли? Вон глядите, — она кивнула на меня, — парень что надо! Самостоятельный! А скучать ему некогда будет. На уборку со мной поедет. По грибы с Васькой сбегают, порыбалят малость. Эх, да разве у нас соскучишься!

Ну тетя Нюра! Она сегодня просто нравилась мне. Веселая! На тракторную гусеницу молока продала. И маму с бабушкой в один миг уговорила.

Я стал отыскивать старый рюкзачок, суетиться, спешить, бегать по комнате, и мама, и бабушка, и тетя Нюра хором рассмеялись: отправиться-то мы должны были только завтра.

— Ну и что! — сказал я, смутившись. — Ведь рано, наверное, пойдем?

— Верно, — ответила тетя Нюра. — Пораньше отправимся, чтоб засветло добраться.

Всю ночь я просыпался, мне казалось, уже пора, тетя Нюра готова и сейчас уйдет без меня. Но было тихо, в темноте кто-то негромко всхрапывал, и я снова погружался в ненадежный сон. В последний раз я проснулся не сам, меня кто-то тряс за плечо, я отнекивался и прятал голову под одеяло, потом вскочил, крутя глазами. Тетя Нюра тихо смеялась.

Она сидела умытая, одетая, готовая в путь. Путаясь в рубашке, я торопливо оделся, попил чаю, повесил на спину легкий рюкзак.

— Ну, с богом! — сказала тетя Нюра и шагнула к двери.

— С богом, с богом! — как лесное эхо, откликнулись бабушка и мама.

А мама, наклонившись, шепнула мне:

— Осторожней там, Коля! В речку не лезь! И в лес один не ходи! Не кури еще, слышишь?

Я пожал плечом — было неудобно перед тетей Нюрой, что мама шепчет мне такие слова, будто маленькому.

Река, бурлившая весной, теперь, в июле, опала, сузила берега, разметала песчаные косы.

Мы переправились паромом и пошли по тропке, которая вилась через поле. Я почувствовал вдруг, что воздух пахнет смолой и медом.

Тропка наша то поднималась вверх, то ныряла в низину, заросшую высокими цветами с большими, яркими колокольцами.

— Это иван-чай, — говорила мне тетя Нюра.

— Почему Иван? И почему чай?

— А зовут так, — загадочно говорила тетя Нюра, — спокон веку зовут. Был, может, Иван, который из этого цветка чай варил? — Она смеялась, шагала размашисто, твердо переставляя сильные ноги, и я едва поспевал за ней.

Под ногами скрипели кузнечики, и, когда мы поднимались на холм, я всякий раз оборачивался: там, внизу, кузнечики при шорохе шагов умолкали, скрипели только те, что подальше; отсюда же, с высоты, поле иван-чая покачивалось, будто неторопливые морские волны, и тысячи, нет, миллионы кузнечиков в один тон пели огромным хором — сиреневое море покачивалось и пело, пело и покачивалось.

Я улыбался, догонял тетю Нюру, она поглядывала на меня искоса и спрашивала:

— Нравится?

Нравится! Еще бы не нравиться! Я бывал, конечно, в лесу и в поле тоже бывал, когда ездил в пионерский лагерь от маминного госпиталя, но там мы ходили и в лес, и в поле колонной — в затылок друг другу, и то, что я запомнил тогда, совсем не походило на это. Здесь было тихо, и никто не мешал мне смотреть и слушать. И я слушал, и смотрел, и дышал полной грудью.

* * *

— Вишь оконце открытое, — сказала тетя Нюра. — Васька подле него сидит. Поди напугай!

Она сидела на берегу ручья, держа в руках свои

стоптанные туфли, а ногами, как девчонка, болтала в воде, так что брызги летели.

— Иди, иди! — подговаривала она меня, и я, оставив свой рюкзак, крадучись пошел вдоль деревни.

У самой избы я согнулся и подкрался к окошку на четвереньках. Я не хотел, чтобы Васька меня увидел сразу. Я только приподнялся, чтобы взглянуть, там ли он и не ошибся ли я домом.

Медленно разогнувшись, я заглянул в окно и увидел Ваську. Он сидел, упершись кулаками в обе щеки, за ухом у него торчал тонко очиненный карандаш, и смотрел Васька прямо на меня.

Он смотрел остановившимся, пустым взглядом и не видел меня. Будто я был в шапке-невидимке. Или стеклянный.

— Вась! — позвал я шепотом.

Он был неподвижен. «Может, спит? — мелькнуло у меня. — Бывает же, люди спят с открытыми глазами».

— Вась! — окликнул я его снова, погромче, но он снова не услышал.

— Василей! — сказал кто-то громко из глубины комнаты. — Готово?

— Готово, — ответил Васька глухим голосом и, видно, очнувшись, увидел меня.

— Хухры-мухры! — пробормотал он удивленно, открыл рот, потом вскочил, с грохотом откинув стул; отточенный карандаш выпал из-за уха, и Васька вылетел как пробка прямо в окно.

— Васька! — кричал кто-то из глубины комнаты. — Васька! Обалдуй!

Но Васька ничего не слышал. Он изо всех сил жал мою руку.

— Ты чо? — басил Васька на всю улицу. — С луны свалился?

— С луны, с луны! — сказала подошедшая к нам тетя Нюра. — А ты отколь думал? — Она засмеялась и крикнула в окно: — Макарыч, примай выручку!

Из распахнутого окна высунулась лысая голова с маленьким носом, похожим скорее не на нос, а на закорючку. На носу, на самом краешке, сидели очки.

— Явилася! — занудным голосом сказал лысатик. — Не запылилася! Ох, Нюрка, Нюрка, как это доперла-то ты: по городу с деньгами таскаться! А ежели обчистят? За жизнь не рассчитаися!

Тетя Нюра махнула на лысатика своими стоптанными туфлями, которые держала в руке, и ответила:

— Ты, Макарыч, не скрипи-ка, а по такому случаю отпусти Ваську из конторы. Вон к нему друг с городу приехал.

Макарыч пронзительно оглядел меня с ног до головы и спросил тетю Нюру недоверчиво:

— А сколь выручила? — будто от этого зависело, отпустит он Ваську или нет.

— «Сколь, сколь»! — засмеялась она опять. — Все твои, сколь ни на есть.

Макарыч нехотя согласился. Тетя Нюра осталась в конторе, а мы побежали к Васькиному дому.

— Это кто? — спросил я.

— Главбух! — ответил Васька, хмурясь. — Ест меня поедом. То считай, это считай, будто я арифмометр. Арифмометру не доверяет, а мне доверяет, гад такой. Ни на шаг от себя не отпускает, будто я при нем адъютант какой.

— Сам виноват, — сказал я смеясь, — считальщик ты этакий!

Васькин дом стоял на пригорке и выделялся среди других желтыми, еще не почерневшими от ветра и старости бревнами.

— Красивый домина! — сказал я, желая польстить Ваське.

Он заулыбался.

— Отец построил! — ответил он. — Уже война шла, а изба еще недостроенная. Так веришь ли, отец даже ночью работал. Хорошо еще, осенью в армию взяли.

Он повернул круглое кольцо в воротах. Дверь со скрипом подалась, а мы очутились во дворе.

Чудным был этот двор. Он и на двор-то не походил, скорее на продолжение дома: такие же крепкие бревенчатые стены, крыша. И удивительно — двое ворот: одни на улицу, другие, Васька сказал, в огород. Во двор выходило высокое крылечко с крутыми ступеньками. Справа — еще две двери.

— Там сарайки, — объяснял мне Васька, водя по двору, — вот тут дверка в погреб, это ход на сеновал. А теперь айда в избу, да только голову наклоняй.

Я не очень прислушался к Васькиному совету, вернее, просто не понял, зачем мне наклонять голову, и,

переступая порожек, звонко стукнулся о притолоку — в голове будто колокола грянули.

— Эх ты! — сказал Васька и притащил мне столовую ложку: — На, приставь!

Боль медленно утихала, и я озираясь, все удивляясь. Со стороны дом казался большим, просто огромным, а внутри было даже тесно. Почти пол-избы занимала большая печка с черным огромным ртом. От печки под самым потолком шел деревянный настил.

— Это полати, — сказал Васька голосом экскурсовода. — Там бабка сейчас спит.

Я медленно оглядывал избу — широкие лавки вдоль окон, деревянный, добела скобленный пол, икону в углу.

На одной стене висела стеклянная рама, украшенная узорными цветами. За ней были фотокарточки. Я стал разглядывать их. Среди разных лиц меня привлекло одно: в белой рубашке, на гнупе венском стуле сидит человек и держит в руках гармошку. Мне показалось, где-то я его видел как будто, и я обернулся, чтобы спросить Ваську, но осекся. Конечно, он просто походил на Ваську. Вернее, Васька походил на него.

— Он? — спросил я.

— Отец! — подтвердил Васька и задумчиво объяснил: — Перед войной снимался.

Я вглядывался в простое, такое похожее на Васькино лицо человека в белой рубашке и представлял себе, как это было... Белое поле, сугробы и черные танки, ползущие на наших солдат. Медленно, словно нехотя, солдаты в темных шинелях, которые хорошо видны на белом снегу, поднимаются из сугробов и бегут назад, потому что им ничего не остается другого: против танков нужны гранаты. Но гранат нет, и солдаты отступают. Я не хочу верить, что еще немного — и их, живых людей, растопчут, словно глину, танки и они умрут где-то там, на сто первом километре. Я думаю, что Васькин отец повернется в последнюю минуту и побежит, вытянув винтовку со штыком прямо на стальной танк, хотя, может, такого никогда и не было. Васькин отец втыкает яростно штык в непробиваемую броню, и штык от удара выбивает окру...

Я шагнул назад, еще не в силах оторвать глаза от фотографии, и перехватил Васькин взгляд. Он пристально разглядывал меня.

— Слышь, — сказал я Ваське, развязывая свой рюкзак, — слышь...

Волнуясь, я вытащил несколько консервных банок, которые дала мне в дорогу мама, свитер, чистые рубашки, а со дна достал пилотку. Я положил ее вчера первым делом: пилотку мне подарил отец, когда зимой лежал в госпитале. Звездочку он снял и прикрепил на ушанку, а пилотку подарил мне.

— Слышь, — повторил я, протягивая пилотку Ваське: — Держи, это тебе.

Васька взял пилотку, посмотрел, все поняв, на меня и, не улыбнувшись, не сказав ни слова, подошел к зеркалу. Он надел пилотку и опустил кулаки. Я глядел в зеркало на Васькино лицо и видел, как он шевелит желваками.

— А тебе идет, — сказал я, чтобы хоть что-нибудь сказать: я чувствовал — сейчас надо непременно говорить, лишь бы не молчать.

— Идет, — пробубнил Васька.

— Ну, айда на улицу! А то я и деревни-то не видал.

— Айда, — откликнулся Васька, поворачиваясь ко мне. Теперь он был в норме, и желваки у него не шевелились. — Мамку там подождем. Покормит она тебя, тогда на речку сбегает. Порыбалим.

— Как живешь? — спросил я Ваську, когда мы уселись на крыльце.

— «Как, как!» — ответил он недовольно. — Счетоводю... Разве это жизни!

— А лошади? — спросил я.

— Лошади, — усмехнулся Васька, — на конюшне... Просился у председателя, да он и слушать не стал. А тут еще этот главбух, гад ползучий...

Васька умолк. Все было и так ясно. Главбух, этот лысый, с очками на носу, — гад ползучий, это действительно, это даже я с первого взгляда заметил. А председатель этого гада слушает и Ваську в конюхи не отпускает. «Но ведь он, наверное, прав, — подумал я про председателя, — зря, что ли, Васька целую зиму учился?»

Звякнула щеколда, пришла тетя Нюра. В руке она держала корзинку, в которой стояла бутылка молока, лежали яйца и помидоры.

— Ну-ка, ну-ка! — зашумела она радостно. — Мойте-ка руки да за стол.

Я мылся и хохотал, брызгаясь вокруг себя. Вода лилась у меня с локтей, заливала штаны, и все это — и плеск и мой смех — покрывал Васькин бас. Я смеялся над рукомойником. Никогда не видел такого: на цепочке подвешена медная кастрюлька с носиком. Чтобы вода полилась, надо взять за носик и чуть наклонить. Но от моих прикосновений рукомойник качался на цепочке, плескал воду, а Васька доливал его, хохоча надо мной.

Ему казалось смешным, что я не умею умываться из такого простого рукомойника.

* * *

Наскоро поев, я вскочил из-за стола. Васька ждал меня на крылечке, смоля самокрутку. В руке он держал корзину.

— А где удочки? — спросил я.

— В нашей речке, — сказал Васька солидно, втаптывая окурки в землю, — корзиной ловят.

Я удивился, но приставать с расспросами не стал. Мы быстро шли лесной, пружинистой тропой.

Речка открылась неожиданно. Просека раздвинула стены, лес перешел в высокие кусты, а за ними, среди зеленых берегов, извивалась узкая синяя полоса, шириной в три больших прыжка, не больше. В зеленой траве валялись какие-то малыши. Увидев нас, они загалдели, побежали навстречу, но вплотную не подошли, а остановились невдалеке.

Я разглядывал ребят, а они меня. Совсем маленькие были в рубашках, но без штанов, ковыряли в носу или с аппетитом жевали какую-то траву. Среди маленьких были ребята и постарше, с меня. Эти глядели пытливо, даже задиристо, и, судя по их взглядам, им мешал только Васька. Так мы стояли, глядя друг на друга, я и эти ребята, а Васька будто не замечал их. Сняв рубаху и штаны, он остался в белых кальсонах, развязал тесемки, закатал подштанники повыше и удивленно взглянул на меня:

— Колька! Дак ты чо?

Я медленно, смущаясь пристальных взглядов зрителей, среди которых были и девчонки, разделся до трусов и спустился в воду. Речка была прозрачная и светлая, она тихо журчала, песчаное дно просвечивалось

солнцем, и был виден каждый камушек. Васька стоял посреди речки, глядя на меня ожидающим взглядом. Я побрел к нему, как вдруг девчоночий голос сказал сверху:

— Вась, а это кто?

Я поднял голову. Прямо над нами, на берегу, стояла маленькая девчонка, класса так из первого, но верней всего, что она в школу еще и не ходила. Рыжие веснушки на ее лице так и налезали друг на дружку, словно им не хватало места. Выцветшее платьишко ее топорщилось. Я скользнул по девчонке равнодушным взглядом и вдруг почувствовал, как заливаюсь пунцовой краской. Девчонка стояла на берегу, прямо над нами, и я отвернулся, похолодев: под платьем у нее ничего не было.

— Гость мой, — отвечал Васька пигалице, поглядывая на нее и ничего не замечая.

— А как его звать?

— Николай, — терпеливо отвечал Васька.

— А он откель? Городской, что ли?

— Аха, — кивал Васька.

— Городско-ой! — протянула девчонка, глядя на меня, как на вымершего мамонта, и не собиралась уходить.

А я все краснел и краснел. Васька наконец взглянул на меня и, ничего не поняв, вопросительно сдвинул брови.

— Вась! — сказал я, покраснев, по-моему, до пяток. — Ну-ка, прогони ее.

Васька похлопал выцветшими ресницами, поглядел на девчонку, потом на меня, потом снова на девчонку и наконец сообразил.

Он схватился за живот и начал по-дурацки хрюкать. Это хрюканье перешло в дикий хохот. Васька шатался в воде, будто пьяный, хохотал и кричал девчонке:

— Маруська! Ой! Маруська! Отойди! Отойди!

Маруська догадалась, быстро присела, накрыв колени платьем, глаза ее испуганно хлопали. Потом она вскочила и побежала. Голые Маруськины пятки так и мелькали в зеленой траве.

Мне стало жаль маленькую девчонку, а Васька орал ей вслед:

— Маруська! В другой раз знакомиться в штанах приходи! — и снова хохотал, просто закатывался.

Я думал, Васька прогонит девчонку незаметно, чтоб не поняли другие, а он, как дурак, орал и издевался, и получилось, что это я виноват и что это из-за меня убежала бедная Маруся.

— Хватит тебе! — сказал я недовольно. — Сам-то хорош!

В закатанных кальсонах Васька и правда был не больно-то привлекателен. Тем более что подштанники были ему велики и сползали.

Улыбка сразу исчезла с его лица.

— Ну, ну! — проворчал он недовольно, покрываясь румянцем. — Ишь какой выискался, в трусах. У нас тут все так ходят. И бабы и мужики.

— Ври больше! — отмахнулся я.

Васька почему-то смутился, спорить не стал. Он внимательно посмотрел на меня и ничего не ответил. Мы принялись рыбачить.

В общем, это оказалось нехитрое дело. Мы подходили к какой-нибудь зеленой кочке на дне речушки, осторожно ставили перед ней корзину, шуровали ногами в водорослях, а потом быстро выдергивали корзину. На дне билось несколько маленьких рыбешек с черными спинками.

Когда мы сделали первый заход, я взял одну рыбку в руки. Она разевала пасть, возле которой были два уса.

— Усач называется, — объяснил Васька, выкидывая рыбок на берег. Ребятишки ловили их и насаживали под жабры на тонкую ивовую ветку. — Его прямо так, с потрохами жарить можно. Да если еще жишней залить — пальчики оближешь.

Солнце, отражаясь в воде, слепило глаза. Увлечшись, мы бегали по речушке, пока не стало смеркаться.

* * *

— У-у, — улыбнулась тетя Нюра, приподняв рыбу, — да тут на две жарехи хватит!

В избе было тепло, под таганком в печке потрескивали сухие полешки, весело разбрызгивая искры.

Тетя Нюра кинула половину рыбы на шипящую сковородку и стала торопливо причесываться, поглядывая на себя в зеркало.

— Куда ты, мам? — спросил Васька.

— Аль забыл? — удивилась тетя Нюра. — А еще в конторе служишь... На нынешний вечер собрание назначено.

— Вот еловая башка! — стукнул себя по лбу Васька. — Вылетело! Давай тогда скорее поесть.

Тетя Нюра залила рыбу яичницей, ловко выметнула сковородку на стол, положила ложки.

— По такому случаю, — сказала она Ваське, тронув меня за плечо, — можешь и не ходить.

— Но! — воскликнул Васька. — Не могу!

Как бы извиняясь, он добродушно оглядел меня и вдруг предложил:

— Айда с нами, Кольча!

Что за вопрос? Не догадайся Васька предложить, я бы сам напросился.

Наскоро доев рыбу, мы вышли на улицу. Небо густо посинело, солнце ушло за лес, и в летних сумерках было трудно разглядеть лица колхозников.

Народ сидел на лавках, расставленных вдоль улицы. На обочине вместо стола, покрытого кумачовой скатертью, как бывает на собраниях, стоял стул с графином, но без стакана. За стулом лежали бревна — на них располагался президиум.

Мы с Васькой подошли к лавкам, поискали свободные места сзади — там было все уже занято — и уселись в первый ряд. Нас заметили.

— Гляди-ко, — сказал чей-то женский голос, — мужиков-то прибыло!

И все засмеялись.

В президиуме, на бревнышках, сидели три дядьки. Одного я узнал сразу. Это был Васькин главбух Макарыч, второй ничем не привлек моего внимания, третий был без руки, в гимнастерке, рукав которой торчал из-под ремня.

— Председатель! — кивнул на него Васька и добавил уважительно: — Терентий Иванович.

«Вот он какой, оказывается, — с интересом разглядывал я председателя. — А я думал, толстый и с красным носом. Ведь он его зимой отморозил».

На гимнастерке у председателя поблескивали ордена. Он тихо переговаривался с соседями — Макарычем и вторым, — поглядывал на лавки, заполнившиеся народом. Я обернулся и даже привстал, чтобы проверить себя. На лавках сидели одни женщины да еще несколько

ко стариков. Один дед сидел сразу за мной. Был он обут в валенки, опирался на суковатую палку, и голова у него тряслась. На рубашке у деда висели две медали — я их узнал, такие же были у мамы: «За трудовое отличие» и «За победу над Германией». Рубашку дед по-старинному подпоясал тесемкой. «Ишь, — подумал я, — как на парад собрался. Нарядный. И медали надел».

В полумраке с бревен поднялся однорукий председатель и подошел к стулу с графином.

— Товарищи женщины, — сказал он, задумался, словно что-то забыл, и добавил: — И старики! — Председатель заправил пустой рукав поглубже за ремень. — Вот какое наше дело! — Он вздохнул и оглянулся на бревна. — А дело наше, скажу прямо, — решительно проговорил председатель, — хреновое. Как в обороне. Сидим, окопались, и сил не осталось. Наступать не с чем. Эмтээсовский комбайн опять сломался, и эти анжаны, которые только что с танка слезли, к стыду своему, справиться с ним не могут.

На лавках засмеялись, а Васька толкнул меня локтем.

— Руку-то, — шепнул он, кивая на председателя, — под Сталинградом похоронил.

Я вспомнил желтые, словно масляные, листочки с картинкой, где седая женщина показывала на слова «Родина-мать зовет!». Эти листочки, исписанные химическим карандашом, присылал нам отец — сначала из-под Москвы, а потом, после госпиталя, из-под Сталинграда. «Вот как повезло нам, — подумал я. — У этого председателя руку под Сталинградом оторвало, а под Москвой у Васьки отец погиб. Мой же отец воевал и там, и там, а остался жив, только ранило его. А могло бы... могло...».

Я повернулся к Ваське, шепнул ему, что подумал.

— Счастливый ты, — ответил Васька и вздохнул.

— Видите, товарищи, — продолжал негромко Терентий Иванович, — война кончилась, а я вам пока ничего хорошего сказать не могу, кроме одного: опять на вас вся надежда. В будущий год или нынче в осень, — он обернулся на главбуха, — может, купим свой трактор, завожаем от района — пусть штаны с меня снимают.

Дед за моей спиной крикнул с натугой: «Правиль-

но!» — и все засмеялись, потому что непонятно дед выразился, что правильно: или трактор захватить, или штаны с председателя снять.

Терентий Иванович тряхнул головой, поднял руку.

— Но это еще в будущем году, — сказал он. — До него дожить надо. Пока же вся сила в вас, в ваших руках и мозолях. И надеяться нам не на кого.

Терентий Иванович взял рукой графин, попил прямо из горлышка. В рядах вздохнули.

— Да, товарищи бабы, вернее — женщины! Война кончилась, но надеяться нам пока не на кого. И нельзя нам надеяться, поймите сами. Вот был я в Сталинграде, воевал там, вы знаете. Что от города осталось? Одни развалины. Дай бог, один целый дом устоял, а так все подчистую!.. Не знаю, как, — нерешительно добавил председатель, — разгрести будут. Наверное, чтоб только землю выровнять для новых домов, еще не год потребуется.

Он помолчал, зорко вглядываясь в темноту.

— Это один Сталинград, а ведь таких городов сколько порушено! Сколько деревень пожгли, гады, мостов, заводов! Так как же мы, товарищи бабы, можем с вами требовать помощи от государства? Наоборот, — он причесал пятерней волосы, — наоборот, мы государству должны помочь!

Тишина стояла на улице, никто ни слова не сказал, не вздохнул. Даже деревья не шелестели, словно и они внимательно слушали речь председателя.

Председатель шагнул вперед, подвинул стул. Графин, тихо звякнув, упал в траву, и стало слышно, как льется из него вода. Но Терентий Иванович ничего не заметил. Он шагнул вперед и сказал с таким жаром, что голос у него дрогнул:

— Поэтому я прошу... — он передохнул, — прошу вас, товарищи женщины, дорогие наши жены, матери и сестры, прошу вас, наши отцы и деды, завтра всех, кто только стоит на ногах, подсобить колхозу.

У меня по коже даже мурашки проползли, так он это сказал.

— Я не приказываю, — говорил председатель, — а прошу...

Он замолчал, а снова заговорил уже вполголоса. Но его слышали все.

— Опять звонили из района, — сказал председатель

устало. — Мы должны сдать хлеба не по плану, а вдвое больше, оставив только на семена и самую малость на трудодни. Трудодень, говорю заранее, будет бедный, и зимовать придется тяжело. — И он вдруг проговорил со злобой: — Был бы последним подлецом, если бы сказал вам сейчас неправду. Если бы обнадежил, а потом обманул. Обманывать мне некого.

Терентий Иванович отошел к бревнам и закурил. Огонек самокрутки дрожал в его руке.

— И еще я хочу сказать, — произнес председатель, — чтобы вы, товарищи женщины, старики и ребята... — Он помолчал, будто не знал, что сказать дальше. — Чтобы вы простили нас, мужиков. Простили нас за то, что мы обещали вам вернуться, а слова своего не сдержали или вернулись вот такие! — Он со злостью хлопнул себя по пустому рукаву.

— Не томи душу, Терентий! — крикнул сдавленный женский голос.

И снова стало тихо.

— Простите нас за это, — проговорил председатель и вдруг низко, в пояс, поклонился собранию.

В горле у меня запершило.

— В каждую деревню, — сказал тихо Терентий Иванович, — не вернулись солдаты, но у нашей Васильевки особый счет к фашистам. — Он сипло дышал, стараясь успокоиться. — Но у нас особый счет и к Родине. Мы ей должны за себя и за ваших мужей. Мы должны работать так, чтобы никто не почувствовал, что только шестеро мужчин вернулись в Васильевку с войны. Все должны знать: солдаты — и мертвые и живые — вернулись! Вернулись с победой!

Председатель рубанул единственной своей рукой воздух, словно поставил точку, и сел на бревно.

На улице было тихо, никто не шевельнулся. Только комары звенели в синем воздухе. Деревня будто онемела.

Терентий Иванович сидел на бревнах серой тенью, лицо его изредка освещалось огнем самокрутки, он по-нурился, будто никакого собрания тут нет, а сидит он один и думает о чем-то. Я подумал, что председатель так и будет сидеть тут, так и не заметит, как разойдутся с собрания люди, и, может, просидит на бревнах, задумавшись, до утра, но Терентий Иванович сказал медленно, как бы раздумывая, и сказал это не собранию, а кому-то одному, своему товарищу.

— Вот что, женщины, — сказал он, — свезти бы нам со всего света — из-под Сталинграда, из-под Курска, из-под Ленинграда, из-под Берлина — наших солдат да положить бы их в одной могиле на околице деревни. Только это, пожалуй, невозможно. Но зато возможно, я думаю, поставить памятник погибшим солдатам. Чтобы каждый, кто приходит и приезжает к нам, мог поклониться им. Когда-нибудь поставим мы нашим бойцам настоящий памятник, но ждать богатых времен, думаю, не дело. Давайте-ка срубим пока простой памятник, простую пирамиду из дерева и напишем на ней имена всех павших мужиков. Вот ты, Трифон Ильич, — кивнул председатель старику с медалями, — ты, Марья Ивановна, ты, Кузьма Трофимович, старые люди. Вы свое отработали, толку в поле от вас будет мало. Приходите завтра на околицу — и я с вами, однорукий, — попробуем сколотить этот памятник. А вы, женщины, — сказал он, поворачивая медленно голову, как бы оглядывая каждую колхозницу, — а вы, работая в поле, думайте об этом памятнике. — Он помолчал и прибавил, гася самокрутку: — Так и будет. Собрание закрыто. Все.

* * *

Я проснулся и ничего не понял. Вокруг меня были какие-то холмы, а сверху падала стена.

Мгновение я лежал оцепенелый, но пригляделся, облегченно вздохнул и засмеялся: сверху ничего не падало — это была крыша. Солнечные лучи просачивались сквозь щели, струились вниз, словно лучи маленьких прожекторов, и оставляли на холмах сена желтые полосы и пятна. Я глубоко вздохнул и шевельнулся. Сено весело зашуршало; оно пахло ветром и ромашкой.

Я потянулся. Тело было легким и сильным.

— Васька! — шепнул я.

Никто не откликнулся. «Вот дрыхнет, — подумал я, — богатырь Илья Муромец», — и вскочил на ноги. Рядом лежало распластанное одеяло, но никого не было. Я стал, крадучись, спускаться по скрипучей лестнице вниз. Васька, наверное, еще в ограде, как он выражается, и тут я на него налечу. Я переступал тихо, осторожно, чтобы не скрипнула незнакомая лестница, и

вдруг что-то мокрое и шершавое лизнуло меня в пятку. Тут же раздался хриплый рев. Я обомлел и повернулся. На меня глядел черными, выпуклыми глазами добродушный теленок, взмахивая тонким, как веревочка, хвостом, и мычал.

Я сел на лестницу и засмеялся, а теленок снова стал лизать мою пятку, и мне теперь было ужасно щеотно. Я заливался изо всех сил. Все равно Васька, если он дома, уже меня услышал.

Но никто на лестницу не заглядывал, и я вошел в дом.

Возле окошка сидела бабка и перебирала грибы.

— Здрасьте! — сказал я, оглядываясь. Но Васьки и тут не было. — А где Василий?

— Должно, в конторе, — ответила бабка скрипучим голосом, — а может, на конюшне. Шибко любит там околачиваться.

— А тетя Нюра? — спросил я.

— На жатве, соколик, — спокойно отвечала бабка. — Накормить тебя велела. На-ко, садись...

Она поднялась, подошла к печке, загремела там чем-то и вытащила, согнувшись, на стол сковородку с жареными усаками.

«Нарочно оставили», — думал я, улыбаясь, о тете Нюре, о Ваське, об этой коричневой, высушенной бабке.

— А грибы откуда? — спросил я бабуку, с аппетитом жуя хрупких усачей.

— Из лесу, соколик, — ответила она, — вестимо, из лесу, откель еще? Вот утречком сбегала, набрала на грибовницу.

Я снова почувствовал себя виноватым: соня-засоня, вон даже бабка дряхлая и та тебя обставила, уже грибов принесла.

Ложкой я разделил сковородку на четыре части, четверть усачей съел, остальное оставил и пошел искать Ваську.

В конторе его не было.

— Где твой остолоп? — спросил меня Макарыч и усмехнулся. — Пропал? — Он достал из угла большой треугольник. — Иди-ка вот на конюшню! — велел он мне сердито. — Отдай ему эту штуку и скажи, чтоб обмерил жнивье у Белой Гривы. Понял?

Я кивнул.

— Да скажи, чтоб мигом обернулся! — крикнул мне вслед Макарыч.

Я шагал по улице, разглядывая шутовину, которую дал мне главбух. Нет, это все-таки не треугольник. Скорее на циркуль похоже. Две палки с перекладиной, а сверху одна палка длинней, вроде как ручка. Я взялся за нее и стал перекидывать циркуль с ноги на ногу — получалось быстро и удобно.

Ни бабка, ни Макарыч не ошиблись: Васька возле конюшни запрягал лошадей.

— Здорово, засоня! — сказал он, увидев меня. Вид у Васьки был деловой: к губе прилипла самокрутка, и он хмурил от дыма глаза, сосредоточенно морщил лоб. — Помнишь, ты мне в городе говорил, умею ли я запрягать. Гляди! Учись! Вот это постромки, вот это гуж, вот узда, а вожжи вот сюда заходят.

Я глядел на это сплетенье ремешков и ремней, толком ничего не понимая, и любовался Васькой. Даже в самые вдохновенные минуты, когда на своих счетоводских курсах он в уме умножал тысячи и делил миллионы, я не видел на его лице такого наслаждения. Сейчас Васька причмокивал, хлопал коня по спине, трепал морду, чего-то бормотал. Глаза его поблескивали, и, хотя он старался не улыбаться, видно было, что сдерживается Васька через силу.

— Ну а как же работа, — спросил я Ваську не без ехидства, — по счетоводной части?

Он усмехнулся:

— Словил тебя, значит, Макарыч? И что велел?

Я передал Ваське руководящее указание главбуха.

— Ну вот! — горестно сказал он вдруг. — Коня пахать запрягаю, а сам с этим дрыном ходи! — он кивнул на циркуль.

Из-за конюшни вышли спиной к нам две теткы. Они тащили что-то тяжелое. Васька подбежал к ним. Крякнув, они взвалили на телегу плуг, сверкнувший на солнце отточенным лезвием.

— Ну все, кажись, Матвеевна? — спросила одна.

Она была худая, с вытянутым, как у лошади, лицом и костлявыми руками. Юбка и кофта, серые, заношенные, висели на ней, будто занавески, — складками.

— Все, — ответила вторая, тоже пожилая, но покруглее и почернявее. — Спасибо тебе, Василей, помог пахальницам, и на том ладно.

— Погодите, бабы, — сказал Васька, отнимая у меня циркуль и укладывая его на телегу. — Мы с вами! Макарыч велел ваш клин замерить.

— Чтоб его черти съели, этого Макарыча! — ругнулась Матвеевна. — Все ему вымерять надо, будто кто недопашет, будто кто недосеет!

Тетки уселись на телегу и тронули лошадь. Она не спеша развернулась и понуро побрела в гору.

Я беспокоюсь глядел, как телега обгоняет нас, но Васька не торопился садиться.

— Отстанем ведь, — сказал я.

— Да нет, — ответил Васька, — они нас у дома подождут. Мне еще корзину прихватить надо. Лошади в гору тяжело — ей пахать придется. С неделю, подика, без передыху.

Действительно, телега ждала у Васькиного дома. Он побежал в ограду, вышел с корзиной, и мы отправились дальше. Только когда дорога шла под уклон, Васька вскакивал на телегу, помогая забраться и мне. Лошадь по такой дороге бежала прытко, но когда начинался подъем, мы слезали снова.

В одном месте шел длинный пологий спуск, и мы надолго подсели к теткам. Плуг сухо постукивал о телегу.

Всю дорогу мы не проронили ни слова — ни женщины, ни мы с Васькой, словно ехали на похороны. Даже лошадь никто не понукал, не кричал на нее, не чмокал. Она шла сама — когда быстрее, когда тише, и я подумал, что не один Васька, значит, жалеет лошадей, и не зря, выходит, жалеет.

— Вась, говорят, мать-то твоя молока в городе много наторговала? — спросила вдруг худая тетка.

— Наторговала, — ответил Васька сухо.

— А в район-то она все ездит? — спросила худая.

— Ездит, — ответил Васька.

Они помолчали.

— Все про отца спрашивают? — сказала Матвеевна.

— Аха, — ответил Васька, — про отца.

— Охо-хо! — вздохнула худая. — Нюре хоть спросить-то есть кого, а нам и этого нету.

Колеса постукивали по пыльной дороге.

— Вась, — сказала Матвеевна, — это тот инвалид-то в сапожной стучит?

— Он, — кивнул Васька.

— Без обеих вить ног, без обеих... — вздохнула худая и как-то странно поглядела на Ваську.

— Где их возьмешь теперь, — тоскливо сказала Матвеевна, — с руками-то чтоб да с ногами. — Она помолчала и опять вздохнула. — Ох, дождемся ли, старенька, когда мужики-то за плугом пойдут, а?

Они рассмеялись.

— Васы! — спросила худая, кивнув на Васькину пилотку. Он как надел ее вчера перед зеркалом, так, кажется, и не снимал. Даже рыбачил в ней. — А откель обнова-то?

Васька долго не отвечал, словно задумался, потом сказал:

— Вон его отца.

— Живой? — спросила меня Матвеевна.

— Живой, — ответил я. — Скоро приедет.

— Охо-хо! — вздохнула худая. — Все же есть хоть счастливые.

— И слава богу! — вскинулся вдруг Васька, словно защищая меня.

— Конечно, конечно, — ответила худая, оборачиваясь к Ваське. — А ты чо, соколик, думаешь, я позавидовала? — Она вздохнула. — А и то позавидовала... Только, дай бог, чтобы все отцы к вам вернулись.

Все опять надолго замолчали. Цокали копыта. Наконец Васька показал мне на белую каменную осыпь. Это и была Белая Грива.

Внизу, под осыпью, и справа и слева растекалось сжатое поле. Васька торопливо распряг коня, вместе с женщинами зацепил плуг.

— Ну чо, — сказала худая, — давай, Матвеевна, благословясь, я первая, опосля ты.

Худая ухватила за ручки плуга. Матвеевна взяла лошадь под уздцы и, напрягаясь, все троим — и лошадь, и женщины — отвалили жирный, блестящий на солнце пласт земли.

Васька хмуро глядел вслед теткам, а они уходили все дальше, вдоль длинного поля.

— Я обмерю, — сказал мне Васька, — а ты клевера в корзину набери. Вишь, цветочки?

— Кашку? — спросил я.

— Кашку, кашку, — ответил, не оборачиваясь, Васька.

Он шагал по сжатому полю, и ветер пузырем надувал его зеленую рубашку. Ту самую, в которой Васька приехал тогда в город.

Он шел размашистым шагом и всеми ухватками — тем, как он двигался, как ловко поворачивал циркуль, как говорил перед этим, — был похож на взрослого.

* * *

Жужжали полосатые шмели, трепетали крыльями стрекозы, то повисая на месте, то срываясь стремительно вбок. Я обрывал тонкие сиреневые цветочки от клеверной головки и сосал сладкий сок, развалиясь в траве. Мне было хорошо и радостно, пока мой взгляд не нашел в бесконечном черно-желтом поле напряженную, понурую лошадь и двух женщин. Мне стало совестно, я вскочил, торопливо обрывая кашку.

Когда корзина наполнилась и я подошел к телеге, Васька уже вернулся и вбивал топором в землю какие-то палки.

— На нож, — сказал он мне, — срезай ветки подлиннее. — Лицо его было напряженным и хмурым. — Надо сделать шалаш. Им тут неделю ишачить.

Тетки проходили мимо нас. Теперь они поменялись местами, но уже совсем вымотались. А прошли всего рядов пять-шесть в бесконечном поле.

— Двенадцать га! — сказал зло Васька. — Эх, хухры-мухры, трактору бы тут на один день! — Он плюнул и яростно заколотил топором.

Васькина злость передалась мне. Срезая ветки, я с силой, зло нажимал ножом, будто дрался с противником. Пот полз мне в глаза, но я даже не вытирал его, а только сдувал.

Шалаш получился на славу! Васька напихал туда сена, кинул два одеяла с телеги и вздохнул, посмотрев на теток: они сделали еще три хода вдоль поля.

Напротив нас тетки остановились.

— Васька! — крикнула одна. — Водицы подтащивка!

Васька схватил ведро, исчез за кустами, а когда появился, через край ведра переплескивалась вода.

«Тут, значит, и ручей есть», — подумал я и подошел вслед за Васькой к женщинам.

— Матвеевна, — сказал Васька, поднимая ведро, — вы ну-ка отдохните, а мы с Кольчей попашем.

Я думал, Матвеевна скажет: «Ну куда вам!», —

откажет просто-напросто, но она молча кивнула головой. Пот струился с нее ручьями, а худая посерела от натуги, и большие глаза ее, кажется, стали еще больше.

Тетки попили и пошли к шалашу. Васька поил лошадь.

— Но, но, — ласково приговаривал он, то поднося ей ведро, то отнимая. — Не торопись, зайдешься! Погоди, золотко! — Прямо как с человеком разговаривал.

Потом я вел лошадь под уздцы, как показал мне Васька, а сам он держал плуг. Напившись и передохнув, лошадь шла веселее, бойко пофыркивала, и наш ряд получался ничем не хуже соседних. Мне не терпелось обернуться, поглядеть на Ваську, а еще больше не терпелось попросить его дать попахать мне. Но лошадь шагала, я должен был внимательно смотреть вперед.

Наконец Васька пробасил: «Тпрр-ру!» — и лошадь послушно стала, натруженно дыша.

— Васька! — потребовал я. — Теперь моя очередь!

Он усмехнулся, недоверчиво поглядел на меня, но кивнул.

Я взялся за скользкие ручки плуга, Васька чмокнул, и лошадь двинулась.

Лошадь сама тащила плуг, а я только должен был ровнять ряд, но это получалось нелегко.

— Налегай! — крикнул мне Васька. — Глубже паши!

Я послушно налег, прошел несколько метров и вдруг почувствовал, как налились тяжестью руки. Когда я вел лошадь под узду, идти было легко по твердому полю, теперь же я шел по паханой мягкой земле, ноги проваливались и деревенели. Пот застилал мне глаза, я уже не наваливался, чтобы борозда выходила глубже, я просто держался за плуг, а лошадь и Васька и эта железная штуковина с острым ножом тащили меня за собой, как на прицепе.

— Ну вот, — сказал Васька, останавливая коня.

Я с трудом разжал онемевшие руки и отшатнулся от плуга. В голове гулко стучала кровь, пот капал с подбородка. Я утерся рукавом, едва дыша.

Мне было стыдно за свою немощь. Я думал, Васька меня крепко обругает, но он неожиданно похвалил:

— Молодец, Кольча!

Мы поменялись местами и пошли дальше. Васькина похвала меня успокоила, приободрила. «Да нет, — подумал я, — не так уж и плохо для первого раза. Вот кабы я все время в деревне жил, выходило бы не хуже Васькиного».

Я посмотрел вокруг себя еще раз, мысленно обмерил поле. Ему, казалось, не было конца и края.

Лошадь стала, тяжело поводя боками, тетки подошли к нам.

— Ну, мужики, — сказала, посмеиваясь, худая, — уважили, спасибо. А теперь идите.

— Макарыч-то тебе задаст, — сказала Матвеевна, глядя на Ваську.

— Ну его! — пробубнил он, утирая пот.

Матвеевна чмокнула на лошадь, та нехотя двинулась вперед, а мы с Васькой пошли в деревню.

Дорога вела в гору, и понурая лошадь да две фигурки возле нее долго были видны нам.

Мы молча оборачивались, молча вглядывались в них и молча шли дальше...

* * *

— Николка, — прервал молчание Васька, — батя-то не пишет, когда вернется?

— Никак не отпускают, — ответил я.

— Отпустят! — вздохнул Васька. — Скоро всех солдат отпустят! — И усмехнулся: — Наших вон всех отпустили.

— Как? — удивился я. — Уже всех?

Но как-то странно сказал это Васька.

— А у нас и возвращаться-то всего шестерым пришлось, — ответил Васька. — Двое сразу в эмтээс подались. Один без ноги, милиционером работает. Дядю Терентия председателем выбрали. Да двое еще бригадируют.

— И все? — спросил я, не подумав.

— И все, — ответил Васька спокойно, но я уже вспомнил, как говорил вчера председатель про счет фашистам.

Я остановился.

— Шестеро? — спросил я испуганно. — А сколько же на войну уходило?

— Мужиков шестьдесят, — ответил Васька. — Это

сразу, как войну объявили. Да потом еще парней забирали, кто подрастал. Душ семьдесят.

Мы остановились на вершине холма и в последний раз обернулись на двух теток и коня.

— Кабы хоть половина, — сказал задумчиво Васька.

Он вздохнул и резко отвернулся. Мы пошли торопливо, чуть не бегом.

— А вот ежели, — спросил, не глядя на меня, Васька, — отец бы твой не вернулся? Ну, погиб. А мать бы твоя нового отца привела?

— Как это — нового? — пожал я плечами. — Отец один, другого не бывает...

— Ну ладно, — перебил меня Васька, — снова бы замуж вышла! Не понимаешь, что ли? Чо бы ты делать стал?

Он говорил зло, раздраженно, и я удивился: что это с ним?

— Что делать, что делать? Не остался бы дома! Сбежал!

— Куда? — недоверчиво засмеялся Васька, будто это его касалось.

— В ремеслуху, например, — ответил я, — или в детдом. Соврал бы, что у меня никого нет.

— В детдом! — зло воскликнул Васька.

— Да ты чо ерунду-то мелешь? — удивился я. — Ежели да кабы, то во рту росли грибы!

— Это я так, — сказал он, криво усмехаясь, — вообще...

Чтоб сократить путь, Васька свернул с дороги, и мы пошли тропой через густо заросшее поле. Васька наклонился на ходу, сорвал что-то, остановился. В руках у него был стручок. Он размял его и высыпал на ладонь желтые горошины.

— Переспел уже, — сказал Васька, — а убирать некому, — и отправил горошины в рот, аппетитно зачавкав.

— Горох, что ли? — спросил я и, обрадовавшись, начал рвать стручки.

— Ты это чо, ты чо? — воскликнул Васька.

— Горох рву, — ответил я удивленно. — Не видишь?

— Нельзя же, дурень, — сказал он. — Горох колхозный, увидят, еще засудить могут.

— Засудить! — усмехнулся я. — Как это — засудить?

— А так, — ответил Васька нерешительно, — за хищение колхозного имущества. Ну да ладно, — сказал он, вздыхая, — только по одному карману наломаем, понял? По карману, не больше.

То ли давно мы не ели, то ли просто горох оказался вкусный, но за ушами у нас аж пищало.

— Ты это, — сказал мне смущенно Васька, — стручки-то пустые подальше в сторону кидай, а то увидят.

— Ну, и увидят? — засмеялся я.

— Увидят — другие нарвут, — сказал Васька. — А если каждый по карману наломает, какой убыток, как думаешь?

Я пожал плечами, но пустые стручки стал бросать подальше от тропки.

— Меня до войны, — улыбаясь, сказал Васька, — знаешь как отец ремнем выдрал! Вот так же надергал я полную пазуху гороху, прибег домой, на стол вывалил, улыбаюсь, — мол, глядите, добытчик, в дом гороху принес. А отец снял ремень с гвоздя и так меня отходил! Пискун, говорит, ты голобрюхий, и откуда, говорит, в тебе кулак взялся! Я тогда-то не понял, что за кулак, уж потом, в школе, объяснили. Но как отец порол, помню. И как кулаком обозвал — тоже...

Васька улыбался, словно отцовская порка ему теперь в удовольствие казалась. Потом сразу нахмурился. Мы стояли перед конторой.

— Айда! — позвал меня Васька к себе на работу. — Посидишь, поглядишь.

Мы вошли в избу.

— Тебя за смертью посылать! — прогнусавил из-за своей конторки Макарыч. — Сводку обчислить надо, в район передать, а тебя носит, лешак подери!

Васька промолчал, выразительно посмотрев на меня: мол, видишь.

— На столе бумаги, давай считай скорее, — велел Макарыч, — потом поговорим, при Терентии.

Васька тоскливо зашелестел бумагами, подвинул к себе счета, начал громыхать костяшками, Макарыч скрипел ржавым, что ли, пером. Я оглядывал контору — ряд старых стульев, портрет и забавный телефон на стене, похожий на скворечник, только с ручкой.

Васька дал длинную очередь на счетах, потом задумался, поглядел на меня, перевел взгляд за окошко и машинально вытащил из кармана несколько стручков. «Шляпа! — подумал я. — Сам наказывал пустые стручки подальше кидать, чтоб никто не заметил, а тут вдруг вытаскивает». Едва я подумал это, как Макарыч спросил Ваську безразличным голосом:

— От Белой-то Гривы пешком шли?

— Аха! — безмятежно ответил Васька.

— Через поле? — лениво говорил главбух.

— Аха, — отвечал Васька.

— А горох оттуда? Колхозный?

Васька побледнел, прикрыл было ладонью несколько стручков, лежавших на столе, и резко повернулся к своему начальнику.

Глаза у Васьки сузились в щелки, а Макарыч шел к нему, медленно, не спеша шагал через комнату, сдвинув очки на кончик носа.

— Ну-кась, — сказал он неторопливо, — выворачивай.

Васька послушно вывернул пустой карман. Видно, эти стручки были последними.

— Колхозный горох-от? — наступал Макарыч. — Аль со своего огорода? — Васька заливался краской. — Да нет, со своего не может быть, домой не заходили — вон и корзинку с клевером занести не успели. — Васька краснел, но молчал. Тогда Макарыч указал на меня пальцем: — И гостя своо воровать учишь? — Ваську уже всего трясло. — Ну-ка, милочек, — направился ко мне главбух, — выверни карманы.

У Васьки оставалось три стручка, а у меня карман был почти полный: я просто не поспевал за Васькой, он как-то быстро доставал горошины из сухих оболочек. Но вывернуть карман — значило доказать этому курносому бухгалтеру, что все, что он говорит, правда и мы с Васькой украли горох.

С меня спрос невелик, я как приехал, так и уеду, а что про Ваську говорить станут? Я вспомнил, как он отговаривал меня рвать этот горох, как рассказывал про отца.

Нет! Вывернуть карман — значило предать Ваську. Никакой Васька не вор. Я шагнул навстречу главбуху. Сейчас я ему скажу, что Васька не виноват, что это я. Только спокойно. Спокойно! Неожиданная мысль коль-

нула меня. Но ведь ясно же, что мы были вдвоем. Скажут: «Васька, а ты куда смотрел?!» Скажут: «Раз ты там был, значит, тоже виноват, значит, вы вместе!»

Я уже открыл рот, чтобы взять всю вину на себя, и в последнюю секунду — буквально в последнюю — сказал другое:

— А вы, товарищ главный бухгалтер, зря горячитесь. Да, у меня полкармана гороху. Но мы этот горох взяли из дому еще с утра.

Макарыч отступил и подпернул очки к глазам. Никак он не ждал такого. Да и я-то, честно сказать, не ждал.

Он ушел к своей конторке, сел и сказал оттуда:

— А мы это проверим.

— Проверяйте! — сказал я безразлично.

Вот за это-то я мог поручиться: никто нас с Васькой в колхозном горохе не видел.

* * *

— Вообще-то ты молодец, — сказал, вздохнув, Васька, когда пересчитав все, что требовал Макарыч, он освободился и мы вышли на улицу. — Только если ему вожжа под хвост попадет, худо будет. Дома-то мы нынче гороху не сеяли, вынюхает, под суд подведет, паразит.

— Да неужто, — возмутился я, — за два кармана гороху?..

— Вот тебе и «неужто»! Порядок такой есть: пригоршню возьмешь — и то посадить могут. По законам военного времени.

— Так война-то кончилась! — удивился я.

— Война-то кончилась, а законы остались.

Я вздохнул. Нет, что-то тут не так, несправедливость какая-то. Ладно, я здесь чужой, меня, может, и надо судить за карман гороху, но Васька-то, Васька — тутошний, колхозный. Он же не только считает, он и коней запрягает, и пахал сегодня, хотя его никто не просил. Неужто же ему за это кармана гороху жалко?

Мы сидели на завалинке. Васька, хмурясь, дымил сигаркой. Вдруг он напрягся, прислушался.

— Машина идет, — объявил Васька и, помолчав, прибавил: — Не эмтээсовская.

— Как это ты узнал? — спросил я, прислушиваясь к далекому тарахтению.

— По мотору, — ответил Васька. — К нам тут одна машина ходит, за молоком, а эта — другая.

Рокот мотора усилился, и через несколько минут, заслонив улицу пылью, прямо у конторы затормозила газогенераторка с фанерным фургоном вместо кузова.

Из кабины выскочил шуплый старик шофер, за ним вышла большая, пухлая тетка.

— Прймай подмогу! — крикнул весело старик и распахнул у фургона заднюю дверцу.

— Хе, подмога! — проворчал недовольно Васька. — Стрижем-бреем да гуталином торгуем.

Из черного нутра фургона, кряхтя, сползла короткая седая старуха, ростом меньше меня, затем втроем — старуха, старик шофер и пухлая тетка — стали вытаскивать из фургона еще что-то, тяжелое и неудобное.

Когда они расступились, я опешил. На тележке с шарикоподшипниковыми колесиками сидел безногий дядька в офицерской фуражке. В одной руке он держал некрашенный фанерный чемоданчик.

Безногий оглядывался вокруг, говорил что-то теткам и старику шоферу, потом сильно оттолкнулся свободной рукой и поехал к нам.

— Здорово, хлопчики! — крикнул он издалека. — Не найдете ли гвоздика подлиннее, ногу вот свою хочу подковать.

Дядька, улыбаясь, подъехал к нам.

— Вот было две ноги, — сказал он, останавливаясь, — а стало четыре. Раньше двух было много, а теперь на трех не уедешь. — Он пошатал одно колесо, норовившее отвалиться.

— Аха! — сказал Васька, поднимаясь и обходя инвалида. — Счас, дядя!

Мы быстро пошли к Васькиному дому, почти побежали.

— Это он, — сказал Васька, — помнишь? Вместе с отцом воевал!

Я вспомнил, как дома, в городе, рассказывал Васька про отца и про инвалида, который один остался живой.

— Ты иди назад, — спохватился Васька, когда мы уже подошли к дому, — подсоби ему устроиться, я счас...

Я вернулся к конторе.

Инвалид, отцепив коляску, уже сидел на лавочке у правления и разглядывал подшипник.

— Ну, где гвоздь? — спросил он, увидев меня.

— Сейчас, — ответил я. — Васька несет.

— Ну, ну, — проговорил инвалид, откладывая коляску и открывая фанерный чемодан. Там лежал сапожницкий инструмент — молотки, мелкие гвоздики, дратва, железная лапа, на которой подбивают обувь. — А то, вишь, у меня мелочь. — Он взял щепотку гвоздиков, высыпал их обратно, словно посеял.

Я внимательно разглядывал инвалида. У него было красивое, чуть скуластое лицо в редких крапинках веснушек, крепкие, мускулистые руки, покрытые густыми волосами, и вообще, если закрыть ноги, он ничем не походил на инвалида, на тяжелораненого.

И у мамы в госпитале, и в городе, на улицах, я видел других инвалидов. В госпитале, понятное дело, люди лежали после операций, и лица у них были больные, изможденные, усталые, и мне их было жалко. В городе мне почему-то часто попадались совсем другие инвалиды — пьяные. Они громко говорили между собой, пересыпая слова тяжелой бранью, стучали костылями по земле, доказывая что-то друг другу. Этих инвалидов я боялся и обходил их стороной, а моя бабушка называла их психами и говорила, что это они нарочно куражатся, чтобы показать себя. Ясно, я встречал и других инвалидов — спокойных, стоящих в очередях, хотя инвалидам полагалось получать продукты без очереди. У меня шемило сердце, хотелось, чтобы люди, ни слова не говоря, расступились и пропустили безрукого инвалида к прилавку.

Этот же безногий не вызывал у меня даже жалости. Он вертел свою тачку на шарикоподшипниках, жмурился на солнышко, вытирал тыльной стороной ладони пот со лба и, казалось, совсем не чувствовал, что у него нет обеих ног.

— А ты, видать, нездешний? — сказал он, приглядываясь ко мне и приветливо улыбаясь. — Поди-ка, из города?

Я кивнул.

— Это Васька-то нынче не у тебя зимовал?

Я кивнул снова, удивляясь, откуда он все знает.

Инвалид пристально посмотрел на меня, перестал улыбаться и вдруг спросил:

— Хороший парень Васька?

Я хмыкнул: мол, само собой.

— Да... — вздохнул безногий и задумался. — Да, — повторил он после долгой паузы, — хороший он парень, Васька...

Я вдруг заметил, как инвалид покраснел и глаза его насторожились.

Я обернулся. За моей спиной стоял Васька и протягивал гвоздь. Рядом с ним была тетя Нюра.

— Здравствуйте, Семен Андреевич, — сказала она, теребя кончик платка. — С приездом вас.

— Здравствуй, Нюра, — ответил инвалид, и щеки его опять порозовели.

«Может, — подумал я, — ему стыдно перед тетей Нюрой, что Васькин отец погиб, а он вот живой остался?»

* * *

Возле фургона стал собираться народ.

Инвалиду приносили рваные ботинки, сапоги, калоши — запахло резиновым клеем, застучал молоток. Тетка, сидевшая в кабинке вместе со стариком шофером, приставила к изгороди табурет, натянула белый халат и стала подстригать деда в валенках.

— Бороду-то не трожь, — шумел дед, — а голову давай начисто! Жди вас, когда еще нагрянете!

Тетка жужжала машинкой, трещала ножницами, кружилась, как наседка, возле деда, который так и не снял с рубахи свои медали. Он сидел в гордой и торжественной позе, боялся шевельнуться под острыми ножницами и был похож на важную статую.

Но шумней всего было у фургона. Коротенькая старуха, не пригибаясь из-за своего малого роста, свободно ходила внутри сумрачного ящика и вызывала общее неудовольствие.

— Ну чо я вам, бабы, рожу, что ли, — кричала она, — когда ни мыла, и ни иглока, ни ниток нету. Вот рулон бязи дали, и то радуйтесь!

Она отрезала кому-то куски материи, тщательно прикладывая деревянный метр, а в оплату, у кого не было денег, принимала яйца.

— Мыла опять нет! — шумели внизу женщины. — Хоть бы жидкого привезли!

Старуха в автолавке суетилась, предлагала вместо

мыла саржевые платки и книги, ее ругали почем зря, но и платки и книги в обмен на яйца все же брали.

Мы с Васькой поглядели на сапожника, повернулись возле парикмахерши и фургона и пошли к дому. Васька был мрачен, и я подумал, что у него, наверное, не выходит из головы этот горох.

— Брось ты, — сказал я ему, — если будет Макарыч приставать, говори, что это я горох рвал. А тебе просто дал немного. Меня небось не засудят.

— Ишь ты, — усмехнулся Васька весело, — рыцарь из городу приехал. — И вдруг предложил: — Давай к отцу сходим.

— Как это? — спросил я недоверчиво. — Как это — сходим?

Мы вошли во двор, из-под дверцы сарайки Васька выскреб ключик, открыл замок.

В темноте, на гвоздях, висела лошадиная сбруя — какие-то веревки, ремни и цепи, а у окошка, за планками, возле маленького столика поблескивал инструмент.

Васька уселся на чурбан перед столиком, стал вытаскивать из-под рейки стамески разных размеров, долота, плоскогубцы и кусачки, вытирая их от пыли концом рукава.

— Отцовское, — сказал он тоскливо. — Тут у него мастерская была. Глянь!

Васька выдвинул ящик стола. Ровными рядами, аккуратно уложенные, там лежали фуганки, рубанки — большие и малые, набор молотков. Сбоку к столику намертво прибиты были тисочки. Никогда нигде не видел я такого богатства.

— Целый завод! — сказал я.

Васька улыбался, польщенный.

— А хошь, — сказал он, — еще чегой-то покажу, — и, не дожидаясь моего согласия, наклонился под стол.

Васька вытащил что-то большое, замотанное в холстину и стал аккуратно разворачивать. Оказалось, это кусок веструганого дерева, и я сначала не понял, что он хочет мне показать. Но Васька повернул деревяшку другим боком, и я увидел голову коня, вырезанную грубо.

Конь мчался навстречу ветру, вскинув голову и раздув ноздри, а грива развевалась.

— Это отец коня вырезал, — сказал Васька, — хотел на коньке укрепить, да не поспел, на войну взяли.

Так, вишь, и осталось, только одна половина. — Он вздохнул. — А я вот делаю, делаю, и ничего у меня не выходит.

Я пошел вслед за Васькой в темный угол. Там на полу лежало штук шесть деревянных коней. Я брал их одного за другим, ощупывал, выносил на свет — все они были угловатые и походили скорее на собак.

— Уж сколько сделал, — сказал Васька, вздыхая, — а близко даже нет. — Он помолчал. — Но я добыю! Вот уборка кончится, опять строгать начну. А как выйдет, ту голову, что отец начал, доделаю. Только надо, чтоб не хуже вышло.

Васька кинул небрежно своих коней в угол, отцовского же аккуратно завернул в холстину и спрятал под стол.

Мы сидели в полутемной сарайке, задумчиво глядели в маленькое оконце, выходящее в огород, и я думал: «Как не похож стал Васька на самого себя! На того, каким он был в городе».

* * *

Уже темнело, когда тетя Нюра, расставив на столе тарелки, позвала нас ужинать.

Мы с Васькой стояли у ворот. Отсюда хорошо было видно, как, навесив замок на дверцы фургона, ушла куда-то коротенькая старуха, как закрыла свою мастерскую парикмахерша, унеся в контору табурет. Старик шофер давно уже исчез, и один только Семен Андреевич тукал молотком, ремонтируя изношенные, изопревшие обутки.

— Идите вечерять! — еще раз позвала тетя Нюра, и мы с Васькой пошли в дом, уселись по лавкам.

В избе было тихо. Тетя Нюра молчала, опустив глаза в тарелку с картошкой, молчал угрюмо Васька, одна бабка что-то приговаривала, пришамкивала себе под нос. Иногда тетя Нюра вопросительно поглядывала на Ваську, но он ничего не замечал. Похоже было, что они поссорились и виновата в этой ссоре тетя Нюра. Но когда они успели поссориться? Я от Васьки почти что ни на шаг не отступал.

Васька вяло ковырял ложкой в тарелке, потом поднял голову.

Инвалид все тукал молотком.

— Мам! — сказал Васька. — Позови Семена-то Андреевича. Голодный, чай.

Тетя Нюра неожиданно легко вскочила, выбежала из избы, хлопнув дверью. Бабка и Васька тяжело переглянулись.

Стук на улице смолк, потом во дворе зажурчали подшипники инвалидной коляски, и в избе, опираясь руками на деревянные с кожаными ремешками для рук, появился Семен Андреевич.

Смотреть, как он поднимался на невысокий порожек, а потом опускался, было не вмоготу, и, если бы инвалид молчал, было бы совсем тяжело. Но Семен Андреевич шутил, приговаривал, и от этого неловкое напряжение сразу рассеялось.

— Здравствуйте, пожалуйста! — весело восклицал он. — Спасибо от странничка! А то мы по району странствуем, дома уже который день не ночуем, а горяченьким, глядишь, да угостят! Как же тут пропадешь, коли вокруг люди добрые!

Я и тетя Нюра помогли ему забраться на лавку, он помыл руки в тазике, который подала бабка, и, в шутку перекрестившись, принялся за картошку. Но тут же хлопнул себя по голове.

— Ох, голова садовая! — засмеялся инвалид. — В гости пришел, а про гостинец забыл!

Он вытащил бутылку, тетя Нюра и бабка заахали, но стаканчики поставили.

Взрослые выпили. В избе снова стало тихо. Только жужжала где-то муха.

— А вы что ж, в бога верите? — после долгого молчания спросил Васька.

Инвалид положил ложку, обтер губы, сказал шутливо:

— Эх, Вася, спроси-ка ты у солдат, кто верует? Кто и верил если, так теперь одного черта жалует. — Он засмеялся. — Эта война, пропади она пропадом, поядреней всякого чистилища будет.

Он снова разлил вино, стал серьезным.

— Выпьем, — сказал он, — выпьем давайте за упокой души Ивана Петровича и всех погибших солдат нашего района, хоть в упокой души я не верю. Давайте за память выпьем, чтоб она никогда не ушла.

Я подумал, сейчас Семен Андреевич будет походить на других инвалидов — станет пить, и зубы начнут стучать о стекло, а потом заплачет или заругается, — но

инвалид обвел стол трезвыми глазами и закупорил бутылку.

— Будет, — сказал он. — Пьяная голова — что пустой шар: не ровен час, и улететь может.

Он засмеялся своим словам, но его никто не поддерживал. Все сидели напряженные и невеселые.

Налили чаю. Васька прихлебывал пустой чай и поглядывал на инвалида, будто хотел еще что-то спросить.

— А страшно было тогда? — проговорил он хрипло и кивнул головой на стол, а вернее, под стол, туда, где должны были у Семена Андреевича быть ноги.

Семен Андреевич хлебнул чаю и надолго замолк, словно взвешивая про себя, страшно или не страшно было тогда, когда оторвало ему ноги.

Наконец он поставил кружку на стол, отодвинул ее и посмотрел Ваське в глаза.

— Тогда, — он мотнул вниз, на свои ноги, — я ничего, почитай, не помнил. В медсанбате очнулся уже без ног. Отошел, гляжу — солнышко в щель пробивается, посмотрел на себя — вроде жив, здоров, руки на месте, голова, пощупал, на месте, ноги тоже, одеялом укрытые. — Он вздохнул. — Только чую, ноги мои ноют, лодыжки особенно. Ноют и ноют, ну, думаю, уж не ревматизм ли прихватил. Потом узнал, что ноги-то хоть и ноют, а их уж нет...

Васька словно окаменел.

— Испугался я потом, позже... Но это не страх, — подумав, проговорил Семен Андреевич. — Страх был тогда, под Москвой, когда твой батяня погиб.

Он взялся за столешницу так, что пальцы побелели.

— И страх и злоба, — сказал он негромко. — Злоба, что гранат нету, и страх, что помрешь, ни одного немца не укокошив... Как уж вывернулся я тогда, и сам не знаю. — Он снова пронзительно посмотрел на Ваську. — Только уж потом... уж потом, Васька, будь спокоен, столько их накрошил...

Бабка, осторожно ступая по скрипучим половицам, принесла керосиновую лампу. Спичка скользнула о коробок, пламя осветило избу бронзовым светом.

Где-то на полатах затиликал, запел сверчок.

Семен Андреевич улыбнулся, повернул лицо к печке:

— Ишь поет! Живность!

Тетя Нюра пошла постелить Семену Андреевичу в сенцах, мы с Васькой выбрались из-за стола и устроились на лавочке под окнами. Васька был смурной, глубоко затыгивался и часто кашлял хриплым — на всю улицу — голосом.

— Вот хухры-мухры! — проговорил он устало. — Никогда не угадаешь, что с тобой будет. Хотел тебе одно мероприятие показать, а тут фургон этот.

— Какое мероприятие? — спросил я.

— Да... — нехотя ответил Васька. — На вечерку хотел тебя сводить, да уж поздно, самый конец захватим. — Он зевнул. — А завтра вставать рано.

Я всполошился.

— Ва-ась! — заныл я. — Давай сходим, выспимся еще, успеем.

Васька усмехнулся, затоптал окурок, долго просить себя не заставил.

— Смотри, — сказал он, — два километра по лесу.

Он поднялся с лавочки, крикнул в ограду:

— Мам, мы спать ушли, — и на цыпочках вернулся ко мне.

То быстрым шагом, то скорой рысью мы двигались по лесной дороге. Ели обступали нас со всех сторон, воздух словно остекленел, и каждый вздох повисал в тишине. Мои ноги то проваливались в колдобины, то спотыкались о бугорки, и тогда я хватался за Ваську — за его рукав или плечо.

В глухой тишине я неожиданно различил какое-то тоненькое треньканье и голоса.

Васька прибавил шаг.

Сквозь деревья завиднелся трепещущий огонек, голоса и музыка стали внятнее: кто-то пел частушки, играла гармонь.

Лес наконец кончился, тишина и страхи остались за спиной, впереди выступали из мрака избы, а перед ними, под березкой, застлавшей черной шапкой полнеба, полыхал костер и плясали пары.

Гармонист играл довольно заунывно, повторял одну и ту же короткую мелодию, ни шума, ни смеха не было у костра, только раздавался глухой, мерный топот пляшущих.

Когда мы подошли ближе, озорной парнячий голос, нарочно надрываясь, разухабисто выкрикнул:

По деревне идётё,
Играётё и поётё,
Мое сердце разрываетё
И спать не даётё-о!

Снова стало тихо, слышался только топот. Через полминуты, не раньше, словно крепко подумав прежде, девчачий голос, такой же надрывный, пропел:

Через речку быструю
Я мосточек выстрою,
Ходи, милый, ходи мой,
Ходи летом и зимой!

Мы остановились под березой, недалеко от баяниста. Это был совсем пацан, вроде, пожалуй, меня. Он играл, уставившись в землю, ни на кого не глядя, словно выполнял работу, тяжелую и неинтересную.

Нас заметили.

Тот же парнячий голос, что пел частушку, выкрикнул откуда-то из темноты:

— Аа-а, васильевские ребята пришли. — И добавил обидно: — Два сапога пара, два пацанеика — мужик!

Пляшущие недружно засмеялись, и я почувствовал локтем, как подобрался, напрягся Васька.

— Опять, гады! — прошептал он, а громко, набрав басу, чтоб переорать гармошку, крикнул: — А што это за мужики, каких из сапог не видно!

На этот раз засмеялись громче, видно, Васька попал в точку, и перед нами возник низкорослый парень в лихо заломленной фуражке. Я, не удержавшись, хихикнул. Парень был намного старше Васьки, а ростом с меня.

— Н-ну, зар-раза! — прошипел он, злясь, но ничего больше сделать не решился.

А в Ваську будто бес вселился.

Он неожиданно подпрыгнул и, отбивая сапогами четку, пропел парню прямо в лицо, издевательски улыбаясь:

Оп-па, дрица-ца, ца-ца-ца-ца,
Гоп-па, дриц-ца-ца-ца-ца!..

Словно пень или колдобину, Васька обошел низкорослого, вошел в круг, хлопнул, глядя куда-то в сторону, по плечу девчонку с косой, уложенной вокруг головы, замолотил сапогами пыль и запел с натужным весельем:

Ягодиночка, малиночка,
Вертучие глаза,
На тебя, на ягодиночку,
Надаться нельзя-а!

Парень-недоморок исчез в темноте. Васька, подмигивая мне, задиристо топал сапогами, но у девчонки, с которой он плясал, лицо было испуганное и от этого вытянутое. Она переступала ногами, озираясь по сторонам, и вдруг — я даже заметить не успел, как это произошло, — пропала.

Возле Васьки, все еще топчущего и улыбающегося, стоял низкорослый, а рядом с ним человек пять здоровых парней.

— Уступи девку! — велел он.

— Не-а! — весело откликнулся Васька, хотя никакой девки давно уже не было.

— Да ну? — крикнул низкорослый и махнул кулаком.

Васька увернулся и шарахнул мужика прямо в нос. Тот пошатнулся, фуражка, которая была, наверное, ему велика, покатилась в пыль, а Васька, согнувшись, молниеносно ударил нападавшего снова. Мужик зашатался, упал, но Ваську тузили со всех сторон здоровые парни.

Мгновение я стоял оцепенелый. Было ясно как белый день, что нас побьют, что нас сейчас сотрут в порошок. Но стоять и ждать милости победителя? Стоять, когда пятеро молотят Ваську?

Я подхватил из-под ног какой-то дрын и молча кинулся к толпе, избивавшей Ваську.

Помню, что первый удар был удачным. Палка, ударившись о чью-то спину, разломилась. Потом что-то яркое мелькало в глазах, мои кулаки сталкивались с чем-то твердым. Наконец все стихло. Парни расступились, а мы с Васькой стояли посреди круга, молчаливого и хмурого.

Не говоря ни слова, Васька схватил меня за рукав, и мы побежали.

— Ходи, милый, ходи мой, ходи летом и зимой! — крикнул вслед недоросший парень, кто-то по-разбойничьи свистнул, послышался девчачий смех.

Гармошка, смолкнув ненадолго, запиликала вновь.

Мы бежали домой, тяжело, с присвистом дыша и не говоря ни слова. В каком-то месте Васька свернул с дороги, и мы оказались у ручья. Он лег на землю и оку-

нул голову в воду. Я сделал так же. Лицо онемело от прохлады.

— Два зуба шатаются, — сказал Васька с тоской. — Губу разбили... А шишек не сосчитать...

У меня саднила скула, болел подбородок, из носа текла, все не останавливаясь, жидкая и теплая кровь.

— Ох, гады! — сказал Васька. — Ох, гады!

Он помолчал минуту, решительно вскочил:

— Ну, я им сейчас!

Мы побежали снова, напрямик, продираясь сквозь кусты.

— Пошли тише! — сказал я Ваське, еле живой от усталости.

Но он не остановился.

— Не! — крикнул он. — Надо успеть! Надо успеть!

Я не понимал, куда надо успеть. Нас побили, и все. Надо признать себя побежденными. Что мы можем сделать вдвоем, ночью, против целой толпы парней? Позвать на помощь? Не кликнешь же председателя, бригадира, Макарыча или безногого сапожника. Нет, это наше поражение было только нашим, и кровь из носу тоже наша. «Сунуло же, — ругал я себя, — пойти на эту вечерку, будь она проклята! Кабы не я, спали бы теперь на сеновале и забот не знали...»

Но Васька спешил. Он бежал, хрипя и отплевываясь, увлекая за собой меня.

Серыми, тяжело дышащими тенями пробежали мы по деревне. Мало что соображая от побоев и долгого бега, я тащился вслед за Васькой и не очень удивился, когда мы оказались не у дома, а возле конюшни.

* * *

Васька растворился в темноте, громко звякнул за-сов, и тут же зачмокали копыта.

— Иди на сеновал! — крикнул Васька, на мгновение придержав возле меня лошадь. — Я скоро!

— Нет! — крикнул я. — Возьми меня!

— Да что ты! — воскликнул Васька и поддал сапогами в лошадиные бока. Конь всхрапнул и метнулся вперед.

— Васька! — крикнул я отчаянно. — Васька!

Залилась, зашлась в хриплом лае собака за забором.

Васька остановился. В три прыжка я догнал его.

— Чо орешь? — прохрипел он, но протянул руку. Я вскарабкался на лошадиный круп.

— Держись крепше! — велел Васька, и мы помчались.

Впечатление было такое, будто мы летим по воздуху: земля, деревья вокруг только угадывались; одно небо, ставшее зеленоватым от приближающегося рассвета, плыло где-то над головой.

Обратная дорога к вечерке оказалась странно короткой, за кустами снова замельтешил огонек, Васька пробормотал злорадно:

— Поспели.

На опушке, за деревьями, он остановился и велел мне слезть. Разминая затекшие от иеловкой езды ноги, я переступал перед конем и слушал Васькины наставления:

— Иди вон в тот куст, — приказывал он голосом командира. — Как я поскачу обратно, не мешкай, выбегай сразу...

Я кивал, не понимая ничего толком, костер и гармошка пугали меня. Ясно было, что Васька затеял что-то отчаянное, и как эта затея обернется, еще вопрос.

Словом, предстояли новые испытания, может, еще одна драка, и я, кивнув, опять подобрал с земли дрын, на этот раз покрепче.

Васька подвел коня к кусту, дал ему передохнуть, потом воскликнул глухо: «Ну!» — и ударил пятками в лошадиное брюхо.

Он мчался к костру молча, прижавшись к лошадиной шее, и на вечерке не сразу заметили стремительно скакавшую черную лошадь. Ее увидели слишком поздно. Гармошка умолкла, плясуны кинулись врассыпную, а Васька промчался прямо через костер, разметав пылающие поленья.

Все, что произошло дальше, походило на битву под Бородином. «Смешались в кучу кони, люди...» Конь был, правда, один, но он стремительно носился, громко ржал, становился на дыбы и снова скакал. Казалось — коней много.

Под березкой, в свете угасающего, разметанного костра мельтешили тени парней, девки визжали, словно их режут, и над всем этим, над разбегающейся толпой, возвышалась мрачная Васькина фигура.

Иногда он замахивался и делал такое движение,

словно рубил кого-то саблей. Я догадался — это был кнут. Он торчал из голенища Васькиного сапога, когда я взбирался на лошадь.

Сражение оказалось кратким и победным. Парни, обгоняя девок, разбежались, костер утих, один только мальчишка-гармонист остался на месте, обхватив руками гармошку и вжавшись в березу. Его Васька не тронул.

Сделав последний, прощальный круг по полю боя, Васька остановил коня, оглянулся и, привстав в стременах, засвистел — долго, пронзительно и победно.

Небо уже совсем поглубело, темнота развеялась. Мы встречали утро победителями.

Руки у меня дрожали, словно это я, а не Васька рубил сейчас противников. Я сидел, обхватив Ваську за живот, и слышал ладонью, как гулко, молотом, стучит его сердце.

Поставив коня, Васька закрыл засов. Темнота все расступалась, и я увидел, как он засунул в петлю здоровый ржавый гвоздь.

— Гляди! — показал он мне, когда мы уходили от конюшни.

На лавке сидел пустой тулуп. Палка подпирала воротник, и в темноте тулуп походил на сторожа.

— Вот хитрая старуха! — покачал головой Васька. — Ночью спит, а под утро выходит.

Домой мы пробирались задами. Васька шмыгнул в ограду первым, за ним шагнул я.

— Кхм, кхм! — откашлялся кто-то в полумраке.

Мы вздрогнули. На крылечке сидели тетя Нюра и Семен Андреевич.

Васька затоптался, растерявшись, и вдруг сказал:

— Здравсьте!

— Здравсьте, здравсьте! — ответила тетя Нюра, поднимаясь. — Вот я тебя вожжами-то! — Но, заметив наши синяки и разбитые губы, села снова. — Господи! Господи! Никак на вечерке гуляли?

— Ну мы им там дали! — весело отозвался Васька, приходя в себя.

Семен Андреевич засмеялся.

— Вот видишь, Нюра, — сказал он, — а ты горюешь! Раз парни на вечерках дерутся, значит, ничего! Значит, еще жить можно!..

Рано утром Васька больно ткнул меня в бок. Я крикнул, оторвал голову от подушки и, падая снова, не в силах бороться со сном, услышал, как в ограде прощается Семен Андреевич.

— Спасибо за хлеб-соль, — говорил он тете Нюре, — поехали странничать далее. На обратном пути заглянем еще, обутки раздать заеду, которые приготовить не успел.

— Милости просим, — ответила тетя Нюра. — Милости просим.

Я едва поднялся. Закрывая глаза, я жевал хлеб, запивал его молоком и думал, что все-таки уговор дороже денег: сам же я просил тетю Нюру взять меня на жатву.

Она уже собралась, сложила в куль три круглых хлебных каравай, еще горячих, как мой кусок.

— Нравится хлебушко-то? — спросила тетя Нюра, снисходительно улыбаясь мне.

— Горячий еще, — ответил я.

— Твоя работа.

Я не понял.

— Ну, ты клевер-то вчера брал? — спросила тетя Нюра. — Так хлебушек этот из муки с клевером, травяной.

Я взглянул на кусок. Хлеб как хлеб, только черней, чем в городе. Откусил еще, разжевал внимательно. Нет, конечно, не то, жесткий какой-то и горький. Но тете Нюре не сознался.

— Хороший, — подтвердил я, удивляясь: никогда не думал, что хлеб из клевера бывает.

Вот мы и расставались с Васькой: я уходил, а он оставался. Тетя Нюра наказывала ему:

— Ты тут домовничай, бабушка-то на памятник идет. С Макарычем не ругайся. Мы, может, неделю не будем...

До полевого стана — несколько шалашей, укрытых сеном, возле которого чадил костерок, — мы добирались больше часа, и, когда пришли, жатва была в разгаре.

Тетя Нюра, повязав низко на лоб платок, сразу ушла в поле. Я присел у костра.

Клонило в сон. Ночное приключение не выходило из головы, но теперь я думал о нем улыбаясь. Мы победи-

ли, и пусть я в этой победе был только свидетелем, победа была за нами...

Сзади зашуршала трава. Я обернулся. На меня испуганно глядела Маруська, та самая Маруська, которую я осрамил возле речки.

— Ты что тут делаешь? — спросил я удивленно.

— Кашеварить помогаю, — ответила Маруська.

И тут же из-за шалаша вышла дряхлая старуха. Она волокла по земле черный чан, до блеска натертый изнутри.

— Давайте помогу! — сказал я, шагая бабке навстречу, но та отмахнулась.

— Вы лучше подберите еще хворосту, а то не хватит, — сказала скороговоркой Маруська и проглотила слюну.

Маруська повела меня за собой, в полчаса мы натаскали огромный ворох сучьев, я отряхнулся и пошел в поле, проводить тетю Нюру.

Я шагал, бодро насвистывая, и вдруг увидел, что какая-то старуха с серпом упала на колени. Я подбежал к ней, схватил за руку, чтобы помочь, но старуха повернула ко мне усохшее, плоское, как доска, лицо и спросила бойко:

— Да ты чо, касатик?

Только сейчас я заметил, что бабкины ноги обмотаны мешковиной и обвязаны бечевкой.

— Ты чо, милок? — повторила бабка, и карие глаза ее блеснули. — Да не-ет, — протянула она, понимая меня, — это я так работаю! Спина-то меня не держит, стара стала, вот и приладилась! — Она двинулась вперед на обмотанных мешковиной коленках, ловко подсекла серпом колосья, словно ковшиком воду зачерпнула, и сложила пучок рядом.

— Так вам не надо помочь? — растерянно спросил я.

— Не, не, паренек, я настырная, я и так пожну, еще басчей выйдет, чишше.

Я пошел дальше. Бабкина голова скрылась в колосьях, а я все оборачивался и не мог поверить себе. Никак не мог поверить, что человек может так работать.

* * *

— Николка! — обрадовалась тетя Нюра, с трудом разгибая спину. — Поглядеть пришел? — В одной руке она держала серп, блестящий на солнце.

— Нет, — сказал я, — не поглядеть. Подсобить. Дайте пожну.

Тетя Нюра рассмеялась, но протянула мне серп.

Я наклонился, взялся рукой за пук стеблей, подрезал их со звоном — серп оказался острым. Но мне было неудобно. Я стал на колено, хватанул еще один пук.

— Пониже, пониже режь, — сказала тетя Нюра, — солома нынче пригодится, снова зимовать впроголодь станем.

Я срезал колосья, пыхтел, обливался потом и торопился. Сзади стояла тетя Нюра, и мне хотелось показать, что я умею работать не хуже других, не хуже взрослых и, уж конечно, не хуже той высохшей старухи на коленках. Изредка я поднимался, глядел в ту сторону, где ничего не было видно — только шевелились колосья. Тетя Нюра выжала, конечно, дальше той старухи, но теперь бабка сокращала разрыв. Я снова наклонился, резал колосья, складывая их в кучу, тетя Нюра вязала сноп, но всякий раз, как я поднимал голову, бабка на коленях выравнивалась с нашим покосом все яснее и четче. Тетя Нюра не спешила, не отнимала у меня серп, словно чего-то тянула.

— Николка, — спросила она, и я едва расслышал ее голос: в висках у меня гудела кровь. — Николка! — повторила тетя Нюра громче, видя, что я не отвечаю. — Отец-то твой не вернулся?

— Нет! — ответил я, сбивая дыхание. — Не отпускают пока.

— Отпустят! — уверенно сказала тетя Нюра и надолго замолчала.

Поднатужившись, я, кажется, все-таки немного обогнал старуху.

— Ты аккуратней жни, — сказала мне мягко тетя Нюра, словно боясь обидеть.

Я обернулся. Сзади меня, на выкошенном месте, торчали пучки несжатых колосьев.

— Ладно, ладно, — сказала она. — Я подберу, не бойсь. — И вдруг без перехода спросила: — Слышь, Николка, а если бы батя твой не вернулся, а мама снова замуж вышла?

Я распрямился и уставился на нее.

— Чего это вы, тетя Нюра, сговорились, что ли, с Васькой? Он меня тоже про это спрашивал.

— Спрашивал? — испугалась тетя Нюра и проговорила тихо: — Ну и что?

— «Что, что!» — ответил я, сгибаясь над колосьями. — Я бы лично сбежал. В ремеслуху, например, или в суворовское училище.

— Сбежал? — отозвалась тетя Нюра, словно эхо.

— Сбежал! — ответил я, любуясь, как вжикает мой остро отточенный серп: вж-ж- вж-ж! — и вдруг подскочил. Левую руку резанула боль.

Я бросил колосья, встал с колена: тыльную сторону ладони рассекала красная полоса. Тетя Нюра испугалась, подбежала ко мне, схватила за руку, стала причитывать, вытирая кровь платком, снятым с головы, но порез был неглубокий, и она успокоилась.

Боль утихла, ранку только немного саднило. Но тетя Нюра отвела меня к шалашам, замотала руку платком. Я хотел было идти с ней, но она не согласилась.

— Нет уж, — сказала она, — пока хватит. — И спросила: — Ты поднять сноп можешь?

Что за вопрос? Конечно, смогу. Я кивнул.

— Тогда таскай их на гумно. — Она указала на ровную площадку в конце поля: — Туда молотилку подгонят, дак таскай пока потихоньку.

Снопы только на вид казались легкими — после десятого рейса руки у меня просто отнимались.

Прикатали молотилку, бригадир завел мотор и стал совать в разинутую железную пасть усатые снопы. Зерно, золотое, гладкое, сыпалось прямо на выровненную, подметенную чистым березовым веником землю. В телегу запрягли лошадь, и бригадир, видевший, как я таскал снопы, громко крикнул:

— Управишься с кобылой?

Я не знал, что сказать, ведь ни разу в жизни я не правил лошадью — вчера первый раз с Васькой прокатился, да и то, что это было за катанье!..

— Ну ладно, — закричал он, — Маруська подсобит! Маруська вертелась возле гумна.

— Будешь править, — велел ей дядька, — а он — снопы подбирать.

Мы с Маруськой уселись на телегу и поехали по полю. Возле снопов Маруська, стараясь басить, кричала лошади: «Тпр-ру!» — но та и сама останавливалась, понимая свою работу. Я соскакивал с подводы, грузил снопы на телегу, и мы ехали дальше. К обеду я уже управлял лошадью не хуже Маруськи и ездил один, отправив ее на помощь бабке: колхозницы уже возвра-

щались с поля. Маруськина бабка, слезясь от дыма и глядя из-под ладошки вдаль, стучала железной палкой о рельсину, подвешенную на проволоке к дереву.

Но усталые, измотанные женщины не торопились к чану. Все шли к молотилке. Бригадир выключил мотор, и женщины молча стояли вокруг горы зерна.

— Ну вот, — сказал бригадир, — с хлебушком вас, бабы!

Женщины вдруг заговорили торопливо, словно увидели что-то диковинное, стали брать в ладони зерна и сыпать их обратно золотыми ручейками.

— Обедать, бабы, обедать! — пискнула повелительно прибежавшая от чана Маруська, и женщины дружно рассмеялись.

Обедали говорливо, посмеивались, подшучивая над Маруськой, над бабкой-кашеваркой, над бригадиром, который, по их словам, был героем дня — намолотил первое зерно с поля. Бригадир жмурился, подносил ко рту деревянную ложку, аккуратно поддерживал ее над куском жесткого клеверного хлеба и кивал головой.

— Плохо слышит, — шепнула мне тетя Нюра. — Руки-ноги целые, а раненый. Контузия у него.

Я понял, почему громко кричал бригадир у молотилки: он, наверное, и шум мотора-то плохо слышал.

Я вглядывался в бригадира, в замкнутое его, бронзовое от загара лицо, отыскивал бабку с карими глазами, которая жала хлеб, ползая на коленках, смотрел на Маруську, оттопырившую щеку, на тетю Нюру в старом, заношенном платке, — я глядел внимательно в эти лица, веселые в такую минуту, веселые оттого, что вон там, возле умолкшей молотилки, лежит, переливаясь на солнце, спелое зерно, и улыбался тоже.

* * *

Ночью я спал в шалаше, рано утром оплескивал лицо в розовой от ранней зари воде, работал потом весь день, подвозя снопы к молотилке, и три дня промчались, будто один. На четвертый день, как раз в обед, саади зацокали копыта, и кто-то крикнул громко:

— Здорово, бабоньки!

Я обернулся. На лошади сидел усатый дядька в синей милищейской форме. Фуражка еле держалась у него на затылке. Одна нога у милиционера была в сапоге и

упиралась в стремя, как положено, вместо другой торчала деревянная култышка, и второе стремя болталось без надобности.

Одноногий милиционер, ловко спрыгнув с лошади на здоровую ногу, подхромал к чану, снял фуражку.

— Хлеб-соль вам, женщины! — сказал он, вежливо кланаясь. — Хорошо хлебушка-то, гляжу, намолотили.

— Хорошо, хорошо, — ответила тетя Нюра, — с этого поля хорошо, а в колхозе, может, и плохо.

— Да-а! — протянул милиционер, принимая от Маруськиной бабки дюралевую ложку. — Еще жать да жать. И во второй бригаде, и в третьей дополна делов. Терентий давеча в район звонил, матюгался. Обещают комбайн пригнать от соседей. Да и этот танкисты хвалятся наладить.

— Ладно бы машину-то, — сказала тетя Нюра, вглядываясь в желтое море хлеба. — Сколько тут руками-то проваландаемся?

Женщины заговорили, спрашивали у милиционера про деревенские новости — все же три дня в деревне не были.

— Какие новости? — неожиданно нахмурился милиционер. — Никаких новостей. Памятник вот сколачивают.

Тетки стали подниматься, старуха с карими глазами перекрестилась, отвернувшись куда-то в сторону, словно стесняясь.

Поднялся милиционер.

— Нюр! — сказал он, натягивая фуражку. — Отойдем-ка, дело есть. И ты, паренек, — позвал он меня.

Думая о лошади, о том, как снова сейчас стану отвозить снопы к молотилке, я нехотя подошел к милиционеру. «Верхом бы еще покататься, — думал я, — в седле!»

— Вот что, Нюр, — сказал он, неловко переминаясь с ноги на култышку, — Васька пропал.

— Как пропал?! — ахнула тетя Нюра.

— Да уж пропал. Три дня нету. Как ты ушла с этим мальцом, так и Васька на работу не вышел. Обыскались, Макарыч в розыск заявил. Говорит, горох воровал твой Васька вот с этим пацаном, да еще за три дня прогула по трудовому законодательству знаешь што... — Милиционер скрестил пальцы в решетку. — Я думал, тут он, но нету.

— Ой! — охнула тетя Нюра. — Значит, убеги! — Она сорвала с шеи платок, заплакала и опустилась на землю. — Убег! Убег! — повторяла она. — Это я виноватая... — Она вскинула к милиционеру зареванное лицо. — А найдут, Игнат, — посадить могут?

— Могут, — ответил Игнат, будто извиняясь. — По нынешним строгостям — могут. Да еще горох чертов!

Тетя Нюра словно только услышала про это.

— Какой еще горох? — крикнула она и вскочила. — Какой горох?

Милиционер стоял, опустив голову, и ковырял кулачком мягкую землю.

— Николка! — крикнула тетя Нюра. — Какой горох?

К ним стали подходить колхозницы. Они останавливались поодаль и слушали.

Я вздохнул поглубже. Вот какой этот главбух проклятый, оказывается. Не поленился, значит, слазить в огород к Ваське, пока дома никого нет, посмотрел, растет ли горох.

— Это я, — произнес я дрогнувшим голосом, — арестуйте меня!

Милиционер удивленно оглядел меня по частям: сперва штаны, потом живот, потом голову с кепкой блинчиком.

— Арестуйте! — повторил я. — Васька тут ни при чем. Это я горох рвал.

— А много? — осторожно спросил милиционер.

— Два кармана! — ответил я. — А Васька меня отговаривал! А я его не послушался!

Милиционер плюнул.

— Чертов Макарыч! — сказал он. — Я думал, два мешка.

— И что к пареньку пристали! — проговорила старуха с веселыми глазами. Коленки она уже снова обмотала мешковиной и походила на пугало — руки бы ей только раскинуть да встать неподвижно. — Он вить работает вон как! Снопы возит! Жал намедни! Дак чо, ему гороху карман набрать нельзя?

Тетки, окружившие нас, загудели, закивали головами, но одна вздохнула:

— Охо-хо, с этим Макарычем лучше не путаться, под какой хошь закон подведет.

— Ребенка-то? — удивилась Маруськина бабка. — Да чо мы, безголосые али как? — В руке она держала поварешку и трясла ею, будто хотела врезать Макарычу по лысому лбу этой штуковиной.

Подошел бригадир, сытый и веселый. Ничего он не слышал, про что тут толковали.

— А ну, граждане бабы, поехали дальше, пока вёдро. Не дай бог, дождь зарядит.

Тетки стали расходиться.

Кто-то тронул меня за кепку. Я поднял голову. Милиционер уже сидел на лошади.

— Садись! — сказал он мне печально.

Я просунул ногу в свободное стремя и обреченно сел сзади него.

Женщины приветливо махали мне.

— Не боись, паренек! — крикнула старуха, обвязанная мешковиной.

Махнула рукой голоногая Маруська. Мелькнул общий чан, молотилка и спешащий к ней бригадир.

Сверху, с лошади, было далеко все видно.

* * *

— Вот что, паренек... как ты, — сказал милиционер.

— Колька, — ответил я, крепясь.

— Ежели пытаться будут про горох, говори, что ничо не знаешь. Не брали, мол, никакой горох. Вас ведь только один Макарыч видел?

Я кивнул.

Тетя Нюра шагала рядом с конем и глядела на меня заплаканными глазами.

«Кругом какая-то чушь, — думал я, — горох этот проклятый, Васька куда-то сбежал...»

— Теть Нюр! — сказал я, стараясь ее успокоить. — Да вы не волнуйтесь. — Она взглянула на меня как на спасителя. Как на святого, который тут, на лошадиной спине, трясется. — Горох рвал я, Васька ни при чем, а сбежать он не мог, что вы! Он, наверное, на Белой Гриве пашет!

Я вспомнил двух изможденных теток и старую лошадь, вспомнил, как глядел на них Васька, когда мы уходили и все время оборачивались с горы, как он поджимал губы и шевелил желваками.

— На Белой Гриве? — удивился милиционер. — А ты откуда знаешь? Говорил он тебе, что ли?

— Да нет, — удивился я его непонятливости. Хотя откуда ему было понять? — Не говорил. Просто мы с ним туда ездили, там две женщины пашут, а поле — ого-го!

Тетя Нюра всхлипнула — то ли на радостях, что Васька еще, может, не сбежал, то ли от горя — пропал все-таки.

— Не реви, не реви, — успокоил ее Игнат, — сейчас доставлю вас и туда сгоняю.

— Будь чо будет! — проговорила вдруг твердо тетя Нюра, вытирая глаза. — Будь чо будет, только бы не убер! — Она вздохнула. — В жисть тогда перед Иваном не отвечу.

Я знал, что Иваном звали Васькиного отца, и удивился — он же погиб. Милиционер взглянул на нее сверху, цокнул на коня.

— А ты это всерьез, Анна? — спросил, помолчав, он, и я опять удивился.

Оказывается, Нюрой-то ее зовут так по-простому, а настоящее имя у нее Анна. «Анна! — подумал я. — Красивое имя. Как у королевы какой».

— Ох, Игнат, — ответила тетя Нюра, — что тебе и сказать, не знаю. Боюсь, не поймешь ты меня, осудишь, ведь ты воевал, ногу на войне потерял, значит, понять не захочешь.

Я слушал этот разговор вполуха, не очень вдумываясь в него. Все мне тюрьма мерещилась и строгий суд, где на стене висит герб СССР.

— Отчего? — ответил Игнат негромко. — Или думаешь, я там, на фронте, с ногой вместе и душу потерял?

— Значит, понимаешь? — Тетя Нюра взглянула на него удивленно, обрадованно.

— Я-то пойму, но оно, конечно, поймут не все, — ответил Игнат, — даже ваш брат, бабы.

— Да уж я назад повернула, — ответила тетя Нюра, опуская голову. — У меня ведь Васька уже жених.

— Жених-то жених, да и ты-то ведь не старуха. Старух у нас и так полно, зачем тебе-то к ним приставать? Разве мало у нас и без того горюшка? Мертвые не встанут, а живым надо жить, не в могилу глядеть, не маяться, себя не гнести. — Милиционер вздохнул, мы проехали немного молча. — Будь бы я на Ивановом месте,

Анюта, — сказал он, наклоняясь с лошади к тете Нюре, — не вернись бы я с фронту, я бы тебя понял, и будь воля, так бы и сделать велел.

— Игнат, Игнат! — воскликнула тетя Нюра, разглядывая загорелое и обветренное лицо милиционера. — Вон ты какой! Я и не знала! — Она взялась за седло и шла близко к лошади, не отрывая взгляда от милиционера. — Ну, спасибо тебе, что не укорил от всего мужицкого племени! Да уж теперь все решено, и главный прокурор тут не я, не ты, не бабы, а сын мой, Васька.

Что-то мудроно они выражались. То Ваську ловят, то Васька — прокурор.

Мы въехали в деревню, и милиционер остановился возле Васькиной избы. Я сидел и слезать не собирался, потому что понимал: моя дорога дальше. В колхозную контору или того хуже.

Тетя Нюра повернула кольцо в двери.

— Ну а ты чего? — обернулся ко мне милиционер.

— Как чего? — удивился я.

Он догадался, что я жду дальней дороги, и расхохотался.

— Слезай давай! — крикнул он весело. — Приехали! — И добавил, обращаясь к тете Нюре: — Ну, так я на Белую Гриву.

— Обожди! — ответила тетя Нюра. — Жарко! Зайди кваску попей!

Я сполз с лошадиной спины и вошел в избу. Наклоняя голову, чтобы не удариться, как в первый раз, о прилолку, я ткнулся прямо в тети Нюрину спину — она переступила порог и тут же остановилась. Я высунулся из-за нее: за столом как ни в чем не бывало сидел Васька и жевал хлеб, запивая его молоком. Говорил же я: никуда он не денется!

Тетя Нюра шагнула в избу, опустилась обессиленно на лавку у печи.

Гремя деревяшкой и снимая на пороге фуражку, вошел милиционер.

— Во! — сказал он, радуясь. — Ладно, что заглянул, а то сгонял бы впустую.

— Где был? — устало выдохнула тетя Нюра. Она не отрываясь глядела на Ваську, будто уж не чаяла и увидеть.

— «Где, где»! — буркнул Васька. — На Белой Гриве пахал.

— Вот видите! — воскликнул я радостно. — А где ж ему еще быть?

— Где быть? — тихо переспросила тетя Нюра. — Где быть? — И поглядела на кнут, лежавший на лавке. Кнут был ременной, и ремешок аккуратно закатан вокруг кнутовища. — Где быть? — опять повторила тетя Нюра и вдруг схватила кнут в руки, стала торопливо его разматывать. — А вот где быть! — крикнула она яростно. — Я сейчас укажу, где быть!

Она рванулась к Ваське, но милиционер, торопливо стукнув протезом, подскочил к ней и ухватил за локоть. Ременная плетъ звонко хлестнула по столу, возле самого Васькиного лица, опрокинула железную кружку. Молоко полилось по столу белым ручьем, закапало на пол.

Стало тихо. Васька не вздрогнул, не вскочил. Он сидел так, как сидел, только положил на стол недоеденный кусок, убрал руки и опустил голову.

— Ведь под суд отдадут! — сказала тетя Нюра и заплакала.

Васька поднял голову, долго глядел на мать — пристально, не мигая, потом сказал:

— Я работал, ясно? Я пахал!

Дверь громко грохнула, и в избу лисьей походкой вошел Макарыч.

— Ну, — проговорил он, — нашли беглого? Ох, работнички, разве с вами хозяйство построишь?

Желваки на Васькином лице заходили шарами. Он выложил на столешницу сжатые кулаки, но смолчал. Милиционер неожиданно круто повернулся и вышел, не глядя на Макарыча.

— Ты куда, Игнат? — крикнул тот вдогонку, но милиционер не отозвался. — Протокол составлять надо!

Я сжался.

«Протокол! — передразнил я Макарыча. — Выразиться сперва научись, потом составлять будешь!»

— И где был? — спросил вежливо главный бухгалтер, подсаживаясь к столу и с интересом вглядываясь в Ваську. — В райцентр бегал или в городе по кинам лазил?

«Издевается еще, гад!» — подумал я и удивился Васькиному терпению.

— На Белой Гриве пахал, — хрипло ответил Васька.

— А кто тебя туда посылал? — любезно поинтере-

совался Макарыч, двигая очки на самый край своего носика, похожего на нырок.

Васька промолчал.

— Ох, Василей, Василей, — со вздохом, как бы жалеючи, произнес Макарыч, — сколь я тебя предупреждал: смотри, достукаисси, смотри! По-хорошему говорил, по-отцовскому.

— Заткнись! — вдруг гаркнул Васька и вскочил. — «По-отцовскому»!

У Макарыча взмокла лысина.

— Ну погоди, гаденыш, — прошептал он, — под суд отдам!

— Под суд? — прогремыхало вдруг от двери.

Я обернулся. В избу входил Терентий Иванович, председатель. За ним стучал деревяшкой Игнат.

— Под суд, говоришь? — спросил снова председатель. Он подошел к столу и уселся на лавку рядом с Макарычем. Игнат остался у дверей. — А за что под суд?

— А за то, Терентий Иванович, — шустро повернулся к нему главбух, — что прогулявший три дня отдается под суд!

Макарыч налился кровью, он и председателем был недоволен. Недоволен, что вдруг появился тут Терентий Иванович и ему вопросы задает.

— С чего это ты взял, Макарыч — спросил председатель, — что он прогулял? Он на Белой Гриве двум бабам пахать помогал. И пахать там благодаря ему мы на день раньше кончили, понял? Парню спасибо надобно сказать. Малец еще, а он работать лезет. Потому что понимает, как трудно.

— Понимает! — протянул, издеваясь, главбух. — А горох колхозный воровать — тоже понимает?

«Ну гад, ну гад!» — прошептал я и кинулся в атаку.

— Это не он горох рвал, — шагнул я вперед, — а я!

Терентий Иванович обернулся ко мне, удивленно разглядывая, что тут за личность такая еще появилась.

— Он меня выручить хочет, — сказал Васька, бледнея и кивая на меня. — Он думает, его не посадят, раз он маленький, вот и выручает. Но вы его не слушайте, это я горох ломал. Два кармана набрал.

— А кто вам сказал, — медленно спросил Терентий Иванович, — что за два кармана гороха вас посадят?

Мы молчали. Председатель хмуро поглядел на Макарыча:

— Опять ты, главный бухгалтер?

— Я! — гордо ответил Макарыч, промокая лысину платком. — Я как есть и буду сознательный колхозник, не перестану стоять на защите социалистической собственности.

— Знаешь что, Макарыч, — задумчиво произнес председатель, — катись-ка ты отсюда!

Макарыч вскочил из-за стола, подошел к двери, открыл рот, собираясь сказать что-то, но председатель перебил его.

— Знаю, знаю, — прикрикнул он, — чего ты сказать собираешься! Мол, жаловаться стану! Жалуйся! Мы пуганые. Между прочим, когда жаловаться будешь, не забудь сказать, что, когда даже мальчишки работали, ты в конторе сидел!

Дверь грохнула, Макарыч исчез. В избе стало тихо.

— Вот кнутарь! — сказал председатель. — Ему бы только с этим, — он кивнул на кнут, — над людьми стоять. Попадают же такие гады!

Васька сидел опустив голову, на столе все еще белела лужица молока и лежала опрокинутая кружка.

— Ничего, Васька, — сказал председатель, подходя к нему и садясь рядом, — вот купим осенью трактор, снова пошлю тебя учиться. Будешь главным пахарем у нас! Правильно ты порешил: счетами стучать — не для мужика занятие! А то вырастешь, облысеешь и станешь таким же Макарычем.

Я представил себе Ваську лысым, с очечками на носу, как у главбуха, и расхохотался.

И тетя Нюра, милиционер с деревянной ногой, Терентий Иванович и Васька вдруг тоже рассмеялись.

Это в самом деле было смешно.

* * *

День клонился к закату. Солнце запуталось в слоеных облаках над лесом, угасило свой жар, потонуло ярким малиновым шаром в синем мареве. Васька, перекинув топор через плечо, а я с лопатой наперевес шли к околице.

— Коли можете, приходите, — сказал, уходя, председатель, — там и бабка ваша копошится, смените ее.

На взгорье, за деревней мельтешил народ. Слышался сдержанный говор, редкие, приглушенные удары лопат о камень, стук двух или трех топоров и гундосый голос пилы.

Чем ближе мы подходили, тем ясней различал я, что взгорье на околице как бы выросло, поднялось повыше. И точно. Люди насыпали холм, невысокий, метра в два, и плотно укрыли его дерном. Горка подросла, и на ней, на этой высотке, белела дощечками треугольная пирамидка.

Мы опоздали, памятник был почти готов. Терентий Иванович пилил с Васькиной бабкой последние доски, а знакомый мне дед, так и не снявший медалей, гладко отесывал эти досочки и аккуратно набивал их к основанию. Голова у него тряслась, но рубанок ходил в руках точно, снимая тонкую стружку.

— Дед Трифон, — крикнул председатель старику, увидев нас, — принимай подмогу, передохни!

— А ну, поступай в мою бригаду! — весело зашумел дед, но постругать дощечки нам не дал, а велел их аккуратно прибивать к стоякам, по два гвоздя с каждой стороны, да отпиливать концы.

Васька заворчал, что ему приходится делать такую ерунду, и прогнал меня к Терентию Ивановичу.

— Не вишь? — строго, но тихо спросил Васька. — Однорукий!

Я робко подошел к Терентию Ивановичу и затоптался за спиной, не зная, как начать. Он обернулся.

— А-а, — протянул председатель, — это ты? Что деду не помогаешь?

— Там Васька, — ответил я, переминаясь, — давайте я вместо вас.

Мы подошли к пирамиде, Терентий Иванович вставил внутрь пирамиды жердину, так что она торчала над ней.

— Я буду держать, — сказал он, — а ты заколачивай обухом в землю.

Я стал легонько постукивать по жердине. Она хорошо шла в мягкую землю, но Васька обогнал меня — уже приколотил все доски.

— Ну-ка, мигом домой! — велел ему, не оборачиваясь, председатель. — Найдешь фанерку, вычертишь по линейке звезду — сумеешь?

— Сумею, — прохрипел Васька.

— И пулей сюда! Усек?

— Усек! — растворяясь в темноте, крикнул Васька.

— Стоп! — остановил его председатель. — На обратном пути заскочишь ко мне в избу, возьмешь на подоконнике банку с краской и кисточку. Валяй!

Васька убежал, а председатель снова отдавал команды.

— Бабушка, — крикнул он Васькиной бабке, — и все, кто свободные! Несите сучья и запалайте огонь!

Внизу, у подножия холма, затрещал костер. Со стороны деревни к нему тянулся народ. Огонь выхватывал усталые, с полукружьями под глазами, лица женщин, низко надвинутые на лоб платки. Тени делали даже тех, кто помоложе, старухами, и мне казалось — перед памятником собралась толпа одних дряхлых старух.

Неожиданно я увидел в толпе Маруську и шагнул к ней.

— Ты как тут? — спросил я.

— Дак мы все приехали, — сказала Маруська, — ведь дядя Игнат сказал, что, должно, сегодня закончат, дак...

Она опять захлебнулась словами, робко, боязливо глядя на меня, а я увидел в толпе старух Маруськину бабу, и ту, с веселыми карими глазами, которая жала хлеб на коленках, и контуженного бригадира, и тетю Нюру с Васькиной бабкой, и еще тех, с Белой Гривы, — худую и Матвеевну, и еще, еще разных женщин, которых я видел впервые, хотя, может, тогда, на собрании, они были тоже, — конечно, были, не могли не быть.

Дед Трифон притоптал дерн у пирамиды, придиричливо оглядел памятник. Через толпу пробился Васька. Он загнанно дышал и держал в руке фанерную светлую звездочку.

Терентий Иванович взял ее, покачал на ладони, будто взвешивая тяжесть.

— Ну прибай, — сказал он Ваське, и тот, подхватив топор, точно, как снайпер, забил гвоздь в центр звездочки.

Белым пятнышком мерцала она над пирамидой. Сзади, над ней, чернело ночное небо, и там тоже молчали, переливались звезды, тысячи звезд. Тысячи тысяч. Но эта, фанерная, была ближе других к нам. Она как будто шевелилась в неровном свете костра.

— Ну вот, — сказал Терентий Иванович, — и поставили мы памятник нашим солдатам. — Он умолк

и вдруг спросил, спохватившись: — Васька, краску принес?

— Принес, — пробасил Василий.

— Пиши, — сказал председатель. — На каждой планке, их тут ровно шестьдесят четыре.

Васька приблизился к пирамиде.

— Иван Тихонович Васильев, — негромко и совсем не торжественно сказал председатель. — Одна тысяча девятьсот первый — тире одна тысяча девятьсот сорок первый.

Стало тихо. Только трещал костер, разбрызгивая огненные искры, словно это был артиллерийский салют. Из двадцати одного орудия. Двадцатью залпами.

— Семен Николаевич Васильев, — продиктовал председатель. — Одна тысяча девятьсот двадцать третий — одна тысяча девятьсот сорок второй.

Васька аккуратно выводил красной краской ровные, стройные буквы и такие же ровные цифры. «Счетовод, счетовод, — подумал я, — какие расчеты тебе делать выпало».

— Семен Семенович Васильев, — сказал председатель. — Одна тысяча восемьсот девяносто второй — одна тысяча девятьсот сорок первый. Борис Иванович Васильев. Одна тысяча восемьсот девяносто девятый — одна тысяча девятьсот сорок четвертый. Семен Борисович Васильев. Одна тысяча девятьсот двадцать пятый — одна тысяча девятьсот сорок второй.

«Все Васильевы! — поразился я. — Одна семья, что ли?» Хотел спросить кого-нибудь, но не решился.

— Иван Петрович Васильев, — сказал председатель сдавленным, напряженным голосом. — Одна тысяча девятьсот шестой — одна тысяча девятьсот сорок первый.

Я посмотрел на Ваську. Он вдруг беспомощно обернулся к председателю. Никогда я не видел таким Ваську. Губы у него тряслись и банка с краской тоже.

— Терентий Иванович, — сказал он глухим голосом, — я... — Он мотнул головой, словно у него стоял комок в горле. — Пусть Николка! У него хороший почерк!

Председатель посмотрел в толпу:

— Коля! — сказал он. — Иди сюда!

Я не понял, что это зовут меня, но толпа передо мной расступилась, образуя тропку к холму. Кто-то подтолкнул меня сзади, и я, как на трибуну, поднялся на горку.

— Пиши! — сказал мне Васька, и я принял у него банку с кисточкой.

— Иван Петрович Васильев, — повторил председатель. — Одна тысяча девятьсот шестой — одна тысяча девятьсот сорок первый.

Я нагнулся к пирамидке и аккуратно вывел буквы. Я волновался, и рука у меня дрогнула. Я обернулся. На меня молчаливо смотрели люди.

Я повернулся к памятнику и поставил точку.

— Иван Дмитриевич Васильев...

Вдруг кто-то дико закричал. Я опять обернулся, оплеснув штанину красной краской. На земле, у подножия, лежала тетка с карими глазами, та, что жала на коленях. Она прижималась к дерну, обнимала его и плакала, плакала так отчаянно, что мне стало страшно. Я отыскал взглядом Ваську. Он сидел на холме, возле пыльных сапог председателя, обняв руками свои колени.

Я отыскал тетю Нюру.

Она не плакала. Она глядела сухими, воспаленными глазами на пирамиду и, казалось, ничего не видела.

Костер раскидывал в красной траве черные тени и громко хлопал прогоревшими сучьями.

Я содрогнулся. Первый раз в жизни я видел такое горе.

Горе не одного человека, не двонх, не одной семьи, а горе целой деревни.

* * *

В ту ночь я долго не мог уснуть. Перед глазами плясал торопливый язык костра, бесконечно шуршало сено.

Я думал о памятнике, об убитых солдатах и о своем отце. Еще тогда, в городе, когда Васька рассказал, как погиб его отец, мне сделалось стыдно за то, что я счастливей моего приятеля. Сегодня я снова почувствовал это, но теперь я понял, что это не стыд. Я просто понял, что в час скорби других, такой скорби, которую я видел, твое счастье должно как бы отступить в тень, должно отодвинуться, стать в сторонку.

В трепещущих бликах костра, стоя у памятника, я не был, не мог быть счастливым от мысли, что мой отец жив, хотя мог погибнуть, как погибли эти Васильевы. Я горевал вместе со всеми, я выводил буквы дрожащей рукой, еле сдерживая слезы, и не думал, не мог думать про отца.

Теперь же, когда все осталось позади, отец словно шагнул ко мне, оттуда, из Германии, выступил из тьмы и встал совсем рядом. Мое собственное счастье стало ближе, и мне до смерти захотелось поскорее схватить отца за руку, поскорее увидеть его и не умом, а в самом деле ощутить свое счастье...

Я уснул в каком-то смятении.

Проснулся неожиданно. Словно кто-то позвал меня. Я оглянулся. Рядом всхрапывал Васька.

— Кто тут? — испуганно прошептал я.

Никто не отозвался. Я вздохнул: значит, показалось. Но легче мне не стало, наоборот.

Мысли, одолевавшие меня вечером, выплыли снова. Все, что я видел вчера у памятника, было тягостно, смертельно тягостно, и, все еще погруженный в это горе, я испугался за отца: а вдруг с ним что-нибудь случилось? Теперь, когда война кончилась?

Я тут же прогнал эту глупость — нет, нет, это ерунда. Ничего не может случиться с отцом. Война кончилась, ее больше нет.

Я вздрогнул: радостное предчувствие окатило меня, и я понял, что все это глупости — с отцом ничего не случилось, просто он вернулся домой.

Я перевел дыхание, боясь спугнуть придуманное мной. А что? Разве не мог вернуться? Мог! Очень даже мог.

Я толкнул Ваську...

Он молча вскочил, как часовой, уснувший на посту, потом уже спросил:

— Ты что?

— Васька, — сказал я, волнуясь, — знаешь, Васька, я сейчас домой пойду. У меня, наверное, отец вернулся.

— С чего ты взял? — удивился он.

— Просто так, — ответил я, торопливо стряхивая с себя сено, — просто так. Он, наверное, вернулся, надо идти.

Мы спустились в ограду. Тетя Нюра наливала в чугунок воду.

— Проснулись, голубчики? — удивилась она. — Спали бы еще.

— Нет, — ответил я, все больше волнуясь. — Нет, тетя Нюра, я должен идти домой, у меня отец приехал.

Она строго посмотрела на меня, помолчала, потом спросила:

— Чуешь, приехал?

— Чую, — ответил я, — чую, тетя Нюра.

Она засуетилась, пошла в дом, положила в рюкзачок каравай хлеба.

— Раз чуешь, — сказала она, — иди, Коля! Сегодня как раз машина с молоком в город идет, подвезут, я упряжу.

На дорогу я выпил молока, мы присели на минуту.

— Ну, мы пойдем пока, — сказал я. Мне не терпелось домой.

— С богом! — вздохнула тетя Нюра.

Молча, в звенящей тишине, мы прошли деревню и остановились у околицы. Грубый деревянный памятник высился на невысоком холме, и по нему яркие, как кровь, краснели буквы и цифры, которые мы с Васькой выводили вечером. Только звездочка была белая, фанерная.

— Покрашу сегодня, — сказал Васька и вздохнул.

Мы поднялись на горку, постояли минуту. Сверху было видно, как над полем белыми пластами стлался туман. Он стоял неподвижно над зеленой травой, над коричневой пашней. Сноп, словно пловцы в реке, поднимали над ним свои головы. В кустах весело перекликались птицы.

— Васька, — спросил я, — а почему только Васильевы? Все родственники?

— Есть и родственники, — сказал он, — очень даже много. Но у нас в деревне все Васильевы, потому что деревня Васильевка.

Он оглядел пирамидку тяжелым взглядом.

— Значит, уходишь? — спросил Васька негромко, словно все еще не мог поверить в мое решение.

Я промолчал, думая о своем.

— Тогда я тебе расскажу... — прибавил Васька. — Хотел потом сказать, но раз уходишь...

Птицы распевали все громче, все отчаянней, будто пробовали, кто кого перекричит, перечирикает, пересвистит.

— Понимаешь, — сказал Васька, — сегодня Семсн Андреевич заехать должен. Обещал тогда.

— Ну? — спросил я, не понимая.

— Ну вот, — Васька опустил голову, — мамка ведь в район к нему ездила, все про отца спрашивала. А потом мне вдруг говорит... — Васька вздохнул, подопнул шишку, лежавшую на дороге. — А потом говорит: «Как

считаешь, Василий, если я его к нам привезу? Если я замуж выйду?»

Я остановился. Я глядел во все глаза на Ваську. Нет, он не шутил, таким не шутят — правду говорил Васька, по голосу даже понять можно: будто все время он что-то глотает, будто что-то говорить ему мешает.

Мы пошли дальше. Дорога спустилась в овражек, и я узнал его, сиреневое море иван-чая. Только теперь кузнечики не стрекотали. Сыро и рано было для кузнечиков.

— Ну? — подтолкнул я замолчавшего Ваську.

— Ну, я спросил тебя, что бы ты делать стал, если бы отца у тебя убили, а мать снова замуж пошла. — Васька пнул новую шишку. — Ты ответил, что сбег бы, ну, и я мамке так же сказал.

— Она тоже меня про это спрашивала, — сказал я Ваське и вдруг вспомнил все подробно, до мелочей: я жну, стоя на одном колене, а тетя Нюра из-за спины спрашивает меня тихим, мягким голосом.

«Дурак! — обругал я себя. — И Васька спрашивал, и тетя Нюра, а я и внимания не обратил, думал, мало ли что говорят, что спрашивают. А оказалось вон как».

— И убежишь? — спросил я Ваську.

Васька помолчал, потом вздохнул.

— Отца все одно не воротишь, а куда я побегу?.. — Он подумал и прибавил: — Вот и сказал я вчера мамке: «Семен Андреевич-то приедет, так пусть остается».

Васька говорил теперь уверенней, спокойней и шагал быстрее, тверже.

«Вот как все обернулось, — думал я, — будет теперь у Васьки отчим».

Васька вдруг остановился, встал мне поперек дороги.

— Только ты не думай, — сказал он, — что я все позабыл. Нет! Сто первый километр под Москвой я все равно найду! Понял? И коня на крышу поставлю.

Мы пошли дальше. Дорога вела вверх, и опять вниз, за спиной расстилалось поле иван-чая — таинственное, молчаливое, укрытое покрывалом тумана.

На другой стороне овражка громко и неожиданно зарычал мотор, и появилась маленькая машинка, дымящая трубами по обе стороны от кабины.

— Ну вот, — сказал Васька, — и газогенераторка с молоком.

Машина тормознула, скрипнув и содрогнувшись всем телом, и из кабинки высунулась женщина.

— Садись со мной, паренек! — крикнула она, и мне показалось, что вчера, у памятника, я слышал этот голос.

Я мотнул головой, перекинул ногу через борт, машина загрохотала, двинулась, и Васька остался на пригорке, подняв над головой руку.

Я стоял в кузове, держась за тяжелый холодный бидон, и глядел, как медленно уменьшается его фигурка.

Ветер трепал мои волосы.

Ветер дул мне в затылок.

А я смотрел на Ваську, смотрел, смотрел, смотрел...

Когда он скрылся, я прикрыл глаза и представил, как увижу отца, как брошусь к нему навстречу, как прижмусь к нему крепко и стисну зубы, чтобы не заплакать...

Магазин ненаглядных пособий

Светлой памяти
Лидии Иосифовны Доукиши посвящая.

Автор

Могу биться об заклад: в моем детстве все было не так, как теперь. И если не понявший меня задаст уточняющий вопрос — лучше или хуже? — я воскликну, не сомневаясь: лучше! В тысячу, в миллион раз, и не подумайте, что я занудливый, скрипучий старик, которому ничего вокруг не нравится, всем он недоволен, только и знает приговаривает: «А вот раньше, а вот тогда...» Нет, пока что я не старик, и дело тут совсем в другом.

Дело в том, что в моем детстве действительно все было лучше. Например, цвело больше одуванчиков — да, да! Теперь они прячутся куда-то подальше, на дальние лесные поляны, и в городе робко выглядывают из-за кустов редкими желтыми глазками, а в моем детстве они росли рядом с тротуарами, рядом с дорогой, и, когда ты шел по городской улице, тебе казалось, что ты идешь ну просто по солнцу! Желтые поляны слепили глаза, и надо было щуриться, чтобы не споткнуться о тротуарину, которая то прогнется дугой, то выдвинется боком, то завирюхается под ногой от древности. Ранним летом тогда вообще можно было поправить настроение на улице. Расстроился чем-нибудь, огорчился — выйди на улицу, когда одуванчики цветут, пройди два квартала солнечной дорожкой, да еще сверни на пустырь возле школы, где одуванчиков море разлитое, и будешь еще вспоминать, что это такое тебя расстроило, какая неприятность: одуванчики ярким цветом своим сотрут все в голове, а если уж не сотрут до конца, то вроде бы неприятности твои отодвинут вдаль, и они окажутся уже мелкими и нестрашными. Вроде как одуванчики волшебством каким обладают.

А когда они отцветут? Когда дунет ветер посильней? Праздник на душе, ей-богу! Несутся по небу тучи — бегучие, летучие. А от земли к тучам взлетают миллиарды парашютиков — настоящая метель; но как ни силен ве-

тер, он непременно стихнет, и с неба, будто облака сбросили десант, плавно, медленно в наставшей вдруг тишине летят назад одуванчиковые парашюты, и тогда хорошо залезть на забор, или на крышу дровяного сарая, или даже на крышу дома, сесть там на самый конек и задрать лицо к небу, разглядывая парашютики, встречая их взглядом и провожая к земле. В такой день ходишь ликующий, будто это ты сам летал над землей, поглядел на нее сверху. Или увидел какое-то чудесное чудо, салют, а может, странный дождь, который сулит впереди тайную радость и исполнение желаний.

В моем детстве было больше воды в нашей старой реке и ее не пересекали песчаные отмели — это уж всякий подтвердит, даже ученые. В моем детстве в реке была рыба, клевали на удочку здоровущие окуни, не то что сейчас, всякая мелкота! В моем детстве было больше птиц, и почему-то среди всех других — стрижей. Они носились над крутым берегом реки, над нашим оврагом, а жили под стрехой поликлиники, которая стояла впритык с нашим домом. Там любили селиться стремительные птицы, чей полет похож на след молнии.

По стрижам мы всегда узнавали погоду: если летят понизу, прямо над твоей головой, с легким шелестом разрезая воздух, значит, к дождю, а если выются в бездонной высоте мелкими точками, значит, к ведру, можно не опасаться — самая надежная примета.

В моем детстве было много разных важных событий, так не похожих на сегодняшние, но дело не в непохожести, а в том, что все это я видел и помню до сих пор.

Видел, хотя мог и не видеть, и помню, хотя мог не помнить.

Почему?

Мне кажется, все дело в фотоаппарате.

* * *

Среди необыкновенностей моего детства был один магазин.

Это был сказочный магазин! Сколько потом я ни ездил, ни ходил, ни летал по белу свету, я больше не встречал таких магазинов — может, не везло, или, может, их не стало вовсе, а вот в ту военную пору магазин такой был, и не где-нибудь, а в нашем не бог весть каком большом городе. До сих пор я ломаю голову: за-

чем был этот магазин, почему? Ведь в нем почти не покупали и ничего не продавали.

Взрослых в этом магазине не бывало, единственная публика — дети. Но какие мы покупатели? Однако я не стану спешить. Прежде чем войти в магазин, требуется пояснение.

Вот оно.

Читать, и довольно бойко, я научился еще до школы, в детском саду. Когда настала пора отдавать меня в школу, вышло решение: принимать детей не в первый класс, а в подготовительный. Тех, кто учился в таких классах, называли приготовишками. Какой-то деклассированный элемент, ни то ни се, ни рыба ни мясо, не детсадовцы, не школьники. В подготовительных классах больше болтались, чем учились, — по крайней мере, так высказывались мама и бабушка, по какой-то такой удивительной женской привычке совершенно не обращая внимания, что я, как суслик, насторожился и глотаю каждый их звук, не то что слово.

— И где учителей наберут для этих классов? — размышляла мама. — Настоящий педагог туда не пойдет, значит, наберут всяких недоучек.

— Хулиганствовать токо будут, — кивала согласно бабушка. И всплескивала руками: — Надо же! Чтобы в первый класс попасть, еще целый год учиться!

Я заволновался: все-таки уже читал довольно бегло, да и считал до полусотни — это в детском-то саду, — и вдруг тебя не пускают даже в самый первый класс!

Обсуждение, как быть со мной, затянулось надолго. Мне казалось, родные мои мама и бабушка демонстрируют поразительную нерешительность. Они будто обмеривали меня, как выловленную рыбу. А рыба только хлопает хвостом, тяжело шевелит жабрами и молчит.

— Preparatory класс не обязателен, — говорила мама, — но если он не справится с программой первого класса, могут ссадить назад, в preparatory. Тут уж в детский сад не вернешься.

— Нашего не ссадят. Пусть попробуют ссадить! — отвечала бабушка, неизвестно в кого больше веруя, в меня или в себя. — А жалко. Маленький ведь, худой, гляди — одни кости, пусть подрастет в детском саду еще годик.

Я родился в сентябре, и у бабушки с мамой была бюрократическая зацепка за этот факт: они могли от-

дать меня в школу без полумесяца семилетним или почти восьмилетним.

— А зато школу как кончит, сразу в армию, — печалилась мама.

— Эк куда хватила! — махала ладошкой бабушка. Десять лет ей казались далью неохватной, немереной, и так далеко загадывать тогда никому не хотелось: война только началась, и отец совсем недавно ушел на фронт.

Отец ушел, радио говорило тревожным голосом Левитана, школы переезжали из своих зданий в деревянные бараки и старые дома, жильцов в квартирах уплотняли: вдруг поздно вечером открывалась дверь и входила женщина, а то и не одна, с ребеночком, с другим; в руках женщина держала ордер на уплотнение, и ничего не поделаешь, приходилось вытаскивать пожитки из одной комнаты в другую, если раньше жили в двухкомнатной квартире, а чаще всего из одного угла комнаты в другой, потому что в двухкомнатных квартирах до войны редко кто жил, и эвакуированные помещались в той же комнате, только за занавеской. Ну, а главное — приходили первые похоронки, и мы, махонькие ребята, уже слыхивали истошный бабий вой — на одной ноте, — от которого бегут по загравку мурашки и все в доме замирают с одним суеверным заклинанием: «Только бы нас обнесло!..»

Самым горьким человеком на нашей улице была почтальонка Муся. Жила она где-то на другом конце города — я думаю, почтовое начальство специально так подстраивало, чтобы почтальонка никого близко на нашей улице не знала, — и появлялась, как молчаливая серая птица, в одни и те же часы.

Бабушка с утра задерживала занавески в комнате, тревожно поглядывала на ходики, а когда наступал час и на улице появлялась почтальонка, бабушка подходила к окну, вставала так, чтобы ее не было видно, а сама она бы видела все, поверх занавески следя за действиями почтальонки, и минут на пятнадцать замирала — даже дыхание как будто замедляла. Иногда я становился впереди бабушки, раздвигал пошире щель между занавесками и тоже смотрел, как, потупив глаза, быстро идет по улице Муся, подходит к ящикам, бросает в них газеты и письма, худая, кожа да кости, худенькое пальцецо болтается на плечах, как на вешалке, крас-

ные руки торчат из коротких рукавов и такой же красный, озябший нос.

Я жалел Мусю, а бабушка ее не любила неизвестно за что и всякий раз крестилась, облегченно вздыхая, когда почтальонка проходила наш дом. Каждое утро бабушка исполняла этот ритуал — замирала на пятнадцать минут, таясь за занавеской. Потом крестилась, и жизнь продолжалась.

Моя ученическая судьба решалась в августе сорок первого года, когда, как я теперь понимаю, от жизни до смерти и от неуверенности до веры был всего лишь один шаг. Утром бабушка выглядывала из-за занавески на почтальонку Мусю, страшась самого горького, а вечером они с мамой рассуждали о таком смешном, но, получалось, важном — сколько мне будет лет, когда я кончу школу и какой толк от приготовительного класса.

Было ли что-нибудь странное в этом?

Было, но только лишь если поглядеть на то время из сегодняшнего дня. В ту же пору никто ничего странного не увидел бы. А ежели кто-то заговорил об этой странности, ему бы ответили: «А что же делать? Жить-то надо!»

И жили! И я не знаю случаев, чтобы заорали, стали жаловаться, если вдруг на пороге появлялась женщина с детьми и ордером на уплотнение. Мирно подвигались и жили. Всякое, наверное, было, может, кто-то и побежал жаловаться, но ничего у него не вышло, а если и вышло, то такая несправедливость исчезла из памяти, а осталось только это: «Что же делать, жить-то надо!» И в тесноте надо жить, и в беде тоже надо жить, и когда почтальонка Муся того и гляди принесет бумажку, от которой завоет кто-то так, что мурашки по спине...

Бабушка и мама решили меня все-таки в пригото-вишки не отдавать, пусть я покормлюсь перед школой в детском садике и уж лучше без полумесяца в восемь лет пойду сразу в первый класс. А чтобы не ссадили оттуда к приготовишкам — что просто унизительно в восемь-то без полумесяца, — надо мне учиться.

И мы с бабушкой начали странные уроки. По дороге в детсад и из него я считал — уже до сотни! — и читал. Но читать на улице можно было только вывески.

Дорога с бабушкой из детского сада — утром-то все-таки поспешали! — была долгой и забавной, и за эту дорогу много я выучил в ту пору разных слов, которые бабушка объясняла в силу своих знаний и пониманий.

Вывески были разные, они отличались по цвету, преимущественно черные и бордовые с белыми или золотыми буквами, по размерам — от совсем маленьких до длинных и застекленных, по словам — понятные, написанные полными словами или сокращенные, словно засекреченные. Например, «Гортоп». За этой вывеской, во дворе, лежали дрова, возле дров всегда суетился народ, хотя еще совсем недавно, несколько месяцев назад, до войны, на дровах всегда дремал сторож в валенках и было тихо, как в глухом лесу.

Некоторые вывески звучали торжественно и нелепо, особенно зимой, — я и зимой читал все те же вывески, их на зиму никто не менял: «Общество спасения на водах».

Некоторые вывески соединяли в себе слова совершенно уж невероятные, и, хотя бабушка раскрывала их земной смысл, они так и оставались для меня обозначением каких-то неземных дел: «Райфо», «Райплан», «Районо».

Бабушка поясняла, что за мудреными словами скрываются районные финансы, районный план и районный отдел народного образования, но я словечко «рай» воспринимал буквально, и мне казалось: в доме, на котором висят эти таблички, находятся райские финансы, райский план и райский отдел народного образования. Обшарпанный этот дом в густых зарослях мальвы казался мне местом сказочным, там, на трех невысоких этажах, мне слышалась райская музыка, необыкновенные цветы, похожие на одуванчики, только не желтые, а красные, голубые, сиреневые, на длинных ножках, и в этих цветах лежат пачки совершенно натуральных нашенских денег, какие-то чертежи. Как выглядит народное образование, я так и не придумал за все эти долгие годы, потому что сразу за углом открывался вид на мой необыкновенный магазин.

— Читай, — подталкивала меня бабушка, но я не спешил исполнить ее команду, а любовался внешним видом моего магазина.

Он был необыкновенным во всем, начиная с входа: у большого каменного дома как будто обрубили угол, верхние этажи украшали фальшивые балкончики, на которые никто никогда не выходил, а внизу сверкала стеклянная старинная дверь, и я торжественно произносил, даже декламировал:

— Магазин! Учебно! Ненаглядных! Пособий!

— Неужели так трудно хотя бы запомнить! — возмущалась всякий раз бабушка. — Наглядных! Посмотри на буквы! «На-гляд-ных по-со-бий», — читала она по слогам.

И я повторял за ней по-своему:

— Магазин ненаглядных пособий.

Я был упорен в своих взглядах. Однажды по радио пели песню, где были слова «ненаглядный мой». Я сразу спросил маму, что значит ненаглядный.

— Ну, — ответила она безразлично, — наглядеться нельзя.

Вот именно! В этом магазине наглядеться нельзя, глаз оторвать невозможно. Какой же он магазин наглядных пособий? Ненаглядных!

Это был магазин ненаглядных пособий.

* * *

Ах, как длинны дороги в детстве!

И как сладка первая свобода!

Нынче дорогу от своей бывшей школы до дома я промахиваю за дюжину минут, не встретив ничего достойного внимания, — магазин ненаглядных пособий умер, его нет, и тот угол под балкончиками, которые тоже бесследно исчезли, занимает другой магазин — совершенно скучный магазин обыкновенных игрушек, битком набитый заводными машинами, кубиками, куклами, медведями и прочей дребеденью, возле которого не встретишь даже малышей. А тогда, тогда...

Тогда дорога из школы домой занимала час — самое малое. Шесть с половиной кварталов, длиннейший из которых не больше двухсот метров, я одолевал так, как одолевает гурман вкусное пирожное: откусывая по маленькому кусочку, разжевывая тщательно, жмурясь и мурлыча от удовольствия и уж потом — совсем-совсем потом — неохотно проглатывая. Кто-то там бежал, спешил по разным неотложным делам, а у меня быстро никак не получалось, и время от времени дома происходили яростные стычки с бабушкой, которая никак понять не могла, что целый час я просто иду из школы, просто шагаю и никаких в этот час не совершаю преступлений — не курю с приятелями, не шатаюсь по рынку, не бегаю по пустырям с мелкими жуликами моего возраста, которых развелось в нашем городе великое множество. Нет, не понимала меня бабушка, не пони-

мала, что можно просто медленно идти, останавливаясь у старых тополей, чтобы послушать вороний грей, зайти во двор «Гортопа» и поглядеть, как женщины грузят на телеги дрова для своих печей, суетясь, оживленно переругиваясь, а в самые ответственные и спорные мгновения размахивая какими-то бумагами, полученными, видно, в конторе. Ну а главное, ведь надо же каждый день обязательно заглянуть в чудесный магазин!

Я делаю этот проскок в целый год, от детского сада к школе, безжалостно и вполне умышленно листанув дней четыреста, чтобы скорее приблизиться к моему дорогому магазину. Ибо какое же удовольствие и какое наслаждение может испытывать человек, которого на минуточку, да и то без всякого встречного желания, лишь под напором нытья и даже плаксивого хныканья заводит за руку бабушка, чтобы тут же, брезгливо фыркнув, вытащить обратно?

Нет, нет и нет! С бабушкой — это не магазин, хотя она и водила меня туда, когда я еще ходил в детсад. Магазин ненаглядных пособий становится чудесным, когда ты на свободе и когда ты один.

И вот через год, в счастливом одиночестве, я ступаю на порог магазина — все предыдущие сюда заходы, забеги, заскоки недостойны описания, — потому примерно через год я прикрываю за собой осторожно стеклянную дверь и счастливо улыбаюсь: наконец-то!

Магазин ненаглядных пособий перегорожен тремя рядами высоких стеклянных шкафов. У дальней стенки, сделанной тоже из стеклянных отсеков, только поменьше, за прилавком дремлет седенькая старушка в коричневом свитере. До старушки я еще доберусь, а пока медленно, по шажочку, боком двигаюсь вдоль первого, у окна, шкафа.

На полках — в застекленных коробках — ловко припилены сухие бабочки. И какие бабочки — таких я никогда не видал! Полосатая, с голубой перламутровой каймой вдоль крыльев, ярко-красная, в точечку, рыжая, с крыльями, оттянутыми вперед, толстые, как самолеты-бомбовозы, и стремительно изящные, с прозрачными крыльями, похожие на планеры, какие в летний полдень висят над загородным лесом.

В другой коробке жуки — от крохотных, едва заметных бусинок до страшных огромных носорогов, чемпионов среди жуков. Найди такого — и можно выменять у мальчишек самую красивую марку, самопал, счастливую

жестку, с которой можно обыграть самого ловкого игрока или просто-напросто стать знаменитым человеком, когда ребята показывают на тебя пальцем и говорят между собой довольно громко, так, что и ты слышишь: «Вот у этого пацана есть жук-носорог размером с ладонь». Ничего, что в таких разговорах все немножечко преувеличено, такова слава: она со временем прирастает сама по себе, без всяких на то усилий.

Вот в этом была особенность чудесного магазина, в этих всяких размышлениях. Смотришь на гигантского жука, а в голову сами по себе, без всякого зова, лезут разнообразные мысли, не связанные между собой в единое целое, но чрезвычайно важные для любого человека.

Вот, например, шкаф с жуками и бабочками соседствует со страшным, но еще не самым страшным: в больших запаянных сосудах со спиртом извиваются змеи. Черная, зловещая гадюка, желтая медянка, еще и еще какие-то. Я не видел змей в жизни, да не так уж много и слышал про них — какие в городе змеи и разговоры об этом! — но даже мертвые, заспиртованные и потому, ясное дело, безопасные твари вызывают ужас и отвращение, смешанные, однако, с любопытством. Кривясь от брезгливости и собственного страха, я тем не менее мысленно освобождаю змеюгу из банки, сушу на солнышке и доставляю в класс, чтобы на перемене, изобразив на лице равнодушие, вытащить эту штуковину на парту, или, еще лучше, кладу потихоньку в портфель Вовке Крошкину, чтоб он заорал диким голосом, или, вовсе здорово, Нинке Правдиной, и что было бы тут — представить просто невозможно...

Откуда возникали во мне такие мысли, я и сейчас понять не могу. Воинственностью характера я вовсе не отличался, наоборот, не любил ввязываться во всякие проделки, которых в школе хватало. А вот нарочно змею засунуть в портфель — это мне в голову приходило, и, надо заметить, не то чтобы иногда, порой, время от времени, а каждый день, едва я заходил в свой магазин и принимался разглядывать змей, заспиртованные экспонаты. Думаю, причиной была все же жажда известности... И откуда она бралась только? Но мне страшно хотелось этого... Ребята будут показывать на меня пальцем и громко говорить между собой: «Этот пацан засунул в портфель удава». Ничего, что опять немножко преувеличено — не удава, а медянку или,

от силы, гадюку, но ничего не попишешь, такова слава.

Рядом со змеями, целый отсек в нижнем шкафу, занимало настоящее чудо: громадная, с хорошего поросенка, черепаха. Она не нагоняла на меня страха, я приветливо улыбался ей, но концовка все равно была одна и та же: я еду на живой черепахе, прямо по середине улицы, пусть медленно, зато верно — что за беда! — и ребята показывают на меня пальцем.

После черепах шли рыбы в стеклянных сосудах, знакомые, виденные на рынке и дома щука и карась, незнакомые рыбы с красивыми хвостами и тонкие, как стрелки, и про рыб тоже шла та самая концовка. В магазине было много странностей, к которым моя концовка не подходила, например какие-то личинки в баночках — как ни бился, я ничего не мог выдумать с этими личинками, — или сидела в банке здоровущая жаба, глядела вокруг немигающими выпуклыми глазами — жабу в класс не принесешь, тут нет никакого геройства. За жабу могут и высмеять, могут пальцем показывать на тебя со смехом, еще кличку, не дай бог, придумают: «Эй, жаба!»

В конце первого же шкафа, занимая его сверху донизу, почти рядом с прилавком и старушкой в коричневом свитере, было самое страшное и самое привлекающее в этом магазине, но я нарочно отворачивал взгляд, нарочно откладывал самое страшное на последнее мгновение, когда уже все осматрю, все выгляжу до малейших подробностей и надо будет выходить, — вот тогда-то, перед уходом, и надо внимательно, не спеша, со вкусом, но и с трепетом разглядеть это самое-самое страшное, до которого мы в школе еще не добрались и неизвестно, когда доберемся, если, конечно, доберемся вообще. Так что я отводил взор на второй ряд стеклянных шкафов, где хранились вещи, мне менее понятные, но тем не менее тоже любопытные: пирамида с ровными, удивительно гладко отполированными гранями, песочные часы разных размеров, большие линейки, по которым можно чертить разве что на доске, но уж никак не в тетрадке, громадный учительский циркуль — тоже для черчения на доске, — деревянный, с острой железкой на одном конце и гнездышком для мелка на другом, глобусы двух размеров — большущий, руками не обхватить, и поменьше. В третьем ряду стояли колбы разнообразных форм, торчали веером стеклянные трубочки, сияли в коробках, раскрытых для красоты, разноцвет-

ные стеклышки и множество банок — ну точно как в аптеке, — больших и поменьше, где на наклейках тщательно написаны иностранные слова. В стенку, возле третьего ряда шкафов, был вбит громадный гвоздь — даже гвоздь в этом магазине был изумительным и невиданным: он выставлялся из стенки сантиметров на двадцать, не меньше, шляпка у него была с целый пятак. И вот на этом гвозде висела пачка больших географических карт — а верхняя прямо-таки излучала красоту, сияя красными, малиновыми, желтыми, изумрудными, голубыми, еще и еще какими-то цветами, названий которых я просто даже не знал.

Ну, вот и все.

За исключением еще двух достопримечательностей — старушки продавщицы и самого страшного.

Старушка мне нравилась одной особенностью: она все время дремала. Голова ее совершала однообразное движение: медленно-медленно опускалась, а когда безвольно падала совсем, старушка на мгновение приоткрывала затуманенные дремотой глаза, как-то гордо вскидывала голову — пока она вскидывала ее, глаза уже закрывались, — и голова едва заметными рывками падала снова.

Сколько раз я заходил в магазин ненаглядных пособий, старушка всегда сидела в коричневом свитере — даже летом, в жару, — всегда дремала, и по этой причине магазин мне нравился особенно крепко, потому что во всех других магазинах продавщицы смотрели на тебя, как змеи, не отрываясь, настороженно, немигающими глазами, точно стоит им раз моргнуть, как ты, тайный маленький мошенник, тотчас что-нибудь стянешь. А эта старушка знай дремлет себе, не смотрит на тебя подозрительно, не боится, что у нее упрут какой-нибудь товарец. Это дело понятное: кто на такой товарец позарится, да и попробуй его вынуть из этих стеклянных запаянных кубов!

Так что я разглядывал старушку, перед тем как посмотреть на самое страшное, спокойно и внимательно изучал, как у нее падает голова, открываются глазки, даже не видящие тебя, тут же снова закрываются, голова гордо вздергивается и медленно опускается вновь. Здорово получалось у старушки, ничего не скажешь! Почти экспонат! Может, даже ее купит какая-нибудь школа? Вот смеху-то будет! Ненаглядное пособие — спящая старушка.

Я похихикивал — негромко, чтобы, не дай бог, не разбудить продавщицу, хотя в душе совершенно не верил, что она может проснуться. Мне казалось, если даже заколотить школьным звонком у нее перед носом — здоровенным таким колокольчиком на деревянной ручке, — она не проснется, будет все так же поднимать и опускать голову, как заведенная.

И вот! Наконец! Всякий раз трепыхаясь как воробей! Холодея! Прижмуривая глаза от страха! Нехотя отрывая взгляд от спящей старушки! Я поворачиваюсь к стеклянному кубу прямо возле нее! И гляжу! Гляжу!

В стеклянном кубе, жутко ощерясь, страшно вглядываясь в тебя пустыми глазницами, навевая кладбищенский холод, стоит человеческий скелет. Гребешки распяленных костей вместо пальцев, желтые палки рук и ног, страшная яма таза, полая труба позвоночника и растопыренные ребра — кошмар!

Хочется закрыть глаза, выскочить из магазина, но что-то другое, тайное в тебе велит стоять, внимательно глядеть и не закрывать глаза, пока не пройдет положенное время. Будто испытание, назначенное тебе и самим собой и не собой, а кем-то другим, хорошо тебя знающим, послушаться которого ты не можешь, не имеешь права.

Я смотрел на скелет минуту, другую, третью, медленно поворачивался и не спеша выходил из магазина, только там, на улице, снова ощущая собственное дыхание.

Я не раз замечал: пока смотрю на скелет, жизнь будто замирает вокруг. Не слышно разговоров на улице, рыка машин, цокота лошадиных копыт. Не слышно даже собственного дыхания.

Через полквартала от магазина я сдерживал свой непривычно торопливый шаг, вертел головой, убеждаясь, что все вокруг по-прежнему, а через квартал в голову мне лезла все та же дурацкая мысль: ребята, да что там ребята — взрослые, все подряд, показывают на меня пальцем и говорят друг дружке: «Представляете, этот пацан купил скелет в магазине учебно-наглядных пособий!»

Купить скелет! От такой мысли веяло суеверной жутью, богохульством и вообще чем-то недозволенным, опасным, даже стыдным, но эта мысль неизменно приходила ко мне, правда, не раньше чем за квартал от

магазина ненаглядных пособий, — наверно, это было безопаснее, за квартал.

Купить! Но как, если даже преодолеть суеверие, богохульство, опасность, стыд и недозволенность? Я ни разу не видел, чтобы старушка продавщица проснулась по-настоящему, а значит, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь что-нибудь покупал в этом магазине.

Или мне не везло?

* * *

А теперь промахнем три с лишним года — хорошо, что это можно сделать, когда думаешь о прошлом: будущее так просто не промахнешь, оно движется день за днем в наше настоящее, с годами убыстряя свой бег, и ты все чаще возвращаешься к детству — да будет благословенно оно! Да живет вечно оно в нашей памяти, счастливо тягучее время начала жизни...

Итак, через три года, в конце третьего уже класса, как раз по весне, когда вскрылась река и с шорохом и гулом уплыли вниз по воде рыхлые серые льдины, наша Анна Николаевна, опоздав немножко на урок, привела с собой пацана в кителе с морскими пуговицами.

Эти пуговицы бросились мне в глаза прежде всего. В кителях ходили почти все офицеры — такая вводилась форма, то ли по причине военной поры, то ли по причине удобства и нужды: вид у кителя был строгий, шился он легко, а носился просто — знай меняй воротнички, вот и все.

Но пуговицы! У всех были железные пуговицы со звездочкой, а у Витьки Борецкого, который вошел в класс вместе с учительницей, редкостные для нашего сухопутного города чрезвычайно — с якорями. Анна Николаевна усадила Витьку в конце класса на свободное место и с минуту, наверно, обозревала пространство поверх наших голов, явно недовольная своим решением: далеко сидел Борецкий, далеко.

Мы хорошо знали, когда Анна Николаевна была недовольна: взгляд ее задерживался поверх наших голов дольше обычного. Порой, когда свет падал определенным образом на ее пенсне, было чуточку страшновато, потому что глаз учительницы за пенсне не было видно, а стеклышки блестели, и казалось, что у нашей доброй Анны Николаевны огромные стеклянные зрачки. Но в тот миг особый взгляд был нам непонятен, неяс-

ным получалось это блистание стеклышками пенсне и медленное озирение класса. Наконец Анна Николаевна проговорила несколько расстроено:

— У Вити отец — новый начальник пароходства.

Да-а, тут было над чем поразмыслить.

Дело в том, что военное время разделило всех мужчин на две половины. На тех, кто воевал, и на тех, кто был в тылу. И фронтовики с презрением относились к тем, кто оставался дома: еще бы, на войне погибают, а в тылу как ни трудно, а все равно легче. Если повнимательней приглядеться, то и сейчас еще живо это неравенство — иногда справедливое, а иногда и нет, потому что всякому ясно: без тыла нет фронта и на одних женщин тыл тоже нельзя оставлять, много тяжкого приходилось на тыл — и голодуха зеленая, и смерть от дистрофии, и срочная стройка военных заводов без сна и роздыха, но что поделаешь, так считалось и так считалось: кто в тылу, тот крыса и достоин только презрения, кто на фронте, тот герой, слава ему и честь. Что у взрослых, то и у ребятни.

Каждый класс и каждая школа делились на две половины — на тех, у кого отец воюет, и на тех, у кого отец дома.

Детей тыловики мы презирали, и, как часто это бывает у ребят, гораздо несправедливей и с большей жестокостью, чем взрослые фронтовики взрослых тыловики. Детский суд строг и не терпит объяснений. Любой суд обвинением кончается, а детский из одного обвинения и состоит.

Так вот, Витьку Борецкого требовалось немедленно зачислить в большую — фронтовую или меньшую — тыловую часть класса, и по всем строгим правилам детского суда попадал он в явные тыловики, но вот якоря на пуговицах и должность отца — начальник пароходства! — сильно смущали. И не только меня.

Якоря в моем представлении, даже речные, всегда дело серьезное, почти военное. А флот пуще того. Город наш стоял на реке не очень великой да широкой, но все же судоходной, и хотя он был также серьезным железнодорожным узлом и поездов, в том числе военных, огого сколько у нас проходило, паровозы и железнодорожники, даже военные железнодорожники, почему-то нашим уважением, как речные судаходы, не пользовались. То ли потому, что все же речники, как и моряки, в бескозырках, то ли потому, что их во много раз меньше,

чем железнодорожников, то ли потому, что пароход, как ни крути, посложней паровоза, все-таки не по рельсам ходит, им управлять надо, чтобы на мель не сел, — словом, полувоенные речники при черных морских бушлатах имели в нашем городе особые привилегии и если не были фронтовиками в полном смысле, то как бы приближались к ним. Впрочем, может, это было лишь мальчишеским ощущением, которое вовсе не передавалось взрослым?

Так или иначе, но Витька Борецкий просидел в классе тихо дня три, так и не определенный ни в какой лагерь. Сидел себе на предпоследней парте, посверкивал завидными пожитками с якорями, был тих и аккуратен, тянул руку, если хотел сказать или спросить, в общем, был образцовым пай-мальчиком, совершенно не похожим на нашу шумливую братию, с шумливостью которой и вовсе не образцовым поведением Анна Николаевна давно уже смирилась. Откуда только такой приехал?

В общем, ЧП, в которое влип Витька Борецкий, произошло только лишь по причине его поразительной дисциплинированности. Я было подумал: уж не морской ли? Но тут же отмахнул в сторону свое предположение — нет, не морской.

Итак, был урок рисования.

Анна Николаевна, я думаю, пользовалась нашей особой любовью еще и потому, что не скрывала своего неравного отношения к предметам. Математику и русский она почитала и это почитание всячески внушала нам.

— Тот, кто некрасиво, а пуще того, неграмотно пишет, — торжественно провозглашала она, — пустой человек, потому что письмо сиречь развитие мысли.

Анна Николаевна училась очень давно, может, даже до революции, и любила старинные слова, которые нам непременно разъясняла. Поэтому мы знали, что слово «сиречь» равно слову «есть».

— Вам жить в будущем, — говорила убежденно Анна Николаевна, — а без математики там шагу не ступить.

И мы налегали на математику кто как мог, чтобы не оказаться дураками в неизвестном и непонятном будущем.

Ну а про рисование Анна Николаевна ничего не говорила. И про пение тоже. Нет, сказать плохое про эти

предметы она себе не могла позволить — тоже словечки из ее разговоров. Но как бы мимоходом принизить их — это она могла.

— Ах, — говорила рассеянно Анна Николаевна, — сейчас, кажется, опять пение. Ну что же, споем, на чем мы там остановились?

И мы пели песню под ее неверный аккомпанемент на обшарпанном пианино, причем в отличие от других предметов учительница не поворачивалась к нам, когда кто-нибудь нарочно выдавал пискливую ноту, громко хрюкал или звонко хлопал ладонью по макушке соседа, сводя счеты, не разрешенные на перемене. Анна Николаевна налегала на слова, не особенно упирая на музыку и наше исполнение и отметки по пению тоже ставила за слова.

Когда наступал урок рисования, Анна Николаевна была еще неаккуратнее, даже иногда проговаривалась.

— Может, вместо рисования напишем диктант? — наивно спрашивала она, конечно же, не нас, а сама себя. И как бы утверждала эту мысль весомым аргументом: — Репиных из вас все равно не выйдет!

И нередко мы действительно вместо рисования писали диктант или решали задачи, но самым любимым приемом Анны Николаевны был такой — большинство все-таки рисовало бутылку, или чернильницу, или две книги, живописно поставленные одна на другую, а те, кого учительница считала если не вполне пустыми людьми, но и не вполне полными, решали задачу или писали изложение.

На сей раз выпал как раз такой урок. Кто-то глубокомысленно ковырял в носу и загибал пальцы — решал задачу, кто-то, свесив набок язык, старательно скрипел пером, а кто-то одним простым карандашом изображал сложную комбинацию из пустого стакана и книги Гоголя, которую Анна Николаевна поставила боком, но по рассеянности вниз головой, и теперь слово «Гоголь» приходилось рисовать вниз головой — получились смешные палочки, и над классом — то в одном ряду, то в другом — повисали смешки.

Урок шел к концу, Анна Николаевна принялась ставить отметки за рисунки, возле нее собрался такой барьерчик из народа, и тут Витька Борецкий поднял руку на своей предпоследней парте. Ему бы встать и за просто подойти к Анне Николаевне или громко сказать: «Можно выйти?», а он сидел на своей парте, вирюхал

коленками — ясно было, куда дело клонится, — но дисциплинированно держал руку, да еще локотком на парте.

Нашлись люди, хихикнули над ним, но разве Анна Николаевна поймет в такой суматохе, кто там над кем хихикнул? Была бы математика или русский — другое дело. А тут рисование, она и внимания не обращает, что где творится. Я даже громко сказал Витьке:

— Ты встань и скажи! Она не видит!

Витька покосил на меня коричневым жалостным глазом, но не послушался — вот до чего дисциплинированный, тут-то я и подумал про морскую дисциплину.

И вдруг раздался громкий свист. Здесь уж Анна Николаевна не могла не подняться со своего стула. Она грозно поглядела в сторону предпоследней парты, а обалдуй Мешков, с которым сидел Борецкий, по-прежнему свистел и медленно, даже оторопело, отъезжал по скамейке от Витьки, пока не упал — нарочно, конечно, — с нее.

— Мешко-о-ов! — протянула Анна Николаевна, уставшая бороться с Мешковым. — Ну что еще там?

А Мешков поднялся с пола и нахальным голосом, заранее зная, что его оправдают, проговорил:

— Он тут описался!

Все смотрели на Борецкого. Витька был пунцового цвета. И медленно поднимался. Под морячком, в выемке скамьи, которая делается, чтобы удобней сидеть, была сырость.

Что тут случилось!

Крики, стоны, хохот, девчачьи ахи и охи!

Анна Николаевна колотила по столу книгой Гоголя, разрушив стройную художественную композицию. Она всегда внушала нам, что к книгам надо относиться свято, а тут громко колотила корешком Гоголя по столу, но не произносила ни слова.

И лицо у нее было странное. Какое-то дрожащее.

* * *

Ах, как легко попасть в нечаянное положение и как трудно, невероятно трудно выбраться из него, когда тебе от роду лет десять. Я легко представляю, как мучился и страдал Витька Борецкий.

Тотчас после позорного эпизода Анна Николаевна отправила его домой, а наутро он не пришел в школу и

не появлялся целую неделю. Можно вообразить, какой бой он выдерживал дома. Родители — а отец все-таки начальник пароходства, командует всеми пароходами — уговаривают и даже ругают, может, вполне вероятно, применяют грубую силу с помощью широкого морского ремня. Я однажды видел такой ремень на матросе, он продавал башмаки возле рынка, топтался неловко, маленький, вовсе не похожий на речника, но ремень у него был что ни на есть боевой — широкий, с латунной бляхой, откуда прямо-таки вылезает выпуклая звезда.

Так вот, ясное дело, Витьку дома уговаривают идти в школу, а он упирается, и, хотя родители уверены, что они кругом правы, Витька поступает мудро: именно неделю надо пропустить и никак не меньше, только через неделю, и то самое малое, утихают в школе страсти после подобных нечаянных ЧП, становятся историей, теряющей интерес. К тому же Анна Николаевна постаралась. Через день она сказала нам, что Витька серьезно заболел, и хотя это была педагогическая хитрость, а грубо говоря — вранье, цели своей хитрость достигла: девчонки во главе с Нинкой Правдиной стали вслух жалеть Витьку и обалдуя Мешкова громко стали кликать дураком («Этот дурак!» — выражались они пренебрежительно), а всех остальных, кто фыркал при упоминании Борецкого, обзывали бессовестными.

Потом Анна Николаевна целых пять минут выделила из урока русского языка, чтобы объяснить нам такую истину:

— Самый недостойный и пустой человек тот, кто смеется над другим, особенно если другой попал в беду. И самый достойный человек — это тот, кто умеет посмеяться над собой.

И еще несколько фраз в том же роде, и совершенно конкретное указание: если Борецкий вернется в класс, все должны показать ему, что ничего не случилось, если, конечно, мы благородные люди. Надо заметить, что на вторую часть рекомендации никто, кажется, не обратил внимания, а вот на первую обратили все. Значит, Витька может вообще не вернуться? Дело серьезное. Выходит, переживает не на шутку. А раз человек переживает, он достоин ну не уважения, так снисхождения, что и говорить!

Теперь о последней мысли Анны Николаевны. Облагородстве.

Не хочу сказать, что ее мало или вовсе нет в ре-

бьячем племени. Напротив. Но когда речь о темах не то чтобы скользких, а неверных, что ли, некоторые не могут устоять. Дают слабину, а уж тут не прикажешь, не упрекнешь. Тут уж дело внутренних тормозов — скажем так.

Ну, у Мешкова их отроду не было, этих внутренних тормозов, на то он и Мешок. Так что, когда Борецкий пришел наконец в класс, этот обалдуй выскочил из-за парты и, дергая брезгливо носом, уселся на свободное место в последнем ряду. Это была уж не слабина, а чистое негодяйство. Я видел, как Борецкий задрожал, повесил голову, смотрел прямо в парту и боялся поднять глаза, чтобы не увидеть еще чего-нибудь такого же.

Разглядывая в этот миг Витьку, я ни к селу ни к городу подумал вдруг о том, что, будь у меня с собой гадюка из магазина учебно-ненаглядных пособий, я ни за что бы не сумел подсунуть ее сейчас Борецкому. Но с большим удовольствием сунул бы за шиворот обалдую Мешкову. Потом, неторопливо представив себе, как Мешок заорет, точно зарезанный, я неожиданно для себя вытащил из парты портфель и пересел к Борецкому. Он был словно конь, этот Витька. Не посмотрел на меня, а лишь покосил благодарно коричневым глазом — совсем по-лошадиному, вот чудак.

Зато Вовка Крошкин, от которого я ушел, мой верный, старинный друг с первого класса, хлопал глазами и тарасился на меня. Мне стало нехорошо. Я выполз из-за своей парты, не сказав ничего Вовке, не предупредив его, да что там, даже ведь для себя нечаянно, но поди-ка, объясни это сейчас, когда уже ушел.

Да, это выглядело предательством по отношению к Вовке, самым натуральным и совершенно необъяснимым предательством.

Но дело было сделано. Я сидел с Борецким и боялся, как бы Вовка не показал на меня пальцем когда-нибудь в коридоре при народе из других, не знающих, в чем дело, классов и не сказал бы: «Этот пацан — предатель!»

Но вышло совсем по-другому, хотя и не лучше. Анна Николаевна уцепила меня на перемене за локоть и шепнула:

— Ты благородный человек.

Я мгновенно вспотел от неожиданности, наверно, еще и рот приоткрыл, но учительница уже исчезла, а я вдо-

гонку ей запоздало подумал: «При чем тут благородство?»

Благородство тут было ни при чем, ясное дело, просто так получилось. И вышло совсем даже нехорошо. Вовка Крошкин никак не исчезал у меня из головы: ни за что обидел человека.

Я как в воду глядел.

После уроков мы с Борецким вышли из школы вместе. Я хотел пойти с Вовкой, но он куда-то запропастился, и, когда за нами хлопнула тяжелая школьная дверь, я понял, что он запропастился не зря.

Вовка Крошкин стоял среди ребят из соседнего класса, стоял спиной к нам, но, когда мы с Витькой поравнялись с ним, Вовка сказал деревянным каким-то, не своим, а вражеским голосом:

— Вот этот пацан прямо на уроке обо...

Даже я вздрогнул от Вовкиной непонятной жестокости, а Витька опустил плечи, прошел еще шагов пять и побежал.

Я повернулся к Вовке и вспомнил Анну Николаевну. Нет, она не права, никакого благородства нет в том, что я пересел к Борецкому. Мне, наверное, просто жалко его стало, вот и все, а вот Вовка, это да, Вовка поступал неблагородно.

Я хотел подойти к нему и сказать ему что-нибудь, сказать хотя бы с выражением: «Эх ты!», но Вовка мельком взглянул на меня и опять отвернулся к ребятам. Не стану же я унижаться перед ним.

Дорога домой была, как всегда, долгой — мимо топей с вороньим граем, Гортопа, Райфо, Райплана и Районо с райской, наверное, музыкой и цветами там, в обшарпанном доме. Я неспешно приближался к магазину ненаглядных пособий, думая о Витьке Борецком, о Вовке Крошкине, думая о том, как легко было Витьке попасть в нечаянное свое положение и как трудно теперь выбираться из него, думая о жестокости моего старинного друга Вовки, который мстил мне, унижая Витьку, и о том, что слава, увы, бывает разной.

Есть слава, возвышающая тебя, когда говорят: «Глядите, этот пацан раздобыл настоящий скелет!» И есть слава, тебя унижающая, как сегодня: «Вот этот пацан прямо на уроке обо...»

И хоть жестокая эта слава принадлежала не мне, я думал о ней снова и снова, жалея несчастного моряка.

Как-то неумело и неловко сходились мы с Витькой Борецким под презрительным и строгим взглядом Вовки Крошкина. Я молчал от неловкости и какой-то дурацкой опаски, а Витька не навязывался, все еще с трудом одолевая неприятность, в которую попал. Да еще его дурацкая дисциплинированность! На уроках он образцово-внимательный, с таким не поболтаешь, не отвлечешься, и вроде по всему выходило, учиться я из-за такого соседа должен бы лучше, но не тут-то было. Витька плохо писал, а я, дурила, вместо того чтобы жить своим умом, проверял свои действия в Витькиной тетради. Писал себе грамотно рядом с Вовкой Крошкиным, никуда не заглядывал, а сел к Витьке и стал у него проверять.

Мы тогда диктанты все писали на мягкие знаки. Где и когда с мягким знаком слова пишутся, а где — без. Сперва я хотел слова «смеются» и «стараются» написать без мягкого знака, но заглянул к Витьке и написал — «смеются» и «стараются». Анна Николаевна, проверив тетради, жутковато засверкала стеклышками пенсне в нашу сторону, и я сразу понял: оставит после уроков.

После уроков Анна Николаевна пересадил нас на первую парту и целый час диктовала всякие слова с мягким знаком. Я старался к Витьке не заглядывать, но все же раза три заглянул и сделал три ошибки. Витька это засек и сказал мне:

— Ты ко мне в тетрадь не смотри. Я ведь серб!

Я первый раз видел серба, но все равно удивился:

— А это при чем?

— Никак привыкнуть не могу к мягким знакам!

Но Витькино признание, что он серб и поэтому не может привыкнуть к мягким знакам, сильного впечатления на меня все-таки не произвело. Потому что сильное впечатление Витька произвел на меня чуточку раньше.

Когда мы вышли на улицу, он спросил:

— Хочешь, я тебя сфотографирую?

Фотографировали в специальной мастерской, у нее было даже красивое нерусское название — ателье, и я не раз бывал там, правда, еще до школы, маленьким, и, надо сказать, всякий раз прилично волновался.

Бабушка и мама наряжали меня, как на праздник, вели с собой в это ателье, где была стеклянная крыша,

и недовольный дядька усаживал меня на стул, уходил к фотоаппарату на треноге — с аппарата свисал черный платок, дядька укрывался им, потом быстро шел ко мне, хватал за лицо руками и заставлял всяко неудобно поворачиваться, а у меня, как назло, подбородок опускался, и он подбегал снова и опять вздергивал мою голову, так что уже хотелось не фотографироваться, а реветь. Потом фальшиво-притворным голосом дядька говорил:

— Мальчик, смотри сюда и не шевелись, сейчас птичка вылетит.

Но никакая птичка не вылетала, и я уходил из ателье изнуренным и расстроенным.

И все ради чего? Ради того, чтобы через неделю бабушка, ликуя, выложила на стол карточки, где у меня какое-то фанерное, испуганное лицо, будто меня со всех сторон скрутили веревками и заставили при этом улыбаться.

Единственное серьезное начало было во всей этой затее, единственное достойное понимания: карточка послалась отцу на фронт. А отец однажды взамен прислал свою: сидит на колесе пушки в пилоточке и улыбается.

Это одно оправдывало муки.

И вдруг Витька говорит про фотографирование.

Я насторожился.

— Как это? — спросил, не понимая.

Витька улыбнулся, поняв, что ли, меня. Он положил на землю портфель, покопался в его глубине и вынул блестящую пластмассовую штучку, похожую на лягушку. Штучка помещалась на Витькиной ладони, взблескивала под солнцем стеклянным носиком и лакированными бочками.

— Что это? — удивился я. Штуковина никак не походила на чудовище в ателье, раскорячившее три деревянные, грубые ножищи.

— Аппарат «Лилипут», — проговорил Витька, и я услышал в его голосе некое превосходство над моей темнотой. — Становись, — приказывал он, и я послушно пошевеливался, уже безоговорочно подчиненный его воле. — Вот так, чтобы виднелась школа. Не жмурься от солнца. Внимание! Снимаю!

Я затаил дыхание, как в ателье, но Витька чем-то негромко щелкнул и уже протягивал аппарат мне:

— Теперь валяй ты. Сюда смотри. А сюда нажимай.

— Я? — Глуповатым хихиканьем я прикрывал растерянность.

Витька предлагал мне что-то небывалое, какого никогда еще в жизни не случилось со мной. Сфотографировать? Его? Мне? Нажать на этот рычажок? А сперва посмотреть в это окошечко?

Я бросил портфель в кучу пожухлых листьев. Схватил аппарат, приставил палец к рычажку и взглянул в окошечко. Витька торчал там совсем маленький, и школа уменьшилась в двадцать раз, но все было видно очень хорошо. Я затаил дыхание и нажал на рычажок. Что-то щелкнуло. А Витька уже кричал мне:

— Сегодня проявим и сегодня же напечатаем. Я попрошу отца, он нам поможет.

Я кивал каждому слову, совершенно не понимая их — проявим, напечатаем, как это? — и наверное, на моем лице блуждала такая неуверенная тупость, что Витька вдруг примолк, внимательно поглядел на меня и попробовал вернуть к действительности той самой фразой:

— Ты ко мне в тетрадь не смотри. Я ведь серб.

Он серб и не мог привыкнуть к мягким знакам, а я мог писать без ошибок, но ничегошеньки не понимал про фотографию.

* * *

Это было только начало, кто бы знал! Блестящий лакированный «Лилипут» со сверкающим глазком линзы посреди толстенького пластмассового животика был даже не самым интересным в этом деле!

Самое замечательное началось под вечер, после обеда — первого моего обеда в гостях, когда я в гости пришел не с мамой и бабушкой, а один и когда вернулся с работы Витькин отец.

Но до вечера, до самого главного, произошло множество других событий, может, и не таких важных, но, безусловно, выдающихся, которые создавали в моих глазах вокруг Витьки Борецкого ореол необыкновенности.

Начать хотя бы с того, что Витька жил на барже.

Рядом с дебаркадером, куда швартовались пароходы, только выше по течению, стояла черно-коричневая баржа. Мы приблизились к ней и по узкому трапу перешли полосу воды между берегом и бортом. Дальше была обычная дверь, обычная комната, с кроватью, шкафом и кушеткой. Единственное отличие от обыкновенного дома — два крохотных окна и дрожащие солнеч-

ные блики на потолке, отраженные не стеклышком, не консервной банкой, а водой и потому бегущие, шевелящиеся, живые.

Витька бросил портфель, положил фотоаппарат, велел и мне освободиться от своего груза, и мы выскочили обратно на палубу. Вдоль нее на веревке полоскались наволочки и подштанники, судно было явно не боевое, но это ничуть не оскорбило моего радостного волнения. Витька подвел меня к борту, и я увидел две лодки на цепях — большую и поменьше.

— Это мой ялик! — кивнул он на маленькую.

Его! Собственная! И слово он применил мной еще не слыханное. Ну, про лодку я знал, понимал, что такое плоскодонка, читал про шлюпку, но ялик? Витька подтянул лодку за цепь, расковал весла, как-то лихо, по-морскому, наступил ногой на нос ялика и приказал мне:

— Садись на весла!

Я добрался до лавки, укрепил весла, и Витька прыгнул в лодку, отчего нос резко припустился. Ему бы надо сесть на корму, уже потом соображал я, но в тот миг я отчаянно и радостно принялся буровить воду веслами.

Будем откровенны: я первый раз в жизни сел за весла, был, так сказать, человеком совершенно сухопутным, а Витька, выросший возле реки, даже не подозревал об этом.

Все заняло какие-то мгновения. Течение возле баржи оказалось сильным, гребец неловким, и струя, подхватив легкое суденышко, понесла нас вниз, к дебаркадеру, возле которого, отдуваясь, швартовался колесный пароход. Ялик стоял носом против течения, и я видел, как мы приближаемся кормой к пароходу, к огромным красным плицам его колеса. Я старался изо всех сил, даже привстал чуточку, когда делал гребки, но весла чиркали воду, то одно, то другое весло срывалось, стуча о борт лодки, и мы сплавлялись ближе к пароходу.

Все во мне заледенело, как это бывает с людьми в решающую минуту, — от этого леденящего гипноза, оцепенения, страха и гибнет чаще всего тот, кто мог бы спастись, будь он чуточку увереннее в себе.

С парохода крикнули:

— Эй, пацаны, куда вас прет!

— Иди на корму! — крикнул мне Витька и цепким,

морским каким-то скачком, на полусогнутых ногах, оказался передо мной. Я сидел по-прежнему окаменелый.

— На корму! — приказал он.

Я послушно поднялся, ялик отчаянно закачался с борта на борт, прихлебывая речной водицы.

— Согни ноги! — крикнул Витька и подтолкнул меня к корме.

Едва удержавшись в лодке, я рухнул на колени и ткнулся подбородком о корму. Рядом слышался мерный плеск, я обернулся. Витька отгребал в сторону, а возле нас медленно проворачивалось огромное колесо с ярко-красными поперечинами лопастей.

Витькино лицо не выражало ни страха, ни отчаяния, ни злобы ко мне. Он просто трудился, откидывал весла, загребал ими воду, снова откидывал и снова загребал, напрягая руки, грудь и живот, и я поразился неожиданной мысли: как мог он сконфузиться в спокойном классе, этот парень, который не растерялся на неверной зыбкой и опасной воде?

Только потому, что здесь у него был опыт? Но какой такой опыт требовался в классе? Выходила явная ерунда, какая-то чепуховина, концы не сходились с концами, одно не вытекало из другого, я не находил связи, терялся и ничего не понимал.

Впрочем, не понимал по своей естественной неопытности. В жизни вообще часто одно не вытекает из другого и не сходятся концы с концами. Логике не все подчиняется в мире человеческих поступков, и еще не раз я увижу, как тот, кто считался всеми героем, оказывается трусом, а тот, кто считался слабым, был очень сильным. В общем, бывают задачи, где результат не сходится с ответом, которого ждут. И правильность решений как раз вот в этом — в том, что не сходится.

А Витька вывел ялик на тихую воду, бросил, ни слова не говоря, весла и пересел обратно на нос.

Я ничего не спросил, но, видно, лицо мое изображало такой вопрос, что он засмеялся и сказал:

— Ну, греб!

Мы плыли по тихой воде, и Витька учил меня, как опускать весла в воду, как закидывать их вперед до предела, а потом, не затапливая в глубину, вести назад, помогая рукам всем туловищем.

Обратно, к барже, я подгребал сам, спокойно и уверенно пройдя стремнину, и Витька заковав свой ялик цепями, весело подмигнул мне.

Я радостно рассмеялся. Ладонки у меня вспухли прозрачными пузырьками, спина и руки болели, но я был счастлив, потому что научился полезному делу.

А самое интересное только еще приближалось.

* * *

Это было настоящее таинство! Торжественный, невиданный, даже чуточку пугающий ритуал! Особые, неслыханные дотоле слова!

Хриплым, прокуренным голосом начальник пароходства, тощий, как плоскодонка, с носом, похожим на руль корабля, в кителе с непонятными нашивками на рукаве, спрашивал строго Витьку:

— Какая у пленки чувствительность?

Борецкий произносил в ответ таинственные цифры.

— Бачка у нас нет, — говорил ему отец, — это тебе известно?

Витька деловито кивал, и отец, разделяя слова, а оттого произнося их как бы торжественно, продолжал:

— Ну ничего! Чувствительность невысокая! Можно проявить при красном свете!

Витька притащил красный фонарь, расставил такие пластмассовые коробки, они назывались кюветки, и принялся растворять какие-то порошки разных цветов, а я внимал происходящему, ни шиша не понимая, как последний тупица.

Вроде бы я во многом разбирался на третьем году школьной жизни! Уж по крайней мере вел себя уверенно в любых обстоятельствах, как мне казалось. Представить себе не мог, что могу выглядеть простофилей. А вот выглядел. И даже дважды в один день: сперва не умел грести, теперь ничего не смыслил в фотографии. Единственные понятные вещи говорила грубым мужским голосом Витькина мать. Она курила, сидела на табуретке и спрашивала:

— Тряпку руки вытирать взяли? А то опять Виктор насаждает пятен на брюки! А температуру воды замерили? А окна не надо занавесить?

Оказалось, что и окна надо занавесить, и смерить температуру воды, и взять тряпицу для рук, и приготовить пинцет («зачем?» — поражался я), развести фиксаж («что это такое?») и, наконец, погасить свет.

На столе при свете красного фонаря таинственно чернели в кюветках три жидкости — проявитель, вода и

фиксаж. Витькин отец взял «Лилипут», раскрыл его и вынул недлинный кусок пленки. Она казалась белой при красном свете. Потом он опустил ее в проявитель и уступил нам с Витькой место:

— Смотрите!

Витька подтянул меня к столу за рукав. Я затаил дыхание. Борецкий уверенно взялся за край пластмассовой ванночки и стал медленно, даже торжественно покачивать ее. Пленка в жидкости изгибалась, вылезала из ванночки, и тогда Витька топил ее, аккуратно прикасаясь пальцами к краешкам. Настало долгое ожидание. Проявитель в ванночке тихо всплескивал, и я почувствовал, что комната неторопливо, как бы в такт ванночке, покачивается и где-то слышен негромкий плеск. Это покачивалась баржа на воде, и непривычное, едва уловимое колебание ее окончательно превращало таинство при красном фонаре в какое-то возвышенное действие, которое обещает счастливую и нечаянную радость.

— Коля, — спросила меня в самый неподходящий момент Витькина мать, — а тебя дома не потеряют? Ведь уже поздно!

— Нет! — воскликнул я, отмахиваясь от тревожного вопроса и не желая думать ни о чем, кроме их счастливых колебаний — баржи и ванночки.

Там, в гуще проявочной жидкости, на белой полосе пленки начинали возникать сероватые линии. Они становились все четче. Уже можно разглядеть окна, забавные смешные окна, в которых черно, зато переплеты белые — все наоборот. А вот чье-то лицо — откуда-то взялся негр с белыми, как у вареной рыбы, глазами. Рядом белые кусты, белое дерево.

— Почему-то, — шепнул я, — все наоборот?

Витька не засмеялся, а торжественно, как заклинание, произнес еще одно незнакомое мне слово:

— Негатив!

— Аха, понятно, — выдохнул я, ничего не понимая.

Расстояние между мной и Витькой возрастало с каждым мигом. Рядом со мной был не обыкновенный одноклассник, к тому же еще и презираемый кое-кем за свой необъяснимый конфуз, а человек, который умел грести, обладал собственным яликом, жил на барже, но главное — умел не только фотографировать, но и качать кюветку, растворять порошки проявителя и фиксаж, знал, что такое негатив, и вот теперь глубокомысленно вглядывался в очертания на пленке, и весь его вид сви-

детельствовал о серьезности дела, которым он занимался, о полной самоотдаче, об умении делать то, что не умел делать я.

— Пап, погляди! — сказал он.

Громко кашлянув, начальник пароходства свесился над Витькиным плечом, похожий на аптечного провизора, и вынес приговор:

— Промывай!

Витька вытащил пленку из кюветки с проявителем, сунул в кюветку с водой и отчаянно забулькал там. Потом опустил пленку в фиксаж. Белый налет, какой бывает на языке, если поел снегу зимой или как следует простудился, таинственно и бесследно исчезал с пленки. Наконец она стала прозрачной.

— Можно включать!

Я радостно бросился к выключателю, налетел на стул, раздался грохот, и, когда загорелся свет, я опять был в дурацком положении — не первый раз на этот день — на четвереньках, запутавшись рукой в изогнутой спинке венского стула.

Но неудачи не меняли моего счастливого настроения, да и Витька совершенно не замечал моих оплошностей, он был увлечен не меньше меня, и мы с восторгом разглядывали негатив, где, оказывается, все должно быть наоборот, чем на самом деле: белое черным, а черное белым, — таков закон фотографии.

— Ибо эмульсия... — поднимал большой палец начальник пароходства, — светочувствительна, а это означает, что она как бы не замечает черное, зато фиксирует все светлое, и это светлое оставляет на пленке следы. Потом, при печати, негатив накладывается на фотобумагу, которая тоже чувствительна, происходит экспозиция — включают белый свет, и сквозь светлое на негативе проходит луч к бумаге, оставляя при проявке черный след. А через черное он, естественно, не проходит. И не оставляет свет. Так что черное на негативе остается белым на позитиве, то есть фотокарточке.

Я захлебывался непонятными словами, лихорадочно переспрашивал и сам повторял незнакомые звуки, радуясь, что они, оказывается, получаются и у меня, следил за ловкими руками Витьки, который протирал пленку одеколоном, поясняя при этом, что вообще-то лучше бы спиртом — для быстрой сушки, потом демонстрировал копировальную рамку, закладывал кусочки фотобумаги

под негатив, экспонировал и давал поэкспонировать мне, предлагал мне попроявлять, пофиксировать, делать пробы, то есть проверять, какая выдержка для каждого негатива будет наилучшей. Потом мы глянцева-ли карточки, и это тоже была целая поэма. Сперва требовалось тщательно промыть обыкновенное стекло, потом протереть его раствором вонючего формалина, затем набросить мокрые карточки, укрыть их газетой и специальным резиновым валиком прокатывать их до тех пор, пока с них не исчезнет лишняя вода.

Увеличителя у Борецких не было, поэтому мы напечатали контактные снимки, то есть точно такого же размера, как негатив, и наши лица на фоне школы теперь оказались намертво приплюснутыми к стеклу.

Уф! Я не ощущал себя в тот вечер, не чувствовал ни рук, ни ног, иногда только, как сквозь какой-то туман, кололо мозоли на руках, и я на секунду мысленно вырывался из-под торжественного света красного фонаря на стальную речную стремнину. Но даже река и страшное дневное приключение тотчас исчезали из памяти — красный мрак фотографического таинства, лица, медленно выступающие на белой бумаге под жидкостью проявителя, две красные точки во тьме — папироски Витькиных родителей, щелчки выключателей в тишине, шуршание черной бумаги, в которую заворачивали бумагу фотографическую, властвовали мной заворачивающе, беспредельно. Я и домой-то шел, механически переставляя ноги в уличном мраке, душой все еще оставаясь на Витькиной барже, в темной комнате.

Дома мне влетело, бабушка и мама сбегали в милицию, заявив о моей пропаже, и моему беспутству посвящалась долгая женская руготня, которую, надо заметить, я плохо слышал, блаженно улыбаясь в ответ. Еще бы, у Витьки глянцева-лись контактные отпечатки моих первых экспозиций, сделанные на светочувствительной фотобумаге, бумаге, эмульсия которой получила определенную выдержку, а потом подвергалась кюветной проявке, в которой участвовали различные химические вещества, в том числе гидрохинон! Разве могло со всем этим соперничать какое-то незначительное опоздание домой, поздний приход, бабушкина и мамина проборка. Господи! Да я же сегодня просто Магеллан! Или Колумб! Я открыл для себя неведомую, неповторимую страну, в которой на бумаге ни с того ни с сего появляется вдруг дом, или человеческое лицо, или дерево! И

хочу, жадно хочу научиться, как Витька, устанавливать диафрагму и выдержку в зависимости от чувствительности пленки, покачивать кюветку, уметь растворять порошки и вообще уметь фотографировать!

Ведь можно же будет запечатлеть этих шумливых женщин, если, конечно, они спокойны, наш дом, заросли одуванчиков вдоль тротуаров и на пустыре возле школы стрекоз, неподвижно замерших в воздухе, Вовку Крошкина, Анну Николаевну, дом, где сразу Райфо, Райплан и Районо, и, наконец, магазин ненаглядных пособий — весь мир можно снять на пленку, оставить на бумаге, запечатлеть навсегда, навсегда, навсегда!

Где бы только раздобыть «Лилипут» — странное, с блестящим глазком на полированном брюшке существо, способное навечно запоминать мир? Я представлял, как иду по улице, меня встречает толпа незнакомых совершенно мальчишек и кто-то один из них говорит, кивнув на меня: «Смотрите на этого пацана! Он знает что умеет? Фотографировать!»

«Все мечты сбываются, товарищи!» — такие слова в песенке есть. «Если только очень захотеть» — так, кажется, дальше. Справедливо это. Действительно, сбываются, если очень пожелать. Даже иногда кажется, кто-то нарочно подкарауливает твои желания — давай только пожелай.

Той весной в городе открывался Дворец пионеров в красивом таком старом здании за витой железной оградой на берегу реки. И везде висели фанерные объявления — какие открываются кружки. Был в этом объявлении и фотокружок. Но вся загвоздка — я еще не пионер. Никто в нашем классе не пионер. Через лето, осенью, под Октябрьские праздники, примут всех, а пока что еще не доросли, и мой поход во Дворец пионеров окончился первой весенней пылью, размазанной по щекам: слезы высохли, а грязь осталась.

Времени миновало уже немало с тех пор, как бабушка и мама искали меня через милицию, острота позднего возвращения притупилась, и мои опекуны слушали внимательно и с сочувствием стон моей души. Да куда это годится? Фотоаппарата у меня нет, во Дворец пионеров не пускают, не дорос, видите ли, каких-то шести месяцев до пионеров, и вот, нате вам, целое лето пропадает, а я так и не научусь фотографировать! Может, во мне пропадает дарование!

Мама хмыкала, видно, в душе соглашалась со мной,

бабушка сочувственно качала головой, выясняя подробности:

— Это в каком же дому Дворец-то пионерский? А-а? В архиерейском!

Махусенькие карточки, которые я принес на другой день после того, как припозднился, — они свободно умещались на ладонке, но были блестящие, как из настоящего ателье, — убеждали маму и бабушку, что прощаясь я, видно, все-таки не зря и что толк из меня может выйти. Заключение сделала бабушка. Прямо мне в лицо, простодушно и откровенно. Говорила она маме, но в лицо глядела мне:

— Польза есть, хоть шляться впустую не будет. А то ведь из школы до дому битый час. Где это видано?

Надо же, магазин ненаглядных пособий помог мне! Время, которое я толкался в нем каждый день, пошло на пользу. Мама взяла паспорт, меня, и мы двинулись во Дворец пионеров, прямехонько к директору.

Директором оказалась большая толстая тетка с пионерским галстуком на шее и писклявым девчоночьим голосом. Она говорила бодро, по-пионерски, поэтому разговор происходил какой-то несерьезный: мама ей объясняла про меня, строго и внушительно, а директор в галстук не солидно пищала и со всем соглашалась.

Дело кончилось тем, что мама написала бумажку, называемую поручительством, — поручалась, выходит, за меня, — и тетка в галстук пропищала мне торжественно:

— Ну вот, Коля, и сбылась твоя мечта! Ты зачислен в начальную группу фотокружка! — Встала и отдала мне пионерский салют. Но я ведь не был пионером, не мог же салютовать в ответ и поэтому глупо поклонился.

Когда мы сидели у директора, я обратил внимание на полукруглые, сводчатые потолки ее кабинета и подумал, что тут, наверное, была спальня архиерея.

Фотокружок же разместился, видно, в архиерейских чуланах. То справа, то слева от комнаты, где мы занимались, всхаркивали канализационные трубы, и по ним гулко неслась вода. Речь руководителя, таким образом, заглушалась, он повторял фразу сначала.

Впрочем, вполне вероятно, Родион Филимонович повторялся совершенно по иной причине, и трубы просто помогали ему, создавая, как говорится, подходящую обстановку, — ведь бывало, что и без труб, в тишине и покое, он вдруг беспричинно задумывался, начинал бле-

ять: «Э-э, как я говорил, м-мм, ну да, кха-кха, так на чем мы остановились?» — и только с трудом отыскивал свою мысль. Позже мы узнали, что Родион Филимонович фронтовик, контуженый, и стали снисходительно относиться к провалам его речи.

Я, наивная душа, думал: нам тут же дадут по фотоаппарату, снабдят пленкой и скажут: «Дуй, ребята, поглядим, кто талантливей». Ха-ха! Аппарат на весь кружок был один — довоенный «Фотокор», с мехами, как у гармошки, матовым стеклом, по которому наводили на резкость, кассетами и штативом — недалеко ускакала эта техника от ящика из фотоателье, поснимай таким! Витькин «Лилипут» казался в сравнении с «Фотокором» просто пределом изящного совершенства.

Я думаю, этот единственный «Фотокор» и стал причиной развала фотокружка. Если бы Родион Филимонович повел нас снимать, показал, как проявлять и печатать, может, дело бы изменилось. Но он читал нудные лекции, проходил с нами теорию, проваливаясь в своих речах под гул и без гула канализационных труб, а большинство народу ведь не видело захватывающих химических процессов, зато в гробу видело — ходило тогда такое выражение — всякую теорию: мало, что ли, школьных уроков! И постепенно пять или шесть групп превратились в одну.

Это была презабавная группа. Ведь прежние-то собирались из ребят одного возраста, включая даже десятый. Вот несправедливость: непионеров из малышей — так не брали, а непионеров из старших классов брали запросто, — какие там пионеры, в десятом-то! И вот самые стойкие — от третьеклассников, то есть меня, до дуботолков, десятиклассников, — сбились в одну группу для начинающих, и на равных правах — никто не умел снимать, все только учились.

Да, видно, сильное впечатление произвел на меня Витькин «Лилипут» и все, что за ним последовало. Я сидел всегда возле Родиона Филимоновича, с неперменной тетрадкой, преданно глядел ему в рот, даже когда он издавал неопределенные звуки, записывал рецепты проявителей и закрепителей, а иногда отваживался вставлять знакомые уже словечки, выдающие мои тайные знания: «экспозиция», «чувствительность», «гидрохинон», «эмульсия», — так что Родион Филимонович сперва стал поглядывать на меня внимательнее, чем на других, затем стал мне улыбаться, а потом — я почувствовал — по-

любил меня тайной любовью учителя к первому в жизни ученику.

Что там говорить! Не только ученик навеки запоминает своего первого учителя, но и учитель накрепко запоминает своего первого ученика, которому он смог, в отличие от многих бестолочей, быстро и точно передать свои знания. Я оказался таким.

Я был самым маленьким, с большим отрывом от двух довольно рослых четвероклассников, да еще ходил в ботинках с галошами, потому что у ботинок отставала подметка, в серых широких шароварах, отчего низ у меня делался как бы тяжелее — в увес тонким рукам и впалой груди, прикрытым тонкой вязаной кофтой. Вид мой напоминал усеченный конус, оттого я казался еще меньше, чем был на самом деле, и вот мне-то, самому маленькому, Родион Филимонович поручил быть старостой кружка.

Я приходил раньше других, садился возле учительского стола, строго взглядывал на входивших, отмечал явки, и ко мне обращались с уважением — не то что в школе. Сколько бы получил я там щелчков и насмешек не то что от десятиклассников, а даже от тех, кто постарше совсем немного или даже вовсе не старше!

Нет смысла описывать наше учение. Замечу только, что я рассказывал о фотокружке Витьке Борецкому, звал его с собой, но он с необъяснимым упрямством мотал головой, может, считал, что и без кружка все умеет? Однако скоро я начал понимать, что догнал Витьку, а потом — что решительно перегнал его. Он, например, представления не имел, что такое глубина резкости, как пользоваться экспонометром, какая разница между номерами фотобумаги.

Я обогнал Витьку, который еще недавно потряс меня, и обогнал всех в фотокружке. Поэтому, когда настало лето и многие разъехались из города, Родион Филимонович вручил мне «Фотокор», показал гвоздик, на который вешал ключ от шкафа с фотоматериалами, а вахтеру при входе во Дворец объяснил, что я староста и могу приходить в кружок самостоятельно, когда мне захочется, чтобы проявлять пленки и печатать фотографии.

* * *

Но вернемся пока назад, в начало весны, когда я, потрясенный открытием волшебства фотографии, днем

и ночью помню о достойном человеке Витьке Борецком, к которому так несправедлива судьба. Потому что Вовка Крошкин продолжает бесчинствовать.

Ах, как безжалостна ревность, как несправедлива, мстительна и зла, если даже добряка Крошкина превратила в упрямо ненавидящего человека! Мельком глянув на крохотные глянцевые карточки, которые я по неосторожности показал в классе, воспевая «Лилипут» и его хозяина, Вовка придумал Борецкому смертельную кличку «сыкун».

— Что? — спросил громко Вовка, не обращаясь ни к кому. — Этот сыкун умеет фотографировать?

Конечно, Анна Николаевна очень старалась пробудить в нас благородство, да и Нинка Правдина обзывала бессовестными всех, кто вспоминал про грех Борецкого, но хитро придуманное словцо может пробить самые высоко нравственные плотины. Мешок — ну гот просто повалился на парту, мальчишки дружно заржали, а девчонки прыснули в ладони так, точно хором чихнули. Даже моралистка Правдина отвернулась в сторону — значит, улыбалась.

Не смеялся один я, да еще, понятное дело, Витька, но ему, пожалуй, не о чем было думать, он просто пребывал в отчаянии — сжал кулаки, покраснел, свесил голову, — а вот я призадумался.

Что же это выходило! Ведь Крошкин злобствует из-за того, что мстит, видите ли, нашел способ бить другого человека из-за того, что я пересел к нему на парту! Ясное дело, теперь кличка пристанет к Витьке надолго, может, до самого десятого класса, и ему впору хоть в другую школу переводиться.

Но ведь я обязан Борецкому! Противноватое слово — обязан! Просто Витька совсем другой! Живет на барже, умеет грести, фотографирует, а главное, он хороший человек. Не ругался, хотя из-за моего неумения мы чуть не погибли под красным колесом парохода, не смеялся, когда я не понимал про негатив, дал сфотографировать мне первый раз в жизни.

Да чего там рассусоливать! Я должен вмешаться! Должен прижать Крошкина к стенке. Если потребуется, и по носу дать!

Но я был от рождения мирный человек, и мне не хотелось давать Вовке по носу. А кроме того, нас многое связывало. Дружба с первого класса! Мне хотелось, чтобы мой старый приятель Вовка и новый товарищ Бо-

рецкий подружались между собой. Чтобы Вовка покатался на Витькином ялике, научился фотографировать. А Витька пожал бы ему руку, и все дела. Пусть позорная кличка, изобретенная Вовкой, умрет, и Витька навсегда забудет свой нечаянный позор.

Но добиться этого должен я!

В какой-то книжке мне попалось выражение «яблоко раздора». Это когда два человека одно яблоко поделить не могут. Надо бы пополам его разрезать — оба довольны! — но каждому хочется целое яблоко занять. И вот они за это яблоко друг друга ненавидят, сражаются, кровь проливают. Выходило, таким яблоком между Вовкой и Витькой теперь оказался я. Раздора! Весь раздор из-за меня!

И я стал придумывать, как бы устроить так, чтобы меня поделили? А вернее, как сделать, чтобы помочь Витьке Борецкому стать нормальным человеком, без унижительных кличек, ведь еще немного, и мальчишки станут тыкать в него пальцем: «Смотрите, этот пацан...» И так далее, в том же духе.

Ох, Вовка!

А Вовка стал какой-то развязный, независимый, у него даже, кажется, глазки хищно щурились, когда он смотрел на Витьку. Меня он пропускал своим взглядом, не удостоивал внимания, не замечал.

И я решил начать с хитрости. Борецкий нечаянно помог мне набрести на нее.

Однажды он сказал мне:

— Хочешь, покажу край света?

Ну, дает! Край света!

Но Витька в моих глазах был человеком серьезным, и я не мог, не имел права насмехаться над ним. А он пояснил:

— Его видно вечером.

Мы сговорились встретиться, я наврал маме и бабушке, что иду к Витьке проявлять пленки — к тому времени мне удалось вернуть временно утраченное доверие, — и явился к барже. Витька уже ждал меня.

Чтобы увидеть край света, непременно требовалась тихая безветренная погода, как объяснил Витька, и нам фартило: стоял душоватый весенний вечер, все замерло, как во сне. По-моряцки сунув руки глубоко в карманы и подняв воротник куртки, Витька молча шел впереди. Мы двигались вдоль берега, вверх по течению реки, к излуине, где река расширялась чуть ли не втрое

и как бы замирала: течение ускользало куда-то в глубину, а верхняя вода зеркально блестела.

Показалась белая лестница. Кто-то построил ее еще до революции здесь — вся она состояла из шести-семи ступеней, правда, очень широких и длинных, уходящих прямо под воду, а сбоку лестницу украшали белые перила, которые удерживали бутыльчатые, как у рояля, но только белые ножки.

Неподалеку от лестницы горел единственный фонарь, и Борецкий торжественно взял меня за руку.

— Сначала, — сказал он, — надо посмотреть на свет, прямо в лампочку.

Я уставился на фонарь, пока не зарябило в глазах.

— А теперь вперед! — скомандовал Витька.

Мы подошли к лестнице и встали на верхней ступеньке.

— Гляди! — шепнул он.

Я обомлел.

Прямо над головой свисало черное небо, усыпанное близкими звездами. Но дело в том, что это же небо было и под ногами! Мы с Витькой стояли на белом выступе, на самом краю света, у обрыва в никуда — и вверх, и вниз, без всякого перехода, без разделяющей черты, сияло звездное небо, и я отшатнулся назад, чувствуя, как обливается чем-то горячим мое сердце.

— Здорово! — выдохнул я.

Дух у меня перехватило, но умом я понимал: темное небо отражалось в черной воде, уснувшей и неподвижной, с низким и далеким противоположным берегом, небо и вода сомкнулись, образовав полусферу перед белой лестницей, мы увидели край света. Что ж, Витька оказался прав. И мне показалось, подсказал путь к сердцу Крошкина, человека в душе доброго и впечатлительного.

На другой же день я остановил Вовку в конце коридора, чтобы не засек Борецкий, и как ни в чем не бывало сказал ему:

— Могу показать край света.

— Я тебе покажу! — не понял Вовка.

Вовка сопел носом, недоверчиво оглядывал меня, не зная, как понять мое предложение: возвращение дружбы, перемирие, попытка исправиться?.. Его, наверное, подмывало сказать мне какую-нибудь чепуху, отказаться, повернуться спиной или еще что-нибудь в таком же

роде, но Вовка был добрым пацаном — это проверила жизнь.

Он кивнул, я объяснил ему условия: если будет тепло, звездно, безветренно. И назначил встречу на берегу возле заброшенной лестницы.

С лестницы днем удили рыбу, народ ее знал, ходили даже слухи, будто тут в стародавние времена утопилась от любви красавица. И это ее любимый построил лестницу, чтобы красавица по ней вышла из воды, если захочет. Впрочем, в подобную чепуху никто не верил, просто лестница — чья-то старинная блажь, или, может, ее построили, чтобы для купания было удобнее в реку сходить — прямо по лестнице с красивыми перилами. Как уж там было давно, неважно. Главное, Вовка при словах о лестнице оживился, на него подействовало.

С Витькой же снова поглядеть край света я договорился отдельно. Он отнекивался, удивлялся, зачем это мне каждый день смотреть, надо изредка, только тогда получишь удовольствие, но я его все-таки уломал.

Вовка и Борецкий встретятся на лестнице. Вовка увидит край света, открытый Витькой, оценит, как человек впечатлительный, и они подружатся. Вот и все. Вовка перестанет дразниться...

Мне повезло. Погода повторилась вчерашняя. Звезды так же, как накануне, сливались с водой, я заметил это краем глаза, когда мы с Витькой подходили к лестнице.

Но дальше все пошло кувырком.

Едва только Борецкий заметил Вовку, стоявшего под фонарем, он попятился назад и наступил мне на обе ноги: это нехорошая примета. Но мне было уже некогда наступать в ответ на Витькины ботинки, я бежал к Вовке, чтобы не смылся он, — боже, куда может зайти совершенно неоправданная вражда!

С трудом, тратя сотни торопливых слов, я заставил их сблизиться и подойти к воде. Вовка выражал собой полнейшее недоверие — руки нахально упирались в бока, да и шел он как-то бочком, словно подозревая нас в том, что мы утопим его, покажем край света в прямом смысле.

Я ругал его про себя на все лады — за упрямство, непонятливость, тупость, нежелание помириться с Витькой, — но выразить это вслух не решался.

— Глянь сперва на фонарь, — сказал я, — а потом туда!

Вовка молчал, но слушался. Все-таки его проняло, не могло не пронять, я же знаю этого упрямого Вовку с самого первого класса. Но когда он заговорил, я готов был надавать ему по его круглому, упрямому кумполу.

— Ну и что-о-о! — протянул Крошкин. — Подумаешь, край света! Суеверные фанатики! (Откуда и слова-то такие выкопал!) Не маленькие уже, должны бы знать, что никакого края света не бывает!

Он спустился по лестнице, наклонился, поболтал рукой в воде, отчего, понятное дело, пошли круги, звезды в воде заколебались, и небо тотчас отделилось от нее, превратив воду в воду.

— Вот и все! — сказал Вовка, стоя на колене, а мне хотелось подскочить и столкнуть его в реку.

— Кто придумал этот детский сад? — не мог успокоиться Крошкин, обращаясь ко мне, как бы вовсе не замечая Витьки. И проскрипел, зловредно выделяя слова: — Твой сыкун?

Я не успел ничего сообразить, как Витька бесшумной черной тенью метнулся на ступеньки, схватил за грудки Вовку Крошкина, и они завозились там, обмениваясь выразительными междометиями:

— Ну!

— Ты!

— Эх!

Я кинулся разнимать врагов, но то ли действовал медленнее, чем требовалось, то ли соперники потеряли осторожность, но я опоздал. Оба рухнули в холодную весеннюю воду, слава богу, на последние, подводные ступеньки. Вода тотчас разъединила их, они, дрожа, выскочили к фонарю.

— Всякий тут сыкун будет хвататься! — кричал Вовка.

— Трус! — отвечал ему Витька. — Давай реку переплывем. Слабó? Все вы такие — злобные негодяи.

— Я негодяй? — кричал Вовка.

— Негодяй! Негодяй! — срывая голос, орал Борецкий.

— Перестаньте! — кричал я, стараясь перекрыть их обоих. Но они не замечали меня.

Они стояли друг против друга, и их разделял, точно мишень, круг света от фонаря. Я вбежал в эту мишень, встал на самую середину и раскинул руки в стороны, как рефери на ринге, разводя друзей по разным углам.

— Стой-те! — крикнул я что было мочи с надеждой объяснить им обоим, как они глупы, бессердечны, жестоки друг к другу, а особенно Вовка, что так нельзя, что это, в конце концов, неблагоприятно, но намерениям моим не суждено было сбыться.

— А ты иди к черту! — крикнул мне мой друг Вовка Крошкин.

— Иди к черту, Колька! — крикнул другой мой друг, Витька Борецкий.

Они скрылись в темноте, а я остался в круге света. Ну и дела! Хотел как лучше, хотел, чтобы они подружились, а вышло...

Я двинулся к лестнице. Небо соединялось с водой. И край света все-таки был!

Наверное, я походил на Галилея, который, признав перед судом, что Земля не вертится, после суда воскликнул: «А все-таки она вертится!»

Галилей наоборот.

* * *

Лето разбросало ребячий народ, точно ветер листья, — кого куда. Кого в лагерь, кого к бабушке в деревню. А у меня лето оказалось черносолнечным, если можно так выразиться. Я пропадал в фотокружке, сидел возле ванночек перед красным фонарем, печатал карточки, а когда, напечатавшись до одури, надышавшись парами проявителя и фиксажа, выбирался на белый свет, солнце резало глаза, и приходилось постоять у дворцовой ограды, подержаться за теплый чугун, пока день не проникнет в тебя окончательно, не выйдет из тела чуланный холод, который забирался глубоко, даже в самые пятки.

Аппарата у меня по-прежнему не было, с ним без конца исчезал куда-то Родион Филимонович, и тогда я решил обследовать окрестности фотоателье. Чутье не обмануло меня: в зарослях крапивы я обнаружил целую гору стеклянных негативов. Верхние были полнотелые, покрыты пузырями, поцарапаны, но пониже, в глубине стеклянного холма, я обнаружил, будто какой археолог, целый слой целехоньких, словно только что из проявки, пластинок. Жмурясь на солнце, я выбрал штук сорок, замотал их рубахой и явился к вахтерше Дворца пионеров в одной майке, взмокшей от нелегкого груза.

Со сладостным трепетом вглядывался я в фотобумагу, на которой возникают неизвестные мне лица, точно выплывают из плотного белого тумана, неторопливо выступают из неизвестности, внимательно, даже с удивлением, вглядываясь в меня, какого-то незнакомого мальчишку, который вздумал потревожить их. Седой мужчина с пушистыми бакенбардами, но лысой, блестящей головой усмехался мне довольно добродушно — еще минуточку и подмигнет, молодая девушка в панаме и с подведенными губами испуганно посматривала из проявителя, потом шел угрюмый насупившийся толстяк, глядевший из-под бровей, старушка с провалившимися щеками.

Негативы, похоже, были довоенные, сейчас люди так не одевались, и получалось еще интереснее. Вот молодой, наголо стриженный парень в косоворотке напряженно смотрит на меня — где он, интересно? Что делает? Меня ударило! А может быть, его нет, он же не зря, наверное, подстригся под нулевку, шел на фронт, а там его могли убить.

Убить?

Теперь я иначе разглядывал лица людей, особенно мужчин, возникавших из глубины кюветки. Эти люди фотографировались когда-то, вовсе не думая при этом, что скоро, совсем скоро их может не стать! И вообще: война навертела всякого, гоняла народ с места на место, морила голодом, холодом, пулями и бомбами, и, может, даже фотографий этих людей не сохранилось — они потерялись, пропали, сгорели, — а я вот вытаскивал их из ниоткуда. Суеверный холодок обдал спину: «Может, не надо?»

Но я не мог остановиться, наоборот, словно кто-то толкал меня под локоть — мальчишечье любопытство вообще сильнее любопытства взрослого человека.

Я лихорадочно, торопливо печатал портреты, один за одним, один за одним, щелкая выключателем копировального ящика, и едва успевал бросать бумагу в проявитель. В кюветке плескалось сразу несколько отпечатков, целая толпа людей. Словно торопясь выбраться из неизвестности, обгоняя, подталкивая друг друга, они возникали передо мной, и вдруг я словно врезался лицом в стекло — отец.

Мой отец — точно такая карточка была у нас дома: полосатая рубашка, галстук в крапинку, светлый пиджак, — строгий, задумчивый, смотрел на меня в упор,

словно молча спрашивал: «Ну зачем ты это делаешь? Хорошо, что я жив, а если бы меня убили? Ты напечатал бы мой портрет, вытащив негатив из старого стеклянного хлама возле ателье? Что было бы тогда? Как бы было? Как пришлось бы самому тебе? И представь, что бы случилось с мамой и бабушкой?»

Я перенес отцовский портрет в воду, потом в закрепитель, включил свет, вынес из темной комнаты на свет и притих.

Отец укорял справедливо. Память не надо корябать, словно коросту, особенно просто так, без дела.

Я смотрел на отца, разглядывал лица незнакомых мужчин и женщин, и в голове, возле затылка, наливалась тяжесть.

Было неудобно, необъяснимо неловко, точно я нарушил какой-то святой обет.

* * *

Родион Филимонович так и застал меня — над все-ром мокрых лиц.

Постукивая сапогами, прошелся у меня за спиной, внимательно вглядываясь в портреты, повздыхал. Потом с грохотом положил на стол «Фотокор» со штативом и весело проговорил:

— Ну, хочешь поснимать? Только по-настоящему?

Я дернулся от неожиданности. Сердце оказалось с крылышками. Оно выпорхнуло из меня, потрепыхалось где-то над головой и вернулось назад: поснимать! По-настоящему!

— А чем? — спросил я.

— Будем снимать с тобой на пару! — говорил мне Родион Филимонович. — Ты бери «Фотокор», а я... — Он достал ключик, открыл стол и вытащил блистающее линзой объектива и стеклышками видоискателя, сверкающее хромированным металлом и полированными черными боками настоящее великолепие.

— Что это? — воскликнул я, потрясенный.

— Немецкая «Экзакта»! Купил на рынке! Представляешь, отдал хромовые сапоги и еще тысячу!

Елки-палки! Такую ценность надо хранить за семью печатями, а он в своем столе — ну как утянут?

Раскачиваясь на волнах восторга — идем снимать что-то серьезное! — я заряжал кассеты — целых два десятка! — вспоминал хромированную «Экзакту», неви-

данное чудо трофейной техники, возвращался мыслями к старым негативам и портрету отца, рассказывал об этом Родиону Филимоновичу, коренастому, круглолицему, доброму энтузиасту фотоискусства, тот охал и ахал, совсем как мама или бабушка, поражался, подтверждал, глядя на снимки, что негативы, кажется, действительно довоенные, и эта радостная суета, счастливая взволнованность совершенно выбили из моей головы самое главное: а что снимать-то будем, куда идем?

Родион Филимонович шел со мной рядом, и я удлинял шаг, чтобы не отстать от крепыша в военном полувыцветшем френче с тремя желтыми нашивками на правой стороне груди — три тяжелых ранения. По дороге мы оживленно разговаривали, обсуждали, какую выдержку и диафрагму надо устанавливать, если снимать при солнце, а какую в тени. Родион Филимонович пояснял, что работа будет срочная и нужно отнестись к делу внимательно, особенно когда я буду наводить «Фотокор» на резкость через матовое стекло — снимать придется со штатива, — не забывай про композицию, не торопись, следи, чтобы на лица не падали глубокие тени, хорошо, что у нас есть в запасе химикаты и все такое, о чем всегда говорят взволнованные и не до конца уверенные в себе фотографы, идущие на важную съемку.

Замысел Родиона Филимоновича состоял в следующем: он обновляет «Экзакту», а я, поскольку работу нельзя провалить, дублирую его и, хотя он уверен в прекрасной камере — немцы, что ни говори, мастера в аппаратуре, особенно оптической, — снимаю нашим простым советским «Фотокором» на наши простые довоенные пластинки, набиваю, так сказать, руку, учусь мастерству.

Я не успел оглянуться, как мы оказались в городском парке, торопливо прошли тенистыми березовыми аллеями к старому деревянному театру. Зимой этот театр без печек, ясное дело, вымерзал насквозь, тараканы и те небось околевали, но вот всякую весну его подкрашивали, подмалевывали, как могли, и зазывали сюда разных разъезжих артистов.

Тем летом в деревянном — но с белеными колоннами, а оттого солидном — здании выступал театр музыкальной комедии: об этом извещали на каждом углу афиши с аршинными буквами. Однако я не совсем понимал, при чем тут мы с Родионом Филимоновичем?

Почему мы движемся к театру, заходим во дворик за спиной у него, устраиваемся на ящиках под тополем. За деревянными стенами гремела музыка, слышались арии или как их там.

Сперва во дворе никого не было, потом выскочили трое здоровенных кудрявых мужиков в ливреях, расшитых золотом, и с накрашенными помадой губами. Родион Филимонович поднялся с ящика, навесил на грудь блестящую «Экзакту» и, солидно посверкивая хромировкой, не спеша, явно сдерживая шаг, двинулся к ним.

Белокурые здоровые кудряши окружили моего крепенького учителя — он не доставал им до плеча, — вежливо склонили головы, потом дружно закивали, опять помолчали мгновение и, опять закивав, поправляя парики, двинулись к тополю. Родион Филимонович шел впереди, и лицо его показалось мне одновременно измученным — виноватые глаза, щеки в румянце — и оживленным.

— Вот сюда, пожалуйста! — указал он рукой патлатым верзилам и шепнул мне: — Ну чего ты! Действуй!

Торопясь, дрожащими руками я начал раздвигать штатив, устанавливая «Фотокор», наводить аппарат на артистов, а Родион Филимонович, склонясь над зеркальным видоискателем своей солидной «Экзакты», щелкал затвором. Наконец изготовился снимать мужиков в ливреях и я — уже заправил кассету! — но тут из открытых настежь боковых дверей, откуда вывалились эти трое, кто-то заорал громоподобным басом:

— Эй! Кушать подано! На сцену!

Мужики сорвались, кинулись к дверям, обгоняя друг друга и всхохатывая, а я стоял как дурак: одна рука поднята — внимание, дескать, снимаю, — вторая держит тросик. Я чертыхнулся, но Родион Филимонович успокоил:

— Невелика беда! Подумаешь! Кушать подано!

Я спросил, что это значит.

— Да артисты это такие, — улыбнулся Родион Филимонович. — Только и слов у них, как на сцену выйдут: «Кушать подано!»

Мы дружно рассмеялись, лицо моего учителя успокоилось. Будто своим сочинением про ерундовых артистов он сам себя утешил.

Музыка в театре делалась все громче и пронзительнее. Мне даже показалось, что деревянные стены начинают дребезжать от напряжения, того и гляди, что-то там в зале лопнет, — и действительно, прямо-таки рухнули аплодисменты, из двери по-сумасшедшему выскочила расфуфыренная дамочка в розовом, до земли, платье, толстоватая, правда, но все-таки видная такая, довольно красивая, и заорала во всю мочь:

— Ах! Какой позор! Какой позор!

— Да что вы! — кричал, смеясь, бежавший за ней дядька в лакированных, похожих на галоши, низких ботинках и в сиреневых забавных штанах вроде кальсон. — Аделаида Петровна! Вы гений! Душка! Молодец!

— Позор, позор! — кричала, не соглашаясь, Аделаида Петровна, точно хотела в речке утопиться, окажись тут речка, но уже во все глаза смотрела на хромированную «Экзакту» моего учителя.

— Да что вы! — кричал дядька в кальсонах и галошах. — Чудесно! Неповторимо! Великолепно!

— Вы меня успокоили! — моментально согласилась розовая артистка. — Значит, все-таки ничего?

— Выше всяких похвал!

Вслед за розовой дамочкой и мужиком из распахнутых дверей перли и перли разряженные, в золотых и серебряных одеждах артисты, многие, в том числе и женщины, тотчас закуривали, кричали о чем-то, перебывая друг дружку, будто попугаи, и я растерялся, подумав, что это все похоже на какой-то невиданный базар, но только не мы пришли на него, а базар вбежал во дворик. Розовая дамочка тем временем громко воскликнула, указывая на нас пальцем:

— Это фотографии! Давайте фотографироваться!

Ей, видно, все время хотелось, чтобы на нее обращали внимание.

— Слышите! — закричала она громко, оглядывая двор. — Давайте фотографироваться!

На нее обратили внимание, но только по-разному. Одни тотчас бросились к нам, а другие хихикали, подмигивали, показывали головой на розовую артистку и отходили в стороны. Но она не обращала ни на кого внимания. Она уже стояла посреди разноцветной толпы, покрикивала, чтобы центр не переместился куда-нибудь в сторону, смеялась, шутила, забыв начисто про какой-то позор, который еще недавно ее так огорчал.

Я опять действовал замедленно, и Родиону Филимоновичу, быстро щелкнувшему своей сверкающей техникой, пришлось удерживать публику.

— Для главного кадра, — говорил он, — для главного кадра.

Мне ко всему пришлось поворачивать голову штатива, устанавливая аппарат боком для горизонтальной съемки, и когда я, взмыленный, наконец изготовился нажать спуск тросика, чуть не свалился со смеху. Каждый артист кого-то из себя изображал — один вытянул гордо голову, второй скособолил брови одна выше другой, а тетенька в розовом мучительно удерживала на лице приторную, совсем конфетную улыбку. Один только дядька в кальсонах, который гнался за ней и уговаривал ее, снял с головы мохнатый, до пупа парик и весело блестел лысиной, ничуть не заботясь о выражении лица.

Что началось потом!

Расписная группа рассыпалась, и мы с Родионом Филимоновичем только успевали поворачиваться: каждый хотел сняться отдельно. Ну, вдвоем на худой конец. Но большинство — отдельно. Мой учитель выхлопал всю свою пленку, я тянулся дольше, «Фотокор» все-таки не позволял таких скоростей. Но и у меня скоро кончились кассеты. Загремел звонок, потом заиграла музыка, театрик проглотил со двора всех артистов, снова стало пусто.

Родион Филимонович, как землекоп, например, отирал со лба пот, неуверенно, как-то робко улыбался, и я подумал, что искусство — оно действительно требует жертв.

* * *

Ровно через сутки произошла торжественная встреча моих учителей — Анны Николаевны и Родиона Филимоновича.

Мы с руководителем кружка не успевали напечатать множество карточек, припозднились, зато шли с пухлым черным пакетом из-под фотобумаги, который отпирывал карман Родиона Филимоновича, словно бумажник, и появились перед театром в антракте, так что пришлось продираться сквозь толпу зрителей, которые неторопливо прохаживались возле белых дере-

вянных колонн. Тут-то мы и столкнулись с Анной Николаевной.

Она была нарядная, в строгой черной юбке, таком же пиджачке и белой кофточке, казалось бы, ничего особенного, но на белой кофточке, у горла, топорщился белый бантик — с бантиком Анна Николаевна в школу никогда не ходила. Я смутился, Анна Николаевна, по-моему, тоже — а в смятении я почему-то становился торжественным и официальным — и высокопарно представил Родиона Филимоновича, резко произнося слова и отрывая их друг от друга.

— Мой! Руководитель! Из Дворца! Пионеров!

Родион Филимонович, неуклюже прикрывая локтем оттопыренный карман с фотографиями, протянул Анне Николаевне руку и произнес:

— Так сказать, э-э-э, встреча двух педагогов.

Анна Николаевна смотрела на фотографа приветливо, доброжелательно — действительно, как хорошо, когда встречаются преподаватели из школы и из кружков, — замечательно просто, но загремел спасительный звонок, и она заторопилась, сказав на прощание:

— Правда, замечательно поют?

Я хотел объяснить, что мы тут по другой причине, но Родион Филимонович опередил меня, торопливо подтвердив догадку учительницы:

— Просто великолепно!

Мы потоптались, не зная, о чем еще говорить.

— Знаешь, Коля, а Виктор Борецкий уходит от нас! — вдруг сказала Анна Николаевна.

Прямо громом меня оглушило. Витька уходит! Черно-солнечное лето исчезло, сгорело в один миг, вместе со всеми его чудными проявителями, фиксажами, печатанием с чужих негативов и отцовской карточкой и даже вместе с «Фотокором» и целым веером портретов разряженных артистов, которых мы нащелкали досыта. Значит, Витька уходит! И всему виной Вовка Крошкин?

А я! Хорош друг, ничего не скажешь, попытался соединить двух своих товарищей, ничего не вышло, и успокоился. Бросился в свою фотографию, запрятался в темноту и наслаждаюсь, про все забыв! Как же так?

— А ведь вам говорили о благородстве! — сказала Анна Николаевна.

Я бестолково кивнул башкой. Говорили!

— Жаль, — вздохнула Анна Николаевна, — хороший мальчик, а главное, уйдет в другую школу с тяжелой душой. Как ты думаешь?

Это верно, с тяжелой. Оставалось во всем соглашаться, больше ничего.

— Вот что! — сказала вдруг, просветлев, Анна Николаевна. — Нашу школу делают восьмилетней. И нам дали деньги на оборудование. Много денег. Я завтра пойду в магазин учебно-наглядных пособий. Помогите мне! И Виктора позови. Может, еще уговорим?

Я глядел на Анну Николаевну не как на живого человека! Идти за покупками в магазин, где никто ничего не покупает, да еще с Витькой! Такое мог предложить только, только... не знаю кто!

Анна Николаевна чинно кивнула нам, прощаясь, скрылась за колоннами. Родион Филимонович внимательно посмотрел на меня, опустил голову, будто его за что-то отругали, и мы двинулись в знакомый дворик.

Он был еще полон, и мне казалось, артисты тотчас узнают нас, кинутся навстречу — мы же принесли им снимки! И недурные, надо сказать, снимки, хорошо получилось не только у Родиона Филимоновича, но и у меня, единственное отличие, он печатал с узкой пленки через увеличитель, у него карточки были тринадцать на восемнадцать, а мои, при контактной печати, вполтину меньше.

Мы вошли во дворик, но никто не бросился нам навстречу. Я удивленно взглянул на учителя и ничего не понял — лоб его снова покрылся потной росой. Хотел было взять на себя инициативу, крикнуть во все горло: «Налетай, карточки принесли!», но все-таки постеснялся, да и к месту: у Родиона Филимоновича, оказывается, были другие намерения.

Он решительно подошел к тополи, опрокинул ящик, на котором мы вчера сидели, поджидая артистов, вынул из кармана пакет и дрожащей рукой начал раскладывать карточки. Дул легкий ветерок, снимки шуршали, наезжали друг на дружку, колыхались, а то просто падали в пыль, и мой руководитель клал на них камешки. Он взглянул на меня каким-то жалким, затравленным взглядом, и сердце мое оборвалось: уж не продавать ли он собрался эти снимки?

Теперь вокруг нас сбилась толпа, слышались радостные возгласы, но никто не спешил брать фотографии. Все восхищались:

— Ах, какая чудная карточка!
— А это я, подумать только!
— Впечатляющий портрет!
— Нет, смотрите, как Репкин похож на Мефисто-
феля!

Наконец кто-то спросил:

— Сколько стоит?

— Пять рублей, — не проговорил, а какими-то жерновками проскрипел Родион Филимонович.

— Ха, бесплатно! — воскликнул тот же голос, но деньги не посыпались на Родиона Филимоновича. Неохотно расставались артисты с денежками, хотя сниматься очень любили!

Постепенно, как бы нехотя, но все-таки карточки покупали. Родион Филимонович понемногу успокаивался. Совал пятерки, трешки, рубли в карман своих широких галифе, но сколько ни совал, не оттягивало этот карман, как булыжником. Больше всех карточек брала старуха в синем, до пят платье. Как всякая старуха, привередливо торговалась, уговаривала Родиона Филимоновича отдать ей по трешке. Он не спорил, согласно кивал, не жалея расставался с нашей продукцией. Голос у старушки был молодой, казался знакомым. Я пригляделся к ней — вот так да! Оказалось, это вчерашняя розовая артистка. Ничего себе, умеют же переделываться, поразился я. Но загремел последний звонок, и артистов как ветром смахнуло.

Снова за стеной барабанила музыка. Мой учитель угрюмо стоял возле ящика, на котором лежали карточки под камешками, ковырял сапогом землю и не смотрел на меня. Я вздохнул: да, дела, ничего себе. И подумать не мог, что Родион Филимонович снимал за деньги. Знал бы...

А что, если знал бы, не пошел с ним, отказался снимать «Фотокором» вволю, первый раз по-настоящему? Пошел бы, только вот эта торговля получилась какая-то неловкая. Стыдная, что ли...

— Ты, Коля, иди-ка, пожалуй, а я останусь, — проговорил Родион Филимонович хрипло, словно со сна. — У тебя вон дела завтра в школе. Еще зайти за кем-то надо...

Я обрадовался: не нравился мне этот театр с напояженными мужиками. Им бы, честное слово, в армию, хоть и война кончалась, а они тут ошиваются, тоже мне — «Кушать подано». Таланты!

Я подошел к повороту и обернулся. Мой учитель снова помотал головой и с досадой плюнул на землю. Плохо брали карточки, в самом деле.

* * *

Витька был дома, точнее, плавал на ялике вокруг баржи, и мне снова удалось погрести. «Хороший бы из Борецкого разведчик вышел, — думал я, поглядывая на приятеля, — ни звука про другую школу. Значит, даже мне не доверяет».

Меня так и подмывало на Витьку насесть изо всех моих сил — обругать как следует, укорить до слез и вообще надавить на его психику. Но с психикой у меня плоховато получалось — встреча у края света вспоминалась снова и снова: я посреди светлого круга, а оба моих товарища разбегаются в темноту, посылают меня к черту — вот кто, оказывается, виноват.

— Анна Николаевна, — говорю я почти что официально, — велела прийти нам с тобой завтра в школу к двенадцати часам. Она собирается в магазин ненаглядных пособий. Покупать оборудование. Просила помочь.

Прием удастся, Витька порывается сказать что-то, отказаться, может быть, но под каким соусом он откажется? Признается мне, что собрался в другую школу? Ну-ка?

Он вовремя спохватывается, нехотя соглашается:

— Приду!

«Придешь, конечно! Как миленький, — соображаю я и снова клянчу про себя Витьку: — Значит, решил все сделать втихаря! Даже от меня!» Но обижаться на Борецкого все-таки не могу. Гляжу на баржу, вспоминаю прокуренный голос Витькиного отца, мое открытие фотографии.

— Ну как твой «Лилипут»? — спрашиваю Витьку. — Неужели не снимаешь?

— Пленки нет, — мрачно отвечает Витька.

— Ерунда! Хочешь, достану? И вообще, давай в наш кружок, — зову его не первый раз, он мотает головой.

«Неужели все сербы такие упрямые?» — приходит мне мысль, и я излагаю ее Витьке.

— А ты не знал? — оживился он. — Не упрямые, а гордые!

Мы с ним немножко спорим, я толкую Витьке, что

гордый каждый человек, не только сербы. Он соглашается, но твердит, что из каждого самые гордые все же сербы. Я молчу, обдумывая свои слова и поступки. Если горячиться, можно поссориться не по существу, Витька завтра не явится в школу, и я подведу Анну Николаевну.

Простившись с Витькой, иду домой, но моя дорога заворачивает к Дворцу пионеров, и я заглядываю туда на всякий случай. Вахтерша удивляет меня, сказав, что Родион Филимонович в кружке. Я открываю знакомую дверь.

Мой контуженый учитель сидел за своим столом, взявшись ладонями за уши, а его челюсть медленно опускалась и медленно же возвращалась на место, совершая по дороге чуть заметное вращательное движение — так жует сено лошадь. Перед Родионом Филимоновичем стояла столбиком буханка хлеба, с нее срезано кусок два, широких, поперек всей буханки, и один такой кусман, посыпанный солью, лежал рядом. Учитель задумчиво разглядывал этот кусище, дожевывал предыдущий и все держался за уши.

— Голова болит? — спросил я.

Родион Филимонович вздрогнул всем телом, быстро вскинул глаза, потом жалобно улыбнулся мне.

— Хочешь? — кивнул он на кусок.

Я не отказался.

— Видишь, как получилось! — сказал Родион Филимонович, показав на пакет. — Сколько наших снимков пропало!

— А! — попробовал я успокоить его. — Задрипанный театришко!

Родион Филимонович покивал согласно.

— А я еще продовольственные карточки потерял. Понимаешь, какое дело, — проговорил он, внимательно оглядывая меня. — Купил эту «Экзакту», продал сапоги, отдал все деньги и тут же потерял.

Вот в чем дело! Теперь понятно, почему он на деньги снимал.

— Хоть продавай аппарат! — вздохнул Родион Филимонович, тоскливо поглядев на «Экзакту». Она лежала рядом с буханкой, такая неуместная тут, блестящая, нарядная, хромированная.

— Ни за что! — воскликнул я.

— Конечно! — обрадованно улыбнулся Родион Фи-

лимонович. — Ни за что! Только вот с тобой, — вздохнул он, — нехорошо получилось. Да еще учительница твоя. Встреча двух педагогов, — замотал головой он. — Ничего себе! — Опять вздохнул. — Учительница твоя, видать, хорошая. Вся такая чистенькая.

Я принялся рассказывать про Анну Николаевну, а съехал совсем на другое — жевал черный хлеб с солью, разглядывал дорогого учителя фотографии и вспоминал всякие школьные дела, какие в войну были: про раненых рассказывал, про госпиталь — там в маминой лаборатории я учил таблицу умножения и видел кровь под микроскопом, лейкоциты и эритроциты; про то, как нам давали маленькие булочки на большой перемене, с эконький детский кулачок, и мы, чтобы булки стали побольше, засовывали их в учебник, чтоб не запачкать, совали под парту и партой их давили — получался широкий блин, хоть и тонкий, но зато плотный, так что вроде еда получалась увеличенного размера; про то, как уроки в войну начинались при свечах и коптилках, а писали мы на тетрадках, сшитых из газет, прямо по печатным буквам, и это выходило довольно удобно: как пишутся некоторые слова, можно было вычитать в газете; про то, как ходили на уроки с поленьями — это Вовка Крошкин всех заставлял, печку топили казенными дровами, но, чтобы стало потеплее, подбрасывали еще своих, и Вовка со своим упрямым характером собирал дань — каждое утро по полену...

Родион Филимонович слушал меня как-то странно: сперва весело и улыбочиво, потом опустив голову, сжав кулаки. Скулы у него напряглись — мне показалось, ему нехорошо, я спросил его об этом.

— Н-ничего! — ответил он. — Пустяки!

Я решил его отвлечь, дубина стоеросовая, спросил, в каком бою его ранило, как это было, но он махнул рукой и грубо сказал:

— Гордиться нечем. Страха да гноя куда больше гордости.

Он молчал.

— Никогда не думал об этом! — сказал он горячо, как будто даже не ко мне обращаясь. Да и смотрел Родион Филимонович поверх меня, куда-то в потолок. — А ведь вы-то, ребятня, тоже войну прошли! Мы воевали, вы, понятное дело, нет, но войну прошли вместе, всяк по-своему.

Я глядел на фотографа, не очень-то понимая его. Как это прошли? Прошли они, отец, Родион Филимонович, а мы жили просто-напросто, вот и все. Но мужик он хороший!

Я смотрел на толстый пакет с фотографиями. Вот дундуки эти погорелые артисты!

Я вспомнил, как идет мой Родион Филимонович с тремя нашивками за тяжелые ранения к кудряшам в ливреях, как сдерживает нарочно шаг, чтобы быть посолиднее, как собирает, потя, трешки да пятерки за наши карточки, будто какой-то торгаш, тыловая крыса, а не фронтовик и герой. Эх, жизнь, все путает, мутит, все переворачивает с ног на голову, разве же так должно быть, если человек купил «Экзакту» за сапоги и тыщу рублей в придачу и тут же потерял карточки? Разве так?

Я готов был броситься немедленно, побежать к деревянному театру с солидными колоннами, выскочить прямо на сцену и крикнуть: «Да знаете ли вы, какой человек перед вами тут унижается?»

* * *

А ровно в двенадцать на другой день началось совершенно невероятное.

Возле школьного крыльца стояла запряженная в телегу безымянная школьная кобыла, и школьный сторож Кондрат Иванович клевал носом, дожидаясь, как выяснилось, нас с Витькой.

Вчера Анна Николаевна сказала, что школе дали много денег для оборудования, и я думал, нам придется тащить целый мешок с тыщами, но учительница ждала нас налегке.

— Молодец, Витя, — похвалила она одного Борецкого, — ты пунктуален.

А мне, едва он отвернулся, чуть заметно кивнула. Я улыбнулся: мне доверяли. Больше того, я должен вместе с учительницей отговорить Витьку от другой школы. Но начинать этот отговор, ясное дело, не мне. И я лишь понятиливо улыбнулся.

— Сначала, — говорила Анна Николаевна, шагая между мной и Витькой, — я думала обойтись без подвода, но денег действительно много, видите, страна после войны сразу отдает свои средства вам, детям, и я решила пригласить их.

Мы хихикнули. Приглашенная кобыла и соловый от дремоты Кондрат Иванович двигались сбоку по мостовой, даже не предполагая, что их, оказывается, пригласили.

— Там есть спящая старушка, — пошутил я, — нельзя нам купить такой экспонат?

Витька и Анна Николаевна прыснули.

— По какому же предмету это пособие? — спросила учительница.

— По скучному, — нашелся Витька.

— Нет, — улыбаясь, ответила Анна Николаевна, — таких предметов не бывает. По крайней мере, не должно быть. Это во-первых. Во-вторых, народные деньги следует беречь. А в-третьих, — она покосилась на лошадь и Кондрата Ивановича, который опять клевал носом, — у нас один уже есть!

Возчику пришлось проснуться от нашего хохота. Так что настроение было отличное, смеясь, мы открыли дверь магазина, спящая старушка, однако, не очнувшись от наших голосов. Анне Николаевне пришлось постучать согнутым пальцем по прилавку.

— Ничего не продается, — шепнула ей спящая старушка, мельком взглянув сонным глазом. — Только школам.

— А мы — школа! — громко проговорила Анна Николаевна, гораздо громче обычного.

— Школа? — Старушка разогнулась, проснулась, блеснула глазками, будто никогда не дремала, будто это нам привиделось, мало ли! Однако в глубине ее взора все-таки еще плавал туман. — На какую сумму станете брать? — воскликнула она бодро.

— На большую! — в тон ей воскликнула Анна Николаевна и обернулась к нам. — Ребята, — проговорила она такое, что мы ушам не поверили, во всяком случае, не поверил я. — Ребята, выбирайте, что вам нравится!

Что мне нравится? Легче спросить, что мне не нравится, да и то, что мне не нравится, тоже надо купить. Змеи в запаянных стекляшках, например. Вот бы сунуть в парту, а еще лучше — в портфель кое-кому из отсутствующих здесь! Я напрягался, изо всех силенок пыжился представить себе то, что раньше воображалось само собой, без всяких усилий, но странное дело, теперь это не выходило, я не мог вообразить, как суну змею даже

Мешкову, и не то что за шиворот, а хотя бы в парту. Было жаль Мешка, хоть он и обалдуй.

Жаль, и все тут.

Витька занялся картами, шкафами с разной там геометрией и химией, и Анна Николаевна восклицала каждую секунду:

— Молодец, Витя! Молодец!

Повторяла то, что называл Борецкий, и вконец проснувшаяся старушка бойко, с какой-то такой лихой оттяжкой щелкала костяшками счетов.

Я же толочся у шкафов с ненаглядными естественными пособиями, возле жуков, бабочек, змей, черепахи и всей остальной роскоши и даже холодел сердцем, взглядывая на скелет, но ничего не мог выбрать определенного: мне нравилось все поголовно. Я, конечно, понимал, что скелет купить невозможно, да и не нужно — следует беречь народные деньги! — а все остальное, с моей точки зрения, заслуживало решительного внимания, я так и сказал Анне Николаевне, в глубине души полагая, что она засмеется. Но она не засмеялась, а стала говорить старушке продавщице, чтобы та посчитала змей, лягушек, бабочек и все другое. Стоило это, оказывается, очень дорого, старушка называла большие деньги, но Анну Николаевну совершенно ничего не пугало, она только посмеивалась. Вообще у нее было сегодня превосходное настроение.

Старушка нашелкала кучу денег. Я все думал, где же они у Анны Николаевны, это же действительно целая куча! Но вместо денег учительница вынула бумажки с печатями, продавщица довольно замурлыкала и повела всех нас на склад.

Мы, как дрова, таскали на телегу стеклянные пирамиды, циркули, банки со змеями и лягушками — никогда не думал, что стану охапками носить такие ненаглядные учебные пособия. Кондрат Иванович кричал, огоршенный, даже школьная кобыла удивлялась — всегда стояла покойно, понуро, а тут переступала с ноги на ногу, покатывала чуточку телегу то назад, то вперед и косила глазом, оборачиваясь на странные предметы.

Возле нашей телеги на улице постепенно скапливался народ, в основном ребятя. Они тыкали пальцами в наши сокровища и нас с Витькой разглядывали так, будто мы тоже учебные пособия, а не живые люди.

Неведомо как, не обронив друг другу ни слова, Борецкий и я, не сговариваясь, и лицом и поступью старались походить на учителей — медлительных, солидных, по пустякам не улыбающихся, в таком вот духе.

Я подумал еще, что сбылось мое желание: чуть-чуть, и народ станет показывать на меня пальцем. Только что говорить будут — слова не придумывались.

«Вот пацаны, которые носят пособия». Глупо, по-дервянному. «Эти пацаны закупили змей»? Так ведь для школы, и не мы, а учительница.

Что будет говорить публика — это у меня не придумывалось никак. К покупке учебных пособий, к делу, конечно же, необыкновенному, отношение мы имели, но пока что в не очень-то почетном качестве грузчиков, так что народ мог бы и помалкивать, ничего не говорить. Какая это заслуга? Скажи любому — с радостью оттаранит на телегу змей и лягушек.

Путь к славе назначила Анна Николаевна. Когда мы зашли в магазин за новыми охалками пособий, она вдруг задумчиво проговорила:

— Деньги-то еще остались. А не истратим — пропадут. Чего бы еще купить?

Мы начали лихорадочно соображать, куплено всего по экземпляру, кроме... Я не успел подумать об этом страшном, самом страшном для меня во всем магазине, как Анна Николаевна воскликнула, смеясь:

— Скелет продается?

Старушка посмотрела на нее внимательно.

— Вы серьезно? — спросила она.

— Конечно, для уроков анатомии.

Сердце мое колотилось от ужаса. Неужели Анна Николаевна купит? А спящая старушка продаст?

— Дело в том, — проговорила старушка, смущаясь, — что он у нас последний.

— Ну и что? — удивилась учительница.

— Как же! — удивилась теперь старушка. — Придает магазину определенный вид!

— Какие пустяки! — Анну Николаевну задело: такие непедagogические рассуждения! — Тут он у вас просто пылится, а в школе дети станут изучать важный предмет.

Старушка обидчиво рассмотрела Анну Николаевну, осторожно перевела взгляд на ощеренную челюсть, вздохнула и вынула из-под прилавка ключик от стеклянного шкафа.

— Ребята! — обернулась к нам с Витькой учительница. — Вы как, не побойтесь донести его до телеги? А то можем и мы со сторожем.

Витька дернулся назад, и я быстро понял, что знающий, умелый Витька способен отступить.

В ту же секунду меня озарило: а ведь этот скелет спасет Витьку!

Я еще не знал, как он спасет его, но уже был абсолютно уверен, что самое страшное пособие поможет Витьке остаться в нашей школе, помириться с Вовкой и забыть свою позорную кличку.

— Нет, конечно, — громче обычного проговорил я, подступая к Борецкому, крепко беря его за локоть и чувствуя, как облегченно расслабляется напряженная фигура Витьки.

Старушка отомкнула внутренний замок шкафа, Витька, зажмурясь, ухватил скелет за ноги, Анна Николаевна и старушка — обе с закаменелыми, чрезмерно волевыми лицами — за позвоночник и ребра. Борецкий двинулся, я занял удобное место и с остановившимся сердцем обнял страшилище.

Женщины отпрянули в стороны.

Я думал, упаду под тяжестью костей, но они оказались очень легкие, почти невесомые — я запросто бы выволок скелет и в одиночку, будь он хоть немного удобнее. Пожалуй, Борецкому приходилось тяжелее, ведь ноги пособия прикреплялись к деревянной подставке.

Шаркая ботинками, пятясь, Витька двинулся к выходу, и в такт ему, озирая белый свет сквозь ребра, передвигался я.

Страх исчез. Сердце билось неровно, но оно билось так от радостного предчувствия: я это знал точно.

Я вообще знал теперь многое наперед.

Как, всхрипнув, дернется в сторону кобыла, закинув голову, взирая с ужасом на нашу чрезвычайную ношу, и Кондрат Иванович не прикрикнет на лошадь, не натянет вожжи, а будет глядеть на нас, открыв рот и пятясь бочком вслед за телегой, так что нам придется выйти чуть ли не на середину дороги и там, под взглядом толпы, грузить скелет.

А толпа! Она шарахнулась вместе с кобылой, потом отхлынула назад, мгновенно поплотнев и прибавив в росте, теперь уже не только ребятня, но и взрослые взи-

рали на нас, народ гудел, самые маленькие взвизгивали, точно щенята, одни мы, сохраняя спокойствие, — впрочем, это казалось только одному мне! — шли, держа скелет на весу, негнущееся, жуткое, редкое пособие!

Кондрат Иванович отошел, кинулся к телеге, сдвинул остальные пособия на край, и мы уложили скелет в сено. Подумав, Анна Николаевна кивнула мне на рулон географических карт. Я отмотал верхнюю — это оказалась цветная карта мира на двух полушариях, Витька ухватил ее за один край, я за другой, мы зашли по разные стороны от телеги и укрыли скелет полушариями Земли.

Не спеша, с чувством и толком оглядывал я толпу, внимая каждому ее звуку.

И услышал долгожданное.

Не мог не услышать.

— Глядите, какие пацаны! — сказал молодой солдат, улыбаясь нам с Витькой. — Глядите, какие смелые пацаны! Я бы побоялся!

Не знаю, что там чувствовали чкаловцы и папанинцы, когда их встречали как героев. Я чувствовал спокойствие. И подъем.

Мне казалось, я как бы подрастаю — на глазах! — голова моя выше других голов, даже взрослых, и я вижу макушки мальчишек, кепки мужчин и даже одну шляпку и свободно разглядываю цветы на платке какой-то очень высокой женщины.

Я как будто ухожу в вышину, медленно отлетаю без всяких там двигателей и моторов, а чем выше, тем чище пространство, шире видно вокруг, яснее слышны звуки.

— Ой, грех-то какой! — проговорил явственно старушечий голос.

— Какой грех, старая! — не согласился мужицкий хриплый бас. — Не грех, а учебное пособие!

— Глядите, эти пацаны несли на руках скелет! — послышался мальчишеский голос.

Я увидел палец, протянутый в мою сторону.

Грязный мальчишечий палец, с заусенцами.

* * *

Толпа не расходилась, и наша телега уже стала походить на катафалк, где лежит покойник. Похожесть

усилилась, когда кучер тронул лошадь: какое-то время за телегой шла вся толпа. Потом отсеялись взрослые, наконец растаяли и мальчишки. Несколько самых упорных шли за телегой до конца, и их упорство вознаградилось.

Взявшись за скелет возле школы, чтобы переместить его в класс, мы были уже не одиноки. Нам помогали посторонние мальчишки.

Наконец суতোлка утихла, смолкли голоса в пустынной гулкой школе, а мы втроем с Анной Николаевной стоим в классе на втором этаже, где временно будет находиться скелет. Тишина кажется густой и осязаемой, она обволакивает нас, затягивает в глубокий омут, надо вырваться из нее, иначе страх снова одолеет.

Я разрываю тишину.

— Анна Николаевна, — спрашиваю я, — а как делают скелеты?

— Их не делают! — бойко отвечает Анна Николаевна и сама же обмирает.

— Не делают? Значит...

— Это настоящий скелет, — говорит она приглушенным голосом: видно, в ней борются женщина и учительница. Потом решительно кивает головой. — Да, настоящий.

— Выходит, был человек! — потрясенно вскрикивает Витька. — Кто он?

Анна Николаевна начинает расхаживать между нами и пособием. Наверное, движение помогает ей излагать вещи, о которых нечасто говорят.

— Дело в том, видите ли, что некоторые люди еще при жизни продают свой скелет науке или жертвуют бесплатно. Но какое это имеет значение?

Тишина, мы молчим, но шарики в наших шарабанах вертятся со страшным скрипом: ха, не имеет значения! А кто именно этот? И как он — бесплатно или за деньги? Почем, интересно, скелетик? И где их покупают? Если прижало, можно и загнать! Ничего себе шуточка — загнать самого себя!

Есть вещи, думать о которых ужасно, но не думать просто нельзя, так уж устроено все человечество, особенно в детстве. Думать о скелете было немыслимо и интересно.

Вопросы, которые вертелись в голове и которые я тут же, без передыха, задавал Анне Николаевне, оста-

лись безответными. Впервые я видел, что наша учительница не знает подряд так много.

Неожиданно меня озарило:

— Зря старушка из магазина расстраивалась!

— А что такое? — спросила Анна Николаевна.

— Теперь у нас скелетов навалом будет!

— Почему? — удивился Витька.

— Фашистов мы сколько набили, — брякнул я, — теперь вот скелетов наделаем!

— Коля! Коля! Коля! — крикнула Анна Николаевна, каждый раз громко хлопая ладонью по парте. Она выглядела какой-то ошарашенной. — Запомни, запомни навсегда: этого не будет! Не может быть! Это невозможно. И наконец, кощунственно, мы не фашисты, чтобы... чтобы...

Голос Анна Николаевны заел, точно старую пластинку в патефоне.

— Дурак! — вдохновенно воскликнул Витька. — Какой же ты дурачина!

Но я не сдавался.

— Пусть хоть какая-нибудь будет от них польза!

— Не-надо-нам-от-них, — проговорила, четко произнося все звуки, учительница, — никакой-пользы-ты-понял? Не-надо-нам-от-них-ничего-ничего-ничего!

Анне Николаевне делалось нехорошо, не по себе, я это почуял и быстро закивал головой, соглашаясь закончить щекотливый и, выходит, зряшный разговор.

— Можно, — попросил я, выходя из класса и прислушиваясь к утихающему дыханию учительницы, — мы зайдем еще раз? Я хочу сфотографировать... это... его...

Анна Николаевна колебалась. Похоже, она не хотела, чтобы я фотографировал скелет, но мы ведь таскали его, а значит, имели право на уступку, да и просьба при всей ее странности не выглядела ужасной.

— Придете вместе, — сказала она, не столько спрашивая, сколько утверждая.

А план уже давно отчеканился в моей голове. Десять минут ходьбы до Дворца, десять на зарядку кассет, десять обратно.

Через полчаса я устанавливаю треножник «Фотоко-ра» напротив скелета.

Витька всюду следовал за мной послушной тенью. Он был оживлен, хохотал надо мной. Впрочем, я хохотал с ним за компанию, вспоминал, какие лица были в

толпе, когда мы возникли на пороге магазина со своей ношей, как Витька сперва хотел сигануть, отказаться нести скелет — кто обязан таскать мертвецов? — он как я ухватил его за локоть, вцепился, точно краб, — это уж сравнение из Витькиных морских мыслей. Словом, Борецкий хохотал, и я хохотал с ним, опять и опять переваривая приключение, по достоинству увенчанное славой, но у меня-то в голове было еще одно дельце, до которого Витьке, ясное дело, невдомек, это уж мой личный замысел.

Я достал из кармана картонный экспонетр, поражая Витьку, определил выдержку. Солнце удобно падало в угол класса, где стояло ненаглядное пособие, и я как бы невзначай предложил Витьке:

— Хочешь сняться вместе с ним?

— С ним! — закричал он, но тут же успокоился: — А почему бы и нет?

— Становись! — приказал я.

Уж теперь-то мне известно, кто тут полный хозяин событий. Мой голос был звонок, отдавал металлом. Борецкий подошел к скелету, но стал на таком расстоянии, что, оживи наше пособие, рукой до Витьки оно бы не дотянулось.

Решительным шагом я подошел к Борецкому, придвинул его к скелету. Потом я взял костлявую кисть и положил Витьке на плечо.

— С ума сошел! — сказал он неуверенным, севшим голосом, но руку скелета с плеча не сбросил, так и стоял, окаменев.

— Внимание! — командовал я. — Приготовились! Снимаю!

Щелкнул затвор. Витька выскочил как ошпаренный из-под костлявой руки. Чудак! Не понимал, дуралей, что я уже спас его.

* * *

Он не понял, куда я клоню, даже когда три шедевра фотографического искусства отскочили от стекла — роскошно глянцевые, полированные произведения, не уступающие по качеству никакому самому замечательному ателье.

Одну карточку я тут же отдал Витьке, а две, как он ни клячил, положил в свой карман.

Теперь требовался Крошкин, и я предложил Боречкому прогуляться, таким естественным и нехитрым образом поискав желанной встречи с Вовкой. Но не зря говорится: на ловца и зверь бежит.

Вовка чуть не наехал на нас чьим-то велосипедом — своего у него не было.

Он слез с него, гордо улыбаясь. Вёлик в ту пору был большой редкостью, и Вовка молча хвастался чужим имуществом. Ну, ничего! Ему недолго осталось улыбаться!

Неторопливым движением я достал фотографию и протянул Вовке:

— Посмотри!

Он нехотя взял карточку, и глаза у него поехали на лоб. Вовка был добрый человек, а добрые не умеют скрывать своих чувств, даже если очень хотят этого.

— Ну дае-ешь! — прошептал он и уставился на Витьку. — Ну да-е-ешь!

Я ликовал.

Я салютовал самому себе из тысячи артиллерийских орудий.

Пусть попробует теперь Вовка повторить позорную кличку, выдуманную для Витьки! Как у него повернется язык!

А у Вовки язык и не поворачивался. Он глядел на Боречкого с ярко выраженным уважением, и Витька — это было трудно не заметить — потихоньку приосанивался: наливал грудь, выпрямлял спину, приподнимал подбородок.

Настоящий серб, гордый, как все сербы!

— Вот так вот! — не утерпел я, но Вовка даже не среагировал на мою реплику. Он все смотрел на Витьку, и взгляд из уважительного постепенно превращался в восторженный.

* * *

Ну, вот и все.

Вся история моего магазина ненаглядных пособий. Пожалуй, вся.

Я повернулся к своим приятелям спиной и молча пошел в сторону.

— Ты куда? — испуганным дуэтом крикнули они.

— Снимать! — остановился я. Меня распирало от счастья. — Фотографировать!

— Мы с тобой, — опять враз крикнули ребята.

Вовка сел на седло велосипеда, а Витька, растопырив ноги, устроился на багажнике.

Они медленно катились рядом со мной, и я сказал, улыбаясь:

— Вот так я вас и сниму!

— Давайте снимем самое красивое, что есть на свете! — сказал Вовка возвышенным тоном.

— Откуда здесь море? — проговорил Борецкий.

— Восход солнца! — ответил Вовка. — Самое начало видали? Солнце красное, будто спелое яблоко.

— И огромное, вполнеба, — кивнул я.

— Только надо не проспать, — сказал деловито Витька.

— Одну-то ночь можно и пожертвовать! — крикнул Вовка.

— Для искусства! — подтвердил я.

* * *

Ночь выдалась парной, теплой.

Еще вечером мы забрались на высокий тополь, чтобы снять восход с вышины, увидев красное яблоко раньше всех — устроились в удобной развилке дерева капитально, даже затащили стеганое одеяло для мягкости.

Всю ночь мы болтали, вспоминая, как водится у мальчишек, страшные истории, и, наверное, не давали спокойно спать воронам на верхних ветвях: они испуганно вскаркивали, точно всхрапывали от жутких снов, навеянных нашими рассказами.

Разговор крутился возле скелета. Мы все выдумывали, кто был им раньше — безденежный бродяга, ученый, подаривший себя науке? Витька упрямо настаивал, что это моряк, только одни моряки, видите ли, не боятся ни черта, ни кочерги.

— Сербский моряк, — ехидничал я, — бесстрашный и гордый!

И Витька хлопал, смеясь, меня по макушке.

Солнце выползло таким, каким мы его ждали.

Торжественно алый круг сиял нам в глаза, и я щелкнул тросиком «Фотогора». А днем нас ждало разочарование. На карточке вместо алого великолепия был блеклый недопроявленный круг сквозь черные трещины тополиных ветвей. Только и всего.

Цвет исчез на черно-белой фотографии, оставив одни контуры. Затея не удалась.

Мир, который мы видели, был ярче и красивей того, что могла остановить тогдашняя фотография. Жизнь, оказывается, ярче искусства!

Впрочем, это не казалось мне важным. Вовка и Витька перестали быть врагами — вот что нравилось мне...

* * *

Человек радуется, когда он взрослеет. Счастлив, что расстается с детством. Как же! Он самостоятельный, большой, мужественный! И поначалу эта самостоятельность кажется очень серьезной. Но потом... Потом становится грустно.

И чем старше взрослый человек, тем грустнее ему: ведь он отплывает все дальше и дальше от берега своего единственного детства.

Вот снесли дом, в котором ты рос, и в сердце у тебя возникла пустота. Вот закрыли школу, в которой учился, — там теперь какая-то контора. Куда-то исчез магазин ненаглядных пособий. А потом ты узнал: умерла учительница Анна Николаевна.

В сердце все больше пустот — как бы оно не стало совсем пустым, страшным, точно тот край света возле белой лестницы в тихую ночь: черно перед тобой, одни холодные звезды!

Без детства холодно на душе.

Когда человек взрослеет, у него тускнеют глаза. Он видит не меньше, даже больше, чем в детстве, но краски бледнеют, и яркость не такая, как раньше.

Мне кажется, в моем детстве все было лучше. Носились стрижи над головой, расцветало море одуванчиков, а в речке клевала рыба. Мне кажется, все было лучше, но я знаю, что заблуждаюсь. Кому дано волшебное право сравнивать детства? Какой счастливец смог дважды начать свою жизнь, чтобы сравнить два начала?

Нет таких. Мое детство видится мне прекрасным, и такое право есть у каждого, в какое бы время он ни жил. Но жаль прогонять заблуждение. Оно мне нравится и кажется важным.

Я понимаю: в детстве есть похожесть, но нет повторимости. У всякого детства свои глаза.

А магазина нет.

Многое уже известно в этом мире. Мало осталось вещей, которые удивят.

Вот в этом-то и дело: когда стал взрослым, таких вещей становится все меньше.

Как бы сделать так, чтобы, несмотря ни на что, мир остался по-детски ненаглядным?

Как бы сделать?

Неужели нет ответа?

Кикимора

У всякого времени своя жестокость...

Но если где-то неподалеку смерть, если пули и осколки целят в твоего отца и каждое утро, прежде чем проснуться, ты чувствуешь, как немеет тело от холода, приносимого страхом, — и потом среди бела дня, и вечером — вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего обмирает душа в неясном, но горестном предчувствии, — в неускоримо длинные, тягостные, безжалостные, беспощадные, жестокие эти дни есть ли цена всему остальному?

Есть ли цена жестокости, коли она не от войны? Время безмерной тяжести, не меняет ли оно цену на радость, обиду, ненависть?

Большое горе, неутешные слезы, безмерное ликование — не разменивают ли они в мелочь все другие чувства, которыми награжден от рождения каждый человек?

А если да?..

Как ужасно, как страшно это!

Горевать только при виде смерти, считать жестокостью лишь убийство, мерой счастья избирать одну собственную сохранность, во всех остальных случаях лишь равнодушно пожимая плечами: мол, бывает, дескать, случается, но главное — не это...

Главное — все, вот что.

Согласен: есть на свете великое зло, но нет обыкновенного зла, не может, не должно его быть.

Есть великое горе, но нет горя простенького, обычного, есть горе. Есть необыкновенная радость, и кто станет спорить, что она дороже обыкновенного счастья, маленькой радости.

Копеечных, мелочных чувств не надо.

Особенно когда ты ростом невелик и только начинаешь жить.

Щелястый забор отделял наш двор от детской поликлиники. Щелястым он стал в войну, будто война забору зубы выбила, а раньше — доска к доске — ровная стенка ограждала нас от детских писков и криков. Но война сделала свое дело, досочка по досочке — словно пололи морковную грядку — проредили мы забор, используя сухой материал на растопку, и стал он похож на редкозубый старушечий рот: ограждение вроде бы есть, но что оградить может?

Так вот этот — и не щелястый даже, а полупустой какой-то, условный забор — отсекал наш двор от детской поликлиники и упирался в конюшню.

В ней ночевала кобыла Машка.

Кошек, собак и прочей живности в нашем городе было мало видно той военной зимой, а вот лошадей полно. Это объяснимо.

Во-первых, немногие автомобили, как и мужчины, ушли из нашего города на войну, и лошадь стала главным тяглом, ведь без транспорта не обойтись. Вот и остались в городе два вида транспорта: по железной дороге пыхтели паровозы, а на крутых городских улицах, покачивая шеей в такт своим шагам, напрягаясь всем телом, оскальзываясь и больно — но молча ведь, молча! — падая в гололед, разбрызгивая грязь глухой осенью и затяжной весной, задыхаясь летней пылью, шли и шли лошади, увозя с заводов ящики с сытыми боками сально блестящих снарядов, а от санитарных составов — раненых, укрытых серыми суконными одеялами, скрипучей зимой приволакивая из деревень возы сена для собственного же пропитания и много разных других вообразимых и невообразимых грузов.

Однажды я видел, как лошадь везла другую лошадь.

По нашей улице гоняли скот на мясокомбинат — коров, быков, овец. Торный путь к скотобойне. Тогда тоже вели худющее стадо. Дело было по весне, бабы с кнутами хмуро и громко ругались хриплыми голосами, почему-то торопили коров, отгоняя их от первой придорожной травы, а позади стада шла лошадь, запряженная в телегу, на телеге валялся какой-то брезент, и на нем, стреноженный, лежал тощий конь. Он не брыкался, не ржал, а только косил огромным испуганным лиловым глазом — косил на небо, на стадо, жалостно взглянул и на меня, будто просил милости, и я чуть не завыл в голос: без всяких слов ясно, куда и зачем везли этого худого коня!

Конское жесткое мясо давали по карточкам, его варили и ели без охов и ахов, и я это знал, не малыш несмышленый, а по коню тому заплакал...

Да, в самом деле: у каждого времени своя жесткость.

Лошадей было много — главный транспорт в тылу, — и детской поликлинике тоже полагались колеса, так что в конюшне, к которой примыкал наш редкозубый забор, ночевала смиренная кобыла Машка.

Ах, как хотел я прокатиться на ней, как жалел ее и как мечтал дружить с ней!

Странное дело, скажете вы, лошадь не собака, разве можно дружить с ней? Она в упряжке, на работе, с ней не побежишь наперегонки по зеленому лугу.

Это конечно, не побежишь, только и с лошастью можно дружить, особенно когда ее быют, да еще матерно приговаривают: «Эх, тудыть-растудыть» — и всяко-разно.

Что касается руготни, то бабушка и мама понапрасну тянули меня в сторону, когда что-нибудь неприличное на улице слышалось. Смешно, даже маленького пацана ведь не спрячешь в коробку, как, например, бабочку или кузнечика. Он живет, и дышит, и ходит по улицам, как всякий человек, и мир ему не заслонишь, а в мире всякого полно — и хорошего, и не очень, — и уши ватой не заткнешь. Так что насчет всяких крепковатых выражений мы в ту пору много чего уже слыхивали, и эта дрянь вовсе даже не вызывала во мне отвращения. Ненависть вызывало, когда матерятся и быют, вот что.

Да, быют бессловесную лошадь.

А Машку лупили почему зря.

Вечерами, когда кончался ее рабочий день, я прижимался ухом к стене конюшни и слушал, как в темноте хрукает сеном Машка, переминается с ноги на ногу и тяжело вздыхает.

Я не слыхивал ее голоса, она ни разу не заржала, сколько я помню, только вздыхала, и тогда я звал ее через стенку:

— Машка! Машка!

Лошадь умолкала, переставала жевать сено, прислушивалась, видать, потом снова принималась за еду, вздыхая еще пуще и чаще. Видно, душой принимала

мое сочувствие и не скрывала от меня свое настроение и свои мысли.

— Эх, Машка! — вздыхал я, а сам думал: «И откуда же достался Машке такой жестокий конюх? Была бы Машка моей! Никогда бы ее не ударил! И ведь видит, знает, что лошади больно, а лупит, гад такой, этот Мирон!»

Конюх Мирон жил прямо в поликлинике вместе с женой, старухой Захаровной, и дочкой Полей. Я бывал у них дома еще совсем маленьким, до войны, вместе с мамой и с тех пор запомнил крохотную и узкую комнату, в которой окошко было почему-то очень высоко, почти под потолком. Мирона тогда в комнате не оказалось: он куда-то уехал на лошади по каким-то служебным делам, и потом всякий раз, как я оказывался в гостях, хозяина дома не было.

Чистенькая старуха Захаровна всегда ходила в белом платочке, простоволосой не показывалась даже в самую жару, приметив меня, махала ручкой и, когда я подрос, тоже махала ручкой, уже по привычке, улыбалась, рассказывала пустяковые новости.

Можно сказать, с Захаровной у меня были хорошие соседские отношения, с Полей — дочкой Мирона и Захаровны — просто дружеские, она училась в каком-то техникуме по медицинской части, дома была редко, а когда появлялась, задняя дверь поликлиники то и дело стучала — Поля хлопала половики, ведро выносила и все со смехом и прибаутками, сильная, энергичная, веснушчатая, с двумя косичками, торчащими в стороны, — своей веселостью она вызывала ответную улыбку и взаимное желание сказать какую-нибудь шутку. А вот с Мироном у нас не было никаких отношений.

Нет, все-таки были: я его боялся.

Порой я встречал его на улице и, понятное дело, всегда здоровался. Наверное, вот эти ответные его действия меня и пугали: иногда он даже снимал шапку, раскланивался, и мне было неловко оттого, что старый человек зимой стягивает из-за меня свой рыжий треух — ведь холодно, можно простудиться. Но вот иногда, столкнувшись с ним носом к носу и поздоровавшись, я видел пустые, ничего не видящие глаза. Не узнал меня? Не услышал моего приветствия? То ли чутьем каким, неразвитой, но ясной детской интуицией, то ли светлой верой в простоту отношений я знал, был уверен: и видит и слышит, а не здоровается в ответ нарочно.

Почему? Это расстояние было так велико — сперва сорвать шапку с головы, а потом не заметить.

И снова снять шапку перед пацаном...

Странность Мирона всегда оставалась для меня новой, не переставала поражать, и классе в третьем я сказал об этом маме.

Она выслушала серьезно, оглядела меня очень строго, словно оценивала мою готовность понять ее, и сказала:

— Ты к нему близко не подходи! Он всегда с кнутом.

Я обиделся. Конечно, я пацан, но все-таки не бессловесная Машка. Неужто посмеет? Нет, мама явно перебирала, заботясь обо мне.

— Сказанешь! — усмехнулся я.

Мама, точно Мирон, не услышала моих слов.

— Он ведь кулак! — проговорила она.

— Какой кулак? — ахнул я.

Кто такие кулаки, я уже знал, не малыш ведь бес-толковый.

— Раскулаченный и высланный, — объяснила мама. — Вот какой.

Сколько я ее ни пытал, мама ничего больше не прибавила — сама не знала. Кулак, и все. Откуда-то с Урала.

— С Линой говорить неудобно, — объяснила она, — девка хорошая, только расстроится. Захаровна хоть и разговорчивая, да об этом помалкивает, а Мирона, сам понимаешь, не спросишь.

Кулак! Всем ведь известно, что кулаки — это богатеи и враги Советской власти, и этого мне хватило, чтобы испугаться Мирона еще больше.

У него было много обязанностей в детской поликлинике, а главная среди них — кучер, точнее, извозчик, потому что кучер возит только седоков, а извозчик еще и грузы. На дворе возле конюшни стояла телега, а в самой конюшне, рядом со стойлом, хранился возок для заведующей поликлиникой. Иногда я видел, что Мирон выходит необычно принаряженный, — это значило, что он заведет Машку в оглобли возка, черного, лакированно-блестящего, а потом подгонит свой экипаж к парадному, или «чистому», как говорила Захаровна, подъезду.

Из поликлиники быстрым шагом выходила мрачная длинная тетка в широком пальто — я никогда не видел,

чтобы она с кем-нибудь здоровалась или разговаривала, — плюхалась на заднее сиденье, возок слегка перекашивался, а Мирон звонко чмокал на Машку и меньше лупил ее вожжами, трогая с места, — видать, стеснялся заведующей.

Похоже, Мирон любил такие выезды, но удовольствие это случалось нечасто: заведующая ездила только по каким-то особым случаям, а так ходила пешком, и я не раз сторонился ее мрачной долговязой фигуры, маячившей посреди мостовой. В одной руке заведующая всегда держала маленький плоский портфельчик, который казался еще крошечней именно в ее руке.

Так что Мирон редко получал удовольствие проехаться в лакированном экипаже, принаряженным, а чаще — в телогрейке и треухе, коли зимой, или простой рубахе без подпояски, если летом, он возил в поликлинику бутылочки с едой для самых маленьких малышей — такие махонькие бутылочки с метками по всей длине, заткнутые белыми бумажками и расставленные в ящики из железной проволоки. В поликлинике был пункт раздачи питания, и вот Мирон рано утром привозил откуда-то эти проволочные ящики с молоком и кашей.

Было слышно издалека, как он подъезжает к поликлинике. По булыжной мостовой телега катилась с привычным грохотом, от тряски бутылочки с детским питанием тоненько дребезжали, и казалось, звенит сразу множество колокольчиков.

Я не раз ловил себя на том, что, при всей своей не любви к Мирону, улыбаюсь, заслышав звон бутылочек. Тысячу раз я видел, как люди на улице — не только старухи и женщины, но и мужики и даже военные — смотрят вслед Машке и Мирону, которые везут бутылочки, и лица у них разглаживаются.

Война идет, а дети есть просят! Значит, растут! Значит, не так уж плохи наши дела!

А у Мирона были еще две обязанности, может быть, самые трудные и важные для детской поликлиники. Он привозил дрова с берега реки, пилил их, чаще всего в одиночку, колол, разносил охапки поленьев к печкам и топил их.

Однажды он заболел, и Поля, возвращаясь из техникума, позвала меня топить печи. Я пошел.

Топить печку — кто этого не умел в ту пору? Заме-

чателное дело, хоть и не такое простое, особенно вначале, когда огонь нужно раздуть, превратить в пламя. Да что там, это целое искусство — затопить печь, да еще сразу, с одной спички, да еще когда дровишки не первый сорт — сырые, с улицы, из-под снега или дождя. Для такого дела следует сперва нащипать лучины, а для лучины нужно лежалое в сухости полено, лучше всего березовое. Лучину надо еще с умом разложить под дровами, поначалу сухими, а сырые можно класть только в самый жар, когда пламя полыхает, жжет нещадным жаром.

Растопить одну печку и то требуется умение, а Поля мне сказала такое, что я ахнул: надо запалить восемь печей! Поликлиника большая — два этажа, два подъезда, множество кабинетов, — вот и печей сразу восемь. Ничего не попишешь, надо топить.

Это оказалось сказочным удовольствием — топить сразу много печек.

Сперва я носился на улицу и обратно с Полей наперегонки, таскал дрова, и мы их складывали возле печей. Помню, было это в конце октября, но зима торопилась, и на дворе осень смешалась с морозцем: еще пахло осенней пряностью, палым листом, но запах этот был как бы остужен, разбавлен резким холодом, а оттого легок и нежен. Когда дверь распахивалась, на пороге между холодом и теплом вспыхивало легкое облачко пара, яркое солнце подсвечивало его в голубое, и все это: легкий морозец, вкусный аромат осени, смешанной с зимой, легкое голубое облачко между холодом и теплом, желтые и чистые полы поликлиники, восемь печек, которые предстояло затопить враз, — все это возбуждало меня, хотелось кричать, смеяться, петь, и я запел не вполне осмысленную, но зато замечательную песенку из кино, которую пел артист Жаров: «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки!»

Поля раскатилась, точно горох, услышав мою песенку. Я не удивился ее смеху, рассмеялся в ответ тоже, и дела наши пошли еще скорее.

Наступил важный миг. Дрова неторопливо и с толком заложены в топку, лучина нащеплена и разложена с умом, Поля берет коробок, чиркает спичкой и поджигает лучину. Быстрым и ловким движением она захлопывает печку, прислушивается, точно музыкант, к звуку огня. Сперва он лишь пощелкивает лучиной, затем по-

тихоньку начинает гудеть, а потом будто кто-то сильно дует на горячий чай: тяга идет хорошая, с лучин пламя перебегаёт на дрова, пожар в печке занимается, и у Полины возле губ собираются тоненькие морщинки, она улыбается, довольна: печка топится исправно.

— Как ты поешь? — спрашивает она. — «Тирьям-тирьям»?

— «Тирьям»! — отвечаю я, и мы оба хохочем.

От печи к печке Поля переходит не спеша, а я бегом, мне не терпится, когда в следующей топке, точно в домне, вспыхнет еще один жаркий огонь. И еще мне не терпится зажечь печку собственными руками. Но я помалкиваю, только, видать, есть и другие способы выражения чувств — глаза, например, или перескакивание с ноги на ногу, или просительное молчание. Растопив вторую печку, Поля протягивает мне коробок со спичками, я издаю пронзительный вопль, трясусь спичками в коробке, будто бы в радостный бубен, и бегом мчусь к третьей печи.

Честно говоря, я волнуюсь.

Бабушка и мама разрешали мне топить печку, но та печка была нашей, своей, а здесь печки чужие. Кому не известно, что у каждой печки свой характер, они ведь как люди. Сколько печек, столько норовов. Одна уродилась ядреная, жаркая, другая угарная, а третью с десятой спички не запалишь — упрямый характер, что поделаешь. Так что с печками лучше всего обращаться ласково, вежливо. Вон бабушка моя, как печку топить, на коленях перед ней стоит, спичку к лучине подносит, а сама приговаривает: «Ну, голубушка, давай разогрейся, гори ярко, грей жарко!» Прямо стихи декламирует.

И что вы думаете — печка у нас прямо благодетельница: до утра не остывает, хоть какой тебе мороз.

Ну а здешние? Еще шесть печек надо затопить, а это все равно как с шестерыми людьми о чем-нибудь серьезном договориться.

Волнуясь, поднес я спичку к лучине — она вспыхнула. По Полиному примеру я дверцу топки захлопнул, а у поддувала дверцу, напротив, пошире распахнул. Огонь заметался, загудел — ну прямо как по писаному. Умелый истопник, да и только.

Настроение у меня еще выше взлетело, но с печами не шутят, я уже не пел свою «Тирьям-тирьям», а подбирался к следующей печке вкрадчивым, вежливым шагом: как бы не подвела меня перед опытной Полей.

Четвертая печь загудела ровно и мощно. И пятая тоже, и шестая. Поля не удержалась, похвалила:

— Приходи к нам на работу. Ишь какой мастер!

И меня понесло.

Отворил варешку, заорал во всю глотку от Полиной похвалы: «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки!»

Ну и что? Был тут же наказан! Седьмая печь, едва я разжег лучину, огонь потушила, дохнула мне прямо в лицо едким сизым дымом. Казалось, она устроена наоборот: дым у нее валит не в трубу, а в помещение. Сколько я ни чиркал о коробок, как ни торопился прикрыть дверцу, не желала разгораться эта седьмая, будто нарочно хотела перечеркнуть мой удачный путь от печи к печи.

— Ладно, — сказала Поля, видя мои мучения, — она у нас х арактерная, давай спички.

И тут же печка даже обличьем переменялась как будто. То хмурилась, кривлялась, а от Полиной руки огонь весело полыхнул, и даже дым, какой в комнату напoлз, вдруг медленно полез назад в поддувало. Ну и чудеса!

Я притих, настроение скисло. Последнюю печку Поля затопила сама, и мы с ней пошли обратно, к самой первой, проверить, как они топят, эти восемь подруг, какое у них настроение.

Прямо рукой Поля открывала горячую дверцу — я удивлялся, как не обожжется, — мешала в печном красном горле кочережкой, подбрасывала поленья, теперь уже сырые, снова рукой притворяла печь, негромко напевала мою песенку: «Тирьям-тирьям, менял я...»

У последней, восьмой печки мы присели на минуту.

— Да ты, никак, на нее обиделся? — спросила Поля.

— На кого? — будто бы удивился я.

— Да вон на ту старушенцию!

Врать не хотелось, я вздохнул вместо ответа.

— Это еще что! — сказала Поля, потягиваясь. — Разве такие есть? Кикиморы бывают! Страху не оберешься, бывало.

Дело было в воскресенье, поликлиника пуста, мы с Полиной одни среди этих коридоров, кабинетов и печек, да и уроки я все выучил — торопиться некуда.

— Расскажи! — попросил я шепотом.

— Да ты не бойсь! — сказала, хохотнув, Поля. — Это я раньше боялась, а теперь знаю, в чем дело.

Ну да, она теперь училась в техникуме с медицинским уклоном, а там науками все давно объяснено.

— Мы раньше в деревне жили, и была у нас проклятая печка. А все отец виноват! — сказала она. — Когда дом строили, позвали печника, и он оказался ваш, вятский. Мать рассказывает, отец все правила порушил, будто не знал, — жадность подвела. Сперва сильно с печником торговался, до ругани дошло, тот уже уходить повернулся. Едва сторговались. Потом сразу работать его заставил — опять неправильно. Да еще уколол: сперва, мол, заработай на ши-то. Печник промолчал, потом все вроде гладко, миром разошлись, печка получилась жаркая. Рассчитался с печником, тот ушел. А ночью, когда тихо стало, такое началось! Кто-то закрипел, заворочался, да противно так — мороз по коже. Я еще маленькая была, завывала в голос, а мать кричит: «Кикимора, кикимора!» Поставил работник в печку кикимору — отцу назло. Я уж потом узнала: вятских печников принимать надо было наособицу — не торговаться, ведь печка на всю жизнь ставится, один раз, а поперед работы усадить за стол да крепко накормить, чтобы доволен был.

Я сидел ни жив ни мертв.

— А какая она бывает?

— Кикимора-то? — Поля засмеялась, но тут же сделала испуганное лицо. — Живет в печке, скрипит по ночам, детей малых да баб пугает. — Она опять рассмеялась. — Оставил печник склянку с ртутью, а в нее патефонных иголок горсть. Вот как остывает ртуть, иголки-то и скрипят. А остывает печка, ясно дело, ночью.

Мы хохотали оба. Вот так да! Ларчик просто открывался, как писал дедушка Крылов.

— Кикимора! — повторил я, смеясь, новое словечко — мне нравилось его повторять, было в нем что-то страшноватое и смешное сразу. — Надо же, кикимора! Да, подвела твоего отца жадность, — повторил я Полины же слова, но она как-то искоса взглянула на меня, будто обиделась.

А я уже приготовился расспросить ее про Мирона: правда ли, что он кулак? Раскулаченный кулак откуда-то с Урала? Но не решился. Я глядел сбоку на курносый профиль Поли, которая вдруг сникла, примолкла, и жалел ее, впервые подумав про Мирона: вот кто Кикимора-то!

Мирон болел недолго, к Октябрьским праздникам был на ногах и с самого утра уже бродил, неуверенно пошатываясь, сильно пьяный. Дворник, истопник, извозчик, он должен был по праздникам вывешивать флаги. Я видел, как он прихватил лестницу, долго приставлял ее к железным держалкам, куда втыкают флаги, и ожесточенно, с яростью вворачивал в них древко, приговаривая довольно громко: «И-иэх! И-иэх!», будто ему было тяжело.

Я долго околачивался во дворе и сквозь дырчатый забор хорошо видел, как разворачивались события.

Пошатавшись по двору, Мирон исчез в поликлинике. Потом дверь откинулась нараспашку, и на улицу выскочила Полина. Я крикнул ей что-то приветливое, но она лишь слабо махнула рукой и ушла со двора быстрым шагом, низко опустив голову, будто не хотела, чтобы я видел ее лицо. Странно: праздник, а она какая-то пришибленная.

Через полчаса в распахнутой двери появилась Захаровна. Наспех одетая, она хромала и постанывала. Заметив, что я смотрю на нее, Захаровна смолкла и неровным шагом исчезла вслед за Полей.

Я собирался было уходить, как вдруг появился Мирон. Он едва не скатился со ступенек, но все же удержался, гортанно всхлипнул и подошел к дровам. Возле нашего забора, с той стороны, грудились распиленные чурбаны. Мирон принес колун, поплевал на руки и вдруг стал раздеваться — скинул телогрейку, рубаху, нательное. Лицо и шея у него были красные, точно опаленные, а грудь белая, будто бумага, и на спине бурыми кругляшами виднелись пятна от банок. «Надо же, еще недавно болел, — подумал я, — а теперь разделся. Простынет!»

Мрачно подвывая, Мирон схватил колун и начал крошить чурбаки в поленья. Он не просто колол дрова. Он будто рубил кого-то, при каждом ударе смачно матерясь.

— Эх, трам-тарарам!..

— Ых, твои дети!

— Ек-якорек!

Я стоял развесив уши. Немало чего порочного и не достойного детского уха слышал я в нашем городке военной поры, а таких звуко сочетаний слышать все же не приходилось.

— Ах, вас-нас, матраc! — изливался Мирон.

— Ить-вить-растудыты!

Был он сильный, несмотря на впалую белую грудь, а сегодня еще и яростный — видать, из-за вина, — и поленья отскакивали от чурбаков, точно семечки, иные высоко подлетая, будто норовя Мирону в лоб за его злость и словечки.

Я думал, он не видит меня, раз напился, но извозчик вдруг обернулся ко мне и крикнул с такой страшной яростью, что я съежился:

— Чаво уставился! Аль не видал?

Серая борода его топорщилась лопатой в мою сторону, глаза сверкали взаправдашной и непонятной мне ненавистью. Я растерялся и проговорил в ответ:

— Здрасьте!

— Здравствуйте — не хвастайте! — зарычал Мирон, руганулся многоэтажно и неслыханно и жажнул колун по чурбану — будто меня убивал. — Здравствуй-те! — крикнул он, снова вскинул колун и бухнул по деревяшке. — Не хвастайте!

Он кроил кругляки с чудовищной силой и приговаривал как-то навзрыд, подхохатывая: «Здравствуй-те! Не хвастайте! Здравствуйте! Не хвастайте!» Будто сошел с ума.

И я знал: если бы ему требовалось ехать, он бы с такой же яростью и сумасшедшим гневом без всякой на то причины лупил бы сейчас безответную кобылу Машку!

Ему что дерево, что животное — все одно.

Да, все одно.

Мирон напивался во все праздники — и на Октябрьские, и в Новый год, и на Первомай, — но всегда при этом работал: колол дрова, как тогда, или мел тротуар перед поликлиникой, размахивая яростно метлой и распугивая прохожих ругней, повторяемой в такт шарканью своего инструмента.

А хуже всего, если он собирался ехать — ведь малыши требовали еды даже по праздникам. В таком случае Мирон ругался еще яростнее, пересыпая свою матерщину извозничьими восклицаниями: «Но-о! Тпру-у!» Ужасней всех его слов был хлест вожжей и кнута. Сперва, видно, для порядку, со всего маху прохаживался он по Машкиной спине брезентовыми вожжами, вкладывая в удар всю свою силу.

Кобыла прыдала ушами, приседала на задние ноги, изгибала шею, кося на хозяина кровавым глазом, а молчала и только взглядом молила о пощаде. Но что ему лошадиный взгляд, этому извергу Мирону! Он лупил кобылу для порядка, просто так, чтоб знала, кто она такая и кто властвует ее жизнью.

Отлупив лошадь, изругавшись до пота, одурев от своей физзарядки и, кажется, даже получив удовольствие, Мирон наконец слабел, крики его становились тише, невнятные, Машка успокаивалась и смирно становилась между оглобелей. Он запрягал ее, подтягивал подпруги, подлаживал какие-то ремешки и ремни и, довольный, цокал на кобылу. Она трогала со двора, а в телеге — или на санях зимою — тысячью колокольчиками брякали маленькие стеклянные бутылочки, отсюда пустые, а обратно белые, полные, с изменившимся — чуть поглуше — звуком.

Лошади ведь не машины, ходят только чуть побыстрее человека, и порой я шел за Мироном и Машкой, нисколько не отставая от них. Кучер дремал, борода его упиралась в рубаху, и Машка, каким-то чутьем понимая это, утишала шаг, давала себе отдых. В эти мгновения я шел поближе, негромко, чтобы не разбудить Мирона, разговаривал с Машкой, жалел ее.

— Правильно, Машка, — например, приговаривал я, — гнать некуда, поубавь шагу, все равно этот сейчас проснется и погонит вперед, передохни малость.

Машка не оборачивалась ко мне, но по ушам, которые шевелились, стояли домиком, видел, что она меня слышит, и понимает, и считает меня своим.

«Эх, Машка, — думал я в такие минуты, — отвезти бы сейчас молоко малышам — это, конечно, дело нужное, да распрячь тебя, да дунуть бы нам вдвоем куда-нибудь за город, к стогу сена, еще не очень замеченному снегом, и забыть бы тебе этого проклятого Мирона».

Я представлял себе очень ярко: сижу верхом на Машке, а она, сразу взбодрившаяся, подтянутая — ну что тебе буланый конь, — несет меня вперед бодрой рысцой, сверху видно все хорошо, и вот мы уже на просторе, на лесной дороге, и Машка радостно ржет — хоть бы разок услышать ее ржание!

Но Машка тяжело вздыхает, Мирон на телеге начинает ворохаться, я отстаю, и тут опять начинается безжалостная бойня. На маленьком подъеме Мирон непременно просыпается, приходит в себя и принимается лу-

пить кобылу со свежей яростью. Похоже, этот подъемчик, который лошадь и так бы одолела без всяких поуканий, он использует как повод, чтобы поиздеваться над бессловесной тварью. А для людей, для чужих глаз — оправдание: смотрите, как он старается на работе, погоняет лошадь, чтоб лучше шла и на подъеме время не теряла.

Машке хочется уйти от этих ударов, она пробует поджечь круп, уйти от ременного, с тяжелым узлом на конце, кнута, но куда убежишь из упряжи да оглоблей? И она прибавляет шаг, качая головой в такт шагам, надсаживается без всякой нужды, выполняя волю своего злобного хозяина.

А тот стегает Машку кнутом — она уже бежит, но он все стегает, словно лупит ненавистного ему врага.

Наутро после тех праздников, когда Мирон, ругаясь, колол дрова, по дороге в школу я наткнулся на его взгляд.

Вот это да!

Глаза у Мирона обладали свойством то расширяться, будто фары, вылезать на лоб, а то прямо-таки прятаться, делаться маленькими, как у рыбки.

Он глядел на меня поутру маленькими глазками — маленькими, но какими-то твердыми, упорными — и сам кивал головой. А вдобавок стянул с себя шапку, приподнял над головой.

— Здравствуйте! — проговорил он хриплым и каким-то робким голосом.

«Не хвастайте!» — передразнил я его про себя, но вслух этого сказать не посмел, а покраснел и слабо проговорил в ответ:

— Доброе утро!

— Вот-вот, — обрадовался Мирон, — доброе, доброе...

Хотя утро выдалось пасмурное и холодно-ветренное.

Он топтался на месте передо мной, совсем не похожий на вчерашнего: согнутая, усталая спина, оперся на метлу, глядит вопросительно, словно чего-то ждет. А чего от меня ждать?

Я двинулся вперед, норовя обойти его, но Мирон кашлянул, будто хотел еще что-то сказать, и проговорил:

— Ты, это, на меня не серчай, старого дурака.

Извинялся за вчерашнее. А чего передо мной-то извиняться? За руготню? Лучше бы перед Полей извинился да перед собственной женой. И еще перед Машкой — наперед. Но надо было что-то ответить. А что я мог сказать? Я легкомысленно пожал плечами: дескать, что за дела? Это, между прочим, хороший способ уклониться от ответа: когда нечего говорить, пожми плечами, и все тут. Понимай как хочешь. Как непонимание, как прощение или еще как.

Мирон услужливо сдвинулся к краю тротуара, и я уже миновал дворника, но вдруг услышал:

— Приходи на конюшню-то!

Я мигом развернулся. «Приходи на конюшню»! Да это же мечта, это заветная моя идея — прийти на конюшню, похлопать Машку по боку, задать ей сена в ясли — есть такое ямщицкое выражение, я где-то читал.

— Когда? — выдохнул я.

— После школы, видать, — ответил Мирон.

Мне очень не хотелось, чтобы он понял мои чувства, этот непонятный человек. Я уже кое-что знал о жизни и не привык так скоро доверять людям. Я молча кивнул, повернулся и погнал в школу, по крайней мере, погнал до угла, чтобы вложить в бег всю свою радость. Только на углу я расслабился и засмеялся. После школы я поглажу наконец-то Машку. Но что за странный человек Мирон?

Да, дорого обошлась мне эта предательская доброта.

В школе я сидел, как на пиле, уроки не лезли в голову — мысли мои были у конюшни, — так что учиться явилось лишь мое тело, а дух витал возле Машки, и, как всегда водится в таких случаях, я получил «плохо» по арифметике просто-напросто потому, что прослушал вопрос учительницы.

Это на минутку привело меня в чувство, но лишь на минутку: я трепетал от одной только мысли, что, пользуясь случаем, попрошу Мирона подсадить меня на лошадь и прокачусь верхом хотя бы по двору. Кто из наших пацанов мог похвастать таким? А я похвастаю! Приду завтра в школу и всем расскажу: скакал верхом на лошади! Тирьям-тирьям!

После уроков я расправил крылья и полетел в сторону дома. Вообще-то, по-хорошему требовалось оттаранить сперва портфель, разогреть суп на плитке и самостоятельно пообедать, но какими пустяками казались мне эти никому не нужные ерундовые правила!

С ходу я завернул во двор поликлиники, подлетел к дверям конюшни и обмер: в могучих железных петлях висел такой же могучий амбарный замок.

Когда человек сталкивается с чем-то плохим или неприятным, странное дело, он сначала пытается выдумать всякие оправдания. Мол, виноватых нет, есть какая-то причина, чтобы вместо радости и счастья — подвох и неприятность.

Я сразу подумал: Мирон запряг свою лакированную бричку и повез заведующую по важному делу — телега ведь стояла во дворе.

Конечно! Он что, должен бездельничать и ждать, пока какой-то пацан явится после уроков на экскурсию по конюшне? Дел полно! И не таких уж незначительных.

На всякий случай я решил проверить свое предположение и прислонился ухом к стене конюшни. Я услышал лошадиный вздох и внятный, знакомый звук хрупанья сена. Значит, Машка здесь.

Я попробовал успокоить себя и подумал еще, что, может, надо зайти к ним домой, сказать конюху: «Здравствуйте, вот и я, вы же меня приглашали». Правда, я всегда приходил в маленькую комнатку с окном у потолка, когда Мирона не было дома. Ну что ж, я ведь не малыш, нечего робеть.

Я с силой оттолкнулся от стены конюшни, резко развернулся, полный решимости зайти к Мирону, и замер.

Он смотрел на меня.

Стоял возле телеги, в руке держал вожжи, словно собирался огреть ими, и смотрел с таким видом, будто видел меня впервые. И глаза у него опять изменились: не большие, не маленькие, а средние и будто пустые.

— Добрый день! — сказал я как можно приветливее, но он будто не понял меня.

— Ты здесь чего делаешь? — спросил он и через паузу добавил: — Вот как хлобыстну вожжами!

От негодования я аж захлебнулся воздухом, и это помешало мне толково объясниться. Я кашлял и кашлял, как последний идиот, и дураку было понятно, что человек, который ни с того ни с сего вдруг закашлялся, конечно же, имеет какие-то злонамеренные цели. Чем дольше я кашлял, тем глупее становилось мое положение: на глаза навернулись слезы то ли от кашля, то ли от обиды, не поймешь.

А он-то не кашлял. Он говорил:

— Здесь шлаться не положено! — Бросал фразу и

умолкал. — Ежели каждый шляться станет, что выйдет? — Он умолкал и через паузу говорил еще: — Это конюшня, а там лошадь. И лошадь теперь — транспорт, оборонный объект.

Я кашляю, он молчит.

— Может, ты подпалить хочешь этот объект?

Я! Подпалить Машку! Гад такой, сам же позвал и сам же издевается!

От негодования, что ли, кашель мой мигом прошел; не скрывая слез, я кинулся к нашему дырявому забору и уже там, на своей территории, крикнул, плохо видя Мирона — размывали, делали мутной, нечеткой его фигуру мои горькие слезы.

— Сами же позвал! — гаркнул я нескладно, путая грубость с вежливостью. — И сам же издеваетесь!

Дома никого не было, и я дал волю досаде. Сперва в голос повыл — сдерживаться нечего, вокруг никого. Потом в ярости швырнул портфель: ведь это МIRON до двойки меня довел! Наконец подлетел к мамимой кровати и принялся мутузить кулаками подушку.

Неожиданно, в самый разгар сражения с собственными чувствами, я вдруг подумал, что ведь пьяный МIRON вот точно так же хвощет чурбаны колуном, и расхохотался сам над собой.

Счастливая пора — детство: слезы и смех под руку ходят!

Смех помог мне, я разогрел суп, выучил уроки, почитал книгу, стараясь отгонять мысли о Мироне. Но куда их прогонишь?

Я вышел погулять, и тут же меня окликнул МIRON.

— Парене-е-ек! — звал он меня из-за забора, а я глядел в сторону, будто не слышал. — Эгей, паренек! А я ведь тебя не признал!

Не признал?

Я повернулся к конюху. С недоверием, но повернулся. Лицо Мирона выражало крайнее смущение — борода обвисла, глазки смиренно, с мольбой глядят на меня.

— Ей-богу, — говорил он торопливо, — не признал, старый дурак. Вчера вот гульнул, голова-то, видать, того, ишшо отуманена, да ты проходи в забор-то, проходи! Машка уже заждалася!

Утишая гулкие грохоты сердца, я, точно зайчонок перед удавом, сперва медленно и недоверчиво, потом все

быстрее и охотнее двинулся к забору, а потом и к Миرونу.

«Не узнал? — сомневался я. — Возможно ли такое? Поди, врет, снова издевается?» Но конюх улыбался мне, глаза виновато взблескивали, он вынул из кармана ключ от амбарного замка, и я приблизился к конюшне.

Теперь можно поверить!

Дверь распахнута, и в черном провале я вижу почти слившуюся с темнотой морду кобылы Машки. Она смотрит внимательно, настороженно, но есть не перестает: ее челюсти движутся не сверху вниз, а справа налево, как будто она не кусает, а перемалывает клок сена, свисающий с губы.

— Ты тут побудь, паренек, — говорит Мирон деликатно, не желая мне мешать, — а я дрова поколю.

Он отходит, а я вхожу в душистый мрак конюшни. Пахнет сеном, навозом, лошадиным потом, и, смешиваясь, эти запахи образуют дух, приятный моему обонянию.

Эх, Машка! Разве такой должна быть наша первая настоящая встреча, когда я могу погладить тебя по боку, прикоснуться к влажным замшевым ноздрям, потрогать жилу, вздувшуюся на ноге?

Ведь днем, на переменке, я приготовил тебе настоящую школьную булку. Да еще какую? Необыкновенную! Неизвестно, кто изобрел этот волшебный способ превращения обыкновенной маленькой булочки в необыкновенную большую, но это был истинно великий человек. Небольшое усилие, и нате вам — огромный плоский кругляш.

Это делалось очень просто. Требовался лишь кусок газеты, и то для гигиены, а если парта чистая, и так можно.

Одним словом, готовясь к встрече с Машкой, я решил угостить ее школьной булочкой. Суп, который выдавали нам в классе, слопал просто так, «наголо», а булку аккуратно вложил между двух промокашек и начал прессовать ее крышкой парты. Бух-бух-бух — хлопала крышка на переменке, и, после каждого жима заглядывая под крышку, я видел, как плюшилась булочка, как превращалась из пухлого, но маленького комка в плотный, но тонкий блин, в целое румяное солнце. Сперва она стала больше вдвое, потом втрое, наконец вчетверо.

Все мальчишки в нашем классе жали свои булки до возможных пределов, и всем казалось, что она вырастала от этого сжатия во много крат, потом жевали с

тройным аппетитом, а я сложил свой кругляш, это желтенькое солнце, в портфель, для Машки, и дома, в слезах и расстройстве, начисто забыл о нем.

Вот так, Машка! Пришел к тебе с пустыми руками.

Побежать домой, взять плоскую булку и принести снова — я подумал об этом первым делом, но тут же отрекся от своей мысли. А Мирон? Вдруг он закроет дверь? Да и объяснять ему все никакой охоты.

— Не горюй, Машка, — прошептал я кобыле, — за мной не заржавеет.

Нет ли тут щелей, кстати? Я оглядел стену конюшни, выходившую на наш двор. Понизу, на уровне моего роста, щелей не было, а вот повыше просвечивала светлая линейка, только уж очень узкая, даже самый тонкий блин не пройдет.

«Ладно, — вздохнул я, — что-нибудь придумаем». Хлопнул Машку по боку и притащил ей из угла охапку сена.

Эх, эх! Надо бы и гребешок захватить, желательно крупный, с редкими зубьями, у бабушки есть такая расческа, только полукруглая, ею, пожалуй, и Машку можно расчесать. А пока я разглаживал, встав на цыпочки, лошадиную гриву руками, пропускал длинные волосы сквозь пальцы, приглаживал на одну сторону.

Машка фыркнула — мне показалось, от удовольствия, мягко повела шеей и толкнула меня. Я свалился в сено и расхохотался — вот она и играет со мной! Я лежал в сене тихонечко, чтобы не привлечь внимания Мирона, смеялся, а Машка перестала жевать и удивленно уставилась на меня.

Машка, Машка, бедная душа!

Я перестал смеяться, вспомнил, как Мирон лупит ее почем зря, прижался к лошадиному боку, обнял кобылу, и она, точно услышав мои мысли, тяжело и прерывисто, как человек, вздохнула.

— Жди, — шепнул я, — булку я принесу!

У меня уже была одна идея.

Дверной проем заслонила фигура конюха. Против света лица его не было видно, он молчал, и я снова испугался.

Мирон помолчал и проговорил мрачно:

— Запрягать пора.

Я испугался опять — ведь он каждый раз, перед тем как запрячь, вещадно лупит Машку. Что же делать, если он примется лупить лошадь при мне?

— Поглядеть желаешь? — спросил меня Мирон.

Я не знал, что ответить. Хотел ли я поглядеть? Еще бы! Но если он станет лупить, лучше не надо.

Я так ничего и не ответил — сжавшись, вышел из конюшни.

Глухо зацокали копыта — Мирон вывел Машку во двор, а я быстро обернулся, приняв твердое решение. Если он ударит ее хоть раз, я скажу ему прямо в лицо, кто он есть, — и будь что будет.

Я видел, как напряглась Машка, подрагивая кожей. Я напрягся тоже. Но Мирон был неузнаваем. Похлопывая кобылу по шее, приговаривая невнятные и хриплые, но мирные слова, он надел на нее хомут, завел в оглобли — и все без единого крика!

Я перевел дыхание и случайно взглянул на крыльцо. Там стояли Поля и Захаровна. Мне стало легче и как-то лучше, я улыбнулся им, а Захаровна помахала мне ладошкой. И вдруг я понял, что они вышли на крыльцо вовсе не случайно. Они вышли посмотреть. Вот только на что?

На то, как Мирон запрягает лошадь? Так они это видели тысячу раз. На Машку? Что здесь невиданного? На меня? Меня ведь Мирон впервые подпустил к лошади. Впрочем, разве я просился?

Тогда на Мирона? На то, как он заводит в оглобли лошадь — без крика и жестокого битья?

Мне стало легко на сердце: ведь вот можно же тихо, мирно, с лаской.

Машка стояла снаряженная в путь, Мирон грузил на телегу сетчатые ящики с пустыми бутылочками, а морщинистая Захаровна и Поля все не сходили с крыльца, разглядывая нас. Наконец телега загружена. Мирон снова заметил меня.

— Хочешь прокатиться? — спросил он.

Машке и так тяжело, и я отказываюсь, трясую головой.

— Да не на телеге, — говорит он. — Верхами!

Не верхом, а верхами — ишь как выразился!

— Прокатись, прокатись! — кричит с крыльца Поля, а Захаровна опять машет мне рукой, натягивая низко на лоб свой белый платок, будто что-то им прикрывая.

Мирон подходит ко мне сзади, подхватывает меня, ставит на оглоблю и помогает забраться на лошадиную спину.

Елки! И правда, сверху видно все по-другому. И двор, и дом наш, и дырявый забор, и поленица, и даже сам Мирон как будто чуточку уменьшается, становится ниже.

— Но-о! — басом кричит конюх, и моя подруга Машка послушно трогает с места.

Меня переваливает с боку на бок от ее медленного хода, а я готов орать в восторге. Но орать нельзя. Во-первых, стыдно. Стыдно признаться, что я первый раз в жизни еду верхом, хоть и на запряженной в телегу лошади. Орать нельзя еще и потому, что, может, раз в жизни Машку запрягли без битья и криков — грубых, матерных, проклятых криков.

Я дотягиваюсь до Машкиной гривы — боюсь свалиться, а все же дотягиваюсь, — треплю ее шею: спасибо! Хотелось бы погладить твои уши — единственное веселое, что есть в тебе, они шевелятся направо-налево, чутко поворачиваются, настороженно слушают мир вокруг, и хотя слушают с опаской и осторожностью, но двигаются весело — веселые уши.

Возле ворот Мирон кричит: «Тпр-ру!», и лошадь останавливается. Мне теперь не помогают, а слезть красиво я еще не умею. Я сваливаюсь, будто куль с мукой, а поднимаясь, шепчу Машке:

— Извини!

Она фыркает. Отфыркивается от моих слов: мол, какие пустяки! Я смотрю на крыльцо, снова вижу Полю и Захаровну и тут понимаю, что их взгляды что-то означают. Конечно, и поддерживают, ободряют, хвалят меня, но не только.

Сдерживают Мирона?

Он проезжает мимо меня, я кричу ему весело, пропустив его прегрешения:

— Спасибо!

Но он как будто оледенел. Я кричу рядом, и громко, почти в ухо ему, а он ничего не слышит.

Машка доходит до угла, и Мирон вдруг принимается хвостать ее вожжами.

Сердце мое сжимается.

Что за человек? Что за кикимора?

В тот же день, пока Мирон уезжал за детским питанием, я проделал хорошую дыру в стене конюшни. Взял молоток и стамеску из отцовского столярного хозяй-

ства, подтащил лестницу и расширил щель, примеченную днем. Работал я спокойно и хозяйски, ведь эта сторона конюшни выходила к нам во двор. Через дыру можно было даже погладить Машку.

«Форточку» свою я заткнул куском старой пакли, так что и конспирация соблюдена.

Инструмент я аккуратно сложил в положенное место, а лестницу оставил возле конюшни.

Мне все помогало, даже сама природа!

В воздухе уже давно намечались перемены, только пока неясно какие, и вот морозец приуныл, потеплело, зато небо укутали низкие лохматые тучи, похожие на серые домашние тапочки из собачьего меха, и начался настоящий праздник — повалил снег. Да какой! Будто там, в небесной канцелярии, недовыполнили производственный план и вдруг спохватились, открыли все за-слонки. Таких крупных хлопьев я в жизни не видывал. Снег так торопился на землю, что падал не отдельными снежинками, а целыми пригоршнями.

В мгновение все вокруг исчезло: забор, дом и даже конюшня, которая была совсем рядом. Сугробы пухли на глазах, и весь мусор, который наскоблил я стамеской, сперва затушевало, а потом совсем стерло с лица земли. Никаких следов!

Не очень-то я боялся этих следов, но на всякий случай, конечно, неплохо, ведь я не хотел, чтобы про мою «форточку» знал хоть кто-нибудь. Даже мама или бабушка.

А снег валил. И душа ликовала.

Как хорошо, когда со всех сторон тебя обступили снежные стены. Будто ты в белой комнате. Хлопья глушат голос — о-го-го! — звук пропадает в двух шагах от тебя, но тебе вовсе не страшно: ты же дома, на собственном дворе, — и наоборот, интересно, ни на что не похоже, даже как будто уютно.

Я вдоволь поглазел по сторонам, под ноги, над собой — будто упакован в снежную коробку, со всех сторон белые обои, а сверху снежинки несутся прямо в открытые глаза, делается смешно и приятно, — и потихоньку двинулся к забору, проник сквозь него, не спеша, по-хозяйски прогулялся по двору поликлиники и вышел на улицу.

Я хотел подождать возвращения Машки, чтобы принести ей свою расплюснутую школьную булочку. И вообще день выдался длинный, полный разных событий,

тревожных и радостных, но все-таки этот день получался необыкновенным, и я походил на кувшин, переполненный радостью, как водой.

Мне казалось, я один на улице: никого ведь не видно в сплошном снегопаде. И я запел — сперва потихоньку, а потом во все горло, совершенно забыв, что я все же на улице:

— «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки! Тирьям-тирьям...»

Что-то у меня ничего не получалось дальше этой строчки, да и была ли следующая, не знал.

И тут из снежной стены, как в сказке, выступила заведующая поликлиникой с маленьким портфельчиком и, чтобы лучше видеть меня в этой снежной мешанине, склонилась к моей шапке.

— Мальчик, — спросила она удивленно, — где ты подобрал эту песню?

И густой снег и неожиданное возникновение именно заведующей — все это было невзаправдашним, точно во сне, и я, против обыкновения, не растерялся и не покраснел, а ответил громко и внятно, как на уроке, с таким даже воодушевлением:

— В кино, у артиста Михаила Жарова.

Заведующая походила на жирафу: согнувшись почти пополам, она повернула ко мне ухо, чуть прикрыв глаза, мучительно что-то вспоминая. Потом встрепенулась.

— А ты представляешь, как меняют перчатки? — спросила она строго, внимательно разглядывая меня.

— Не! — ответил я с готовностью. — Вот варежки — представляю! — И будто в доказательство того, что действительно представляю, протянул к заведующей свои руки в потертых варежках.

— Ну? — хлопнула глазами длинная тетка.

— А чо их менять? — спросил я. — Видите, еще крепкие.

Заведующая неожиданно фыркнула — ну почти как Машка, так, не разгибаясь, и фыркнула, подумала еще о чем-то, все еще не разгибаясь, потом все-таки распрямилась и двинулась мимо меня вперед. Мне даже пришлось отступить в сторону, в глубокий снег, — такая она была большая.

Заведующая неторопливо проплыла мимо меня и тут же растворилась в снежной стене.

Оттуда она фыркнула еще раз, а я пожал плечами. И вдруг она запела:

— «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки!»

Наступила секундная тишина, и оттуда, где исчезла заведующая, послышался дикий смех.

Она хохотала так, как никто не умел. В принципе ей можно было выступать в цирке и брать деньги за такой дикий хохот.

Мне показалось, что даже снежные хлопья вздрагивали, прижимаясь к земле.

Интересно слушать звуки, когда вокруг ничего не видно.

Стихли раскаты грома — отхохоталась заведующая, не зря говорят: смех без причины — признак дурачины, — а потом я услышал то, чего ждал: звон множества колокольчиков. Сегодня он был не таким, как всегда, еще глуше, еще тише, и я блаженствовал, вслушиваясь в него, пока бутылочки не забренчали совсем рядом. Мимо меня медленно прошла тень Машки, растущеванная снегом.

Я развернулся к дому, представляя себя ледоколом, отважно прорубил ледяные торосы, вытащил дома белую плоскую булочку и не утерпел, откусил кусочек. Белый хлеб волшебным образом таял во рту, но я не давал ему легкомысленно проскакивать в горло, растирал мякиш по нёбу, держал под языком. Он не послушался, все-таки проскочил внутрь. От этой дразнилки захотелось есть. Домашний суп варился на голой капусте, его не надолго хватало, и к маминому возвращению с работы я походил на тигра, не кормленного неделю. Но нет, предательство недопустимо, я уже обещал Машке, да и что будут стоить добрые пожелания без поступков?

Я взял булочное плоское солнце, вышел на улицу, влез на лесенку у конюшни, вытащил паклю, и мою руку сразу лизнуло что-то теплое и шершавое.

— Машка, — прошептал я и стал аккуратно подавать в мягкие, деликатные губы кусочки школьной булочки.

На душе было тепло, и очень помогал снег: мы были вдвоем с кобылой. Я жалел ее, приговаривая ласковые слова, и можно было не стесняться собственной нежности: все стирал бесшумный снегопад.

Настала зима, последняя военная зима, но кто знал тогда это?

Машка сменила телегу на сани, и потихонечку, неза-

метно, работы ей прибавлялось: теперь уже не один, а два раза за утро гонял ее Мирон на молочную кухню за дополнительной едой для самых маленьких малышей.

Я видел лишь это — у Машки прибавилось работы — и жалел ее, вот и все, а мама и бабушка замечали совсем другое — ведь женщины! — и часто про это говорили.

Начинала всегда бабушка, она возвращалась из магазина очень рано, когда я еще не ушел в школу, приходила вся в снегу, продрогшая, отоварив карточки, прижимая к животу сумку с маленькими свертками, но говорила теперь не про еду, а совсем про другое.

— Все больше и больше, — сообщала она, и мама понимающе улыбалась.

Но я совершенно не понимал.

— Чего больше?

— А того! — весело отвечала бабушка. — Женщин с утра у поликлиники все больше и больше. За детским питанием, понимаешь? Значит, детей рождается больше и больше. — Она разматывала платок, снимала валенки, зацепив носком одного за пятку другого. — Видать, к концу война-то, — улыбалась она.

— Твоими бы устами да мед пить, — отвечала мама, грустно вздыхая.

Что война пошла к концу, и младенцу ясно: Левитан каждый день по радио говорит, что мы сражаемся уже не на нашей земле. Гоним фашистов!

Но у бабушки на этот счет свои приметы. Она объясняет маме, а у меня уши на макушке.

— Раненые возвращаются, — говорит она. — Пока раненые — и то уже какая прибавка. — Она смеется и уточняет, пожалуй, для меня: — Прибавка детишек!

Я не очень понимаю ее радость, но твердо уверен: раз бабушка радуется, значит, и вправду хорошо. Она меня никогда не подводит.

— Машке работы больше, — вздыхаю я, а бабушка с мамой смеются:

— Побольше бы такой работы!

Но Машка Машкой, у меня с ней дружба, а есть еще Мирон — вражья сила, как бабушка однажды выразилась.

«Сила, да еще коварная», — добавлю я.

Зима установилась, я встал на лыжи и после уроков гонял на своих обрубых с крутых гор нашего оврага. Пока я катался со средних спусков, дорога у

меня была одна, но постепенно, к середине зимы, мастерство мое возросло, и я стал осваивать самый крутой склон. А он начинался от поликлиники, за конюшней. Так что требовалось пролезть в дырявый забор и пройти по двору поликлиники — только тогда можно добраться до вершины горки. Или еще снизу, из оврага, подниматься вверх, но это уж потом, когда скатишься. Для начала же, для первого спуска, мне удобней всего было пройти через Миронов двор. Я и ходил, вовсе не думая, что лыжи мои оставляют след на снегу и след с абсолютной точностью указывает, кто, откуда и когда двигался на этих лыжах. Двор поликлиники был общий, его пересекало множество разного народу, и мне в голову не приходило, что кто-то станет отслеживать меня.

Я одолел забор, двинулся по двору и увидел Мирона. Он сидел на краю распряженных саней, точно на тропе, оглобли смотрели в небо, как зенитки, курил «козью ножку» и нетерпеливо поглядывал на меня, будто ждал. Я вежливо поздоровался.

Он трех не сорвал, небрежно кивнул мне в ответ, я было уже миновал его, как он спросил неожиданно:

— А ты, поди-ка, пионер?

Я мотнул головой. В пионеры мне ровно через год, пока рановато.

— А батя-то у тебя, поди, большевик? — спросил Мирон.

— Аха! — ответил я не без гордости.

Батя у меня большевик, и на фронт он ушел среди первых, добровольцем, а не просто так. Добровольцем — значит, сам вызвался, это же каждому ясно.

— Молодец, — весело похвалил Мирон, и непонятно было, кого он хвалит, отца или меня.

Я ничего не понял из разговора, а оказалось, напрасно. Только оказалось-то чуть спустя. Спрашивает человек, как ему не ответить?

Я кивнул Мирону, добрался до своей горки — езда у меня уже получалась — и не без задней мысли обернулся на конюха: смотри, мол, сейчас слечу вниз. Я еще улыбнулся ему, простофиля, потер, чуточку приседая, лыжами о снег, чтобы лучше скользили, и поехал.

Явился я домой уже в сумерки, когда мама вернулась с работы. Они с бабушкой стояли возле нашей печки, и я сразу насторожился: обе сложили руки кренде-

лями, лица хмурые, глядят на меня выразительно — с какой-то такой брезгливостью.

Мысленно я окинул прожитый день, тщательно в нем порылся, как в собственном кармане, отыскивая там прорехи и прегрешения, но ничего не обнаружил — деяния мои были святы и беспорочны: дневник украшала крупная, как хороший стул, только в перевернутом виде, четверка по арифметике, потом я заскочил в библиотеку, вовремя ел, катался на лыжах, и вот он я, весь как на ладони.

Мама сдвинула брови, нахмурилась, задала первый вопрос. Я сразу понял: идет серьезное дознание.

— Как ты мог? — спросила мама, а бабушка только вздохнула, будто я уже в тюрьме, и качнула, осуждая, головой из стороны в сторону.

— Что? — спросил я, заливаясь краской.

Да, да! Есть на белом свете безвинные люди — а их почему-то больше всего среди маленьких и честных, — которые при взгляде в упор или из-за какого-нибудь дурацкого вопроса начинают яростно краснеть, просто костром полыхать, и, хоть ни в чем не виноваты, никто им поверить не может по глупой, пусть и древней поговорке: на воре шапка горит. А тут не шапка — лицо. Полыхает — и хоть умри, никогда своей невинности не докажешь.

Я даже потрогал щеки холодными с мороза руками, чтобы остудить их. Это только прибавило уверенности в моей вине.

— А еще ученик! — сказала бабушка.

— Ха-ха, — попытался я успокоить себя, но это было совершенно не убедительно даже для меня самого.

А маме и бабушке этот дурацкий хохоток подтвердил правоту их подозрений.

— Вокруг столько хулиганства! — воскликнула мама, и в ее глазах засияли слезы. — Но от тебя... Неужели и ты! Старому человеку!

Я начинал приходить в себя. Когда непонятно, то легче. Я совершенно не понимал, о чем идет речь, и, таким образом, испытывал унижение.

— В чем дело? — проговорил я фразу, вычитанную в какой-то серьезной книге. Она мне нравилась своей определенностью. Я дал себе слово запомнить ее на всякий случай, и случай этот настал.

На моих родных женщин фраза произвела ожида-

мое впечатление — ряды заколебались. Мама и бабушка поглядывали на меня по-прежнему с осуждением, но руки уже не держали, как судьи, калачиком.

— В чем дело? — проговорил я мягче, вкладывая в слова озабоченность, разбавленную непритворным интересом.

— Что произошло у вас с Мироном? — уклонилась от прямого ответа мама.

С Мироном? Что у меня могло произойти с Мироном?

— Он спросил, не пионер ли я, — пожал я плечами, — а потом спросил, большевик ли отец.

Мама и бабушка переглянулись, и я понял, что дал им пищу для дополнительных размышлений. Они помолчали.

Первой собралась с мыслями бабушка.

— А потом? — спросила она.

— А потом я подошел к горе и съехал вниз.

Ах эти женщины! Не поймешь, откуда что берется! При чем тут Мирон, мое катание, зачем эти обходные маневры — липовая стратегия? Все-таки не зря среди генералов нет женщин. К чему они клонят? И уж клонили бы скорее.

Жар, видно, схлынул с меня. Мне не терпелось добраться до сути их замысла.

— Что дальше? — спросил я, наступая.

— Нет, нет! — Мама протянула в мою сторону вытянутую руку, ладонью точно останавливала меня, мой торопливый бег. — Что было перед этим?

— Я говорил с Мироном.

— А между? — Мамины глаза сверглили, щеки разругались, будто она добралась до главного. — Между Мироном и тем, как ты скатился?

Что там было? Я пожал плечами, но теперь уже совершенно спокойно, не краснея, искренне теряясь в догадках: что там могло происходить?

Я молчал, и вдруг мама, моя дорогая, любимая мама произвела нечто непередаваемое:

— А вот так? — воскликнула она и смешно потрясла, извините, тем, что называют нижней частью туловища, изображая какое-то неприличное, действительно оскорбительное движение.

Я помотал головой. Шарик, то есть глаза, наверное, катались у меня где-то на лбу, рот распахнулся от удивления, и вообще, похоже, весь мой вид выражал

такую неподдельную искренность, такой интерес, такую пораженность, что в маме что-то щелкнуло и переключилось.

— Как, как? — воскликнул я, но в маме уже щелкнуло и переключилось. Она что-то такое поняла.

И тут только до меня доперло. Я все понял! Меня обвиняют в оскорблении, в хулиганстве, в каком-то невероятном грехе, но никто точно не знает, что означает моя непристойность.

Я захохотал, как заведующая поликлиникой, заржал, как сумасшедший конь, я вспомнил, что я делал между разговором с Мироном и тем, как скатиться.

— Я потер лыжами о снег, — сказал я своим прокурорам, — вот так! — И показал на полу, как трут лыжами о снег, чтобы они лучше скользили.

Что тут произошло! Мама и бабушка — теперь уже они, мои дорогие, — вспыхнули от причесок до самых воротничков. Они полыхали ярким пламенем, и им было стыдно передо мной. Такого еще не бывало в моей жизни — обычно стыдиться следовало мне. А теперь стыдлись они.

Первой опаматовалась бабушка.

— Будь он проклят, этот МIRON! — сказала она и даже сделала вид, что плюнула. На самом деле бабушка никогда бы не могла плюнуть в комнате. — Погрешить на мальчонку, это надо же.

— А мы-то, мы! — воскликнула мама, отворачиваясь от меня. — Хороши с тобой!

Это был неприятный вечер. Может, самый неприятный за все мое детство. И мама, и бабушка, и я принимались болтать о чем-нибудь серьезном или неважном, но даже болтовня неловко обрывалась сама собой, и наступало молчание. Выходило так, что не болтовня, а молчание было главным для каждого из нас, казалось, что, и болтая-то, мы молчим и произносим слова только для того, чтобы прикрыть ими молчание, точно голые люди прикрывают тело тряпьем, чтоб не было стыдно.

И подумал, что эта проклятая кикимора МIRON добился своего. Не удалось наказать меня, так он наказал всех троих. И если ему не удалось заставить сомневаться во мне маму и бабушку, то зато удалось заставить меня укорить их, хоть и про себя, за недоверие ко мне.

Да, человеческое коварство многолико и разнообраз-

но. Притворяясь благом, оно ранит людей, сеет подозрительность и недоверие, главных врагов любви. И надо немало сил и ума, чтобы выкорчевать их, эти недобрые ростки, будь они прокляты.

Только уж перед сном все мы пришли в себя, точно кто-то испугнул наши души, и они лишь теперь возвращались на место.

Я лег в постель, мама наклонилась ко мне, поцеловала в переносицу и прошептала, чтоб не слышала бабушка:

— Прости, сынок.

Она ушла в кухню, а ко мне на цыпочках, чтобы не слышала мама, подобралась бабушка и, склонившись, прошептала в самое ухо:

— Бес попутал!

— Бабуш! — прошептал я. — А что это означает?

Бабушка махнула на меня рукой. Я помог ей — засмеялся. Она тоже хихикнула. За дощатой переборкой прыснула мама.

Мы хохотали, прощаясь с прожитым днем, прощаясь с Мироном, его поклепом, глупой доверчивостью женщины и моей возможной неосмотрительностью.

— Старый хрыч! — воскликнула бабушка.

— Старая кикимора! — поправил я.

Насмеявшись, мама сказала задумчиво:

— А ведь не зря он спросил про большевика, чувствует мое сердце!

Доброта обладает опасной властью, заставляя забыть зло. Доброта склоняет к прощению. Но ведь порой прощение — беда. Не для того, кого прощают, нет. Тому, кто прощает.

Поутру Мирон сорвал передо мной свой треух.

— Молодец! — воскликнул он. — Булки не пожалел!

Я содрогнулся: откуда он узнал? Мирон понял мое удивление, разъяснил:

— Накрошили вы с ней маленько. Я увидел.

«Глазастый!» — про себя ответил ему я.

— А вот дырку ты прорубил зря! — жалобно проговорил он. И начал наворачивать: — Дождь зальет, снегу навалит. Опять же казенное имущество — ныне знаешь как строго! Но ты добрый, добрый! Молодец!

Я ничего не говорил, ничего не отвечал, я был желторотым воробьем, возле которого прохаживается кот да ласково мурлычет, — и страшно, и интересно. Выслу-

шав одобрения, смешанные с далекой угрозой, я обошел Мирона, а по дороге в школу, размышляя над его словами, решил по наивности, что ободрения в них все же больше, чем угрозы. Вон сколько раз повторял: «Молодец, молодец», даже по плечу похлопал, когда я огибал его.

На прощание Мирон сказал:

— Заходи к Машке-то, проведай, как захочешь.

«Как захочешь»! Выходит, если верить Мирону, дверь на конюшню теперь всегда открыта для меня.

Я старался обрадоваться, хотел запрыгать от радости, но что-то не радовалось и не прыгалось. Вчерашняя ранка затягивалась не сразу, хотя и затягивалась, должна затянуться: ведь я вроде бы как связан с конюхом.

С тех пор как я прокатился на Машке, а потом свалился с нее кулем, мое положение в школе переменялось: народ наш считал меня лихим всадником — ведь про куль-то я умолчал. И про многое другое в классе не знали. Зато знали всякого такого, что я и сам-то слышал во второй раз: второй от самого себя, в школе, а первый из тома довоенной энциклопедии, которую читал каждый вечер, готовясь к утру.

Нет, что ни говори, а страшная штука — слава. Про Машку-то, про то, что на ней прокатился, сказал единственному Вовке Крошкину — я даже и хвастаться не хотел, просто сказал: «Вчера катался на лошади», но и этого хватило. К середине уроков весь класс уже знал, что я скакал на коне. Рядом, мол, у меня конюшня, вот я и уговорил конюха. Не станешь ведь махать руками и каждому честно объяснять, как было дело. Я сперва помучился, а потом плюнул: невелика беда! Я ведь прокатился? Прокатился! А как потом слезал — не так уж, оказалось, важно для нашего класса.

Только зря думал, что беда невелика.

Теперь каждый день приходилось читать в энциклопедии про лошадей. И не просто читать — готовиться. Почище, чем к урокам.

Каждый день — на перемене или перед уроками — меня теперь окружали люди, всерьез интересующиеся лошадьми. И я должен был им рассказывать, да не просто как-нибудь, а каждый день подавай что-нибудь новенькое, будто я знатный наездник, в самом деле. Или конюх.

Кашу заварил все тот же Вовка. Я ему сказал, что

самые первые предки лошадей были ростом с кошку. Он выпучил глаза, завыл, надо мной издеваясь, изобразил, что падает в обморок, а на уроке — бух! — поднимает руку и спрашивает, верно ли, что когда-то были такие крохотулечные лошадки. А учительница его как обухом по голове:

— Правда. И теперь такие есть, чуть побольше — с собаку. — Еще улыбнулась: — Можно в сумке носить.

Ну и пошло. Вовка весь урок проерзал, на меня радостно косился, а едва звонок прогремел, начал громко приставать: расскажи да расскажи еще что-нибудь про лошадей. Вот я и старался. Да к тому же мне в голову пришло про лошадей рассказывать в форме вопросов — это ребятам очень почему-то нравилось.

— Знаешь, — спрашивал я, — сколько раз надо ее кормить? — Речь, понятно, шла о лошади. И Вовка мотал головой. — Два раза! — чеканил я. — А знаешь, когда?

Вовка или кто-нибудь другой с яростной готовностью мотал головой.

— Утром и вечером.

И теперь уж никто не сомневался в моих словах, не пререкался и не спорил. От частого употребления слово «знаешь» превратилось в «знашь».

— Знаешь, сколько раз поить?

Голова или даже сразу несколько голов мотались передо мной и мне это, скажу честно, нравилось.

— Три! — говорил я.

— Знашь, какие типы лошадей в армии? — Выдержав паузу и приняв мотание голов как дань своему авторитету, я перечислял, прикрывая глаза: — Верховой, артиллерийский, вьючный, обозный... Знашь основной показатель лошади?

Слова я употреблял серьезные, тоже из энциклопедии, но это никому не казалось неестественным, наоборот, я только ярче освещался лучами славы, будь она неладна.

— Аллюр.

— Аллюр три креста! — с восторгом прошептал Вовка слышанное в каком-то фильме.

Я тоже помнил это выражение, но взглядывал на друга с укоризной — экий ты несерьезный человек, мол! — и пояснял:

— Есть быстроаллюрные и медленноаллюрные. —

Я входил в штопор — приступал к высшему пилотажу: — Знашь, какие быстроаллюрные?

Класс — уже весь класс слушал меня — мотал головами.

— Верховые и рысистые... Знашь, какне медленноаллюрные? Тяжеловозы.

Я входил в пике и блистательно выводил из него свой самолет. Я щеголял редкими знаниями, и мало кто понимал, отчего я порой тяжело вздыхаю. А я жалел учительницу Анну Николаевну. Выходило, я, как она, готовился к своим жеребячьим урокам и уже был на последнем дыхании: мой энциклопедические знания кончались вместе с короткой статьей в пухлом томе. А учительница — как она? Говорит всегда интересно, все помнит и знает. Может, ночами не спит, готовится?

Кроме этого, я думал о Мироне. Ссориться с ним, выходило, нельзя. Кончится энциклопедия, что говорить стану? Придется ведь к нему идти!

Ясное дело, о него и обжечься можно, что там я — вот Поля с Захаровной от него маются, близкие его, опять же он хозяин Машки, и если лошадь меня нитересует, то я тоже что-то сделать должен, чтобы у него доверие заработать.

Но вот как?

Он приглашал меня — ласковый стал. «Заходи да заходи». Я заходил в конюшню пару раз, но неуверенно, с неловким чувством, вроде как прихожу на правах гостя. А мне хотелось прав других — хозяйских.

Однажды меня осенило. Шел из школы прямо по дороге — тротуаров в войну не чистили, — и озарило!

Лошадей было в городе много, я уже говорил — главный транспорт, а транспорту требуется заправка, то есть сено, и вот это сено без конца возили по улицам — обозами или на одиночных подводах. А когда сено везут, оно, как ни старайся, потихоньку падает — клочками, побольше и поменьше. И я решил собрать для Машки сенца с дорог.

Бросил дома портфель и допоздна бродил по улицам — накопил маленький пучок. Сразу Машке не понес, сложил возле конюшни, решил: тут будет мой стог.

Когда бродил по улицам, улыбался своему сравнению: вот Машка возит дополнительное питание маленьким малышам, а теперь я ей соберу дополнительное питание. Я думал еще о том, что, когда соберу внушительную копну, Мирон непременно меня зауважает.

Именно такой поступок он может и должен по достоинству оценить.

Не раз и не два видел я, как старухи, женщины и даже девчонки подбирали это дорожное, ничейное сено, всегда еще думал: кому оно? Спросить их самих — не хватало любопытства, а теперь вот и мне потребовалось сено.

Собирать клочья надо было с толком, в какую-нибудь сумку, а я приспособил собственный портфель. Гнал домой, выкладывал учебники и тетрадки и шел по городу, бдительно осматривая дорогу.

Удивительное дело! Как только начинаешь заниматься всерьез чем-нибудь даже очень простым, выясняется много такого, чего ты вовсе и не предполагал. Например, уже дня через три я понял, что город делится на участки — да, да! По улицам, которые ближе к реке, бродила бровастая девчонка в пуховой шапке, которая кончалась длинными, до пояса, ушами с розовыми колбочками. Щеки у девчонки горели цветом пуховых помпошек, а черные глаза под черными бровями при моем появлении настораживались. В левой руке она держала небольшой полотняный мешок, а в правой веник. Веником черноглазая подметала дорогу, сгребала в кучку все травинки и бережно укладывала в мешок.

Сперва, заметив девчонку, я повернул просто так, не желая ей мешать, а на третий раз понял: да это же ее участок!

На улицах, дальних от реки, хозяйничала старуха в фетровом малиновом капоре, из-под которого виднелся белый платок. Старуха, видать, была побогаче, ходила без венка, наклонялась только за клочьями, и та девчонка с берега могла бы тут немало намести.

Так что у реки была девчонка, возле поля — старуха, на горах, которые окружали наш овраг, еще две старухи, и я, оказалось, действовал в окружении. Хорошего тут мало, и я решил перейти в наступление, прорвать кольцо. Нелегко прорывать окружение, когда вокруг враги. А когда не враги? Не друзья, но ведь и не враги...

Я начал атаку с девчонки, все-таки легче. Пошел в ее сторону. Наверное, она тоже сметала сено после уроков — еще издали увидел пуховую, круглую, как шарик, голову.

Заметив меня, девчонка выпрямилась, глаза ее вновь насторожились. Мне, конечно, следовало подумать, как

прорывать окружение, подумать с толком, а не лезть нахрапом на чужую территорию. Но стратегия в моем шарабане позабыла про тактику, и на кончике языка у меня болталась одна-единственная заготовленная фраза, которую я должен оказать, если девчонка начнет задираться. Фраза была такая: «А чо, твоя, что ли, улица?»

Круглоголовая и черноглазая стояла, выпрямившись, напротив меня — в одной руке мешочек, в другой ве-ник, — глядела настороженно, и мне пришлось обойти ее, потому что стояла она прямо посреди дороги. Когда я ее обошел и, таким образом, прорвал окружение, она сказала с неожиданной заботой в голосе:

— Да там пусто, я все вымела!

Вот она, победа тактики. Прорываться, конечно, можно, только надо точно знать — зачем. Я споткнулся и засопел, не зная, что делать, чувствуя себя последним болваном. А девчонка спросила, улыбаясь:

— У тебя кто?

Я не понял, и она уточнила:

— У нас кролики, а у тебя кто?

— Лошадь, — пробормотал я в смущении.

— Не может быть! — ахнула девчонка. — Ты не шутишь?

— Какие тут шутки!

Я развернулся к своей территории, а девчонка воскликнула мне в спину, искренне пожалев:

— Бедный! Сколько же ей сена надо!

Я поежился. Она подумала, что лошадь в самом деле моя и весь корм для Машки я собираю на улицах. Действительно, можно пожалеть.

В общем, прорыв окружения пользы не принес, и я решил заняться разбоем.

Надо признаться, это был шаг отчаяния. Энциклопедический источник иссякал, я приступил к самому трудному: учил названия пород, а это было все равно что учить иностранный язык. С трудом выговаривал я незнакомые звуко сочетания, означавшие разновидности лошадей: брабансон, нершерон, клейдесдаль, арден.

Из такого сложного штопора можно было и не выбраться, я рисковал не чем-нибудь — репутацией, а репутация, как известно, дается человеку только раз в жизни. Привяжется с самого детства к тебе слава, что ты шалопай, или враль, барон Мюнхгаузен, или что тебе верить нельзя — наобещаешь и не выполнишь, или что

ты тупица, ни черта ни в чем не понимаешь, так ведь и до самой старости от такой репутации не отмоешься. А если отмоешься, все равно рано или поздно встретишь своего одноклассника, может, уже седого, хромого, старого, обрадуетесь друг другу, приветливо поговорите о том о сем, а разойдясь, подумаете с подозрением друг о друге — ты о нем: «Ведь был враль, неужели таким и остался?» А он о тебе: «Был когда-то шалопай, вот небось все от него стонут».

Нет, что ни говори, репутация — серьезное дело, к ней серьезно с детства надобно относиться, чтобы, встретив друга, подумать о нем: «Хороший парень был, честный, слов на ветер не бросал». А он чтобы при этом подумал: «Этот человек честный, никогда не соврет, скорее умрет!»

В общем, энциклопедические знания о лошадях иссякли, точно струйка в кране, если лопнул водопровод, а репутацию с детства испортить — страшное дело, и я решил, собирая сено, использовать крайние меры. Вот в чем они заключались.

Когда двигались сани с сеном, возчик обычно сидел наверху, на самом стогу, или шел рядом с возом. Но ведь он мог идти лишь с одной стороны, не так ли?! Вот и получалось, что второй бок лохматой, вкусно пахнущей горы не защищен и его можно атаковать. Правда, при этом следовало обеспечить пути отступления — на всякий случай. Лучше всего вылететь из-за укрытия, например из-за угла дома с проходным двором. Лошадь с возом идет медленно, равняется с тобой, ты вылетаешь из укрытия, отдираешь клоч сена от бока и тем же манером исчезаешь во дворе. Чуть что, можно пробежать двором и выскочить на другую улицу. Вообще такие случаи были, когда извозчики гонялись за похитителями сена. Но только в одном случае: если шел обоз.

На обоз лучше не нападать. Обоз движется под охраной. Сверху бдительные наблюдатели, а по бокам возле обоза или, того хуже, за каким-нибудь возом топают пешком старики или парни, а уж в хвосте непременно один или два обеспечивают охранение. На обоз нападать рискованно, хотя, говорят, нападали отчаянные мальчишки — у кого матери козу, например, держали или еще какую живность, — но они нападали группой. Я же действовал в одиночку, тайком ото всех, даже от Вовки Крошкина.

Ох, как дрожала моя душа, когда я в первый раз

атаковал воз: еще немножко, и задохнусь собственным страхом. Лошадь поравнялась, я выскочил из укрытия, подлетел к сену, вцепился в бок шуршащей горы, дернул на себя — не тут-то было! Сено оказалось плотным, уложенным добротнo, я растерялся, затрепыхался, спасительное укрытие оставалось позади, а я со своими силенками никак не мог вытянуть нужную мне охапку. Видать, ухватил больше, чем мог выдрать.

Мгновение — или вечность? — я боролся с сеном, наконец повис на нем всем телом, отодрал солидный клок, упал в снег, но тут же вскочил и драпанул через сугроб к укрытию.

Это был рискованный ход — отступать по сугробу, и я потом всегда убежал по тропкам, благо их было много натоптано в городе, где все — пешеходы.

Возчик даже не шелохнулся. Его фигура, укутанная в тулуп, напоминала сноп, но сноп был объят паром, дымом, будто рядом с лошадью двигался какой-то странный паровой механизм.

За неделю я наразбойничал немало сена, оно грудилось возле конюшни небольшим стожком, и настал миг, когда я решил преподнести его Машке — конечно же, в непременноm присутствии конюха.

Мечтая об этом, я, как часто со мной случалось той счастливой порой, крепко фантазировал. Мне меньше всего хотелось события прозаического — приволок сено, охапкой больше, охапкой меньше, что толку? Машка все-таки не голодала, и я мучительно изобретал, как бы преподнести свой подарок поэффектнее, позаметнее.

И придумал.

Я решил сделать сенный торт. В бабушкином хозяйстве были шелковые нитки для вышивания под ласковым названием мулне. Вообще-то нитки тогда ценились чрезвычайно, на рынке катушка обыкновенных черных или белых ниток, как и игл, стоила больших денег, и я, понятное дело, знал об этом, как знал и о том, что бабушка планирует какое-то грандиозное вышивание нитками мулине — нечто невероятное, потрясающее, может быть, даже целую картину, например на подушке. Ты, допустим, ложишься спать, а у тебя под головой картина Шишкина про медведей, и тебе во сне начинает сниться этот лес и эти медведи, только в живом виде, ты не знаешь, куда от них укрыться, тебя бросает в пот, и потому не так, например, холодно, если дело происходит зимой и печка сегодня была не топле-

на из-за отсутствия дров. Вот такие эффекты от вышитой подушки.

Это, конечно, шутка, я эту шутку выдумал сам для себя, чтобы оправдать собственный поступок, взять у бабушки мулне зеленого цвета и увериться в том, что вышивать подушки — не такое уж значительное дело. Во всяком случае, по сравнению с тем, которое готовил я.

А я придумал торт для Машки. Утоптал сено таким кругляшом, связал его — немало попотев, кстатн, — зеленой ниткой мулне, ее в зеленом сене совершенно не видно было; я истратил целый моток, но сварганил кругляш, который хоть на одной руке неси — такой он красивый и выразительный.

Потом я выждал, когда во дворе поликлиники появился Мирон, одолел забор и, возложив сено себе на голову, двинулся к конюшне.

Может, это было не очень прилично, да и отношения с Мироном такого, в общем, не позволяли, но очень уж эффектным оказался мой торт, и я не удержался — затрубил марш.

Мирон насторожился — не понял сперва, что это к нему движется, — потом разглядел меня, покачал головой: неясно, то ли одобряя, то ли осуждая.

Я свалил сенный торт с головы, чихнул от него три раза и проговорил:

— Это Машке к дню рождения!

Мирон крякнул, словно его кто под дых ударил.

— К дню ангела, значит?

Он помолчал, потом часто-часто задвигал бородой. Оказалось, смеется. Но так, словно смех свой под бороду прячет

— К дню ангела, — подтвердил я.

— А сено-то, — все двигая бородой, не спросил, а как-то гортанно выкликнул он, — а сено-то где взял?

— Да на дороге, — махнул я рукой: дескать, велика ли забота? — За обозами подбирал.

Он перестал трясти бородой, уставился на меня рачьими вытаращенными глазами, будто на сумасшедшего, начал, как попугай, переспрашивать — все не верил:

— Подбирал?

— Ну!

— Так вить скоко!

— Ерунда!

— Ну и ну!

Что-то с ним происходило, что-то бурлило, кипело в нем, как в когле. Я и раньше замечал, что руки у него всегда дрожат — поколи-ка столько дров! — но теперь они просто тряслись. Конюх держал в руке «козью ножку», свернутую из газеты, и дымок выписывал в морозном тихом воздухе витую нить.

Мирон взял кнут и — я даже вздрогнул от неожиданности — хвостнул им по снегу. Снежная пыль взметнулась в воздух.

— Надо же! — сказал он хрипло. — Это надо же! — И опять хвостнул снег, будто злился. А говорил совсем другое: — Ну, молодец! Это надо же!.. Надо же!..

Я не знал, что делать: рассмеяться или убежать? Страшновато делалось от таких похвал.

Он бросил кнут и подошел ко мне. Я разглядывал конюха снизу вверх, разглядывал его серую бороду, красное от морозных ожогов и солнца морщинистое лицо, рыжий треух, затасканную телогрейку — сильного, злого, непонятного великана — и думал, как бы вильнуть в сторону, отойти от него, а если потребуется, драпануть. Но конюх вел себя смирно, лишь оглядывал меня сверху вниз с таким же, как я его, непониманием.

— Неужто, — спросил он вдумчиво, как бы удивляясь, — ты так крепко лошадь любишь? Ведь ты городской!

Я хмыкнул — разве не ясно? — но не выбрал никаких слов ему в ответ, просто хмыкнул и пожал плечами.

Он отшагнул от меня, повернулся боком, точно открывая дорогу, и проговорил дрогнувшим голосом:

— Ну, поди к ней! Поди!

Мирон будто нарочно оставил нас вдвоем.

Машка, увидев меня, шумно вздохнула — пожаловалась на судьбу. Я протянул вверх руку, погладил ее за ухом, как собаку. Собаке это нравится, а лошади не понравилось — она потрясла головой, отряхнула мою руку. Но Машка была кобыла деликатная, чтоб я не обижался, она вдруг сунула мне за воротник свою морду, будто хотела меня приласкать, а я от такой ласки расхохотался. Влажные, чуткие, бархатные ноздри щекотали шею.

Я был счастлив. Ведь Машка играла со мной! И что она еще выкинула! Взяла меня за козырек меховой шапки — а он то отгибался, то загибался, бабушка всегда ворчала, что я этот козырек все отрываю, сколько

она ни пришивает, — так вот кобыла ухватила меня за этот козырек и пожевала его! Да с такой силой ухватила, что и меня вместе с шапкой к себе подтянула!

Я захохотал в полный голос и упал прямо в свой санный торт, а когда пришел в себя, мне показалось, Машка тоже улыбается.

Лошади ведь не умеют смеяться, и она улыбалась одними глазами. И кивала мне головой!

На смех пришел Мирон, и я сделался серьезным. Настала пора приступать к делу.

— Дядь Мирон, — обратился я вежливо, — а какой она породы?

Конюх пожал плечами.

И я тогда спросил:

— Может, першеронка?.. Арденка?.. Брабансонка?..

Мирон разглядывал меня, пораженный.

— Это чего? — спросил он, и я зарделся.

Кто же знал, что между теорией и практикой лежит бесплодная пустыня неуверенности и надо еще немало сил, чтобы одолеть эту пустыню.

Потоптавшись, я показал на Машкины копыта.

— Дядь Мирон, а не больно?

— Чего? — не понял он.

— Когда куют?

Он засмеялся. Это было понятнее, чем мудреные слова, которые я сам едва выговаривал.

— Гвоздями? — спросил я.

— Вот экими! — Он показал половину желтого прокуренного пальца, похожего на крепкий сучок. Ничего себе гвоздик! — У нее копыто, как у нас ноготь, понял? Ноготь режешь, ведь не больно! Гляди! — Он постучал Машку по ноге, заставил ее согнуть колено, отер рукавом блестящую подкову.

— А вы подковать можете? — допытывал я.

— Не-е! Конечно, мудреного ничего нет, но знаешь как? — Он сказал слово «знаешь», будто я в школе. Но теперь уже я, точно ослик, замотал головой. — Неправильно подковать, — Мирон, словно учитель, махал указательным сучком в такт своим словам, — все одно что сапоги не своего размера надеть. — Вот разговоришься! Первый и единственный раз видел я конюха таким разговорчивым. — Ноги разобьешь — далеко не уйдешь.

Я слушал с распахнутым ртом — самый примерный ученик.

— Это в кузне, — закончил он, — кузнец делает. Мастер.

И умолк. Но ненадолго.

Запрягая Машку, чтоб отвозить бутылочки, сказал:

— Сейчас сам править будешь!

Нет, это был самый странный человек из всех, кого я знал и прежде и потом. Видно, ему не давала покоя какая-то навязчивая мысль, а вернее, непроходящая обида; она и заставляла его жить как в кукольном театре — не жить, а дергаться. Обида клокотала в нем, угнетала его самого, делая рабом невидимой и неизвестной людям страсти.

Мне казалось — уже потом, взрослому, — он жил обычными чувствами лишь считанные минуты, потом отчаяние опять захлестывало его, и он снова становился самим собой: нелюдимым, беспричинно жестоким волком.

Несчастный или злобный взрослый не так очевиден другому взрослому своей несчастливостью или злобой — он маскируется, прячет себя. Детей не таятся. И неясное взрослому прекрасно известно ребенку. Все дело лишь в том, что он не умеет обозначить словами и даже мыслями видимое ему. Но потом, со временем, становясь взрослым, человек без конца возвращается в детство, прилагая ум и знания к тому, что давным-давно лишь только почувствовал. Смыкаясь, прошлое и настоящее дают понимание. То, чего так недостает детству.

Я ничего не понимал!

Да и как это можно понять?

Он запряг Машку, выехал на улицу и — о, блаженство! — отдал вожжи мне, а сам пошел следом за саними. Если бы что случилось, он не смог бы помочь мне. Но это означало только одно: он не боялся за меня, нелюдимый конюх Мирон! Вручал хозяйские права.

Сначала я сидел невероятно напрягшись.

В вытянутых, одеревеневших руках держал я вожжи, спина немела, и даже ноги превратились в железные кочережки и ничего не чувствовали. Каждое мгновение я готов был потянуть вожжи на себя, закричать басом на Машку «тпр-ру», и мне в голову не приходило, что крик мой будет таким же грубым, как у конюха.

А он шел позади и изредка подавал мне советы:

— Руки-то опусти!.. Спину-то согни, обессилелш!

Через квартал я чувствовал себя уверенней, мне все улыбалось: и солнце, и удача. Одолев квартал, я увидел белый шарик с розовыми помпошками. Черноглазая даже остановилась, чтобы разглядеть меня получше, и я ей крикнул:

— Привет!

Машка фыркнула, присоединяясь ко мне, и девчонка улынулась в ответ. Теперь она знает, что я ее не обманывал. Крошкин бы еще попался! Но Крошкин не показался. Зато на углу стояла бабушка. Она, конечно, не стояла, а шла, но, увидев меня, обмерла, остановилась будто вкопанная. Представьте себе: стоит старушка, прижала к животу сумку с продуктами, и, пока я еду мимо нее на лошади, она поворачивает голову вслед за мной. И молчит. То ли поражена, то ли не хочет конфузить меня перед конюхом.

Я проводил бабушку глазами и увидел, как Мирон приподнял перед ней свой мохнатый трех.

Пустые бутылочки колотились у меня за спиной тысячу колокольчиков, я блаженствовал, доверяясь лошади, и думал с укором: «Ну ведь идет же Машка без всякого кнута! Зачем ее бить? Да надо сломать этот кнут, порвать ремень с большим узелком на конце, вышвырнуть его вон! Ведь ты же можешь быть добрым, Мирон, ну, пусть не добрым, так хотя бы нормальным. Как сейчас!»

Да, детство доверчиво, а доброта обладает опасным свойством забывать зло.

Знал бы я, чем ответит конюх на мою доверчивость!

Вечером обнаружилась пропажа ниток с нежным именем мулне и произошло обсуждение моего извозчичьего дебюта.

Кажется, вся жизнь мамы и бабушки в эпоху моего детства начиналась и заканчивалась единственной мыслью: как уберечь меня от дурных влияний. От улицы, плохих людей. От влияния отдельных личностей из нашего класса и таинственных злодеев всего мира. На эту тему говорилось много и охотно, с обращениями ко мне, укорами и назиданиями и просто так, в воздух, как бы насыщая даже самую атмосферу грозными мыслями о легкой возможности сбиться с правильного пути.

Что и говорить, Мирон пил, матюгался, бил лошадь и вообще был раскулаченным кулаком, а тут еще моя

необъяснимая любовь к кобыле и всем лошадям — словом, возможность инфекции, как порой выражалась мама, возматала во много крат. И вот на тебе! Я сижу на облудке, понукаю Машку. Это же за просто так не происходит. Значит, Мирон остался доволен мною почему-то.

Почему? Мама и бабушка аккуратно, но каждая на свой манер, пытались вывести ответ на этот единственный вопрос. А я не сознавался. Рассказать про сено для меня, простофили, означало рассказать и про мулине — будто одно нельзя отделить от другого, — а я этого не хотел.

Мы окружили стол: я читал книгу, мама гладила белье, а бабушка перебирала свои узелки и коробочки — искала зеленое мулине.

Время от времени она спрашивала маму — уже, пожалуй, в двадцатый раз:

— Ты не видела зеленое мулине?

И мама в двадцатый раз, терпеливо, чтобы подать мне положительный пример, отвечала своей маме:

— Нет, не видела.

— Я прямо остолбенела! — в двадцать пятый раз восклицала бабушка, и я был снова и снова готов слушать это восклицание: оно мне нравилось. — Погоняет лошадь! Понукает, как настоящий извозчик!

В бабушкиной интонации удивление смешивалось с примитивным женским испугом и тонким педагогическим неодобрением. Подразумевалось таким образом, что обо мне — извозчике — можно было говорить только в шутовском понимании слова.

Воспитывать, кстати говоря, можно по-всякому. Можно произносить укоризненные слова, а можно и молча — вздыхая. Бабушка говорила, изыскивая все новые интонации, а мама вздыхала с одной и той же силой, но очень методично и настойчиво. Я должен был понять, что ей тоже решительно не нравится поездка под руководством Мирона.

Перед сном, поправляя мою подушку, мама сказала, еще раз вздохнув:

— Держался бы ты от него подальше.

Мама — провидица. Она точно в воду глядела.

Днем, меньше чем через сутки после моей поездки на Машке, у дырчатой границы, которая отделяла наш

двор от поликлиники, Мирон разыграл мерзкую сцену.

На нашей территории в снегу лежали четыре полена. Они были разбросаны как-то очень интересно — вроде бы цепочкой. Будто кто-то их растерял, эти четыре полена. Таскал торопливо большие охапки и впопыхах растерял.

Я вернулся из школы в самый разгар ругани. По нашу сторону стояла простоволосая бабушка в пальто, накинутом на плечи, а во дворе поликлиники с противным привизгом орал Мирон.

Я сразу понял, что он набрался, — а ведь пьяным он был особенно жесток, — и я испугался за бабушку. Надо ли говорить, что сразу, еще не узнав, в чем дело, я оказался не на его, а на ее стороне.

Конюх не выбирал слов. Раньше его ругань всегда обращалась к предметам неодушевленным, например к дровам, или к существам безответным — кобыле Машке. А тут родная бабушка!

— Я вот на тебя заявлю, трах-тарарах! — блажил он. — Весь народ воюет, а ты дрова ворует! Да и пацаненка приучаешь, бум-перебум! Вон он какую дыру в конюшню разворотил!

Перепалка шла по всем правилам искусства, а настоящие крики — это такие, когда все кричат и никто никого не слушает.

— Народ-то воюет, — с достоинством, какое, конечно, возможно в таком крике, отвечала суровым голосом бабушка, — да ты-то отсиживаешься, кулацкая рожа! У самого душа черная, и нас замарать хочешь? Не выйдет! Придумал! Подбросить свои поленья!

— Вору! → орал Мирон. — Народное имущество тянут!

— Да мы с голоду помрем, — отвечала бабушка, размахивая указательным пальцем, — а ничего чужого не тронем!

Мирона за рукав тащила его жена Захаровна, он отмахивался от нее, выдергивал руку, потом толкнул ее, на секунду отвлекшись от ругани. Захаровна упала.

Я увидел, как затряслась ее плечи, она поднялась с трудом, сперва на колени и только потом на ноги. Одну руку Захаровна протянула вперед, к Мирону, что-то шептала ему, но он и слушать не хотел, орал, пошатываясь, изнемогал от лютой, звериной ненависти. Чего-то ему не терпелось еще сказать, такое важное, из-за чего он и распалил этот сыр-бор, но к этому важному следо-

вало еще подойти, подобраться, отыскать причину. И он наворачивал!

— Растуды-туды-сюды! Дети в поликлинике мерзнут, дров не хватает, а они, ишь ты, поленья через забор тягают. Вот заколочу забор-то!

— Заколоти! — отвечала бабушка. — Давно мечтаю!

— Ох-переёх, небось и дыру в конюшне провертели не случайно, лошадь отравить хотите!

Я уже смеялся, просто хохотал, надрывал живот, даже портфель в снег бросил. Ну, вражья сила, чего выдумал!

Мирона мой смех точно подстегнул, он завизжал с новой яростью:

— Да я на вас в суд! Думаете, большевики, дак все дозволено?

Может, он из-за этих слов всю склоку-то с дровами затеял!

Захаровна подбежала к Мирону, дернула его из всех сил за руку, но он опять отмахнулся, а дергала его Захаровна не зря: на крылечко вышла заведующая поликлиникой. Я едва узнал ее — она была в белом халате и очках, строгая и опасная.

Она постояла всего минуту, только минуту послушала крики конюха, но ей и этого хватило.

— Миро-о-он! — проговорила она властно.

Тот сейчас же обернулся и уже открыл рот, чтобы повторить свои гнусные обвинения, но заведующая не дала ему сказать.

— Миро-о-он! — повторила она ему и добавила, как отрубила: — Брось! Дурака! Валять!

— Дрова воруют, — начал было он, а заведующая снова, только еще требовательнее, сказала ему:

— Брось дурака валять! И прикуси язык!

Конюх повернулся и пошел, Захаровна тотчас схватила его за руку. Он больше не вырывался. А я подумал про Кошю Бессмертного. Погибель его была в сундуке, в утке, в яйце, на конце иголки. Не знаю, погиб ли, но вот страх Миронов — это точно — хранился у этой большой заведующей. Два слова — и укротила, так просто ведь это не бывает.

Еще я вспомнил печную кикимору: скрипит, будто скрежещет зубами от злости, ухает и воет, пугает людей.

Кикимора этот МIRON, больше никто.

Конечно, можно терпеть обиды, сглатывать их вместе с комком, который к горлу подступает, только обиды обидам рознь.

Мучил меня конюх обидами, а я все старался забыть, думал только о Машке — самолюбие свое прятал в карман, не хотелось мне подозрительно жить, подозрительно по сторонам глядеть, пусть даже на Мирона. Но ему все трын-трава, значит, я для него пустое место, ноль, и эта доброта его, когда я Машкой правил, — минутная доброта, а минутной доброты не бывает. Не должно быть. Если доброта на минуточку, значит, все остальное время — жестокость! Или безразличие, по крайней мере.

А жестокость — она жестокость и есть.

Про обиды речи теперь у нас не было. Речь шла о войне — войну объявил нам Мирон. Бабушке, маме, мне.

— Ну, подожди, — повторяли мы по очереди, потому что всеми нами владела одна-единственная мечта. — Ну подожди, придет с фронта отец, он тебе задаст!

Я сам не замечал, как сжимались у меня кулаки, когда я думал теперь про Мирона. Мы что — две женщины да мальчишка, слабые люди против него. Сила ломит и соломушку, нас и оболгать можно, обвинив в воровстве дров, но вот подожди, придет настоящий мужчина с войны, что ты ему ответишь, темная сила, печная кикимора?

Дикая злоба конюха и Машку у меня отняла: дыра моя уже наутро оказалась накрепко заколоченной изнутри, и я опять говорил с кобылой лишь через стенку.

— Ничего, Машка, — говорил я, поглаживая доски конюшни, — придет отец, он и за тебя отомстит, за все твои муки.

Война, тяжелая война шла у нас с Мироном. Не сговариваясь, и я, и бабушка, и мама отворачивались, когда он понадался навстречу, старались не вспоминать о нем и дома, будто он испарился, исчез с лица земли. Мы мстили конюху своим презрением, своим молчанием, тем, что вычеркнули его ничтожную фигуру из наших разговоров, но это не было капитуляцией или поражением. Напротив, каждый шаг приближал наступление.

Наверное, бабушкина душа, как и мамина, с трудом переносила это тягостное затишье. Я сужу по себе — я страдал.

Задумываясь о Мироне, сжимая кулаки, я вообра-

жал, как отец возвращается с фронта, и первое, что мы делаем, — собираемся все вчетвером — папа, мама, бабушка и я, — отец, конечно, впереди, грудь в медалях, мы пролезаем в наш дырявый забор и подходим к конюху.

Он в ужасе пятится назад, спотыкается, непременно падает, и тогда отец могучей рукой поднимает его с земли, берет за ворот и начинает трясти, да так, что борода у Мирона прямо летает, зубы клацают, а глаза наливаются жутким страхом.

Дальше моя фантазия, бурная обычно, отчего-то угасала. Отец трясет конюха, тот кричит в ужасе: «А-а-а!» — и дальше все пропадало, стиралось. Но может, этим и должна закончиться праведная месть: пусть трясется, не убивать же его в самом деле.

А зима никак не кончалась, как не кончались бои. Отец писал утешительные слова, которые никого не утешали: ведь там, на фронте, летали миллионы пуль и снарядов!

Отец, отец! Я до сих пор, давно став взрослым, не знаю, где ты был в тот-то и тот-то день такого-то далекого месяца, что делал утром или вечером: держал винтовку, лежал в окопе, ел кашу из котелка или, может, жизнь твоя в такой-то и такой-то час была куда спокойнее — в тыловом охранении или на отдыхе, — много я не знаю про тебя, ведь нельзя же рассказать про каждый час жизни; это значило бы прожить другую жизнь, заставить прожить ее сына, жену, близких.

Да, это невозможно — знать каждый миг другой жизни, все верно, но как я хотел знать этот каждый миг, как я желал всей своей ребячьей душой, чтобы всякий миг облетала тебя пуля, не трогал осколок, не прикасалась беда и боль.

Можно верить, нужно верить! Можно и нужно верить, что с твоим отцом ничего не случится в том крошечном аду, но сколько видел я, как бьются в слезах мои малолетние дружки, как дрожат худенькие мальчишечьи плечи в неутешном плаче — они ведь тоже верили и ждали, да слабая выходила эта защита — вера и ожидание.

Не раз и не сто, вдруг среди дня, среди смеха или среди ночной темноты я, обмирая всем телом, думал об отце и молил, молил все силы, какие лишь есть на белом свете и там, за пределами белого света, в звездной, торжественно-тихой тьме, — молил старушечьями, от

бабушки услышанными словами: «Сохрани и оборони, не дай потеряться, истаять, пропасть! Сохрани и оборони, потому что без тебя, папка, ничего не получится, не выйдет. Да без тебя просто нельзя — это разве трудно понять? Сохрани и береги!»

Пусть летит беда мимо, пусть будет все что угодно, только не это, что и словами-то страшно назвать!

Сохрани и береги!»

Я думаю теперь, на уроках я бледнел в такие минуты, едва не терял сознание от своей страстной мольбы, отдавал все силы свои и весь свой дух главному желанию. Это случалось не с одним мной. Когда отходил, возвращался в жизнь, не раз проваливался я в бездны бесконечных детских взглядов. Под пыткой бы не признался никто из нас, о чем он думает в этот миг. Такие мольбы слышны одному, а другие здесь лишние: у каждого свой отец.

Я представлял, как батя держит за шкурку Мирона, но в леденящие минуты заклинаний, чтобы отец остался жив, отгонял это видение, как сглаз, как наваждение: да будь он неладен, конюх. Только бы! Только бы!

Большое желание не разменивают по мелочам. Я мог насолить конюху и без отца.

В ту пору был развит такой спорт. Загибали железную проволоку, накручивали коньки — конечно, не такие, как теперь, — прямо на валенки, и на улице цеплялись за какой-нибудь транспорт: за лошадь или за редкую машину.

Когда цепляешься за машину — жуть берет. Несешься — аж снег летит. И тут важно, чтобы дорога была накатанной, и лучше всего, зацепившись, ехать позади и чуть рядом с машиной, чтобы видеть дорогу.

Когда по главной улице пер грузовик, у него на хвосте катилось пацанов десять самое малое. Если не хватало места, ухитрялись сделать так: тот, кто зацепился своим крючком, другой рукой держал еще один крюк, и за ним несли еще один мальчишка. А за ним еще, целый состав.

Милиционеров было мало, все теткли, гоняли нас вяло — разве угонишься за пацаном на коньках? А если и угонишься, что с ним делать? К матери вести? Она на работе. В милицию вызывать? Так чем она поможет, коли днем-то ребяшня все равно сама по себе.

Честно говоря, я машин боялся. Были жертвы. На коньках требовалось стоять мастерски. Если машина затормозит, можно по инерции укатиться вперед, под колеса. Были у нас ветераны войны школьного возраста — однорукие и одноногие мальчишки, неумелые ездки за машинами. А сколько разбитых носов и шишек! Ведь даже если машина просто съедет с накатанной дороги на снег, можно очень даже запросто пострадать — коньки вгрызаются в мягкий наст, на скорости летишь носом вперед. Вот я и боялся машин. Даже без бабушкиных и маминых нравоучений обходился — сам видел, что к чему. Цеплялся к лошадям, точнее, к саням.

Нельзя сказать, чтобы это уж совсем безопасно. На каждом возу извозчик с кнутом — бережет силы своей лошади; зацепился, так гляди в оба, чтобы ни секунды промедления. Иной какой взрослый паренёк и без кнута обойдется — соскочит с саней, догонит неумелого конькобежца и надаёт тумаков. Так что и на малой скорости хлопот не оберешься. Удовольствие и страх соревнуются между собой.

Я вначале обходил его подводу, отворачивался в сторону, не замечал злобного врага. Но в том-то и дело, что он был злобным. Другой извозчик хлопнет кнутом для острастки — ребята отцепятся тут же, а этот целил. Будто воробьев лупил.

Сидит тихо, для обману голову склонит, будто спит, потом хрясь — и какой-нибудь пацаненок летит с воем в сугроб, а пальтецо его распорол Миронов кнут.

В нашей округе даже ходила молва, что этот бородастый извозчик заливает в конце кнута свинцовый набалдашник, что просто так пальто, даже худенькое, не располосуешь, что за бородастого лучше не цепляться.

Уличная горка не любила и боялась Мирона. И я бросил вызов.

Уроки стратегии без сочетания с тактикой кое-чему научили меня. Допустим, соображал я, мне удалось прицепиться. Что дальше? Какой толк, если он огреет меня? Надо сделать так, чтобы позлить его как следует и при этом остаться невредимым, это раз. А во-вторых, какой я друг кобыле Машке, если стану для нее лишним грузом?

Я придумал.

Для Машки — цепляться только тогда, когда они едут с горы. Для Мирона — чтобы позлить его — раз-

добыть длинную цеплялку. Так, чтобы кнут не достал меня.

Это было не такое простое дело — достать длинную цеплялку, но мне поспособствовал Вовка Крошкин: с помощью довоенных марок из серии ВСХВ — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, если кто не знает, — я достиг соглашения с одним большим парнем из Вовкиного района, и тот выгнул мне такой прут, что все надо мной поначалу засмеялись на нашей горке.

Но только поначалу.

Когда не знаешь, в самом деле смешно. Длинный железный прут сгибается на плече, прямо-таки провисает, будто коромысло. И весу в нем — ого-го, наверное, килограмм.

Я зашел на гору и, вяло отшучиваясь, начал ждать. Пацаны цеплялись за любую подводу, а я стоял, выжидая своей минуты.

Наконец появился Мирон. Он уже порядочно обнаглел, даже не оборачивался: его тут все знали, никто не цеплялся. И тогда пробил мой час. Я занял исходную позицию, пробежал несколько шагов за Машкиными саними и подцепился. Лошадь будто почувствовала это, но не обиделась, весело фыркнула мне. Я злорадно усмехнулся: Машка — союзница! А ты, Мирон...

Мальчишки, растянувшись по горке, стояли разинув рты. Наверное, это заставило Мирона обернуться.

Он увидел меня, нахмурился, но кнутом не хвостнул — отвернулся. Несколько метров мы проехали спокойно, и я уже подумал, что конюх не тронет меня вообще, признав своего знакомого. Наивная душа!

Мирон просто думал, ему потребовалось время на размышления. Но зато потом! Он так резко обернулся и с такой злостью хлестнул кнутом, целя в меня, что я вздрогнул, хотя ведь готовился к этому.

Не зря готовился! Кнут стукнул по моей железке, даже близко меня не достав.

Я засмеялся. Засмеялись пацаны на горке. Все видели посрамление бородатого извозчика из детской поликлиники. Ничего не скажешь: одним ребятишкам везет молочко, других лупит кнутом.

Я стал тираном. Меня не волновало катание на прицепе в принципе. Я не цеплялся к другим лошадям, но зато мерз долгие часы на нашей горке, чтобы, дождавшись Мирона, подцепиться к нему длинным, на заказ исполненным крючком.

При этом я смеялся — и не как-нибудь «хи-хи» или «ха-ха». Я даже дома, когда никого не было, упражнялся в этом демоническом смехе, стремясь добавить в голос баса и металла. Чередуясь с пискливым издевательским хохотаньем, мелким горохом детского измывательства, все это превращалось в целое представление.

Ребята, завидев Мирона, нарочно разлетались по всей горке, чтобы увидеть мой концерт, да еще и поддерживать его своими радостными восклицаниями, многие из которых, будем откровенны, ничуть не уступали любимым выражениям Мирона и как бы таким образом посрамляли взрослого бородатого конюха полным отсутствием почтения даже в такой специфически взрослой сфере духовной жизни.

Он бесился, шея его багровела, он яростно лупил кнутом, но ничего у него не получалось.

Он принял мой вызов. Торжество мое длилось недолго.

В один прекрасный и солнечный день, когда народу на горке было особенно много — может, это было даже воскресенье, выбрал же, гад! — я, как обычно, зацепился за Машкины сани. Громогласное «ха-ха-ха!» я чередовал с издевательским пискливым «хи-хи-хи!», менял на измывательское «ху-ху-ху!» и начинал крутить пластинку по новой.

Я видел, как Мирон замахивается, как медленно, точно нехотя, прорезает синее небо кнут, как блестит на солнце один повернутый ко мне глаз конюха, как движется в мою сторону черная острая змейка, но мне и в голову не пришло отцепиться: длинная цеплялка, знал я, оберегает меня от удара.

Лишь в самый последний миг я понял, что ошибся, — даже не понял, почувствовал. Тонкое жало кнута нависло над моим глазом, и я чуточку повернулся — отцепиться уже не хватало времени.

Меня полоснуло чем-то огненным и острым, я заметил, как по снегу просыпались красные ягодки брусники, и услышал, как пацан, стоящий неподалеку, заорал во всю глотку:

— Уби-ил-и-и!

«Кого-то убили», — подумал я и свалился в снег.

Я быстро вывернулся из сугроба и сказал мальчишкам, обступившим меня:

— Он кнут надбавил!

Мальчишки не отвечали — тарасились на меня во все глаза, и вдруг из-за них появилась бабушка. Она протягивала мне чистый платок и говорила:

— Промокни кровь! Кровь промокни!

В том-то и дело, что это была не бабушка. Какая-то старушка, проходившая мимо. Я ее принял за бабушку от боли и испуга.

Если бы это была моя бабушка! Она бы, наверное, подала в суд на Мирона, а так все обошлось спокойно. Я сам сбегал в больницу, мне остановили кровь перекисью водорода, а потом наложили два маленьких шва. Стежки до сих пор есть на моей щеке, под ухом, только побелели от времени. Не повернись я в последний миг, мог бы остаться без глаза.

Бабушка и мама так и этак пытали меня, где да как. Соврал, что, когда катался, упал на свою цеплялку. Мама собственноручно унесла ее на работу, и больше я своего ценного крючка не видел. Но спасибо ему! Свое сослужил!

И Мирону, и мне.

Вот такая история.

К ней следует припомнить еще одно: расплату.

Отец вернулся из армии не скоро, а когда он приехал, после крепких объятий и слез, поцелуев, разговоров и нескольких рюмок, которые выпил он с бабушкой и мамой, мы отправились в баню. В тот же день.

Еще бы! Кончилась, кончилась, кончилась, наконец, проклятая война, все прошло, все миновало, и настала новая, чистая жизнь! Как же не вымыться, прежде чем отправиться по ней — по новой, ясной, счастливой дороге!

Прямо в гимнастерке, с боевыми своими медалями, где громче всех звенит «За отвагу», пошел отец в первый свой штатский путь: за одну руку уцепился я, в другой несолидная сумка с бельем и мочалками.

И здесь надо объяснить очень важное.

Ванные тогда были в редкость, народ ходил по баням, и, чтобы помыться, требовалось отстоять очередь, да не какую-нибудь — многочасовую. Но та, самая первая очередь, которую выстояли мы с отцом, показалась

мне прекрасным праздником. Я готов был стоять в ней вечно.

Тесноватые коридоры и прихожую подпирали плечами разных людей, но мне казалось — одни солдаты. То ли медали — у всех до единого, — то ли погоны да пилотки делали их главными в банных закутках, то ли бесконечная радость — чувствовать рядом большую руку, ощущать табачный дух, слышать забытый голос отца.

Я не мог на него наглядеться и разглядывал то снизу, из-под его локтя, то со стороны, отойдя на несколько шагов в говорливую, оживленную толпу. Вот он тут, живой и невредимый, глядите, пацаны!

Мальчишки глядели. В этой толпе было много таких, как я, с отцами в гимнастерках. А все же больше — серыми кучками, с глазами голодных волчат.

Одни делали вид, что им все равно, говорили о чем-то друг с дружкой, другие разглядывали военных хоть жадно, а угрюмо.

Мне стало неловко, но пусть простят меня пацаны: лишь ненадолго, на одно мгновение. Нет, не в силах я был побороть себя, свою радость, так долго желанную.

Когда мы раздевались в шумном предбаннике, жалость и страх чуть не задушили меня. На теле отца я увидел два шрама — два ранения. Еще бы немножко правее, и не радовался бы я теперь, не хорохорился постыдно перед одинокими пацанами. Еще бы немножко... Холодок прокатился по мне: так близко, в нескольких сантиметрах, скользнула по отцу страшная беда.

По отцу, это значит — по мне.

Не раз в тот вечер сжимал я зубы — и дома, и тут, — не раз вспыхивали слезы в глазах яркими, разноцветными брызгами.

Как мало бывает таких мгновений в жизни! Слава богу, что мало. Будто необъятное богатство, выпущенное было из рук, вернулось к тебе, и у богатства нет цены, потому что оно выше всякой цены.

Выше, неповторимей и безвозвратней.

День клонился к вечеру, в мойке душно и парно, сквозь туман едва просвечивают лампочки под высоким потолком и белые тела людей.

Гулко громыхают шайки о бетонные лавки, плещет вода, возбужденно переплетаются голоса, сливаясь в гомон.

Отец потащил меня в парилку, заставил забраться на полók, занял веник у какого-то бородатого старика,

хлопал им меня, а я сгорал от жары, от радости, орал, как дурачок, какую-то чепуху.

Он смеялся надо мной, мой батя, не жалел моей шкуры, мы вышли в предбанник красные, точно вареные раки, обнявшись и устав.

Бухнулись на лавку.

— Эх, пивка бы! — сказал отец.

— Пивка бы! — как эхо откликнулся старик с бородой.

Не у него ли отец занимал веник? Я пригляделся. Да это Мирон!

Ну вот!

В бане, при народе, — неподходящее место, а встретились, встретились...

— А! — проговорил отец. — Никак ты, соседushка?

— С возвращеньцем, — поклонился Мирон.

Не такой уж он был старик, это борода скрывала его возраст, а тело еще хоть куда. Правда, с отцом никакого сравнения. Отец или он, кто кого? Глупый вопрос.

И вот настал мой миг.

Ведь настал? Ведь я же готовился к нему? Тысячу раз представлял я себе, как отец трясет его за шкуру — мучителя проклятого, темную силу, кикимору печную. И вот мы троим. Не очень подходящие условия, ну и что? Не надо трясти его за шкуру. Пусть лучше скажет отец. Просто скажет.

Мирон сидел перед нами, держа на коленях шайку, прикрывая ею срам, отдыхал после парилки, волосы расплзлись по лбу, борода висит мочалкой, и глазки спрятались в узкие щелочки.

И вдруг я понял: Мирон боится меня. Он тоже ждал, вернется ли мой отец, надеялся на лучшее — конечно, для него, надеялся: не вернется. Но вот вернулся, и я рядом с ним, пацаненок, — какой с меня спрос? Расскажу отцу, а он солдат, вернулся с войны, что он, глядеть будет, если узнает про те дрова и скандал с руганью или откуда шрам на щеке?

Я потрогал щеку, пощупал след Миронова кнута. Улыбнулся. Не очень понравилась ему моя улыбка. Он встал. Дрожащими руками поставил шайку, предстал перед нами во всей наготе.

То ли оттого, что голый, а это всегда неудобно, даже в бане, то ли от страха передо мной был он какой-то жалкий, ничтожный.

Мирон достал рваное полотенце; оно было чистое, но рваное — полотенце его и спасло. Я пожалел его.

Впрочем, нет. Не буду валить на рваное полотенце. Просто, когда я увидел худенькую тряпицу, которой вытирался Мирон, я понял, что не скажу ничего отцу. Потом, может, когда-нибудь, а только не сейчас.

И еще я вспомнил про Полю, как топили мы сразу восемь печек, а она рассказывала про кикимору. И про Захаровну — лежит в снегу, а потом с трудом поднимается, сперва на колени.

«Бог с тобой», — подумал я про Мирона бабушкиными словами, а когда он надел латаные кальсоны и рубаху и снова встал, оправляя исподнее, я вдруг сказал себе: «Да что ты знаешь о нем? Обманывал, хвостнул кнутом, врал про дрова? А еще, еще, еще! Туда, дальше, что ты знаешь о нем? Какая душа у него, как он жил, кто и почему наказал его — ты знаешь?

Нет уж, будь как будет.

Все, что сделал он, принадлежит ему».

«Будь что будет» — есть такое выражение.

Все было, как было.

Он не подобрел, не изменился, старый конюх. Все так же нещадно лупил Машку. Работы у него прибавлялось не по дням, а по часам. Бутылочки с молочком и кашей все так же стучали в проволочных ящиках — бутылочки, бутылочки, сотни горластых колокольчиков.

Я вырос, стал студентом.

Вышло так, что приехал на каникулы лишь через год, вошел во двор, поставил на землю фанерный чемоданишко, радуясь встрече с родителями и бабушкой, да Мирон стер с меня улыбку: я услышал знакомый звук кнута. Снова лупил он кобылу Машку, старую, наверное, как сам, снова лупил, будто время остановилось и детство мое было только вчера.

Из глубины нашего двора, через починенный забор, я тоскливо глядел, как измывался Мирон над лошадьёю. В последние годы он стал еще злей, еще нелюдией. Мама говорила, Захаровна жалуется: с ней-то даже почти не говорит. «Дай-подай», да и только.

«Ах, Мирон, могила тебя, видать, выпрямит», — подумал еще я.

Я уехал опять — снова началось мое учение — и скоро получил письмо от мамы. Почта тогда приходила ко мне до востребования на Главпочтамт; тут же в людном и шумном зале я разрывал конверт, торопясь, и всякий раз улыбался, разбирая знакомый мамин, или отцов, или бабушкин почерк.

Мне виделись всегда при виде конверта из дому наша комнатка, тихий шаг ходиков, знакомые трещины на потолке, оклеенном бумагой, и в обоях, которые давно следовало сменить.

Письма приносили мне малые наши новости, от конвертов веяло покоем и постоянством, которых так не доставало в студенчестве.

Тот памятный — но такой обычный — конверт я тоже раскрыл с улыбкой.

И вдруг шум почтового зала замер — я видел лица незнакомых людей, их поспешные шаги, торопливые движения, но суета эта была нема.

А мама написала о том, что умер мой давний враг — Мирон. Что его убила тихая кобыла Машка.

Он лупил ее, как всегда, писала мама, и ничего не ждал, никакой опасности от своей старой лошади, но много лет битая Машка вдруг зароптала, заходила на поводу перед своим хозяином, блеснула расширенным зрачком, поднялась на задние ноги — неуверенно, неумело поднялась, видать, с детства своего так не вставала, играя, а тут поднялась, заржала диким, тоскливым голосом и вдруг ударила передними копытами своего хозяина.

Он крикнул — негромко, хрипло, — упал. Прибежала Захаровна, на крылечке поликлиники собрался целый выводок медсестер в белых халатах; Поли не было — она уже выучилась, уехала в другой город.

Мирон кряхтел, точно ему дали под дых, то открывал, то закрывал рот. Приехала «скорая». Его увезли.

Вот и все.

Машка убила конюха, он умер в больнице через несколько дней от сильного внутреннего кровоизлияния.

Поля приехала за матерью, увезла ее с собой. Она похорошела — женщина в расцвете, мать двоих детей.

Узкую комнату с окном почти под потолком занял одинокий старик, новый конюх. Потом околела Машка. Бутылочки с детским питанием стала возить машина.

Да, мое желание сбылось. А я пожелал тогда, в бане: будь что будет.

Так и стало. Было то, что выбрал сам конюх Мирон. Его убила собственная жестокость.

А может, неизбывная обида, тоска, неизвестное мне прошлое — их не увидишь, не поймешь, не рассудишь...

Их не рассудишь, верно, но за что же он меня-то, мальчика, невзлюбил, что я ему такого сделал?

Может, я для него что-то собою означал? Какую-то такую мысль, что ли? Вот он и не любил эту мысль.

Никого-то он не любил, не щадил.

Излюбился от своей обиды, молчал, ото всех таился, нарочно на себя наступал: не забывай, не забывай, а вы все, кто забыть готовы, пропадите пропадом. И мотал свою душу, терзал дочку, жену, свою кобылу, а может, раньше всего себя терзал, свое нутро, выжег его, вычернил глухой тоской, впору завывать по-волчьи.

Ах, дядька Мирон! Пожалел бы ты кого! Может, в этом твое спасение!

Да что я знаю о нем?

Но вот что я знаю не о нем.

У каждого времени своя жестокость.

А доброта — одна, на все времена.

Не скрипи, не вой, не рычи, кикимора, не пугай детей.

Последние холода

Посвящаю детям минувшей войны, их лишениям и вовсе не детским страданиям. Посвящаю нынешним взрослым, кто не разучился верить свою жизнь истинами военного детства. Да светят всегда и не истают в нашей памяти те высокие правила и неумирающие примеры, — ведь взрослые всего лишь бывшие дети.

Автор

Вспоминая свои первые классы и милую сердцу учительницу, дорогую Анну Николаевну, я теперь, когда промчалось столько лет с той счастливой и горькой поры, могу совершенно определенно сказать: наставница наша любила отвлекаться.

Бывало, среди урока она вдруг упирала кулачок в остренький свой подбородок, глаза ее туманились, взор утопал в поднебесье или проносился сквозь нас, словно за нашими спинами и даже за школьной стеной ей виделось что-то счастливо-ясное, нам, конечно же, непонятное, а ей вот зримое; взгляд ее туманился даже тогда, когда кто-то из нас топтался у доски, крошил мел, кричал, шмыгал носом, вопросительно озираясь на класс, как бы ища спасения, спрашивая соломинку, за которую можно ухватиться, — и вот вдруг учительница странно затихала, взор ее умягчался, она забывала ответчика у доски, забывала нас, своих учеников, и тихо, как бы про себя и самой себе, изрекала какую-нибудь истину, имевшую все же самое к нам прямое отношение.

— Конечно, — говорила она, например, словно укоряя сама себя, — я не сумею научить вас рисованию или музыке. Но тот, у кого есть божий дар, — тут же успокаивала она себя и нас тоже, — этим даром будет разбужен и никогда больше не уснет.

Или, зарумянившись, она бормотала себе под нос, опять ни к кому не обращаясь, что-то вроде этого:

— Если кто-то думает, будто можно пропустить все-

го лишь один раздел математики, а потом пойти дальше, он жестоко ошибается. В учении нельзя обманывать самого себя. Учителя, может, и обманешь, а вот себя — ни за что.

То ли оттого, что слова свои Анна Николаевна ни к кому из нас конкретно не обращала, то ли оттого, что говорила она сама с собой, взрослым человеком, а только последний осел не понимает, насколько интереснее разговоры взрослых о тебе учительских и родительских нравоучений, то ли все это, вместе взятое, действовало на нас, потому что у Анны Николаевны был полководческий ум, а хороший полководец, как известно, не возьмет крепость, если станет бить только в лоб, — словом, отвлечения Анны Николаевны, ее генеральские маневры, задумчивые, в самый неожиданный миг, размышления оказались, на удивление, самыми главными уроками.

Как учила она нас арифметике, русскому языку, географии, я, собственно, почти не помню, — потому видно, что это учение стало моими знаниями. А вот правила жизни, которые учительница произносила про себя, остались надолго, если не на век.

Может быть, пытаясь внушить нам самоуважение, а может, преследуя более простую, но важную цель, подхлестывая наше старание, Анна Николаевна время от времени повторяла одну важную, видно, истину.

— Это надо же, — говорила она, — еще какая-то малость — и они получают свидетельство о начальном образовании.

Действительно, внутри нас раздувались разноцветные воздушные шарики. Мы поглядывали, довольные, друг на дружку. Надо же, Вовка Крошкин получит первый в своей жизни документ. И я тоже! И уж, конечно, отличница Нинка. Всякий в нашем классе может получить — как это — свидетельство об образовании.

В ту пору, когда я учился, начальное образование ценилось. После четвертого класса выдавали особую бумагу, и можно было на этом завершить свое учение. Правда, никому из нас это правило не подходило, да и Анна Николаевна поясняла, что закончить надо хотя бы семилетку, но документ о начальном образовании все-таки выдавался, и мы, таким образом, становились вполне грамотными людьми.

— Вы посмотрите, сколько взрослых имеет только начальное образование! — бормотала Анна Николаев-

на. — Спросите дома своих матерей, своих бабушек, кто закончил одну только начальную школу, и хорошенько подумайте после этого.

Мы думали, спрашивали дома и ахали про себя: еще немного, и мы, получалось, догоняли многих своих родных. Если не ростом, если не умом, если не знаниями, так образованием мы приближались к равенству с людьми любимыми и уважаемыми.

— Надо же, — вздыхала Анна Николаевна, — какой-то год и два месяца! И они получают образование!

Кому она печалилась? Нам? Себе? Неизвестно. Но что-то было в этих причитаниях значительное, серьезное, тревожащее...

* * *

Сразу после весенних каникул в третьем классе, то есть без года и двух месяцев начально образованным человеком, я получил талоны на дополнительное питание.

Шел уже сорок пятый, наши лупили фрицев почему зря, Левитан каждый вечер объявлял по радио новый салют, и в душе моей ранними утрами, в начале не расстроенного жизнью дня, перекрещивались, полыхая, две молнии — предчувствие радости и тревоги за отца. Я весь точно напряжился, суеверно отводя глаза от такой убийственно-тягостной возможности потерять отца накануне явного счастья.

Вот в те дни, а точнее, в первый день после весенних каникул, Анна Николаевна выдала мне талоны на допитание. После уроков я должен идти в столовую номер восемь и там пообедать.

Бесплатные талоны на допитание нам давали по очереди — на всех сразу не хватало, — и я уже слышал про восьмую столовку.

Да кто ее не знал, в самом-то деле! Угрюмый, протяжный дом этот, пристрой к бывшему монастырю, походил на животину, которая распласталась, прижавшись к земле. От тепла, которое пробивалось сквозь незаделанные щели рам, стекла в восьмой столовой не то что заледенели, а обросли неровной, бугровой наледью. Седой челкой над входной дверью навис иней, и, когда я проходил мимо восьмой столовой, мне всегда казалось, будто там внутри такой теплый оазис с фикусами, наверное, по краям огромного зала, может,

даже под потолком, как на рынке, живут два или три счастливых воробья, которым удалось залететь в вентиляционную трубу, и они чирикают себе на красивых люстрах, а потом, осмелев, садятся на фикусы.

Такой мне представлялась восьмая столовая, пока я только проходил мимо нее, но еще не бывал внутри. Какое же значение, можно спросить, имеют теперь эти представления?

Объясню.

Хоть и жили мы в городе тыловом, хоть мама с бабушкой и надсаживались из всех сил, не давая мне голодать, чувство несытости навещало по многу раз в день. Нечасто, но все-таки регулярно, перед сном, мама заставляла меня снимать майку и сводить на спине лопатки. Ухмыляясь, я покорно исполнял, что она просила, и мама глубоко вздыхала, а то и принималась всхлипывать, и когда я требовал объяснить такое поведение, она повторяла мне, что лопатки сходятся, когда человек худ до предела, вот и ребра у меня все пересчитать можно, и вообще у меня малокровие.

Я смеялся. Никакого у меня нет малокровия, ведь само слово означает, что при этом должно быть мало крови, а у меня ее хватало. Вот когда я летом наступил на бутылочное стекло, она хлестала, будто из водопроводного крана. Все это глупости — мамины беспокойства, и если уж говорить о моих недостатках, то я бы мог признаться, что у меня с ушами что-то не в порядке — частенько в них слышался какой-то дополнительный, кроме звуков жизни, легкий звон, правда, голова при этом легчала и вроде бы даже лучше соображала, но я про это молчал, маме не рассказывал, а то выдумает еще какую-нибудь одну дурацкую болезнь, например малоушие, ха-ха-ха!

Но это все чепуха на постном масле!

Главное, не покидало меня ощущение несытости. Вроде и наемся вечером, а глазам все еще что-нибудь вкусненькое видится — колбаска какая-нибудь толстенькая, с кругляшками сала, или, того хуже, тонкий кусочек ветчины со слезинкой какой-то влажной вкусоности, или пирог, от которого пахнет спелыми яблоками. Ну да не зря поговорка есть про глаза ненасытные. Может, вообще в глазах какое-то такое нахальство есть — живот сытый, а глаза все еще чего-то просят.

В общем, вроде и поешь крепенько, час всего пройдет, а уж под ложечкой сосет — спасу нет. И опять

жрать хочется. А когда человеку хочется есть, голова у него к сочинительству тянется. То какое-нибудь невиданное блюдо выдумает, в жизни не видал, разве что в кино «Веселые ребята», например целый поросенок лежит на блюде. Или еще что-нибудь этакое. И всякие пищевые места, вроде восьмой столовой, тоже человеку могут воображаться в самом приятном виде.

Еда и тепло, ясно всякому, вещи очень даже совместимые. Поэтому я воображал фикусы и воробьев. Еще я воображал запах любимой моей гороховицы.

* * *

Однако действительность не подтвердила моих ожиданий.

Дверь, ошпаренная инеем, поддала мне сзади, протолкнула вперед, и я сразу очутился в конце очереди. Вела эта очередь не к еде, а к окошечку раздевалки, и в нем, будто кукушка в кухонных часах, появлялась худая тетка с черными и, мне показалось, опасными глазами. Глаза эти я заметил сразу — были они огромными, в пол-лица, и при неверном свете тусклой электрической лампочки, смешанном с отблесками дневного сияния сквозь оплывшее льдом оконце, сверкали холодом и злобой.

Столовка эта была устроена специально для всех школ города, поэтому, ясное дело, очередь тут стояла детская, из мальцов и девчонок, притихших в незнакомом месте, а оттого сразу вежливых и покорных.

«Здрассь, тетя Груша», — говорила очередь разными голосами — так я понял, что гардеробщицу зовут именно этим именем, и тоже поздоровался, как все, вежливо назвав ее тетей Грушей.

Она даже не кивнула, зыркнула блестящим вороньим глазом, кинула на барьерчик жестяной, скрежетнувший номерок, и я очутился в зале. С моими представлениями совпали только размер и воробьи. Они сидели не на фикусах, а на железной перекладине под самым потолком и не щебетали оживленно, как щебетали их собратья на рынке, неподалеку от навозных катышей, а были молчаливы и скромны.

Дальнюю стену столовой прорезала продолговатая амбразура, в которой мелькали белые халаты, но путь к амбразуре преграждала деревянная, до пояса, загорода унылого серо-зеленого, как и вся столовая, цве-

та. Чтобы забраться за загородку, надо было подойти к крашеной тетке, восседавшей на табуретке перед фанерным коробом с прорезями: она брала талончики, привередливо разглядывала их и опускала, как в почтовые ящики, в щелки короба. Вместо них она выдавала дюралевые кругляши с цифрами — за них в амбразуре давали первое, второе и третье, но еда была разная, видно, в зависимости от талончиков.

Взгромоздив на поднос свою долю, я выбрал свободное место за столиком для четверых. Три стула уже были заняты: на одном сидела тощая, с лошадиным лицом, пионерка, класса так из шестого, два других занимали пацаны постарше меня, но и помладше пионерки. Выглядели они гладко и розовощеко, и я сразу понял, что пацаны гонят наперегонки — кто быстрее съест свою порцию. Парни часто поглядывали друг на дружку, громко чавкали, но молчали, ничего не говорили — состязание получалось молчаливое, будто, тихо сопя, они перетягивали канат: кто кого? Я поглядел на них, наверное, слишком внимательно и чересчур задумчиво, выражая своим взглядом сомнение в умственном развитии пацанов, так что один из них оторвался от котлеты и сказал мне невнятно, потому что рот у него был забит едой:

— Лопай, пока не получил по кумполу!

Я решил не спорить и принялся за еду, изредка поглядывая на гонщиков.

Нет, что ни говори, а еду эту можно было только так и прозвать — дополнительное питание. Уж никак не основное! От кислых щей сводило скулы. На второе мне полагалась овсянка с желтой лужицей растаявшего масла, а овсянку я не любил еще с довоенных времен. Вот только третье обрадовало — стакан холодного вкусного молока. Ржаную горбуху я доел с молоком. Впрочем, я съел все — так полагалось, даже если еда, которую дают, невкусная. Бабушка и мама всю мою сознательную жизнь настойчиво учили меня всегда все съедать без остатка.

Доедал я один, когда и пионерка и пацаны ушли. Тот, который победил, проходя мимо, больно щелкнул меня все-таки по стриженной голове, так что молоком я запивал не только кусок ржаного хлеба, но еще и горький комок обиды, застрявший в горле.

Перед этим, правда, был один момент, в котором я толком ничего не понял, разобравшись во всем лишь на

следующий день, через целые сутки. Победив соперника, гладкий парень скатал хлебный шарик, положил его на край стола и чуть отодвинулся. Задрав голову, пацаны посмотрели вверх, и прямо на стол, точно по молчаливой команде, слетел воробей. Он схватил хлебный кругляш и тут же убрался.

— Повезло ему, — хрипло сказал чемпион.

— Еще как! — подтвердил проигравший.

У чемпиона оставалась хлебная корка.

— Оставить? — спросил он приятеля.

— Шакалам? — возмутился тот. — Дай лучше воробьям!

Чемпион положил корку, но воробей, подлетевший тут же, не сумел ухватить ее. Тем временем пацан, проигравший соревнование в еде, уже встал.

— Ну, ладно! — поднялся победитель. — Не пропадать же! — И запихнул корку в рот.

Щека у него оттопырилась, и вот с такой скособоченной рожей он прошел рядом со мной и щелкнул меня по макушке.

Я уже не озирался больше. Давясь, глядя в стакан, доел ржануху и пошел с номерком к тете Груше.

Не очень-то вкусным вышло дополнительное питание.

* * *

Школы учили ребятню в три смены, и потому восьмая столовка дополнительного питания пыхтела с утра до позднего вечера. На другой день я воспользовался этим: сразу после уроков в столовой очередь, да и вчерашних гладких парней встречать не хотелось.

Вот ведь гады! Я припоминал, как они соревновались, кто быстрее съест свой обед, силился представить их похожие лица, но ничего, кроме одинаковой гладкости, вспомнить не мог.

Словом, я погулял, побродил по улицам, и уж когда стало совсем голодно, переступил порог столовой. Народу к тете Груше не было совсем, она скучала в окошке раздевалки, а когда я принялся расстегивать пуговицы пальто, сказала вдруг:

— Не раздевайся, сегодня холодно!

Видно, на лице моем блуждало недоверие, а может, и просто недоумение — я еще никогда в жизни не ел по-зимнему одетым, и она улыбнулась:

— Да не бойся! Когда холодно, мы разрешаем,

Для верности стянув все-таки шапку, я вошел в обеденный зал.

В столовой был тот ленивый час, когда толпа едоков уже схлынула, а сами повара, известное дело, должны поесть до общего обеда, чтобы не раздражаться и быть добрыми, и поэтому по обеденному залу бродила дрема. Нет, никто не спал, не слипались глаза у поварих в амбразуре, и крашеная тетка возле короба сидела настороженная, напряженная, точно кошка, видать, еще не отошла от волнения ребячьей очереди, но уже и она напрягалась просто так, по привычке и без надобности. Еще малость — она притихнет и замурлычет.

Дреме было, понятно, неуютно в этой столовой. Ведь ей требуется всегда, кроме сытости, еще и тепло, даже духота, а в восьмой столовой стояла холодрыга. Похоже, дрова для котлов, чтобы еду сварить, еще нашлись, а вот обогреть холодный монастырский прибор сил не достало. И все-таки дрема бродила по столовой — стояла тишина, только побрякивали ложки немногих едоков, из-за амбразуры медленно и нехотя выплывал белый вкусный пар, крашеная тетка, едва я подошел к ней со своим талончиком, смешно закатав глаза, протяжно, со стоном зевнула.

Я получил еду и сел за пустой столик. Есть в пальто было неловко, толстые стеганные рукава норовили заехать в тарелку, и, чтобы было удобней сидеть, я подложил под себя портфель. Другое дело! Теперь тарелки не торчали перед носом, а чуточку опустились, вернее, повыше очутился я, и дело пошло ходче.

Вот только еда сегодня оказалась похуже вчерашней. На первое — овсяный суп. Уж как я не хотел есть, уж как я не терпел овсяную кашу, одолеть суп из овсянки было для меня непомерное геройство. Вспоминая строгие лица бабушки и мамы, взывавшие меня к твердым правилам питания, я глотал горячую жидкость с жутким насилием над собой. А власть женской строгости все-таки велика! Сколь ни был я свободен здесь, в далекой от дома столовой, как ни укрывали меня от маминных и бабушкиных взоров стены и расстояние, освобождаться от трудного правила было нелегко. Две трети тарелки выхлебал пополам с тоской и, вздохнув тяжело, помотав головой, как бы завершая молчаливый спор, отложил ложку. Взялся за котлету.

Как он присел напротив меня, я даже и не заметил. Возник без единого шороха. Вчерашний воробей нашу-

мел куда больше, когда слетал на стол. А этот мальчишка появился точно привидение. И устоялся на тарелку с недоеденным супом.

Я сначала не обратил на это внимания — меня тихое появление пацана поразило. И еще — он сам.

У него было желтое, почти покойническое лицо, а на лбу, прямо над переносицей, заметно синела жилка. Глаза его тоже были желтыми, но, может, это мне только показалось оттого, что такое лицо? По крайней мере, в них что-то светилось такое, в этих глазах. Какое-то полыхало страшноватое пламя. Наверное, такие глаза бывают у сумасшедших. Я сперва так и подумал: у этого парня не все в порядке. Или он чем-то болен, какой-то такой странной болезнью, которой я никогда не видел.

Еще он бросал странные взгляды. У меня даже сердце сжалось, слышно застучала кровь в висках. Мальчишка смотрел мне в глаза, потом быстро опускал взгляд на тарелку, быстро-быстро двигал зрачками: на меня, на тарелку, на меня, на тарелку. Будто что-то такое спрашивал. Но я не мог его понять. Не понимал его вопросов.

Тогда он прошептал:

— Можно, я доем?

Этот шепот прозвучал громче громкого крика. Я не сразу понял. О чем он? Что спрашивает? Можно ли ему доесть?

Я сжался, оледенел, пораженный. Меня дома учили всегда все съедать, мама придумывала мне всякие малокровия, и я старался, как мог, но даже при крепком старании не все у меня выходило, хотя я и знал, что скоро снова засосет под ложечкой. И вот мальчишка, увидевший недоеденный противный суп, просит его — просит!

Я долго и с натугой выбирал слово, какое должен сказать пацану, и это мое молчание он понял по-своему, понял, наверное, будто мне жалко или я еще доем эту невкусную похлебку. Лицо его — на лбу и на щеках — покрылось рваными, будто родимые пятна, красными пятнами. И тогда я понял: еще мгновение — и я окажусь свиньей, самой последней свиньей. И только потому, видите ли, что у меня не находится слов.

Я быстро кивнул. И потом еще кивнул раза три, но мальчишка уже не видел этих кивков. Он схватил мою ложку и быстро, в одно мгновение, доел овсяный суп.

После того как я кивнул, пацан больше не смотрел на меня. Ни разу не взглянул. Быстро съел суп и, спрятав глаза, двинулся от стола. Я посмотрел ему вслед. Пацан ушел в дальний угол столовой и только там обернулся. Он не глядел на меня, я, видно, уже не интересовал его. Он смотрел на зал, передергивая взгляд от одного столика, где кто-то ел, к другому. Рядом с ним, в углу, стояла маленькая девчонка.

Я доел котлету, выпил чай и слез с портфеля. Медленно, нарочно утишая шаг, я направился к выходу, украдкой, чтобы он не заметил этого, разглядывая пацана. Одет он был ничего, прилично, в серое пальто с черным собачьим воротником, такие, я знал, давали по ордерам в универмаге, и на девочке было точно такое же пальто, только, понятно, маленького размера, и я подумал, что, может, это детдомовские ребята — там одевают всех похоже, будто в форму.

Когда я совсем приблизился к мальчишке с его сестрой — какой же мальчишка в наше время мог стоять с девочкой, если она не сестра? — маленькая быстро, точно мышь, шмыгнула к столу возле окна.

Там сидела большая девчонка, тонкая и бледная, как бумага. Она кивала маленькой головой. И когда та подбежала, подвинула ей половину котлеты с половиной картофельного пюре. Я задержался в дверях и увидел, что большая девчонка дала маленькой еще и хлеба. Она что-то шептала, маленькая, а большая девчонка говорила ей неслышные мне, но добрые слова — это сразу видно, что добрые, потому что, когда говорят добрые слова, в такт им кивают головой.

Меня осенило.

Так вот про каких шакалов говорили вчера гладкие парни!

* * *

Я шел домой и все думал: а я бы смог так? Ведь это небось стыдно. Да, наверное, и противно — доедать за другими. Еще и просить...

Нет, пожалуй, паренек с сестренкой не из детского дома, там ведь кормят исправно, а эти... Какими же надо быть голодными, чтобы отираться в столовке, доедать чужие куски, вылизывать чужие тарелки?

В детстве человечество не страдает риторикой. И этот вопрос, сколько дней надо голодать, чтобы попрошай-

ничать в восьмой столовке, не был для меня вопросом ради вопроса. Я решил, что можно выдержать два дня. Да, два дня. На третий, каким бы ты ни был стыдливым, придешь, попросишь, взмолишься.

И все же я не мог представить такого стыда. Ясно кому угодно: просто так, без нужды, нормальный человек не станет попрошайничать. Но у мальчишки горели безумным светом глаза. «Может, все-таки он больной? — спрашивал я себя. — Ну а девчонка? Тоже больная?»

На всякий случай еще с вечера я стянул из буфета кусок хлеба, обернул его аккуратно газетой и положил в портфель.

* * *

Назавтра нас отпустили после четвертого урока. Пятым была физкультура, но Анна Николаевна болела ангиной — и так-то сидела с температурой, а тут еще надо идти во двор и выделять всякие упражнения. Прежде у нас тоже такое случалось, но тогда, видать, Анна Николаевна чувствовала себя получше и физкультуру заменяла каким-нибудь другим предметом, той же, к примеру, арифметикой, задавала задачи, а сама куталась в платок, ежилась, а наежившись, что-нибудь изрекала в конце урока: мол, кашу маслом не испортишь. Дескать, что там физкультура, разве можно ее сравнить с арифметикой, где лишний раз повторить — сущее благо.

Но тут она расклеилась совсем, говорила слабым голосом, а после звонка на пятый урок вместо нее в класс вошла Фаина Васильевна, наша директриса. Остановившись на пороге и понизив голос, она сказала, чтобы мы тихо и быстренько собирались и шли домой, потому что у Анны Николаевны температура.

Я припустил в столовку и застал столпотворение. Змеей петляла очередь к тете Груше, но многие, не раздеваясь, шли прямо к тетке с коробом, ели в пальто, мест за столиками не хватало, и некоторые жевали даже стоя, пристроив тарелки на краешек занятого стола или на широкий монастырский подоконник.

Особенно много было малышей, и я понял, что сошлись две или, может, даже три смены. Маленькие, которых отпустили раньше, вторая смена ела, ясное дело, перед уроками, а из третьей пришли те, у кого, навер-

ное, терпения не хватало. Я подумал и двинулся на приступ амбразуры одетым.

Когда ты невелик ростом, жить трудно. Тебя отталкивают, могут дать по макушке, подставить ножку, если ты спешишь, и зло обхохотать. Пока я стоял к тетке с коробом, пацаны побольше стали проходить вперед и, заметив девчонку или маленького пацана, запросто влезали перед ними. Даже не оборачивались, нахалюги, и, уж конечно, ничего не говорили в оправдание. И маленьким приходилось объединяться. Передо мной сперва был красноухий мальчишка, и я взял его за хлястик пальто, чтобы никто не ворвался между нами. Он только улыбнулся мне, показав пол-лица с кривыми зубами. Сам он держался за девчонку. Но когда мы приблизились к кассирше, между мной и красноухим влез длинный парень с большим горбатым носом. Он так нагло вклинился между нами, будто совсем и не замечал, что мы держимся друг за дружку. Я сразу присвоил ему кличку Нос.

— Э! — сказал я тихонько. А про себя добавил: «Нос!»

Длинный повернулся ко мне.

— Не рыпайся, — прошипел он, и на меня пахнуло таким ядреным махорочным духом, что я покорился.

А длинный махнул рукой и пропустил перед собой еще парней пять, не меньше, наглец такой.

От шайки этой перло, как из курительной комнаты где-нибудь в кинотеатре, они галдели, матюгались, правда понижая при этом голоса, толкались, и вообще, нестрашные, может, каждый поодиночке, вместе они были какой-то грубой и злой силой, с которой даже взрослые предпочитали не связываться.

Портфели эта банда свалила возле стенки, и никто из них ни разу не обернулся на свое добро. Я не завидовал таким шайкам, их тогда было много, чуть не в каждом дворе или даже классе — там царили несправедливые законы, зло и несправедливость. Ладно бы, задевали других — они и своего могли запросто избить. Да что там, почти в каждой компании была своя шестерка — пацан, который считался вроде бы адъютантом самого сильного. Но были у шаяк и свои привилегии. Они не боялись взрослых. Они не тряслись на каждом шагу, если были вместе. Они не озирались по сторонам и запросто могли свалить в кучу свои сумки. А я вот не мог даже такой малости. Я был одинок в этой сто-

ловке и крепко держал свою сумку, думая о том, как же потащу поднос с едой да еще портфель.

Это, конечно, удалось плохо, суп, на этот раз любимая гороховица, расплескался наполовину, я и остальное-то еле дотащил. Хорошо, хоть повезло с местом. Наконец я устроился. Неподалеку гоготала шайка — парни заняли столик, но двоим мест не досталось, и они ели стоя, наклоняясь к своим тарелкам за каждой ложкой, смешили остальных.

Мне досталось удобное место, в углу, да и вместо портфеля я устроился на собственной ноге, подтянув ее под себя, а нога была в большом валенке — поэтому вся столовая открылась передо мной как на ладони.

Что же вокруг творилось! Я даже хохотнул — никогда я не видывал такого. Очередь к накрашенной тетке вилась между столами и заканчивалась возле гардероба, где опять, как кукушка, мелькала в своем окне черноглазая Груша.

А шум какой стоял! Такой гомон мог быть еще только на вокзале. Поезд вот-вот тронется, а люди не сели, да и в вагонах не хватает мест, и все колготятся, дергаются, а сделать ничего не могут. Народ в восьмой столовой тоже колготился и дергался. Грохали железные миски у раздавальщиц в амбразуре. Постукивали ложки о края мисок в обеденном зале. Мальчишки и девчонки разного роста и в разной одежке вставали, садились, ходили между столиков, говорили, смеялись, вскрикивали, носили подносы с едой и волокли их обратно, уже с пустой посудой. В такой толкотне отыскать желтолицего было не так-то легко. Да и пришел ли он сегодня? Мог ведь и не прийти. Или появиться позже.

Прихлебывая суп, я внимательно изучал столовую. И вдруг увидел, как к белобрысой девчонке, которая несла поднос, подскочил маленький мальчишка и схватил ее хлеб. Девчонка испуганно вскрикнула, едва не выпустила поднос, а парни из шайки захохотали:

— Молодец, шакаленок! — крикнул длинный.

— Шакалы! — пискнуло у меня под ухом.

Я повернулся. За моим столом сидела девчонка и еще два мальчишки, все младше меня. Давясь, они торопливо ели свою еду, да еще свободной рукой прикрывали миски, будто кто-то выхватит их сейчас.

— Второе-то не отнимут, — сказал я, стараясь их успокоить. — А суп и подавно!

Я старался улыбнуться, а веснушчатая и щербатая

девчонка — из разговорчивых, видать, — прошепелявила сквозь картофельное пюре:

— Еще как отнимут!

— Прямо миску? — удивился я.

— Прямо миску! Я видела один раз, — прожевав, будто учительница, объяснила она, — как парень прямо из миски котлету выхватил и тут же съел! Даже не побежал!

Маленькие пацаны за нашим столом сильнее застучали ложками.

— Главное, — объясняла веснушка, — скорее суп съесть.

— Почему? — удивился я.

— Тогда только одна тарелка останется. Ее можно держать.

Двое мальчишек замирали, пока девчонка говорила, будто запоминали урок умной учительницы, но, как только она замолкала, просто грохотали ложками.

Я снова оглядел зал. И увидел наконец желтолицего. Он походил на охотника. Стоял в какой-то настороженной позе.

А щербатая девчонка не умолкала. Она добралась до компота и, видно, теперь не боялась, что ее ограбят. Вот и старалась.

— Есть, конечно, такие, которые по-хорошему просят, — сказала она и отпила компот. — На них и обеды устраивают. Ничего не помогает. — Она болтала ногами и уже не думала о страхе. — Но хуже всех маленьким приходится. И нам, девчонкам. А если ты маленький и девчонка, то вообще!

Едва она успела проговорить, как желтолицый, ловко огибая столик, кинулся навстречу еще одной маленькой девчонке с подносом и схватил хлеб.

Та, белобрысая, промолчала — видать, боялась и знала, как себя вести, — а маленькая завывала, точно сирена. В столовой сразу стало тихо, все обернулись к ней и желтолицему, и в этой тишине шакал молча, уверенно и быстро выскочил из столовой.

— Эт-та что такое опять? — закричала крашеная тетка, с грохотом захлопнула деревянный шлагбаум к амбразуре, вскочила со своего возвышения, заорала гардеробщице: — Груша, ты там сидишь, а тут опять воруют!

Парни за соседним столом загоготали, началась свара между Грушей и крашеной, и все были на стороне

Груши: ясное дело, уж кто сидит, так это крашенная, а гардеробщица, будто кукушка в часах, едва поворачиваться поспевает.

— Это я сижу? — кричала Груша.

— А кто же? — отвечала ей крашенная.

— Посмотри, скоко народу!

— А у меня меньше? Тебе велено гнать всех этих...—

Она притормозила, но не сдержалась и закончила: — Шакалов!

— Какие они шакалы?! — отчаянно крикнула Груша. — Голодные ребята, вот и все!

— Все голодные!

Девчонка, у которой украли хлеб, давно успокоилась и ела уже второе, а Груша и кассирша все еще переругивались, и тут очередь начала роптать. Сперва тихо, неуверенно прокатился в столовке какой-то шелест. Потом кто-то крикнул:

— Кончай базарить! Давай жраты!

Что тут началось!

Грубые и писклявые, девчачьи и мальчишечьи голоса слились в один протяжный, долгий крик:

— Жра-а-ать! Жра-а-ать!

Мне даже стало страшно. Крашенная тетка заозиралась, словно кошка в опасности, потом чего-то сообразила, что-то решила свое и быстро вернулась к роботу.

Из амбразур высовывались раздатчицы в белых козынках.

— Ну что? — спрашивали они. — Опять?

— Ничего! — громко, перекрывая гвалт, ответила крашенная и принялась принимать талончики. Точно по команде, крик стих, снова забренчали ложки.

Столовка продолжала кормить малый народ.

* * *

— А девчонку-то зовут Нюрка, — объявил длинный, который оттер меня. — Она с нашего двора!

— У-у-у! — загудела остальная шайка.

— И этого шакала надо проучить, — сказал Нос.

Мне и в голову не пришло бы, что этот Нос борется за справедливость. Просто их много, вот и все. А тот, желтолицый, — неужели он только с сестрой?

Доев, я выскочил за шайкой Носа. Длинный уже

разговаривал с желтолицым. Тот был один и стоял перед мальчишками, прижавшись к забору.

— Тебе не стыдно? — фальшивым голосом припевал Нос. — У маленькой! У девочки! Отнимать хлеб!

Я поразился. Желтолицый был совершенно спокоен. Казалось, еще мгновение, и он зевнет.

— Да мы, — куражился Нос, — да тебя! Сдадим в милицию, хулиган такой.

— Сдавайте, — устало мотнул головой пацан.

— Ну нет! — не растерялся Нос. — Это было бы слишком просто! И слишком, — он обернулся к своей шайке, — безболезненно.

Его банда хохотнула. Приятели дылды стояли вокруг желтолицего полукругом. И портфели их снова лежали горкой — руки свободны для драки.

Если бы для драки! Для избиения.

Итак, они стояли полукругом и были похожи на стаю, загнавшую зверя. «Вот кто шакалы-то», — подумал я, и в тот же миг Нос медленно и неуклюже, точно пробуя свои силы, ударил желтолицего в грудь. Тот не шелохнулся, не поднял рук, чтобы защититься, не уклонился от удара.

Нос сделал еще один выпад и отскочил. Я сразу понял, что этот длинный просто трус, а никакой не предводитель и драться-то он не умеет.

— Отойди! — предупредил желтолицый. — А то будет худо.

Нос фальшиво расхохотался. Было над чем. Шакал один, а приятелей длинного шестеро; всего семь. И один угрожает семерым.

Нос изловчился и ударил желтолицего, целя по челюсти. Парень снова не уклонился и не защитился; он принял удар с каким-то непонятным мне смирением. Но это смирение длилось всего секунду, не дольше. Желтолицый сглотнул кровь, а в следующий миг прыгнул, будто разжатая пружина, к Носу и обеими руками вцепился ему в горло. Первую минуту драка проходила в полной тишине. Приятели длинного отпрянули по сторонам, а он какое-то время валтузил желтолицего по корпусу. Но бить его было неловко, не с руки, не хватало пространства для размаха, удары не приносили шакалу никакого вреда, зато он мертвой хваткой вцепился в горло противника, и я увидел, как побелели, сделались похожими на снег костяшки его пальцев.

— Ну! Вы! Помогите! — крикнул, задыхаясь, Нос, и шестеро его подручных тоже неумело и невпопад принялись лупить желтолицего со спины.

Он не уворачивался, и ему пришлось бы худо, если бы он имел дело с настоящими драчунами. Но шайка Носа могла только хорохориться в столовой или где-нибудь в киношке на детском сеансе, могла громко ругаться и курить, а драться она не умела, и один решительный парень одолел их. Он молча сжимал горло длинного, тот крутанулся и раз, и другой, бухнулся на землю, увлекая за собой противника, и вдруг задрывал ногами — странно очень задрывал, по-взаправдашнему задрывал и захрипел из последних сил:

— Отпусти-и-и!

Его команда не на шутку испугалась, увидев, как Нос судорожно задрывал ногами, сбилась в кучу и притихла. Желтолицый лежал на противнике. Он с трудом, даже, кажется, с болью разжимал собственные пальцы. На горле Носа темнели пятнышки — это были синяки! Ну и ну! Желтолицый дрался не на шутку. Еще немного, и он мог бы задушить длинного. Вот тут, возле столовки, посреди бела дня, да еще когда Нос не один, а с целой компанией помощников!

Такого я не видывал — ни до, ни после.

Желтолицый встал, с трудом поднимался и Нос. Неожиданно длинный заплакал. Он хрипел, что-то хотел сказать, но у него ничего не получалось, и я не мог понять, угрожает он или жалуется. Казалось, один желтолицый понимает его.

— А как же ты думал? — спросил он спокойно, даже добродушно. — Я ведь и убить могу.

Он проговорил это без всякой угрозы, но шайка Носа кинулась к своим сумкам и растворилась.

Нос остался один. Он просморкался, вытер рукавом свой горбатый нос, вроде привел себя в порядок, но не справился с собой. Снова заревел, но теперь уже по-другому, визжа не от боли, а от досады.

Он подобрал свою сумку, а поравнявшись со мной, пнул мой портфель.

За что? За то, что я был свидетелем? Но ведь драку видели многие. У входа в столовку скопилась настоящая толпа. Только никто не решался подойти близко.

Я стоял ближе всех.

Едва драка кончилась, как все разошлись. Остался один я. И желтолицый, конечно. Он подошел к забору, возле которого стоял перед дракой, и опять прислонился. Лицо его было таким, будто он вовсе и не дрался. «Вот это воля, надо же!» — восхитился я.

Два непохожих чувства боролись во мне — восхищения и отвращения.

Желтолицый был примерно одного класса с Носом, но ниже ростом, один, и его отчаянная, ни на что не похожая храбрость не могла не поражать. Но ведь этот человек отнял хлеб у девчонки в столовой. У маленькой к тому же девчонки, такой, как его сестра.

Что же значило это? И что еще, кроме отвращения, могло вызывать, какие чувства?

Я приготовил ему кусок хлеба, раз он такой голодный, я хотел отдать ему ломоть, завернутый в газету, но события так закрутились... Я не знал, что делать.

Желтолицый все стоял у забора, прислонившись, прикрыв глаза. Казалось, он ничего не видит. И даже не дышит.

И тут он упал. Не сразу, не как подкошенный, а вдруг закатил глаза и пополз вниз по забору.

Он неловко сел в снег, и голова его откинулась.

Ну, я перепугался!

Первое, что пришло мне в голову, — это коварство Носа. Наверное, подумал я, во время драки он всадил желтолицему шило в живот. Шпана военных лет обожала ходить с шилом, или с наточенным рашпилем, или с каким-нибудь железным прутом — не придерешься, не холодное оружие. Я подумал, что Нос ткнул желтолицего шилом, тот сперва терпел, а теперь вот свалился.

Я подбежал к мальчишке, потряс его за воротник — на большее не решился — и, бросив портфель, кинулся в столовую.

Народу в прихожей было поменьше, но все-таки много, и я закричал, перебивая шум, обращаясь к единственной, кого знал по имени, обращаясь без веры, что она поможет, очень уж черные и злые были у нее глаза, но я все равно кричал, потому что надо было как-то спасать желтолицего.

— Тетя Груша! — орал я благим матом, от страха

не слыша самого себя. — Там парень упал! Шакал! Помира-а-ает!

— Такой желтолицый? — крикнула тетя Груша.

— Они там дрались, — заорал я в ответ, — и он потом упал.

Но тетя Груша несла какую-то чепуху.

— Чайку надо, — говорила она, выскакивая из своего скворечника. — Сладкого чайку! — Потом кинулась в зал, к амбразуре, закричала: — Девочки, дайте чайку послаще! Да побыстрей!

— Опять? — спросила крашенная тетка.

— Опять! — ответила Груша.

Мелко семеня, она мчалась по столовке, и все перед ней расступались, точнее, перед железной кружкой, над который дымился парок и которую несла в вытянутой руке тетя Груша.

Я выскочил на улицу первым. Желтолицый сидел все в той же неудобной позе, откинувшись назад.

— На-ка, мальчик, поддержи, — сказала тетя Груша, протягивая мне кружку с чаем. Сама она схватила снег и принялась растирать им виски желтолицего пацана.

— Ох ты господи! — повторяла тетя Груша. — Ох ты господи! Что же это делается-то, а?

Я увидел ее при дневном свете и поразился: как же может ошибаться человек! Она вовсе не походила на ту женщину, которая, будто кукушка, появлялась в своем окошке. Лицо ее было вовсе не злое, а усталое, может, тронутое какой-то болезнью, и синие круги под глазами опустились до середины щек. И сами глаза были совершенно другие. Не угольные, не пугающие, а как бы бархатные и печальные.

— Это что же, господи! — повторяла она, умело растирая виски желтолицему. — Что же голод-то с нами делает?

Желтолицый вздохнул, открыл глаза, увидел меня и произнес через силу:

— А! Это ты!

— Ну-ка попей чайку! — воскликнула тетя Груша. Она помогла желтолицему встать.

Он держался одной рукой за забор, другой взял кружку и начал прихлебывать горячий чай. Ноги его дрожали. Было видно, как трясутся коленки.

«Как же он победил? — поразился я. — Ведь только что он чуть не задушил Носа у меня на глазах, а теперь еле держится на ногах! Неужели так бывает?»

Он допил чай, сквозь желтизну на щеках проступили рваные красные пятна.

— Спасибо! — вздохнул он и сел прямо в снег.

— А теперь признавайся, — проговорила тетя Груша, — сколько дней не ел?

Он усмехнулся:

— Вот он меня вчера угостил.

— А сегодня, — спросила Груша, — тот хлеб?

— Его сеструхе.

— Ну, как следует? Сколько дней не ел как следует?

— Пять, — проговорил желтолицый.

* * *

— Что с тобой было? — спросил я Вадьку. Теперь я знал имя желтолицего. — У забора?

Он усмехнулся:

— «Что, что». Обморок! Да мне не привыкать. А, Марья?

Мы шли втроем — Вадька, его сеструха, которую он смешно и торжественно называл Марья, и я. Маша доела кусок хлеба украденный, а Вадька — который принес я.

— Только зря все это, — сказал Вадька. — Жрать сильнее захотелось.

— Ага! — согласилась Марья. — Если не есть, на третий день легче становится.

— Тебя это не касается, — оборвал ее Вадька, — тебе надо есть, ты еще растешь.

— Можно подумать, ты вырос! — как взрослая, проворчала Марья.

Мы шли по улице, и я думал: мы бредем просто так, без всякой цели, может быть, в сторону дома, где живут Вадька и Марья, но пришли мы к главной почте. Вадька уверенно распахнул дверь, прошел в большое помещение, сел за стол.

— Доставай, — велел он Марье.

Девчонка открыла портфель, вынула тетрадку в козую линейку, вырвала листок.

— Пиши ты, — строго сказал Вадька сестренке, — мама любит твой почерк.

Машка, видно, перечила брату не всегда. Высунув язык, она взяла почтовую ручку, обмакнула перо в казенные чернила и старательно, большими буквами вывела первую строчку.

— «Дорогая мамочка!» — продиктовал Вадька.

— Уже написала, — сказала Марья.

— «У нас все хорошо, — задумчиво проговорил он. — Вадик получил три пятерки. По математике, русскому языку и географии. У меня вообще одни пятерки. Вчера мы были в гостях у тети Фаи, она нас до отвала накормила холодцом».

— А как пишется «до отвала»? — спросила Марья. — На конце «а» или «у»?

— Да все равно, — сказал Вадька, — главное, холодец.

Я понял, что они врут. Про холодец и про гости врут абсолютно точно, это ясно, но ведь про пятерки, наверное, тоже.

— Зачем врешь? — спросил я Вадьку.

— Затем, — ответил он зло, — что ей нельзя расстраиваться.

Он помолчал.

— Если бы мы написали правду, — качнул он головой. — А, Марья?

Она подняла голову, усмехнулась горькой взрослой улыбкой. Спросила:

— Как я карточки потеряла? И деньги?

Вот так дела! Они живут без карточек и без денег, да мыслимое ли это дело в войну-то! Мама и бабушка приносили домой рассказы, как померла с голоду одна женщина, а вторая заболела так, что все равно померла, — и все из-за проклятых карточек, из-за того, что их потеряли или украли злобные бандиты.

Да что там! Разве мог я забыть, как ограбили нас, украли отцовский костюм из шифоньера, только пустые плечики постукивали одиноко друг о дружку, а вместе с костюмом прихватили и карточки. Как мы выжили месяц, один бог знает.

— А родные-то есть у вас? — спросил я.

— Мы эвакуированные, — ответила Марья.

— Тогда знакомые? — воскликнул я.

Вадька понурился, опустил голову, о чем-то крепко думал он, и Марья ответила за обоих:

— Мы боимся, они маме скажут. А ей волноваться нельзя.

Он поднял голову, мой новый приятель, и на лбу его я увидел морщинки, будто он старик.

— Это ее убьет, — сказал он.

Есть люди, похожие на магниты. Они ничего особенного не делают, а к ним тянет.

Вадька был такой магнит. Правда, нельзя сказать, что он ничего не делал. Шакалил в столовой — разве этого мало? Отнял хлеб у девчонки. Но, честно сказать, меня тянуло к нему не это.

Я чувствовал, что желтолицый парень какой-то совсем другой, чем все остальные знакомые мне люди. Даже если сравнивать его со взрослыми. Что-то в нем было такое.

Что? Я не знал. Маленькие люди ведь вообще, многого не зная, умеют чувствовать. Умеют ощущать. Вот, может, и во мне было такое ощущение.

Вадька меня никуда не звал, а самому мне надо было идти домой, учить уроки, но я, точно примагниченный, шел за желтолицым и его сестрой. Они даже не очень-то со мной разговаривали, обращаясь лишь в необходимых случаях, так что болтунами их никак не назовешь.

Они все говорили о матери — похоже, разговаривать о ней доставляло им большое удовольствие. При этом получалось так, что говорить о своей маме они принимались с полуслова, будто отвлекались на минутку от давнего разговора, потом спохватились, что отвлеклись, и говорили снова о самом важном.

Ведь если продать уют, как мама велела, — вдруг засмеялась Марья, — так мы ведь до конца войны неглаженными ходить будем.

Вадька одобрительно оглядел сестру, улыбнулся ей и сказал:

— А что у нас гладить-то?

— Ты что? — возмутилась Марья. — Мамино платье, мое платье, твои штаны. Да и много ли дадут за уют на рынке?

— Точно, — ответил Вадим. — А мама вернется, глядь, уют целехонек. Ждет ее.

Марья слабо улыбнулась, побледнела.

— Ты что? — забеспокоился Вадим.

— погоди, — прошептала она, — сейчас пройдет.

Вадим схватил снегу, потер Марье виски, как тетя Груша, но она отдернулась, сказала:

— Чепуха! Я же не теряю сознания! Ты же кормишь меня каждый день.

Она отчего-то запыхалась.

— Просто идти трудно, — объяснила Марья, — давай помедленней.

Я чувствовал себя полным дураком. Может, первый раз в жизни не знал, что делать. Стоял, как суслик, столбиком возле двоих этих ребятишек, и все. Им нехорошо и одиноко, а я не могу помочь. Эх, быть бы взрослым! Оказаться в один миг самостоятельным человеком! Уж я бы додумался до чего-нибудь. Дал бы талонов от своих карточек, еще бы сообразил, что полагается в таких случаях.

Но я был обыкновенным мальчишкой и знал не больше Вадьки. А он все-таки старше меня. Как выяснилось, на три класса. Ему год и два месяца до свидетельства о семилетнем образовании.

Марьины глаза прояснились, она глядела на меня, что-то такое соображая, потом неожиданно сказала:

— А ваш городок ничего! Хороший городок! Хуже немного Минска, но тоже хороший. Мне нравится.

Она хотела сделать мне приятное, разговаривала со мной, а то я вроде плетусь за ними и молчу.

— Вы из Минска? — спросил я.

— Марья, — укорил сестру справедливый Вадька, — да много ли ты помнишь про Минск?

Она снова остановилась, на этот раз, видно, от возмущения:

— Все помню!

Немного мы прошли молча.

— Вот помню, например, — сказала Машка, — что у мамы было красное платье в горошинку и оно насквозь промокло, потому что мы попали под дождь. Оно просто прилипло к маме. И она очень стеснялась.

— Когда это, когда? — нахмурился Вадька.

— А вот тогда! — поддразнила его Марья. — Летом!

Мы медленно шли по апрельской улице, с карнизов свисали бугристые сосульки, солнце шпарило прямо в глаза, заставляя жмуриться. На деревьях чирикали одинокие воробьи — война и воробьев не пощадила, ударила по веселому птичьему племени, будто даже простого, но радостного чириканья не терпела, ударила по воробьиному народцу страшными морозами, и я сам видел, как на дороге лежали оледеневшие пуховые шапки, и бескормицей, ясное дело, ударила война — какая еда, какие крошки для воробьев, коли люди за каж-

дой крошкой бросались? И вот выбило, выбило воробьев в нашем городе, и чирикали они по весне как-то неуверенно, робко и стайками не держались, а все больше парами, чтоб, видно, совсем не заскучать от тоски да голодухи. Но все-таки они были, выжили, как и люди, и теперь, весенним часом, чирикали, одинокие и голодные, напоминая про себя, и я забылся, дурачок такой, начал посвистывать, сперва под нос, тихо, потом громко, а затем уже и совсем рассвистелся, а на самой высокой ноте оборвал, стыдась и расканиваясь.

Пригрело — и засвистел, как какой-нибудь воробей. Мне хорошо, я сытый, а ребята голодные. Вон Марья едва идет, просит шагать потихоньку. Что бы придумать?

Незаметно мы пришли к каким-то баракам, издалека совсем черным, от них несло карболкой, хлоркой, еще чем-то больничным, и я понял, куда мы забрели. Об этой больнице в городе говорили с суеверным страхом, утишая голос, чтоб, не дай бог, не сглазить, не поймать ненароком страшную тифозную вошь и не оказаться в этих самых тифозных бараках, откуда, конечно, выходят, выбираются некоторые счастливчики, но откуда многих выносят, обрядив в последнюю дорогу.

Бараки эти я видел впервые, хотя знал, в каком примерно месте они стоят, я подальше обходил не то что больницу, но даже часть города, где она была.

Вот, значит, в какой больнице лежит мама Вадика и Марья!

Но знают ли они об этом? Догадываются ли, куда угодила их мать? Понимают ли, что за беда...

При виде барakov я попятился, и Вадим заметил это. Он остановился и, помолчав чуточку, сказал:

— Вы будете здесь. А я отнесу письмо.

Он ушел к проходной, долго был там, потом вернулся.

Вадим подходил к нам какой-то сгорбленной, усталой, взрослой походкой. Он, казалось, даже не видел нас.

— Ну как мама? — окликнула его Марья.

Он вскинул голову, посмотрел на нас.

— Идет на поправку, — ответил он спокойно и уверенно, будто ничего другого и не могло быть. Вадим говорил одно, а думал другое, я понял это. Но что думает он?

— Велит тебя поцеловать, — неожиданно сказал он.

Постоял секунду, наклонился и поцеловал Марью. — Теперь вот надо нам думать.

Вадька стоял и раскачивался, как от зубной боли. Молчал и раскачивался. Марья даже сказала ему:

— Хватит качаться!

— Слушай! — повернулся он ко мне. — А у тебя нет какой-нибудь куртки? До весны. Не бойся, я отдам. — Вадька воодушевлялся с каждым словом, видеть, его озарила хорошая идея. — Понимаешь, — объяснил он, — я бы толкнул это пальто на рынке, и мы бы как-нибудь дожили до конца месяца. А там новые карточки!

Я не знал, что ответить. Была ли у меня куртка? Была. Но, если по-честному, я ведь не распоряжался ею. Надо спрашивать разрешения мамы. А она станет обсуждать это с бабушкой. Значит, разрешение требовалось от обеих.

«Вот ведь как, — оборвал я себя. — На словах сочувствовать, конечно, легко. А как до дела, так сразу всякие объяснения и сложности!»

— Пошли ко мне! — сказал я Вадьке решительно.

* * *

Зайти к нам они отказались, как я ни уговаривал.

— Мы подождем здесь, — говорил Вадим. — Подождем здесь.

В конце концов, мы разобрались, поняли тяжкое положение друг друга. Я, что ни говори, должен был бы показать, кому я прошу отдать мою куртку до весны. Но и Вадиму, как выяснилось, было неловко. Мне ведь потребовались бы доказательства. А Вадиму слушать про себя не хотелось. Ведь я и про столовую должен был рассказать.

В общем, я согласился. Уступил. Попросил только Вадика и Марью стать под нашими окнами, чтобы мне было хоть кого показать.

Дома оказалась одна бабушка.

Бросив портфель у порога, не раздеваясь, не слушая ее упреков в том, что опять стал последним бродягой, я уселся на стул возле нее и с жаром принялся рассказывать про шакалов в восьмой столовой, про Вадима, про его маленькую сестру, про драку с целой шайкой, из которой мой новый друг вышел победителем, про то, что он не ел пять дней, а карточки потеряны и мать

лежит в тифозных бараках, уже поправляется, но вот есть такая идея: продать хорошее пальто. Так как бы насчет моей курточки? Одолжить? До весны! До тепла! Это же всего месяц!

Чтобы быть доказательным, я подтащил бабушку к окну и показал ей Вадика и Марью.

Они стояли внизу, два темных человечка в синеющих сумерках, один побольше, другой поменьше, и, наверное, оттого, что смотрел я сверху, плечи их казались мне опущенными, будто топчутся на снегу не пацан и девчонка, а два сгорбленных карлика.

Что удивительного в карликах? Отчего люди показывают на них пальцами? Оттого ведь, что маленькие ростом, а на самом деле взрослые люди или даже старики.

Марья и Вадим тоже совсем взрослые — пришло мне в голову. Взрослые! Им не хватает только роста и знания, чтобы спасти себя.

* * *

Бабушка глядела на них сверху, крепко задумавшись, и сквозь задумчивость свою спрашивала меня очень странным голосом, как заведенная, без всякой интонации, спрашивала меня всякие глупости.

Одну за другой. Даже, кажется, не ожидая моих ответов.

— Разве можно прожить месяц на это пальтишко? И пять дней без еды — тоже неправда. Никто не выдержит. А школа где же? Можно в гороно сходить. Эвакуированным помогают, есть специальное учреждение. Ох, сомневаюсь я! Если не вернут? Маму дожидаться надо, без нее нельзя.

Не знаю, сколько уж я бился с бабушкой. От окна она отошла, но согласия своего не давала, хотя и возражала тоже странно — молчком. Я, уже распалюсь, начал голос повышать — может, она меня лучше так поймет, — но бабушка глядела на меня округлившимися, перепуганными глазами, часто моргала и неуверенно отбивалась.

Мне показалось, она обиделась на меня. Ушла за печку, загремела там кастрюлями, включила керогаз, в миске захлюпала, вкусно запахла завариха.

«Эх, елки, — подумал я, — а ведь Вадька-то с Марьей, кроме единственного куска хлеба, ничего не ели».

Я решился. Подошел к шкафу, где хранилась семейная одежонка, вернее, жалкие ее остатки, повернул ключик, потянул на себя дверцу. Она, как назло, за скрипела — противно, по-козлиному, я напугался: вот выскочит сейчас бабушка, примется стыдить меня и я окажусь вроде как вором в собственном доме. А кому хочется, чтобы про него плохо думали? Я испуганно толкнул дверцу обратно, и она снова заблела. Прямо не дверь, а бабушкина союзница.

Пришлось сунуть руки в брюки, независимо, как будто ничего не случилось, обогнуть печку, поводить носом возле кастрюли, спросить: «Завариха?», — а самому украдкой глянуть на бабушку — не заподозрила ли она что?

Но бабушкино лицо было по-прежнему задумчивое, а взгляд отсутствующим. Что-то такое с ней происходило, мне совершенно непонятное и ранее невиданное. Бабушкина задумчивость была до того крепкой, что она набухала огромную миску муки, помещивала завариху, словно готовила ужин не для троих, а для целой роты.

Я быстро вернулся к шкафу, не боясь, решительно и резко рванул на себя дверцу, она коротко визгнула, будто ахнула от моей такой настойчивости.

Куртка, сшитая бабушкой для весны, когда еще не так жарко, но уже и не холодно, походила, скорее, на серый и тонкий балахон, и, еще натягивая ее, я подумал, что вряд ли выручу Вадима — в такой одежке запросто продрогнешь до самых костей, все-таки еще вокруг снег, пусть и рыхлый, а утром поджимают заморозки, так что, выходит, этот худой балахон мой не спасение, а полный риск.

Но когда человек на что-то решается, отступать нельзя, да и все равно должен был я показать Вадиму свою куртку, чтобы не подумал, будто я сдрейфил.

Пальто свое, ворвавшись домой, я не повесил на крюк возле двери, и это меня спасло. Сперва пришлось натянуть на себя куртку, а потом пальто, лежавшее на стуле. Аккуратно застегнув пуговицы, я опять принял независимый вид и прошел мимо бабушки.

— Бауш, — сказал я, — маму подожду на улице. С ребятами.

Она ничего не ответила. Что тут ответишь, когда человек говорит здраво и непреклонно!

В общем, мама застала всех нас в дурацком положении. Я снял пальто, стянул куртку, и Вадим рассматри-

вал ее, прикладывал, будто в магазине, рукава к плечам, подойдет ли, а я зажал свое пальто между ног, помогая ему, излагая сомнения насчет спасительности этого балахона. Марья тоже увлеклась, она, как старушенция какая-нибудь, ворчала на нас обоих, говорила, что Вадька помрет, отбросит копыта, сыграет в ящик, в общем, повторяла всякие мальчишеские выражения, надеясь, видно, что они скорее дойдут до наших мозгов.

Вот тут мама и подошла. Она появилась из-за моей спины. Поэтому я не увидел ее, и она спросила прямо у меня над ухом:

— Что происходит?

Вадька и Марья замерли, готовые отбежать в сторону, а перепугался все-таки больше всех именно я. Во-первых, потому, что мама возникла неожиданно, точнее, в самую неподходящую минуту, застав меня врасплох, а во-вторых, одно дело, когда готовишься к разговору заранее, тут и лицо, улыбка твоя, и шаг, и сама фигура тебе помогают, и совсем другое, когда говорить, да еще того важнее — убеждать принимаешься с ходу, через плечо, хочешь не хочешь, а первые слова всегда выходят вроде оправдания.

Напрягаясь, стараясь вложить в собственные слова всю силу убеждения и в то же время обходя неудобные моменты, щадя самолюбие Вадика и Марьи, я попробовал объяснить суть моего переодевания.

Вышло куцо и непонятно.

Мама решила, что меня, простофилю, облапошили. Еще бы, что это значит — дать куртку на время, до весны, пацану, которого она видит первый раз! И мама сказала, избрав самую краткую и решительную форму приказа:

— Ну-ка марш домой!

Я понимал, что она не разобралась только из-за меня, из-за моего путаного объяснения, но мама тоже поступала нехорошо — приказывала мне при людях, приказывала, не докопавшись до сути, и, значит, не доверяла мне, будто я лопух последний, стану дарить курточку безо всяких причин, не зная будто, что за каждую тряпку на рынке можно выменять драгоценную еду? Даже яйца!

Поколебавшись, я положил свое пальто на снег, аккуратно положил, понимая, что от моего поведения, от моей разумности зависит сама справедливость и моя, пусть мальчишеская, но честь, — я аккуратно положил

пальто на снег, вместо того чтобы просто одеться, подошел к маме, взял ее за рукав и с силой отвел в сторону. На несколько шагов.

— Оденься! — сказала она встревоженно. Ха, но какое это имело сейчас значение?

Снова, уже с другим лицом и другими, видимо, интонациями, я стал рассказывать маме весь свой день. Теперь она слушала внимательно. Поглядывала на Вадика и Марью. Не перебивала.

Потом повторила:

— Оденься!

А сама пошла к ребятам.

— Пойдемте к нам! — строго сказала она.

Но Вадим покачал головой.

Мама, кажется, чуточку смутилась. Она молчала, что-то такое обдумывая, и это молчание ей помогло, потому что мама придумала хорошие слова.

Смягчив голос, она сказала:

— Пойдемте к нам, ребята, я вас приглашаю.

Я тоже засуетился, надел свое пальто, Вадим протянул мне куртку, переступил с ноги на ногу, и мы пошли к нашим дверям. Тем временем мама негромко и не сердито поругивала меня.

— Ребята совсем продрогли, — говорила она. — А ты не мог их привести домой? Подождали бы меня, вместе решили бы, как быть.

Бабушка вывалилась у меня из головы, не до того было, зато мы у нее из головы не выходили, оказалось. Едва вошли, едва я назвал Марью и Вадика, как она потащила всех к умывальнику, заставила мыть руки, усадила за стол и перед каждым поставила по тарелке дымящейся аппетитной заварихи с лужицей масла посередине.

Все неловко молчали, и, чтобы сгладить эту неловкость, бабушка завела разговор про последние известия — она их слушала чаще, чем все мы, — про то, что вот уже и конец войны, не за горами опять мирная жизнь, когда в магазинах совершенно свободно и без всяких там карточек будут продаваться и хлеб, и мука, и молоко, и даже колбаса всякой толщины, вот будет благодать!..

Так уж как-то вышло, что разговоры про скорую мирную жизнь получались у нас тихими, осторожными, как бы даже священными разговорами, — каждый мечтал об этом, точно о высшей мере счастья. Когда кто-

нибудь из нас заговаривал об этом, остальные старались есть тише, задумывались, смотрели друг на друга просветленно, с надеждой. Мы и сейчас притихли — мама, бабушка и я, — но Вадим и Марья будто оглохли. Они стучали ложками, торопливо глотали завариху и не обращали ровно никакого внимания на бабушкины мечтания. Бабушка деликатно умолкла. Потом принесла всем добавки. Затем еще Вадику и Марье.

Они отложили ложки, и я отметил про себя, что в глазах у ребят появилась какая-то муть. «Вот елки, — подумал я, — им, наверное, нехорошо, ведь всем известно, что после голода нельзя есть много, так и помереть можно. Нам об этом говорила Анна Николаевна».

Но муть была совсем другая. Марья положила руки на стол, а на руки уронила голову и тотчас, будто по волшебству, уснула.

Вадька спал по-другому. Чуть отвалившись на спинку стула, столбиком, сидя, открыв рот и повесив голову набок.

* * *

Втроем мы перетаскивали Марью и Вадика на мою кровать, и они даже на мгновение не очнулись. Казалось, это не сон, а тяжелое, может, смертельное ранение и ребята лежат без сознания.

— О-хо-хо! — вздыхала бабушка, покачивая головой. — До чего же голодуха детей доводит! До чего доводит!

— Где хоть они живут? — негромко спрашивала меня мама.

Я пожимал плечами.

— Какая хоть у них фамилия?.. В каких школах учатся?

Но и этого я не знал.

Аккуратно приподнимая Марью, мама сняла с нее платьишко, внимательно, по швам, оглядела его, потом встряхнула, повесила на спинку стула.

— Платьице чистое, — сказала она бабушке, — латаное, но ухоженное.

— Да и он не запущенный, — ответила бабушка. — Пальтишко и правда новое, ботинки тоже.

— Видать, — подхватила мама, — хозяйку в больницу отправили недавно.

Разглядывая одежду Марьи и Вадима, бабушка и мама будто их документы рассматривали. Молодцы, ничего не скажешь! Женский взгляд видит такое, на что обычный человек внимания не обратит.

— Раз все новое, — сказала под конец бабушка, — значит, крепко бедствуют. Все выдано по ордерам, все получено в помощь.

Мама решительно взяла Марьин портфель, открыла его — я и пикнуть не успел, — принялась перебирать содержимое.

Я догадался, что она ищет тетрадку, ведь на обложках все пишут класс и школу, там и место для этого есть. Но Марьины тетрадки — их оказалось три — были сшиты из обыкновенной газеты. Разрезали газету, прихватили листки иглой и белой ниткой, получилась тетрадка. И на ней — имя, фамилия, класс, предмет. «Арифметика», «Русский язык». В портфеле была и чистая, неподписанная тетрадка с хорошей бумагой, очень правда, тонкая, листы больше чем наполовину уже выдраны, и я догадался, что на этой бумаге ребята писали записки своей маме в больницу.

Так мы узнали фамилию Марьи и Вадима: Русаковы.

Мамины глаза наливались решимостью, морщины на ее лбу сошлись к переносице — она готовилась к действиям. Но я вспомнил почту и письмо, которое мы отнесли в тифозную больницу. Я представил свою маму на месте их мамы, представил на минуточку, что, кроме тифа, у мамы еще больное сердце, как у мамы Вадика и Марьи, и что бабушки у меня нет, а я потерял карточки и могу, могу сообщить об этом маме, имею такое право, но все-таки никак не могу, потому что она и так там плачет — не из-за себя плачет, не из-за своей болезни, а от страха, от беспокойства за меня, да еще, окажется, я карточки потерял и должен загнуться с голодухи. Нет уж! Правильно поступали Вадим и Марья! Как ни крути, из двух бед надо всегда выбирать ту, которая больше, о ней помнить, с ней бороться, пока достаёт сил, а ту, которая меньше, одолевать втихомолку, придумывая что угодно, шакаля даже, если придется, только не сдаваясь, не допуская, чтобы большая беда победила.

И я сказал маме:

— Ни за что! Ни за что нельзя, чтобы она узнала. Представляешь — она умрет?

Мама, конечно, поняла, о чем я говорю. Она опустила голову, нахмурилась еще сильнее, спрятала Марьины тетрадки в портфель.

— Но что-то надо делать! Как-то помочь!

Она посмотрела выразительным взглядом на бабушку. Та понурилась, о чем-то задумавшись, потом сказала:

— Ну, на неделю у нас пороку хватит.

Теперь понял я: бабушка говорила о заварихе. Вернее, о запасе нашей еды.

— Это не выход, — проговорила мама. — Надо что-то придумать.

— Может, в военкомат? — спросила бабушка.

— В военкомат! — решительно сказала мама. — В собес! В горono! Да мало ли разных учреждений, которые помогают, должны помочь! Виданное ли дело: два ребенка от голода ну только что не помирают!

Мама рассердилась на кого-то, неизвестно на кого, лицо ее порозовело, она встала и принялась повязывать платок, но глянула на Вадика и Марью, села.

— Куда ж я без них-то? — спросила она. — Без них нельзя.

А они спали. И будить их было жалко.

* * *

Они проспали как убитые до самого утра.

Мне мама устроила постель на стульях. Составила их рядком, спинки через каждый стул в разную сторону, посередке стеганое одеяло, сверху байковое, и получилось гнездо — лучше некуда. Только ребята не видели.

Но я расштал все-таки за ночь свое гнездо. Под утро — уже вставать пора было — свалился на пол, сперва напугался, потом вспомнил, что со мной, и расхохотался. Всех поднял смехом. Не так уж и плохо, в конце концов, начинать день с улыбки.

Бабушка и мама быстро оделись, застучали в прихожей, полилась вода из ведра, зацокал носик умывальника.

Марья сидела на краешке кровати растерянная, обхватив себя за плечи, искала глазами платье, Вадька отряхивал брюки — так ведь и проспал в них, мама и бабушка не решились его раздеть; правильно сделали: зачем смущать человека?

Вадим, похоже, злился на себя. Как тогда, в столовой, не смотрел на меня. Хорошо еще, мамы и бабушки не было в комнате.

— Ну чего ты! — толкнул я его в плечо.

Он будто того и ждал — хоть словечка, хоть улыбки.

— Черт его знает, что такое! — пробурчал Вадим. — Будто в яму провалился. Ничего не помню. Вот сижу за столом, и вот проснулся.

— Правда, чего это с нами было? — спросила Марья.

Бабушка и мама стояли в дверном проеме, глядели на нас и улыбались, но Вадька повернулся к ним спиной, не видел.

— Ты, Марья, маленькая, — сказал он, по-взрослому вздохнув, — поэтому не знаешь. Сытость, как и голод, с ног сбить может. Если неожиданно.

— Будто кто-то подошел и сбоку стукнул? — спросила она.

— Точно! — засмеялся Вадим.

И правда, была тогда у нас такая забава. Подойти к приятелю со спины, сложить обе руки вместе, чтоб удар посильней был, и стукнуть сбоку по плечу. Можно и свалить, если удар покрепче.

— Ну-ка, бойцы, — сказала мама, — скорей к умывальнику.

В руках она держала отутюженное Марьино платье, и девчонка вскрикнула:

— Ох! Как при маме!

Мама спешила в госпиталь, поэтому завтрак получился очень торопливый и нескладный, но кто тогда думал об этом, ведь жили мы все лишь бы, лишь бы.

Лишь бы дожить до новых карточек, лишь бы перехватить чего-нибудь съедобного, лишь бы скорей на работу, в школу, лишь бы дожить до победы. Война затянулась, голод и холод одолевали постоянно, и к ним уже попривыкли, только вот к войне никто привыкать не хотел, все торопили ее, откладывая радость, удовольствие да, кажется, и саму жизнь до лучших времен, до мирных дней.

Так что мамину торопливость никто не принял за невежливость. Каждому ясно: некогда, уже утро, нужно на работу.

Мама спрашивала Вадима, и он отвечал, при этом

часто повторяя одно и то же: он просит ничего не делать, очень просит.

Она спросила, где живут ребята, где работала их мама, жив ли отец. Отец погиб давно, в сорок первом, а вот на мамину работу ходить не надо. Почему — Вадим не сказал. Но мы все это знали.

Мама убежала, наказав нам явиться вечером.

— Непременно, обязательно, во что бы то ни стало, — сказала она и, одевшись, убежала.

Вадим, оказалось, учился во вторую смену, но нам с Марьей было пора. Он тоже оделся.

Бабушка предложила Вадьке остаться, он отказался наотрез.

— Мне Марью надо проводить, — сказал он, — потом домой, прибраться, вообще поведать.

Марья оказалась дисциплинированной ученицей, бежала впереди нас, охала, что опоздает, пока Вадька не отпустил ее.

— Хорошо, — сказал он, — беги. — А мне объяснил: — До школы недалеко, все перекрестки уже прошли.

Перекрестки! Я что-то не слышал, чтоб на наших перекрестках случались происшествия. Лошадь наедет? Так они тянутся едва-едва, выбиваясь из последних сил, по рыхлому весеннему снегу. Машин мало, а если уж идет, шоферша — тыловые газогенераторки водили больше женщины — все уши пробибликает, подъезжая к перекрестку. Осторожные, такой уж женский характер.

Но я, между прочим, тоже опаздывал, а Вадим никак не мог этого понять.

— Ну, ладно, — сказал я, — вечером приходите, мне пора.

И прибавил газу.

— А ты что, — спросил меня Вадим вдогонку, — никогда уроков не пропускал?

Я остановился как вкопанный. Вот такой силой, будто магнит, обладал Вадим.

— Конечно, нет, — пожал я плечами.

Он вздохнул, пробормотал под нос, но так, чтобы я расслышал:

— Вот чудак! Да так ведь вся жизнь мимо пройдет. Мы сделали несколько шагов вместе.

— Ну, ладно, — сказал он, обращаясь уже не к се-

бе, а ко мне, — дуй. А я вот сегодня, пожалуй, в школу не пойду.

Сипло, сначала будто нехотя, потом все решительнее и громче загудели в разных углах города заводские гудки. А мне оставалось еще два квартала. Все! На первый урок я опоздал. Раньше бы я припустил, гнал до пота, ворвался бы, мокрый, в класс, покаялся бы перед Анной Николаевной — тут уж лучше всего признаться, что виноват, долго собирался или проспал, словом, сказать правду, получить помилование и сесть, но теперь я шел, равняя свой шаг с походкой Вадима, и успокаивал себя: один урок можно!

— Почему ты не пойдешь в школу? — спросил я его.

— Надо что-то делать, — проговорил он печально и глубокомысленно. Я уже хотел было посочувствовать ему, но тут он сказанул такое, что я опешил: — Сперва пойду в столовку. — После паузы добавил, усмехнувшись: — Пошакалю.

Ну да, ну конечно, корил я себя. Вообразил, что Вадим тебе близкий друг, хотя знакомы-то без году неделя — меньше суток. Вообще, что я знаю о нем? И почему он должен чувствовать себя обязанным только оттого, что поел у нас заварихи да уснул, сморенный едой?

На самом-то деле он чужой, лишь са-амую чуточку знакомый парень, и если, поев, он опять тащится шакалить в восьмую столовую, значит, он злобный человек, вот и все. Негодяй, отбирающий куски хлеба у слабых девчонок.

Мне стало противно. Я чуть прибавил шаг и посмотрел на Вадима. Может, он шутит, разыгрывает меня? Всякие розыгрыши были тогда в ходу. Но он смотрел вперед задумчиво, даже тоскливо. Казалось, он видит что-то сквозь снег на дороге, сквозь, может, даже землю, что-то видит такое, что недоступно мне. Совсем как наша учительница Анна Николаевна.

Я все-таки не утерпел, хотя это был стыдный и даже позорный вопрос. Я долго думал, как бы задать его необидней, но, когда думаешь о деликатности, всегда получается самое грубое.

— Ты что, не наелся? — спросил я. И покраснел.

Вадим посмотрел на меня сверху вниз. Без всякого удивления или любопытства посмотрел и ответил:

— Наелся. Но вечером надо чем-то Машку кормить. И завтра тоже.

В глаза он называл сестру только Марьей, торжественно получалось, ничего не скажешь. А сейчас назвал попросту. За глаза человек всегда искренней. Мимоходом я подумал, что, называя сестру полным именем, Вадька, пожалуй, старается воспитывать ее. Но главное было не это. Меня поражала его глупость. Мама же ясно пригласила их вечером к нам. Значит, будем есть.

— Но моя мама вас пригласила! — сказал я, не скрывая своей досады.

Он опять посмотрел на меня сверху вниз.

— Твоя мама, — сказал он совсем как взрослый, — не обязана нас кормить. — Он еще глянул на меня. И спросил, точно учитель: — Ты понял?

После этих слов я решил про себя: в школу сегодня не пойду.

Мне было стыдно перед Вадимом. Я готов искупить вину. За свои дурные мысли о нем я должен расплатиться.

Надо же! Думал о нем — он жадный. Думал — негодяй.

А он! Благороднейший из благородных!

Это бывает часто, во все времена, — в голодные дни войны и когда беды нет, а есть мирное, счастливое небо: мальчишка помладше, точно верный оруженосец, готов следовать за мальчишкой, который едва старше его.

Рыцарь идет, рыцарь говорит, рыцарь поет, рыцарь молчит, и все, даже молчание любимого рыцаря, кажется оруженосцу значительным и важным.

Счастливы оба.

* * *

Я думал, мы будем гулять, просто шляться, но Вадим двигался скорым шагом, и приходилось поторапливаться, чтобы не отстать от него. Время от времени он останавливался и молча смотрел на меня терпеливыми глазами.

— Ты что? — спрашивал я.

— Отдохни, — предлагал он.

Сперва я неопределенно хмыкнул: с чего он взял, будто я устал? Но потом хмыкать перестал. Мы уже

прошли километров пять, наверное. Перед этим получился такой разговор.

— А ведь ты и вчера в школе не был, — догадался я.

— Не успеваю, — ответил Вадим. — Пока все обойдется...

— А где ты ходишь?

— Ты думаешь, одной восьмой столовкой прокормишься?

Что-то не сходились концы с концами, я сразу это сообразил. Ну, неделю назад они потеряли карточки, тут все ясно. Но если человек шакалит всего неделю, откуда он все знает-то? Все столовые?

Вадька будто услышал меня. Понял незаданный вопрос.

— Мама у нас часто болеет, — сказал он. И вздохнул: — Так что приходится.

Он оживился, стал рассказывать.

— Самое хорошее место — вокзал, — сказал он. — А самые добрые люди — солдаты. Мне целую буханку хлеба однажды дали, — повеселел он. — А в другой раз банку американской тушенки. А еще раз — пачку шоколада. Представляешь? — Он даже хохотнул. — Лучше всего дают, когда на фронт едут! А когда с фронта, разве что сухарь получишь. Понятно. Хотят домой привезти. Сейчас всем худо.

— Так давай на вокзал, — предложил я. — Вдвоем больше выпросим.

— Там гоняют, — вздохнул Вадька. — На перрон за деньги пускают, да и то к приходу поезда. А так заберешься — в милицию тащат. Или к военному коменданту. К нему — лучше.

— Почему? — удивился я. Военная комендатура, да еще на вокзале, ловила всяких шпииков, я это знал, проверяли документы не только у солдат, но у всех мужчин: нет ли дезертиров?

— Он всегда отпускает, — ответил Вадька. — Да еще чего-нибудь даст, хлеба например. Там добрый дядька есть, однорукий. А вот мильтонши пристают, будто липучки: где живешь да как фамилия... Я там предупреждение имею, два раза попадал. Больше нельзя. Особенно теперь. — Он опять вздохнул, как старик. — Что будет с Машкой? Нет, рисковать нельзя.

И мы пошли, где попроще. Топали уже где-то на окраине. Я тут и не был никогда, хотя город для меня

родной, а Вадька здесь только в эвакуации. Ну и словечко!

С уроками сегодня я уже распростился. На первый опоздал. Ко второму не успел. Ну а являться на третий урок просто глупо. Анна Николаевна потребует веских объяснений, еще хуже — записки от мамы: в чем, мол, дело, какая причина для прогула. Будь что будет, махнул я рукой. И вот мы брели где-то на окраине, по неизвестной улице, и я, по правде говоря, старательно запоминал все повороты: уж очень подозрительно поглядывали на нас незнакомые ребята.

Одни лупили снежками друг в друга — весна вышла затяжная, то таяло, то вдруг погода свирепела, валил снег, и город утопал почти что в январских сугробах, — другие были на лыжах, улица кренилась вниз, кое-где довольно круто, и получалась хорошая горка — не зря весь снег укатан. Стояли на горке и бездельные пацаны, сунув руки в карманы; некоторые курили. И все эти ребята — и те, кто кидался снежками, и те, кто катался, и бездельники — при нашем приближении переставали смеяться и хмуро поглядывали на нас.

— Зря я тебя с собой сюда взял, — сказал мне негромко Вадим.

— Почему это? — слегка обиделся я.

— Да здесь бегать надо быстро.

— Зачем? — удивился я.

— От здешних пацанов. Будто маслозавод их собственный.

Мы оказались возле деревянного забора, за которым торчала высокая железная труба, вовсе не похожая на заводскую. У запертых деревянных ворот гоняла конский катыш стайка ребят.

Хорошая игра, если ничего другого нет. Особенно для морозной погоды. Один водит. Он метит катышем в других ребят, бьет, как футбольным мячом, до тех пор, пока не попадет в валенок или ботинок. Дальше водит тот, кого стукнул катыш.

Игра получается быстрая. Чтобы увернуться, надо бегать, да и далеко бежать не разрешается, надо подпрыгивать, вовремя, конечно, подпрыгивать, с расчетом.

Мальчишки прыгали себе, хохотали, обычное дело, и я не обратил бы на них внимания, если бы не Вадька.

— Берегись их, — сказал он. — Будь внимательнее.

Воздух вкусно пахнул семечками, к воротам время

от времени подъезжал транспорт — сани, груженные железными флягами с молоком или какими-то мешками. Ребята не обращали на них внимания, Вадим тоже был спокоен.

Он оживился только тогда, когда первая подвода выехала из ворот.

Парни, игравшие катышем, остановились, пропустили сани, потом побежали следом, выкрикивая что-то. Первые два слова я разобрал, а вот третье понять не мог.

Получалось, они кричали: «Дядя, дай ха-ха» или: «Дядя, дай жениха».

— Чего они кричат? — спросил я Вадьку.

— Просят жмыха.

Должен признаться без всякого стыда: я не знал, что это такое. Не знал, и все. Поколебавшись, спросил Вадима. Ведь Анна Николаевна, когда отвлекалась, когда задумывалась, произносила вслух свои замечательные мысли, часто повторяла истину, называя ее важнейшей: «Не бойтесь спросить, если чего-то не знаете. Пусть над вами даже посмеются. Знайте: это смеются глупые люди».

В общем, я спросил про жмых Вадима, и он не засмеялся. Объяснил, что это остатки. Масло жмут из семян подсолнуха — и вот получаются остатки, называется жмых.

— Вкусно? — спросил я.

— Спра-ашиваешь! — воскликнул он восторженно.

А мальчишки побежали за санями и отстали. Видно, у возчика не было жмыха. Или просто не дал, не знаю.

Из ворот с перерывами выехали еще три подводы, но, сколько ни бежали за ними мальчишки, ничего им не перепало. Я стал сомневаться в нашей удаче. Даже если с саней кинут этот жмых, ребята опередят нас — их много, они здешние. Вадька, похоже, тоже не очень-то уверенно чувствовал себя.

— Может, пойдем? — спросил я. — Черт с ним, с этим жмыхом. Еще надают.

— Могут, — согласился он и вздохнул. Но, подумав, сказал: — Все-таки подождем, а вдруг?

Из ворот вышел хромой дядька в полушубке и военной шапке без звездочки. Мальчишки на дороге не обратили на него никакого внимания, и дядька ковылял по тропинке мимо нас. Мы отступили в снег, чтобы пропустить его.

— Спасибо, молодцы, — сказал он хрипло, будто мы сделали ему какую-то услугу.

— Дядь! — спросил Вадим. — Жмыха не будет?

— Жмыха? — переспросил хромой и остановился. Не поймешь, сколько и лет человеку: волосы на затылке совсем седые, точно снег, а глаза смеются по-молодому.

— Зубы не обломаете? — спросил он, усмехнувшись.

— Новые вырастут! — ответил Вадька.

Хромой мужик рассмеялся.

— А что! — сказал он. — У вас, пожалуй, еще вырастут!

Он сунул руки в карманы полушубка, сразу в оба кармана сунул, и достал оттуда по желтому брикету, размером с большую плитку шоколада.

— Нате, точите зубы, — усмехнулся он, — вам это полезно.

— Пошли! — шепнул мне Вадька.

Я сунул в карман кусок жмыха и оглянулся. Пацаны, игравшие у ворот, приближались к нам. Впереди был рыжий крепыш.

— Эй! — крикнул он. — Отдайте одну! Это наше!

— Нет! — ответил ему Вадька. — Сегодня повезло нам!

Мальчишки могли бы запросто напасть на нас, если бы мы не уходили вслед за хромым дядькой. Получалось, отступали под его прикрытием. Не так уж здорово, но что поделаешь?

— Ну, подожди! — крикнул рыжий и повторил обидное. — Ну, погоди, шлendra! Я тебя знаю! Ты шакал из восьмой столовки.

Мальчишки захохотали.

— Бродит по всему городу, — не унимался рыжий, — будто голодный шакал.

И парни заорали:

— Шакалы! Шакалы!

Мы поднимались вверх по горе вслед за хромым дядькой, и гора орала нам мальчишечьими голосами:

— Шакалы! Шакалы!

* * *

На горе добрый дядька свернул, а мы пошли прямо. Мы шагали, скребя зубами склизлые от слюны плитки жмыха, и я все никак не мог понять его вкус. Пахло

прекрасно — подсолнечным маслом, а вот отгрызть хоть кусочек и размять его, чтобы проглотить, никак не удавалось. Вот так еда, топором руби!

Вадим молчал. Наверное, он думал о том же, о чем думал и я. А я думал о пацанах на горке и у завода. О щедрости и жадности. О доброте и злобности.

Нелегко доставалась еда Вадьке. Но это что, трудности! Главное, какой ценой.

Не верил я, что вся горка такой уж сытой была, нет, не верил. Значит, могли бы понять голодного пацана? Но понимать не желали. Почему? Из-за злобы, из-за выдуманного кем-то права собственности здешних пацанов на этот жмых, будь он проклят. Как откусить — и то не поймешь.

И вот они в отместку засвистели, заулюлюкали, заобзывались. Не смогли властью своей, своим правом, не смогли силой своего добиться, так давай словом колошматить Вадьку. Вернее, нас двоих.

Да, колошматили нас обоих, и это мне помогло разобраться в Вадиме. В его чувствах. Он шел понурый, усталый и, если б не я, совсем одинокий. Я понимал его тихое отчаяние: за голод приходилось рассчитывать самым неразмненным — добрым именем. И все-таки он был сильный человек, этот Вадик. Улыбнулся мне и сказал:

— Я этот жмых дома напильником пилю. Получается такая крошка. Глотай — и все. Вкуснота!

Я засмеялся:

— Как яичный порошок? Никто не догадался выпускать жмыховый порошок. Твое изобретение!

— Ага! — весело согласился Вадим. — Еще и топором рублю на мелкие кусочки. Получается как халва, только твердая. Ты ел халву?

Я пожал плечам. Кажется, ел. Но это было так давно, до войны, и я уже забыл, какая она такая, эта халва, какого вида и вкуса.

— Не помнишь? — спросил Вадька. И вздохнул: — А я помню. Просто житья нет.

— Житья? — удивился я.

— Ну да! — воскликнул Вадим. — Когда долго не ешь, вместо того чтобы забыть, наоборот, всякие вкусы вспоминаешь. Халву там, ромовую бабу, или кровяную колбасу, или жареные котлеты с луком, и так под ложечкой сосет — готов дерево грызть.

Я засмеялся.

— Чего смеешься, — спросил Вадим серьезно, — я и дерево грыз. Кору. Осиновая горькая, березовая — никакая, ее не раскусишь, а вот сосновую — очень даже можно. Прожуешь до муки и глотаешь. Пахнет хвоей.

— Да ну? — удивился я.

— Ага, — кивнул он, — только давишься с непривычки. Водой надо запивать. Ну и живот потом пучит.

— Вадь, — сказал я, решившись наконец спросить о том, что меня мучило. — А тебе ту девчонку не жалко? У которой хлеб отнял?

Он опять по-взрослому и без всякого удивления поглядел на меня сверху вниз. Прошел несколько шагов молча. Мне уже показалось, он оскорбился. Но не такой Вадька был человек. Просто он взвешивал слова.

— Понимаешь, — сказал он мне, помолчав, — я не думаю об этом. Стараюсь не думать. Иначе мы с Машкой пропадем. Что тогда будет с мамой?

Опять он умолк.

— А потом, этой девчонке остается обед. Она не померет с голоду. Я ее как бы поделить прощу, понимаешь? Только против ее воли. Силой.

Я вздохнул. Попробуй-ка разберись в таком деле.

— Вообще, — говорил Вадька, — когда не ел хотя бы сутки, все остальное уже не помнишь. Всякие там правила.

— Ну, а если, — задал я новую задачу, — у той девчонки был бы только тот кусок? Отнял бы?

Вадька хмыкнул, опять глянув на меня.

— Я, может, и шакал, — ответил он, — но не скотина.

Мы шагали, каждый думал о своем.

— Такие тоже есть, — сказал он, — тихо садятся за твой столик и тихо говорят: «Суп мой!» Или говорят: «Отдай котлеты», или говорят: «Сиди и молчи». Ну и пацан или там девчонка весь обед отдают.

Я даже остановился, возмущенный.

— Ни за что бы не отдал! — воскликнул я решительно.

— Ха, не отдал! — ухмыльнулся Вадька. — А если тебе ножик покажут из рукава?

Вот это да! Вот это столовка! Сказать бы маме и бабушке, вот бы они всполошились! Пожалуй, велели бы отказаться от бесплатных талонов. Мол, еще зарежут за какие-то щи! За котлету!

— Ну и пырнули кого-нибудь? — спросил я Вадьку. Он усмехнулся:

— Вроде не слышать. Страшают только. А там по-ди разберись, что случилось за углом.

Я спросил Вадьку:

— Неужели из-за еды можно человека убить?

Он помотал головой:

— Не знаю. Но те, что с ножиками по столовке ры-шут, не такие уж голодные. Шпана.

Про шпану у нас в городке толковали много и охот-но. Казалось, к концу войны шпана разбушевалась. Од-нажды дошли до того, что искололи ножом офицера, который из госпиталя выписался, на вокзал шел. В мешке у него был большой паек — консервы там, хлеб, — на него и зарились. Офицер стал защищаться, дрался как мог, но против ножа одними кулаками не больно навоюешь, вот и вышло: вернули офицера об-ратно в госпиталь. Едва выжил. Выходит, ничем не луч-ше хулиганская финка вражеских пуль.

Город роптал чуть не месяц. По улицам ходили во-енные патрули, останавливали всех, кому больше пятна-дцати лет. Подозрительных обыскивали, отвозили в го-родскую комендатуру.

Ходили и смешанные патрули — военные и милици-онерши; ясное дело, что от одних милиционерок толку мало — с кем они справятся? Разве с малолетними. Милиционерши ходили с военными, улыбались друг дружке, кокетничали, наверное. Наконец патрули ис-чезли совсем. До нового происшествия.

Так что я хоть и поразился опасности, которая угро-жала каждому в восьмой столовке, но поверил Вадьке.

Не такой он был человек, чтобы врать.

* * *

Почему я так верил ему?

Вижу всего второй день, а верю, как учительнице, как маме. Почему без всяких особых усилий он повел меня по городу, заставив забыть про школу? В чем со-стояла его магнитная сила?

Думаю, дело в том, что маленький человек спосо-бен сильно поражаться. Вообще сила чувств — вели-кое свойство маленьких людей. Крепко любить и сильно страдать — замечательные достоинства, да-да, именно

так: достоинства. Сильное чувство движет человеком. Пораженный маленький человек испытывает чувство привязанности к тому, что поразило его.

Меня поразил Вадим. Конечно же! Но еще сильнее поразила его жизнь.

Нельзя сказать, что я не знал лишений. Но бабушка и мама из сил выбивались, чтобы спасти меня. И я не знал, что такое голод. Как он ни стучал в наши двери, мама и бабушка не пустили его.

А вот Вадька знал голодуху. Очень хорошо знал, в лицо.

Обстоятельства, которые выпали на долю Вадима с сестрой, дали ему полную свободу и самостоятельность — что и говорить, заманчивое преимущество. Но заманчивое при других условиях.

Свобода, дарованная для сражения с голодом, самостоятельность, полученная для того, чтобы не помереть, выглядели иначе.

Они не могли не поражать.

* * *

Мы стояли у ворот рынка, и я, зачарованный, глазел на мрачную тетку в телогрейке и мужских бурках. В руках у нее была банка — обыкновенная пол-литровая банка, набитая сладкими петушками на палочке. Петушки в банке заманчиво топорщились, сияли на солнце, ведь были они красные, даже алые, и я решал неразрешимую задачу: какую же, интересно, краску добавляют в съедобных петухов, если они так горят.

— Ха, чудак, — сказал Вадим, перехватив мой взгляд. — Разве это еда? Один обман!

И мы пошли искать еду.

Но вначале Вадька как следует объяснил мне, что к чему. Вообще рынок он считал серьезным в смысле жратвы местом. Тут были, например, тетки, которые даже зимой продавали подогретое молоко. И если есть деньги, можно купить кусок хлеба, стакан молока и прямо тут поест.

Как объяснил Вадька, эта радость выпадала ему очень редко, когда не болела мама, когда она была на работе и когда, например, не было обеда, но были деньги.

Есть еще один хитрый прием, но им надо пользо-

ваться умело, редко и, конечно, летом. Взять в руки бидончик или бутылку, будто мать послала купить молока, — все-таки лучше бидончик, потому что у него есть своя крышка, — подходить к тетке и говорить ей очень уверенным голосом. Про уверенный голос Вадим сказал раза два или три подряд. По его словам, это имело решающее значение. Так вот, надо было подойти к тетке и сказать ей очень уверенным голосом: «Тетенька, ну-ка попробуем вашего молочка, не разбавлено ли водицей!» Тут тетка начинала божиться, что сроду таким делом не занималась, и плескала чуток молока в подставленную крышку от бидончика. Дальше следовало не спеша, смакуя, как бы пробуя на вкус, выпить молоко, спросить подозрительно: «А свежее?» — и, пока тетка или бабка снова божилась и крестилась, пожать плечами и отойти на достаточно безопасное расстояние — туда, где не видели этого подхода. Вот такой военной хитростью, прохаживаясь по молочному ряду, Вадька ухитрялся, по его словам, выпить стакан молока — из разных бутылок, от разных хозяек, по глоточку.

— Но чуть дрогнет голо-ос! — протянул Вадька. — Берегись! Торговки друг дружку не любят. Соревнуются. А тут сразу — лучшие подруги. В один голос орут: «Жулик! Нахал!» И надо еще память хорошую, — смеясь, объяснял он, — чтобы к одной и той же не подойти. И нужно все-таки иногда покупать. Вот уж покупать, — рассказывал он, — лучше у той, которую однажды обвел и которая тебя помнит.

Я представлял, как Вадька уверенно шагает с бидончиком по молочному ряду, останавливается для блезиру, торговки приглядываются к нему, а одна, узнавшая его, собирает узелком губы, придерживая до поры бранное, крикливое словцо, Вадька тоже узнает ее, смело, глядя прямо в глаза, подходит, говорит, как уже не раз говорил: «Ну-ка, тететенька, дайте на пробу!», пробует, нарочно тянет, чтобы подразнить молочницу, потом улыбается и восклицает: «Наливайте литр! Хорошее сегодня у вас молочко!»

— Одну и ту же тетку, — объяснил мне Вадим, — можно дурить так до бесконечности. Ясное дело: изредка надо молоко покупать.

Но сейчас было еще не лето, только апрель, и еду мы искали не на прилавках, а под ними.

Вадька обучил меня: надо идти с задней стороны

длинного базарного прилавка и глядеть под ноги продавцов. Искать следовало только одно: картошку.

Торопясь, продавец может уронить одну картофелину, она лежит себе у него под ногами, он ее даже истоптать по нечаянности может, к тому же не часто оборачивается. Подойди, стараясь сделать это незаметно, наклонись и возьми.

Мы шли, медленно переставляя ноги, точно солдаты на минном поле, мы шли медленно, успевая заглянуть во все закоулки деревянного прилавка, отыскивая оброшенную картофелину, но нам не везло. Да и не одни мы оказались такими хитрыми.

Навстречу нам плелась старуха в лохмотьях, известная всему городу нищенка.

Она бродила по улицам, согнувшись чуть не пополам, но о палку никогда не опиралась — руки держала за спиной, и, видимо, только это помогало ей удерживать равновесие. На голове у нее был черный платок, всегда сбившийся куда-то назад, и потому лицо нищенки прикрывали обрезанные седые волосы. Они торчали, как пакля, и нищенка смотрела на людей сквозь волосы, сквозь шторку, — глаза ее мерцали там, в глубине, делалось страшно, и ребята помладше обходили ее стороной. Один карман пальто, обтерханного, рваного, торчал всегда наружу, точно воры вытащили из него деньги, хотя какие там деньги у нищенки! Вот так она шла, разговаривая сама с собой, потом садилась на углу или у хлебного магазина и подвывала:

— Пода-айте, ради Христа! Пода-а-айте, ради Христа!

У хлебного магазина, я видел, ей подавали иногда маленьким довеском, и она тут же съедала его, громко чавкая и не переставая причитать свое:

— Подайте, ради Христа!

И вот она стояла перед нами, смотрела сквозь седые космы то на меня, то на Вадьку и спрашивала:

— Ну? Что? — И снова: — Ну? Что?

В руках она держала сморщенную, жалкую мороженую морковку.

— Отнимете? — спросила она, стараясь затолкать морковку в рукав. Но страшные, костлявые, в синих венах руки не слушались ее. — Отнимете? — спрашивала она. И кивала головой.

— Да нет, бабуш! — ответил ей спокойно Вадька.

Он и нищенки не боялся, смелый человек. — Не отнимем!

Она закивала нам, заулыбалась, спрятала все-таки морковку в рукав. А мы пошли дальше.

То ли старуха подняла все, что могло лежать на земле, то ли к весне цена на картошку повысилась и продавщицы обращались с ней очень осторожно, но нам не повезло.

Ничего мы не нашли.

* * *

После рынка мы зашли к Вадьке домой.

Никогда я еще не видел такой убогости! Комнатка, правда, вполне приличная, светлая, солнечная и теплая, хотя она прямо под лестницей трехэтажного коммунального дома. Зато две железные батареи грели вполне исправно, и я подумал, что это все-таки большое счастье: не надо возиться с дровами. Главное, доставать неизвестно где. Правда, посреди комнаты стояла еще «буржуйка», голенастая и длинная труба которой выходила прямо в форточку, заделанную для этого железным листом. На «буржуйке», наверное, готовили обед, или, может, она требовалась, когда не было топлива в котельной. Прямо на печурке, на верхней ее крышке, стояла керосинка.

Но все остальное!

В комнате было две кровати. На одной матрац лежал свернутым, открывая вместо пружин нестроганные доски, на другой поверх матраца валялось скомканное суконное одеяло, какие бывают в госпиталях, и две подушки без наволочек. Простыней тоже не было.

У окна стоял дощатый, сколоченный из струганых досок стол, на нем, прямо по центру, красовался старый угольный утюг, а на краю, одна в другой, кособочились две дюралевые миски с ложками.

При входе взблескивали умывальник и ведро, а с потолка свешивалась на проводе голая, без абажура, лампочка.

В общем, я был уверен: заведи сюда с улицы десять случайных прохожих и спроси: живут ли тут люди, девять покачают головой: мол, может, и жили когда-то, но давно уже не живут.

К тому же окна были крест-накрест заклеены белой бумагой. Надо же! В начале войны, верно, было такое

распоряжение, и все окна заклеивали бумажными полосками, чтобы, если бомба упадет, стекла не вылетали, крепче держались. Но когда я в первый класс пошел, приказ этот отменили, и хозяйки с такой радостью принялись их отдирать, отскребать ножичками, отмачивать водой, что самый несмышленный понял: все, враг до нас не доберется.

И только тут, в комнате под лестницей, было как в начале войны.

Единственное, что напоминало о людях в этой комнате, большая фотокарточка в деревянной рамке над той кроватью, где лежал свернутый матрац: мужчина и женщина.

Я принялся разглядывать их. Без всяких слов ясно, что это Вадькины родители. Отец погиб, а мама лежит в больнице. Я постарался пожалеть этих молодых людей на стенке, но у меня ничего не вышло. До того заретушированы были их лица, что они походили на манекенов, которые стоят в витрине универмага еще с довоенной поры, на двух улыбающихся человекоподобных кукол.

Вадим подошел к столу, вытащил из кармана плитку жмыха, потом открыл портфель, порывшись в нем и выложил кусок черствого хлеба, несколько корок и маленький кусочек сахара.

— Чуешь? — спросил он меня. — Все еще воняет.

Вот-вот! Самое главное, что делало комнату нежилкой, — запах хлорки, смешанный еще с чем-то, более едким и таким же больничным.

— Как маму в больницу увезли, мы чуть ночью не подохли, — сказал он. — Приехали санитары. Почему-то в черных халатах. Белье забрали и увезли, матрацы хотели сжечь, да, видно, нас пожалели, а в комнате так набрызгали из каких-то банок, что мы, ей-богу, чуть не претавились.

Он сидел у стола, не раздеваясь сам и не предлагая снять пальто мне — до того тут было неуютно.

— Вадь, — спросил я, — ну а кресты-то на окнах почему не смоеете?

Он опустил голову, помолчал, потом сказал чуть севшим голосом и какими-то взрослыми словами.

— Видишь ли, — сказал он и опять помолчал. — Это мама. Ей кажется: когда кресты на окнах, война еще только началась. И папка жив. — Он покачал головой, едва улыбнулся. — Я ей объясняю, что скоро

войне конец, а она плачет и говорит: «Не хочу! Не хочу!»

— Не хочет, чтоб войне конец? — удивился я.

Он снова покачал головой.

— Не хочет, чтоб отец умирал.

Вадька смотрел на фотографию над кроватью, на застывшие, неживые лица отца своего и мамы, и, ясное дело, ему совсем другое виделось в портрете с деревянной рамкой. Наконец он перевел взгляд на меня:

— Она странной какой-то стала, как похоронку принесли. С отцом все говорит. Смеется. Будто во сне все это. Потом проснется, нас увидит и плачет. — Он помедлил, точно взвешивал, стоит ли доверить мне что-то очень важное, потом сказал: — Ты знаешь, она даже салютам не радуется. — Вадим снова замолчал. Сказал, как старик: — Боюсь я за нее.

Я бы никогда не сказал так. И никогда не подумал. Я знал, что бояться за меня мама и бабушка. За бабушку я тоже, пожалуй, мог бы испугаться, если бы, допустим, она упала на ледяном тротуаре. Но за маму я не боялся — никогда не боялся. Жалел ее, это да, особенно когда она кровь сдавала, чтобы мне масло купить. Но бояться?..

Мама была взрослой женщиной, работала лаборанткой в госпитале, получала карточки как служащая, строго спрашивала мои уроки, пробирала, а если требовалось — она походила на энергичный мотор, который крутит всю нашу жизнь — и бабушкину, и, особенно, мою. Да что там! Мама была главный человек в доме, а когда отец ушел на войну, за мамой было последнее слово. И надо сказать, она очень здорово управлялась со мной, с бабушкой, со всем нашим домом и его заботами.

Нет, я, не боялся за маму! Она была моей защитницей, моей кормилицей. И я не боялся за нее, нет! Разве бояться за силу и справедливость?

А вот Вадька боялся. Выходит, его мама была слабей, чем он?

Может ли так быть?

Я не знал. Это было слишком серьезно для меня. Слишком.

Опять Вадькина жизнь отличалась от моей. Опять он думал о таком, чего я не знал.

Не знал, это не значит — не понимал. Понимать понимал, но разве все? Маленькую частичку...

Вадькина жизнь походила на большой и таинственный дом. Я стою лишь у входа в этот дом. Из открытой двери на улицу падает свет, образуя яркое пятно. И я вижу это пятно. Но вижу лишь его.

Что происходит в доме, мне неизвестно.

* * *

Мы пошли в столовую. Я пригласил туда Вадьку. Сегодня он не станет шакалить, решил я. Мы разделим мой обед, и все будет прекрасно. Потом подождем Марью и к вечеру поедем у нас. Как велела мама.

Вадим тоже спешил в восьмую столовую. Он забеспокоился, заторопился, и я подумал, что он занервничал из-за еды. Куском хлеба, корками да плиткой жмыха сыт не будешь.

Вдали показалось крыльцо восьмой столовой, и я вспомнил вчерашний день.

— Вадь, — спросил я своего нового друга, пораженный, что забыл выяснить самое главное. — Как ты не побоялся? Вчера-то? Против целой шайки?

— А-а, — вспомнил он. И вдруг брякнул такое, что я опешил: — Не знаю.

— Как «не знаю»? — поразился я. — Чуть не задушил этого Носа, а сегодня не знаешь!

— Голодный был, — усмехнулся Вадим. — Вот сегодня не смог бы, убежал. А когда человек голодный, он сатанеет. У меня вчера уже в ушах звенело. Думаю: «Черт с ним, все надоело». Ну и вцепился. А что делать?

Я крутил головой, рассказывал в лицах, как Нос сначала грозился, пугал, а потом плакал и как победитель Вадька вдруг поехал вниз по забору и — раз! — в обморок. После победы-то. И как тетя Груша бежала с кружкой в вытянутой руке.

— Вадик! Коля! — слышали мы Марьин крик. Она бежала за нами, если это, конечно, можно было признать бегом. Двигалась каким-то таким странным манером — быстрым шагом и медленными пробежками. Минуты две она не могла говорить, пока, наконец, добежала до нас.

— Вадик, почему ты не ходишь в школу? — спросила она в конце концов. — Почему ты обманываешь меня? Тебя везде ищут.

Вадим не на шутку смутился. Такой человек, как

он, должен был отмахнуться, сказать: «Подумаешь!» Или что-нибудь в этом роде. А он стоял перед Марьей, опустив глаза, будто его ругает взрослый человек, имеющий такое право.

— Меня сегодня вызывал директор, — сказала Марья. — Дал талоны в восьмую столовую, велел, чтобы и ты их получил в своей школе. Очень обижался. Они откуда-то узнали.

Теперь Вадим смотрел на меня. Пристально, с укором. Но я не понимал его взгляда. Укорять Вадима имел право именно я. Сейчас он пойдет в школу, а я уже прогулял. Ничего себе!

— Это твоя мама! — сказал Вадька.

— Мама? — Я засомневался. Помотал головой. — Когда она успела? У нее ведь работа.

В ту пору я не думал о существовании телефонов. Что такое изобретение есть, известно любому детсадовцу. Но телефонов в наших домах не было. Если требовалось поговорить, люди шли друг к другу. И я подумал о том, что мама не могла сбегать в две школы. К тому же она не знала, где именно учатся Марья и Вадим.

А потом, что тут плохого, если Марье дали талоны? Я так и сказал Вадиму.

— Но мама, мама, мама! — трижды иступленно повторил он.

— Я директору сказала, — затараторила Марья. — Он и не собирался говорить маме. Он обещал.

— «Обещал, обещал!» — сердито повторил Вадька. Потом улыбнулся, что-то сообразив: — А в какой больнице лежит, не спрашивали?

— Нет! — ответила Марья.

Вадим обрадовался.

— Ну-ка, — воскликнул он, — покажь свои талоны!

Марья протянула ему сжатый кулак, вывалила на его ладонь смятые бумажки.

— Ха-ха, — засмеялся Вадим, — теперь не надо шакалить!

— Еще не все! — смеялась Марья. — Директор сказал, он что-то такое напишет. И мне дадут карточки. Но надо куда-то идти.

Она наклонилась над портфелем и вытащила оттуда большой синий листок.

— Деньги! — воскликнул Вадим.

— Это наша учительница, — сказала Марья. — Тоже ругала меня. А потом дала деньги.

Что-то до странности быстро менялись дела у Вадима и Марьи. Он, видать, тоже подумал об этом.

— Непонятно! — сказал он нам, но Машка засмеялась.

— Если непонятно, — сказала она, — пойдем в столовую. Поешь — и сразу все поймешь.

Мы захохотали. И двинулись к восьмой столовке.

Вадька распахнул дверь в столовую уверенно и спокойно. Народу снова было полным-полно. Некоторые ели одетые, другие стояли к тете Груше. Вадька стал в очередь первым, за ним мы с Марьей.

Сегодня мы не торопились.

* * *

— Никак талоны дали? — сказала тетя Груша, когда подошла Вадькина очередь.

Он молча кивнул. Щеки у него опять были в красных рваных пятнах.

— Ну и слава богу! — сказала тетя Груша, подавая ему номерок прямо в руку.

Не торопясь, мы выстояли очередь, и, хотя перед нами снова прорывались большие пацаны, я не возмущался, насвистывал себе потихоньку под нос, говорил с Вадькой и Марьей.

Мы договорились обо всем, и я уже не чувствовал себя шалопаем, прогулявшим уроки. Вадьке, конечно, надо идти в школу, а я с Марьей схожу на почту, она напишет письмо, и мы отнесем его в больницу. Теперь я сопровождал сестру Вадима. Он просил меня об этом. Ясное дело, я не мог отказать, это было бы не по-товарищески. Ведь мне доверяли маленькую девчонку.

Потом мы пойдем к нам. Марья приготовит уроки. Я тоже, естественно. И после школы Вадим явится к нам. Как штык. Была тогда такая поговорка: как штык. Значит, точно. Без подвода. Штык ведь не подводит бойца!

И тут снова вышло приключение. Да еще какое!

Марья получила еду первой и заняла столик. У Вадима в руках оказалось сразу три портфеля. И еще он хотел помочь мне притащить поднос. Мы стали тихо препираться, потом Вадим ушел за ложками, и я его ждал. На какое-то время мы забыли про Машку.

Когда подошли к столику, возле нее сидел парень с лицом, похожим на тыкву.

Ложкой Марья плескалась в своем супчике и парализованно глядела на нас. Будто беззвучно кричала: «Помогите!»

Мы пригляделись. Второго у Марьи не было. Ее второе — опять котлеты — жадно пожирал парень с лицом, похожим на тыкву.

Мы не сели, мы упали на стулья.

— Ты чо? — прошептал Вадим парню.

Тот подумал, мы просто храбрецы и не имеем к Марье никакого отношения.

— Тихо, пацаны! — проговорил парень, не переставая чавкать.

Вадька уже весь напрягся. И я понял, что грянет бой. Торопясь, я снял с подноса тарелки и ухватил его покрепче. Но Вадька медлил. Что-то, видать, мешало ему.

— Попросил бы по-хорошему, — сказал Вадька парню уже погромче.

Тот только хмыкнул.

— Половину бы попросил, — уговаривал Вадим.

— Не ной, — отмахнулся тыквенный парень.

Это походило на гром и молнию. Точнее, на молнию и гром. Сначала в воздухе мелькнул портфель, потом раздался громкий грохот. Мальчишка слетел со стула, миска грохнулась на бетонный пол.

Парень подскочил к Вадиму и прошептал:

— Гад! Попишú!

В руке у него блеснула безопасная бритва, как-то хитро зажатая между пальцев.

Но Вадька уже схватил мой поднос. Если надо, из него получался хороший щит. А если надо, то и боевое оружие, которым здорово можно треснуть по тыквенному кумполу этого пацана.

— Блатной, что ли? — спросил его Вадька.

— Попишú! — вякнул тот, отступая. Отбежал несколько шагов, но, увидев, что Вадим не нападает на него, повернулся и пошел, поглаживая себя по голове. Издалека показал кулак.

Машка сидела ни жива ни мертва. Да и у меня, признаться, тряслись руки. Вадим опять казался спокойным. Даже, кажется, огорченным.

Я заставлял его поест из моей тарелки, но он реши-

тельно отказывался. Потом стал причитать, как старуха:

— Зря я его! — Кряхтел, вздыхал и снова повторял: — Зря!

— Чего ты выдумываешь! — возмущался я. — Почему зря? Ведь он грозил, Маша, показывал тебе бритву?

Марья кивнула, но тоже молчала, будто и она жалела этого вора.

Наконец мы договорились. Я заставил Вадима съесть половину моего супа, а котлеты мы разделили на троих.

В миске, которая грохнулась на пол, счастливо уцелела половина котлеты и немного картофельного пюре. Но ни Вадим, ни Марья не прикоснулись к ним. Будто этот злобный парень с бритвой оставил там отравленную слюну.

Еще вчера Вадим бы доел это, да и Марья тоже. Еще вчера Вадим мог бы сам отнять у маленькой девочки ну если не второе, то кусок хлеба. А сегодня они отводили глаза от тарелки. Будто во всем виновата она.

«Выходит, — подумал я, — когда голод отступает, человек сразу становится другим? Но кто и кем тогда правит? Голод человеком? Человек голодом?»

* * *

Скудный обед только растравил меня. Вадька и Марья были привычнее к недоеданию, но хмурились, все успокоиться не могли.

А солнышко горело ярким, слепящим фонарем, крышу восьмой столовки окантовали стеклянные сосулины, с них не капало, а прямо лилось, и воздух пьянил наши головы. Так что, пока мы дошли до угла, лица Вадима и Марьи уже разгладились, глаза поглубели, наверное, это синее небо переливалось в нас.

Я слышал, как пахла весна. Некоторые, я знаю, не понимают этого. А ведь очень просто! Нужно идти не спеша и медленно, глубоко, до самого дна, вдыхать свежий воздух. И вот когда вдохнешь совсем глубоко, во рту делается свежо и сладко: у весны сладкий вкус.

Я показал, как это делается, Вадиму и Марье.

— Чувствуете? — спрашивал я. — Чувствуете?

Они чувствовали. Задерживали дыхание, чтобы ве-

сеннюю сладость подольше сохранить. Будто наслаждались необыкновенными конфетами.

— Может, и есть не надо? — спросила, улыбнувшись, Марья. — Дыши себе и дыши!

— Хорошо бы! — вполне серьезно сказал Вадька. — Вообще, разве не могут ученые придумать, чтобы получать питательные вещества из воздуха?

Я закатился.

— Зря ржешь! — Вадим был совершенно серьезен. — Еще увидим! Ведь эта сладость весенняя из ничего не может получиться. Что-то есть! Какие-то такие, может, пока неизвестные молекулы. И вот делают такой прибор. Вроде курительной трубки, только без табака. Или пусть побольше, размером с музыкальную трубу. Человек втягивает воздух, и специальный прибор перерабатывает его в питательное вещество.

— Какой прибор? — не понял я.

— Который в этой трубе запрятан! — как бестолковому двоечнику, объяснил Вадим.

— А не боишься, — спросил я его ехидно, — что люди быстренько весь воздух слопают? И когда его станет мало, им начнут торговать? Рупь — кубометр. И будут столовки дополнительного питания.

— И там заведутся шакалы, — подхватила Машка.

Мы уже хохотали все троим над Вадькиной антинаучной мыслью.

— И станут хапать у маленьких девчонок! — говорила, покатываясь, Марья. — Хап! Хап!

Она смешно глотала воздух. И все мы вслед за ней, пока еще воздух не выдают в столовке, начали хапать его тут, на улице. И честное слово, вкусно получалось.

Вот тогда мимо нас мелькнула тень.

Я пригляделся. Да, это пробежал тот тыквенный парень.

Мне показалось, он стукнул Вадьку. Или просто его задел...

— Погляди-ка спину, — попросил Вадим.

Я охнул, а Марья в голос заревела.

Новое Вадькино пальто было наискосок разрезано. В щель выглядывала прошитая белыми нитками прокладка. Ну, которая утепляет.

— Вот гад! — повторял Вадим. — Вот гад!

Он расстегнулся, снял пальто, внимательно оглядел разрез, потом оделся снова, повторяя одно и то же: «Вот гад!»

Потом добавил:

— Теперь его не продашь!

А Машка заливалась! Мы принялись успокаивать ее, но она никак не затихала. Прохожие оборачивались на нас; какая-то старуха, не решаясь приблизиться, стала кричать, что мы обижаем девочку.

— Марья! — напрасно взывал Вадим к сестре. — Ты что? Испугалась?

Она мотала головой.

— Марья! — строго говорил Вадим. — Это на тебя не похоже. Да перестань, а то нас заберут!

Наконец, еще всхлипывая, глубоко вздыхая, как вздыхает, набирает в себя воздуха, постепенно успокаиваясь, всякий горько плакавший человек, она проговорила ломким, прерывистым голосом:

— Мама пальто-то выкупала! Опять расстроится! Плакать начнет!

Вадька нахмурился. Наверное, испугался за свою маму.

— Да не бойтесь вы, — сказал я, — моя бабушка зашьет. Без всяких следов.

— Так не бывает, — еще вздыхала Машка, — чтоб без следов.

— Бывает, — врал я. Только бы она поскорей успокоилась!

Мы уgomонили Вадькину сестру и разошлись — он в школу, а я с Марьей на почту.

Это когда большой парень идет с маленькой девочкой — ничего особенного, сразу можно догадаться, что сестра. А если я Машки побольше чуть-чуть? Сразу же нарвался на неприятность. Навстречу шла орава обалдуев. Прямо лоб в лоб.

Еще издаലെка эти дураки заорали разными головами:

— Жених и невеста! Жених и невеста!

Я старался сохранить выдержку, да что толку — сам весь напрягся.

Получилось так, что мы с Марьей двигались по центру тротуара, а мальчишки, как река, разбились на два рукава и толкнули нас друг на дружку.

Тут же они ушли своей дорогой. А мы с Машкой валялись, сбитые с ног: я животом у нее на голове. Какой-то глупый стыд нашел на меня. Будто эти мальчишки не чушь последнюю несли, а говорили правду. И я жених. Да еще перед своей невестой опозорился.

Я неловко поднялся, стал отряхиваться, сердито от-
вернувшись от Марьи, будто она в чем-то виновата.

— Идиоты! — ругался я. — Охламоны! Дураки!

Марья легкомысленно засмеялась.

— Да чего ты, Коль? — воскликнула она. — Они же
просто одичалые. Вот кончится война! Снова мальчиш-
ки и девчонки учиться вместе станут! И дикость прой-
дет! Нам учительница говорила.

Еще этого не хватало! Теперь маленькая Марья
успокаивала меня!

* * *

Я должен был помогать ей, раз Вадька доверил мне
свою сестру. Но разве сразу сообразишь, какие надо
придумать слова, чтобы продиктовать письмо их маме.

Пришлось снять шапку, потому что голова взмокла
от напряжения. А Марья сидела рядом со мной, взирая
на меня с послушным вниманием. Она взирала, а я по-
тел и краснел. Да еще она оказалась спорщицей —
ворчала на каждом шагу.

— «Дорогая мамочка!» — продиктовал я. Так она
даже с этим не согласилась.

— В каждом письме «дорогая мамочка!» — сказала
Машка. — Надо что-нибудь другое.

— «Любимая мама», — предложил я. Но и это не
подошло.

— «Милая наша мамочка», — придумала Марья и,
высунув кончик языка, аккуратно вывела на листке,
вырванном из тетради.

— «Сегодня я получила...» — продиктовал я. —
Сколько ты получила пятерок?

— Ни одной, — вздохнула Машка.

— «Три пятерки», — выдумал я.

Она охотно записала мою ложь.

— «А Вадик, — продолжал я фантазировать, —
только одну. Зато по арифметике».

— У них уже нет арифметики, — вскинула голову
Марья, — алгебра, геометрия.

— Погоди, — проворчал я недовольно. Мне эти
предметы были пока неизвестны, а мало ли, маленькая
Марья может и перепутать слова. Разбирайся потом.
Вдруг их мама забеспокоится, догадавшись про вранье,
будет плакать, ей станет хуже. Нет, не мог я рисковать

такими серьезными вещами. — «Зато по истории...» — предложил я.

Но Машка не унималась.

— По истории он получил позавчера, — сказала она привередливо. — Что-то часто!

— Тогда по географии, — сказал я.

Наконец-то привереда согласилась.

И тут на меня накатило. Совершенно неожиданно к голове прихлынула кровь (а еще мама говорит — малокровие), и я, может, первый раз в жизни испытал на себе, что такое творческий подъем.

— «Мамочка! После зимней непогоды стало тепло. Греет солнышко, — диктовал я, и Марья уже не упрямилась, наоборот, она пораженно взглядывала на меня, даже не стараясь скрыть восторга. — Чирикают воробы! Капает капель. Жизнь оживает. Скоро и ты, мамочка, поправишься!»

Я припомнил, что говорил мне сегодня Вадим у себя дома. Надо было и про это написать.

— «По радио, — продолжал я, — все чаще объявляют салюты. Скоро конец войне. Тебе тоже надо поправляться».

Я попробовал вообразить себя на месте Вадьки и маленькой Маши. Меня опять окатила жаркая волна. Перехватило горло горькая тоска: я — и один? Но это невозможно! Схватить себя за голову и завывать!

Пришлось тряхнуть головой. Нет, это не со мной. Слава богу, слава богу! И если мне только что хотелось взвыть, слова в письме, которое я диктую от имени Вадика и Марьи, нужны совсем другие.

Марья дописала предыдущую строчку и смотрела на меня с интересом. Что я еще способен сочинить?

— «Мамочка, — сказал я, думая о том, что почувствовал, — будь спокойна. С нами все в порядке. Ты можешь надеяться на нас. Ни о чем не думай. Только поправляйся. Собери все свои силы. Для решающей победы».

Я, кажется, брякнул это зря, про решающую победу, но Мария воспротивилась.

— Ты что! — горячо зашептала она. — Да я бы такого никогда не придумала. И Вадик тоже.

Пришлось согласиться. Я придумал еще две-три фразы, которые полагаются в конце любого письма, и мы двинулись в больницу.

Путь к ней мы одолели быстрее, чем вчера. Правда,

Марья опять останавливалась, но реже и дышала не так-загнанно, как накануне.

У тифозных барачников я опять растерялся. На меня напал страх. Мама и бабушка всегда говорили, что именно к этой больнице даже приближаться опасно. А я должен был войти в проходную и передать письмо.

Я остановился, потоптался на месте. И снова меня прошиб пот. Марья, маленькая Машка, окинула меня строгим взглядом и сказала голосом Вадима:

— Ты постой тут, а я схожу.

И двинулась к проходной. Какой позор!

Я метнулся вперед, схватил ее за воротник и с такой силой повернул к себе, что она чуть не упала.

— Стой здесь, — сказал я голосом, не терпящим возражений, и выхватил письмо из ее руки.

Потом я повернулся и уверенным, спокойным шагом двинулся к проходной.

Едва я открыл дверь, на меня жарко дохнуло хлоркой и еще чем-то противно больничным. Но я не дрогнул. Ведь мой страх ждал такого запаха.

В маленькой проходной сидели две женщины. Обе в черных халатах, как говорил Вадим. И лоб и щеки у них были затянуты такими же черными платками. Как будто они хотели побольше закрыть свое тело. Даже на руках у них я увидел черные перчатки.

Сердце мое колотилось совсем по-заячьи.

— Можно передать письмо? — спросил я у черных теток.

— Письмо можно, — неожиданно добродушно сказала одна тетка. Она казалась повыше.

— Да неплохо бы еще и еды, — вздохнула другая.

Еды? Какой еды? Я ведь не знал об этом. И Вадька ничего не говорил.

Меня обожгло.

* * *

Бывает так в жизни, бывают такие мгновения, когда вдруг маленький человек думает совсем по-взрослому. А человек взрослый, даже старик, убеленный сединой, думает, как малыш.

Почему, отчего это?

Я думаю, потому, что взрослость приходит к нам не однажды, не в какой-то установленный всеми миг. Взрослость приходит, когда маленький человек видит

важное для него и понимает это важное. Он вовсе не взрослый, нет. И нету у него взрослого понимания поряд всех вещей. Но в лесу, где много деревьев, которых он не знает, он вдруг догадывается: вот это, пожалуй, лихтя. А это кедр. Во множестве сложных вещей он узнает самые главные, понимая их если и не умом, то сердцем.

Ну а взрослый... Это объясняется легче. Просто взрослым надо помнить свое детство. В этом нет ничего стыдного. Наоборот! Прекрасно!

Прекрасно, если взрослый, даже седой человек способен подумать как ребенок.

* * *

Меня обожгло. И я подумал: «А что мог сказать Вадька мне? Что мог он сделать? Отнести кусок жмыха, ломтик черствого хлеба сюда, своей маме?»

Снова перехватило горло.

Его перехватило потому, что я понял Вадькину беспомощность перед этой проходной, перед черными, как галки, тетками, перед тифозными бараками. Перед бедой — своей и маминой.

Он не мог ей помочь. У него не было таких сил.

Я вздохнул, онемелый, — и раз и два.

— Что, милый? — спросила высокая тетка.

— Тебе худо? — заволновалась другая.

— Тяжко без мамки-то? — вздохнула первая.

— О-хо-хо! — вздохнула вторая.

— Нету еды, — сказал я совсем Вадькиным голосом.

Они вздохнули вразнобой.

— Худо! — сказала высокая.

Теперь-то я знал: худо! И страшно оттого, что худо. Надо было уходить. Но я топтался. Какая-то ведь у меня мелькнула мысль.

Да! Я знал, что в госпитале или больнице, если написал записку больному, можно получить ответ: «Как обрадуются ребята, — подумал еще я. — Запляшут, закричат. Еще бы: письмо от мамы!» И я спросил:

— А можно ответ получить?

Черная тетка, что повыше, качнула головой. И сказала страшное:

— У нас ответов не бывает.

Дверь проходнушки жახнула за моей спиной. Ее

приходилось оттягивать изо всех сил, потому что держалась она на крепких железных пружинах, но я этот дверной выстрел как теткинны слова понял: приговор!

Я тряс головой, стараясь вытряхнуть дурные мысли, ругал тетку. Надо же, какие слова выбрала, ясное дело, почему ответов не бывает, тифозная ведь больница, не простая, а это значит, зараза передается, это значит, тиф с листочком бумаги, с обыкновенным письмом может вырваться на волю, как страшный джинн... Но тоска меня не покидала. Не отставала она от меня, и все тут.

К Марье я подходил другим человеком. Нет, внешне, конечно, все оставалось таким же, наверное. Но в душе моей много чего произошло за какие-нибудь десять минут.

Виду, однако, подавать не следовало. Не имел я таких прав киснуть, расплываться киселем, пугаться и дрожать.

— Порядок! — сказал я ей бодрейшим из голосов и пошел вперед, не оборачиваясь, чтобы все-таки постепенно прийти в себя.

Машка топала на полшага позади и, слава богу, не видела моего лица, давала мне отсрочку, чтобы я пришел в норму. Она ничего не спрашивала, похоже, знала, что никаких новостей из черной проходнушки не поступает. Отдали письмо, и все. Ждите.

А в моих глазах все еще сидели черные тетки. Опасная работа — служить в такой больнице!

Теперь я думал о черном цвете. Она что, не пристает к черному, эта страшная зараза? Но черный — это цвет смерти.

Опять новая и странная мысль, точно глубокая яма, открылась подо мной. Я подумал, что черный цвет, цвет смерти, люди выбрали в этой больнице из суеверия, из страха, из невозможности победить страшную болезнь. Они знают, что цвет тут ни при чем, он не поможет, но на всякий случай все же обрядились в черное, надеясь, что к нему не должна пристать зараза — смысла ей такого нет!

Тяжелые мысли не исчезают разом. Я уже знал: их разрушает только время и другие события. Будто время — это маленький стальной ломик, который сам по себе ломает черную глыбу — или только глыбку, — если мысли хоть и тяжелые, но не такие большие.

Неожиданно — впрочем, жизнь всегда продолжает-

ся неожиданно: случается что-то новое, вот она и идет дальше, наша жизнь, — так вот, неожиданно Машка проговорила:

— Мне Вадика жалко!

Медленно, даже, кажется, осторожно, точно по веревочной лестнице с высокой крыши, я спустился из горьких своих дум обратно на землю. Заставил себя переспросить Марью, чтобы не ошибиться, чтобы не казалось мне, будто я ослышался. Ведь она всегда маму жалела. А про брата я слышал первый раз.

— Жалко Вадьку? — переспросил я.

— Ну конечно, — сказала Мария.

«А! — вспомнил я. — Должно быть, она про пальто».

— Сказано же, — опять принялся успокаивать я, — бабушка зашьет.

— Да я не про то! — ответила Мария. — Я вообще!

Все-таки я был зеленым сопликом по сравнению даже с Машкой. Как ни старался быть понимающим, а если надо, и абсолютно взрослым человеком, все же старание не всегда помогало мне, потому что Вадим и даже маленькая Машка знали горького гораздо больше, чем я.

Я в этом не был виноват. Я знал, что мои дорогие бабушка и мама изо всех сил защищают меня, ограждают от окружающей жизни, очень даже нелегкой, хотя, чтобы я поменьше знал о ней, подольше был обыкновенным ребенком — без всяких горестей, с одними радостями, какие, конечно, можно придумать военной порой. Я понимал, как мама и бабушка страдают от того, что им это не всегда удается, а иногда не удается вовсе, и видел, как они хмурятся и нервничают, если вдруг догадываются, что я знаю больше положенного мне, по их мнению, если вдруг они сознают с огорчением, что, как ни укутывай меня в вату, точно елочную игрушку, когда ее прячут в коробку после новогодней елки, я все равно вижу настоящую правду. Или имею представление о ней по осколкам, которые долетают, добираются до меня.

Нет, человек, даже маленький, не елочная игрушка, его нельзя вынуть только на праздник, дать ему порадоваться огням и смеху, а потом упрятать на целую войну в мягкую, оберегающую от ушибов вату. Человек не игрушка, и — хочешь не хочешь — он будет биться об углы, которые придумывает жизнь, и это битье в конце концов причащает его к мысли, что жизнь не за-

менишь враньем или — скажем мягче — обманом, даже если этот обман совершенно не грубый, а деликатный и у него нет слов, а есть только молчание: люди молчат и, значит, скрывают правду.

Машка сказала, что ей жалко Вадима, не пальто даже его жалко новенькое — ведь она плакала из-за пальто, — вообще жалко, и мне перед ней неловко стало.

Мне стало неловко оттого, что Вадьку и в самом деле есть за что пожалеть, а вот я благополучней его. Мне не надо шакалить, я живу с талонами на дополнительное питание, у меня есть мама и бабушка, и отец сражается на фронте, жив, жив, слава богу, и я не эвакуированный, а шляюсь тут по своему собственному городу без всяких там печалей. А вот Вадька!

— Знаешь, как ему тяжело? — сказала Марья. И вздохнула. — Да он по ночам стонет, понимаешь? Как больной. Я сперва пугалась, будила его, но потом перестала.

В весеннем снегу таились глубокие синие тени, похожие издаലെка на лужицы, и вообще погода стояла райская. Ни с чем она не желала считаться. Ни с войной, ни со смертью, которая настигала чьего-то отца в этот самый миг, ни с маленькой Машкой, которая вот идет по солнечному свету, а вовсе и не видит его, будто ослепла.

— Вечером я долго уснуть не могу, от голода в животе сосет, ну а утром от голода же проснуться не могу. И Вадька беспокоится, потому что боится, я на первый урок просплю.

Машка заглянула в мое лицо, будто спрашивала, понимаю ли я, о чем она со мной толкует, могу ли я это все осознать.

— И вот он так волю собирает, что от всякого звука просыпается. Боится, чтобы первый гудок не пропустить. И потом трясет меня. — Машка улыбнулась: — Когда он трясет, мне снится, будто я на коне скачу.

На коне! Я усмехнулся. Такие сны мальчишкам могут сниться. А маленькую Машку на коне даже вообразить себе невозможно.

— А в столовке! — воскликнула Машка. — Знаешь, какая стыдоба поначалу! Я вообще к столам ходить не хотела. Раза два в обморок падала. Прямо там. И Вадька мне каждую крошку тащит. Как воробей.

Я припомнил столовских воробьев. Они сидели на

железных перекладинах под потолком, но, странное дело, не чирикали. Тогда к гладкорожим мальчишкам слетел воробей ведь молча, схватил хлеб и был таков.

И мне вдруг пришла в голову мысль, что воробьи хоть и залетели к еде поближе, но толку для них от этого мало. Ведь все до крошки зализывают маленькие ребята. Уж извините, воробьи! Ваше молчание так понятно...

— А потом? — спросил я Машку.

— Потом уже не стыдно, — ответила она, опять совсем по-старушечьи вздохнув. И сказанула такое, что мне снова стало не по себе: — Голод убивает всякий стыд.

Этого я не знал. Сам, собственным животом. Такое узнать можно только животом, никак иначе.

Выходило, маленькая Марья учила меня. Как и брат ее Вадька. Добавляла знаний к моему без года и полутора месяцев начальному образованию. Знания эти были из неписанных учебников. Из тех, правилам которых учила нас и наша Анна Николаевна.

* * *

Это потом, во взрослой жизни, дни проносятся без всяких событий. Точнее, людям, привыкшим к разным разностям, просто кажется, что ничего заметного с ними не происходит. Вроде как едят пищу, и она бессолая. Хотя соли достаточно. Вообще есть у еды вкус. Но глотают ее, не замечая. Забылись, как во сне.

Детство прекрасно тем, что в нем множество событий. Не только замечательных, нет. Всякие бывают события в детстве — горестные и прекрасные. Но они бывают, вот что замечательно. Жизнь никогда не кажется безвкусной в детстве. Она и прекрасно сладка, и печально горька, и солонa, конечно же, не всегда в меру.

За день может произойти не то что одно, а множество событий.

В тот день, и так уже до отказа полными разнообразными событиями, мне предстояло пережить еще три.

Целых три!

* * *

Ну, то, что бабушка ждала нас с Марьей, радушно улыбаясь, была оживленна и говорлива, — это, ясное дело, не событие.

Потом мы выучили уроки.

Машка что-то калякала в своих газетных тетрадках. Время от времени она тоненько пищала, но, когда я глядел на нее, мужественно улыбалась. Это газета расплывалась под чернилами. Газеты тогда очень неровные выходили, я по себе знал, у меня ведь тоже такие тетрадки бывали. Но потом папка прислал с оказией трофейных тетрадок. Ну и бумажка в них! На солнце блестит, глазам больно. Лакированная. Я дал одну тетрадь Марье, но она ее в портфель тут же спрятала. Ясное дело: чтобы записки маме писать. Вот. Ну, а неровная газета — это такая, по которой пишешь-пишешь чернилами, и все вроде бы хорошо, а потом — бух! — словно в какую-то невидимую яму попал: чернила расплываются по каким-то тонким сосудикам. Немного задержишь перо — и тут же клякса.

Но учителя знали это дело и отметок не снижали, хотя, например, наша Анна Николаевна советовала делать тетрадки из довоенных газет, если у кого сохранились. Но кто до войны знал, что газеты потребуются для тетрадей? Из всех моих знакомых у одного Вовки Крошкина были такие газеты. Да и то потому, что его мама газеты в сарае складывала. Готовилась к большому ремонту и, получилось, много тетрадок накопила для военных дней. Так Вовка рассказывал. Он даже мне старые газеты давал.

В общем, Марья попискивала, отдергивала перо, учила уроки. Но в этом тоже не было ничего особенного.

Оба мы прислушивались, как за печкой шуршит молодчага моя бабуля. Старается кастрюлями не бречать, воду ковшом громко не лить, нам, прилежным ученикам, не мешать. Только с запахами она ничего поделать не может. Вкусно пахнет вареной картошкой, и у меня начинает сосать под ложечкой, а Марья — так та, чудачка, закрывает уши ладошками, чтобы не слышать этот запах. Ну что ж, понять ее можно: нос ведь не закроешь, дышать одним ртом неудобно, а сосредоточиться и что-то закрыть, чтобы не слышать вкусных запахов еды, все-таки надо.

Если считать ужин событием, то оно еще только назревало, готовилось под мудрым бабушкиным руководством.

События развернулись гораздо раньше.

Почти одновременно пришли мама и Вадим.

Первой вернулась с работы мама. Она быстро раз-

делась, умылась — она учила меня и жила сама по этому правилу: вернулся с улицы, сразу умойся, обязательно с мылом, при этом надо намылить не только руки, но и обязательно лицо, потому что на улице бродят всевозможные бациллы, — так вот, она умылась за печкой, громко звякая соском умывальника, потом вошла в комнату и сделала следующее: ласково поздоровалась с Марьей и строго посмотрела на меня.

Мое сердце дрогнуло. Кошка ведь сразу чувствует, чью сметану съела. Есть такая поговорка. Я разом вспомнил, как провел сегодняшний день. Но мама не могла ничего узнать — я в этом был абсолютно уверен.

На всякий случай я изъясил мудрую гибкость. Раз мама не здоровается с тобой, а только окатывает подозрительно холодным взглядом, нет ничего зазорного, чтобы первым поздороваться с родной мамой.

Я это и сделал лисьим голосом.

Она кивнула и, кажется, что-то хотела ответить мне. Но именно в это мгновение пришел Вадька.

Он стоял на пороге с совершенно растерянной физиономией. И подтягивал штаны.

Это выглядело довольно забавно, ведь штаны-то под пальто. Вадька стоял какое-то время, потом локтем прихватил пальто там, где находится талия, и поддерживал его вверх. Глаза при этом у него совершали стремительное и неорганизованное движение. Ну просто дергались. На маму, на меня, на бабушку, на Марью, на пол, на потолок, на окно, в сторону.

В одной руке Вадим держал чуть припухший портфель, а в другой пачку учебников и тетрадей, перевязанных брючным ремнем. Пользуясь дедуктивным методом английского сыщика Шерлока Холмса, о котором узнал из детской радиопередачи, я довольно сообразительно вычислил, что вытащить ремень из брюк Вадьку заставили серьезные причины. И эти причины находились в портфеле.

Мама нашлась первой. Она приветливо улыбнулась и сказала Вадьке, чтобы он не стоял на пороге, что довольно странно, а входил и раздевался.

— Это вы? — спросил он каким-то не своим, чуть севшим голосом.

Мама рассмеялась:

— Да как будто это я, действительно.

Вадька смущенно мотнул головой. И обозначил свой вопрос точнее:

— Это сделали вы?

— Да что сделала я? — удивилась мама.

— Смотрите! — сказал Вадька смущенно. Он положил тетрадки, обмотанные ремнем, и открыл портфель.

В нем грудились пакетики и свертки, а поверху несколько разных долей ржаного хлеба. Буханки лежали порезанными неодинаково — вдоль и поперек, были тут и четвертушки, кажется две.

— Откуда это? — спросила Машка.

— Учителя, — сказал Вадька. Он, кажется, чуть отошел, перестал крутить глазами во все стороны, принялся говорить связно: — Такой устроили бенц!

Теперь уже напрягся я. Вадим, похоже, расслабился, его речь лилась раскованно, так болтают мальчишки между собой, забылся товарищ, елки-палки, а когда люди забываются, они могут выболтать что-нибудь лишнее. Хотя бы про сегодняшний день.

Так оно и было. Он с этого и начал, чудак!

— В общем, я несколько дней не ходил в школу, — сказал Вадим и этак скользом проехал взглядом по мне.

«Аккуратней! Аккуратней!» — внушал я ему на расстоянии. Но Вадька ничего не чувял сгоряча.

— Марья мне говорит вдруг сегодня: «Тебя ищут!» — Он обвел глазами присутствующих. — Действительно! Едва разделся, как первый же учитель меня за рукав — и к директору. Ну, думаю, все! Попался! Выгонят!

Он посмотрел на Машку, как будто услышал ее неслышный упрек, ее предупреждение, наверное, напоминание про маму, ответил ей одной:

— Ой, и не говори! — Потом продолжил рассказ: — Ну и конечно! Начинает прорабатывать! Но не за то, что в школу не ходил. А за то, что не сказал про маму и про карточки.

— У вас что, мужчина директор? — спросила мама.

Вадька на секунду осекся. И тут же засмеялся:

— Не разыгрывайте! Это вы им сказали! Так что вы знаете кто, мужчина или женщина.

Мама пожала плечами.

— Да я даже номера школы твоей не знаю, — сказала она. И кивнула на меня: — Спроси Колю.

Я кивнул. Да что мама! Даже я сам не знал, где учится Вадька. Все утро хотел спросить и забыл.

Теперь настала пора растеряться ему. Он замолчал. Потом стал скрести макушку. От моей мамы ничего не укроется. Она тут же Вадьку прихватила:

— Давно в бане не был?

Он смутился окончательно. Мама, по-моему, тоже.

— Ну, ладно, — сказала она. — Рассказывай. Про баню позже.

— Директор у нас старичок, — сказал Вадька. — В общем, он ругал, ругал, потом открыл шкаф и объяснил, что учителя собрали нам еды. Всего понемногу. А скоро дадут талоны на дополнительное питание. Марье уже дали. И школа ходатайствует, чтобы нам выдали новые карточки.

Он снова поддернул штаны, теперь уже не через пальто, а напрямую, и устоял на маму.

— А я думал, это вы, — сказал Вадим, приходя в свою обычную форму: мужество плюс спокойствие.

— И-эх, чудак-человек! — вмешалась бабушка. Потом понюхала кухонные ароматы и ринулась к керосинке. Уже оттуда, из темноватой глубины своего закутка, бабушка продолжила свою речь: — Ведь люди вокруг, люди. А ты!..

Мне показалось, она хотела сказать: «А ты шакалишь!» Да вовремя удержалась.

Но бабушку перебила Марья.

— А про маму ты предупредил? — воскликнула она. Вадим хмыкнул.

— И предупреждать не пришлось. Они все знают.

Он засмеялся. Наконец-то совсем пришел в себя.

— Знаешь, он даже что предложил? Наш директор? Марья мотнула косицами.

— Пойти нам в детский дом. Временно. Пока мама не вернется. А учиться, говорит, будете в своих же школах.

— Чудак-человек, — повторила Марья бабушкиным голосом ее выражение.

Она неторопливо, будто вглядываясь в каждого, будто требуя подтверждения от всех от нас, обвела глазами маму, бабушку, меня и Вадьку.

И сказала каким-то поразительно сухим, я бы даже сказал, официальным голосом — и спрашивая и утверждая сразу.

— Ведь в детском доме, — сказала маленькая Марья, — живут ребята, у которых все родители погибли, а у нас есть мама.

Портфель Вадима с маленькими кулечками крупы, муки, микроскопическим сверточком масла, хлебом и даже ломтем деревенского сала в чистой тряпиче был первым событием из трех последних событий этого дня.

Вторым событием стала баня. Вернее, разговор о ней. Ведь событием может быть и разговор, если он дает пищу для размышлений.

Мама у меня настойчивый человек. Так что, едва мы поели отварной рассыпчатой картошки...

Но сперва Вадька заупрямился. Бабушка выставила на стол тарелки, а он приказал Машке собираться.

— Идем! — сказал он каким-то непрекаемым, враз посуровевшим голосом, и Марья принялась послушно и как-то испуганно-суетливо натягивать на себя пальто.

— Ты что? — закричал я, пораженный, Вадиму. — Не чуешь запахов? У тебя насморк?

— У нас же своя еда есть! — искренне удивился мой приятель, указывая на портфель.

— Пого-одьте, — улыбнулась бабушка, — еще поспеете съесть свои харчи. Не больно они густы-то!

Но Вадька решительно замотал головой, и я вспомнил, как он еще днем сказал, что, мол, не могут они с Машкой объедать нашу семью. Всем, дескать, теперь лихо, и в каждой семье всяк кусок в счет.

Так что бабушкин призыв на него не подействовал. Тогда взялась за дело мама. Она у меня такая! Может, если надо, и прикрикнуть. И ухватить за плечо крепкой рукой. Усадить силой. Или повернуть к себе, заглянуть в лицо. Мама часто мне повторяет, что она теперь в нашем доме не только за себя, но еще и за отца. Впрочем, это она меня могла взять за плечо мужской рукой, потому что я ее собственный сын. Вадика она бы ни за что за плечо не взяла с силой. И Марью тоже. Она им улыбнулась и сказала, мудрая женщина:

— Что ж, раз война, раз голодно, так и в гости теперь не ходить?

Она спрашивала Вадима, глядела на него мягко и совсем нетребовательно, и, наверное, поэтому он заморгал, захлопал ресницами, смутился опять, постоял, опустив голову, потом вздохнул, словно что-то про себя решил, и, взглянув на маму, улыбнулся.

Она не сказала ни «то-то же», ни «давно бы так»,

как говорила мне, а ответила Вадиму мягкой улыбкой, повела рукой.

— Прошу к столу!

После ужина настойчивая мама опять взялась за свое.

— Понимаете, — сказала она, переводя взгляд с Вадима на Марью и обратно, словно взывая к их общему разуму, — я ведь медицинский работник, а ваша мама больна, так что от гигиены... ну от того, как часто вы ходите в баню, зависит не только здоровье, но даже жизнь.

Что ж, мама оказалась права: у брата и сестры, похоже, был общий разум и общие сложности. Они потупились и замолчали. Первым заговорил Вадька.

— Да не-ет! — сказал он, будто с чем-то споря. — Как маму-то увезли, так и нас тут забрали. И все белье тоже, в это, как его...

— В санобработку, — подсказала мама.

— Во, во!

Он хмыкнул и заговорил поживее, раскачался наконец.

— Догола раздели, велели шпариться изо всех сил в самой обыкновенной бане. А одежду всю увезли. Когда привезли, она горячая была! Пришлось ждать, пока остынет.

— А у меня, — улыбнулась Машка, — в пальто целлулоидный гусенок остался. Потом одеваюсь! Хватит! А вместо гусенка такой корявый кусочек. Весь расплавился.

— Ну-ну! — подбодрила их мама. — А потом? После этого-то ходите в баню?

Снова они помолчали, но Марья махнула рукой и произнесла:

— Ладно уж, я расскажу!

Вадим вздохнул облегченно. Будто Марья с него поклажу сняла. Кстати, ее лицо тоже прояснилось. Это бывает, когда человек на что-то серьезное решается. Хотя, как выяснилось, серьезного тут ни на чуточку не было. Одна смехота. Правда, это теперь Машка хихикала, прыскала в ладонь. А тогда небось не очень-то.

В общем, их мама им обоим разобъяснила, что маленьким поодиночке в баню лучше не ходить. Во-первых, говорила она, маленький один вымыться как следует не в состоянии. Что ж, она была права. Я сам, когда однажды самостоятельно в баню ходил, все запомнить

старался, чего я уже намылил разок, а чего нет. Руку там, ногу, да и какую именно.

Но ладно, ладно, про себя потом, сперва про Машку.

Ну так вот. Во-первых, значит, маленький один не вымоется. Ясное дело, это относилось не к Вадьке. И пока мама была дома, они ходили с Машкой в женскую баню. Все в порядке. Но вот мама заболела и почувствовала, что ее положат в больницу. Тогда она заволновалась и стала говорить всякие нужные вещи. Про карточки, чтоб не потеряли. Про учебу, чтобы ни о чем не думали и знали себе учились. И про баню.

В бане, говорила она, Машка ни за что не вымоется одна, ей нужна помощь, да это и опасно, можно ошпариться горячей водой, если дочка потащит шайку сама, сил не хватит — и она опрокинет воду на себя или, не дай бог, поскользнется на мокром бетонном полу, упадет и сломает руку или ногу или, того хуже, ударится головой.

Она была в поту, ее лихорадило, а она все говорила про баню — может, уже наступил бред, — требовала, чтобы Вадик не отпускал Марью одну, а брал ее с собой, в мужское отделение, никакого тут нет стыда, если брат привел маленькую сестренку, маленьких пускают, ничего страшного. Маме было плохо, Вадим и Марья не могли спорить и дали ей слово все делать так, как она велела.

Ну вот. Маму увезли. Прошло сколько-то времени, и настала пора идти в баню. Машка стала отнекиваться, а Вадим ругаться. К тому времени Марья уже потеряла карточки, поэтому больших шансов доказать, что в баню можно и не ходить, у нее не было. Когда в доме тиф, есть или был, надо чаще мыться. Как можно чаще. Об этом радио все уши прожужжало. И плакаты везде висели, страшненькие такие плакаты: нарисована большая вошь и под ней черное большое слово «ТИФ».

Вадька был грамотнее Марьи, плакаты читал, и звуки радио в него тоже залетали. Поэтому он собрал мочалку, мыло — к тому же и мочалка была всего одна, и мыла плоский такой остаток, обмылок, — велел Марье прогладить утюгом трусишки да рубашки свои и Вадимовы, взял Марью за руку и силком повел в баню.

— Вы знаете, какой ужас! — причитала Марья и даже сейчас еще краснела. — Какой стыд! Вокруг одни голые мужчины! И я одна среди них! А Вадька! Ругается! И какие-то мальчишки над ним смеются.

— «Мужчины»! — передразнил ее Вадим. Первый раз я увидел, как вежливость по отношению к сестре изменила ему. Видно, это было выше его сил. — Одни старики да мальчишки!

— Какая разница! — воскликнула Марья. — В общем, я решила, будь что будет. Разделась и как в омут нырнула.

— Ну и что? — спросил Вадим голосом человека, знающего ответ. — И ничего страшного. Раз надо, так надо!

— В мойке стало легче, — согласилась Марья. — Там пар, и ничего не видно. Я прикрылась тазиком, а волосы, видите, короткие, так что на меня никто не посмотрел.

— Забились в угол! — перебил сестру Вадим. — Я ее спиной ко всем посадил. Намылил как следует. Сам воду таскал. — Он засмеялся. — Трусиха, сидела закрыв глаза. Вся тряслась от страха.

Бабушка и мама улыбались, поглядывали на меня, и я отлично понимал, почему они так смотрят. И тут мама сказала:

— Ничего особенного, Машенька. Что же делать? У нас вон Коля тоже со мной в баню ходит!

Надо же! Не смогла промолчать!

Я чувствовал, что заливаюсь горячим жаром, что лицо мое пылает, что уши, наверное, уже похожи на два октябрятских флажка.

Марья выкатила на меня свои шары. «Чего увидела-то?» — хотел спросить я. И тут Вадька воскликнул:

— Видишь, Марья!

Будто какая-то великая правда восторжествовала. А Вадька крикнул снова:

— Так она с тех пор в баню ходить не хочет!

Не успел отплыть я, залилась Машка. Покрылась даже испариной.

Ну, вот и все. Мама принялась говорить Марье, что это глупо, что в баню следует ходить постоянно, она же девочка, надо брать шкафчик в уголке, там тихо раздеваться, по сторонам не глазеть, быстро проходить в мойку и опять в уголок. Очень правильно сделал Вадик, молодец, сразу видно, что большой мальчик, сознательный человек, заботливый брат.

Наверное, она говорила такими же словами, как мама Вадика и Марьи, а может, так говорят все мамы, очень похоже объясняют разные простые вещи, и Ва-

дим умолк, повесил голову, а из Марьинных глаз пошла капель: кап-кап, кап-кап.

Мама все это видела, но не останавливалась, говорила свои слова, считая, наверное, нужным как следует все и очень подробно объяснить, а я думал о том, что все-таки плохо быть маленьким.

Вроде ты и свободен, как все, а нет, не волен. Рано или поздно обязательно потребуется сделать что-то такое, чему душа твоя противится из всех сил. Но тебе говорят, что надо, надо, и ты, маясь, страдая, упираясь, все-таки делаешь, что требуют.

Вот и выходят всякие глупости. Я, мальчишка, моюсь с мамой в женской бане, а девчонка Машка с братом в мужской.

Где тут истина? Где справедливость?

* * *

Ну и третье событие того вечера.

Да. Есть вещи, которые даже вспоминать противно... В общем, Вадим и Марья пошли домой, я хотел их проводить, но мама меня не пустила.

— Почему? — удивился я.

— Есть дело, — строго ответила она.

Сердце снова заколотилось неровно, с перебоями. Но что же, что означает эта странная строгость? Ждать оставалось недолго.

Едва Вадим и Марья вышли, как мама оборотилась ко мне, и я увидел, что лицо ее стало точно таким, как у гипсовой женщины с веслом в скверике у кинотеатра.

— Где! Ты! Сегодня! Был! — не спросила, а отчеканила мама.

«Откуда, откуда она могла узнать?» — думал я совершенно глупо. Будто, откуда именно она узнала, могло иметь для меня хоть какое-нибудь значение.

— Ну... — бормотал я. — Так... В общем... Мы...:

Вот так я и проговорился. Так я поставил под вопрос значение Вадима в своей жизни. В маминых, конечно, глазах.

— Ах мы! — воскликнула мама. И уже не дала мне опомниться. — С Вадиком? — продолжала она, и мне не оставалось ничего иного, как послушно кивать. — И с Машей! Ну, ясное дело, и с ней. И все трое! — воскликнула мама. — Прогуляли уроки!

Я помотал головой.

— Ах, не трое! Только вы с Вадимом?

Но не мог же я клеветать на невинного человека.

— Значит, с Машей! Но ведь она ходила в школу. Так!..

Даже для мамы не такая простая задача. Требуется поразмыслить. Но только мгновение.

— Сначала, — выносила она обвинение, — ты прогулял с Вадимом! — Ее глаза рассыпали громы и молнии. — А потом с Машей.

Я кивнул и кивнул еще раз. «Хорошо, хорошо, — как бы говорил я. — Но выслушай же, в конце концов. Даже злостный преступник и тот имеет право на объяснение своих действий».

Мама стояла, скрестив руки на груди, совсем как Наполеон Бонапарт. Только вот треуголки на ней не было. Ну и, конечно, брюк. А так вылитый император. А рядом с ним покорная слуга — внимательная, качающая головой, осуждающая меня бабушка.

«Да погодите вы! — встряхнулся я. — Выслушайте меня». И пролепетал:

— Мы искали еду.

— Что? — воскликнула мама.

А бабушка горестно подперла ладонью подбородок.

— Что? Что? Что? — выкрикивала мама, будто боялась, что не так меня поняла. Ослышалась. — Ты? Искал? Еду?

— Ну да! — сказал я. — С Вадиком. Достали жмых. Только он невкусный. Его надо пилить. Напильником.

Когда человека обвиняют не совсем уж напрасно, он чаще всего занимается объяснением ничего не значащих мелочей. И как правило, это только раздражает обвинителей. Маму тоже понесло. Этот жмых, которого она, может, никогда и не видала, словно свел ее с ума.

Она вдруг заговорила с бабушкой. Есть такая манера у взрослых: при тебе обращаться к другому человеку, выкрикивая всякие вопросы.

— Представляешь? — крикнула она бабушке. — Мы бьемся! Как мухи в ухе! Работаем! Не покладая рук! Экономим! Думаем о нем и на работе, и даже во сне! А он! Прогуливает уроки!

Есть еще и другой способ пытки. Обращаются вроде к тебе, а ответить не дают. Отвечают сами.

— Ты что, голоден? — спросила меня мама, но даже не взглянула на меня. — Сыт! Ты разут? Нет, обут!

У тебя нет тетрадок? ЕСТЬ! Тебе холодно? Ты живешь в тепле! Тогда чего же тебе надо? — воскликнула она, и я подумал, что хоть сейчас-то дадут слово мне. Не тут-то было! У мамы на все имелись свои ответы. — Хорошо учиться! — сказала она. И прошлась от стола до шифоньера. — И уж конечно! Не пропускать уроков!

Без всякого перехода Наполеон Бонапарт опустил руки и зашмыгал носом. Самый худший вид пытки — материнские слезы. Да еще из-за тебя. Я этого не мог переносить совершенно. Мне сразу хотелось в прорубь головой.

Но вот мама пошмыгала носом и произнесла уже обыкновенным, вполне маминым голосом сквозь слезы, будто летний дождь, слезы:

— Мы с бабушкой стараемся, а ты!

— Больше не буду! — искренне и даже горячо сказал я единственно возможное, что говорят в таких случаях.

— Выходит... — вдруг успокоилась мама. И дальше бухнула жуткую ерунду: — Выходит, на тебя плохо влияет Вадик!

Мне даже уши заложил от гнева.

— Как не стыдно! — крикнул я ей. Нет, не просто крикнуть такие слова маме. Да еще повторить: — Как тебе не стыдно!

Меня всего колотило! Ну, эти взрослые! Им лень поверить собственным детям. Им все кажется, будто их надуют. Трудно разве — возьми расспроси по шажочку каждый час целого дня. Попробуй понять! Раздавить легче всего. Попробуй понять, вот что самое главное. И потом, почему надо думать, будто дети хуже всех? Так и рвутся к беде, к гадостям, так и рвутся натворить каких-нибудь позорных безобразий.

Маму мой отчаянный крик остановил. Так мне показалось. Но что-то рухнуло во мне. Какая-то тонкая перегородочка сломалась.

* * *

Ах, взрослые, умные, мудрые люди!

Если бы знали вы, как тяжелы ваши окрики! Как неправильно — не звучит, а действует ваше слово, в которое, может, и смысла вы такого не вкладывали, но вот произнесли, и оно звучит, звучит, как протяжный звук камертона в маленькой душе долгие-долгие годы.

Многим кажется, что пережить, коли дело имеешь с малым, совсем не вредно, пожалуй, наоборот: пусть покрепче запомнит, зарубит на носу. Жизнь впереди долга, и требуется немало важных истин вложить в эту упрямую голову.

Кто объяснит вам, взрослые, что хрупкое легко надломить. Надлома, трещины и не заметишь, а душа пойдет вкось. Глянь, хороший ребенок вдруг становится дурным взрослым, которому ни товарищество, ни любовь, ни даже святая материнская любовь не дороги, не любы.

Хрупкая, ломкая это вещь — душа детская. Ох, как беречь надо бы ее, ох, как надо!..

* * *

То ли слишком послушным был я тогда, то ли слишком слабым, то ли привык жить в этаким коконе, какой сплели вокруг меня мама и бабушка, а дрогнул я духом.

Не вышло дружбы у меня с Вадиком и Марьей, вышло знакомство. Я заходил к ним домой, и они приходили к нам, бабушка угощала, чем могла. Но чаще всего мы встречались в столовке — и у Марьи и у Вадика были теперь талоны на дополнительное питание, да и новые карточки они тоже получили еще до конца апреля.

Случалось, к нам подсаживались мальчишка или девчонка, просили дрожавшими, тихими, униженными голосами: «Оставь! Оставь чуточку!» И они оставляли. Теперь оставляли они. Ни Нос, ни тот тыквенный пацан никогда больше не приближались к нам, хотя я видел их в восьмой столовке. Бывшего шакала Вадьку хорошо знали тут и предпочитали с ним не связываться.

Впрочем, может, была совсем другая причина, что мы не стали друзьями, — время?

Слишком мало его оказалась у нас. Слишком!

Я узнал Вадьку и Марью в первые дни апреля, а весна самая короткая пора года — кому не известно это?

Весна мчится! Она похожа на добрую дворничиху, эта прекрасная весна! Сметает остатки сугробов, почерневший лед на дороге. Смывает ручьями городскую грязь. Сдувает тяжкие тучи с неба и чистыми губками белых облаков протирает, протирает, как прилежная

хозяйка оконное стекло, небо до радостной и ясной голубизны.

Весна — слуга солнца, она работает у него маляром. Раз — и выкрасила тополя в розовый цвет клейких сережек. Раз — и покрыла землю зеленой краской травы. Раз — и мазнула сады и леса белой черемухой.

Весна и на людей влияет. Разгибает спины тех, кто опустил плечи. Разглаживает морщины на лицах. Заставляет вдохнуть поглубже воздух, пьянящий до головокружения.

Весна готовит землю и людей к лету, заставляет поторапливаться даже ребят, которым кажется, что вся жизнь у них впереди и спешить совершенно некуда. Жизнь-то, конечно, впереди, но, как известно, неподалеку конец четвертой четверти в школе, конец учебного года, последние отметки, а начиная с четвертого класса — экзамены и совсем невидимый шагоч в следующий класс. Вот так-то!

Ну а та весна вообще была необыкновенной. Голос Левитана становился все торжественней. Все медленнее и тщательнее, как будто прибавляя им весу, выговаривал он каждое слово в сообщениях от Советского Информбюро.

Еще бы! Наши сражались в Германии!

Бились в Берлине!

Первомай вошел в наш городок зеленью и обещанием небывалого счастья.

Еще, еще денек. Еще...

А мама была мудрым человеком. Не раз возвращаясь с работы, тихонько улыбалась и говорила:

— Встретишь Вадика или Машу, скажи, что их мама чувствует себя неплохо.

Первый раз, когда она сказала это, я не поверил:

— Откуда ты знаешь? Туда никого не пускают!

— Ну-у, — улыбнулась мама загадочно. — Я ведь медицинский работник.

И я передал два или три раза Вадьке мамино сообщение. Мама никогда не подводила. Уж если говорит, сомневаться не приходится.

Да и вообще! Весна вокруг! Скоро конец войне! Черная проходнушка с черными, как бóроны, санитарками уже казалась мне невзправдашной, явившейся в болезненном сне, не наяву. Все готовилось к счастью и миру, а если человек очень сильно думает о празднике, он забывает про беду.

Был в сорок пятом, как в любом году жизни, такой день — восьмое мая. Когда он настал и когда двигались часовые стрелки, отмеряя его длину, никто в нашем доме и во всем нашем городе еще не знал, будто это какой-то особенный день. Да и потом мы не очень думали про него — кто будет горевать о последнем дне войны, если рядом с ним стоит первый день мира! Но он все-таки был, этот день. Последний день войны.

Война умирала нехотя. Все было ясно, а где-то там, в Берлине, еще строчили автоматы и ухали пушки.

Восьмое мая началось как обычно. Весна рвалась в окна солнечными щедрыми шторами, kloкотала мутными ручьями, орала грачными голосами. Так что все шло своим ходом.

Я уже давно выучил уроки, когда мама вернулась с работы.

Вообще я считал себя внимательным человеком, но вначале ничего не заметил. Хотя потом, когда прошло время, и я понял чуть побольше, чем понимал тогда, мне стало понятно, отчего мама не вошла сразу в комнату, почему сразу занялась какими-то делами на кухне, отчего долго умывалась и говорила с бабушкой подчеркнуто легким голосом.

Потом она вошла в комнату, порылась на комод, в шкатулке перед зеркалом — на этой шкатулке сияли под ярким солнцем невиданные пальмы на берегу зеленого моря, а внутри хранились всякие женские мелочи — заколки, наперстки, пустой флакончик из-под довоенных духов, довоенная и уже высохшая без употребления губная помада. Ничему этому не стоило придавать ровным счетом никакого значения. Я и не придавал. Это потом уж я подумал, что мама копалась в своей шкатулке слишком долго для ее скорого характера.

Потом она обернулась, сделала шаг ко мне и поцеловала меня в макушку. Я даже вздрогнул с перепугу. Не то чтобы мама не ласкала меня, напротив! Я рос, пожалуй, скорее, заласканным, с каким-то девичьим, от жизни в женской семье, характером. Но мама поцеловала меня так неожиданно, что я дернулся, хотел обернуть к ней лицо, но у меня ничего не вышло: мама крепко держала меня за голову. Она не хотела, чтобы я видел ее.

Потом стремительно, как всегда, отошла к окну. И я увидел, что она плачет.

Ужас! Меня всегда охватывал ужас, когда мама вдруг плакала. Потому что она никогда не плакала за всю войну. Раза три или четыре, а может, пять в счет не шли. Я точно знал: мама может плакать только от большой радости или большого горя. Поэтому при виде ее дрожащих плеч мне приходило в голову самое худшее. Отец! Что-то случилось с отцом!

Конечно, я закричал, вскочив:

— Что с папой?

Мама испуганно обернулась.

— Нет! Нет! — воскликнула она. — С чего ты взял!

— А почему ты плачешь? — спросил я по-прежнему громко, хотя и успокаиваясь...

— Просто так! — сказала мама. — Просто так!

В дверях уже стояла бабушка, она тоже с подозрением оглядывала маму, ей тоже не верилось, что мама станет плакать просто так, ясное дело.

Мама улыбнулась, но улыбка вышла кривоватая.

— Честное слово, — проговорила она, — я просто так. Подумала о папе... Где-то он там?

Где-то он там? Что-то с ним? Боже, сколько я думал об этом!.. Словом, и я, и бабушка — мы, конечно, сразу стали думать про отца, погрузившись, и я решил, что, пожалуй, мама имеет полное право всплакнуть.

В молчании мы поели. И мама вдруг спросила меня:

— Как там Вадик? Как Маша?

— В баню ходят исправно, — ответил я.

— Вот видишь, — сказала мама, — какие молодцы. — Она помедлила, не сводя с меня внимательного взгляда, и добавила: — Просто герои. Самые настоящие маленькие герои.

Глаза ее опять заслезились, словно от дыма, она опустила лицо к тарелке, потом выскочила из-за стола и ушла к керосинке.

Оттуда она сказала подчеркнуто оживленным голосом:

— Коля, а давай сегодня к ним сходим. Я ведь даже не знаю, где они живут.

— Давай, — сказал я скорее удивленно, чем радостно. И повторил веселей: — Давай!

— Мама! — Это она обращалась к бабушке. — Соберем-ка им какой гостинец, а? Неудобно ведь в гости с пустыми руками.

— Да у меня ничего и нет такого-то! — развела руками бабушка.

— Мучицы можно, — говорила мама, шурша в прихожей кульками, брякая банками. — Картошки! Масла кусочек. Сахару.

Бабушка нехотя вышла из-за стола, там, за стенкой, женщины стали перешептываться, и мама громко повторила:

— Ничего, ничего!

В комнату Вадика и Марьи мама вошла первой и как-то уж очень решительно. Ее не удивила убогость, она даже и на ребят не очень глядела, и вот это поразило меня. Странно как-то! Мама принялась таскать воду, взяла тряпку, начала мыть пол, а в это время шипел чайник, и мама перемыла всю посуду, хотя ее было мало и она оказалась чистой.

Мне показалось, мама мучает себя нарочно, придумывает себе работу, которой можно и не делать, ведь пол в комнате был вполне приличный. Похоже, она не знала, за что взяться. И все не глядела на Вадика и Марью, отворачивала взгляд. Хотя болтала без умолку.

— Машенька, голубушка, — тараторила мама, — а ты умеешь штопать? Сейчас ведь, сама знаешь, как худо. Учиться, учиться надо, деточка, и это очень просто: берешь грибок такой деревянный, ну, конечно, грибок не обязательно, можно на электрической лампочке перегорелой, можно даже на стакане, натягиваешь ноеок, дырочкой-то кверху, но и ниткой, сперва шовчик вдоль, потом поперек, не торопясь надо, старательно, вот и получится нитяная штопка, это всегда пригодится...

В общем, такая вот говорильня на женские темы, сперва про штопку, потом как борщ готовить, потом чем волосы мыть, чтобы были пушистые, — и так без передыху, не то что без точки, без паузы, но даже без точки с запятой.

И все бы ничего, если бы не одно важное обстоятельство, впрочем, известное одному мне. Обстоятельство это заключалось в том, что мама терпеть не могла такой болтовни и мягко, но решительно прерывала подобные разговоры, если за них принималась какая-нибудь женщина, зашедшая к нам на огонек. Я слушал и не верил своим ушам.

Наконец вся комната оказалась прибранной и почищенной, чай вскипел, и не оставалось ничего другого, как сесть за стол.

Мама первый раз за весь вечер оглядела Вадика и Марью. Вмиг она умолкла и сразу опустила голову. Вадька понял это по-своему и стал неуклюже, но вежливо благодарить. Мама быстро, скользком глянула на него и неискренне засмеялась:

— Ну что ты, что ты!

Я-то видел: она думает о другом. Нет, честное слово, мама не походила на себя сегодня. Будто с ней что-то случилось, а она скрывает. И это ей плохо удастся.

Мы попили чай.

Пили его с хлебом, помазанным тонким, совершенно прозрачным слоем масла, и с сахаром — совсем по-праздничному. Сахару было мало, и мы ели его вприкуску, ничего удивительного. Пить чай внакладку считалось в войну непозволительной роскошью.

Сахар к чаю было тоже военный, бабушкин.

Получив паек песком, она насыпала его в мисочку, добавляла воды и терпеливо кипятила на медленном огне. Когда варево остывало, получался желтый ноздреватый сахар, который было легко колоть щипцами. А главное, его становилось чуточку больше. Вот такая военная хитрость.

Мы пили чай, ели черный хлеб с маслом, прикусывали сахарку помалу, а стрелки часов подвигались к краю последнего дня войны, за которым начинался мир. Разве мог я подумать, что это последний наш чай в этой неуютной комнате?..

Потом мы вышли на улицу. Вадик и Марья улыбались нам вслед.

Стояли на пороге комнаты, махали руками и улыбались.

Я еще подумал: как будто они уезжают. Стоят на вагонной ступеньке, поезд еще не тронулся, но вот-вот тронется. И они куда-то поедут.

Мы вышли на улицу, и я снова почувствовал, что с мамой неладно. Губы у нее не дрожали, а просто тряслись.

Мы повернули за угол, и я опять крикнул:

— Что с папой?

Мама остановилась, сильно повернула меня к себе и неудобно прижала к себе мою голову.

— Сыночка! — всхлипнула она. — Родной мой! Сыночка!

И я заплакал тоже. Я был уверен: отца нет в живых.

Она еле отговорила меня. Клялась и божилась. Я успокоился с трудом. Все не верил, все спрашивал: — Что же случилось?

— Просто так! — повторяла мама, и глаза ее наполнялись слезами. — Дурацкое такое настроение! Прости! Я расстроила тебя, глупая.

* * *

А потом настало завтра! Первый день без войны.

Я ведь, конечно, не понимал, как кончаются войны, — подумаешь, без года и одного месяца начальное образование! Просто я не знал, как это делается. Правда, я думаю, и бабушка моя не представляла, и мама тоже, и многие-многие взрослые, которые не были на войне, да и те, кто были, — не могли вообразить, как закончилась эта проклятая война там, в Берлине.

Перестали стрелять? Тихо стало? Ну а что еще? Ведь не может же быть, чтобы перестали стрелять — и все кончилось! Наверное, кричали наши военные, а? «Ура!» орали изо всех сил. Плакали, обнимались, плясали, палили в небо ракеты всех цветов?

Нет, чего ни придумай, чего ни вспомни, все будет мало, чтобы небывалое счастье выразить.

Я уж думал: может, заплакать надо? Всем-всем-всем заплакать: и девчонкам, и пацанам, и женщинам, и, конечно, военным, солдатам, генералам и даже Верховному Главнокомандующему у себя в Кремле. Встать всем и заплакать, ничегошеньки не стыдясь, — от великой, необъятной, как небо и как земля, счастливой радости.

Конечно, слезы всегда на вкус соленые, даже если плачет человек от радости. А уж горя-то, горя в этих слезах — полной чашей, немереного, крутого...

Вот и мама — она меня в тот день слезами умыла. Я еще спал, она схватила меня спящего, что-то шепчет, чтобы не напугать, а на лицо мне ее горячие слезы каплют: кап-кап, кап-кап.

— Что случилось?

Я вскочил перепуганный, взъерошенный как воробей. Первое, что мне в голову пришло: я был прав. Отец! Нельзя же плакать без серьезных причин целый вечер и утро в придачу!

Но мама мне шепнула:

— Все! Все! Конеч войны!

«Почему она шепчет? — подумал я. — Об этом же кричать надо!» И гаркнул что было сил:

— Ура-а-а!

Бабушка и мама прыгали возле моей кровати, как девчонки, смеялись, хлопали в ладоши и тоже кричали, будто наперегонки:

— Ура-а-а!

— Ура-ура-ура!

— А когда? — спросил я, стоя на кровати в трусах и майке. Надо же, отсюда, сверху, наша комната казалась огромной, просто целый мир, и я, простофиля, об этом не знал.

— Что — когда? — засмеялась мама.

— Когда конец войны настал?

— Рано утром объявили. Ты еще спал!

Я вскипел:

И меня не разбудили?

— Жалко было! — сказала мама.

— Ты что говоришь! — опять закричал я. — Как это жалко? Когда такое, когда такое... — Я не знал, какое слово применить. Как назвать эту радость. Так и не придумал. — А как, как?

Мама смеялась. Она меня понимала сегодня, отлично понимала мои невнятные вопросы.

— Ну, мы с бабушкой выскочили на улицу. Утро только начинается, а народу полно. Да ты вставай! Сам увидишь!

Никогда в жизни — ни до, ни после — мне не хотелось так на улицу. Я лихорадочно оделся, обулся, умылся, поел и вылетел во двор в распахнутом пальто.

Погода стояла серенькая, унылая, что называется, промозглая, но если бы даже бушевала буря и гром гремел, мне этот день все равно показался бы ярким и солнечным.

Народ двигался прямо по булыжной мостовой, освободившейся от снега. Ни одного человека не было на тротуарах. И знаете, что пришло мне сразу же в голову? Тротуары ведь сбоку от дороги, с двух сторон. Люди ходят по одной и по другой стороне в обычные дни, двумя самостоятельными дорожками. А тут дорожки стали смешны! Глупо до отвратительности! Людей потянуло в толпу, на самую середину дороги. Как можно шагать на расстоянии друг от друга? Надо соединиться, чтобы видеть улыбки, говорить приветливые слова, смеяться, жать руки незнакомым людям!

То-то радость была!

Будто все на улице знакомые или даже родные.

Сперва меня обогнала ватага мальчишек. Они кричали «ура!», и каждый стукнул меня — кто в бок, кто по плечу, но не больно, а дружески, и я тоже крикнул: — Ура-а-а!

Потом мне навстречу попался коренастый старик с окладистой бородой. Лицо его показалось мне мокрым, и я подумал, что он, наверное, плачет. Но старик гаркнул бодрым голосом:

— С победой, внучок! — И рассмеялся.

На дороге стояла молодая женщина в клетчатом платке, совсем девушка. В руках она держала сверток с ребенком и громко приговаривала:

— Смотри! Запоминай! — Потом счастливо смеялась и снова повторяла: — Смотри! Запоминай!

Будто этот несознательный младенец может что-нибудь запомнить! Ему, похоже, было не до праздника, он орал в своем кулыке, этот карапуз. А его мать опять рассмеялась и сказала:

— Правильно кричишь. Ура! Ура! — И спросила меня: — Ты видишь? Он кричит «ура!»

— Молодец! — ответил я.

А женщина крикнула:

— Поздравляю!

На углу стоял инвалид, ему подавала почти каждая женщина, которая проходила мимо, — это раньше, в простые дни. У него не было правой руки и левой ноги. Вместо них подвернутые рукав и штанина — гимнастерки и галифе.

Обычно он сидел на деревянном чурбачке, перед ним лежала зимняя шапка со звездочкой, в эту шапку и бросали монеты, а сам инвалид бывал пьянехонек, впрочем, и молчалив, никогда ничего не говорил, только смотрел на прохожих и скрипел зубами. Слева на его груди слабо взблескивала медаль «За отвагу», зато на правой половине гимнастерки, будто погон нашили длинный ряд желтых и красных полосок — за ранения.

Сегодня инвалид был тоже выпивши, и, видать, крепко, но не сидел, а стоял, опираясь о костыль тем боком, где должна быть правая рука. Левую он держал возле виска, отдавая честь, и некуда было ему класть сегодня подающие.

Он бы, может, и не взял. Стоял на углу, как живой памятник, и к нему с четырех сторон подходил народ.

Женщины, которые посмелее, подходили к нему, целовали, плакали и тут же отходили назад. И он каждой отдавал честь. Все так же молча, будто немой. Только скрежетал зубами.

Я пошел дальше. И вдруг чуть не присел — такой раздался грохот. Совсем рядом со мной стоял человек в погонах майора и палил из пистолета. Трах-трах-трах! Он выпустил целую обойму и засмеялся. Это был прекрасный майор! Лицо молодое, усы как у гусара, и на груди целых три ордена. Погоны горели золотом, ордена позванивали и блестели, сам майор смеялся и кричал:

— Да здравствуют наши славные женщины! Да здравствует героический тыл!

Возле него сразу свилась толпа. Женщины, смеясь, начали вешаться майору на шею, и их нависло сразу столько, что военный не выдержал и рухнул вместе с женщинами. А они кричали, визжали, смеялись. Я не успел моргнуть, как все поднялись, а майора подняли еще выше, над толпой, какое-то мгновение он был вот так, над женщинами, потом упал, только уже не на землю, а им в руки, они ухнули и подкинули его в воздух. Теперь сиял не только майор, но и его блестящие сапоги. Он еле уговорил остановиться, едва отбился. За это его заставили поцеловать каждую.

— По-русски, — кричала какая-то бойкая тетка. — Три раза!

В школе вообще творилось что-то несусветное. Народ бегал по лестницам, орал, весело толкался. Мы никогда не допускали телячьих нежностей, это считалось неприличным, но в счастливый День Победы я обнялся с Вовкой Крошкиным, и с Витькой, и даже с Мешком, хоть он и олух царя небесного!

Все прощалось в этот день. Все были равны — отличники и двоечники. Всех нас любили поровну наши учителя — тихонь и забияк, сообразительных и сонь. Все прошлые счеты как будто бы закрывались, нам как бы предлагали: теперь жизнь должна идти по-другому, в том числе и у тебя.

Наконец учителя, перекикивая шум и гомон, велели всем строиться. По классам, внизу, на небольшом пятачке, где устраивались общие сборы. Но по классам не вышло! Все толкались, бродили, и перебегали с места на место, от товарища к знакомому из другого класса и обратно. В это время директор Фаина Василь-

езна изо всех сил гремела знаменитым школьным колокольчиком, похожим скорее на медное ведро средних размеров. Звон получался ужасный, приходилось закрывать ладонями уши, но сегодня и он не помогал. Фаина Васильевна звонила минут десять, не меньше, пока школа чуточку притихла.

— Дорогие дети! — сказала она, и только тогда мы притихли. — Запомните сегодняшний день. Он войдет в историю. Поздравляю всех нас с Победой!

Это был самый короткий в моей жизни митинг. Мы заорали, забили в ладоши, закричали «ура!», запрыгали как можно выше, и не было на нас никакой управы. Фаина Васильевна стояла на первой ступеньке, ведущей вверх. Она смотрела на свою беснующуюся, вышедшую из повиновения школу сперва удивленно, потом добродушно, наконец засмеялась и махнула рукой.

Дверь распахнулась, мы разбились на ручейки и втекли в свои классы. Но сидеть никто не мог. Все ходило в нас ходуном. Наконец Анна Николаевна чуть успокоила нас. Правда, спокойствие было необычным: кто стоял, кто сидел верхом на парте, кто устроился прямо на полу, возле печки.

— Ну вот, — сказала негромко Анна Николаевна, словно повторяла вопрос. — Она любила задавать вопросы дважды: один раз громче, второй — тихо. — Ну вот, — произнесла снова, — война кончилась. Вы застали ее детьми. И хотя вы не знали самого страшного, все-таки вы видели эту войну.

Она подняла голову и опять посмотрела куда-то поверх нас, будто там, за школьной стеной и дальше, за самой прочной стеной времени, просвечивала наша дальнейшая жизнь, наше будущее.

— Знаете, — проговорила учительница, немного помедлив, точно решила сказать нам что-то очень важное и взрослое. — Пройдет время, много-много времени, и вы станете совсем взрослыми. У вас будут не только дети, но и дети детей, ваши внуки. Пройдет время, и все, кто был взрослым, когда шла война, умрут. Останетесь только вы, теперешние дети. Дети минувшей войны. — Она помолчала. — Ни дочки ваши, ни сыновья, ни внуки, конечно же, не будут знать войну. На всей земле останетесь только вы, кто помнит ее. И может случиться так, что новые малыши забудут наше горе, нашу радость, наши слезы! Так вот, не да-

вайте им забыты! Понимаете? Вы-то не забудете, вот и другим не давайте!

Теперь уже молчали мы. Тихо было в нашем классе. Только из коридора да из-за стенок слышались возбужденные голоса.

* * *

После школы я не помчался к Вадьке, он ведь теперь не пропускал уроков, да и разве может хоть кто-нибудь усидеть дома в такой день?

В общем, я пришел к ним в сумерки.

Коммунальный трехэтажный дом, где они жили, походил на корабль: все окна светились разным цветом — это уж зависело от штор. И хотя никакого шума и гама не слышалось, было и так понятно, что за цветными окнами люди празднуют победу. Может, кто-нибудь и с вином, повзаправдашнему, но большинство — чаем послаще или картошкой, по сегодняшнему случаю не просто вареной, а жареной. Да что там! Без вина все были пьяны радостью!

В тесном пространстве под лестницей ко мне прикоснулся страх своей ледяной рукой! Еще бы! Дверь в комнату, где жили Вадим и Марья, была приоткрыта на целую ладонь, и в комнате не горел свет. Сначала у меня в голове мелькнуло, будто комнату очистили воры. Где у них совесть, в праздник-то...

Но тут я почувствовал, как в приоткрытую дверь бьет темный луч.

Будто там, в комнате, жарко печет черное солнце и вот его лучи пробиваются в щель, проникают под лестницу. Ничего, что его не видно, это странное солнце. Зато слышно, зато его чувствуешь всей кожей, словно дыхание страшного и большого зверя.

Я потянул на себя дверную ручку. Протяжно, будто плача, заскрипели петли.

В сумерках я разглядел, что Марья лежит на кровати одетая и в ботинках. А Вадим сидит на стуле возле холодной «буржуйки».

Я хотел сказать, что это великий грех — сумерничать в такой вечер, хотел было отыскать выключатель и щелкнуть им, чтобы исчезло, истаяло странное черное солнце, ведь с ним справится и обычная электрическая лампочка. Но что-то удержало меня включить

свет, заговорить громким голосом, схватить сзади Вадима, чтобы он шевельнулся, ожил в этом мраке.

Я прошел в комнату и увидел, что Марья лежит с закрытыми глазами. «Неужели спит?» — поразился я. И спросил Вадима:

— Что случилось?

Он сидел перед «буржуйкой», зажав ладони коленями, и лицо его показалось мне незнакомым. Какие-то перемены произошли в этом лице. Оно заострилось, чуть-чуть усохло, по-детски пухлые губы вытянулись горькими ниточками. Но главное — глаза! Они стали больше. И как будто видели что-то страшное.

Вадим задумался и даже не шелохнулся, когда я вошел, покрутился перед ним и уставился ему в глаза.

— Что случилось? — повторил я, даже не предполагая того, что может ответить Вадька.

А он смотрел, задумавшись, на меня, вернее, смотрел сквозь меня и проговорил похудевшими, деревянными губами:

— Мама умерла.

Я хотел рассмеяться, крикнуть: мол, что за шутки! Но разве бы стал Вадька... Значит, это правда... Как же так?

Я вспомнил, что за день сегодня, и содрогнулся. Ведь конец войне, великий праздник! И разве возможно, чтобы в праздник, чтобы такое случилось именно в праздник...

— Сегодня? — спросил я, все не веря. Ведь мама, моя мама, на которую можно всегда положиться, просила передать Вадике и Маше, будто дела в больнице идут на поправку.

А вышло...

— Уже несколько дней... Ее похоронили без нас...

Он говорил неживым голосом, мой Вадим. И я просто физически ощущал, как с каждым его словом между нами раскрывается черная вода.

Все шире и шире.

Будто он и Марья на маленьком плоту своей комнаты отплывают от берега, где стою я, лопухий маленький пацан.

Я знаю: еще немного, и черная быстрая вода подхватит плот, и черное солнце, которое уже горит не видимым, а только ощущаемым теплом, светит нестойкому плоту, провожает его в неясный путь.

— Что же дальше? — едва слышно спросил я Вадьку.

Он слабо шевельнулся.

— В детдом, — ответил он. И первый раз, пока мы говорили, он моргнул. Посмотрел на меня осмысленным взглядом.

И вдруг он сказал...

И вдруг он сказал такое, что я никогда забыть не смогу.

— Знаешь, — сказал великий и непонятный человек Вадька, — ты бы шел отсюда. А то есть примета. — Он помялся. — Кто рядом с бедой ходит, может ее задеть, заразиться. А у тебя батя на фронте!

— Но ведь война кончилась, — выдохнул я.

— Мало ли что! — сказал Вадим. — Война кончилась, а видишь, как бывает. Иди!

Он поднялся с табуретки и стал медленно поворачиваться на месте, как бы провожая меня. Обходя его, я протянул ему руку, но Вадим покачал головой.

Марья все лежала, все спала каким-то ненастоящим, сказочным сном, только вот сказка была недобрая, не о спящей царевне.

Без всяких надежд была эта сказка.

— А Марья? — спросил я беспомощно. Не спросил, а пролепетал детским, жалобным голосом.

— Марья спит, — ответил мне Вадим спокойно. — Вот проснется, и...

Что будет, когда Марья проснется, он не сказал.

Медленно пятясь, я вышел в пространство под лестницей. И притворил за собой дверь.

Черное солнце теперь не прорывалось сюда, в подлестничный сумрак. Оно осталось там, в комнатке, где окна так и заклеены полосками бумаги, как в самом начале войны.

* * *

Я видел Вадима еще раз.

Мама сказала, в каком он детском доме. Пришла и сказала. Я понял, что значили ее слезы в день накануне Победы.

Я пошел.

Но у нас ничего не вышло, никакого разговора.

Вадима я разыскал на детдомовском дворе — он нес

охапку дров. Конец лета выдался прохладным, и печку, видать, уже топили. Заметив меня, молча, без улыбки, кивнул, исчез в распахнутой пасти большой двери, потом вернулся.

Я хотел спросить его, мол, ну как ты, но это был глупый вопрос. Разве не ясно как. И тогда Вадим спросил меня:

— Ну как ты?

Вот ведь один и тот же вопрос может выглядеть глупо и совершенно серьезно, если задают его разные люди. Вернее, люди, находящиеся в разном положении.

— Ничего, — ответил я. Сказать «нормально» у меня не повернулся язык.

— Скоро нас отправят на запад, — проговорил Вадим. — Уезжает весь детдом.

— Ты рад? — спросил я и потупил глаза. Какой бы вопрос я ни задал, он оказывался неловким. И я перебил его другим: — Как Марья?

— Ничего, — ответил Вадим.

Да, разговора не получалось.

Он стоял передо мной, враз подросший, не улыбочивый парень, как будто и не очень знакомый со мной.

На Вадиме были серые штаны и серая рубаша, неизвестные мне, видать детдомовские. Странное дело, они еще больше отделяли Вадима от меня.

И еще мне показалось, словно он чувствует какую-то неловкость. Словно он в чем-то виноват, что ли? Но в чем? Какая глупость!

Просто я жил в одном мире, а он существовал совсем в другом.

— Ну, я пошел? — спросил он меня.

Странно. Разве такое спрашивают?

— Конечно, — сказал я. И пожал ему руку.

— Будь здоров! — сказал он мне, мгновение смотрел, как я иду, потом решительно повернулся и уже не оглядывался.

С тех пор я его не видел.

В здании, которое занимал детский дом, расположилась артель, выпускавшая пуговицы. В войну ведь и пуговиц не было. Война кончилась, и срочно понадобились пуговицы, чтобы пришивать их к новым пальто, костюмам и платьям.

Осенью я пошел в четвертый класс, и мне снова выдали талоны на дополнительное питание.

Дорогу в восьмую столовку приукрасила солнечная осень — над головой качались кленовые ветви, расцвеченные, точно разноцветными флажками, праздничными листьями.

Многое я теперь видел и понимал по-другому. Отец был жив, и хотя еще не вернулся, потому что шла новая война, с японцами, это уже не казалось таким страшным как все, что минуло. Мне оставалось учиться всего несколько месяцев, и — пожалуйста — в кармане свидетельство о начальном образовании.

Все растет кругом. Деревья растут, ну и маленькие люди — тоже, у каждого сообразительности прибывает, и все меняется в наших глазах. Решительно все!

Осень стояла теплая, раздевать и одевать народ не требовалось, и тетя Груша выглядывала из своего окошка черным, антрацитовым глазом просто так, из чистого любопытства, тотчас опуская голову, — наверное, вязала.

И вообще народу в столовке стало меньше. Никто почему-то не толкался в тот час.

Я спокойно получил еду — опять славная, во все времена вкусная гороховица, котлета, компот, — взялся за ложку и, не оглядываясь по сторонам, бренчал уже о дно железной миски, как напротив меня возник мальчишка.

Война кончилась, слава богу, и я уже все забыл — короткая память. Мало ли отчего мог появиться тут пацан! Я совершенно не думал о таком недалеком прошлом.

На виске у мальчишки вздрагивала, пульсировала синяя жилка, похожая на гармошку, он смотрел на меня очень внимательно, не отрывая взгляда, и вдруг проговорил:

— Мальчик, если можешь, оставь!

Я опустил ложку...

Я опустил ложку и посмотрел на пацана. «Но ведь война кончилась!» — хотел сказать, вернее, хотел спросить я.

А он глядел на меня голодными глазами.

Когда так смотрят, язык не поворачивается.

Я промолчал. Я виновато подвинул ему миску, а вилкой проделал границу ровно посередине котлеты.

* * *

Да, войны кончаются рано или поздно.

Но голодуха отступает медленнее, чем враг.

И слезы долго не высыхают.

И работают столовки с дополнительным питанием.

И там живут шакалы. Маленькие, голодные, ни в чем не повинные ребяташки.

Мы-то это помним.

Не забыли бы вы, новые люди.

Не забудьте! Так мне велела наша учительница Анна Николаевна.

* * *

Это все правда. Все это было.

Детская библиотека

В третью военную осень — да уж, пожалуй, это и не осень была, а начало зимы: на улице свистал знобкий ветер, перегонял по дороге белые охвостья снежной крупы, больно сек ею лицо, выжимая слезы, хотя на календаре числилась еще осень, и я не забыл густой дух картошки, жаренной на рыбьем жире, праздничного объедения, которым мы отметили октябрьскую годовщину, — так вот в третью военную осень, сразу после каникул, я записался в библиотеку.

Я? Записался?

Это только так говорится. И вы сейчас поймете почему.

После уроков Анна Николаевна не отпустила нас по домам, а раздала узкие полоски бумаги, на которых под жирной фиолетовой печатью — честь по чести! — было написано, что такой-то или такая-то действительно учится во втором классе девятой начальной школы.

— Вот! С этой! Справкой! — разделяя слова, делая между ними паузы и, таким образом, не просто объясняя, а внушая, вдалбливая нам правило, которое требовалось запомнить, Анна Николаевна разъяснила и остальное. — И письменным! Поручительством! Мамы! Вместе! С мамой! Вы! Пойдете! В детскую! Библиотеку! И запишетесь!

Детское ликование трудно остановить.

Да и не нужно его останавливать, потому что это ведь стихия. Ветер, например, можно остановить? Или дождь? Или бурю там, всякие, например, громы и молнии? Наберись терпения, подожди, стихнет ветер, промчатся тучи, и снова будет так, как было до стихии.

Поэтому наша мудрая Анна Николаевна только улыбнулась, когда мы заорали на радостях, заколготились в своих партах, как в коробах, отошла в сторону, прислонилась к теплой печке и сложила руки калачиком.

Теперь самое время объяснить, отчего уж мы так возрадовались.

Подумаешь, скажут нынешние ребята, делов-то — в библиотеку записаться, да это ж запросто, заходи в любую, покажи дневник, и вся недолга!

То-то и оно, что скажут так нынешние ребята.

Мы жили в другое, хоть и не такое, может, давнее время, и много тогда было всяких правил, которых теперь в помине нет.

Вот, например, поручительство.

Мы утихи, утомонились, Анна Николаевна отошла от печки к своему столу и снова стала объяснять.

— В письменном! Поручительстве! Мама должна указать! Место! Своей! Работы! Должность! Домашний! Адрес! И написать! Что в случае! Потери! Книг! Она! Возместит! Утрату! В десятикратном! Размере!

Вот вам что такое поручительство!

После шквала радости по классу прокатился сдержанный вздох.

— В десятикратном? — воскликнул кто-то с ужасом.

— Да, — сказала Анна Николаевна. — В десятикратном! Теперь вы понимаете свою ответственность? — спросила она уже обыкновенным, спокойным голосом.

Можно было и не спрашивать. Без всякого сомнения, штраф за потерянную книжку в десятикратном размере выглядел чудовищным наказанием, но отказаться от него не мог никто, никакой взрослый, ведь не зря же в поручительстве надо было указать место работы. Выходило, книжки читать будем мы, и терять, если доведется, тоже будем их мы, а вот мамам придется страдать из-за этого, будто мало им и так достается.

Да, мы росли в строгости военной поры, твердо зная, что взрослый, опоздав на работу, попадает под суд, а горсть гороха из колхозного мешка обещает тюрьму.

Может, мы оглядывались на каждом шагу, боялись поднять голову, засмеяться? Нет! Жили, как живут люди всегда, только с детства знали: там-то и там-то есть строгая черта, к которой лучше не приближаться. Так что Анна Николаевна просто предупреждала об этой черте. Внушала нам, второклассникам, важную истину, согласно которой и мал и стар зависимы друг от дружки, и коли ты забудешь об этом, забудешь о том, что книжку надо беречь, поглубже прятать в сумку или даже за пояс, под курточку, и потеряешь по рассеянности или еще по какой другой, пусть даже уважительной причине, маме твоей придется отвечать за тебя, плакать, со-

бирать по рублю деньги в — десятикратном! — размере или, того хуже, у нее на работе из-за твоего ротозейства начнутся неприятности.

Поручительство, оно и есть поручительство.

Повздохав, зарубив себе на носу жестокий размер ответственности и еще одно правило, по которому мама должна прийти сама вместе с тобой, захватив при этом паспорт, мы вылетели на волю, снова ликуя и толкаясь.

Дело в том, что все мы давно уже научились читать — соответственно возрасту, конечно же, запросто разделявались с тонкими, еще довоенными, клееными-переклееными книжечками, которые давала в классе Анна Николаевна, но вот в библиотеку нас не пускали, в библиотеку записывали почему-то лишь со второго класса.

А кому в детстве не хочется быть постарше? Человек, который посещает библиотеку, — самостоятельный человек, и библиотека — заметный признак этой самостоятельности: все видят, как тыходишь в нее и выходишь обратно.

Может быть, этот счастливый момент и не запомнился мне так хорошо и так подробно, если бы шло все своим чередом, и как только я пришел из школы, мы бы отправились в библиотеку.

Увы! Мама была на работе, а у бабушки моей, маминой мамы, ясное дело, совсем другая, чем у меня, фамилия, и кто же поверит, что она именно бабушка, а не первая встречная старушка или там какая-нибудь безответственная соседка.

Бывает вот так, к сожалению: умом-то человек все вроде бы понимает, а с чувствами сладить не в силах. Вот и я — все понимал, а хныкал, как дошкольник. Такая обида накатила, даже не знаю — на что, на кого? Я забился в угол, затирая рукавом слезы и тяжело сопел, а бабушка гремела кастрюлями в своем углу.

Так вот всегда заканчивались наши сражения: моим топеньем и ее громоуханьем.

Догадываешься, почему? Понимаешь, что никто не виноват, но вот дело-то отвалилось! Завтра все придет в школу и тут хватит я библиотечными книгами, а мне при-

дется отворачиваться, делать вид, что я глух и нем, или выдумывать какую-нибудь небывальщину.

Хорошо еще, мама сразу поняла, что я неспроста сижу тихий над тетрадкой и не могу решить два легусеньких примера по арифметике, быстро выяснила причину, легко рассмеялась, вырвала листок из чистой тетради и своим размашистым, летучим почерком написала поручительство.

Что правда, то правда, моя мама могла одним всего-навсего словом или вот как теперь — росчерком пера — сменить погоду на улице, переломить настроение, разгладить бабушкины морщины, а меня заставить глубоко вздохнуть и жить по-новому.

Противный ветер за окном стих, и в фиолетовых, почти чернильных сумерках вдруг повалили лохматые снежинки. Новый снег!

Дышать стало легче, и я освобожденно рассмеялся.

Чудесница эта мама!

А она достала из комода свой паспорт и сказала, обращаясь к бабушке:

— Сходите туда завтра вдвоем. Я-то поздно ведь прихожу. Объясни, люди же в этой библиотеке, поймут.

И завтра мы пошли.

Как любила бабушка, взявшись за руки, и я уже не рядился с ней, не спорил, не отстаивал самостоятельность, не думал о том, чем буду оправдывать свою девчачью послушность, если попадется знакомый народ. Я думал о том, как выглядит эта самая библиотека — ведь я уже был в ней и, представьте себе, не однажды.

Впрочем, тогда это была не библиотека вовсе — табачный магазин. И всякий раз я заходил туда с отцом, а он покупал себе папиросы в знаменитом на весь город и единственном табачном магазине.

Чем он был знаменит? Во-первых, тем, что о нем много говорили. Я то и дело слышал, как взрослые, даже женщины, спрашивали друг друга:

— Ты была в табачном магазине? Ах какая прелесть!

Что может быть прелестного в магазине, да еще табачном, я не понимал, но потом мы с отцом шли откуда-то куда-то, и он сказал мне:

— Кончились папиросы. Давай-ка зайдем в знаменитый табачный магазин!

И мы зашли.

Да. Мы зашли, и всякий раз я попадал в этот магазин с отцом, а это означало, что в табачный магазин мы заходили до войны, и я не уставал удивляться, а в первый раз и вовсе онемел от замечательной красоты.

Дело в том, что есть такое вятское искусство — обработка капа или капокорня. Кап — это нарост на березе. Будете в березовой роще, приглядывайтесь повнимательнее к деревьям, и обязательно хоть на одном, да увидите такой овальный нарост, это и есть кап. Он и внизу нарастает, на самых корнях, это уже капокорень.

Березу, как всякое дерево, можно спилить, можно топором колоть, а кап никакой топор не берет, такой он твердый. Вятские мужики — неизвестно когда? — научились все-таки кап пилить острыми и тонкими пилами, потом шлифовать, полировать до блеска и лаком покрывать. Получаются дощечки — от лака блестящие, прямо стекло, хотя и непрозрачные, ясное дело. Скажем так: будто сквозь стекло проступает береза, только не ствол ее, а завитки, узоры чудные, кружева. Это каповый нарост так древесную ткань свил. Из капа шкатулки делают, табакерки там, пудреницы, например, для женщин, мелкую, в общем, всячину, и никогда никто не знал, что можно из этих дощечек целую комнату сделать. Целый магазин!

Когда мы первый раз туда вошли, я прямо на пороге замер. Магазин небольшой был — комната средней величины, меньше школьного класса раз в пять или в шесть — и стены как будто облиты прозрачным льдом, а за ним кружатся, растекаются необыкновенные разводы — то цветы, то облака, то просто неведомый, странный рисунок, и все это одного оттенка, коричневого и оттого теплого. Холодное стекло, даже лед, и — теплый цвет. Да еще прилавки точно такие же.

Что такое кап и капокорень, я, конечно, уж потом узнал, много лет спустя, постарше или совсем взрослым, а тогда я стоял возле порога, таращился во все глаза, и день был ясный, послеобеденное солнце пробиралось по крышам, среди печных труб, заглядывало в оба магазинных окна, отражалось в лаковых стенах, дробилось на зайчики, высвечивая зеленые коробки папирос с непонятным, но таинственным названием «Герцеговина Флор», силуэты всадников на коробках «Казбека», желтые шкатулки табака для морских, наверное, капитанов, потому что назывался он «Капитанский». Этот капитан-

ский табак — одна коробка была распечатана — медово светился под витринным стеклом в окружении веера черных и оттого торжественно прекрасных трубок с матовыми боками, и я подумал: как было бы здорово, если бы отец закурил трубку с таким табаком!

Вот выходим мы из магазинчика, он останавливается, не спеша раскуривает трубку, и мы шагаем с ним рядом, и все прохожие останавливаются: еще бы, в нашем городе никто не курит трубок. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы по улице шел человек и курил себе трубку. Наверное, это потому, что наш город сухопутный и морских капитанов здесь не бывает.

Вот такие мысли пришли мне в голову, пока я стоял возле порога табачного магазина необыкновенной красоты и вдыхал опасные и в то же время прекрасные запахи, которые издавали все эти цветные коробки и пачки. Конечно, пахло табаком, но, смешиваясь, все эти запахи образовывали какую-то горьковатую, а оттого неприторную сладость.

Может, это была сладость взрослой мужской жизни? Не знаю, может быть. Я не успел в этом разобраться. Ведь это было до войны.

Все, что было до войны, казалось мне освещенным ясным и мягким светом незакатно-солнечного дня, того самого, когда мы с отцом зашли в табачный магазин.

Солнце не стояло над головой, оно брело по крышам, тени становились длиннее и чуточку темнее, и моя душа осязала прозрачность воздуха, бордовый цвет кирпича, от которого отстала штукатурка, и даже, кажется, невидимую дугу, след ласточки, размашистый ее полет в покое и сладкозвучной тишине.

Такой мне казалась жизнь до войны.

Там, до войны, мы были с отцом в табачном магазине, он купил «Беломор», три пачки с голубыми дугами над картой, и магазин сверкал древесными льдинами, но потом началась война, табак стали давать по карточкам, магазин закрылся, и вот туда переехала детская библиотека.

Чем жива человеческая память? Событиями и лицами, поступками и словами.

Однако, если даже с точностью выстроить их друг за дружкой, вспомнив, что следовало за чем, если даже по словечку вспомнить, что, кто и когда сказал, это окажет-

ся всего лишь навсего сухой перечень событий. События и лица, поступки и слова, давно ушедшие от тебя, вернутся снова, если их соединить памятью чувств.

Что я почувствовал, вновь переступив знакомый порог?

Сильную обиду, обделенность, обман. Будто я что-то потерял и знаю, что потерял без возврата, навеки.

Бабушка подошла к прилавку, вела там тихий, очень вежливый разговор, а я стоял, как тогда, до войны, у самого порога, и было на душе у меня пусто, будто я ночью иду по пустой дороге. И батя мне все млился, папка — вот он там стоял, не где бабушка, подальше, у самого края прилавка, время от времени поворачивался ко мне — покупал «Беломор», платил деньги, брал пачки, а сам так часто-часто на меня оглядывался, словно боялся, что я убегу, исчезну, и улыбка не сходила с его лица, а я ведь тогда таращился на красивые цветные коробки, на табак и собирался спросить отца, почему он не купит себе трубку, — вот было бы здорово, — да так и не спросил.

И много чего другого не успел я сделать там, до войны, пока отец был так неправдоподобно близко — только руку протяни. Например, порыбачить не успел, сходить с ним на охоту.

Я вспомнил, как отец уходил с ружьем, яркой вспышкой озарило меня прошедшее, но не забытое мгновение, точнее, чувство: мы с мамой провожаем его до угла, где почтовый ящик, я обещаю не плакать, взрослые объясняют, что на охоту мне еще рано, и я как будто хорошо понимаю это, больше того, мне становится страшно, когда я представляю себе, как громко жажнет выстрел, — так вот, я обещаю не плакать, но не могу сдержаться и навзрыд плачу, когда отец, оглянувшись в последний раз, отходит от нас. Закатное солнце слепит меня, бордовое, зловещее, грозное солнце, на фоне которого раскачивается кепочка отца, вещевой мешок и ствол ружья, мне отчего-то душно, тяжело на душе, я боюсь за отца — почему он уходит от нас, зачем эта охота, пусть лучше вернется, мама берет меня на руки, бегом несет домой, точно спасает от беды, и в глазах у нее я тоже вижу слезы.

Как приходит тревога в дом? Плачем малыша, которого напугало красное, словно налитое кровью, закатное солнце, и вслед за ним заплакала мама, а через день вернулся расстроенный отец — охота не удалась, даже

ни разу не выстрелил; ну хорошо, что же делать, а он хмурится и ломает спички, закуривая «Беломор».

Что это было? Предчувствие? Но война началась через год, и много было еще и смеха и слез до ее прихода, а я помнил тот вечер и чувствовал ту тревогу...

Почему она соединилась с новой?

Я оглядывал полки, за которыми лежали лохматые от старости книги, я вспоминал коробки с «Герцеговиной Флор» — что это имя значит? — с «Казбеком», с медовым табаком для морских капитанов, я вспоминал черные суровые трубки, чисто мужские вещи, и поражался холодному равнодушию блестящих витрин, которые так легко сменили свое содержание, так легко забыли, что лежало здесь раньше.

Я втягивал ноздрами воздух, надеясь услышать хотя бы напоминание о сладком запахе довоенных табачков, но чувствовал только дух клея и старой бумаги.

Правда, он не был противным, этот новый запах.

Они смотрели на меня удивленно, бабушка и библиотекарь, видно, окликнули не раз, пока я встрепенулся и шагнул к витрине.

— Здравствуйте, — запоздало сказал я и стянул шапку.

— Нет, нет, — замотала головой старушка, — шапку не снимай.

— Полагается, — неуверенно запротестовала бабушка.

— Вот раздобудем дров, тогда будет полагаться, — ответила старушка библиотекарь. — А пока холодно.

Сама она была одета очень странно. На голове лохматая ушанка, вместо тесемок у которой настоящие ленты, и ниже подбородка они завязаны в бант, каким девочки завязывают волосы — такой же широкий, похожий на бабочку. Сама шапка, правда лохматая не вся, не целиком, кое-где выдраны целые клочья, будто эту шапку рвали злые собаки. А вот пальто на старушке совершенно необыкновенное, такого я еще не видал. Оно, кажется, бархатное, переливается, когда старушка шевелится, да еще сверху нависает пелерина, а на ней красивый светло-серый воротник.

Потом, когда мы выйдем на улицу, бабушка скажет то ли мне, то ли самой себе в задумчивости: «Такое пальто раньше барыни носили», — а пока я разгляды-

вал библиотекарьшу во все глаза и едва сдерживался, чтобы не прыснуть. Этот ее величаво-печальный наряд завершали перчатки с отрезанными пальцами, чтобы удобней писать.

— Ну, — сказала старушка, выслушав бабушкины объяснения и разгладив бумажки, которые та подала ей. — Как тебя зовут, фамилия?

Я произнес погромче свои скромные данные, ведь ушанка у нее была накрепко завязана таким широким бантом, что она, наверное, плохо слышала, но старушка, ничуть не обидевшись, улыбнулась:

— Кричать не надо, выбирай лучше книгу.

Я столько ждал этого мгновения, что — как это часто бывает — прозевал его.

— Выбирать? — переспросил я.

— Ну да, — сказала старушка, — чего ты хочешь прочитать?

Я топтался перед витриной, вглядываясь в потрепанные обложки, шевелил губами, читая незнакомые мне имена и названия, всматривался в стопу книг подальше, за спиной у библиотекарьши, и с каждым мгновением все ясней понимал, в какой я попал конфуз. Ведь я не знал, ну совершенно не знал, какую книгу хочу прочитать.

Теперь настала очередь старушки разглядывать меня. Может быть, я еще и поэтому потерялся — меня жег ее взгляд. Раз или два я, словно жулик, укравший что-то прямо на глазах у народа, мельком посмотрел на нее. Она улыбалась, надо же, какая веселая, и бабушка отправилась на мое спасение. Откашлявшись, подсказала мне:

— Сказки Пушкина?

Я помотал головой. Я не хотел признаться даже себе, что оказался такой маленький и беспомощный. Что, мечтая записаться в библиотеку, я, как последний остолоп, не знаю, чего бы мне почитать. Сказки Пушкина мне читала мама, когда я был совсем крохотным, да и по радио я их слышал десять раз, не меньше. Нет, я не хотел брать первую же книгу, какую мне подсказали.

— Он хорошо читает? — неожиданно спросила библиотекарьша, обращаясь к бабушке поверх моей головы, и я, наверное, покраснел, словно мак. Обо мне спрашивали при мне, как спрашивают о самых маленьких, будто я сам не в состоянии ответить — есть у взрослых такая обидная манера. А бабушка чего-то размышляла, то ли задумалась о чем-то другом, то ли вопрос не поняла,

молчала себе, разглядывая меня, точно не знает, как я читаю.

И я воскликнул не без отчаяния:

— Свободно!

— Свободно читает, — подтвердила бабушка, очнувшись. — По чтению «пять».

Ну, хотя бы! Да, по чтению «пять», несмотря на то, что это не самое лучшее доказательство.

Я все еще трепыхался, все еще отстаивал в душе свою серьезность, а библиотекарьша протянула руку с обрезанными перчатками к полке и взяла толстенную книгу. Как она угадала? Я хотел бы почитать вот такую толстую, мохнатую, это значит зачитанную и оттого, бесспорно, интересную книгу.

— Вот, — сказала она. — Рекомендую именно тебе. Борис Жигков. «Что я видел».

«Что я видел» — будто эхо, отозвался я сам в себе, совсем неосознанно, механически, то ли спрашивая, то ли утверждая — что я видел-то, на самом деле?

— Эта книга, — сказала старушка, вдруг отвернувшись к окну, — про то, как люди жили до войны, и про то, как мальчик вроде тебя путешествовал на пароходе.

Я кивнул. Бабушка облегченно вздохнула.

Помнишь ли ты свою первую книгу?

Нет, не ту, что прочитала бабушка или мама возле постели, когда у тебя была ангина и тебе отчего-то хотелось плакать над каждой страницей, и не ту тонкую книжицу, по которой ты, словно птенец, пробуя звуки собственного голоса, складывал из букв знакомые слова.

Нет, я спрашиваю про книгу, которую ты выбрал — или тебе помогли выбрать — среди множества других, которую ты раскрыл дома, оставшись один, и которая навсегда запала в твою память чудесными мыслями, волнующими словами, чернотой отчетливых, красивых букв, рисунками, переплетом — прекрасным или вовсе неказистым и даже запахом — резким запахом типографской краски, смешанной с клеем, или запахом какого-то другого дома, в котором, перед тем как оказаться у тебя, побывала эта книга?

Я помню очень хорошо.

Книга «Что я видел» была сразу — большой и тол-

стой. Выпущенная перед войной, к третьей военной осени, она вспухла от прикосновения многих рук, желтая картонная обложка обтерлась и потрескалась, как будто это кусок глинистой земли, пересохшей от безводья, а внутри на некоторых страницах встречались следы стаканов неаккуратных читателей и даже чернильные кляксы. Но тем милей казалась эта книга!

Едва выучив уроки, я уселся за свой «десерт», за это лакомое блюдо. Герой книги плыл по Волге на пароходе, и вместе с ним плыл я, но ведь все дело в том, что там, на Волге, еще зимой шла война. Каждое утро Анна Николаевна передвигала на карте в нашем классе красные флажки, и прошлой зимой там, на Волге, у самого Сталинграда, флажки словно застряли. Анна Николаевна приходила хмурая, можно было подумать, что она весь день останется такая, но учительница постепенно оживала, смеялась, даже смешила нас какими-нибудь шутками, а вот по утрам хмурилась, пока флажки на Волге вдруг зашевелились, двинулись вперед, к границе.

Потом она нам рассказывала, что знала про Сталинградскую битву, про то, как наши сперва защищались, как держались за каждый камень, а в это время готовились силы, подходили к Волге новые войска и, наконец, наши окружили фашистов, захватили клещами, будто какой-нибудь ржавый гвоздь, да и выдернули его.

В кино тогда показывали пленных немцев, как идут они длинными колоннами, откуда-то из-за горизонта, а наши командиры в белых полушубках смотрят на них презрительно. И вокруг одни печи торчат вместо домов.

А в книжке, которая мне досталась, никакой войны нет, по Волге плывет пароход, похожий на льдину, такой он белый и чистый, и на нем плывет мальчик, который видит много всяких интересных вещей.

Первый раз в моей жизни прошлое не походило на настоящее и оттого было еще прекраснее.

Я читал книгу, наслаждался ею, точно глотал вкусное мороженое, время от времени вставал из-за стола и шел к бабушке, вспоминая, как мы записывались в библиотеку.

— Но почему ты сказала, что так раньше барыни одевались?

— До революции, — говорила бабушка. — Видать, приезжая, старушка-то!

— Откуда ты взяла? — смеясь, спрашивал я.

— Да я и сама не знаю откуда, — улыбалась бабушка.

Я снова возвращался к книге, прочитывал еще одну главу и переспрашивал бабушку:

— Значит, через десять дней, если не прочитаю, надо вернуть?

— Не вернуть, а продлить, — поясняла бабушка. — И книгу можно не носить. Зайдешь, попросишь, чтобы продлили.

— Надо ее в газету обернуть, — говорил я.

— Да и корешок неплохо подклеить. Страницу какую, если порвана.

Так мы вспоминали строгие библиотечные правила, выполнять которые мне хотелось неукоснительно и с радостью.

— А вдруг она графиня? — спросил я бабушку уже перед сном.

— Кто? — испугалась бабушка.

— Ну, эта старушка? Библиотекарь?

Мама рассмеялась. Весь вечер она слушала, как мы, перебивая друг друга, говорили о библиотеке, о строгих читательских правилах, просила меня прочитать вслух главу-другую из библиотечной книги, хвалила за то, что читаю бойко, быстро, не спотыкаясь, громким голосом, с выражением. Рассказали мы и про старушку в барской шубе.

Мама рассмеялась, когда я задал дурацкий вопрос, а бабушка ничуть не удивилась.

— А что? — сказала она. — Все может быть.

Это же надо, к чему приводит неосторожное словцо. К настоящему скандалу! Почти к драке!

Сказанное мной накануне перед самым сном я никак больше не обдумывал. Стукнул кулаком в подушку, чтобы мягче была, повернулся на бок и провалился в сон, как в омут, ну а утром не до размышлений — бегом к умывальнику, бегом к столу, потом бегом в школу. Пока за парту не усядешься, не затолкаешь внутрь ее свой облупленный портфельчик, думать некогда.

Так что шестеренки, колесики, шурупчики, которые

в голове крутятся, если думаешь, у меня в то утро еще стояли, еще не двигались, когда я, наспех переведя дыхание, брякнул снова, как вчера:

— А может, она бывшая графиня?

— Кто? — выдохнул Вовка. Все у него, как говорится, кругом пошло — и лицо, точно блин, и глаза, будто шарик, и уши, как кренделя.

— В библиотеку-то записался? — спросил я.

— Ну! — подтвердил он.

— Библиотекаря-то старушка была?

— Ну! — воскликнул он, уже догадываясь. — Она? Я кивнул.

— Откуда ты взял? — жарко шепнул мне Вовка, приблизившись.

— Да ниоткуда, — возмутился я. — Пальто у нее такое, вот и подумал.

Я еще только подумал, я всего лишь навсего предполагал, а Вовка уже прыгал между партами, в проходе, и орал на весь класс:

— Вы слышали? Старушка-то! В библиотеке-то? Графиня! Графиня!

Так рождаются слухи. И возникают нелепости, которые могут закончиться неприятностью и мордобоем. Напрасно на всех переменах того злополучного дня я подходил к людям из нашего класса и, взяв за пуговицу или даже за рукав, объяснял, что просто спросил, не графиня ли библиотекаря.

Мне показалось, говорил я, никаких фактов у меня нет, просто на ней очень странное пальто, до революции такие носили богатые барыни, но ничего объяснить было невозможно, народ словно сошел с ума: такое ясное дело, и никто не мог понять.

События того дня взбаламутились у меня в голове, поэтому я не мог вспомнить, кто именно мне отвечал, но вот сами ответы я помнил отлично, потому что они поражали до глубины души своей бестолковостью.

— Очень! Очень! — сказал мне кто-то в ответ на мое объяснение.

— Что — очень? — удивился я.

— Очень похожа на графиню, ты прав.

— Да я не знаю! Я просто спросил! Я подумал!

— Правильно подумал!

Фу ты! Я про одно, а они про другое.

— Да нет, это только такая мысль, — доказывал я другому.

— Чудак! Это здорово! — смеялся кто-то в ответ. — В нашем городе — и! — собственная! — графиня!

Сперва я всерьез стремился восстановить истину, потом меня смех разобрал от этой всеобщей бестолковости, а к концу дня едва сдерживался, чтобы не зареветь принародно.

Одна Нинка Правдина из всего класса справедливый диагноз поставила моей выдумке:

— Глупистика!

Но окончательно из себя вывел все тот же Вовка. На всех переменах, я заметил, он стремглав вылетал из класса, бегал по коридорам, разносил сплетню по этажам, а перед последним уроком, даже опоздав на него, он приблизил ко мне круглую, как шар, стриженую голову и прошептал торжественно:

— Еще и граф есть!

Я сорвался.

— Враль! Враль! — прошептал я Вовке с отчаянием, ухватился за парту и, навалившись на друга всем телом, скинул его в проход. Есть такой школьный прием.

Тут же, конечно, разразился скандал, потому что все захохотали, Анна Николаевна застучала по столу указкой, чтобы уговорить народ, а нам с Вовкой велела выйти из-за парты и подойти к печке. Отдохнуть. Охолонуться, как выражалась она.

Какое счастье, что Анна Николаевна никогда не выясняла отношений между нами. Кто и что сделал, сказал, подумал. Просто предлагала выйти вперед, предочи, как она выражалась, класса. Постоять минут пять или даже десять, а потом отпускала за парту. Помогало замечательно. Все-таки торчать на виду у всех мало кому нравилось. Если кто-то поначалу хорохорился, то через пять минут это проходило и наступало уныние.

Конечно, вдвоем между партами, учительским столом и печкой стоять было легче, чем одному, но мы с Вовкой сопели и расстраивались оба, потому что никто не считал себя виноватым.

Нам бы, конечно, объясниться, хотя бы шепотом, хотя бы на уроке, когда мы, изрядно посопев, вернулись на свои места, но часто обида, будто маленькая и черная злобная собачка, бежит впереди понимания и мешает ему своим неслышным тявканьем.

Уроки закончились, Вовка сорвался вместе со всеми,

а я нарочно стал копаться в портфеле, чтобы не видеть его.

Не спеша я вышел на улицу.

Взбаламученность постепенно сменялась спокойствием, ясностью и тихой радостью: ведь дома меня ждала толстая книга. Это же надо! Я не успел ни рассказать про свою книгу, ни поспрашивать других — что им дали почитать. И все из-за одной глупой мысли — права все-таки эта великая отличница Нинка, — из-за своей глупостики! Неужто все-таки отличники не зря самые умные? В душе я презирал отличников, а теперь выходило — ошибался.

Я брел по заснеженной улице, лаская себя мыслью о том, как накину на плечи бабушкин платок — ведь никто меня не увидит, — придвинусь к печке, может, даже заберусь с ногами на стул и открою свою толстую книгу — есть ли наслаждение выше?

И вдруг увидел Вовку. Но если бы одного! Над Вовкой стоял парень из четвертого класса, я его встречал в школе, белобрысый такой, довольно упитанный пацан, с рыбьими, бесцветными глазами, и держал Вовку за воротник. Другой рукой этот мальчишка крутил противогазную сумку с учебниками и повторял:

— Кэ-эк дам! Кэ-эк дам! — Но бить Вовку не решился, а спрашивал: — Будешь еще? Будешь?

Что бы там ни было между мной и Вовкой — это наши личные дела. Во всем остальном мы были друзьями, и поэтому, не доходя шагов пяти, чтобы меня не достала противогазная сумка, я сказал большому парню:

— Эй, оставь! — И прибавил, как бы уточнил свою мысль: — Не имеешь права!

Раньше были популярными такие выражения о правах: имею право! не имеешь права! И даже такое, чуточку, видимо, хулиганистое — качать права. «Ты чо, мол, права качаешь?», «Имею право!»

Ну вот. А этот, с рыбьими глазами, ясное дело, никаких прав не имел держать тут за шиворот Вовку и крутить противогазной сумкой у него перед носом.

Впрочем, надо признаться честно, всякие эти разговоры о правах велись просто так, для понту — тоже хулиганистое выражение, то есть для блезиру, понарошку, для видимости приличия, просто так, чтобы изобразить справедливость, потому что больше всех права качала всякая шпана, хулиганье проклятое, которо-

му никакие права не требовались, такие разговоры велись перед драками или еще какой другой несправедливостью для отвода глаз, дескать, для правого дела. Так что вопрос свой я задал под барабанный грохот собственного сердца, сжав покрепче портфель и примериваясь, как я шандарахну им этого белоглазого с противогазной сумкой.

Драться я не любил, больше того, предпочитал retirроваться, если собиралась толпа, где обычно начинали двое, а потом шло побоище — двор на двор, улица на улицу, школа на школу, а то и просто так — одни против других, и уж тут не поймешь, кто кого и за что, пока кто-нибудь не на шутку, а всерьез, точно заколотый, заверещит. Бывало, и правда, ткнут шилом, хорошо еще, если в мягкое место.

Сердце, словом, пошло ходуном, и я повторил как можно более нахальным тоном:

— Не имеешь права!

Белобрысый внимательно, с какой-то едва скрытой печалью посмотрел на меня и сказал не очень уверенно:

— Проходи! Тебя не касается! — И снова принялся крутить противогазную, довольно увесистую сумку перед Вовкиным носом. — Ну, будешь еще? Ты это придумал? Про графиню?

Вот оно что! Про графиню? Ну, хорошо, даже если это и так, какое ему дело?

Я ему что-то вроде этого и сказал.

— Значит, есть дело! — ответил он, вновь вглядываясь в меня.

— Тогда отпусти его, — велел я. Отчего-то сердце успокоилось. Уже не гроыхало на всю улицу. — Это я придумал.

Вовка впервые взглянул на меня за все это время. Какой молодец, запоздало восхитился я им. Мог бы сразу сказать, что это не он, а я, но друг мой не из таких.

— Ты? — удивился парень.

Мгновение он стоял, все так же покручивая свою сумку, потом быстро шагнул ко мне и схватил за воротник — я даже отступить не успел.

— Кэ-эк дам! — сказал он мне. — Кэ-эк дам!

— Не имеешь права, — проговорил Вовка и замахнулся довоенным бухгалтерским портфелем на двух железных замках.

— Кэ-эк дам! — твердил свое рыбоглазый, но толь-

ко говорил, видать, боялся ударить: хоть мы и второклашки, зато нас двое.

Я все-таки нашелся. Придумал такие слова, которые все объяснили.

— За что? — воскликнул я, поворачиваясь к нему лицом. — Ну за что?

Он отцепился от моего воротника и ответил обиженно:

— А за то!

— Но ведь бьют за что-то! — произнес я с выражением, будто артист на сцене. — Все остальное — мм, — я помычал, отыскивая нужное, единственно убедительное слово, и, к собственному удивлению, довольно быстро отыскал его, — варварство!

— А по-твоему не варварство — обзывать графиней замечательного и даже знаменитого человека? Который ни в чем не виноват! И недавно приехал в ваш город!

Парень даже покраснел от злости, а мы с Вовкой стояли разинув рты. Я лично ничего не понимал. Откуда этот пацан...

Он снова крутанул сумкой и сказал с отвращением, даже заикаясь от негодования:

— М-мелюзга!.. А то бы кэ-эк дал!

Белобрысый четвероклассник отвернулся от нас с Вовкой и пошел не оборачиваясь.

— А ты, дурак, толкался! — сказал Вовка, явно обращаясь ко мне. — Это же он и есть!

— Кто? — обернулся я к нему.

— Граф!

— Граф? — Ну этот Вовка. Он просто оступел сегодня. Ничего не понимает. И я закричал на него: — Но я же только подумал, ты можешь сообразить? Подумал!

— Что она графиня?

— Ну, вдруг!

— Вот я и говорю, — улыбнулся Вовка. — Значит, он граф, раз ее внук.

Теперь уже я схватил Вовку за воротник. Заглянул ему в глаза. Но ничегошеньки в них не увидел — ни капли сомнения, ни тени смущения. Глаза у него были ясные и невинные, будто у младенца. Нет, подумал я, толковать сейчас с Вовкой — только время терять. Бу-

дем считать, что сегодня он болен. Слегка очумел, например. Подождем до завтра.

Я кивнул своему дружку и сказал:

— Пока!

И побежал за белобрысым.

Он ушел недалеко, и я его легко догнал. Услышав шаги, парень обернулся и сказал:

— А, это ты!

Произнес таким тоном, словно сто лет меня знает и вовсе не он пять минут назад крутил сумкой перед моим носом. Но это хорошо, что он так сказал. Помог мне. Весь день меня мучила, доводила до отчаяния собственная оплошность. Хуже нет, несправедливо человека обидеть, пусть даже совершенно незнакомого, а тут ведь речь шла о старушке, которая дала мне книгу «Что я видел». Чем она виновата? Пальто у нее невиданное? Ну и что? Зато шапка какая — ободранная, щипаная такая, да и перчатки с обрезанными пальцами. Ведь холодно, а она нарочно обрезала перчатки, чтобы записывать удобнее, какую кому книжку выдала. Весь наш класс к ней в библиотеку записался, и весь же класс хохотал, когда я — надо же! — не сказал, а только предположил, что она графиня... Какая дикая несправедливость, и эта несправедливость, придуманная мной, можно сказать, моя собственная несправедливость мучила и терзала меня весь день, и больше всего на свете я хотел избавиться от своей несправедливости, от своей вины.

— Ты ее внук? — начал я с самого главного.

— Все мы чьи-нибудь внуки, — ответил мне парень довольно сурово. Что-то быстро менялось у него настроение.

— Ну, старушки! Из библиотеки?

Парень покосился на меня и ответил:

— Допустим!

И я, захлебываясь, путаясь, повторяясь и, пожалуй, теряя оттого всякую убедительность, принялся объяснять этому внуку, как я записывался в библиотеку, как дали книгу и как я был потрясен удивительным, замечательным, неповторимым пальто его бабушки — таких не было ни у кого во всем нашем городе, а бабушка — моя бабушка! — сказала, что раньше, то есть до революции, так одевались только богатые барыни, вот я и подумал, а вдруг старушка из библиотеки — бывшая графиня.

Я испугался: еще бы, парень, отвернувшись от меня, остановился и начал тихо падать. Сперва он опустил голову, потом согнулся в животе, наконец у него сломались коленки, и он рухнул на снег. Да еще и заикался. Это уж потом, через минуту, я понял, что он так смеется. Поикав, он захохотал. Валялся по снегу и ржал как помешанный. Будто какой-то с ним приступ.

Испуг у меня, конечно, прошел, но валяться от смеха в снегу рядом с этим парнем я не собирался. Что виноват, я понимаю, а хохотать у меня особых причин нет.

Это длилось минут пять. Уже толпа собиралась: две девочки, похоже первоклассницы, шептались неподалеку. Какой-то красноносый дед с поднятым воротником — еще не остановился, но уже замедлил шаг, качая головой, бормотал что-то в сивые усы. А самое главное — из-за угла появилась наша Анна Николаевна. Окинув нас зорким взглядом, она, конечно же, сразу узнала меня, но бежать, скрываться теперь было бы самым пустым и к тому же бесславным делом. Я топтался над парнем, который все еще хохотал, и умирал от неловкости. Днем столкнул с парты Вовку, отсопел с ним вахту возле печки, а теперь снова в каком-то дурацком положении. Не дай бог, еще подумает, что в снег этого парня свалил я, доказывай потом, объясняйся!

— Эй, вставай, — позвал я внука библиотекарши, — училка идет!

Насчет училки я, конечно, опять загнул. Никто нашу Анну Николаевну так не звал. И не только мы, ее ученики, а все, кто знал, что она учительница, даже народ из других школ, потому что есть такие люди, к которым никакие прозвища и обидные клички не пристают. Они просто выше этих слов. Шагают себе, высоко подняв голову, и даже, если услышат дрянное словцо, сказанное вслед, никогда его не заметят. И тогда у тех, кто такое слово выговорить способен, сама по себе отпадает охота их вспоминать.

Зато других называли, я слышал. Они останавливались, громко возмущались и потом добивались, чтобы тому-то и тому-то записали в журнал замечание и вызвали в школу родителей, а все равно не помогало.

Почему я назвал Анну Николаевну училкой? Хотел спасти свою шкуру — вот причина. Хотел чистеньким быть, чтобы она снова про меня плохого не подумала,

как днем, в классе. Не хотел, чтобы она решила, будто я настоящий хулиган, здорового парня в снег свалил. Вот и брякнул, чтобы этот внук быстрее поднялся.

Она, конечно, была еще далеко и ничего не слышала, но разве только в этом дело?

Однако мое слово на белобрысого подействовало. Он вскочил, стал озиаться, но, увидев Анну Николаевну, обернулся ко мне и сказал:

— Дурак! Какая это училка?

Учительница подошла уже близко и наверняка слышала эти слова. И значит, поняла, кто называл ее так вначале. Мало того, что я белобрысого в снег свалил, так он еще и благородный, а я...

— Что же ты весь в снегу, Артур? — спросила Анна Николаевна, подойдя к нам и принимаясь отряхивать белобрысого. Выходит, они знакомы, еще не хватало, и сейчас этот малый начнет рассказывать про то, как я придумал графиню. А наша учительница улыбалась парню из другого класса, вовсе не замечая меня, своего ученика. — Решил испробовать первый снег? Ну и как?

— Хорошо, Анна Николаевна, — ответил он. — Пахнет, как... как, — он заикался, но без всякого, впрочем, смущения, просто слово выбирал, — как чистое белье, когда оно с улицы.

— Только наоборот, — кивнула она. — Не снег пахнет бельем, а белье снегом, морозом, чистым воздухом. Ну, передай привет Татьяне Львовне.

Она сделала несколько неспешных шагов, будто раздумывала, идти ли ей или поговорить еще немного с белобрысым парнем, который ей, похоже, очень нравился, и вдруг, совсем неожиданно, повернулась ко мне.

— А ты, Коля, — спросила она, внимательно разглядывая меня, — записался в библиотеку?

Я быстро кивнул.

Откуда она догадалась, как она узнала, что мне ужасно плохо? По моему лицу? По моей согбенной фигуре? А может, почувствовала, что я, по нечаянности обронив слово «училка», казнюсь теперь всей душой, и решила помочь мне, дать понять, что не сердится, зная мое настоящее отношение и к ней, и ко всяким другим выражениям? Великий и тонкий человек была наша мудрая и любимая Анна Николаевна. Мне бы хватило для полного ликования и этой одной ее фразы, ее вопроса, интереса ко мне, чтобы не только слова, но и

мысли глупой никогда не возникло по отношению к ней у меня, а одна только пламенная благодарная любовь. Да не любви она добивалась. Ее, нашей любви, было у Анны Николаевны через край. Нет, она про меня думала, обо мне пеклась, о том, чтобы не давила никакая смутная печаль мою душу тяжелым камнем. И она не пошла дальше, не заторопилась, а спросила улыбаясь:

— И какую же книгу ты взял?

— «Что я видел», — пролепетал я.

— Бориса Житкова? — уточнила она. И вздохнула. — Какие вы счастливые!

Счастливые? Почему?

И я, и белобрысый парень смотрели на нее, не понимая, и тогда она легко рассмеялась:

— Конечно, счастливые! Ведь вы прочитаете столько чудесных книг! И все они еще впереди!

Доброе слово — будто крылышки за спиной. Идешь, ног не чувствуешь под собой, и словно ты выше, словно летишь. И мысли, надо сказать, тоже высокие. Например, ты вырос, стал взрослый и приходишь в школу с целой охапкой сирени. Анна Николаевна, конечно, не узнает тебя, охает, требует назвать имя и фамилию, а ты, допустим, только смеешься, а сам в генеральской форме, это да! Или едешь в шикарном ЗИСе, каких в нашем городе нет и быть не может, их только в кино показывают, они там по Красной площади проезжают, но ты, тем не менее, подъезжаешь вот в таком ЗИСе прямо к школе, конечно же, сам за рулем, неторопливо выходишь, тут сбегается народ, уроки прерываются, возле автомобиля толпа учеников, а ты проходишь в учительскую, в этот раз можно, чтобы тебя и узнали, ничего, и ты просишь Анну Николаевну пройти с тобой, она спрашивает, куда да зачем, но ты сурово молчишь, потому что так надо, берешь ее под локоток, взрослым полагается, я видел, усаживаешь в машину, библикаешь протяжно и торжественно, народ расступается, а ты медленно везешь учительницу — машина должна быть открытой, чтобы все прохожие видели, кого и куда ты катишь, — прямо к театру, и там все уже сидят на местах, полный зал, вы входите, все хлопают и встают, и тогда ты поднимаешься на сцену вместе с Анной Николаевной, понятное дело, и, когда народ стихает, объявляешь, что правительство наградило замечательную учи-

тельницу нашего города Золотой Звездой Героя всего Советского Союза. Вот так-то! Зал ахает и хлопает в ладоши изо всех сил, а ты сам же и прикрепляешь награду к белой кофточке Анны Николаевны. Все. Она тебя целует. И говорит шепотом: «Ох, я и не знала, какой у меня ученик. Ведь я же тебе даже двойки ставила, подумать только!»

И все в таком духе.

Но сколько бы человек ни парил в небесах, на землю все равно надо спускаться. Когда я приземлился, рядом все еще шел белобрысый. И я спросил, вспомнив, как называла его Анна Николаевна:

— Ты не русский?

— Это еще почему? — насторожился он.

— А тебя как зовут?

— Артур.

— Ну вот!

— Чудак! — удивился он моему невежеству. — Это имя иностранное, а сам я вполне русский. Родом из Ленинграда.

— Да ну! — восхитился я. Про Ленинград столько разговоров шло, там блокада была, и любого, кто из этого города, сильно уважали.

— Мы с бабушкой у вас в эвакуации. Приезжие. А ты тут всякие небылицы сочиняешь.

Похоже, Артур снова обиделся. А мне стало вдвойне неприятно: надо же, кого графией обозвал, осёл!

Я повесил голову — вот вляпался, не знаешь, как и выбраться из своего положения. И тут Артур хлопнул меня по плечу.

— Но ты все-таки молодец, — сказал он совсем уж неожиданное.

Я вострепнулся.

— Почуял, значит, в ней что-то необыкновенное, да?

Я кивнул, не зная, чего ждать, какой ловушки.

— Что-то такое нездешнее, а? — спрашивал Артур, точно подбадривая меня.

— Ну! — ответил я, совсем как Вовка.

— Пальто такое небывалое, да?

— Ага!

— Так ты недалеко от истины, — торжественно произнес Артур. — Она на самом деле не та, за кого себя выдает.

Мы остановились друг против друга, и я во все глаза таращился на этого странного, в общем, парня.

— Знаешь, она кто? — поддразнил он меня напоследок.

Я послушно помотал головой: откуда, мол, мне. Артур остался доволен.

— И никогда не узнаешь, если я не скажу, потому что она из-за своей скромности никому не признается.

Я уже совсем не дышал, а он все тянул.

— Так вот знай, — сказал он, когда терпение мое иссякло. — Она никакая не графиня. Но и никакая не библиотекарша. Она заслуженная артистка республики. Балерина. Всю жизнь танцевала в Мариинке.

— Где?

— Такой театр в Питере! Старинный! Красивый, как... как... как сказка! Но балерины танцуют недолго, понимаешь? Пока молодые. Потом выходят на пенсию. И она, как состарилась, стала библиотекарем.

— Дальше! — потребовал я.

— Вот и все. Началась война. Отец ушел на фронт, мама работает в Ленинграде, а нас отправили сюда.

— Ну а пальто, пальто! — воскликнул я.

— Какой въедливый, — недовольно проворчал Артур. — Это пальто она в молодости носила. Когда танцевала. Ехали сюда, одежду брали. Побольше, чтобы продать, понимаешь?

Нет, я не понимал. Да и вид мой, наверное, выражал это.

— Никто его не покупает! Никто не решается в таком ходить! Бархатное! Дореволюционное! А сейчас война!

Я вздохнул. Наконец-то разобрался до самого до конца.

— Все понял? — спросил Артур. Я кивнул. Он сказал: — Ну, иди.

— А ты? — не понял я.

— А я здесь живу.

Мы стояли возле двухэтажного дома, как говорили в нашем городе, «низ каменный, верх тесовый».

— Это тайна? — уточнил я.

— Какая же тайна? — ответил Артур вопросом. — Только про пальто не надо, — сказал он, подумав. И спросил: — Ты человек надежный?

Я быстро кивнул.

— А то кэ-эк дам! — засмеялся он.

Вовсе он не злой был, этот парень, и вовсе не со-

бирался он бить ни Вовку, ни меня, просто грозился. Теперь вот сам же над собой смеялся.

— Кэ-эк дам! — передразнил я его.

Мы посмеялись.

— Ты тоже, — попросил я, — про графиню — того, не говори.

— А жаль, — сказал он. — Бабушка бы посмеялась.

— Ну, если так.

— Она не узнает, что это ты. Скажу, мол, ребята в школе. И все.

Теперь-то, много лет спустя, я думаю, что Артур тоже был малышом и, хоть казался он мне тогда старше своих лет, рассудительным и серьезным, его желание рассмешить бабушку было совершенно детским и нелогичным. Про пальто он не хотел напоминать ей, а вот о том, что ее прозвали графиней, — пожалуйста. Но ведь и мысль-то о том, что, может быть, она графиня, появилась не просто так, а из-за ее необыкновенного наряда.

Да, мы были детьми, а детям так свойственно ошибаться, не зная, что последует за шуткой...

— Ты, наверное, начитался всякого, а? — спросил я Артура. — Бабушка любую книгу даст?

— Кстати, — сказал он, что-то вспомнив, — ты не читал такой роман? Называется «Янки при дворе короля Артура».

Сперва я опешил. Как со мной разговаривают, будто со взрослым! Я взял самую первую книгу, «Что я видел», а меня спрашивают про настоящий роман.

Но я ловко вывернулся.

— Ха-ха, — воскликнул я, — так ты, Артур, еще и король?

Он довольно смеялся, а я подбавил дров в огонь:

— Не какой-то там граф! Король!

Я даже вообразить не мог, какое произведу впечатление на бабушку и маму своим сообщением. Особенно ликовала мама. Бабушка просто охала и ахала на разные лады, а мама — я ее такой никогда не видел за всю войну — от восторга места себе не находила. Расхаживала по комнате, разводила руками, наигрывала губами какие-то знакомые мелодии и при этом рассказывала, как давно, в молодости, когда она училась в ФЗО, на каникулы их повезли в Ленинград — чудес-

ный, волшебный город — и там повели в театр, на балет, это была сказка «Щелкунчик» — какие изумительные костюмы, — а музыку исполнял огромный оркестр, наверное, человек сто одних музыкантов, а что за чудо занавес — малиновый, с золотыми узорами, да и сам театр — мраморные колонны, пол, по которому страшно ходить, потому что он похож на стеклянный и в него можно глядеться, как в зеркало, даже лестничные барьеры покрыты красным плюшем — этого не забудешь вовек, и все-таки главное — артисты, балерины в таких вот юбочках, — мама показывала, какие именно юбочки, — из газовой, прозрачной ткани, у них, этих юбочек, даже специальное название есть, пачки, ну и, конечно, танцоры, в облегающих тело трико, но они маме не показались, потому что все больше стояли в тени и выскакивали оттуда, когда надо было поднять балерину и покружить ее.

— Как, — удивлялся я, — прямо в воздухе?

— Конечно! — радостно смеялась мама. — Прямо в воздухе.

И еще выяснилось, что балерины танцуют только на пальчиках, редко стоят на всей ступне, да и то очень изящно, вовсе не так, как делают это обычно люди, и мама показала, как стоят балерины: подтянулась, подобрала живот, даже, кажется, выше стала, и одну ступню вплотную приставила к другой, ровно посередине, так что получилась буква Т. Тут мама одну руку вскинула — я даже испугался: вышло ведь очень неудобно, маму чуть покачивало, потому что ноги приставлены вплотную, да и под углом — запросто можно упасть. А она еще, как нарочно, что-то такое тихонько замурлыкала, какую-то мелодию, и давай руками махать — одна вверх, другая вниз.

— Ладно, ладно! — рассмеялся я. — Расскажи лучше, как же они на пальцах танцуют.

— У них специальные такие тапочки, — успокоилась мама, — белые или розовые, представляешь?

— А не спадывают, тапочки-то? — вступила в разговор бабушка.

— Вот еще! — махнула рукой мама, оскорбившись за балерин.

— А ноги не ломают? — не унималась бабушка.

— Чего не знаю, того не знаю, — вздохнула мама, возвращаясь с довоенных небес обратно в нашу жизнь.

Она подошла к столу, разлила по тарелкам зава-

риху, села, взялась за дюралевую ложку, зачерпнула еду и поднесла было ко рту, но вдруг кинула ложку обратно.

— Гады! Гады! Гады! — крикнула она отчаянно и заплакала.

Я даже вскочил: что еще случилось! С отцом?

Самое страшное, самое дикое, самое несправедливое, чего мы боялись всю войну, — от первого дня, как он ушел воевать, и до его возвращения, — мысли, что с отцом случилась беда.

Ах как я страшился этого! И разве только я? На что мы не шли, лишь бы избежать несчастья, каким только не верили приметам! Нельзя было проходить под раздвоенным столбом, переходить дорогу перед белой лошадью, а встретив подводу с гробом, требовалось трижды плюнуть через левое плечо и скрестить большой и указательный пальцы на обеих руках. Суеверие мнужилось и росло в малом народе, и никакие взрослые уговоры не помогали — ни материнские, ни учительские. Да, я думаю, матери и учительницы наши дорогие сами с любым суеверием сто раз смирялись и до конца жизни, несмотря, скажем, на партийность или образованность, согласились бы исполнить все правила примет да поверий, только хоть на шагок остановить беду, которая перла и перла из всех щелей — тифом, голодухой, похоронками.

Отойди, сгинь, несчастье! Изнемоги в лютости своей бескрайней! Дай людям вздохнуть, опаматоваться, вспомнить, что есть на белом свете цветы, книги и даже танцы в сказочно красивых, волшебных театрах!

Может, оттого люди говорили вроде потише у нас в тылу. Принижали голос, когда хотели сказать что-то твердое даже. Боялись испугать криком остальных. Потому что крик одно означал — беду.

А тут мама закричала. И я вскочил.

— Гады! — еще раз крикнула она. — Что теперь с театром-то? Вдруг разбомбили? Что же они творят, эти гады!

Грех, конечно, это был, но невинный, детский грех — ругнул я про себя маму. Подумаешь, сказал я про себя, театр. Кричит так, будто с отцом что случилось. Впрочем, а так ли велик был мой грех? Да и грех ли это — любить и жалеть отца больше, чем даже целый драгоценный театр?

Став взрослым, вроде бы легко разумеешь, что театр

нельзя ставить напротив отца, что и живой человек, и золотой дворец неповторимы, но одинаковая ли эта неповторимость — кто скажет... Нет, нет, только кажется, будто, став взрослым, легче жить и разбираться легче в разных сложных делах. Детство владеет клинком прямоты и справедливой однозначностью. Нет, я не пожалел театр, а испугался за отца, ругнул маму и облегченно сел на место.

— Фу, как ты меня напугала, — согласилась со мной бабушка, обращаясь к маме.

Она ничего не ответила. Ела завариху, вовсе не замечая еды, наверное, ушла обратно в свой чудесный театр, пусть, если ей так там нравится. Она устала, моя мама, она развеселилась первый раз за всю войну, пусть побудет еще немного в своей памяти, в золоченом дворце, где показывают балет. Ей недолго радоваться, минута, и она вернется назад.

Мама встряхнулась, возвратилась из воспоминаний и сказала, глядя на меня:

— Пойдем в библиотеку вместе. Хочу увидеть замечательную артистку.

И прибавила, помолчав:

— Может, это она танцевала тогда, давным-давно?

Я читал свою толстую книгу очень долго — месяц или полтора.

Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоенной жизни, которая уже стала забываться, отодвигаться в даль памяти, словно в театральные кулисы. Иногда казалось, что война идет всегда, что отец целую вечность на фронте. Не верилось только одному — что это будет бесконечно. Надежда и ожидание — единственное, чем жили люди. Все, что происходило сейчас, казалось временным. Но затянувшаяся временность требовала хоть коротких прикосновений к постоянству. Может, я потому так долго и читал книгу о довоенной жизни, что это было воспоминание о постоянстве? Может, я хотел подольше задержаться там, на мирной и тихой Волге, представляя героя книжки, моего сверстника, самым собою? Может, эта книжка была маленьким островком мира в море войны? Не помню. Помню, что я был бесконечно счастлив, усаживаясь с книгой в руках поближе к печи и натянув — для уюта — старый и уже дырявый от старости бабушкин шерстяной платок на плечи. Счастлив и просветлен.

Книга делала со мной чудо: она говорила со мной

разными голосами детей и взрослых, я чувствовал, как подо мной покачивается палуба белоснежного парохода, видел всплески огромных рыб в тяжелых струях реки, слышал металлический грохот якорной цепи и команды капитана, хоть и не морского, речного, а все-таки с трубкой в зубах. Я ощущал прикосновения человеческих ладоней, чувствовал запахи дыма рыбацкого костра, который доносился с берега, слышал мерное чмоканье волны о дебаркадер и наслаждался сахаристым вкусом астраханского арбуза. Будто волшебная власть уносила меня в другое пространство и время, раскрывая безмерные дали и вознося в облачные небеса.

Я теперь хорошо понимал маму, взрыв ее негодования, ведь у нее был свой мир ей только одной представимого прошлого. Она видела театр наяву, а я любил то, чего даже не видел, и это невиданное мною было прекрасно и удивительно.

Через десять дней я пошел в библиотеку, чтобы продлить срок своего чтения. Мама задерживалась в госпитале — то дежурство, то пригнали новый эшелон с ранеными, и тут уж она возвращалась поздним вечером, таким поздним, что я не выдерживал и засыпал, не дождавшись, когда она прижмется ко мне своей холодной, с мороза, щекой. Словом, на десятый день я отправился один в довоенный табачный магазинчик, который теперь оказался местом не менее замечательным: детской библиотекой!

Я всячески раздувал в себе праздничное настроение, даже немножко потрубил в охотничий рог, про себя, разумеется, и двадцатый раз мысленно прорепетировал слова, которые я скажу старушке-библиотекарю, бывшей, так сказать, графине, а ныне заслуженной артистке республики. Неудобно же, в конце концов, настоящей балерине говорить какие попало пустячные слова.

Итак, я вхожу, снимаю шапку, пусть там даже мороз трескучий стоит, и говорю:

— Здравствуйте, Татьяна Львовна, я прошу продлить книгу Бориса Житкова «Что я видел» на десять дней, моя фамилия такая-то, читательский номер одна тысяча тринадцать!

О-о-ох! Я остановился, как будто врезался в стену. Меня, кажется, даже назад отшатило от такого удара. Что же я за растяпа, как же я до сих пор не догадался: ведь в моем читательском номере есть цифра тринадцать! Чертова дюжина!

Как теперь быть? Ведь это же, это же... И я твердо решил — значит, так, сперва поздороваюсь, потом попрошу сменить номер.

Но это оказалось не так-то просто. Во-первых, народу в библиотеке оказалось довольно много. С одной стороны помещения был прилавок для младших, с другой — для старших, и старушка перебегала от прилавка к прилавку, едва поспевая записать книги.

Пришлось ждать. Но я так и не дождался. Народ приходил, уходил, а чтобы я остался один на один со старушкой, не получалось. Тогда я решил: будь что будет. Скажу при всех.

Не вышло у меня культурно, нет. Даже по имени-отчеству я ее не назвал, ведь я поздоровался, когда входил, а здороваться второй раз, да еще так вежливо, — явный подхалимаж, все, кто в библиотеке, сразу подумают, будто я хочу какую-нибудь особенную книжечку, и мне пришлось пробормотать что-то вроде этого:

— Мнепродлितечтоявидел.

Прошамкал, как старик, будто кашу пожевал. Вышло очень невнятно, но старушка не переспросила, несмотря на завязанную шапку, быстрым и хитреньким взглядом кольнула меня, вытащила бумажки, отметила в них что-то и вопросительно посмотрела на меня.

— Что еще?

— Мер льзя менить? — проговорил я, глотая почему-то начала слов и кляня свой деревянный язык.

Старушка, точно ворона, как-то боком поглядела в мою карточку, перевела непонимающий взгляд на меня, потом снова качнула голову к бумажке и вдруг довольно громко, так, что было слышно всем, сказала:

— Но ведь твой номер — одна тысяча тринадцать. А не тринадцать!

Народ, конечно, заржал, сначала тихо и неуверенно, потом — посмелее.

— А еще книжки читает! — пропищала за спиной какая-то девчонка, видать, жуткая кляуза и подхалимка.

Но Татьяна Львовна будто не услышала этих слов.

— Номера тринадцать, — сказала она еще серьезнее, — в нашей картотеке нет! Я его своими руками выбросила! Понимаешь? И твой номер — одна тысяча тринадцать.

Я весь взмок от этих переговоров, хотя каждое сло-

во вылетало изо рта вместе с паром: такая холодина здесь стояла.

— А ты не боишься чертовой дюжины? — Татьяна Львовна подняла голову повыше, глядела из-под очков куда-то за мою спину.

Там возникло замешательство, опять послышался смех, только уже нестройный, неуверенный.

— Не боюсь, — лживым голосом ответил все тот же девчоночий голос, но я и сейчас не обернулся — плевать на эту врушу.

— Молодец! — сказала Татьяна Львовна. — А вот он, — она кивнула в мою сторону, — боится. Так зачем ему мешать?

За спиной засмеялись поувереннее.

— Ни мешать, ни помогать ему не надо, — сказала старушка. — Он сам решит, как быть, понимаешь?

И она проговорила еще одну фразу:

— Человек сам освобождается от страха.

Но ее слышал только один я. Все остальные смеялись. Довольно дружно над тем, что она сказала раньше. И громче всех повизгивал девчачий голос.

Я повернулся и вышел, забыв попрощаться.

«Идиоты!» — ругал я про себя эту смешливую публику в библиотеке. Да я уверен, каждый из вас цифры тринадцать, как черта, боится, недаром чертова дюжина, каждый ждет не дождется, чтобы быстрее тринадцатое число прошло, да и вообще! А тут все хихикают, расхрабрились.

Эх, люди, неискренний народ. В толпе-то небось веселые, а пусти вон черную кошку через дорогу, остановитесь как вкопанные, писанные храбрецы!

Но что-то мне, кроме этих издевательств, еще мешало. Что-то было не так в библиотеке, как в прошлый раз, что-то переменялось.

Бывает же: человеку втемяшится в голову какая-нибудь форменная ерунда — добро бы что-то серьезное — нет, чепуха какая-то, нечто неопределенное, неясное, может, даже пустое, и он всю ночь ворочается, уснуть не может или ходит неделю словно аршин проглотил, никак в себя не придет — хочет вспомнить, понять, да ничего, как назло, не получается.

Я дошел до одного угла — сам не свой, до другого: нет, не могу. Остановился, чтобы прохожие чего лишнего не подумали, развернулся и назад к библиотеке — ничего особенного, тот народ уже весь разбежался, те-

перь другие собрались, а Татьяна Львовна?.. Да я загляну туда в окно! Хорошо, что оно широкое, ведь магазинное.

Я сразу нашел, что искал. Действительно, изменилось. Сама старушка. Все та же шапка и то же пальто, только на нем нет пушистого серого воротника, и Татьяна Львовна в самом деле походит на ворону с голым, ошипанным горлом.

Ясно. Забыла дома или сняла. Не дай бог, потеряла. Но вид совсем другой. Она стала строже и чуточку печальнее.

Так я и не смог понять — почему библиотека иногда полна народу, ступить и то некуда, а иногда совершенно пуста — может быть, даже целыми часами? Во всяком случае, когда мы пришли туда с мамой, Татьяна Львовна была совершенно одна и подметала веником пол между прилавками.

Забавное знакомство получилось у поклонницы балета с заслуженной артисткой. Мама выхватила у старушки веник и принялась умело им орудовать, отчитывая Татьяну Львовну:

— Что же это вы, а? Или девочки к вам сюда не ходят? Заставили бы! Попросили! Сейчас белоручек нет! И библиотека для них! Должны помочь!

Она взглянула на библиотекарку, только когда разогнулась.

— Ой, а холодина-то! — Мама набрала в себя побольше воздуха и выдохнула длинную струю пара. — Как вы только работаете?

— А вот так, — сказала весело Татьяна Львовна и приставила одну ступню к другой, как в балете, — получилась буква Т. Только на ногах у нее были не тапочки, а огромные, с мужской ноги, валенки в калошах.

Мама всплеснула руками, залилась колокольчиком, будто девчонка, и быстро, со значением взглянула на меня: мол, помнишь? А сама снова шумела:

— Но пальтишко-то ведь не греет?

Татьяна Львовна скользнула рукой за полу своего нарядного пальто, пошуршала там, отстегивая застешки, и движением, конечно же, артистическим, царским таким жестом распахнула его, как плаш или там какую-нибудь накидку. Делала она все это очень серьезно: будто ее патруль остановил и проверяет, и из-за

этой серьезности мы расхохотались втрое веселее, когда под бархатом оказалась обыкновенная телогрейка, да еще подпоясанная блестящим ремешком.

Между тем я все-таки заметил, что на этот раз у Татьяны Львовны наряд опять неполный. Кроме воротника, исчезла пелерина.

— А вы что, — задиристо спросила старушка маму, — из исполкома? Или просто так, сестра милосердия?

Мама не на шутку смутилась. Только что отчитывала библиотекарку, пусть и шутливо, а тут заволновалась, даже заикаться стала.

— Да нет... Я родительница... Вот этого мальчика.

— Одна тысяча тринадцать. Коля... Коля...

Я подсказал фамилию. Пока Татьяна Львовна искала мою карточку, мама очень волновалась. Она, когда очень волнуется, всегда щелкает пальцами на руках.

— Не делайте этого, — неожиданно сказала Татьяна Львовна, не поднимая головы и продолжая писать. — Это вредно для суставов.

— Да! — Мама смутилась еще больше и, видно, передумала сказать то, что хотела. — Но так все же нельзя, — вернулась она к старой теме, в которой чувствовала себя увереннее. — Мы с Колей привезем вам немножко дров, уж не обижайтесь, что мало, несколько поленьев, и все-таки!

— Ой! — обрадовалась Татьяна Львовна. — Как я благодарна. Вы знаете, ведь меня обокрали! — Мама сделала испуганное лицо, но старушка замотала головой. — Нет, нет, не думайте ничего плохого, просто исполком привез мне дрова, их распилили, раскололи, все честь честью. Но я их оставила на улице. Во дворе. К утру ничего не осталось, понимаете? И больше пока не дают! А чернила замерзают. Видите, пишу карандашом?

— Что — чернила! Вы же тут целый день. Простынете!

— А дети? А книги?

Мама улыбнулась.

— Дети придут и уйдут, а книги не замерзнут.

— Да вы что! — вскричала Татьяна Львовна. — Книги страдают не меньше людей. Только сказать не могут, поверьте. Клей в корешках рассыпается, бумага пухнет, совсем как человек от голода — ведь осенью здесь было сыро. И вообще! Как человек виноват перед

ними! Мы в Ленинграде топили книгами печки, сердце кровью обливается, а что делать — ни еду сварить, ни согреться. Вот я и решила тут: в библиотеку, и непременно детскую, вы понимаете?

— А как же балет? — не выдержала мама.

— Тс-с! — старушка смешно скорчила лицо, будто ей кисло стало. — Не надо, не надо, откуда вы узнали, сейчас не до него, и потом я стара!

Последние слова она произнесла, округлив глаза.

— В тридцатом, — сказала мама, волнуясь, но уже не щелкая пальцами, — я смотрела в Мариинке «Щелкунчик»!

— Нет, нет, — замахала руками Татьяна Львовна, — я уже не танцевала, и прошу вас — ни слова, ни слова! Не трогайте меня!

Мама извинилась, мы бочком отошли к двери.

Татьяна Львовна сидела, нахохлившись, опустив голову в большой шапке, и не смотрела на нас.

— Обиделась, — сказала мама, когда мы вышли на улицу, и вздохнула. — А за что? Что я такого спросила? Сказала?

Кому она говорила? Мне? Но что я мог ей ответить, чем успокоить? Я ведь и сам не разобрался, за что вдруг обиделась Татьяна Львовна. Артур сам сказал, что тайны тут никакой нет, стоило ли вешать голову?

Нелегко понять этих взрослых! То смеются, шутят, а то сердятся без всякой причины.

А мама все вздыхала. Молчала и вздыхала.

Мы вернулись домой, мама сняла с гвоздя мои санки — они висели на стене, чтобы не занимать лишнее место, и мы принялись укладывать на них дрова.

— Бабушке не говори, — попросила мама. Бабушка куда-то ушла, сейчас не помню, одним словом, ее не было дома.

— Что ей, жалко? — спросил я. Ясное дело, бабушка бы не стала возражать, узнай, куда мы хотим отвезти санки дров из нашего не очень-то значительного запаса.

Мама промолчала, и, как всегда бывает, когда люди хотят что-нибудь утаить, сразу за калиткой мы столкнулись с бабушкой.

Мама неловко, стараясь не глядеть на нее, объяснила, куда и зачем мы собрались.

— Охо-хо! — вздохнула бабушка. — Без дров-то она еще сдюжит, а вот без еды...

— Сейчас все плохо живут, — ответила мама, думая, что бабушка это просто так говорит, вообще.

Бабушка хмыкнула.

— Все-то все, — ответила она, — да я вот сегодня поутру на рынке была. Вижу — библиотekarша свою перелину продает. Прдала. Может, девочке какой на юбчонку, может, еще на что — взяла одна колхозница.

— Выходит, с себя продает? — спросила мама.

— То-то и оно, — сказала бабушка.

И тут сообразил я.

— А помните, еще воротник был. Так его нет.

— И воротник, значит. Скоро совсем разденется.

Она покачала головой, повздыхали обе.

— А может быть... — начала бабушка, но мама ее перебила:

— Нет, нет! Не примет. — И вздохнула. — Балерина ведь! Артистка! Гордая! И так обиделась, не знаю за что.

Бабушка ушла домой, а мы, подгоняя друг друга, покатили санки к библиотеке, опасаясь, как бы она не закрылась.

Уже стемнело, фонари не горели по правилам военного времени, и только рассеянный свет снега помогал различить дорогу, окруженную черными силуэтами домов, в которых люди аккуратно соблюдали светомаскировку.

Окна в библиотеке тоже были черны, и я уже принялся ругать себя и маму за ненужную торопливость, но мама дернула ручку, и нас ослепил яркий свет.

— Скорее, — услышал я знакомый голос.

Но легко сказать, труднее сделать. Мы завозились в дверях, втаскивая санки, они за что-то зацепились, пришлось побарахтаться, а когда дверь за нами закрылась, мама решила необходимым объяснить:

— У нас светомаскировка не строгая, мы же в тылу.

Но Татьяна Львовна будто не слышала. Она стояла, опершись рукой о прилавок с книгами, одну половину ее лица скрывала густая тень, вторая, освещенная настольной лампой, казалась очень желтой, пергаментной, иссеченной множеством неглубоких морщинок, и глаз — вспыхивал, подсвеченный сбоку, серого, даже стального цвета глаз, — другой только изредка мерцал во тьме.

Она точно и не прощалась с нами, а ждала нашего возвращения и приготовилась продолжить прерванный разговор.

— Хотите, — спросила она, едва мы втащили санки, — я прочту вам стихи.

Мы остановились — мама в старом бабушкином платке и довоенном драповом пальтишке, и я в желтой шубейке с леопардовыми пятнами, подарке американцев, полученном по ордеру. Признаться честно, нам было не до стихов, потому что я еще не доучил уроки, а у мамы неспорный домашний зачет, но мы будто по команде повернулись к старушке: уж очень необычный, даже, пожалуй, торжественный был у нее вид. К тому же свет лампы, отражаясь в полированных стенах, множился десятками светящихся пятен — все это походило на какое-то таинственное священнодействие, на молитву или на какой-то концерт, куда приглашены всего двое — мама и я.

В тиши, пронизанной клубками света, голос Татьяны Львовны вначале показался мне несколько скрипучим и чужим, но тут же я забыл об этом, потому что стихотворение завораживало неизвестными мне словами и жизнью, которая совсем не походила на мою.

Из рая детского житья
Вы мне привет прощальный шлете,
Неизменившие друзья
В потертом, красном переплете.
Чуть легкий выучен урок,
Бегу тотчас же к вам, бывало,
— Уж поздно! — Мама, десять строк!.. —
Но, к счастью, мама забывала.
Дрожат на люстрах огоньки...
Как хорошо за книгой дома!
Под Грига, Шумана и Кюи
Я узнавала судьбы Тома.
Темнеет... В воздухе свежо...
Том в счастье с Бэки полон веры.
Вот с факелом Индеец Джо
Блуждает в сумраке пещеры...
Кладбище... Вещий крик совы...
(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки
Приемыш чопорной вдовы,
Как Диоген, живущий в бочке.
Светлеет солнца тронный зал,
Над стройным мальчиком — корона...
Вдруг — нищий! Боже! Он сказал:
«Позвольте, я наследник трона!»
Ушел во тьму, кто в ней возник,
Британии печальны судьбы...

— О, почему средь красных книг
Опять за лампой не уснуть бы?
О, золотые времена,
Где взор смелей и сердце чище!
О золотые имена:
Гек Финн, Том Сойер, Принц и Нищий

Читать стихотворение Татьяна Львовна начала строго и торжественно, но, закончив, улыбнулась, и, хоть я многое не понял, от сердца отлегло, а мама захлопала в ладоши.

— Bravo! — шепотом воскликнула она. — Bravo!

— Ну чего ж вы стоите? — проговорила старушка и сразу превратилась из таинственной и величавой в обыкновенную, похожую на ворону с голой шеей библиотекаршу.

Мы вострепнулись, я развязывал бечевку, которая стягивала поленья, чтобы они не свалились с санок, а мама принялась таскать их в маленькую каморку — она, как оказалось, была за полированной стеной. Там находилась и топка.

Мы сложили дрова, и мама заторопилась.

— Да, да, — сказала Татьяна Львовна, — мне тоже пора, а вы не обижайтесь, милая.

Она глядела на маму задумчиво и серьезно.

— Понимаете, это такая профессия, что, уходя со сцены, как бы умираешь. Все в прошлом. А жить одни-ми воспоминаниями — несусветная мука! Вот я и не хочу! Не хочу!

— Не волнуйтесь, — сказала мама и погладила ее по руке. — И простите.

— А где вы узнали про меня? — вдруг спохватилась Татьяна Львовна. — В старой энциклопедии?

Мама быстро кивнула. Молодец, находчивая.

— Я тоже читал, — соврал я поспешно, не моргнув глазом.

— Ах, как все это далеко! — рассмеялась Татьяна Львовна. — А мы с вами в другой жизни. Война, холод, детские книги. Да, здесь не сцена, а — правда.

— Зачем нам, — проговорила мама, опустив голову, — такая правда?

— Ее не выбирают, — ответила старушка и прибавила: — Не унывай, все еще будет, и театр, и занавес, и музыка.

И она, точно маленькую, погладила маму по голове.

И вдруг библиотека закрылась.

Я заметил это не сразу, а лишь когда кончил читать свою лохматую книгу. Надо сказать, я ее, не без помощи бабушки конечно, слегка починил, поэтому, закончив читать ее раньше срока, дня два я еще истратил на ремонт: мы подклеили отпавшие листы, обернули книгу в газету, а сверху приделали кусочек чистой бумаги, с красиво обрезанными углами, по краям которого я процертил по линейке цветной рант, а в середину вписал имя автора и название.

Когда все было готово и для верности бабушка прошла по новой обложке горячим утюгом, чтобы было глаже и красивее, я отправился в библиотеку.

На дверях висел замок, а за стеклом большого окна, приклеенная с той стороны, белела записка: «Библиотека временно закрыта».

Я вернулся домой и тут же обнаружил: мне нечем заняться. Книга отнимала все мое свободное время, и я уже отвык без дела болтаться на улице.

Я потоптался по комнате, заглянул к бабушке за загородку, где она постукивала кастрюлями, полистал еще раз «Что я видел» и, помаявшись, присел у этажерки. Книги, которые были у нас, читал до войны отец, кажется, к ним не прикасались с тех пор, если не считать, что бабушка елозила по ним раз в неделю влажной тряпкой.

Я вытащил их, принялся перелистывать, но все они были учебниками с непонятными чертежами. Лишь одна показалась мне необыкновенной. Прежде всего своей толщиной. Таких толстых книг я еще не видел, и можно только удивляться этому обстоятельству — ведь она лежала тут, в моем доме, прямо под носом. Один ее корешок мог бы быть обложкой для целой книги, и весила она — ого! — наверное, несколько килограммов. Второе, что понравилось мне, — название. Может, этот роман и для взрослых, но явно, что про сокровища, ведь книга называлась «Капитал».

Я выложил ее на стол — сидеть с ней у печки было неудобно, — накинул на себя платок и открыл первую страницу.

Медленно, возвращаясь не один раз к началу каждого предложения, я прочитал первую страницу и ничего не понял. Однако эта непонятность успокаивала и, кажется, согревала. Я задумался, потом облокотился на книгу и незаметно уснул.

Проснулся я от взгляда. Напротив меня сидела мама, прямо в пальто, глядела на меня, а у самой из глаз слезы капали.

Я снова перепугался, спросонья еще больше, воскликнул:

— Что еще!

— Ничего, ничего, — успокоила меня мама, вытирая слезы, — вот гляжу на тебя и плачу, маленький ты мой. Чего читаешь-то?

Больше всего я не любил, когда меня называли маленьким. Или считали таким.

— Про сокровища! — строго ответил я.

Мама подошла ко мне, поцеловала в макушку, мягко отняла книгу и поставила на этажерку.

— Это читать тебе еще рано, — сказала она, стараясь говорить не обидно. — А вот то, что у нас книг дома нет, просто стыдно.

Пришла бабушка — в фартуке, с закатанными рукавами, сложила руки на груди, спросила, вздохнув:

— Где же их теперь возьмешь? Пока пусть ходят в библиотеку.

Чего они так всполошились, я не понял. Сказал, что, наверное, Татьяна Львовна заболела, библиотека на замке, надо будет спросить Артура.

Но назавтра Артура я не увидел. Переменки две просто разыскивал его, а на третью подошел к первой встречной четверокласснице и спросил, где он. Я всегда предпочитал говорить с девочками, если что-то хотел узнать: они отвечали всерьез, а мальчишки ввали напропалую или дурачились: выпросит такой сперва, что да почему, а потом скажет, не знаю, мол, слыхом не слыхивал. Только время потратишь. В общем, выяснилось, что Артур болен.

— И, кажется, тяжело, — добавила девочка.

Я задумался.

— А тебе он сам нужен, — девочка и не собиралась отходить, — или его бабушка?

— Хочу узнать, почему библиотека закрыта, — ответил я.

— Вот видишь, — укоризненно проговорила пионерка, — читать так всем охота, а чтобы помочь, еще уговаривать надо.

Ничего я понять не мог. Спросил про Артура, а меня тут же корить начинают.

— Ты из какого класса? — не отставала девочка.

Я ответил.

— А! — махнула она рукой. — Не подойдешь!

— Ты чего, — попробовал я обижаться, но она побежала по коридору и скрылась за дверью.

Однако это было только начало.

Сразу после перемены Анна Николаевна задала вопрос:

— Кто записался в библиотеку?

Руки подняли все.

— Чего читаешь-то? — тихо спросил я Вовку.

— «Маленький Мук», — ответил он.

Я слышал эту сказку по радио и сразу засмеялся, сказав Крошкину, что Маленький Мук — это он и есть. Вовка принялся сталкивать меня с парты, мы запыхтели.

— Да что это такое, все у вас миру нет, — не возмущилась, а удивилась Анна Николаевна. Очень ловко она умела стыдить. — Значит, Татьяну Львовну все знаете? — спросила она.

Класс радостно загалдел.

— И знаете, что библиотека закрыта?

Это знали не все.

— У Татьяны Львовны заболел внук, она не может от него отойти, а сегодня для библиотеки привезут дрова. И она прислала записку. Просит помочь их убрать, потому что в прошлый раз дрова растащили.

Анна Николаевна ни к чему не призывала, ничего не требовала. Она просто смотрела на нас, и улыбка все отчетливее проступала на лице. Ее взгляд скользил по рядам, и, точно следуя пожеланию взгляда учительницы, мы поднимали руки.

— Я не сомневалась, — сказала Анна Николаевна, — но целый класс — это слишком много. Придут ведь и другие мальчики, давайте отпустим девочек.

— Ла-адно, — ответил за всех Маленький Мук, — так уж и быть.

Бедняга, он еще не знал, что уже живет с прозвищем.

Когда мы пришли с Анной Николаевной после уроков к библиотеке, там уже гудела целая толпа. На двери по-прежнему висел замок, в окне белела записка. Дров не было.

Тогда Анна Николаевна повела нас во двор. Там

действительно лежали бревна, сброшенные, видать, с машины как попало.

— Что ж, — сказала Анна Николаевна, — придется подождать. Наверное, сейчас подойдут пильщики.

Мы потоптались полчаса, никого не было. Толпа стала редеть. Среди самых старших я увидел девчонку, с которой разговаривал днем. Четвертый класс оказался, видно, не таким джентльменским, как наш, потому что девчонка очень нервничала и все задирала на самый лоб свою пуховую шапку с длинными ушами. Немного погодя она подошла к Анне Николаевне и сказала:

— Наши сейчас все в киношку удерут, что-то надо делать!

— Не страшно, — ответила Анна Николаевна, — зато останутся самые честные.

Она сказала это громко, чтобы слышали не только мы, но и все остальные, однако заволновалась.

— Давайте принесем пилы, — сказала девчонка, — я, например, рядом живу.

— Кто же пилить будет? — спросила все так же громко Анна Николаевна.

Заорали почти все мальчишки.

— И топоры принесем, — пообещал кто-то.

— А вот это не надо! — сказала Анна Николаевна. — Это пусть сделают взрослые. Топоры не для вас.

В общем, еще минут через двадцать такой во дворе скрип поднялся! Наверное, пил пять притащили. А чтобы дело быстрее шло, работать решили изо всех сил и, раз народу много, часто меняться. Один раз я попал в пару с той девчонкой в пушистой шапке. Она все повторяла:

— Вот здорово, правда? Увидел бы Артур! Вот Артур бы увидел!

Будто она для Артура старается. Я ее так и спросил. Она покраснела, словно из бани выскочила. Сказала мне довольно оскорбительно:

— А я тебя днем за серьезного человека приняла! Я хмыкнул. Знаем мы такие разговорчики.

— Хотела даже пригласить в актив.

— Куда? — удивился я.

— В актив библиотеки.

Я умолк, размышляя. Что это еще такое? Выдумают же! Мне в общем-то нравилось, как себя вела эта девчонка — горячилась, пилу притащила, шапку на лоб

подтягивала. Может, она в Артура влюбилась, вот и лезет из кожи вон.

— У вас там небось одни девчонки? — сказал я ей.

Она опять покраснела. Но разговаривать с ней все равно тяжело.

— Мы ремонтируем книги, приклеиваем кармашки, заполняем карточки, и у нас не одни девчонки, а вот ты, видать, из тех, кто на книгах всякие глупости пишет, да еще и рвет их! — выпалила она одним духом.

Я! Рву? Пишу глупости? Мне хотелось ответить ей, чтоб слышал весь двор. Да я! Да что она понимает!

Но тут на меня тихо накатила дурацкая обидчивость, я взглянул на девчонку с презрением, фыркнул и отошел в сторону.

Немного погодя во дворе появился крепкий, кряжистый старик, оказалось, дед той девчонки, помотал головой, поговорил с Анной Николаевной, исчез, потом вернулся снова, но уже с колуном и начал рубить дрова, да так, что только треск стоял. Ясное дело, энергичная девчонка, у которой вдруг обнаружилось имя — Светка, стала всеми командовать, всех организовывать и гонять. Но ведь все это было глупо. Татьяна Львовна рассказала нам с мамой, что ей уже привозили дрова, даже распилили и раскололи, а их взяли да и уперли. Так что надо складывать не у стенок, а под замок, может, даже прямо в библиотеку.

Я подошел к Анне Николаевне и сказал про это, но поблизости, как назло, оказалась Светка.

— Дрова? — заверещала она. — В библиотеку? Ты соображаешь?

И все стали смеяться надо мной. Старик, правда, не слышал, и Анна Николаевна промолчала.

В общем, мы делали пустую работу, подарок жуликам, и немного погодя я опять сказал об этом Анне Николаевне. Теперь Светки не было поблизости, слава богу. Но учительница позвала ее.

— Ты знаешь, где живет Артур? — спросила Анна Николаевна.

Эта Светка все знала.

— Сходи и спроси Татьяну Львовну: что делать с дровами?

Светка исчезла. А через пятнадцать минут во двор ворвалась Татьяна Львовна. Я не сразу ее узнал. То есть шапку я узнал, но все остальное... Она была в одной телогрейке, без своего великолепного пальто.

— Мои золотые! — закричала она еще издалека. — Мои бриллиантовые! Спасибо! Анна Николаевна, голу-бушка! Благодарствую вас!

Она запыхалась, едва перевела дух и, разобравшись в обстановке, велела нести дрова в комнатушку, где топка, и складывать возле стен.

— Как же? — удивилась Анна Николаевна.

— Украдут, украдут! — кричала Татьяна Львовна. — Этого нельзя допустить! Дети и книги не должны мерзнуть!

Мы принялись таскать поленья, возводя из них поленницу сперва в закутке, а потом прямо в библиотеке, возле стен. Татьяна Львовна и Анна Николаевна порывались работать с нами, но мы зароптали, и старик, Светкин дед, нас поддержал.

Мы входили и выходили, учительница и библиотекарь говорили между собой, и я слышал только обрывки их разговоров. Из них выяснилось, что Артуру уже лучше, и Светка осталась возле него, пока Татьяна Львовна побежала сюда, и что в Ленинграде по-прежнему тяжело, хотя блокада прорвана и письма ходят теперь чаще.

— Те из них, которые не погибают, доходят, — сказала Татьяна Львовна. Я прислушался.

— Кто — не погибает? — спросила, не поняв, Анна Николаевна.

— Письма. В грузовики с почтой кидают бомбы, думают, что там люди. И многие письма не доходят. Поэтому надо писать чаще. И повторять содержание. Из двух писем одно должно дойти.

Она вздохнула.

— Как там ваши? — спросила Анна Николаевна.

— Дочь перенесла дистрофию, но сейчас как будто поправляется, тыфу, тыфу, тыфу, чтоб не сглазить, — ответила Татьяна Львовна, и я едва не рассмеялся. Выходит, она все-таки верит в приметы. Может, и цифру тринадцать на самом деле выбросила из карточек?

— Татьяна Львовна! — попросила Анна Николаевна. — Наверное, сейчас вам трудно. Но когда снимут блокаду, обещайте! Рассказать моим ребятам про Ленинград!

— Ох, но ведь надо подготовиться! — испугалась Татьяна Львовна.

— Вам? Готовиться? — засмеялась учительница. — Вы же там родились! Выросли! Стали знаменитой!

— И старой! — сказала Татьяна Львовна.

Обо всем они говорили, о разных разностях, только Анна Николаевна не замечала самого главного — вида. Ее вида. А мне бархатное пальто не давало покоя. Неужто все-таки продала?

Я дождался, когда они умолкли, любовно разглядывая нас, таскающих поленья, подошел к ним и спросил. Наконец-то спросил, внятно и ясно, не глотая и не комкая слова:

— А где же ваше замечательное пальто, Татьяна Львовна?

— Я укрыла им Артура, — сказала она, — у него ведь жар. — Потом рассмеялась, обращаясь уже к учительнице: — И знаете, — сказала она ей слова, явно не предназначенные для моих ушей, — в одной телогрейке я себя чувствую точно в театральном костюме, понимаете? Будто я не вполне одета!

И тут Татьяна Львовна сделала несколько маленьких шажков вперед, ловко вскинула ногу и повернулась вокруг себя в валенках с калошами. И приставила одну ступню к другой, как в балете. А еще она грациозно подняла вверх руку.

Анна Николаевна зааплодировала. А мы засмеялись.

Вот это балет, подумал я. Балерина в телогрейке и ободранной шапке с черным бантом под подбородком. Но балерину это ничуть не смутило.

Она сделала шажок назад и низко поклонилась.

Все дрова мы все-таки не распилили. Вошел Светкин дед и сказал, раз, дескать, так, то лучше остальные бревна не трогать, оставить целиком, бревно-то, пожалуй, не утащат, а в воскресенье эту работу завершить. Пусть бы, правда, еще родители подошли, может, есть какие мужчины, на колку дров, остальное ребята сделают, мол, все какие молодцы.

Татьяна Львовна снова заволновалась, закричала: — Серебряные мои! Золотые! Бриллиантовые!

И объявила — вот молодчина! — все, кто работал, могут взять книжки домой, если, конечно, хотят. Даже по две.

— Даже, — спросил я, — если ты еще не принес?

— Даже! — сказала Татьяна Львовна и вдруг при всех пожала мне руку. — Спасибо, Коля, одна тысяча тринадцать. А какая у тебя замечательная мама! А какая прекрасная бабушка!

Я весь взмок от стыда. Будто что упер, надо же!

А Татьяна Львовна, снова обращаясь ко мне одному, произнесла:

— Я приглашаю вас всех в актив нашей библиотеки. — И опять засмеялась. — Да вы уже и так мой актив!

Непривычное это словечко вначале внушало мне холодок и опаску. Необъяснимо для самого себя, я предпочел бы другое, более простое слово или слова, не такие взрослые и строгие, как это, и сам ни за что не хотел поначалу пользоваться им, всячески ухищряясь при этом. «Пора в библиотеку», — говорил я, к примеру, бабушке. «Пойду, поклею». Или просто: «Я к Татьяне Львовне». И бабушка уже знала, что я иду не просто обменять книгу, а помогать, что я задержусь не по детской неумелости правильно тратить свое время, а для полезного дела.

Бабушкина душа ликовала, когда я отправлялся в библиотеку. Она обожала мои превращения в тихую мышь.

Что это значило, спросите вы. Только одно: вечный страх за меня и отчаянная боязнь, что я могу попасть в дурную компанию, шляться по городу с утра до вечера, курить в подворотнях, а то, не дай бог, и ворсовать по наущению старших предводителей.

Ради справедливости надо заметить, что бабушкины опасения не были лишены оснований. Город в годы войны невидимо для глаза делился на участки, которые как бы принадлежали мальчишеским компаниям. Во двор или даже квартал, где была, к примеру, многочисленная и дружная шайка или сильный пахан, заходить было просто опасно и не только малолетним, но даже и не очень внушительным взрослым. К такому взрослому подбегали и начинали кланить папирску, а когда взрослый цыкал на них, возмущаясь, из всех щелей выбирались пацаны постарше и совсем большие, замыкали противника в круг и принимались его «оттягивать». Ну чо, мол, дядя, маленьких обижаешь? Папирски жалко? Дак они ведь не для себя! У них старенькие дедушки без курева дома маются. Взрослый вытаскивал пачку папирос, принаравливался выдать папирску-другую, но специально тренированные малыши подлетали к нему, выхватывали все, и самое лучшее, что мог придумать взрослый, так это молча уйти, а то

ведь, как известно, куча муравьев может победить большого жука.

Во всяком случае, я такое ограбление видел однажды собственными глазами, и было это среди бела дня, и пожилой дядька с посеревшим лицом прошагал мимо меня и даже зацепил меня локтем, так что меня отшатнуло. Локоть у него был как бесчувственная оглобля, такой оглоблей можно крепко оглоушить противника, и вообще дядька не походил на трусливого слабака, но все-таки предпочел не связываться с хулиганской оравой. А уж про детей и говорить нечего!

Впрочем, малый народ быстрее взрослых определял границы между кварталами и дворами, между владениями и царствами, безошибочно отыскивая безопасные пути вдоль границ. Самая главная истина этих правил заключалась в следующем: не сокращать пути, не заходить в проходные дворы, в глубь кварталов.

Так что бабушка моя волновалась не понапрасну, и главной мечтой ее было, чтобы я сидел дома, а по улице шел рядом с ней или мамой, и если куда уходил, так самое лучшее — в библиотеку, где, ясное дело, ничего плохого произойти не может.

И я жадно пользовался своей маленькой свободкой.

«Пора в библиотеку», — говорил я строго, и моя бабуля млела от моей серьезности. «Пойду поклею», — откладывал я в сторону учебники. Или молча одевался и уже на пороге небрежно бросал: «Я к Татьяне Львовне». Неслыханная самостоятельность личности, возведенной в высокий ранг актива.

А в библиотечном закутке, в комнате, дверь в которую волшебным образом распахивалась прямо на полированной стене, хранилась особенная тишина, настоящая на сладковатом запахе старых книг.

Эта тишина казалась мне вкуснейшим блюдом, которое надо смаковать не торопясь, с наслаждением, однако всякая вкуснота требует приправы, например перца или петрушки, и такой приправой к блюду пряной тишины был звук шелкающих и рассыпающихся угольев в печке и приглушенный голос Татьяны Львовны за стеной.

На столе в комнатухе лежали драные-передранные книги, и мне надлежало, пользуясь клеем, пачкой папиросной бумаги, чистой тетрадкой, откуда разрешалось

отрезать нужные полосы, газетами и цветными карандашами, склеивать рваные страницы, прикреплять к середине оторванные, укреплять корешок и обложку, а потом оборачивать книгу в газету, на которую следовало приклеить кусок чистой бумаги с красиво, печатными буквами, написанными названием и фамилией автора.

Одетую мной книгу Житкова «Что я видел» Татьяна Львовна признала образцовой, и я, уединившись в библиотечных кулисах, множил, вдохновленный похвалой, свои образцы. Благоговейная тишина и запахи книг и клея оказывали на меня магическое действие. На моем счету числилось пока что ничтожно мало прочитанного, зато всякий раз именно в этой тишине книжные герои оживали, и не только! Не дома, где мне никто не мешал, не в школе, где всегда в изобилии приходят посторонние мысли, не по дороге домой или из дому, когда у всякого человека есть множество способов подумать о разных разностях, а вот именно здесь, в тишине закутка, со счастливой охотой, точно играя в поддавки, ярко и зримо представляли передо мной яркие, расцветшие, ожившие сцены, и я превращался в самых неожиданных героев.

Кем я только не был!

И Филипком из рассказа графа Льва Толстого, правда, я при этом замечательно и с выражением умел читать, и, когда учитель в рассказе предлагал мне открыть букварь, я с выражением шпарил все слова подряд, без ошибок, приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя, и, наверное, самого графа, потому что весь его рассказ по моей воле поразительно менялся. Я улыбался — и въявь, и в своем воображении, будучи маленьким Филипком, — утирал мокрый от волнения лоб большой шапкой, нарисованной на картинке, и вообще поражал воображение присутствующих.

Конечно, я представлял себя царевичем, сыном Гвидона, и опять менял действие сказки Пушкина, потому как поступал, на мой взгляд, разумнее: ткнув в юс или в щеку сватью и бабу Бабариху, я прилетал к отцу, оборачивался самим собой и объяснял неразумному, хсть и доброму, Гвидону, что к чему в этой затянувшейся истории.

Или я был Гаврошем и свистел, издеваясь над солдатами, на самом верху баррикады. Я отбивал чечетку на каком-то старом табурете, показывал нос врагам, а пули жужжали рядом, и ни одна из них не могла задеть

меня, потому что этого не хотел я, и меня не убивали, как Гавроша, нет, я отступал вместе с последними коммунарами, прятался в проходных дворах, потом садился на судно, которое шло в Ленинград, а дальше, поездом, ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотеке, точнее, в библиотечном закутке, и от меня еще пахло порохом парижских сражений.

Сочиняя исправленные сюжеты, я замирал, глаза мои, наверное, останавливались, потому что, если фантазия накатывала на меня при свидетелях, я перехватывал их удивленные взгляды, может, еще и рот у меня открывался, кто знает, и слюнка текла, — одним словом, воображая, я не только оказывался в другой жизни, но еще и уходил из этой. И чтобы окружающие не таращились на меня, я предпочитал оставаться совершенно один, как тут, в закутке.

Если бы это всегда удавалось! Но нет, как назло и вечно не вовремя являлась Светка в сопровождении девчонок, и худшие мои опасения подтверждались: в активе собрались сплошные трешотки женского рода.

Боже, о чем они только не трещали! Про какие-то нитки и пуговицы, про разные способы вышивания, про неизвестных мне девчонок и мальчишек, про сестер и братьев, про старый кинофильм, о котсром уже давно все всеми сказано, и про то, на каком жире лучше жарится картошка.

Правда, при этом девицы быстро и аккуратно ремонтировали книжки, но я был уверен, что они с таким же успехом чистили бы на кухне картошку: о прочитанном девчонки не говорили.

Когда Светка тараторила с подругами, подумать о чем-нибудь всерьез мне не удавалось. Единственное, что я мог, так это внимательно разглядывать картинки и вдыхать запахи потрепанных книг. Моя работа как-то сильно замедлялась, и я потихоньку убирался восвояси.

Мне казалось, девчонки приходят сюда посидеть просто так: тут тепло, и мухи не кусают.

Татьяна Львовна заглядывала «за кулисы» в двух случаях: когда библиотека пустовала и когда, напротив, народу было битком. Если в библиотеку набегала ребятня, книжки с прилавков точно ветром сметало — ведь их было не так уж и много, — и тогда Татьяна

Львовна выбирала из горы, предназначенной для ремонта, или торопила нас с ремонтом:

— Ну? Готово? Давайте скорей.

Когда народ исчезал, она приходила просто посидеть, попить чаю.

На тумбочке за печкой стояла электроплитка с чайником, и Татьяна Львовна просила девчонок следить, чтобы в чайнике всегда была горячая вода. Ко мне она почему-то никогда не обращалась, не говорила, чтобы я следил за плиткой, и, если я сидел один, сама заходила и выходила время от времени, чтобы включить плитку или выключить ее.

Чай Татьяна Львовна пила гораздо реже, чем включала и выключала плитку. И что это был за чай!

Я не знаю, пил ли кто-нибудь во время войны настоящий, медового цвета, ароматный чай, ведь для этого требовалось много заварки, а ее не хватало, приходилось экономить, и все привыкли к жидкому чайку, но Татьяна Львовна превзошла всех.

Я видел, как она открывала железную баночку, на дне которой лежали чаинки, осторожно брала двумя пальцами ничтожную щепотку, а потом принималась сбрасывать крупинки обратно. При этом она оборачивалась к лампочке, смешно поднимала руку и строго поглядывала на щепотку через очки, шевеля губами. Можно было подумать, что она считает чаинки. Наконец заварка опускалась в фарфоровый чайник, заливалась водой, водружалась на дюралевый чайник, и Татьяна Львовна выходила.

Выходила — и забывала про свой чай. Через полчаса или минут сорок просовывала голову в закуток и просила:

— Девочки, включите плитку.

Девочки включали, чайник пыхтел, они сообщали Татьяне Львовне, что все готово, но наша старушенция не могла оторваться от своих дел, и мне, грешным делом, начинало казаться, что эта удивительная заслуженная артистка греет чай вовсе не для себя, а для кого-то другого, кого она ждет каждую минуту, но не может дожидаться.

Эта мысль преследовала меня.

Ведь даже когда Татьяна Львовна наливала все-таки себе чай, — угощая, конечно, и нас, — лицо ее вовсе не выражало удовольствия, удовлетворения, покоя, каким должно быть у человека, отдыхающего за чаем.

Напротив, Татьяна Львовна выглядела усталой, какой-то недовольной и вела себя очень нервно — прислушивалась к каждому стуку за стеной, вздрагивала и повторяла: «Ой, кто-то пришел!» Ясное дело, приходили читатели, но за прилавками на время чаепития библиотекаршу обычно сменяла Светка с подругами, и она могла бы сидеть тут спокойно, но Татьяна Львовна нервничала и никакого удовольствия от чаепития не получала.

Да и никто не получал удовольствия от такого чая — ни я, ни девчонки. К несладкому чаю нас всех приучила военная пора, мы отлично знали, что такое сахарин — большие и подозрительно белые крупички, приторно сладкие, даже одной крупинки хватало, чтобы придать вкус стакану чая, и к жидкой заварке мы тоже привыкли, но у Татьяны Львовны получалась просто кипяченая вода, разбавленная почти прозрачной заваркой.

Да и жидкая заварка была половиной беды. Хуже всего, если в библиотеке предлагали морковный чай.

Тут уж Татьяна Львовна отмеряла щепотки, основательно, загружала фарфоровый чайник розовой сушеной морковью, и цвет заварки был плотным, коричневым, но вкус получался отвратительным — горячий жидкий компот или кисель, — отказаться неудобно, и единственное спасение — это чтобы чаек был погорячеей. Когда обжигашься кипятком, вкус не так противен, а если морщишься, то непонятна причина.

В общем, если народу не было, Татьяна Львовна могла позволить себе посидеть в задней комнате за кружкой чая, забавно вытянув ноги. Попробуй я сидеть так дома, тотчас бы услышал ворчание бабушки, а в школе бы наверняка схлопотал замечание Анны Николаевны. А тут сидела взрослая женщина, даже старушка.

Выглядело это вот как: голова почти на спинке стула, тело на самом краешке сиденья, а ноги вытянуты вперед, запнуться о них можно. Словом, человек не сидит, а лежит, только не на кровати, а на стуле. Вид очень даже неприличный, особенно на первый взгляд. Правда, Татьяна Львовна, прежде чем растягиваться на стуле, объясняла, что это балетный прием, так быстрее отдыхают ноги и было бы еще лучше их задрать, желательно выше головы, например, поставить пятки на стол, тогда кровь отливает от ног. Однако задрать пятки выше головы она все-таки не решалась, видно,

стеснялась нас. А растянувшись на стуле, сидела очень даже часто, прикрыв глаза, и вот так, с прикрытыми глазами, отхлебывала чай из дюралевой кружки.

Впрочем, всякие мысли о каком-то там неприличии мелькали на одно очень короткое мгновение. Не надо забывать, что Татьяна Львовна совершенно не походила на женщин, которые нас окружали, на наших матерей и бабушек, а потому должна была вести себя иначе, чем они. Одно ее бархатное пальто что значило! Поэтому я моментально согласился с ее привычкой, считая, что она имеет полное право на удивительное поведение.

Больше того, мне доставляло радость глядеть, как Татьяна Львовна, запахнувшись в свое широкое бархатное пальто, вытягивается на стуле и превращается в кокон нездешней бабочки, у которой к тому же под шапкой топорщится черный, всегда тщательно отглаженный бант. Кокон пьет чай, молчит, кажется, даже спит и вдруг произносит:

Выпьем чаю, о, подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

— Татьяна Львовна, — удивляется трещотка Светка, — а ведь про чай там не говорится.

Кокон прихлебывает чай и, похоже, ничего не слышит. Потом читает дальше:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Неожиданно Татьяна Львовна вскакивает, размахивая широкими рукавами, в одно мгновение превращается из кокона в бабочку и спрашивает:

— Ну? Кто помнит, как дальше? Давайте вместе! Хором. — И дирижирует себе и девчонкам:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей!

Молчу только один я, потому что хоть и слышал это стихотворение по радио, но слов не знаю.

— А что же ты? — спрашивает Татьяна Львовна.

Я заливаюсь краской, униженно чувствуя себя малышом по сравнению с этими девчонками, и говорю, потупясь:

— Мы Пушкина пока не учили. Только сказки читали.

Татьяна Львовна становится совершенно непохожей на себя. Как только что превратилась она из кокона в бабочку, так и теперь мгновенно превращается из забавной и странной старухи в строгую учительницу, перед взглядом которой чувствуешь себя неудобно.

— Запомни! — говорит она. — Пушкина нельзя учить. Его надо любить. К Пушкину надо спешить. Как на свидание! Понимаешь? И тогда... тогда...

Я быстро даю себе слово, что больше ни за какие коврижки не приду сюда. Вот уж не ожидал! За что меня стыдить, если мы на самом деле, тыфу ты, если нам на самом деле не задавали это стихотворение Пушкина? И вот, надо же, при девчонках стыдить меня. За что?

Я опустил голову, прикусив губу: не хватало еще разреветься тут. А Татьяна Львовна воскликнула:

— Друзья мои! Мой замечательный актив! А давайте-ка мы устроим городской конкурс! Юные чтецы Пушкина! Как прекрасно звучит! И как это важно нынче!

Девчонки во главе со Светкой что-то трещали, но я не слушал. Я поднялся и стал натягивать свое пальто, американский подарок.

Я надеялся исчезнуть в суете, раствориться в этом зале, чтобы больше не появляться в закутке с вечно кипящим чайником, но вдруг почувствовал на своем плече руку.

Татьяна Львовна как-то тихо зашла мне за спину, повернула лицом к девчонкам и теперь держала меня за плечо.

В другой руке у нее была толстенная книга в зеленом переплете и золотыми буквами на нем.

— Вот Пушкин, — сказала она изменившимся, дрогнувшим голосом. — У него необыкновенная судьба. Он эвакуирован из Ленинграда. Эвакуировался вместе со мной.

Татьяна Львовна закашлялась, точно поперхнулась. Потом произнесла еще тише:

— Пушкин, Лермонтов и Гоголь, три великих писателя. Я не могла представить себя без них. Возьми, Коля, эвакуированного Александра Сергеевича. Почитай с бабушкой и мамой. Лучше всего вслух. Это собрание сочинений в одном томе. Издание Вольфа. Книга моей юности.

Я протянул руку, но Татьяна Львовна отдала книгу не сразу. Она быстро глянула на меня, улыбка скользнула по ее лицу. Татьяна Львовна передавала мне огромный красивый том так, чтобы я не сразу, а постепенно почувствовал его тяжесть. Я протянул вторую руку, конечно, я мог держать такую громадную книгу только двумя руками, да и то изо всех сил, — и тогда библиотекарьша, наконец, отпустила том.

Кажется, я даже покачнулся и принял Пушкина к себе.

Вышло так, что мы обнялись с великим поэтом. Вернее, это я обнял его.

Конец того вечера получился странно необыкновенным. Потом я даже думал, что мой сон начался еще там, в библиотеке, и что путь домой в совершенно неприличном сопровождении девчонок вместе со Светкой тоже был частью сна. А ведь это я сам попросил девчонок проводить меня, можно ли выдумать такое? Да, попросил. И они не засмеялись надо мною, наоборот, сразу и вполне серьезно согласились, завернув предварительно замечательную книгу в газету.

Не каждому встречному объяснишь, что это значит, когда ты шагаешь в девчоночьей толпе, в самой ее середине, прижимая к животу огромный сверток — кирпич в газете, слиток золота? — да, как известно, чем меньше ты хочешь, чтобы тебя видели, особенно знакомые, тем больше шансов с кем-нибудь встретиться.

Меня увидел Вовка. Похоже, он шел в библиотеку, из-под мышки у него торчали книги, но, заметив меня, он как настоящий друг побежал рядом со мной и с моей охраной.

— Коля, — крикнул он, — куда это тебя везут?

— Да нет! — ответил я не очень понятно. — Я сам!

— Врешь! — взволнованно крикнул Вовка и толкнул плечом Светку, пытаюсь вырвать меня из окружения.

Но Светка оказалась крепче, чем думал Вовка, и он чуть не упал.

— Врешь! — снова крикнул мой друг, и я, чтобы урезонить его, чтобы он без всяких разговоров поверил мне, ответил ему самыми серьезными словами, какие слышал из уст паханов возле проходных дворов:

— Падла буду!

На Вовку и правда это подействовало, зато девчачий конвой колыхнулся от возмущения, готовый, кажется, разбежаться, но по Светкиному возгласу тут же сомкнулся вновь.

— И он ходит в библиотеку! — воскликнула она. — И ему дали такого Пушкина?

Я подумал, что девчонки, пожалуй, могут отнять у меня книгу, и крепче прижал ее к себе. Еще чего! Не они давали, не им отнимать! А Вовке сказал:

— Приходи ко мне! Узнаешь!

Я похвалил себя. Хорошая мысль — позвать Вовку. Хоть эти девчонки и шагают рядом со мной, чтобы у меня не отняли Пушкича, ничегошеньки это еще не означает. Они сами по себе, и я сам по себе, а никакой не девчатник. Мало ли что может взбрести в голову тому же Вовке. Так что пусть придет и сам убедится: они нужны мне только для дела.

Словом, это глупо и неблагородно, но вместо благодарности я девчонкам нахамил возле своих дверей. Поклонился им и сказал, построив примитивную логическую цепь:

— Спасибо, дорогие янки!

— Какие еще янки? — фыркнула Светка.

— Вы разве не читали, — ехидно проговорил я. — Янки при дворе короля Артура!

Одни девчонки рассмеялись, другие хлопали глазами, не понимая юмора, а Светка покраснела.

— И этому человеку дали Пушкина! — опять воскликнула она.

Но теперь ее восклицание совершенно меня не задело.

Вовка примчался через десять минут. На моем столе лежал раскрытый Пушкин, поэтому объяснять ничего не пришлось. Такую толстенную книгу Вовка никогда не видал, за это можно было ручаться. Каждому ясно, что главное во всякой книге — слова, но в этой книжке было еще полно картинок, штук сто, не меньше,

и я пролистал только треть, внимательно разглядывая животных и лица людей. Когда появился Вовка, мы начали листать том с самого начала. Бабушка куда-то ушла, никто нас не сковывал, не мешал нам вслух восторгаться и охать от страха. Как тут не охнешь, если на картинке, например, мертвец или летают черти и под картинкой написаны такие слова: «Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине...»

— Давай почитаем! — торопился Вовка.

— Досмотрим картинки? — предлагал я, и Вовка охотно соглашался, потому что ведь и картинки, особенно страшные, смотреть интересно.

Слова, напечатанные под картинками, мы читали тут же, по очереди. Например, какая-то восточная спальня, женщина в ненашинских одеждах стоит на коленях перед другой, а внизу слова: «И молит: «Сжался надо мной, не отвергай моих молений».

Мы оба хмыкаем, таких слов нет в нашей жизни — сжался, молений, — но торжественные выражения не отталкивают от книги, а, наоборот, притягивают к ней. «Пред бедной девой с невниманьем Он кладно потупляет взор». Тут уж, кроме слова «он», мы ни одного слова не употребляем, надо же, как интересно. А еще ангел с мечом в руке перед стариком с клюкой. «Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим На перепутье мне явился».

— Ты знаешь, какой это Пушкин? — спросил я Вовку.

— Ясное дело какой, — с достоинством ответил он. — Александр Сергеевич.

— Эвакуированный, понимаешь? Его библиотекаря из блокады спасла.

Мой друг откинулся, чтобы, верно, лучше видеть мое лицо, вздохнул с сожалением и постучал по своему лбу. Звук получился громкий и какой-то выразительный.

— Думать надо, — проговорил он, — Пушкина же давно убили. Какой-то фриц, на дуэли.

— Француз, кажется, — попытался поправить я, но Вовка даже не расслышал меня. — Она не Пушкина эвакуировала, а книгу Пушкина. Если бы можно было Пушкина спасти — эге-ге.

— Чего «эге-ге»-то?

— А чего впустую болтать? Он жил давно, мы — теперь. Я вот все удивляюсь, неужто у него корешей

настоящих не было? Чтобы тому фрицу отомстить. Взять бы автомат и — тр-р-р. — Вовка дал очередь от живота и долго еще не мог успокоиться, хоть я и твердил ему, что тогда автоматов-то и в помине не было. — Ну ладно, — сказал он, вздохнув, — давай теперь почитаем.

Как мы читали Пушкина! Первый раз — самостоятельно, без руководства взрослых, пусть даже очень хороших и мудрых, как захлебывались мы радостью познания неизвестных доселе слов и чувств — точно подкрались к благодатному источнику, который зачем-то прятали от нас прежде, давая из него лишь по глоточку отфильтрованной влаги, и вот мы пьем без всяких помех, и нам ломит зубы студеность и новизна, и мы полны восторга, еще не умея выразить то, что переполняет нас до самого края, а только слушая себя, свое сердце, слушая, как замирает оно, когда возносит вдруг душу какая-то волна, и как обрывается все внутри, когда волна эта бросает вниз, словно испытывая нашу прочность.

Мы многого не понимали, потому что, как сказала бабушка, это не для нас, но на книгах не пишут: «Детям до 16 лет читать не разрешается», — и мы с Вовкой по очереди декламировали друг другу стихи, удивительно волнуясь, хотя как будто никаких оснований для волнения не было. Мы еще не знали, что стихи Пушкина обладают этим волшебным умением, что волнуют нас образы и видения, слагаемые из слов, и что мы переживаем одно из самых счастливых мгновений, которые даруются человеку.

Прекрасно, когда взрослый советует, что надо прочитать ученику, без этого не обойтись, как не обойтись без помощи родителей, когда человек делает первые шаги. Но как надобно вовремя отступить, дать самостоятельность, если малыш уже твердо ходит, так следует безбоязненно отпустить человека к великим, когда он умеет читать и учится мыслить. К Пушкину прежде всего.

И не надо бояться, наоборот. Возвышенное, а может, и сложное, прежде чем осознать, надо вначале почувствовать, ощутить. Без спотыканий на незнакомой территории нельзя понять, что это и есть твоя родная земля!

Первым, полистав книгу, прочитал я:

В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.
Склонись ко мне главою нежной,
И да почию безмятежный,
Пока дохнет веселый день
И двинется ночная тень.

Вовкин выбор оказался попроще и повеселее. Он нарочно встал и прочитал стихотворение, обращаясь ко мне. Словно это он мне говорит, а никакой не Пушкин:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

Тогда, как бы в ответ Вовке, мне досталась «Вакхическая песня». Я громко и с выражением читал эти стихи, и меня не покидало чувство, будто я слышал их.

Что смолкнул веселья глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно,
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Поднимем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

— Здорово, — выдохнул Вовка. И стал лихорадочно листать том, вполголоса прочитывая первые строчки.

А я подумал, что среди незнакомых пушкинских слов все же есть такие, которые ни за какие коврижки просто так не выговоришь. «Юные жены!», «Нежные девы!», «Да здравствуют музы!» Скажи что-нибудь из этого в школе, тебя просто обсмеют, ну и сам ты обхо-

хочешься, если, например, тот же Вовка такое брякнет. Но тут, в пушкинских стихах, нет никаких стыдных и неловких слов, наоборот, эти слова делают человека торжественней, что ли, возвышенней — вот как. Может быть, даже лучше.

— Вот! — воскликнул Вовка и, протянув руку ко мне, прочитал:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье,
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье!
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Разве мог бы Вовка взять да и ляпнуть мне этакое: «мой первый друг!» А тут — сказал.

Это Пушкин Вовке помог, сказал Вовкиным голосом необыкновенные слова.

Я уснул, предварительно выяснив у мамы, что лобзания — это поцелуи, но мой сон оказался продолжением жизни, будто я просто перешел с одной стороны улицы на другую, вот и все, и слова мне слышались те же, точно я повторял еще раз стихи, которые мы прочитали, как бы соревнуясь друг с другом.

«На звонкое дно, В густое вино Заветные кольца бросайте!» — слышал я, и, как эхо, отзывалось вокруг: дно! вино!

А потом выплывали новые слова, тоже совершенно замечательные: «Душа тобой уязвлена!» Это надо же! Уязвлена!

«В крови горит огонь желаний!», «Что смолкнул веселия глас!»

Мы идем с Вовкой по улице, неподалеку от библиотеки, перебрасываемся, словно цветными мячами, этими прекрасными выражениями и только торжественно улыбаемся друг другу, но не смеемся — смеяться нельзя, это грех, бесстыдство, над такими словами невозможно смеяться, им можно лишь приветливо улыбаться, как цветам, как уважаемым старшим друзьям, и тут я чувствую чей-то взгляд.

Мне не по себе.

Кто-то глядит на меня, очень пристально смотрит, а я, как пришитый к Вовке, не могу отвернуться от него, талдычу: «Да голос мой душе твоей дарует то же утешенье!» Вот так-то, мой первый друг, мой друг бесценный! Но Вовкины глаза округляются, будто фары газогенераторки, он глядит куда-то за мою спину, и я наконец с трудом останавливаюсь и поворачиваю голову.

Боже! Скрестив руки, у стены стоит Пушкин в одном фраке, и на голове ничего нет. А на улице же зима, подывает ветер, снежная крупа сыплется в кудрявые волосы.

Мы с Вовкой замираем, у меня нет сил даже спросить Александра Сергеевича о чем-нибудь очень важном, достойном такого удивительного момента, — я просто таращусь на него, а он усмехается и тоже молчит.

Молчать глупо, знаю я, надо поскорее завязать разговор, чтобы он не обиделся на такое негостеприимство, и я наконец говорю:

— Вам не холодно?

Он не отвечает, но мотает головой: не холодно. Странно, ведь зима.

— Александр Сергеевич, — прошу я, — почитайте стихи.

Но Пушкин отворачивается, недовольно косит на меня глазом.

— Почитайте! — прошу я.

А вокруг между тем собралась целая толпа, все, приблизившись к нам, останавливаются, никто не проходит мимо, и выглядит это не очень здорово, потому что все одеты, все в шубах и шапках, а возле стены раздетый Пушкин, будто его шпана ограбила.

И тогда мне приходит в голову отличная мысль. Я делаю шаг к великому поэту, снимаю с себя шапку и прошу его:

— Наденьте! Вам холодно!

Я готов снять и свою леопардовую шубу, американский подарок детям заснеженной России, но Пушкин делает такой жест рукой, который означает, что ему не нужна ни шапка, ни тем более американская шуба.

— Тогда почитайте! — прошу я, и вся огромная толпа канючит вместе со мной:

— Почитайте стихи, почитайте!

И Пушкин наконец говорит. Нет, нет, он не говорит,

он просто шевелит губами, голоса не слышно, но я понимаю, что он вполне явственно отвечает на просьбу толпы:

— Теперь, — узнаю я по губам, — ваше время.

«Теперь ваше время!»

Но что это значит? Конечно, наше, какое же еще! И на улице зима. И где-то там, далеко от нас, гремят бои. Идет Великая Отечественная война.

И вдруг я слышу Вовкин голос.

Пушкин смотрит, улыбаясь, на моего первого друга, и все поворачиваются к Вовке, а он с выражением, как заслуженный артист республики, читает стихи, которые отыскал еще вчера:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем!
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Все хлопают, и Александр Сергеевич тоже, он улыбается Вовке, а тот резко опускает голову, потом плавно поднимает ее и снова будто бросает вниз, я знаю, так кланяются артисты, и вдруг слышу голос Татьяны Львовны у себя под ухом.

— Вот видишь, — говорит она, — а ты хотел его учить.

— Кого? — спрашиваю я недоуменно.

— Пушкина, — отвечает балерина и делает реверанс. Это такой глубокий поклон. Одна нога отставлена вперед, совершенно прямая, а на другой приседают и одновременно кланяются залу.

Но тут кланяются одному мне.

Давным-давно, став взрослым и даже седым, я до сих пор совершенно убежден, что Александр Сергеевич Пушкин приходит к людям, искренне любящим его. Не подумайте, что достаточно загадать, достаточно выучить одно стихотворение, достаточно слегка удивиться, прочитав, например, повесть «Гробовщик», и великий поэт тут же, как по щучьему велению, благодарно явится вам во сне. Не такой человек Александр Сергеевич! Он не принимает приглашений и приходит только тогда,

когда ты по-настоящему взволнован, когда что-то необыкновенное произошло в твоей жизни — действительно важное, а не какой-то там пустяк. Ну, допустим, твой товарищ без лишних слов доказал, что он не просто товарищ, а настоящий друг. Или, напротив, тот, кого ты считал другом, оказался обыкновенным знакомцем, способным на гадость. Или однажды ты посмотрел на низкое звездное небо, на тихо мерцающее бесконечное полотно и впервые поразился этому необычайному величию, и вдруг сравнил себя с пространствами, которые окружают тебя, и спросил: для чего, зачем я? И есть ли смысл жить, если твоя жизнь похожа на краткую вспышку спички во тьме? И тебе потребовалась помощь, чтобы понять это непонимаемое, тебе стал просто необходим человек, который если и не знает окончательного и точного, как в математике, ответа, то бережет слова, способные утешить. Или ты победил в чем-то важном, в каком-то споре. Или, напротив, в этом споре проиграл. Или задался первый раз сложным — и простым! — вопросом, что такое честь? Совесть? Стыд? Любовь?

Вот если произошло что-то такое, выходящее за пределы твоей обычной жизни и обыкновенных рассуждений, если в тебе бушует буря или восторг, — вот тогда, без всякого приглашения, тебя может посетить Пушкин. И вовсе не обязательно, чтобы он сказал хоть что-нибудь, нет. Он может просто появиться. Он может напомнить тебе знакомое слово. Или подать мысль.

Он наконец может улыбнуться и этой улыбкой обещать надежду, успокоить, дать понять таким образом что все образуется, все будет хорошо, не надо торопиться с выводами, не надо спешить выносить приговоры.

А наутро, после встречи, тебе на память вдруг придут хорошие, хоть и не всегда понятные слова.

«И виждь и внемли», например. Или: «Душевной жаждою томим...»

Открой книгу Пушкина, любую, на твой выбор, почитай всего полминуты хорошо знакомые или хорошо забытые строки, и ты поймешь, что ищешь!

Всегда! Всегда!

Самое потрясающее в этой истории то, что Александр Сергеевич явился не ко мне одному, оказывается, но и к Вовке, вот чудо!

Мой первый друг рассказал про свой сон во всех подробностях, но за давностью лет я уже не помню этот рассказ. Хорошо знаю только, что сперва Вовка меня немного разочаровал, потому что у него был совсем другой сон, другая сцена и напрочь отсутствовала Татьяна Львовна. Да ведь главное не это. Главное все-таки, что Пушкин посетил не одного меня. Выходит, он заприметил нас обоих. И это совпадение поразило нас настолько, что мы, совершенно не уговариваясь, как бы причислили Александра Сергеевича к богам. Да еще к таким, о существовании которых мы с Вовкой знаем только вдвоем. Хотя ведь все, даже, кажется, младенцы, знают великого поэта.

Отныне, встречаясь, мы с Вовкой вели странные речи, в которых незримо присутствовал Александр Сергеевич. Ну, например, я спрашивал своего друга:

— Как ты вчера до дому довлачился? В обитель дальнюю?

А Вовка отвечал:

— Поздно уже прикандыбал. Почти что пред ясным восходом зари.

Или Вовка спрашивал меня:

— Ну что, бесценный, какие сегодня у нас уроки?

И я отвечал:

— Что пройдет, то будет мило.

Говоря друг другу эти слова, мы, конечно, шутили, но не так, чтобы очень. Наши речи скорее походили на какие-то упражнения. На какую-то подготовку, не без улыбки, ясное дело, и все же репетиции наши сулили что-то серьезное. Мы не думали так. Мы только чувствовали. Спроси нас в ту пору со взрослой строгостью в голосе, чего это мы так по-дурацки шутим, мы бы, наверное, смутились и перестали вставлять в свою речь пушкинские слова, но мы ведь переговаривались негромко, едва ли не на ухо говорили друг дружке свои замечательные тирады, по крайней мере, никому другому знаний своих не демонстрировали.

Лишь однажды Вовка сорвался. Но не сильно. Другие даже не поняли. Кроме Анны Николаевны. Но она ничего не сказала. Только посмотрела очень выразительно.

Дело все в том, что книжищу Пушкина, целое собрание сочинений в одном томе, Татьяна Львовна дала ведь мне без всяких условий. Это была ее личная, а не государственная, не библиотечная книга. И когда я спросил

ее раз или два, к какому числу надо вернуть том, она ответила:

— Читай, наслаждайся!

И я наслаждался. Ясное дело, что не один, а с Вовкой.

Самый лучший способ читать Пушкина мы открыли в первый день, скорее всего случайно, но теперь уже и представить не могли, что можно узнавать классика русской литературы еще каким-то другим образом. Во всяком случае, читать про себя стихи Пушкина ни мне, ни Вовке не нравилось, и мы делали это вслух, чередуясь, как и первый раз, но теперь уже не вырывали стихотворения то из начала, то из середины, то из конца, а шпарили все подряд. И разучили, таким образом, много новых слов и замечательных выражений.

Так уж выходило, что слова эти и выражения легко и радостно впивывала наша память, похожая на губку, да ведь еще мы и упражнялись, вставляя в свои речи пушкинские обороты, поэтому Вовку было трудно судить за раскрытие тайны, когда он вдруг сжал кулак и крикнул:

— Вострепещи тиран! Уж близок час паденья!

Это было в начале последнего урока. Анна Николаевна рассказывала про последние известия с фронта, а Вовка, такая у него была почетная обязанность, передвигал флажки на карте под руководством учительницы.

Наши били фрицев, флажки двигались каждый день и в тот день скакнули здорово вперед. Вот Вовка и не выдержал.

Все засмеялись его необыкновенным словам — все, кроме меня и Анны Николаевны — учительница же заглянула Вовке прямо в глаза, а потом долго смотрела ему вслед, пока мой друг шел к парте, усаживался, лез зачем-то в портфель.

— М-мда! — задумчиво произнесла Анна Николаевна и после небольшой паузы объявила, что у нас в классе состоится конкурс на лучшего юного исполнителя стихотворений Пушкина и что это совпадает с рассказом заведующей детской библиотекой Татьяны Львовны про прекрасный город Ленинград.

О, это был замечательный конкурс!

Впрочем, может быть, это только кажется мне из моей сегодняшней жизни — ведь все, что бывает в дет-

стве, кажется замечательным и неповторимым потом, много лет спустя, но ты уже безвозвратно изгнан временем из далекой и счастливой поры.

Маленький человек всегда норовит поскорее стать взрослым, и это ему удается. Но вернуться назад не дано никому. Только вот память — таинственная и волшебная пряжа, протянутая из настоящего в прошлое, золотая нить воспоминаний — способна соединить времена и повернуться лицом назад, лишь одна она...

А память мне подсказывает: да, это был замечательный и небывалый конкурс. Ведь стихи Пушкина читали вслух не только отличники, но и двоечники, не только образцово-показательные девчонки, но и самые хулиганистые пацаны, не только те, кто уже успел полюбить Александра Сергеевича, но и те, кто впервые произносил вслух строки великого поэта.

Потому что в пушкинском конкурсе были обязаны участвовать абсолютно все, начиная со второго класса. Все-все-все!

Правда, это не означало, что каждый ученик каждого класса должен был выучить и прочитать совершенно новое стихотворение. Например, у нас репертуар состоял всего из четырех или пяти, да и то потому, что мы с Вовкой разучили разные стихотворения по толстой книге Татьяны Львовны, да еще Нинка Правдина, как обычно, чем-то необыкновенным удивила. Остальные шпарили одно и то же — «Зимнее утро» — «Проснись, красавица, проснись», — зато уж читали все до единого, без исключения.

Татьяна Львовна, неузнаваемо изменившаяся, в зеленом, с блестками, платье, к которому был приделан какой-то зверек с глазками, носом и белым мехом, точно совсем живой, надо же, — ходила из класса в класс, и, я думаю, из школы в школу, и отбирала юные таланты на заключительный тур.

Целый урок она просидела и у нас, неожиданно напугав меня и поразив остальных, захлопала сначала мне за «Ариона» — «Нас было много на челне», — а потом Вовке за стихотворение, которое начинается словами: «Роняет лес багряный свой убор». Конечно, мы целую неделю учили их, проверяя друг дружку, старались произносить слова с выражением, будто мы из театра, но, как я понимаю теперь, обрадовали Татьяну Львовну не исполнением, а тем, что выучили стихи, которые не проходили в нашем классе.

Наверное, за старание мы попали на общешкольный конкурс, но уже дальше Татьяна Львовна ценила только искусство. Тоже, правда, со странностями.

Лучше всех стихи прочитал ее родной внук Артур, но премию дали не ему, а этой зануде Светке. Надо же, а я думал, она об одних пустяках трещать может, о пуговицах и нитках, о мальчишках и девчонках и о том, на каком жире лучше жарить картошку.

Светка получила приз, если память не изменяет, альбом для рисования, была командирована дальше, на городские состязания юных чтецов Пушкина, но там провалилась, а чемпионом стал какой-то большой пацан из чужой школы, которого я так никогда и не видел, потому что он учился не то в восьмом, не то в девятом классе и в детскую библиотеку уже не ходил. Да разве в нем дело!

Поражение нас с Вовкой не обидело и не разочаровало, напротив, мы все читали и читали Пушкина. Правда, грешным делом, порой приходилось отступать, «Евгения Онегина», к примеру, нам одолеть не удалось, а из прозы во втором классе мы прочитали только «Повести Белкина», более всего поразившись «Гробовщику». Однако и «Евгений Онегин», и «Пиковая дама», и все остальное не исчезло, не пропало, а настигло нас в свое время. Любовь же к Пушкину, удивление и восторг, не ограниченные хрестоматиями и детскими книгами, подарила странная старуха, бывшая артистка, знаменитость, необыкновенный человек нашего города, Татьяна Львовна.

Точно вчера мы с ней расстались: зеленое платье с белым зверьком вокруг шеи и широкими рукавами с блестками, какие не носят обычные женщины, черное бархатное пальто, которое под Новый год покрывалось серебряными звездами, вырезанными из бумаги, — Татьяна Львовна превращалась в волшебницу, в звездочета, в необыкновенность маленькой библиотеки.

Как же мерзла, думаю я теперь, она в те холодные дни, ведь шапку со своим смешным бантом она снимала, а на голову натягивала черный картонный колпак, как и пальто, оклеенный звездами, — старушка не отступала от своей роли ни в чем, а дрова кончались, приходилось экономить и топить через день.

И хотя два этих наряда Татьяны Львовны, два облика ее вечно перед моими глазами, как бы далеко ни уходил я от собственного детства, есть одно воспомина-

ние в моей памяти, еще один ее портрет, самый драматичный из всех.

Только сначала я должен сказать, что чем ближе был конец войны, чем чаще мы слышали московский салют в черных тарелках репродукторов, тем лучше было настроение у всех, и это понятно.

Однако надо пояснить: настроение — это одно, а жизнь — другое. Настроение делалось все лучше и радостней, но жизнь меняется не легко и не просто.

Страна двигалась к победе с великим напряжением и — нет, не легче доставалась ей каждая новая победа. Наоборот, с великим трудом давался всякий новый шаг. Так что, салюты гремели и женщины плакали от радости и печали, а жизнь не становилась легче, и все так же холодно и голодно жилось в наших домах.

Начало этих событий врезалось в мою память очень отчетливо. Еще бы! Я вошел в библиотеку, а там стоял настоящий гвалт. Пространство между прилавками забито народом, и все, уже не сдерживаясь, громко разговаривают, пищат, смеются, а Татьяны Львовны нет и девочек не видно, никто ее не заменяет. Отчаянно работая локтями, точно переплывая бурную речку, я пробрался к потайной двери, открыл ее и увидел, что Татьяна Львовна плачет. Сидит одна возле стола, положила на него руки и прямо трясется.

Я прикрыл поскорее дверь за собой и встал как истукан. Ни разу в жизни мне еще не приходилось оставаться один на один с женщиной, которая плачет, пусть она старушка, и я даже вообразить не мог, что теперь надо делать.

Положить руку ей на плечо? Подать стакан воды? Сказать утешающие слова?

— Что случилось? — выдавил я из себя.

Татьяна Львовна подняла голову, но отвернула от меня лицо, чтобы я ее не видел.

Всхлипывая и задыхаясь, она проговорила:

— Помоги мне! Пойди туда!

Я? Но ведь я никогда не был за прилавком, никогда не выдавал книг, каждую же надо записать, и я ни за что не управлюсь. Однако бывают в жизни мгновения, когда надо поступать так, как велит обстоятельства. Не мог же я, на самом деле, отказать Татьяне Львовне, сказать ей, мол, я не сумею, дескать, лучше вытрите сле-

зы и ступайте сами. Хорошо еще, что времени не было для рассуждений — ведь за тонкой дверцей гудела толпа.

Я повернулся, чтобы идти, а Татьяна Львовна вдруг простонала, протянув ко мне руки, будто я мог ее спасти.

— Артур заболел!

Из-за этого она так убивалась? Я улыбнулся и утешил:

— Так поправится же! Все болеют!

— Тяжело заболел!

Я минуточку подумал и решился на отчаянное:

— Так вы идите к нему. Я побуду.

Она качнула головой. Теперь Татьяна Львовна не скрывала от меня своего лица, и я поразился: какая же она глубокая старуха. Гораздо старше моей бабушки!

— Он в больнице, — сказала она и опять заплакала. — Это я, я! Не углядела!

Плечи ее тряслись, она снова уронила голову на руки, а я потихоньку разделся и вышел за дверь.

Сперва, пока, видно, открывалась дверь, стало тихо, народ подумал, что выходит Татьяна Львовна, и примолк, но, увидев меня, загудел еще пуще. А когда я встал за прилавок, тут уж публика совсем распоясалась.

Передо мной скакали и корчились разнообразные рожи — рыжие, белые, черные головы, карие и серые глаза, ощеренные в смехе зубы, оттопыренные уши, косички, челки. Мне даже показалось, что части ребячьих лиц отделились от их хозяев, сорвались со своих мест и беснуются в сумасшедшей пляске.

Я потрянул головой. Носы, уши, губы и даже целые головы вернулись на свои места, но шум не умолкал. Напротив, я теперь различал отдельные слова и фразы, конечно, все до единого обращенные ко мне.

— Ну ты, библиотекарь, давай кор-роче!

— Прохессор, не тяни резину!

— Пацан, а ты грамоту-то секёшь?

Боже, как далека была эта речь от волшебных слов Пушкина! И еще, совсем по-взрослому, я подумал о том, какой же разный мы народ, ученики разных классов и школ. И как, наверное, нелегко разобраться в каждом из нас Татьяне Львовне.

Мне хотелось крикнуть в лицо этой одичавшей толпе, брякнуть несколько непущинских слов, чтобы разни-

нули рты от неожиданности, хоть на минуту умолкли, и я бы объявил им тогда, что залез сюда, за прилавок, не по собственному хотению, а из-за Татьяны Львовны, из-за того, что она не может сейчас работать и заменить ее некому, кроме меня, что, наконец, должны же быть людьми одуревшие посетители такого благородного заведения, как библиотека.

Но мне не хватило ни возраста, ни сил. Я вздохнул, взял книжки у того, кто стоял ближе, и спросил читательский номер.

Никто еще не учил меня этому — как доставать карточку из кармашка, как вписывать в формуляр название книги и ее библиотечный номер, я ведь еще только готовился к этому — а можно вообще без этого обойтись, сидеть себе тихо в задней комнате, подклеивать старые книги, рассматривать картинки и воображать самого себя в самых разных литературных обликах, — но делать нечего, приходилось действовать без ученья, — и надо же! — у меня все получалось. То есть, конечно, не было быстроты, и я возился, будто крот, но зато все делал правильно.

Вот когда я оценил Светку! И ее девчонок!

Нет, не зря говорится, что друзья познаются в беде. В беде познаются не только друзья, но и вообще люди. Не зря все-таки народ, который орал в библиотеке, показался мне даже не масками, а носами, ушами, глазами, летающими в воздухе отдельно от лиц. И ведь никакого зла я не сделал этим ребятам. Просто они сорвались. Просто превратились в толпу, в такую массу, без головы и хвоста, в кучу малу, в свалку.

Ах, Светка! Где ты ходишь-бродишь? Нет чтобы тебе появиться в дверях, да и помочь мне. Я же ведь зашиваюсь, разве не понятно? Все делаю правильно, но это полдела, оказывается. Хорошо работать — это означает не только выполнять дело правильно, но еще и быстро.

Светка быстро трещала, но ведь и быстро чинила книги. И быстро записывала книги в формуляры.

— Ну ты, пентюх!

— Эй, копуша!

— Дай мне вон ту книгу, а то в лоб получишь!

Нет, в лоб я все-таки не получил, хотя угроза была совершенно реальной, но вот взмок весь до последней нитки, до трусишек.

Боже! Светка явилась в дверном проеме, и мне она померещилась шестикрылым серафимом. Молча, но ре-

шительно она протолкалась сквозь толпу прямо ко мне, совершенно непедagogично какой-то толстой книгой, вроде Житкова, трахнула по одной челке, по другой, крикнула, чтобы все становились в очередь, и отправила меня к малышовому прилавку. Это было легче. Малыши были покорнее и тише.

Я благословлял Светку на все лады.

В тот же день я узнал от нее, что Артур заболел туберкулезом и что ему теперь требуется усиленное питание.

Еще через некоторое время бабушка сказал нам с мамой, что Татьяна Львовна каждое утро, видно, до открытия библиотеки, стоит на рынке с зеленым платьем на плечиках.

— Будто дежурит, — вздохнула бабушка, но я не понял. — Стоит на одном месте, — пояснила она, — но ничего у нее не выходит. Никто у нее это платье не покупает. Уж очень непрактичное. Никуда в нем не пойдешь.

Я вздыхал. Ясное дело. Всего две вещи остались у Татьяны Львовны — платье и бархатное пальто. Но вот беда, они такие красивые, что их никто не покупает. Все ведь ищут, что носить можно, а не чем любоваться.

Шел день за днем. Жизнь шагала вперед торопливой похсдкой, не каждую неделю я бывал в библиотеке, и не часто теперь мы с Вовкой собирались почитать вслух Пушкина, но про Артура, про беду Татьяны Львовны говорили все время.

— Стоит? — спрашивал я бабушку.

— Стоит, — отвечала она, вздыхая.

А я делился в школе этим печальным известием с Вовкой или Светкой.

Однажды вечером, раскрыв Пушкина, чтобы поглядеть перед сном прекрасные картинки, я почувствовал, что мама очень осторожно положила мне на плечо руку.

— Сынок, — вкрадчиво сказала она. — Отнеси-ка ты эту книгу Татьяне Львовне.

— Почему? — поразился я.

Ведь мы еще не прочитали ее. Ведь Татьяна Львовна сказала мне, и не раз, — читай, мол, наслаждайся. И я еще не наслаждался.

Примерно все это я и изложил маме, очень удивленный ее предложением. Все мне казалось совершенно убедительным в моих словах.

Но мама сказала:

— Представь себе, что Артур захочет почитать эту книгу. А ее нет. Она у тебя. И Татьяне Львовне неудобно просить ее назад.

Мама села напротив меня и очень внимательно заглянула в мои глаза.

— Ты видишь, — сказала она, точно взрослому, — какой деликатный человек Татьяна Львовна. И ты будь таким же — в ответ.

Если бы мама стала меня уговаривать или, хуже того, приказывать, я бы, конечно же, воспротивился. Но со мной разговаривали на равных.

Сперва я расстроился, но перед сном, уже в постели, решил, что так и сделаю. Во-первых, книгу рано или поздно придется вернуть, она же не моя. А во-вторых, если Татьяна Львовна подумала обо мне, почему же мне не подумать об Артуре. Да еще когда он в больнице.

Утром я рассказал Вовке о своем решении. Он помолчал — ведь ему тоже было жаль расставаться с такой книгой, — но кивнул.

— Теперь Пушкин ему нужнее, — сказал он.

И после уроков мы отправились ко мне, наперебой вздыхая, выгрузили все учебники и тетрадки из моего портфеля и поместили вместо них собрание сочинений в одном томе.

Мы шли в библиотеку нарочно медленно, передавая портфель из рук в руки. Не потому, что было тяжело, хотя, конечно, том нелегкий, а потому, что несли дорогой нам груз.

Нет, нет, это слово решительно не подходит!

Мы несли Александра Сергеевича, эвакуированного из Ленинграда в наш город замечательной старушкой, мы познакомились с великим поэтом сами, без всяких подсказок, и было горько идти, обнимая его в последний раз и зная, что мы расстаемся.

Даже комок стоял в горле, будто перед слезами.

Татьяна Львовна изменилась с тех пор, как я увидел ее плачущей. Раньше она радовала нас своей непохожестью на остальных женщин, на наших мам и бабушек, и эта непохожесть была, конечно, прежде всего в одежде, но и не только — теперь я понимал это.

Татьяна Львовна отличалась от всех своей одеждой, это верно, но и еще своей беззаботностью, вот чем, неумением — а может быть, нежеланием! — унывать.

Теперь она ничем не отличалась от наших родных.

Ее лицо сморщилось и усохло, она стояла, ничего не видя перед собой, и была очень немногословна. Точно находилась совсем в другом месте.

Мы с Вовкой зашли в закуток, я велел ему обождать, вновь вышел в библиотеку и сказал Татьяне Львовне, что мне надо поговорить с ней. Она открыла дверь закутка, и я протянул ей Пушкина.

— Ах, вот он где, — сказала она рассеянно, — а я совсем забыла! Ищу, ищу его, нигде нет.

Неужели? Не может быть!

Я никак не мог поверить, что Татьяна Львовна забыла, где ее любимый Пушкин. Ведь она говорила, что он всегда с ней, что она представить себя не может без Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Татьяна Львовна сидела на краешке стула, гладила тисненый переплет и смотрела куда-то мимо нас. Потом сказала:

— Все — война!

Мы молчали, не очень поняв ее.

— Все война виновата. Говорят, они сожгли Царское Село.

Мы опять ничего не понимали. Таращились, наверное, на нее, а еще друзья Пушкина. И вдруг я понял, что Татьяна Львовна нигде не отсутствует, а очень внимательно смотрит на нас, переводя взгляд с Вовки на меня и обратно.

— В Царском Селе — лицей, — сказала она, — такая школа, где учился Пушкин.

Я кивнул. Мы ведь действительно читали стихи про лицей.

— Лицей сожгли фашисты, — вздохнула Татьяна Львовна, — и могилу в Михайловском... — она помолчала, выбирая слово, добавила: — Осквернили. Варвары.

Она улыбнулась, но это было лишь слабое подобие ее прежних улыбок.

— Ну, вы побродили по Пушкину? Почувствовали его? Услышали его сердце?

Мы, улыбаясь, кивали.

— Это такое счастье! — сказала она и кивнула нам. — Поздравляю вас. Поздравляю с этим счастьем.

Пора было или уходить, или, напротив, оставаться, чтобы поработать, поклеить старые книги, но Татьяна Львовна не хотела заканчивать этот разговор. Точнее, она все сидела, и мы стояли перед ней, своим видом по-

казывая, что она может не беспокоиться, а вести себя так, как захочет.

— Я думала, мы спаслись, когда приехала из Ленинграда, — сказала она горячо, словно оправдываясь. — Главное — Артур, но он простыл раз, другой... Это я недоглядела.

— Поправится! — быстро сказал я.

— Поправится! — подтвердил Вовка.

Но такие уговоры, видать, она слышала уже не раз. Татьяна Львовна тихо улыбнулась, глаза ее наполнились слезами, и вдруг — мы просто обалдели.

Татьяна Львовна, заслуженная артистка в бархатном небывалом пальто, сползла со стула на коленки и перекрестилась.

— Господи, — воскликнула она, — если ты все-таки действительно есть, спаси Артура!

Она сгорбилась, превратилась в черный холмик, плечи ее опять задрожали.

Мы кинулись ее поднимать.

Она встала, обтерла щеки тыльной стороной ладони, сказала, успокаиваясь:

— Мальчики, простите меня! Я ведь старая, в гимназии закон божий учила. Да и вообще полжизни при царе прожила, старая перечница. Простите! Артуру плохо!

Мы не ушли после этого. Побыли еще с Татьяной Львовной. Мне пришлось встать к прилавку и выдать несколько книг. Вовка оставался с ней.

Когда я вернулся, он декламировал Татьяне Львовне пушкинские стихи по книге.

— А знаете, — сказала она, — если бы мы не уехали из Ленинграда, эту книгу пришлось бы сжечь.

Мы молчали, пораженные.

— На книгах варили суп. Ими обогревались. Знаете, какое ужасное чувство? Будто предаешь друга!

Недели через две Татьяна Львовна разделалась с зеленым, концертным, как я теперь понимаю, платьем.

Настала очередь бархатного пальто.

Опять бабушка рассказала, как Татьяна Львовна продает его. Приходит на рынок прямо в пальто, там же прилюдно раздевается, накидывает его на плечо и стоит в телогрейке на холодном ветру.

— Сперва мы с ней раскланивались, — сказала бабушка, — да я вижу, что ей неудобно. Стала обходить.

Но пальто не покупали. И вот в один печальный день бабушка встретила меня возгласом:

— Пушкина продает!

Я не понимал, о чем она толкует. Да бабушка, видать, и сама знала, что требуется разъяснение, и торопилась, захлебывалась словами:

— Я поначалу-то даже обмерла. Думаю, образок продает. Ну, икону. Блестит, а тут еще солнце выглянуло. Потом пригляделась, нет. Хоть и неудобно, дай, думаю, подойду. А как поближе-то стала, меня и осенило. На плече — бархатное пальто, а в руках — Пушкин. И держит его, ровно на крестный ход собралась.

Будто что-то оборвалось во мне. Оборвалось и ухнуло вниз. Я тяжело бухнулся на сундук.

Потом встрепелся. Нужно немедленно побежать и увидеть, подумал я, бабушка, конечно, не выдумывает, зачем ей, но я должен убедиться собственными глазами во всем этом.

Нет, что-то тут не сходится. Ведь Татьяна Львовна вместе с ним эвакуировалась. Ведь это же книга ее юности, как сказала она.

Она говорила, что сжечь книгу очень тяжело! Такое чувство, будто предаешь друга. А продать — чем это лучше? Разве же это не предательство, продать Пушкина? Будто в рабство!

Я вскочил, потом снова сел. Сообразил, что сейчас идти без толку. Татьяна Львовна в библиотеке. Надо утром. Она ходит на рынок с утра, перед работой.

Отчаянные планы вертелись в моей голове. Кинуться, например, сейчас к Вовке, и обежать всех, кого только знаешь, по рублю, по два, собрать деньги и завтра ошарашить Татьяну Львовну. Подойти к ней и купить у нее Пушкина.

Или, если уже поздно, разузнать, кто купил его, догнать этого денежного дядьку и упросить его, чтобы он продал нам, потому что это наша книга.

Пушкиных много — есть тонкие книжечки, есть толще, но том в издании Вольфа — совершенно необыкновенный, эта книга почти как человек, как сам Александр Сергеевич, и он должен всегда жить с теми, кто его давно полюбил.

Конечно! Выкупить Пушкина было бы самым правильным делом. Но бежать к Вовке бессмысленно, уж

кто-кто, а я-то хорошо знал, как бедовали в его доме. Да и где не бедовали?

Я ждал маму.

Ждал ее с таким нетерпением, какого не знал еще до сих пор. Наконец, она пришла из госпиталя, озябшая, даже позеленевшая от холода.

Я надеялся на нее. Верил, что мама придумает справедливый выход. Может быть, у нее припрятаны деньги на черный день, — мы часто повторяли эти недобрые слова — черный день, — и я понимал, что к черному дню надо готовиться, что черный день настанет неожиданно, приходит бедой и горем, и лучше всего, если к черному дню будет хоть малый запас еды или денег.

Но как только мама возникла на пороге, озябшая и зеленая, я понял, что надежды мои наивны. Что мы ничуть не богаче других. И что купить Пушкина, который, конечно же, стоит немало, мне не удастся.

Что я не спасу великого поэта.

Был конец зимы, неуверенным шагом приближался апрель, то отступая под ледяными, пронзительными порывами ветра, то наступая, и тогда на наш заснувший город обваливалось слепящее небо в белых, по-летнему кудрявых облаках.

То раннее утро удалось на славу, словно нарочно подчеркивая, что природа и состояние души вовсе не обязательно должны быть в согласии, что красота природы вовсе не означает красоту жизни и что, запомнив эту простую истину, мне еще не раз придется удостовериться в несправедливости такого несоответствия.

Да, все непросто в этом мире, и вовсе не природа правит человеческой душой, как не душа правит природой, а только люди могут понять друг друга и друг другу помочь.

Я увидел ее сразу.

Татьяна Львовна не уходила в глубь рынка, стояла почти у входа, и все было так, как обрисовала бабушка.

На левом плече, задевая землю, висело бархатное пальто, а обеими руками, будто и в самом деле икону, она держала Пушкина, бережно прижимая его к груди.

Несмотря на ясное утро, ветерок поддувал знобкий, и Татьяна Львовна постукивала друг о дружку валенками в резиновых калошах. Однако сама она остава-

лась неподвижной, словно оледенелой, не то что остальные продавцы, которые переговаривались между собой, часто крутились на месте, некоторые толкались весело для сугреву, словом, были оживлены и даже возбуждены.

Покупатели к Татьяне Львовне подходили даже чаще, чем к другим, всех интересовало необыкновенное бархатное пальто, а на книгу никто почти не смотрел. Но и пальто не покупали, все только шупали его да посмеивались. Ну и цену спрашивали — так, из любопытства.

Я стоял за спиной у Татьяны Львовны и в упор глядел на ее затылок. И чем дольше глядел, тем больше жалел старуху в ватнике, подпоясанном нарядным лакированным пояском, и пальто ее необыкновенное, из той поры, когда она была артисткой, и книгу ее юности, и Пушкина Александра Сергеевича, и себя жалел, и Вовку, и библиотеку, где до войны был табачный магазин, и этих продавцов, которые тут толкуются из-за нужды, и весь этот рынок жалел, и холодный наш городок.

Слезы навернулись на глаза, мир, окружавший меня, стал расплывчатым, и в это время Татьяна Львовна повернулась ко мне.

Я не хотел, чтобы она увидела меня таким, моргнул и стер слезы.

— Ну что ты? — сказала она дрогнувшим голосом и заплакала сама.

Я думал, что переполнен словами, я думал, сумею уговорить Татьяну Львовну не делать этого, но оказалось, что никаких слов у меня нету.

Ни единого, даже самого завалящего словечка.

Я глядел на нее, и губы у меня тряслись. Пушкин! Бедный Пушкин!

— Какая прелесть! — услышал я мужской, рокошующий голос. — Мечта моего детства, издание Вольфа! Наконец-то!

Я повернулся.

Перед Татьяной Львовной стоял еще совсем не старый капитан первого ранга — три звезды на черном морском погоне, а левая рука на перевязи. Он жадно взял Пушкина здоровой рукой, неудобно примостил его возле повязки, казалось, еще немного, и он уронит книгу.

— Сколько? — спросил моряк.

— Пятьсот.

— Не дорого?

— Топленого масла, — ответила Татьяна Львовна. И добавила: — Больному.

Капитан отдал деньги, схватил книгу и быстро пошел к выходу. У самых ворот он обернулся и пристально посмотрел на нас — на старуху в ватнике и мальчика. Потом опустил голову и торопливо зашагал прочь.

Татьяна Львовна глядела туда, где только что был капитан, побелевшими мертвыми глазами. Повернулась ко мне. Губы ее тряслись. Она что-то хотела сказать, но так и не сказала.

Такой я запомнил нашу библиотекаришу навсегда — в телогрейке с блестящим пояском. А на плече бархатное пальто.

Последний ее портрет в моей памяти.

Я успокаивал себя тем, что, может быть, Пушкин спасет Артура. Но даже великий Пушкин оказался не всесилен.

Артур умер.

Да, да...

И эта смерть больно ударила всех нас — и меня, и Вовку, и Светку, и ее девчонок.

Тогда я не мог объяснить этого потрясения, мне просто было страшно глядеть на пожелтевшего Артура в маленьком детском гробу. Сейчас я думаю, что мы ясно ощутили, как на нас налетела тугая волна, как обдал наши души ветер, поднятый крыльями страшной птицы — птицы беды. Она пролетела совсем рядом. Теперь мы знали: на войне погибают не только взрослые. Артур оказался первым в моем, едва родившемся поколении. Выстрел пришелся по нему.

И мы слышали близкий грохот.

Анна Николаевна каким-то чудом собрала библиотечный актив. Были каникулы, лето, почти все разъехались, кто в лагерь, кто в деревню, но меня и Светку разыскал Вовка, принесший жуткую весть.

На кладбище мы с Вовкой неумело, сбиваясь, били в барабаны, а какой-то пацан, неизвестный мне до сих пор, хрипло дудел в пионерский горн.

Татьяну Львовну поддерживала женщина, похожая на нее, и я подумал, что это, возможно, ее сестра —

такая же старая, ну чуть помоложе, худая, черная. И лишь позже, в конце лета, меня осенило, что я видел мать Артура.

Как, когда сумела она приехать так быстро из Ленинграда, это осталось для меня загадкой...

Наша Анна Николаевна сказала речь, из которой я запомнил одну только простую мысль, что война не щадит никого.

Татьяна Львовна едва стояла на ногах.

— Это я, — повторяла она глухо, — это я!

Остальные молчали.

Потом в лагерь уехал и я, а когда вернулся, в школе ходил слух, что Татьяна Львовна уехала обратно в Ленинград, ведь блокада закончилась. Во всяком случае, осенью, после каникул, нас встретила в библиотеке молоденькая женщина. Потом библиотека закрылась, довольно надолго, и открылась снова через полгода, не раньше, совсем в другом месте.

Тут было просторно, коридор, вешалка с гардеробщицей, читальный зал, абонементы — отдельно для младшего, отдельно — для среднего возраста.

После некоторого замешательства я опять попал в актив, потому что много читал — часы напролет сидел в читальном зале.

Удивительный и счастливый мир открывался передо мной все шире. Великие мастера отворяли в него все новые окна.

Классе в пятом настала пора Дюма. Например, «Десять лет спустя» и «Графа Монте-Кристо», единственные экземпляры которых были в читалке, мы захватывали наперегонки в прямом смысле этого слова, бегом минуя кварталы от школы до библиотеки — кто кого?

Потом пришел Толстой, «Спартак» Джованьоли, Николай Островский, «Овод» Этель Лилиан Войнич, восторг и слезы — самые чистые слезы всех наших лет.

Может быть, я плакал над Артуром из «Овода» потому, что знал еще одного Артура? И его чудесную бабушку?

Светка тоже ходила в библиотеку.

Но в активе больше не числилась.

Я хотел было позвать ее, поговорить с ней, но, подумав, не решился.

Она становилась на глазах какой-то очень уж взрослой и молчаливо опасной.

Новые книги входили в мою жизнь, и я подрастал вместе с ними.

Но такой, какую встретил однажды, больше уже не встречал.

Пушкина, собрание сочинений в одном томе, издание Вольфа.

Куда же делась та книга? Или следы ее потеряны навсегда?

Нет!

Капитан первого ранга оказался ленинградцем, он лежал после ранения в Военно-медицинской академии, тоже эвакуированной из Ленинграда к нам, а когда война кончилась, вернулся в свой город.

Он жил на стрелке Васильевского острова, и из окон его квартиры было видно Адмиралтейство и его золотой шпиль с парусным золоченым фрегатом наверху.

Старинный том стоял на полке напротив окна, и Александр Сергеевич хорошо видел заветный корабль, воспетый им.

Пушкин заслуженной артистки вернулся в родной город.

Жаль только, что он не встретился больше с Татьяной Львовной.

Впрочем, хочу признаться, что историю про возвращение капитана я выдумал.

Я так хочу!

Ведь Пушкин должен был вернуться из эвакуации. Вернуться из войны. И остаться всегда живым.

Потому что поэты и книги — бессмертны.

Вам письмо

*Мирами правит жалость,
Любовью внушена
Вселенной небывалость
И жизни новизна.*

Борис Пастернак

1

Тоське одной во всем отделе доставки не нравится этот новый порядок: стоишь, а перед тобой не живые лица, а железные ящики с номерами. Вот вам, номер шестнадцать, «Правда» и «Работница». А писем сегодня нет. Зато номеру семнадцать извещение на посылку из Киева. Наверное, яблоки. Тоська представила себе желтый, будто восковой, ящик, испечатанный сургучными кляксами, от которого плывет сладкий аромат какого-нибудь «налива» или еще лучше — «дюшеса», есть такие груши.

Весной, в мае, в посылочном отделении, где на деревянных стеллажах всегда полно ящичков, и ящиков, и кулей, зашитых крупной белой стежкой, — ничем не пахнет. В конце июня тут появляется тонкий, чуть уловимый запах яблок, а в августе, в сентябре — и так до самого ноября — посылочное отделение, наверное, самое ароматное и приятное место во всем городе. Только об этом мало кто знает, ведь не каждого пустят за дверь, обшитую железом. А Тоську, конечно, пускают. Она тут везде своя. И Тоська начиная с конца июня и до ноября нет-нет да и заскочит в посылочный отдел. Зайдет, когда никого там нет, закроет глаза и представляет себе, как она стоит в яблоневом саду, а вокруг, будто сладкие лампы, висят огромные яблоки и светят ей розовыми боками.

Тоська никогда не бывала в яблоневом саду. Здесь, в ее городе, яблони, правда, есть, но яблоки на них вырастают маленькие и зеленые, кислые-прекислые на вкус. Пожевать их, конечно, можно, — так, от нечего делать, но удовольствия в этом мало. Впрочем, пожалуй, не одна Тоська думает так. Не зря же их посылочный отдел всегда полон фруктовых посылок из дале-

ких южных городов с непривычными именами — Анапа, Батуми, Феодосия...

Интересно, где это? К стыду своему, Тоська плохо знает географию. Карта школьного атласа, который она снесла в букинистический магазин вместе с учебниками в тот же день, как взяла документы из школы, уже стусевалась, стерлась в памяти, и Тоська что-то не могла припомнить, где это такой город Феодосия — то ли на Кавказе, то ли в Крыму...

Тоська опустила извещение о посылке в ящик семнадцатой квартиры и еще раз вздохнула, представив себе светящийся яблоневый сад. Потом она стала доставать по очереди газеты, конверты, журналы и совать их в пустые рты железных ящиков, похожих на голодных галчат.

Раньше, бывало, позвонишь, и дверь откроет какая-нибудь старушка, протянешь ей письмо, а она всплеснет руками, потом вытрет их о передник — может, стирала, а может, картошку чистила, — возьмет письмо и уйдет в комнату, забыв и дверь закрыть, и спасибо сказать. Но Тоська не обижалась. Тихонько притворяла дверь и шла дальше по этажам. И песенка для такой работы была у нее подходящая:

Шага-аю я по эта-жам,
То тут, то там, то тут, то там...

Дальше слов Тоська не знала, но ей хватало и этих, потому что ведь дело вовсе не в том, чтобы ходить и распевать песни, а в том, что у тебя хорошее настроение, когда ты приносишь человеку письмо, или перевод, или извещение на посылку, и он так хорошо радуется.

За это-то и любила Тоська свою работу: подойдешь к двери, позвонишь, протянешь руку с конвертом, скажешь: «Вам письмо!» — и тебе сразу улыбаются. Очень хорошая, улыбчивая была почтальонская работа, пока домоуправление не приколотило этих черных щербатых галчат на площадке между первым и вторым этажом. Ходи теперь, гляди на них, железных, корми их два раза в день.

2

Только и осталось от веселой Тоськиной работы — заказные письма. Их в ящик не бросишь, их надо вручать лично и требовать, чтобы за них расписались в

тощей книжке с зелеными корочками. Но заказные письма писали редко, и из всех пяти восьмидесятиквартирных домов, куда Тоська носила почту, заказные приходили только в один, сорок девятый по улице Жуковского, в пятьдесят первую квартиру Алексеевой Т. Л.

Раза два в неделю, иногда чаще, Тоська получала от Нины Ивановны, начальника отдела доставки, синий конверт — из рук в руки, вписывала в книжку номер, который стоял на жирном, густом штемпеле с большой буквой З, и, когда доходила очередь до сорок девятого дома, она наконец-то не кидала письмо в ящик, а поднималась на третий этаж и, прижав палец к синей кнопке звонка у двери, обитой блестящей кожей, долго не отпускала его. Тут, в пятьдесят первой квартире, жила Алексеева Т. Л.

В глубине коридора слышались легкие шаги, щелкал замок, и в дверях появлялась стройная, смуглая женщина. Тоська улыбалась ей, говорила: «Вам письмо!» — и женщина тоже улыбалась в ответ, открывала дверь шире, и Тоська проходила в комнату босая, сняв в прихожей свои всегда пыльные туфли со сбитыми каблуками.

Дни, когда Тоська вступала в квартиру, были для нее днями сладкой зависти. Впрочем, это не то слово. Правда, она завидовала Алексеевой Т. Л., но завидовала как-то независтливо, скорее это была тихая грусть, нежели зависть.

Да, здесь были красивая мебель и прохладная чистота, лежал на полу, распластавшись, мохнатый медведь, и, проходя по нему, Тоська чувствовала босыми ногами мягкую теплоту шкуры. Наверное, здорово растянуться на таком медведе! Всего этого у Тоськи не было дома, но не вещам завидовала она.

Она доставала тощую зеленую книжицу, шуршала страницами, а сама не отрываясь, жадно смотрела на женщину.

Женщина не обращала внимания на Тоську. Она стояла рядом и, прикрыв мохнатыми ресницами глаза, смотрела вниз, на стол, на Тоськины руки, листавшие страницы. Она ждала письма, и ей было не до Тоськи.

Тоська машинально, кося глазом, находила нужную страницу, протягивала книжку женщине — расписаться, а сама все смотрела и смотрела на нее, и сладкая грусть сжимала горло.

Женщина была красива удивительной, редкой красотой. Тоську поражали ее густо-зеленые глаза, ее длинные и слабые руки, ее губы, будто не живые, а нарисованные темно-красной акварелью. Смуглое лицо ее, еле тронутое румянцем, было спокойно и не потому, что женщина не волновалась, это было другое, какое-то глубокое, внутреннее спокойствие, и это спокойствие было частью ее красоты.

Красивых женщин много, и, может быть, эта не была первой среди них, но она была единственная, на кого Тоська могла смотреть вот так близко, обмолвиться с ней двумя-тремя словами — «вот здесь распишитесь... пожалуйста... спасибо... до свидания» — и, слушая ее ответы, сказанные удивительно спокойным голосом, снова и снова поражаться ее красоте...

В такие дни Тоська разносила почту позже всех. Она приходила в отдел доставки с пустой сумкой, когда почтальоны, собравшись у стола Нины Ивановны и вытащив кто что, — помидоры, желтобокие огурцы, длинные перья лука с пожухлыми концами, макая все это в мягкую — порошком — соль, обедали. Тоське подвигали табуретку, она садилась к столу, разворачивала сверток со своими огурцами и помидорами и начинала вяло жевать, глядя за окно.

Ей виделось огромное зеркальное стекло гастронома, перед которым она стояла только что, и в стекле — толстоногая девчонка с непомерно большой грудью, которая уродовала особенно. На плоском лице сидели маленькие глаза, и выгоревшие брови, и веснушчатый нос. Все было плохо и некрасиво в этой коротышке, разве что волосы... Но волосы, уложенные на голове косами в два калача, ничуть не помогали девчонке. Наоборот, от них она казалась еще и больше-головой...

Тоська жевала безвкусный, перезревший огурец, вспоминала красивую Алексееву Т. Л., свое отражение в гастрономической витрине и то, как мать сказала раз потихоньку про нее соседке: «Обрубыш».

И хотя сказала она это жалеючи, Тоськино сердце наполнилось горечью, а глаза — невыплаканными слезами.

3

Вообще-то Тоська была молодец. Мать всегда хвалилась ею перед соседками: Тоська, мол, не пропадет,

она у меня человек самостоятельный. Это была правда. Тоська умела делать по хозяйству все, что надо. Ну, уж про обеды и говорить нечего, это она освоила в совершенстве — от простых щей до хрупчатого, маслянистого хвороста и слоеного — пальчики оближешь! — пирога. Еще Тоська умела вязать кофточки из шерсти, шить себе платья и даже плести кружева. Еще умела она выращивать цветы, очень любила их, и на грядке перед деревянным домом, где в одной половине жили они с матерью, а в другой — Федоровы, рос у нее замечательный черный гладиолус по имени «Поль Робсон». Гладиолусов на этой грядке было много — розовых, красных, белых, а черный был всего один, и Тоська очень гордилась им и ждала, когда он расцветет.

Яшка Федоров, сосед, все покушался на него, хотел отнести какой-то там своей крале, когда он расцветет, но крали у Яшки менялись чуть не каждый день, а «Поль Робсон» был один, и Тоська очень берегла его.

Словом, Тоська умела многое, и мать часто, разговаривая с Федорихой, говорила: «Вот кому-то хозяйка достанется!» — видно, чтобы успокоить и утешить Тоську. Но что тут утешать, если в свои уже двадцать лет Тоська даже рядом не прошла ни с одним парнем и — какое там! — ни с кем ни разу не поцеловалась. Даже знакомых ребят, кроме Яшки, у нее не было. Но Яшка — что, сосед, только и знает зубы скалить. И как такого девчонки любят! А других парней Тоська не знала. Те, с которыми училась до восьмого класса, теперь выросли, стали совсем взрослыми, и, встретив Тоську на улице, не узнавали ее. Конечно, будь Тоська красивее — узнали бы.

Так что все ее хозяйские дарования были Тоське просто ни к чему. Да и мать теперь получала пенсию, сидела дома и все обеды, все Тоськины платья и кофточки — все делала сама, а Тоська только все умела, но ничего не делала. Разве что к цветам мать не прикасалась.

Каждый вечер Тоська поливала свои гладиолусы, а потом присаживалась на завалинке полюбоваться на красивые, словно из воска вылепленные цветы. Солнце садилось за улицу и своими боковыми лучами насквозь просвечивало разноцветные колокольцы.

Иногда посидеть на завалинку выходил и Яшка.

Это бывало редко, когда у него не собирались ребята со стройки, где он работал на кране, или когда не было назначено свидание.

Яшка любил поболтать, а мать и отец Федоровы ну просто не выносили, когда он болтал, и сами были молчуны. А вообще-то все они страшно походили друг на друга. И мать, и отец, и Яшка — все черные как грачи. Волосы черные, глаза черные, брови и ресницы будто углем подведены.

Вечерами, когда Яшка, надев черный парадный костюм и черные ботинки, клянит у Тоськи «Поля Робсона», она кричит ему: «Кыш, грач, кыш!»

А вообще-то Яшка на серьезного ухажера ничуть не походит. Волосы как проволока, челкой на один глаз вечно падают. Сам какой-то вихлявый и хвостун.

Как выйдет на завалинку, так давай Тоське хвастать про свои вечерние победы.

— Вчера на танцах такую девулю оторвал! И-и-эх, закачаешься! Нацеловали-ись!

Яшка, конечно, врет, просто треплется. Не может быть, чтоб вот так, сразу, девчонки с ним целоваться шли.

Яшка закатывает глаза и дурашливо качает головой.

— Фу, дуралей! — говорит Тоська. — Так я тебе и поверила.

Но однажды вечером Тоська отправилась за печеньем к чаю, а когда вышла из магазина — ахнула. По тротуару шел, как грач, Яшка, волосы у него блестели, а белая рубашка будто светилась изнутри. За руку он держал девчонку. Беленькую, в красивых туфлях на тонких каблучках, высокую, чуть пониже Яшки.

Тоська вылупила глаза на эту парочку, а Яшка будто и не заметил ее, он что-то говорил девчонке, и та смеялась, глядя на него влюбленными глазами.

Яшка прошел мимо Тоськи, легонечко толкнул ее локтем, потом обернулся и подмигнул.

Тоська шла домой и зло думала: «Дуры, дуры вы все, девки! Вон вас как обманывают, а вы...»

На другой день вечером Яшка вышел на завалинку, и Тоська спросила, с кем это он вчера был.

— Не знаю, — сказал Яшка, — Люся какая-то. На танцах познакомились.

— Целовались? — с замирающим сердцем спросила Тоська.

— Конечно, — ответил Яшка. — А еще чего ж?

4

По утрам, рано-рано, когда люди еще и на работу не торопятся, в отделе доставки дела уже кипят. Нина Ивановна, поблескивая очками, раздает газеты, журналы, корреспонденцию. Почтальоны сидят на своих стульях и по разносным книгам раскладывают почту, на уголках газет пишут карандашом номер дома и квартиры.

Тоська тоже смотрит в разносную книгу, но только так, для порядка, память у нее отличная, и она точно знает, какая квартира в каком доме что получает.

Руки у Тоськи работают быстро, прямо летают, пожалуй, раньше всех она почту разложит, разве вот Нюре уступит. Нюра — самый опытный почтальон, ей лет тридцать пять, а работает она с восемнадцатью и все здесь, в этом отделении.

Нюра любит вспоминать, как раньше она сапог не снимала, по две пары снашивала, потому что, когда она пришла сюда, грязь тут была непролазная и даже в самую жару не просыхала. И везде стояли деревянные домишки, вроде Тоськиного, а сейчас вон какие домищи, и даже поздней осенью можно носить почту в туфлях на высоких каблучках.

Правда, насчет туфель на каблучках это Нюра к слову говорит, просто так, потому что на каблучках почтальоны не ходят — неудобно нести тяжелую сумку. Только вот Тоська носит каблучки, да и то маленькие, чтобы хоть чуть казаться повыше, а все остальные — летом ходят в тапочках, осенью в простых туфлях на микропорке.

Тоська любит эти ранние утренние часы, когда все почтальоны вместе. Разбирают газеты быстро, но и поговорить успевают. Вроде живут они большой, общей семьей.

Нину Ивановну все жалеют, потому что у нее, такой хорошей женщины, муж пьет. Он работает слесарем в домоуправлении, и как у кого что случается — кран испортится или замок, — все стараются позвать его, потому что он хороший мастер, а потом подносят ему или

деньги суют. Вот он и ходит пьяный. Нина Ивановна говорит, что раньше выпивал, так незаметно было, крепкий был, а сейчас сто граммов выпьет, и его развезет до последнего.

— Организм надорвал, — авторитетно говорит Нюра. Она хоть и моложе Нины Ивановны, но, по общему признанию, опытней ее и больше жизнь знает.

Она вообще вся очень твердая, Нюра. И говорит коротко, отрывисто, будто рубит, и ходит как-то твердо, большими шагами, а улыбается редко, поэтому лицо ее — угловатое и скуластое — кажется тоже твердым, словно высеченным из камня. И смотрит на всех Нюра твердо и жестко.

Жизнь у Нюры тоже не больно-то веселая. Есть у нее муж, Василий, он часто по вечерам ждет ее, дежурит у дверей. Но Нюра проходит мимо него своей солдатской, размашистой походкой, и он плетется следом до угла, потом останавливается, долго-долго смотрит ей в спину. А она идет ровно, как заведенная, ни тише, ни быстрее, и ни разу не обернется.

Нюра прогнала его из дому. Узнала, что он ходит к другой, и без крику, без скандала собрала ему чемодан. Теперь она жила одна, водила по утрам своего Лешку в садик и с Василием разговаривать не желала, а когда он совал ей деньги на Лешкино воспитание — не принимала, хотя получала немного и жила очень трудно.

Однажды Василий откуда-то из центрального отделения послал ей по почте перевод. Нина Ивановна отдала Нюре извещение. Дело было как раз утром, во время разборки почты, и все притихли, ожидая, что сделает Нюра: ведь в конце концов получить перевод по почте не то, что принять из рук в руки, и все были бы рады, если бы Нюра его получила.

Но Нюра повертела извещение, узнала почерк Василия, взяла ручку, обмакнула ее в чернила и протянула Тосе.

— Ну-ка напиши на обороте... «Адресат получить перевод отказался».

Такая она была твердая, Нюра, и, может быть, потому, что ее очень крепко, на всю жизнь обидел Василий, о мужчинах говорила резко и нехорошо.

Нина Ивановна мягче Нюры, она ей всегда возражает, говорит, что ведь вот ее муж хороший человек,

добрый и ласковый, и, даже когда пьян, не позволит себе ее задеть, обидеть, слово плохое сказать, и всем был бы хорош, да водка его губит.

— Нет, Нюра, не говори, — улыбается Нина Ивановна, — нельзя всех мужчин под одну гребенку...

— Нельзя, — кивает Тоська и рассказывает про Алексееву Т. Л., которой муж все шлет и шлет письма, да не какие-нибудь, а заказные, а значит, не забывает и любит.

Нюра искоса поглядывает на Тоську и говорит:

— Ну, пишет, это еще не значит, что любит...

Тоська вспоминает Яшку-грача, вспоминает, его рассказы о том, как он целуется направо и налево, и думает, что Нюра тоже права: вот Яшка ведь целуется и не любит, так что письма писать и подавно не значит любить.

...В восемь Тоська с Нюрой первыми выходят на улицу. Навстречу им торопятся люди, идут на работу. А Тоська уже на работе. Она несет тяжелую сумку, полную разных новостей, — и что произошло в Аккре, и в Париже, и в Сан-Франциско, и в семье каких-нибудь Ивановых или Петровых, про все есть у нее в сумке.

Тоська стучит по асфальту стоптанными каблучками, и солнце слепит ее, а оттого разные сложные думы рассеиваются, как сумеречная темнота. Тоська краем глаза видит, как вдруг вздрагивает каменное лицо Нюры, она тоже жмурится на солнце, улыбается ему.

— Эх, — говорит Нюра тихо, — думаешь, не охота мне Василия простить? Что я, каменная... Ишь каждый день ходит...

Тоська удивленно смотрит на Нюру, а та смеется про себя чему-то. Нет, ничего не понимает Тоська в этих делах.

5

Ночью Тоське приснился вещий сон.

Будто шла она по длинной мраморной лестнице, какие показывают в фильмах про старину, с белыми колоннами по бокам.

Тоська шла по ступенькам вверх и испуганно озиралась по сторонам; как бы ее не заругали, что шляется по этакой чистоте в стоптанных туфлях.

Тоська все шла и шла, шла и шла, и сердце страшно колотилось в ожидании чего-то главного, чем кончится эта лестница.

Наконец, когда сердце устало громко стучать от волнения, лестница кончилась, и Тоська увидела перед собой стройную женщину, на которой было почему-то ее, Тоськино, нарядное платье с васильками по белому. Женщина была смуглая и красивая, Тоська подумала, что это Алексеева Т. Л., но пригляделась и ахнула. Нет, это она, сама Тоська, совсем непохожая на себя, вот и волосы ее, а так все чужое, той, Алексеевой Т. Л. Тоська не поверила себе, шагнула вперед и стукнулась обо что-то холодное. Зеркало! Значит, это была правда она?

Утром, одеваясь, Тоська все думала, рассказать матери сон или нет. Она и сама чувствовала, что сон ей приснился глупенький, вроде детской сказки про Золушку, и боялась, что мать засмеется.

Но она не засмеялась, погладила Тоську по голове, пригорюнилась, посидела, глядя в одну точку, а потом вздохнула:

— Невеститься тебе пора, Антонида!

И махнула рукой, видно, неожиданно для самой себя. Потом смутилась своего невольного жеста, заговорила громко, для пущей уверенности:

— Пора, Тося! Ну чем ты не невеста? Ростиком не вышла, фигурой? Так если бы в том дело! Не глупая, хозяйка хорошая, чего еще надо? Найдешь, найдешь себе, пусть не красавца писаного, да за красоту ноне и пятака не возьмешь...

А вечером Тоська пошла в кино. Позвала она Нюру, да той Лешку не с кем было оставить, а мать в кино не ходила, все ей казалось, что до кинотеатра не доберешься — в автобусе да потом пешком, ну его, лучше дома посидеть. И Тоська поехала в центр одна.

Когда усаживалась на место, заметила, что рядом с ней с одной стороны сидела накрашенная дамочка, уже пожилая, а вся разрисованная, просто ужас, а с другой стороны — конопатый солдат.

Показывали «Неизвестную женщину», Тоська уже смотрела — и не раз — эту картину, думала, уж все, больше не увидит, но нет-нет да в газете снова появлялось объявление, что идет «Неизвестная женщина», и Тоська тут же собиралась в кино. У них в отделении связи, и особенно в отделе доставки, эту картину, це-

нили высоко, и, когда все посмотрели ее первый раз, в один голос признались, что плакали «просто навзрыд». Тоська тоже плакала, но не навзрыд, так, потихоньку пускала слезы.

А тут, глядя фильм в четвертый раз, то ли от нынешнего сна, то ли от нагоревшей обиды за себя, она расплакалась горько, глядя сквозь слезы на мутный экран.

Накрашенная дамочка отодвинулась от Тоськи, и в ту же минуту кто-то взял Тоську за руку. Она вздрогнула всем телом, повернулась направо и близко, совсем рядом, увидела серьезные глаза конопатого солдата и блестящие крылышки на темном погоне.

— Вы успокойтесь, — сказал шепотом солдат. — Не надо так.

Неизвестно, как все получилось, но после фильма они пошли вместе по темным, знобким от прохлады улицам. Справа и слева плыли какие-то высокие кусты, а наверху, над головой, узконосые листья в туманном свете фонарей казались невсамделишными, будто вырезанными из черной бумаги.

Тоська шла чуть дыша, прижав онемевшие руки к бокам, осторожно передвигала ноги, будто шагала по проволоке.

Конопатый солдат, которого звали Олегом, держал ее за локоть, смеялся над фильмом, — он ему не понравился, потому что был, как он сказал, «слишком сладким». Как может быть такой фильм «сладким», Тоська никак не понимала и в другой бы раз стала возражать и спорить, но сейчас она молчала и кивала головой. И то, что плакала зря, с этим она тоже соглашалась. Олег рассказывал о своих солдатских приключениях, о том, как однажды в дождь старшина повел их обедать и потребовал петь песни, но старшина был вредный, и они всем строем петь отказались. Тогда старшина начал гонять их вокруг столовой, но солдаты не пели, и старшина, промокший насквозь, сдался и отвел их обедать.

Тоська слушала его болтовню и со страхом думала, что он, наверное, вроде Яшки, все болтает, болтает, а потом полезет целоваться и будет хвастать всему своему полку или как там у них еще. Она шла напряженная, готовая в любую минуту защититься и убежать, но Олег был спокоен, смеялся, говорил, и лицо его

в фонарных сумерках не казалось уж таким конопатым.

Тоська и не заметила, как пошла свободнее, уже не по проволоке, и тоже что-то рассказывала ему, так, какой-то пустяк. Теперь говорил уже не один он, а оба, перебивая друг друга и смеясь. Тоська увидела над карманом у Олега синенький парашютик, и тут оказалось, что Олег служит не где-нибудь, а в десантных войсках, уже десять раз прыгал с парашютом, и за это ему дали значок. Тоська зауважала конопатого солдата еще больше, а он стал говорить, что это совсем не страшно, прыгать с парашютом, главное решиться в первый раз, с парашютом не то что мужчины, много женщин прыгает. Это Тоська знала и без него, читала не раз в газетах, но отчаянных женщин в шлемах, которых видела на фотографиях, воспринимала как что-то очень далекое, нереальное, как, скажем, фильмы про Аргентину.

Теперь же рядом шел Олег и рассказывал, как нужно, становясь в открытых дверях самолета, поильнее отталкиваться, а потом падать, раскинув руки, ноги врозь и считать про себя секунды, а потом дергать кольцо, и Тоська, похолодев от ужаса, представила, как бы она вдруг стояла в открытых дверях самолета, перед синей бездной, а там, внизу, еле заметные, копошились человечки. Она передернула плечами от набежавших мурашек.

Из дома в кино Тоська ехала в автобусе, и ей показалась томительной эта дорога. Сейчас они шли пешком и не пришли, а прилетели к Тоськиному дому. Они походили еще вокруг, поболтали, и Тоське почудилось, что время везде, на всех часах — и на столбе под фонарем, и на руках у прохожих, и в домах — остановилось, пока Олег вдруг не спохватился и не сказал, что он человек военный, не свободный и увольнительная у него кончилась, а завтра утром он уезжает в Энск, где и служит.

Он пожал Тоськину холодную, лодочкой, руку и сказал, чтоб она ему написала в Энск, главпочтамт, до востребования, потому что он часто ездит в командировки со своим начальником и в части письма могут потерять, пока он ездит.

Тоська кивнула, и Олег побежал за уходящим автобусом, догнал его, успел запрыгнуть и помахал в зад-

нее овальное стекло. Она стояла ошарашенная. Будто ничего этого и не было, будто все ей показалось. Еще три часа назад она ничего не знала и не ведала и вот первый раз в жизни шла под руку с парнем, смеялась с ним, говорила о каких-то пустяках, верила ему и не боялась его. А теперь он исчез. Никого нет. Как во сне.

Укладываясь спать, Тоська в одной рубашонке подошла к зеркалу. На нее смотрела некрасивая коротышка. Настоящий обрубыш.

Нет, это просто так, решила Тоська, это все ерунда, и сегодняшний вечер значит не больше, чем вчерашний сон. На душе у нее снова стало горько.

Мать страдала бессонницей и слышала, как долго ворочалась Тоська на своей кровати.

6

Тоська твердо решила забыть про Олега, но забыть она его, конечно, не могла, и все чаще и чаще в голову Тоське приходила мысль написать ему до востребования. Ведь не может же быть, чтобы Олег все забыл, забыл тот вечер, думала она. И мучилась от того, что сама ничего не может решить.

Надо было кому-то рассказать про Олега. Матери Тоська говорить не хотела, и так она все жалеет ее. Оставалась Нюра. С того дня, как, подставив лицо солнышку, Нюра пожалела Василия, она стала казаться Тоське чуточку другой. Не такой резкой и совсем не каменной. Тоська рассказала Нюре про Олега, рассказала неумело, путаясь и краснея, но Нюра, добрая душа, Тоську поняла.

Им тогда обеим влетело от Нины Ивановны, потому что вместо того, чтобы разносить почту, они свернули в скверик, сели там на лавочку, спрятанную в самой чаще, и проговорили целый час, а может, и больше. Потом, правда, они спохватились и помчались на свои участки, но все равно здорово опоздали, и Нина Ивановна, почуяв, что тут что-то неладно, не могли лучшие почтальоны просто так на час опоздать с доставкой, крепко их отругала.

Но это все была ерунда, главное, Тоська славно поговорила с Нюрой. И ничего ей Нюра не открыла особенного, никакого совета не дала, а просто рассказала про себя и про Василия. Как они, когда были моло-

дые, познакомились на танцах и как Василий пошел ее провожать, а потом каждый день приходил к ее дому, и они гуляли с ним допоздна, считай, все темные улицы в городе вызнали. А потом вдруг Василий пришел к Нюре с огромным букетом гвоздики. Оказалось, ездил нарочно на вокзал и там у какой-то тетки освободил от гвоздики целое ведро. Он пришел с охапкой цветов прямо к Нюре домой, положил их на стол, и на другой день они подали заявление в загс.

Нюра, рассказывая, улыбалась и говорила только о хорошем. Наверное, не хотелось ей вспоминать, как выгнала Василия из дому и за что. Все-таки, видно, несмотря на такую обиду, больше всего у нее в памяти осталось хорошего, доброго, это доброе перетягивало плохое, а потому вся жизнь ее, вот так, со стороны, когда начала понемногу проходить горечь, казалась Нюре все-таки неплохой, повидала она и хорошего, узнала любовь.

Нюра говорить не умела, речь ее получалась нескладной, неживописной, но Тоська понимала за короткими, скупыми фразами Нюрины чувства и переживания.

Так и не дала она Тоське никакого совета, да Тоська и не повторяла своей просьбы. Само собой как-то решилось: конечно, надо написать Олегу. Вон, даже Василий вовсе ведь неплохой, так почему Олег должен быть хуже.

Письмо получилось короткое и суховатое: живу ничего, все в порядке, а как идет служба? Словом, обыкновенное письмо к знакомому человеку. Когда Тоська бросила белый конверт в мешок, который каждый вечер, заклеив сургучом, увозили из их отделения связи, жить сразу стало и проще и тревожнее.

Вечером, когда она как всегда поливала цветы, на завалинку выполз Яшка.

Настроение у него было что-то грустное, он не хвастался, как обычно, и не задибался. Тоська присела рядом с ним на завалинку, и он спросил ее потусторонним голосом:

— Ну, лиса, с каким ты солдатиком на днях гуляла?

В другой раз Тоська вскочила бы и убежала или облила Яшку из лейки, но очень уж странный голос был у него, и вовсе он не собирался ее задевать. Тоська внимательно посмотрела на Яшку, подумала, может, у че-

ловека неприятности на работе, и неожиданно для себя рассказала ему про «Неизвестную женщину», про Олега и про письмо, отправленное в Энск, до востребования.

Яшка внимательно посмотрел на Тоську, криво усмехнулся и покивал головой. Тоська обиделась, хотела уйти, но Яшка усадил ее обратно на завалинку.

— А ты знаешь, Тоська, — сказал он траурным голосом, — у меня несчастье.

Тоське сразу стало жаль Яшку, независимо от того, что у него за несчастье, а Яшка, глядя в землю, сказал тем же заупокойным голосом:

— Угораздило, понимаешь... Влюбился я.

Потом он оживился, стал рассказывать, как встретил в троллейбусе девушку и сразу обалдел, такая она была...

Какая она была, он так толком и не мог объяснить. Вся она казалась удивительной, не красавицей, нет, но светлой какой-то, и чистой, и хрупкой, будто льдинка. Глянешь разочек — и сразу скажешь, что человек это очень добрый, и ласковый, и нежный...

Девушка заметила Яшкины взгляды, посмотрела на него, и Яшка будто исчез, улетучился с лица земли, ни рук, ни ног своих не чувствовал, только слышал, как громко, набатом, гудело сердце.

Девушка отвернулась, а Яшка протолкался к ней и стоял рядом, пока она не сошла на остановке.

Он смотрел, как она уходила, и все в ней было знакомо ему, давным-давно знакомо и близко до мельчайших подробностей. Он смотрел, как она уходила, и когда скрылась за углом и троллейбус уже набрал скорость, он рванулся к выходу и закричал, чтоб его выпустили.

Водитель заругался, обозвал его разгильдяем, но Яшке некогда было обижаться, и, когда водитель все-таки притормозил и выпустил его, он пулей помчался за угол.

Девушка была уже далеко. Она шла, спокойно помахивая сумочкой, а услышав, что кто-то бежит, не оборачиваясь, уступила дорогу. Запыхавшийся Яшка остановился возле нее, она удивленно посмотрела на него, потом узнала, улыбнулась и сказала:

— Меня зовут Оля, у меня есть муж, а сыну моему три года, — и снова улыбнулась.

Яшка так ничего и не сказал ей. Он молча смотрел, как Оля, помахивая сумочкой, пошла дальше. Он молчал и смотрел, убитый, пока она не скрылась за поворотом.

И вот теперь Яшка сидел на завалинке, все не мог прийти в себя и поэтому говорил загробным голосом, а Тоська смотрела на него жалеючи.

Они посидели молча, думая о своем.

— А ты, значит, тоже? — спросил Яшка. Тоська кивнула.

— Говоришь, главпочтамт, до востребования, — сказал он и впервые за весь вечер с интересом посмотрел на Тоську. Она кивнула снова, и ей показалось, что теперь Яшка смотрит на нее жалеючи.

7

Ответа все не было и не было, хотя Энск не так уж далеко. Тоська успокаивала себя: наверное, Олега не каждый день отпускают в город, армия все-таки.

Яшка теперь по вечерам допоздна сидел на завалинке, смотрел, как Тоська поливает свои гладиолусы. Незнакомка из троллейбуса не давала ему покоя. Яшка разузнал о ней все. И верно, Оля не обманула его. Она была замужем, работала на заводе копировщицей, и сын у нее тоже был. Но Яшка никак не мог успокоиться. Оля снилась ему по ночам, мерещилась днем, когда он сидел на своем кране, поэтому работать он стал хуже, как-то на него нашумел мастер: Яшка поднял груз на высоту и задумался, не слышал, что ему уже давно кричат рабочие...

Черная челка совсем свисла ему на лоб, и из-под нее печально смотрел по сторонам блестящий глаз. Тоська заметила, Яшка теперь не хвастает и молчит, а то еще иногда поднесет тяжелую лейку с водой и вообще стал внимательнее. Вот и сегодня спросил:

— Письма нет? — и, не дожидаясь ответа, добавил, задумчиво поглядев на Тоську: — Ну, скоро будет.

И правда, письмо пришло. Тоська получила его на работе. Утром, разбирая почту, Нюра вдруг сказала: «Тоська, пляши!» — и у Тоськи перехватило дыхание. Дом, где жила Тоська, оказалось, входил в Нюрин участок, Тоська и не знала даже — ведь писем им никто не писал, а газеты она брала в отделении.

Тоська страшно смутилась, что Нюра отдала ей письмо при всех, могла бы ведь и потом, попозже, покраснела вся, забилась в угол и разорвала синий конверт с красивой маркой.

«Здравствуй, Тоня! — прочитала она и повторила про себя — «Тоня». Очень уж редко называли ее так, она и забыла, как это звучит — Тоня. — Пишу тебе с задержкой, извини, давно не был на почте. Служба идет хорошо. Скоро поедем на учения. Если снова пошлют в ваш город, обязательно приду к тебе. А на фильме «Неизвестная женщина» плакала ты тогда зря.

Ну, вот и все мои солдатские новости. Пиши, как ты живешь. Олег».

Тоська подняла глаза и оглянулась. Все — и Нюра, и Нина Ивановна, и остальные — смотрели на нее и улыбались. Тоська покраснела еще больше, сунула письмо в сумку и быстро-быстро, опустив голову, стала собираться, а потом выскочила на улицу, не дождав Нюру.

Тоська летела знакомой дорогой, и странные чувства охватывали ее. Перед глазами стояло лицо Олега, только теперь она неожиданно для себя стала припоминать его. Да, Олег был некрасив, весь в веснушках, но когда они шли по вечерней улице, Тоська бегло приметила, а сейчас это встало ярко и явственно: у Олега была красивая голова, гордая, чуть откинутаая назад, и четкий, будто резной профиль. Он был высок, по крайней мере для Тоськи: на своих каблучках она еле доставала ему до подбородка. И смеялся он как-то очень спокойно, очень хорошо, по-доброму.

Тоська бежала к своему участку, и ей рисовались все новые и новые черты Олега. Наверное, он очень сильный и добрый, думала она, ведь сильные люди всегда добрые, и он, конечно же, смелый, если не боится прыгать с парашютом...

Весь день Тоська носилась как угорелая, не знала усталости и ни о чем не думала, кроме Олегова письма.

Только один раз она притихла. Алексеевой Т. Л. сегодня было заказное письмо. Прежде чем позвонить, Тоська посмотрела на конверт, на обратный адрес. «Опять Анадырь, — подумала она. — Где такой?» — и позвонила.

Алексеева Т. Л. была дома. «Вам письмо!» — сказала Тоська и привычно вошла в квартиру. Что-то изменилось здесь с тех пор, как Тоська приносила пос-

леднее письмо. Наверное, был чуть-чуть нарушен обычный порядок. На стуле висели капроновые чулки, небрежно брошенные, тонкие, «паутинка», а на диване стоял проигрыватель и медленно крутилась пластинка. Песня была грустная и незнакомая. Тоська прислушалась...

Вьюга смешала землю с небом,
Серое небо с белым снегом.

Женщина была как всегда спокойной и красивой. Поэтому, наверное, и потрясло Тоську все, что произошло дальше. Алексеева Т. Л. взяла у Тоськи письмо и, не расписавшись, надорвала конверт, присела на краешек дивана.

Шел я сквозь вьюгу,
Шел я сквозь небо,
Чтобы тебя отыскать на земле.

Женщина быстро пробежала глазами письмо и вдруг уронила лицо в ладони и страшно дернула плечами. Плачет! — не поверила Тоська. Плачет... Бросив сумку, Тоська кинулась на колени, на медвежью пушистую шкуру, к женщине, хотела что-то сказать, и вдруг, неожиданно для себя, чувствуя, что слова тут не помогут, погладила красивую женщину по голове, по мягким, черным волосам, завязанным небрежным узлом на затылке. Тоська гладила и гладила женщину, а та плакала молча, вздрагивая плечами.

— Ну что вы, что вы, — сказала наконец Тоська, — успокойтесь.

Женщина подняла голову, и Тоська удивилась ее снова спокойному лицу.

Нет без тебя света,
Нет от тебя привета,
Всюду зову, всюду ищу тебя, —

пела пластинка.

Женщина резко выключила проигрыватель, и Тоська подумала, что зря, пластинка ей понравилась.

— Горе какое? — спросила Тоська.

— Нет, — бодро сказала красивая женщина, — просто так. Не обращайтесь внимания.

Тоську называли на «вы», и она снова удивилась. Никто никогда не называл ее так.

Красивая женщина расписалась в зеленой книжке, и Тоська, ничего не понимая, вышла из пятьдесят первой квартиры.

«Вот, — думала Тоська, — одни люди письмам радуются, другие плачут». Правда, чтоб плакали прямо при ней, Тоська первый раз видит. Нина Ивановна говорит, время сейчас другое. Она почтальоном работала, когда война была. Каждый день похоронные извещения носили. Нина Ивановна говорит, их никогда в ящики не бросали, а отдавали из рук в руки и старались, чтоб при людях. А то, бывало так, достанет женщина похоронную из ящика и тут же падает, и помочь некому. Нина Ивановна говорит, все время бегали в «Скорую помощь» звонить. Вот такая была работа.

Тоська представила себе, как мать получила то письмо. Отца убили в сорок пятом, в мае, и извещение пришло после Дня Победы. Радовались, что война кончилась, ночью мать услышала по радио про Победу, бросилась в чем была к Федорихе, они обнимались, целовались на радостях, говорили, что вот теперь уж и мужики скоро воротятся, а через несколько дней принесли извещение. Отец Тоськин еще осенью был дома: получил орден, и ему дали отпуск, а весной, перед самой победой, погиб. Так Тоська и не видела своего отца.

Она родилась в июне сорок пятого года, после войны, и не знала, как все это было. Но она понимала, что жили тогда не так, смеялись, если смеялись, не так, и плакали тоже не так. Она не знала, как все это было, но чувствовала, что между тем, что есть, и тем, что было, лежит целая пропасть. Или высокий водораздел, через который ей не суждено заглянуть. И в этом она не виновата, просто родилась она позже, уже за пропастью, за водоразделом...

Теперь плакали по-другому, и, подумав про отца, которого она не видала, про мать, которая получила похоронку, ожидая ее, Тоську, она решила, что беду красивой женщины можно пережить. Все пройдет, философски подумала Тоська, дождется, если любит.

И сама удивилась своим мыслям, их трезвости, тому, что размышляла она не как Тоська, а как, например, мать.

Странные дела стали твориться с Тоськой. Она носилась с почтой, не зная устали. Она улыбалась всем встречным, и ей казалось, что люди на белом свете живут только добрые. Если кто-нибудь из почтальонов болел, а это ведь тоже случалось, она разносила почту за двоих. Дома она отстранила мать от кройки и шитья, прямо со слезами добилась, чтобы мать хоть это отдала в ее владение. Брала Нюрино Лешку из садика и гуляла с ним допоздна, пока Нюра перешивала свои старые платья.

Словом, она крутилась как волчок и совсем не уставала. Мать подозрительно поглядывала на Тоську, но ничего не говорила. Да и что она могла сказать? Ведь письма Тоська получала прямо в отделении.

А Олег писал часто. За первым суховатым, неловким письмом стали приходиться другие — длинные и интересные. Это как два человека встречаются после долгой разлуки, и сначала вроде сказать нечего, а потом разговариваются и говорят, говорят... Тоське ж прибавилось еще храбрости — все-таки говорить с человеком, когда не видишь его в лицо, проще, спокойнее, можно все обдумать без спешки.

От письма к письму больше и больше открывались они друг другу.

Тоськины письма были сумбурные, они походили на песню какого-нибудь ханта, который едет по тундре и поет про все, что увидит вокруг. Она писала и про Нюру, и про «Поля Робсона», про Яшку и, конечно же, про то, как пахнет яблоками в посылочном отделе.

Олеговы письма были строгие, как оно и полагалось солдату. Он описывал свою службу, ребят, которые с ним дружат, и, конечно, парашютные ученья.

Однажды, получив письмо от Олега, Тоська даже всплакнула. Оказывается, у них были учения, прыгали с большого реактивного самолета. И вот у Сережи — Олег и раньше про него писал, у них рядом койки — парашют раскрылся, но плохо, запутался в стропах. Сережа стал падать на землю. Олег сразу за ним прыгал. Сам, пишет, не знает, как все случилось. Он выхватил нож — каждому парашютисту полагается острый нож, мало ли, стропу надо обрезать или еще что, — и кинулся вниз, не открывая парашюта. Когда пролетел рядом с Сережей — тот падал все-таки медленней, —

успел его схватить, Сережа за Олега тоже, как за соломинку, схватился. Олег обрезал его парашют, а потом открыл свой. Так и приземлились оба, обнявшись.

Тоська прочла это письмо затаив дыхание, все ясно себе представив — как, отчаявшись уже, Сережа думал, что ему конец, крышка, и как Олег летел за ним без парашюта, раскинув ноги и руки, разрезая небо ножом. Слезы набежали сами собой, она тут же написала Олегу взволнованное письмо, очень трогательное, потому что представила себе на минуту, что было бы, если б Олег разбился... Она даже глаза от страха зажмурила.

Вечером Тоська смотрела старые газеты и вдруг в одной увидела заметку про то же, о чем писал Олег! Все было точно так, только по газете это случилось в Калинин и ребята были вовсе не солдаты, а спортсмены, рабочие. И фамилии у них были совсем другие. Остальное совпадало. Тоська остолбенела. Неужели там, в газете, все перепутали? Ну, нет, не может быть! Потом подумала, что ведь страна-то большая, может и такое быть — почти в одно время случиться одинаковое в разных концах земли. Никогда еще Тоська не была так взволнована. Выяснилось, что она совсем не знает Олега, а он вон какой! А она, Тоська? Обыкновенная, серая внутри, жизнь у нее простая и неинтересная, и ему, человеку, совершившему такой, можно сказать, подвиг, с ней будет неинтересно и говорить.

Эта мысль, казалось, едва проклюнулась в Тоськиной голове, но сразу пустила цепкие корешки. Настал день, когда она заговорила об этом с Яшкой...

Думала ли когда-нибудь Тоська, что она так подружится с Яшкой? С Яшкой-грачом, вихлявым и хвастливым парнем. Совсем он не таким оказался, как ей раньше казалось. Бывает так, лежит ветка, сверху вроде гнилушка, хлопнешь ее о колено, а слом здоровый, молодой, втыкай в землю — и к весне ветка зазеленеет, пойдет в рост. Так и у Яшки. Как увидел он эту Олю, так все хорошее в нем словно наружу пролилось, прояснился весь.

Яшка только и говорил, только и рассказывал об Оле, и чем дальше, тем Тоська больше понимала, что эта Оля для него не просто красивая краля, которую он забыть не может, а как та таинственная незнакомка.

Тоську когда спрашивают, какая у нее любимая

картина, она всегда говорит — «Портрет незнакомки» Крамского. Как увидела Тоська первый раз эту картину в «Огоньке», сразу вырвала, чтобы повесить над кроватью. Конечно, в музее эта картина еще лучше, но она в Москве, в Третьяковке, а в Москве Тоська никогда не бывала. Но, встречая «Незнакомку» в журналах, Тоська всегда вырезала ее и не жалела об этом, потому что каждая репродукция непременно открывала ей что-нибудь новое в любимой картине.

Вот так же, наверное, Оля для Яшки, как эта незнакомка для художника Крамского, думала Тоська. Только Крамской так и не увидел больше свою незнакомку, а Яшка ее видит каждый вечер.

Яшка, конечно, не художник, ну и что ж. Разве обязательно быть художником?

Теперь каждый день после работы, переодевшись только, Яшка мчится к Олиному заводу и стоит на противоположной стороне. Когда Оля работает в первую смену, ему легче, потому что он успевает прибежать со стройки домой, переодеться, а потом прийти к заводу, смешаться с толпой и быть совсем рядом с Олей. Если же она во вторую смену, Яшке хуже. Народу мало, и Яшка боится, что Оля, увидев мрачную фигуру, идущую за ней, испугается. Но Яшка научился провожать Олю так, что она даже и не подозревает об этом.

Странно все-таки любовь действует на людей... Теперь, когда Яшка говорит об Оле, он уже не вешает голову и смоляной чуб не падает ему на глаза. А на днях он сказал Тоське, что на будущий год непременно поступит в институт, а пока станет готовиться к экзаменам. Нет, пусть Тоська не думает, работа ему по-прежнему нравится, но теперь ему одного кра-на мало, хоть с него и далеко видно...

Боже мой, разве могла Тоська услышать от Яшки такие слова прежде? Да никогда. Словно Яшка теперь не Яшка, а совсем другой человек. И с ней творилось такое же.

Ну, пусть не совсем такое же, немножко медленнее и недоверчивее все это было у Тоськи. Ей все казалось, что Олег просто так пишет, да ведь так оно и было — письма приходили хорошие, товарищеские, дружеские, наконец, и ничего больше. И все-таки Тоська была готова признаться, что Олег — хоть и ви-

делись они только несколько часов, и не писал он ей никаких нежных слов, — стал для нее не просто знакомым солдатом. Она, мало знавшая о нем, нарисовала себе образ доброго, сильного и хорошего человека, пусть некрасивого, как она, но, может, именно поэтому и близкого ей...

В последнее время, особенно после письма, где Олег писал о том, как спас Сережу, ее будоражило неясное волнение. Она чувствовала, что должна что-то сделать, как-то переменить свою скучную жизнь.

Но что сделать и как переменить жизнь — она не знала и втайне завидовала Яшке, который каждый день провожал свою прекрасную «незнакомку» и которому мало теперь оказалось его огромного подъемного крана.

Яшка вдруг увлекся фотографией. Щелкал Тоську, улицу, «Поля Робсона», который уже расцвел. А ночами сидел у красного фонаря и печатал карточки. Потом принес блестящую трубу, с полметра, наверное, длиной и привинтил к ней фотоаппарат.

— Видала? — сказал он Тоське. — Телеобъектив. За километр снимать можно.

Тоська поудивлялась Яшкиному увлечению, но не придавала ему значения до тех пор, пока Яшка не показал ей пачку фотографий. На всех была одна и та же симпатичная очень девушка. Это и есть, оказывается, Оля. И Яшкино увлечение фотографией было ради этого — чтобы снять Олю.

Яшка с той трубой, с телеобъективом, спрятался на крыше напротив Олиного дома и лежал там целый вечер на холодном железе, и когда появлялась Оля, он ее фотографировал.

Тоська посмотрела снимки, разглядела внимательно Яшкину Олю, которую он сфотографировал и так, и этак, — прямо в лицо, и со спины, и сбоку, а на другой день неожиданно для себя пошла в аэроклуб.

Ее назначили на медицинскую комиссию, дня три она ходила по врачам, те крутили ее, вертели — Тоськина фигура, видно, не очень-то нравилась им, но сердце ее стучало исправно, была она крепкая и здоровая, и после долгих мытарств с составлением автобиографии и фотокарточками Тоську зачислили в парашютную секцию.

Олегу, конечно, она ничего не написала, решила, что напишет, когда прыгнет хотя бы раз, но до этого было еще далеко, сначала предстояло пройти теорию, изучить парашют, попрыгать с вышки...

Нюра, когда узнала, только всплеснула руками, Нина Ивановна осуждающе покачала головой, мать — запричитала и заплакала. Один Яшка не удивился, будто догадывался, что так все и должно было быть. Он кивнул головой, сказал, что Тоська молодец, и конечно, для Олега это будет приятная неожиданность. Он рано ушел домой, наверное, опять фотографии печатать, и Тоська одна полила гладиолусы и любимого «Поля Робсона».

Все теперь было хорошо у Тоськи. По вечерам она ездила в аэроклуб, изучала теорию и парашют, смотрела учебные фильмы и со страхом думала о том дне, когда ей придется прыгать самой. Вернувшись из аэроклуба, Тоська садилась писать Олегу — на письмо у нее теперь уходило вечера два, а то и три, и на почту она приносила тугие, толстые конверты.

Письма от Олега тоже шли регулярно, и каждую его строчку Тоська перечитывала по несколько раз.

По-прежнему дважды в неделю, а то и чаще она поднималась с заказным письмом в пятьдесят первую квартиру, сняв туфли у порога, проходила в комнату и, пока листала книжицу в зеленых корочках и протягивала хозяйке, чтобы та расписалась, не спускала глаз с ее красивого, спокойного лица.

Но странную вещь заметила за собой Тоська: возвращаясь от красивой женщины мимо зеркальной витрины гастронома, она смотрела на свое отражение без прежней боли и горечи. А когда начались спортивные тренировки в их секции, она и совсем перестала глядеться в эти зеркальные витрины: Тоська чувствовала в себе необычайную силу и бодрость. И теперь она, глядя на Алексею Т. Л., восхищалась ею, но иногда думала с этакой подковыркой: а сможет ли красивая женщина прыгнуть с парашютом?

Мысль эта самой ей казалась смешной: зачем Алексею Т. Л. прыгать с парашютом, и Тоська улыбалась, любясь ее смуглым лицом, прекрасной фигурой, красивыми ногами и спокойствием, вечным спокойствием. Про те слезы Тоська уже и забыла.

Тренировки шли полным ходом, и на почте стало как-то лучше, потому что Нюра была теперь совсем

другая. Она не прогоняла теперь Василия, и он ждал ее у дверей не напрасно — они вместе шли за Лешкой в детсад, а потом вместе гуляли. Правда, Нюра так и не простила его совсем, жил он по-прежнему у своего товарища, но она разговаривала с ним, даже смеялась, и Василий ходил вокруг Нюры волчком, стараясь поправить дело. Да, все было хорошо, только вот муж у Нины Ивановны по-прежнему пил, и она, как всегда, жаловалась своим почтальонам.

И вдруг все рухнуло. Провалилось в тартарары. Тоське казалось, что всему наступил конец.

9

День с утра был светлый, солнечный, пахло осенью. На тополях листья начали желтеть и падать понемногу, усыпая асфальт.

Настроение у Тоськи было прекрасное, умываясь, она подумала, что, пожалуй, сегодня получит письмо от Олега, а вечером сядет писать ответ, чтобы завтра же отослать.

В отделе доставки, как всегда по утрам, было суетно и шумно, на столах высились горы газет, журналов, писем, приятно пахло свежей типографской краской.

Быстро двигая руками, Тоська перебирала почту, раскладывала ее по порядку. Нина Ивановна опять заговорила про мужа, и как она от всего устала. Тоська посмотрела на нее, на ее бледное лицо в мелких морщинках и вдруг подумала, что Нина Ивановна ходит на свечку, которая горит медленно и ровно и так же медленно тает... Нина Ивановна и правда таяла у всех на глазах. Тоська пожалела ее и впервые поняла: тут мало одной жалости, нужно что-то сделать для Нины Ивановны, может, собраться с Нюрой и сходить на работу к ее мужу, раз сама Нина Ивановна не решается. Ведь надо же это остановить!

Нюра сидела рядом с Тоськой, и руки ее тоже летали, стремительно и четко. Она улыбалась чему-то своему, и Тоська с удивлением обнаружила в Нюре то же спокойствие, которое было в красивой Алексеевой Т. Л.

И тут Нюра вдруг задержалась, и Тося искоса взглянула на нее, не останавливаясь.

— Тось! — сказала Нюра. — Тут тебе... письмо.

Голос ее был растерянный, и Тоська вначале ничего не поняла — Нюра уже давно отдавала ей письма и пора бы привыкнуть. Она обернулась к Нюре.

— Да не одно, а целая куча... Смотри, — три, пять, семь...

Нюра тревожно взглянула на безмятежную Тоську и добавила тихо, чтобы никто не услышал:

— Это твои письма, Тося... Из Энска, с главпочтамта... Возврат...

Она сказала тихо, но все услышали и смотрели на Тоську. Возврат... Она медленно, будто во сне протянула руку и взяла пачку писем. Ее письма? Олегу... И на каждом штамп: «Не востребовано».

Тоська рассмеялась в тишине отдела доставки. Глупость какая! Еще бы она не знала этого правила: письма, не востребованные на почте, через месяц возвращаются отправителю, если есть обратный адрес, а если его нет, уничтожаются в присутствии специальной комиссии, по акту. Она сама не раз видела, как начальник отделения звал Нину Ивановну, они писали какую-то бумагу, подписывали ее, а потом выходили во двор и в присутствии кого-нибудь еще из работников отделения сжигали разноцветные конверты. Тоська с печалью глядела, как они горели, письма без обратного адреса, которые не пожелал затребовать неизвестный получатель и которые пылали теперь, так и не сказав слов, которые должны были кому-то сказать...

У Тоськиных писем был обратный адрес. Но все это глупость — Олег не мог их не получить, ведь он же отвечал на все ее письма?

Тоська снова посмотрела на штампик «Не востребовано» и, ничего не понимая, сунула письма на дно кирзовой почтовой сумки. Дрожащими руками собрала корреспонденцию и выскочила на улицу. Нюра хотела побежать за ней, но у нее была не собрана почта, и она вернулась на свое место.

В отделе доставки стояла тишина. Только газеты шелестели.

— Ничего не пойму, — сказала Нюра. — Ничего.

...Тоська шла по асфальту, усыпанному редкими еще медяшками тополиных листьев, и повторяла те же слова: «Ничего не пойму! Ничего не пойму!»

Мать с утра собиралась на рынок. Тоська это знала и пришла домой. Положила сумку на стул, достала со дна письма и один за другим вскрыла конверты. Все было правильно. Перед ней лежала груда ее непрочитанных писем.

Тоська окаменела. Она сидела на табуретке, сложив руки калачиком, и глядела перед собой, пытаясь хоть что-то понять. У нее вдруг заболела голова. Будто кто-то стучал двумя железными молоточками по вискам.

Тоська медленно встала, подошла к комоду и открыла ящик, где лежали ее лучшие платья, а на дне хранились письма Олега. Она взяла их — аккуратно сложенную стопку.

Хорошие, добрые это были письма, и, перечитывая их, Тоська плакала. И вдруг что-то стукнуло ее. Тоська прекрасно знала виды почтовых отправлений, и тут только заметила, что письма были обыкновенные, с маркой, а не без марки, и без синего треугольного штампея «Солдатское письмо». Она даже вздрогнула, но тотчас улыбнулась: ведь это было глупо, Олег писал вместо обратного адреса — номера полевой почты — просто «Энск, главпочтамт, до востребования».

На сердце немного отлегло, и сразу же Тоська увидела другое: на почтовой марке густо чернел огромный штемпель пункта отправления, и там вместо Энска стояло название города, где жила Тоська. Письмо было местное... Тоська лихорадочно перебрала конверты, но почти везде название города было или размазано, или, наоборот, не отпечаталось. Но на одном конверте оно было очень четким!

Тоська снова достала из конверта Олегово письмо. Ровные, круглые буквы, такие родные, читанные-перечитанные слова...

Отчаяние охватило Тоску, она просто не знала, что и подумать. Стало невыносимо сидеть вот так одной.

Тоська вытерла рукавом щеки, взяла сумку и вышла. У калитки встретилась мать, спросила ее о чем-то, но Тоська не ответила, она просто не услышала ничего.

Ничего не замечая, брела она сперва по асфальту, потом по каким-то булыжникам, по глубокой пыли...

Тоська очутилась среди железобетонных плит, пыльных серых блоков. Вокруг поблескивали огни сварки, тренькали крановые звонки. Она пришла на стройку, где работал Яшка, хотя даже и не подумала о нем.

В такие минуты человек незаметно для себя может сделать очень трудное дело. Будь Тоська в обычном состоянии, она так и не нашла бы Яшку в этом гвалте, но, ничего не замечая вокруг, она его разыскала.

Яшка высунулся из кабины, остановил кран и быстро спустился к ней по звенящей лесенке. Уже испытывая облегчение, Тоська шагнула ему навстречу:

— Яшка!..

Но он, бледнея, смотрел ей в глаза расширившимися, черными зрачками, и голос у него был хриплый, чужой:

— Это я, Тоська... Я знал, что он тебе не ответит.

10

Тоська шла обратно, к своему участку. Работать-то надо. Сумка, тяжести которой она все эти дни не чувствовала, сегодня давила плечи, ступеньки в подъездах были высокими, а железные ящики...

Ах, вот когда с ними нельзя было смириться! Если бы перед Тоськой открылись сейчас двери и она протягивала бы людям газеты или говорила: «Вам письмо!» — ей, конечно, было бы легче. Двери бы открывались и закрывались, люди бы улыбались ей, и — кто знает! — может, быстрее отошло замороженное Тоськино сердце.

А сейчас она пошла по ступенькам, по лестницам, из подъезда в подъезд, и странные обрывки мыслей теснились в пустой, шумящей голове.

Все, чем жила она это время, враз, будто в сказке о волшебной палочке, исчезло. Словно приснился хороший сон, и вот она проснулась, и от того, что сон был хороший, но все-таки сон, ей стало еще хуже, чем раньше.

Тоська вспомнила одну странность Олеговых писем — он никогда не отвечал на ее вопросы. Раньше бы ей это и в голову не пришло, но сейчас все было так очевидно...

Мимо зеркальной витрины гастронома она прошла, не поднимая головы. Она и так знала, что рядом

с ней, в стекле, плетется толстоногая коротышка с большой грудью, с глупым калачом на голове.

Тоська со страшной силой, просто физически, ощутила вдруг свою некрасивость. Ей показалось, что вся жизнь ее теперь кончена, и нет, нет ей, обрубышу, ничего впереди.

Она подумала об Олеге, не о том, которого придумала из Яшкиных писем, а о живом и реальном Олеге, о том солдате, с которым она шла тогда из кино. Разница была большая. Тот, первый, реальный, был совсем не знаком ей, совсем чужой, а другой, придуманный ею, был очень близким и — Тоська не боялась теперь этого слова — родным!

К горечи обиды, обмана очень явственно прибавилось другое чувство — утраты. Ей показалось, что она навсегда расстанется с человеком, не просто знакомым, а дорогим ей, без которого она и не представляла себя.

Письма ее к Олегу, человеку, выдуманному Яшкой, были как письма, ничего особенного она и не писала, но за простыми фразами о том, как она живет, как работает, что говорит Нюра, Нина Ивановна, мать, Яшка, она прятала, оказывается, очень многое... Сердце больно защемило, в горле встал комок. Яшка, Яшка, что ты наделал...

В сумке у Тоськи лежало одно заказное, как всегда, в пятьдесят первую, той, красивой. Сначала она не хотела нести письмо, уж очень тяжело было на душе, голова гудела, дома, прохожие, улицы расплывались, так туманится все по бокам, если быстро едешь в машине. Тоська видела только серый асфальт перед собой, потом лестницу, железные ящики с белыми номерами и снова асфальт... Но все-таки она поборола себя, собрала силы и поднялась к Алексеевой Т. Л., чтобы вручить заказное письмо.

Из-за двери пятьдесят первой квартиры слышалась музыка. Тоська прислушалась. Песня была та самая:

Вьюга смешала землю с небом,
Серое небо с белым снегом...

Тоська подумала, что, может быть, женщина снова заплачет сегодня, и уж тогда она не сможет, наверное, как в прошлый раз, встать на колени и гла-

дить ее по голове. Тоська вздохнула, будто набираясь сил, и позвонила.

Дверь отворили не сразу, и Тоська позвонила еще — два раза подряд, удивляясь, почему это не топчется как обычно красивая женщина. Но вот наконец за дверью послышались бегущие шаги, щелкнул замок. Тоська увидела красивую женщину и поразилась. Она не узнала ее.

Красивая женщина улыбалась, глаза ее взбудораженно блестели, она стояла спокойно и вместе с тем вся была в движении: так свеча горит в тихой комнате, и пламя ее не дрогнет, не колеблется, будто застыло, а присмотришься — пламя живое, оно движется, течет, как стремглавая река. Спокойствия, внутреннего глубокого покоя, которое было частью ее красоты, не было сегодня в женщине.

Тоська сказала свое привычное: «Вам письмо!» — и прошла в комнату.

На диване, где когда-то плакала красивая женщина, сидел мужчина в серой рубашке с загнутыми рукавами. Тоська вспомнила, что такая же рубашка есть у Яшки и он ею очень гордится, потому что рубашка по последней моде — с лавсаном и не мнется. Лицо у мужчины было простое, обыкновенное, про таких людей говорят — «Ничего особенного», но глаза! — серые глаза его плавилась каким-то необыкновенным светом. Он смотрел, не отрываясь, на красивую женщину.

— Письмо! — сказала она, смеясь. — От кого бы ты думал?

Он пожал плечами и по-прежнему смотрел на женщину, будто хотел загипнотизировать ее.

— От тебя! — сказала она, и прижала конверт, и погладила узкой ладонью.

— Брось! — сказал мужчина и встал с дивана. — Давай я лучше так тебе расскажу, что там написано.

— Нет, — засмеялась женщина, отходя от него и разрывая конверт. — Почитаем, что ты там пишешь, какие-такие признания?

«Опоздало! — подумала Тоська. — Опоздало письмо. Пролежало где-нибудь на сортировке...»

Мужчина пытался отобрать письмо у красивой женщины, и они возились, как дети, как какая-нибудь малышня, не замечая Тоськи, и та отошла к стенке и стояла, глядя на них и улыбаясь. Наконец

женщина села на диван, рядом присел мужчина, она обняла его одной рукой и стала читать:

«Хорошая моя!..»

Тоська шагнула в узенький коридорчик и чуть не упала, споткнувшись обо что-то мохнатое. Она даже вздрогнула. Но это были унты. Высоченные, чуть ли не до пояса Тоське, они смирно стояли, притулившись к стенке.

На вешалке, занимая полстены, висела коричневая шуба, похожая на медвежью шкуру, а на полу, не поместившись на вешалке, лежал мохнатый треух. Тоське показалось, что все эти вещи пахнут морозом, хотя откуда мороз в эту пору, и она даже понюхала воздух, не пахнет ли им...

Тоська вышла на лестничную площадку и осторожно прикрыла дверь. Уже внизу она заметила, что все еще идет на цыпочках.

На улице Тоська вздохнула, и — странно! — ей как будто полегчало. Словно с утра, когда Нюра отдала ей письмо, она набрала в легкие воздуха и не дышала весь день, будто нырнула на глубину и не дышала, а вот сейчас вынырнула.

Тоська с грустью подумала, что больше не увидит красивую женщину, Алексееву Т. Л., потому что заказных ей писать теперь некому. Разве что случайно они встретятся где-нибудь на улице или на автобусной остановке. Но грусть эта была какая-то легкая, даже приятная...

Она шла, и лица встречающих не казались ей белыми пятнами, а улица не мчалась мимо мутной стеной, как при быстрой езде на автомобиле. Идти стало легче, и, хоть по-прежнему стоял в горле тугой комок, утренняя беда будто притихла. Тоська улыбнулась: она снова увидела красивую женщину, которая читала письмо из Анадыря.

«Хорошая моя!..»

11

Дома мать встретила Тоську жалостливой улыбкой. На столе лежали аккуратно сложенные письма.

Тоська побыстрее выскочила на улицу, чтобы мать не завела разговор, не стала ее успокаивать или, того хуже, жалеть. Она присела на завалинку, но

мысленно все время возвращалась к письмам, Олегу и Яшке. Было уже поздно, но Тоська схватила лейку, набрала воды и стала ходить между клумбами; вода шелестела в темноте, и Тоська слышала, как журчат упругие струйки, вырываясь из мелкого ситечка.

У соседей хлопнула дверь, и на фоне фиолетового неба, которое кончалось синей полосой у горизонта, появилась Федориха.

— Яшку не видела? — спросила она Тоську.

Тоська мотнула головой, но, подумав, что в темноте не видно, сказала:

— Нет. Только днем, на работе.

— Чегой-то долго нет, — сказала Яшкина мать и зевнула.

— Гуляет, — ответила Тоська, — куда он денется.

Постояв еще, Федориха присела на завалинку.

— Ну, Тосик, — спросила она, — а ты, мне Яшка сказывал, с парашютом скакаешь? Не боязно?

— Еще не прыгала, — сказала Тоська и усмехнулась, подумав, что ведь не Олег, а Яшка, грач черномазый, виноват в том, что она записалась в секцию. А Олег, может быть, как раз бы и не захотел, чтобы она прыгала...

Вышла Тоськина мать и подсела к ним на завалинку, снова хлопнула дверь у соседей, и пришел Яшкин отец.

Теперь завалинка походила на телеграфный провод: уселись рядышком четверо, как воробьи. С одного краю Тоськина мать пригорюнилась, с другой — Яшкин отец дымит папироской.

— Угаси свое кадило! — приказала ему Федориха. — Дай цветиками подышать.

Яшкин отец послушно затоптал окурок, помолчали. Где-то вдаль, за большими домами, прошуршал автобус, и снова затихло.

— Эх, тишина, — сказала Яшкина мать, — ровно в деревне.

Ей никто не ответил. Тоська подумала, что вот сидит она рядом со стариками, а где-то играет музыка, где-то сейчас танцуют, смеются и едят шоколадные конфеты. А она сидит здесь со стариками, и некуда ей идти.

На сердце опять стало тоскливо, просто до смер-

ти обидно, она чуть не расплакалась, но сдержалась, закусив губу.

— Где его лешак носит? — сказал Яшкин отец, а Федориха добавила:

— Уж я и то гляжу...

— Здоровый лоб вымахал, а все сутемяшится, мельтешит, никак не остепенится.

— Вот оженится, — сказала Федориха.

Они говорили о сыне грубовато, но Тоська поняла все по-другому: Яшкин отец вовсе не недоволен Яшкой, да и сам-то он, Федоров, хоть и пожилой человек, и опытный работник, а все никак не остепенится, все грачом-грачом, бегаёт, беспокоится, словом, сутемяшится. А ругнул он Яшку так, для порядку, чтоб было всем ясно, и самому себе, что делает он правильно.

Это все-таки печально, когда вырастают дети, вдруг подумала Тоська и посмотрела с жалостью на свою мать, которая так и сидела, пригорюнившись, тосковала, наверное, об ее, Тоськиной жизни. И Тоське захотелось, как маленькую, приголубить свою мать, погладить по седым волосам.

На улице зафыркала машина, тишина будто лопнула, раскололась, и чей-то голос крикнул:

— Здесь Федоровы живут?

Яшкин отец ответил, хлопнула дверца, из темноты выдвинулась фигура в плаще, и Тоська удивилась, к чему человеку плащ в такую теплынь.

А приехавший шагнул к Яшкиному отцу, взгляделся в его лицо и сказал:

— Крепись, батя... Сын твой разбился.

...«Газик» звенел покрышками по асфальту, рядом беззвучно тряся Яшкин отец, который ничего, наверное, и не слышал, а человек в плаще, сидевший рядом с шофером, рассказывал, как к концу смены пошел совсем не сильный ветер и Яшкин кран вдруг пополз по рельсам, а рельсы были не по инструкции, чуть под уклон, самую малость, а кран покатился потому, что у него давно барахлили тормоза, и Яшка не успел выпрыгнуть. Когда его достали из кабины крана, он был бледный как мел и умер у всех на глазах, не приходя в сознание.

— Теперь судить будут за технику безопасности, — сказал мужчина и закурил. Он был огромный, загораживал половину окна, Тоська ничего не видела,

кроме его спины, и ей слышалось в его голосе, будто вот это-то и есть самое главное, что судить станут кого-то...

«Газик» мчался вперед, их потряхивало, и Тоська вдруг вспомнила один вечер, когда они с Яшкой сидели на завалинке.

Яшка сказал тогда, думая о чем-то своем:

— В жизни все равно как в детстве, помнишь... Завяжут тебе глаза, раскрутят, а потом говорят: ну, иди — ты прицелишься и идешь. Медленно, осторожно. Уж, кажется, точно иду, по линии. И вдруг — р-р-раз! — лбом в стенку! Не прямо шел, оказывается, а вправо забрал. Или влево. А думал — прямо...

«А думал — прямо... — молотилось в голове, — прямо... прямо... прямо...»

12

Тоська не могла точно вспомнить, что было в эти дни. Как заведенная, она отваживалась с Яшкиной матерью, ходила на работу, давала показания следователю, бросала пригоршнями землю на крышку Яшкиного гроба и прислушивалась, как шуршит земля, падая вниз.

Одно почему-то четко сохранилось в памяти и не давало ей покоя: черный гладиолус по имени «Поль Робсон».

Она срезала цветок, принесла его в клуб, где лежал Яшка в день похорон, положила цветок ему в ноги. И вспомнила: стоит Яшка, черный, как грач, в черном парадном костюме, на танцы, видно, собрался, и просит у нее черный гладиолус. Это было давно, еще до того, как он встретил Олю.

Ей стало вдруг больно. Дай она тогда Яшке черный цветок, он подарил бы его какой-нибудь своей девчонке, может быть, той, беленькой, с которой видела его Тоська, и — как знать — может, теперь все было бы иначе...

Тоська вспомнила, как Яшка спускался к ней с крана в тот последний день. Он хотел, чтобы ей было лучше, а она ему цветка пожалела...

Мысли были беспорядочные, случайные, но одна возвращалась упрямо: как глупо, как ужасно глупо погиб Яшка! Заболей, например, он в тот день или

не подуй этот ветер, и все было бы в порядке. Бессмысленная, глупая смерть...

Время шло, день за днем, Тоська работала по-прежнему. Одно только изменилось: заказные в пятьдесят первую больше не приходили. Теперь Тоська имела дело только с железными ящиками.

Как всегда по утрам, Нина Ивановна, поглядывая поверх очков, выдавала почтальонам корреспонденцию, а они, шурша газетами, рассказывали друг другу кто что... Одна Тоська молчала, и ее никто не трогал, не заговаривал с ней зря, если она сама не начинала.

В посылочном отделении по-прежнему пахло душистыми яблоками, и Тоська, как раньше, приходила сюда подышать яблочным нежным воздухом.

Нина Ивановна как-то получила посылку от своих родственников с юга. Нюра, веселая и живая, притащила клещи, ящик открыли, и Нина Ивановна дала всем по яблоку. Все начали пробовать их и хвалить южных родственников, а Тоська развернула тонкую шуршащую бумагу и подняла яблоко к свету, к солнечному лучу.

Желтый матовый шар вспыхнул, налитый до краев соком и солнцем, засветился, и Тоська вдруг различила черневшие внутри яблока семечки.

Она не торопилась съесть его, и странные, совсем не ее мысли приходили Тоське в голову.

Она смотрела на яблоко, лежавшее на ладони, и думала о чудесах, которых все-таки полно вокруг. Яблоко было рождено черной землей, синим небом и солнцем, у которого нет цвета, потому что на него нельзя посмотреть. На ее ладони лежала работа природы, и, брошенная в землю, эта работа не пропала бы даром — из семечек весной выползли бы ростки. И выросла бы новая яблоня, которая снова родила бы плоды, полные до краев душистым соком и солнцем... Стукнет мороз, потом будет зной, и все это пройдет, а останется одно, самое главное — новое яблоко, которое снова упадет на землю. Все как у людей, думала Тоська и вспоминала Олю.

Наверное, через неделю после того, как погиб Яшка, когда прошло первое потрясение, Тоська разузнала, где живет Оля, и пришла к ней домой. Оля стала приглашать Тоську в комнату, но она отказалась, извинилась и попросила Олю пройтись с ней. Как когда-то с Нюрой, они сидели на скамейке в сквере,

Тоська смотрела в открытое, очень милое лицо Оли и, стараясь говорить спокойнее, рассказывала ей про Яшку, какой он был раньше и каким стал потом, когда увидел Олю в троллейбусе, как провожал ее с работы и боялся испугать, как ползал по крыше с фотоаппаратом... Тоська рассказывала обо всем этом, потому что Оля не могла не понять ее, а впереди ведь было еще одно...

Тоська остановилась на минуту, но собственная ее беда теперь, после смерти Яшки, была такой маленькой, ничтожной, что она рассказала Оле и про Яшкины письма. Это было главное — суметь рассказать Оле так, чтобы она поняла — письма, адресованные хоть и Тоське, принадлежат ей, Оле, потому что это она сделала Яшку таким... Тогда, в тот день, Тоська все спрашивала себя: зачем, почему писал ей Яшка, а теперь она все понимала, она знала точно, зачем и почему он писал...

Письма были дороги Тоське, что и говорить... Но Тоська протянула их Оле. Она попросила взять их. Оля взяла. Осторожно, будто что-то хрупкое. Как хорошо, что она поняла Тоську. Теперь Яшку будет помнить и Оля, хотя она его совсем не знала. Яблоко падает на землю...

...А жизнь шла. В посылочном отделении яблочный запах стал густым и терпким: и на юге наступила осень. Тоська думала, что теперь бросит, конечно, парашютную секцию, и первое время даже не вспоминала о ней, но шли дни, и мысль о том, чтобы прыгнуть с парашютом, все чаще не давала ей покоя. Она решила, что теперь должна прыгнуть для Яшки, пусть его и нет, разве не он заставил ее отважиться на это...

Она немного отстала от остальных, но ее допустили к занятиям, и теперь Тоська ездила в клуб каждый день. Наконец объявили, когда новички будут прыгать.

Накануне Тоська сказала об этом Нюре, та захохла и пообещала прийти на аэродром.

...Их посадили в открытый грузовик и повезли за город. На огромном зеленом поле жужжали маленькие самолеты, над головой на длинной палке колыхалась полосатая колбаса. В тесной раздевалке аэродрома Тоська надела комбинезон, натянула шлем, инструктор помог ей защелкнуть парашютные зам-

ки. Выходя из помещения, Тоська увидела зеркало. Она подошла к зеркалу — в первый раз за все эти дни.

На нее глядела насупленная, очень серьезная девчонка в синем комбинезоне и кожаном шлеме. Тоська подмигнула ей и вышла на улицу. Объявили построение, и Тоська встала крайней слева, она была самой маленькой в отряде. Инструктор двигался вдоль строя, проверяя у всех парашюты последний раз.

Тоську кто-то дернул за рукав. Сзади стояла Нюра. Она улыбалась во весь рот, пораженная Тоськиным нарядом, а сзади, подальше, стоял Василий.

— Вам письмо! — лукаво сказала Нюра и протянула Тоське конверт. Она не глядя сунула его в карман комбинезона, и тут подошел инструктор, взял Тоську за ремни, чуть встряхнул ее и внимательно оглядел.

Ан-2 стоял перед ними, и летчики, парни в одних рубашках, улыбались, глядя на девчонок, выстроившихся в ряд.

— Ну, не робеть! — крикнул инструктор, и они пошли строем к самолету. Дверь захлопнули, и Ан-2, взревев моторами, будто какая телега или грузовик, начал подпрыгивать на рытвинах, набирая ход.

Тоська вспомнила о письме, когда уже летели, сунула руку в карман и вытащила согнутый пополам конверт. На штемпеле стояло: «Энск».

Тоська порвала конверт, развернула листок.

«Здравствуй, Тося! Ты, наверное, забыла меня. Это пишет тебе Олег, мы с тобой еще в кино познакомились. Все хотел раньше тебе написать, да не мог, был в длительной командировке, а, короче говоря, занимался тем, что нарисовано у меня на значке, только не здесь, а далеко отсюда...»

Письмо было длинное, на большом листе с обеих сторон, мягким почерком, но Тоська не могла его больше читать. Она сунула листок в карман, стало что-то больно глядеть.

— Ну, ну, — сказал инструктор, — не кукситься! Не робеть!

Тоська оглянулась вокруг и увидела взволнованные лица курсанток. Инструктор что-то сказал, и все встали, потом повернулись направо, к двери, одна за другой, в затылок друг другу.

Дверь распахнулась, и Тоська увидела, что все стоящие перед ней моментально, бегом исчезли в синем квадрате. Она осталась последней. Перед ней было небо.

Тоська всегда думала, что закричит непременно и уж обязательно закроет глаза перед первым прыжком. Но она не закричала и не закрыла глаза.

Глядя на белые облака, на зеленую землю с игрушечным белым ангаром, она шагнула вперед.

Сердце замерло, она падала, раскинув руки и ноги, чувствуя, как воздух плотно обтекает тело.

Над головой щелкнуло, ее сильно дернуло. Она подняла голову и увидела стропы, уходящие по биссектрисе вверх, черные линии, рассекающие небо.

Тоська посмотрела вниз и увидела зеленое поле. Сбоку паслась маленькая корова.

Луг, усыпанный одуванчиками, летел навстречу Тоське.

КОММЕНТАРИИ

Произведения, вошедшие в этот том, создавались на протяжении двух десятилетий, начиная с середины 60-х годов. Все они объединены темой Великой Отечественной войны, точнее, темой военного тыла и военного детства. Обращение к этой теме было органичным для писателя, родившегося за шесть лет до вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.

«Люди не выбирают родителей, люди не выбирают детства... — говорил А. Лиханов в одном интервью. — Наше детство пришлось на войну, и нас прозвали детьми войны».

Я помню звуки тревожной сирены, учебные тревоги и отбой, я помню госпитали, в которых мало кто из нас не бывал — то с ребячьими скудными подарками, то с самостоятельным школьным концертом, а кто и на свидание к отцу, бледному и худому, лежащему под суконным солдатским одеялом. Нам выпало на долю рано и несправедливо узнать голод, крапивный суп и хлеб напополам с клевером. Нам досталось расписываться за похоронки неровными прыгающими буквами в почтальонской прохудившейся тетрадке.

Мы стояли в очередях за военным хлебом, ухватив локти впереди стоящего человека, потому что очереди были бесконечны, а мы голодны и никто не хотел пропустить кого-нибудь без очереди. Мы теряли карточки, потому что уж так устроены ребята любого времени — они обязательно что-нибудь теряют...

Да, мы многого недобрали тогда. Еду, радости, смех, кино у нас отняла война — жестокая, страшная. Мы, дети военного времени, очень хотели помочь своим отцам и своей стране скорей победить врага. Но мы не могли сражаться вместе с отцами. И невозможность этого рождала в нас сильные, взрослые чувства. Мы любили отцов — крепко, до слез. Мы хотели победы, и она представлялась нам слаще всех сладостей» («Книжное обозрение», 1975, 12 декабря).

Рассказать об этом подросткам и юношам, родившимся и выросшим под мирными небесами, для писательского поколения, к которому принадлежит А. Лиханов, было столь же естественно и необходимо, как писателям гайдаровского поколения — поведать в своих книгах о революции и гражданской войне.

Первой попыткой А. Лиханова рассказать про Великую Отечественную войну, как он ощутил ее в собственном детстве, была маленькая повесть «Звезды в сентябре». Правда, в ней и в появившейся двумя годами позже повести «Теплый дождь» автобиографизм еще не выражен явно. Это не автобиографичность характеров и событий, а скорее автобиографичность чувств и бытовых деталей. Писатель еще как бы не верил в значимость и общественную ценность личной судьбы и отдавал то, что сохранила его память, вымышленным персонажам и ситуациям. Впрочем, он уже здесь поднимался до серьезных и впечатляющих обобщений.

К началу 70-х годов жизненный и писательский опыт подсказал А. Лиханову, что безусловно точное и достоверное свидетельство об увиденном и пережитом может оказаться ничуть не менее ценным художественным документом времени, чем попытки раскрыть действительность тех лет с помощью вымышленного сюжета. Так возник замысел цикла повестей о военном детстве, в центре которых оказался одноклассник автора Коля, проводивший на фронте отца и живущий с мамой и бабушкой в тыловом городе в

европейской части России. Названные обстоятельства, как и многие происходящие в Колиной жизни события, имеют параллели в биографии автора, что подчеркивается и ведением рассказа от лица юного героя.

Первые три повести цикла — «Музыка», «Крутые горы» и «Деревянные кони» — написаны между 1967 и 1970 годами и в 1971 году изданы одной книгой под названием «Музыка». Описанное в ней происходит в последний дошкольный год героя и во время его учебы в начальной школе с лета 1941 года по лето 1946 года, что как раз совпадает со временем Великой Отечественной войны и первым, самым трудным, послевоенным годом.

В интервью, данном редакции международного журнала по детской литературе «Букберд», выходящего в Вене, А. Лиханов напомнил: «Я написал трилогию с элементами автобиографии о военном детстве. Издатели были обеспокоены тем, что эти книги слишком тяжелы для детского восприятия. Но дети поняли их. В детей надо больше верить. Писатели, которые не принимают детей серьезно, не могут иметь успеха у них» (1983, № 3—4).

Критика сразу приняла и оценила в лихановских повестях главное: органическую связь отраженной в них правды, подчас и жестокой и страшной, с гуманистическим пафосом великой все-народной бьтвы.

«Мне представляется очень важным для сегодняшней нашей жизни, — писала Ирина Стрелкова в статье «Достойнейший сюжет литературы», — что книги о военном детстве так свежо и сильно рисуют народный опыт тех лет с его высоко нравственным пониманием драгоценности детства. Тема военного детства позволяет в наши дни воссоздать одну из замечательных страниц истории народа, составляя таким образом достойнейший сюжет литературы, в котором заложены начала многих проблем, волнующих нашего современника» («Литературная Россия», 1972, 16 июня).

Цельность, объемность воспроизведения реальности в прозе писателя отмечал критик В. Ганичев. В статье «Крутые горы. Книги о подростках, мире их чувств, самостоятельности и выборе цели» он писал: «Война не фон в книгах А. Лиханова... Она сест разрушения, смерть, увечья, пытаясь покалечить не только тех, кто сражается на передовой, но пробует на излом молодую душу, навечно стремится уничтожить дух детства и молодости. Гуманизм советского народа состоял тогда и в том, что, защищая Родину, он спасал человечество, сберег для будущего детство. Конечно, подростки войны выросли раньше своих довоенных и послевоенных сверстников, их не обходили лишения, голод, холод, но они трудились, учились, помогали фронту во имя всеобщей победы, и все были сыновьями своего времени. Автор мастерски изобразил это единое стремление, работу всех — взрослых и детей тыла. И это общее жизненное положение, общие интересы и порождали общее состояние сознания. Крутые горы предстояло преодолеть им, но одолевать трудности научили их отцы, которым они свято верили и были готовы продолжать дело старших» («Собеседник». Литературно-критический ежегодник, вып. 1. М., «Современник», 1981).

После выхода сборника «Музыка» писатель более десяти лет не возвращался к теме военного детства, хотя и не считал автобиографический цикл завершенным. Другие замыслы, исполнение которых представлялось наиболее актуальным, не терпящим отлагательства, овладевали его воображением, направляли работу.

Но в 1984—1985 годах одна за другой появились еще четыре повести, как бы заполнившие в биографии центрального героя-рассказчика «Музыки» временные пробелы, которые были в первых автобиографических повестях.

Новые повести — «Магазин ненаглядных пособий», «Кикимора», «Последние холода» и «Детская библиотека» — не арифметическое прибавление к написанным ранее. В них не просто получает дальнейшее развитие, обогащается новыми характеристиками личность героя-рассказчика. В них — иной, более глубинный уровень постижения прошлого. В них реальность военного тыла осмысливается с позиций миропонимания, присущего советскому обществу середины 80-х годов. И цель их не только в том, чтобы поведать своему поколению о случившемся сорок-пятьдесят лет тому назад, но и в том, чтобы выделить, воссоздать, приблизить к сегодняшним юным читателям именно такие стороны жизни отцов и дедов, знание которых помогло бы юным лучше ориентироваться в текущей повседневности, стало уроком и нравственным компасом при определении собственной судьбы.

Именно на этом аспекте военной темы, считает А. Лиханов, должно в первую очередь сосредоточиться внимание художника. «У литературы о войне совершенно особая, удивительная функция, функция нравственная, — писал он. — Ведь память о войне должна пронзать сердца, как пронзает она в Хатыни звоном колоколов, напоминать о горьких, невосполнимых утратах, которые понес наш народ... Ведь, рассказывая о войне, литература рассказывает не только о войне, она учит жить. Учит любые поколения» («Литературная газета», 1975, 9 мая).

Звезды в сентябре. — Впервые под названием «Звезда упала в лесу» в журнале «Пионер», 1966, № 1. В 1967 году повесть вышла отдельной книгой в издательстве «Детская литература».

В небольшой по объему повести А. Лиханову удалось показать большой кусок жизни, показать без прикрас, но и без нагнетания теневых сторон, показать жизнь такой, какой она и была в деревне в войну. Повесть сурова, но в то же время и светла, чиста, пронизана верой в человека, в будущее, в то, что счастье обязательно наступит после войны» (Сибиряк А. Добыть счастье для всех... — «Детская литература», 1966, № 5).

Теплый дождь. — Впервые в книге «Теплый дождь. Повести» (Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1968).

Крутые горы. — Впервые в журнале «Юность», 1971, № 6. В том же году повесть вышла в сборнике «Музыка» (М., «Детская литература»), куда включены также повести «Музыка» и «Деревянные кони».

В предисловии к книге «Музыка» автор, обращаясь к юным читателям, писал, что хочет рассказать о жизни «не ровной и гладкой, а беспокойной и трепетной, о жизни обыкновенного мальчишки, вашего сверстника». Критика сразу восприняла «Крутые горы», «Музыку» и «Деревянных коней» как исповедь поколения, чье детство оказалось неотделимым от фронтовой атмосферы, в которой на протяжении четырех долгих военных лет жил советский народ.

«Новая повесть писателя «Крутые горы» — ключ ко всему созданному и, вероятно, задуманному им, — писал в одной из пер-

вых рецензий на повесть поэт Александр Богучаров. — В этой повести первоклассник Коля, выражаясь словами поэта, старше нынешних своих ровесников «на Отечественную войну».

«Мама старалась скрыть от меня войну» — с этого начинаются «Крутые горы». Но нельзя ничего скрыть... Ничего, а войну тем более. В «Крутых горах», написанных гораздо позже «Лабиринта» и «Чистых камушков», Альберт Лиханов определяет для себя и для читателя меру страдания и вызревания человеческой личности, он создает здесь идеал Коли и свой собственный — образ мужчины, не могущего предать и швырнуть в лабиринт жизни маленькое и все понимающее сердце сына» («Детская литература», 1972, № 1).

На протяжении последующих лет критика не раз возвращалась к повести, отмечая символичность ее заглавия. «...Герой повести «Крутые горы» упорно пытается съехать на лыжах с пока еще недоступной ему высоты — история будничная, вырастающая до значения символа: главное — побороть в себе чувство неуверенности, скованности перед препятствием, будь то гора или что-то более существенное» (Аристарх Адрианов. «Учить жить». — «Октябрь», 1980, № 11).

В 1971 году повесть «Крутые горы» удостоена 2-й премии Всесоюзского конкурса на лучшую книгу для детей. «Крутые горы» вошли в группу произведений (сборник «Музыка», трилогия «Семейные обстоятельства», роман «Мой генерал»), за которые А. Лиханов был в 1976 году награжден премией Ленинского комсомола.

Повесть переведена на венгерский, молдавский, эстонский, немецкий, польский и японский языки.

Музыка. — Впервые в журнале «Пионер», 1968, № 9. Вошла в книгу «Музыка» (М., «Детская литература», 1971).

«В книге нет ни сцен сражений, ни изображения фронтовых подвигов, однако тема героического звучит сильно, — тема незаметных героических будней, связывающая между собой тыл и фронт, — писала Хельо Эрнесакс в рецензии на эстонское издание повести. — Резко выступают следы, которые война, даже относительно далекая, накладывает на психику ребенка» («Сирп я вазар», 1975, 30 мая).

Повесть переведена на венгерский, французский, испанский, чешский, эстонский, немецкий и японский языки.

Деревянные кони. — Впервые в альманахе «Кубань», 1971, кн. 6-я под заголовком «Долины, полные цветов». Повесть вошла в книгу «Музыка» (М., «Детская литература», 1971).

«Поначалу кажется, что повесть вовсе «бесконфликтна», — писал азербайджанский писатель Эльчин. — Вся она посвящена рассказу о том, как нравственно красивы русская деревня, деревенские люди. Это чувство коренится в их органическом, естественном, непредвзятом отношении к доброму началу в жизни.

В этом «контексте» привлекательны даже грубоватость, недостаток книжной культуры, простодушие персонажей. В Ваську — «Василия Ивановича» — и его мать Нюру — молодую вдову — буквально влюбляешься. И тогда-то обнаруживаешь конфликт в произведении — конфликт между красотой и чистотой народного характера и войной с ее разором, бедностью, понимаешь, как может быть хорош, счастлив, жизнерадостен человек и как трудно

ему отстоять доброту перед лицом грозных испытаний» («Литературная газета», 1980, 16 июля).

Повесть переведена на молдавский, эстонский, польский, немецкий и японский языки.

Магазин ненаглядных пособий. — Впервые в журнале «Пионер», 1983, № 5, 6. Вошла в книгу «Магазин ненаглядных пособий» (М., «Детская литература», 1984) вместе с повестями «Кикимора» и «Последние холода».

«Своими глазами в повести увидено детство Коли, мальчишки военного времени. Его рассказ о первых жизненных впечатлениях, о первых встречах с благородством, дружбой, преданностью и, наоборот, о первых столкновениях с жестокостью, предательством, трусостью и стал содержанием повести, — писала в журнале «Детская литература» Ел. Елчанинова. — Каждое воспоминание Коли — милое сердцу ненаглядное пособие из того самого ушедшего навсегда «магазина», где все дается единожды и, к сожалению, ничего нельзя приобрести навсегда» (1984, № 5).

Критика отметила активность гражданской позиции юных персонажей повести: «...полуанекдотическое школьное происшествие вырастает до нравственного испытания третьекласски Коли и его одноклассников. Радостно за мальчишку: для него даже не возникает вопроса, с кем быть, когда класс, да что класс — школа, с непонятной жестокостью травит и унижает одного. Как помочь? — вот вопрос, над которым бьется наш маленький герой» (Фокки В. Крепко любить и сильно страдать. — «Комсомольское племя», Киров, 1985, 5 марта).

Кикимора. — Впервые в журнале «Юность», 1983, № 4. Вошла в книгу «Магазин ненаглядных пособий» (М., «Детская литература», 1984).

«Пусть время, в которое живет и действует герой повести «Кикимора», слишком удалено от современных ребят, — замечает рецензент повести Любовь Лехтина, — но нравственный опыт его для них ценен и необходим, автор передает его мальчишкам 80-х годов, ибо «доброта — одна, на все времена» — таков нравственный урок повести».

Критик замечает также, что «Лиханов не боится вводить в текст публицистические и философские рассуждения, которые работают на его идею. В «Кикиморе» немало гражданских размышлений писателя о времени и его нравственных категориях. Они отнюдь не мешают восприятию повести, а, наоборот, проясняют позицию автора и главную мысль произведения» («Литературная Россия», 1983, 10 июня).

В печати подчеркивался деятельный и бойцовский характер героя повести, теперь уже третьеклассника: «...пораженный бессмысленной жестокостью конюха Мирона, с тупой яростью истязавшего не только лошадь, но и близких своих и себя, этот малыш уже не просто спешит на помощь, а пытается дать бой» (Фокки В. Крепко любить и сильно страдать. — «Комсомольское племя», Киров, 1985, 5 марта).

Тот же критик так определяет стилевое своеобразие повести: «Угловатые подробности быта, по-мальчишески грубоватые детали, детская обостренность восприятия. Тонкая лиричность повествования, вдруг щемящая по-матерински нежность, добрая мудрость,

увы, прожитых уже лет. Суровая правда времени и высокий романтизм помыслов и устремлений».

Последние холода. — Впервые в журнале «Юность», 1984, № 2. Вошла в книгу «Магазин ненаглядных пособий» (М., «Детская литература», 1984). Удостоена премии имени Бориса Полевого, присуждаемой редакцией журнала «Юность».

«Как бы ни тяжелы были годы войны для Коли и Витьки Борещкого, для Вовки Кошкина и для их учительницы Анны Николаевны, для всех героев повестей «Последние холода», «Магазин ненаглядных пособий» и «Кикимора», годы эти остались годами доброты и справедливости, надежды и правды, — пишет заслуженная учительница школы РСФСР И. Лопатина. — Вместе с героями книг А. Лиханов заставляет нас возвратиться в свое детство, задуматься над тем, как навсегда сохранить человеку в своей душе то, что ему дано от рождения, — высокое чувство доброты, совести, человечности. И книги Лиханова, его герои помогают нам в этом.

Герои его книг, пережив тяжкие испытания, сохраняют в себе лучшие человеческие начала. Лиханов открывает закон сохранения этих начал благодаря наличию в человеке высшего чувства сострадания и сопереживания чужой боли».

Детская библиотека. — Впервые в журнале «Юность», 1985, № 8. Вошла в сборник «Милая моя Родина» (М., «Молодая гвардия», 1985).

Вам письмо. — Впервые в журнале «Сельская молодежь», 1966, № 7—8. Повесть вошла в сборники А. Лиханова «Юрка Гегарин, тезка космонавта» (Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1966) и «Лунный берег. Повести и рассказы» (М., «Молодая гвардия», 1968).

«Естественно и непредвзято написана маленькая повесть «Вам письмо». Чисто и достоверно повествует автор о почтальонше Тосе, о неласковой ее судьбе. Неожиданно будничные, ежедневные впечатления становятся размышлениями о мире, о жизни, о назначении человека. Это делает повесть динамичной и интересной, вызывает желание прочитать ее еще раз» (Иванов К. Твои глаза — круг сердца моего... — «Сибирские огни», 1969, № 2).

Повесть переведена на узбекский и чешский языки.

Игорь МОТЯШОВ

СОДЕРЖАНИЕ

А. Алексин. Мужество правды	5
Звезды в сентябре	13
Теплый дождь	48
Крутые горы	111
Музыка	157
Деревянные кони	185
Магазины ненаглядных пособий	273
Кикимора	337
Последние холода	394
Детская библиотека	486
Вам письмо	563
Комментарии	601

Лиханов А. А.

Л 65 Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 1 / Предисл. А. Алексина; Коммент. И. Мотяшова. — М.: Мол. гвардия, 1986. — 607 с.

В пер.: 2 р. 40 к. 150 000 экз.

В первый том вошли повести: «Звезды в сентябре», «Теплый дождь», «Крутые горы», «Музыка», «Деревянные кони», «Магазин ненаглядных пособий», «Кикимора», «Последние холода», «Детская библиотека», «Вам письмо». Все они рассказывают о детской и юношеской поре в жизни человека.

Л 4702010200—089
078(02)—86 Свод. пл. подписных изд. 1986 г.

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 4672

Альберт Анатольевич Лиханов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4-х т. Т. 1

Редактор М. Катаева

Художник Ю. Болрсний

Художественный редактор Н. Фадин

Технический редактор Т. Шельдова

Корректоры Н. Самойлова, Е. Сахарова, И. Тарасова

Сдано в набор 01.08.85. Подписано в печать 04.03.86. А01456. Формат 84×106^{1/2}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92 + 0,10 вкл. Усл. кр.-отт. 31,92. Учетно-изд. л. 33,6. Тираж 150 000 (75 001—150 000 экз.) Цена 2 р. 40 к. Заказ 1135.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.